Н.С. ЛЕСКОВ

Письма Н. Лескова (Сборник)

Николай Семёнович Лесков

Письма Н. Лескова (Сборник)
Письма 1859 года
  Ф. В. Чижову
Письма 1863 года
  М. М. Достоевскому
  А. А. Краевскому
Письма 1864 года
  Н. Н. Страхову
Письма 1865 года
  Ф. М. Достоевскому
  Н. Н. Страхову
  Н. Н. Страхову
  Ф. М. Достоевскому
Письма 1866 года
  С. С. Дудышкину
  С. С. Дудышкину
  А. А. Краевскому
Письма 1867 года
  Е. П. Ковалевскому
  Е. П. Ковалевскому
Письма 1868 года
  Н. Н. Страхову

М. А. Маркович
Н. А. Любимову
М. А. Маркович
А. А. Фету
Письма 1869 года
А. П. Милюкову
П. К. Щебальскому
Н. А. Любимову
Письма 1870 года
А. С. Суворину
Н. А. Любимову
С. А. Юрьеву
С. А. Юрьеву
П. К. Щебальскому
Письма 1871 года
С. А. Юрьеву
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
Г. Бенни
А. С. Суворину
П. К. Щебальскому
А. С. Суворину
С. А. Юрьеву
А. Ф. Писемскому
С. А. Юрьеву

П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
А. С. Суворину
П. К. Щебальскому
А. Ф. Писемскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
М. Н. Каткову(?)
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
А. П. Милюкову
Письма 1872 года
А. Ф. Писемскому
П. К. Щебальскому
А. Ф. Писемскому
А. Ф. Писемскому
С. А. Юрьеву
А. Ф. Писемскому
М. Н. Каткову
М. Н. Каткову
Письма 1873 года

А. С. Суворину
А. С. Суворину
В. П. Мещерскому
Письма 1874 года
П. К. Щебальскому
А. С. Суворину
И. С. Аксакову
И. С. Аксакову
И. С. Аксакову
И. С. Аксакову
Письма 1875 года
Н. С. Аксакову
И. С. Аксакову
Н. С. Аксакову
А. Н. Островскому
П. К. Щебальскому
И. С. Аксакову
Н. С. Аксакову
И. С. Аксакову
И. С. Аксакову
Н. С. Аксакову
И. С. Аксакову
И. С. Аксакову
П. К. Щебальскому
А. П. Милюкову
А. Н. Лескову

Детям
А. П. Милюкову
Детям
А. П. Милюкову
П. К. Щебальскому
А. П. Милюкову
И. С. Аксакову
И. С. Аксакову
П. К. Щебальскому
Л. Н. Милюкову
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
И. С. Аксакову
А. С. Суворину
Письма 1876 года
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
П. К. Щебальскому
Я. П. Полонскому
Письма 1877 года
Ф. М. Достоевскому

Ф. И. Буслаеву
Письма 1878 года
Н. А. Любимову
П. К. Щебальскому
Письма 1879 года
М. Г. Пейкер
А. С. Суворину
М. Г. Пейкер
М. Г. Пейкер
А. С. Суворину
Э. Е. Брадке
А. С. Суворину
А. П. Милюкову
Письма 1880 года
С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
С. Н. Худекову
И. С. Аксакову
С. Н. Шубинскому
Письма 1881 года
С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
И. С. Аксакову

И. С. Аксакову
И. С. Аксакову
Письма 1882 года
Ф. А. Терновскому
Ф. А. Терновскому
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
Ф. А. Терновскому
Ф. А. Терновскому
С. Н. Терпигореву
Письма 1883 года
Ф. А. Терновскому
Ф. А. Терновскому
С. Н. Шубинскому
Ф. А. Терновскому
Ф. А. Терновскому
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
Ф. А. Терновскому
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
Письма 1884 года

С. Н. Шубинскому
М. И. Пыляеву
В. Г. Черткову
П. К. Щебальскому
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
Н. С. Аксакову
С. И. Шубинскому
А. Е. Разоренову
А. С. Суворину (?)
А. С. Суворину
Письма 1885 года
С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
Письма 1886 года
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому

С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
Письма 1887 года
А. С. Суворину
В. Г. Черткову
В. Г. Черткову
А. С. Суворину
А. С. Суворину
В. Г. Черткову
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
Л. Н. Толстому
С. Н. Шубинскому
С. Н. Терпигореву
С. Н. Шубинскому
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
В. М. Лаврову

С. Н. Шубинскому
В. М. Лаврову
В. Г. Черткову
А. С. Суворину
А. С. Суворину
В. М. Лаврову
А. С. Суворину
В. М. Лаврову
А. Н. Пешковой-Толиверовой
А. С. Суворину
А. Н. Пешковой-Толиверовой
Письма 1888 года
И. А. Гончарову
И. А. Гончарову
А. Н. Пешковой-Толиверовой
В. М. Лаврову
А. С. Суворину
И. А. Гончарову
И. А. Гончарову
В. Г. Черткову
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. Н. Пешковой-Толиверовой
А. С. Суворину
А. С. Суворину

А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
А. С. Суворину
К. А. Греве
В. М. Лаврову
К. А. Греве
В. А. Гольцеву
М. И. Пыляеву
А. С. Суворину
К. А. Греве
А. С. Суворину
А. Н. Пешковой-Толиверовой
К. А. Греве
А. С. Суворину
П. И. Бирюкову
Письма 1889 года
П. И. Бирюкову
К. А. Греве
И. Е. Репину
И. Е. Репину
И. Е. Репину
И. Е. Репину

И. Е. Репину
А. С. Суворину
Неизвестному
М. И. Пыляеву
И. Е. Репину
З. П. Ахочинской
В. Г. Черткову
В. Г. Черткову
К. А. Греве
В. Г. Черткову
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
В. М. Лаврову и В. А. Гольцеву
В. М. Лаврову
П. И. Бирюкову
В. М. Лаврову
В. М. Лаврову
В. М. Лаврову
А. К. Шеллеру
В. А. Гольцеву
В. А. Гольцеву
А. С. Суворину
В. А. Гольцеву
А. С. Суворину
В. М. Лаврову
А. С. Суворину

С. Н. Терпигореву
А. С. Суворину
В. М. Лаврову
В. М. Лаврову
А. С. Суворину
А. С. Суворину
В. М. Лаврову
А. С. Суворину
А. С. Суворину
Письма 1890 года
С. П. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
В. М. Лаврову
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
П. И. Вешбергу
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
В. М. Лаврову
Д. Н. Цертелеву
А. И. Фаресову
А. К. Шеллеру
Д. Н. Цертелеву
Д. Н. Цертелеву
А. С. Суворину
А. С. Суворину

В. А. Гольцеву
Д. Н. Цертелеву
А. С. Суворину
А. С. Суворину
Письма 1891 года
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
В. Г. Черткову
З. П. Ахочинской
В. А. Гольцеву
Б. М. Бубнову
Б. М. Бубнову
Б. М. Бубнову
В. А. Гольцеву
В. А. Гольцеву
Б. М. Бубнову
Б. М. Бубнову
Б. М. Бубнову
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
А. К. Шеллеру
А. К. Шеллеру

Б. М. Бубнову
Л. Н. Толстому
Б. М. Бубнову
А. К. Шеллеру
Б. М. Бубнову
А. Н. Пешковой-Толиверовой
М. М. Стасюлевичу
В. М. Лаврову
Д. Н. Цертелеву
Д. Н. Цертелеву
Д. Н. Цертелеву
М. А. Протопопову
Письма 1892 года
А. С. Суворину
А. К. Чертковой
Д. И. Цертелеву
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
Б. М. Бубнову
А. С. Суворину
А. С. Суворину
А. С. Суворину
Л. Н. Толстому
Письма 1893 года
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому

Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
М. М. Стасюлевичу
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Б. М. Бубнову
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
Л. И. Веселитской
А. И. Фаресову
Л. Н. Толстому
Л. И. Веселитской
А. И. Фаресову
А. И. Фаресову
Л. Н. Толстому
М. О. Меньшикову
М. О. Меньшикову
М. О Меньшикову
А. И. Фаресову

А. И. Фаресову
М. О. Меньшикову
М. О. Меньшикову
Л. Н. Толстому
М. О. Меньшикову
А. И. Фаресову
А. И. Фаресову
А. И. Фаресову
А. И. Фаресову
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. И. Веселитской
Письма 1894 года
М. О. Меньшикову
С. Н. Терпигореву
А. К. Чертковой
М. О. Меньшикову
В. А. Гольцеву
М. О. Меньшикову
М. О. Меньшикову
В. А. Гольцеву
М. О. Меньшикову
В. М. Лаврову
В. А. Гольцеву

В. М. Лаврову
В. М. Лаврову
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
Л. Н. Толстому
В. А. Гольцеву
И. В. Лучицкому
В. А. Гольцеву
В. М. Лаврову
И. В. Лучицкому
С. Н. Шубинскому
С. Н. Шубинскому
А. Н. Пешковой-Толиверовой
Письма 1895 года
А. С. Суворину
С. Н. Шубинскому
М. М. Стасюлевичу
М. М. Стасюлевичу

Письма Н. Лескова (Сборник)

Письма 1859 года

Ф. В. Чижову

10 декабря 1859 г., с. Райское.

Милостивый государь
Федор Васильевич!

Многих людей с небольшими капиталами весьма интересует судьба предпринятого освещения переносным газом в Москве. Я знаю, что Вы принимали, вероятно, как редактор местного промышленного органа, участие в представлении этого дела на видимость публики, и потому считаю извинительным обратиться к Вам с просьбою известить меня, составлено ли уже это общество или нет, сколько паев еще остается свободными и какие для этого общества предполагаются организация, администрация и контроль?

Может быть, вопрос мой слишком смешон в настоящее время, но я прошу Вас извинить его, потому что Вашего журнала я, к крайнему сожалению, не встречаю в здешних местах, а другие периодические издания, кроме «Русской газеты», очень мало уделили места этому делу.

Кстати, о Вашем журнале. Здесь его почти нельзя встретить, а по духу здешнего общества, я думаю, он мог бы иметь здесь большое число

подписчиков, что отчасти доказывается количеством получаемого здешнею почтовою конторою «Экономического указателя» Ивана Вас<ильевича> Вернадского. Имея некоторое значение в нашем промышленном кругу, я надеюсь в некоторой же степени содействовать распространению Вашего журнала в Пенз<енской> и Саратовской губерниях и потому прошу Вас сообщить мне программу этого издания и несколько прошлогодних №№, хотя, например, тех, где помещено дело о переносном газовом освещении, которое интересует здешнюю публику. Сочувствие мое к «Промышленному указателю» основывается на убеждении в настоятельной надобности такого журнала, когда мелкие капиталисты не знают, за что взяться, и пускаются в операции самые нелепые и когда предстоящее получение ходовых кредитных бумаг нашими помещиками за выделяемую крестьянам землю обещает увеличить семью вопрошателей: что делать с собою и своим капитальцем?

При этом позвольте напомнить Вам, что мы с Вами немного знакомы по встречам у С. Пет. Альферьева и покойного Игнатия Фед. Якубовского, с которыми я жил вместе в Киеве, и что это дает мне право, не ради одной формы, выразить Вам

совершенное мое почтение.

Ваш покорный слуга

Николай Лесков.

Адрес мой: Николаю Семеновичу Лескову.
В гор. Пензу. Удержать до востребования.

Письма 1863 года

М. М. Достоевскому

29 апреля 1863 г., Петербург.

Милостивый государь
Михаил Михайлович!

Не смея сомневаться в Вашем внимании к данному слову, я полагаю, что Вы, вероятно, утратили мой адрес и сожалеете, что я до сих пор не получил от Вас ответа. — Я живу в доме Максимовича, на Нев<ском> пр<оспекте,> кварт<ира> № 89, и ожидаю или возвращения мне рукописи, или уведомления, что она принята.

С должным уважением имею честь оставаться

Н. Лесков.

А. А. Краевскому

22 мая 1863 г., Петербург.

Милостивый государь
Андрей Александрович!

12-й день, как вышла книжка «Отеч<ествен-ных> зап<исок>», в которой напечатан мой рассказ «Овцебык». В течение этих 12 дней я был четыре раза у г. Кожанчикова и видел там очень невежливого господина Свириденко. Невежа Свириденко не дает мне ответа, почему Вы до сих пор не платите денег нуждающимся в них сотрудникам, и денег мне не дает. К Вам я идти не хочу, потому что Вы имеете очень неприятную манеру держать по полчаса в Вашей зале, которая для меня не представляет никакого интереса, и я более люблю залы министра Головнина, где ожидают не более 5 минут и в том выслушивают извинения. Я пошел к Дудышкину, как к человеку, в котором скорее, чем в Вас можно дощупаться до мягких сторон (я не говорю — *до мягких частей*). Дудышкина нет в городе, а то он, вероятно, избавил бы меня от неприятной необходимости писать к Вам.

Пришлите мне, Андрей Александрович, деньги сегодня или завтра, то есть в четверг, по нижеписанному адресу. Я ни к Вам, ни к Кожанчикову не пойду — это мне *претит*. Но если Вы мне не пришлете счета и денег, то я Вам не забуду завтра сообщить, как я разделываюсь с теми, которые меня донимают до зла горя.

Мы ведь с Вами встречаемся в различных местах, с Невского до Географического общества. Я Вас завтра заставлю провесть пренеприятную минуту в Вашей почтенной жизни. Мне ведь терять меньше Вашего, а я потружусь для других.

Я через Вас не исполнил моего слова перед бедным человеком, но уж на Вас зато сдержу мое слово.

24 часа перед Вами.

Николай Лесков.
Владимирская, № 3—23
Мая 22, 1863 г., среда, С.-П-бург.

Письма 1864 года

Н. Н. Страхову

7 декабря 1864 г., Киев.

Милостивый государь
Николай Николаевич!

Д. В. Аверкиев и покойный А. А. Григорьев както говаривали мне, чтобы я дал редакции «Эпохи» какую-нибудь свою беллетристическую работу. Имея нынче готовый очерк «Леди Макбет нашего уезда», я посылаю его особой посылкой в редакцию, но на Ваше же имя, и прошу Вас о внимании к этой небольшой работке. «Леди Макбет нашего уезда» составляет 1-й № серии очерков исключительно одних типических женских характеров нашей (окской и частию волжской) местности. Всех таких очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объеме от одного до двух листов, восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского. За «Леди Макбет» (купеческого) идет «Грациэлла» (дворянка), потом «Майорша Поливодова» (старосветская помещица), потом «Февронья Роховна» (крестьянская раскольница) и «Бабушка Блошка» (повитуха). Далее пересчитывать не буду, тем более что они

еще не отделаны; но те, которые я назвал Вам, могут идти друг за другом, по одному в месяц, и должны, по моему расчету, все выйти к следующей зиме особым изданием. В «Библиотеку» я этих очерков не продаю, потому что там, вероятно, пойдет другая, большая моя работа, которую я кончаю и надеюсь привезти с собою; а из двух других петербургских редакций, с которыми могу иметь дело, предпочитаю Вашу. Следовательно, если бы Федор Михайлович, прочтя посылаемую на Ваше имя «Леди Макбет», нашел ее удобною для своего издания, то печатайте ее и считайте все остальные очерки, назначаемые в эту серию, принадлежащими *преимущественно* «Эпохе» (конечно, по ее выбору). Условия мои таковы: за лист мне дайте 65 рублей (как я получал) и каждого очерка по сто сброшюрованных оттисков.

Если работа моя понравится и условия для «Эпохи» удобны, то потрудитесь известить меня об этом, адресуя: «Никол. Семен. Лескову, в Киев, в университет св. Владимира». Если же очерк окажется неудобным к помещению, то потрудитесь возвратить его Николаю Николаевичу Воскобойникову.

Беспокоя Вас моею просьбою, я рассчитываю на Вашу известную снисходительность и про-

шу Вас принять уверения в моем совершенном почтении.

Николай Лесков.

Письма 1865 года

Ф. М. Достоевскому

<Январь 1865 г., Петербург.>

А. С. Ушаков просил меня взять у Вас начало какой-то его повести, конец которой находится в «Библ<иотеке> д<ля> чт<ения>», и еще передать Вам, что он хлопочет по какому-то Вашему поручению и будет скоро Вам писать.

Потом, Федор Михайлович, я очень нуждаюсь в деньгах и очень нуждаюсь получить мой гонорарий по работе, помещенной в первой книге «Эпохи», Сделайте милость, не откажите мне в этом, равно как и в оттисках, которых я не могу никак выпросить.

С должным уважением имею честь быть покорнейшим слугою

Н. Лесков.

Н. Н. Страхову

6 марта 1865 г., Петербург.

Милостивый государь
Николай Николаевич!

Если Федор Михайлович передал Вам следующий мне гонорарий, то потрудитесь уведомить меня, когда я могу явиться к Вам, не отвлекая Вас напрасно от дела; а если эти деньги и оттиски очерка Вам еще не доставлены, то не оставьте меня своим вниманием и похлопочите обо мне, ибо «в дороге я весьма поиздержался».

У меня есть повесть, почти роман, вовсе не тенденциозный и совсем отделанный отчетливо, — называется «Всяк своему нраву работает». Не найдете ли удобным поговорить о нем? «Библиотека» мне много должна, и я не прочь бы продать повесть «Эпохе» или «Отеч<ественным> запискам».

Усердно прошу Вас почтить меня коротеньким ответом и принять уверение в моем глубочайшем почтении.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

Н. Н. Страхову

<Март — апрель 1865 г., Петербург.>

Милостивый государь
Николай Николаевич!

До последней степени затруднительное мое положение обрывает мое до последней степени продолжительное терпение, и я усердно прошу Вас, Николай Николаевич, вступиться в мое спасение. Если уж нет возможности дать мне 150 р. деньгами, пусть хоть дадут вексель, под который я могу найти отсрочку у своих кредиторов, которые приступают ко мне вовсе не так, как я к «Эпохе», и которым я не умею отвечать так, как Ф<едор> М<ихайлович> отвечает мне.

Будьте добры, Николай Николаевич! — Вы сами человек рабочий и можете войти в мое положение. — Вот перед Вами Бенни, который может рассказать, как *ко мне приступают*.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

Ф. М. Достоевскому

3 июля <1865 г.>, с. Подберезье Новгородской губернии.

Милостивый государь
Федор Михайлович!

Я буду в Петербурге около 15 июля и позволяю себе припомнить Вам, что к этому времени Вы изволили обещать покончить счет.

Ваш покорнейший слуга

Н. Лесков.

Письма 1866 года

С. С. Дудышкину

10 сентября 1866 г., Петербург.

Милостивый государь
Степан Семенович!

Известие о постановке нынешнею зимою на московской сцене Корнеля и Расина заставило меня сделать приписку по выноске из 3-й гранки. Степанов, вероятно, полезет с этим к Андрею Алекс<андровичу>, «чего терпеть я не люблю», и посылаю эту приписку со всею корректурою Вам, прося Вас сделать Вашу редакторскую помету и возвратить мне точно так же через почту; а я ее отнесу в типографию.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

С. С. Дудышкину

13 сентября 1866 г., Петербург.

Многоуважаемый Степан Семенович!

Я еще третьего дня, разговаривая с Ефимом Федоровичем, выражал сомнение, возможны ли в «Отеч<ественных> зап<исках>» сколько-нибудь горячие статьи о театре, и оба мы, соображая положение Краевского и его характер, находил, что такие статьи у него невозможны. Конечно, надо это бросить, то есть эту напечатать, как возможно, а далее не писать.

Другую просьбу к Вам имею: как и что решили Вы с моей большою статьею о «Вопросах молодого поколения»? Навсегда ли она признана негодной, или для нее настанет время, и мне о ней не нужно беспокоиться? Беспокойство же мое Вы не осудите, если примете в соображение, что статья эта стоила мне полутора месяца самого пристального труда. Ради бога, не подумайте, что я на что-нибудь жалуюсь этими словами, а примите их, как они сказаны: просто за желание разъяснить дело, имеющее для меня весьма осязательный интерес. Я давно ждал, что Вы мне что-нибудь скажете о

ней, и сам не напоминал Вам, а теперь, кажется, такое время, что она могла бы выйти (конечно, с изменениями), и я прошу Вас сказать мне слово о судьбе, которую Вы ей предначертали.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

А. А. Краевскому

<Сентябрь — октябрь 1866 г.>
Вторник, вечером.

Милостивый государь
Андрей Александрович.

Я исправил и по мере возможности дополнил театральную статью, имея в виду Ваши соображения, переданные мне Ефимом Федоровичем. Просмотрите и прикажите еще раз принести ко мне. Я сомневаюсь, верно ли будут набраны все мои поправки. Не печатать ли повесть более 3-х листов? Она очень трудно делится.

Будьте так снисходительны, прикажите мне дать один оттиск повести по мере ее выхода. Это «не про господ, а про свой расход».

С должным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

Н. Лесков.

Усердно прошу Вас (и сам на это осмеливаюсь) в объявлении при следующей книжке не печатать «большое бел<летристическое> произведение», а объявить прямо, как мы с Еф. Фед. решили: «*Романическая хроника*»— «Чающие движения воды»,

ибо это будет хроника, а не роман. Так она была задумана, и так она и растет по милости божией. Вещь у нас мало привычная, но зато поучимся. Степан Семенович знал это, и Вы об этом можете спросить Зарина.

Письма 1867 года

Е. П. Ковалевскому

20 мая 1867 г., Петербург

Ваше превосходительство
Егор Петрович!

Этим письмом я обращаюсь в Литературный фонд с просьбою, для рассуждения о которой гг. членам фонда нужно иметь более или менее подробные сведения; а потому я начну с изложения их и прошу Вас выслушать меня. Я, нижеподписавшийся, Николай Лесков, известен в русской литературе под взятым мною псевдонимом «М. Стебницкий». Существую я исключительно одними трудами литературными. Начал я мои работы назад тому шесть лет в закрытых ныне «Экономическом указателе» и «Экономисте» профессора Вернадского, где напечатан ряд моих экономических статей. Затем я писал критические и экономические статьи в «Отечественных записках». Статьи эти частью подписаны моим полным именем «Н. Лесков», частью же буквами «Н. Л.», и, наконец, есть статьи так называемые редакционные, вовсе не подписанные. Год целый работал я в газете «Русская речь» Евгении Тур; писал в

«Современной летописи» Каткова; потом два года кряду, во время так называемого нигилизма, писал передовые статьи в «Северной пчеле» у г. Усова. Год провел в Париже корреспондентом этой газеты. Потом, оставив публицистику, взялся за беллетристические работы, под псевдонимом «М. Стебницкий». В беллетристическом роде мною написано несколько мелких рассказов по разным изданиям; а также более крупные очерки «Овцебык» (напечатан в «Оте<чественных> зап<исках>»), «Леди Макбет Мценского уезда» («Эпоха»), «Русское общество в Париже» («Библиотека для чт<ения>»), «Язвительный» («Якорь»), «История одного умопомешательства» и «Воительница» («Отеч<ественные> зап<иски>»), народная повесть «Житие одной бабы» («Библ<иотека> для чт<ения>»), роман «Некуда» («Библиотека для чт<ения>») и два отдельные издания, роман «Обойденные» («Отеч<ественные> зап<иски>» и отдельное издание), повесть «Островитяне» («Отеч<ественные> зап<иски>» и отдельное издание). Наконец, в марте этого года я начал печатать в «Отечественных же записках» романическую хронику «Чающие движения воды». Продолжение этого романа встретило препятствия, которых я не имею оснований скры-

вать от Литературного фонда, ибо с этим делом связана самая моя просьба.

Хроника «Чающие движения воды» мной была запродана в «Отечественные записки» в июле месяце прошлого, 1866 года, когда у меня была готова только одна первая часть. Продана она была покойному редактору «Отеч<ественных> записок» Степану Семеновичу Дудышкину по восьмидесяти рублей серебром за печатный лист. Словесными условиями между нами было положено, что редакция «Отеч<ественных> записок», пока я кончу роман, будет давать мне до нового года по 125 руб. в месяц, с тем что забранные мною деньги будут потом удержаны из моего гонорария. С. С. Дудышкин, как вам известно, в августе месяце прошлого года скончался. Внезапная кончина этого человека поставила меня в самые крайние затруднения, ибо я ничем никогда не договаривался с г. Краевским. В это время редактор «Всемирного труда» доктор Хан обратился ко мне с просьбою о сотрудничестве в открываемом тогда им журнале. Я благодарил доктора Хана за его внимание и отвечал ему, что моя работа и мое время принадлежат уже другому изданию. Затем мы с г. Краевским не умели поразуметься. Доктор Хан, известясь об этом по литературным

слухам, прислал ко мне товарища моего Всеволода Крестовского и литератора Н. И. Соловьева с предложением внести за меня г. Краевскому весь мой долг и заплатить мне за роман «Чающие движения воды» по 150 руб. за лист. Не соблазняясь ни на минуту выгодным для меня предложением, я не дал своего согласия доктору Хану, а написал об этом г. Краевскому, предоставляя это дело его великодушию. Г-н Краевский, сообразив сделанное мне предложение доктором Ханом, известил меня через товарища моего литератора Е. Ф. Зарина, что он предлагает мне за роман по сто рублей за лист. Как это ни было невыгодно для меня потерять по 50 р. на сорокалистном романе, но я отклонил предложение доктора Хана и продолжал роман для г. Краевского. В декабре 1866 года мы положили начать мой роман не с генваря, а с марта, так как я его еще не совсем окончил, а в руках редакции был роман г-жи Вельтман. В марте начали печатать мою хронику. Первые два куска первой части прошли благополучно. В третьем отрывке вдруг оказались сокращения, весьма невыгодные для достоинства романа. Мне, как и всем другим ближайшим сотрудникам журнала, было известно, кто сделал эти сокращения: их, келейным образом, производит в «Отечествен-

ных записках» один цензор и одно лицо Главного управления по делам печати. Этих чиновников г. Краевский уполномочил и просил воздерживать неофициальным образом его бесцензурный журнал от опасных, по его мнению, увлечений его сотрудников, и оба эти чиновника г. Краевскому не отказали в его просьбе. Все предназначаемое к печатанию в «Отеч<ественных> записках» посылается по заведенному ныне в этой редакции порядку на их предварительный дружеский просмотр, и они в две руки делают произвольные и самые бесцеремонные сокращения, точно так же, как это бывало в доброе старое время при предварительной цензуре. В числе этих сокращений бывают такие, которые, не могут не приводить в ужас благонамеренного русского человека: таковы, например, известные нам, сотрудникам, сокращения замечательных статей о Прибалтийском крае. Это поистине сокращения такого обидного свойства, что никто бы не поверил, что их сделал русский человек; их мог сделать только заклятый враг русских интересов в Остзейском крае, барон-сепаратист или его форвальтер. Но, однако, их делали не остзейские бароны.

Упоминаю о сокращениях, которые претерпела названная мною статья, не без цели. Они

показали мне, что может случиться со всякой печатной вещью, которые прежде своего появления в нынешних «Отечеств<енных> записках» должны пройти через незримую, бесконтрольную предварительную цензуру упрошенных г. Краевским цензоров. Я сообщил г. Краевскому, что роман «Чающие движения воды» есть роман, задуманный по такому щекотливому плану, что с исполнением его нужно обходиться очень осторожно; что я имею в виду выставить нынешние типы и нынешние положения людей, *«чающих движения»* легального, мирного, тихого; но не желаю быть, не могу быть и не буду апологетом тех лиц и тех принципов и направлений, интересы которых дороги и милы секретным цензорам бесцензурного издания г. Краевского. Я написал ему (и мои товарищи и литературные друзья знают это), что я не могу стерпеть никаких произвольных сокращений в этом романе и что если сокращения действительно окажутся необходимыми, то я прошу сделать их не иначе, как только с моего согласия, с предоставлением мне возможности по крайней мере залатывать ямы, открываемые негласными цензорами. При этом я добавил твердо и решительно, что если такое мое законное требование не будет удовлетворено, —

то вынужден буду прекратить продолжение романа. Г-н Краевский говорил об этом моем требовании литератору Зарину и другим, а характер моих предыдущих отношений к этому редактору не оставлял ему никакого права думать, что я не сдержу данного мною слова. Но, несмотря на все это, в первой же следующей книжке (2-й апрельской), когда эта книжка уже была отпечатана, сброшюрована и послана к одному из негласных цензоров, удерживающих бесцензурный журнал г. Краевского от увлечений, мой роман подвергся еще большим помаркам. В силу этих помарок одно из лиц романа (протоиерей Савелий, в особе которого, по моему плану, должна была высказаться «чающая движения» партия честного духовенства) вышло изуродованным. Об этих сокращениях мне не дали знать, как я просил. Напротив, их от меня скрыли и начали перепечатывать и подверстывать книжку. Узнав об этом случайно, я простер мою просьбу о том, чтобы роман с сделанными сокращениями не печатали, а дозволили бы мне объясниться с цензуровавшим его негласным цензором, которого я надеялся разубедить в его опасениях за мое легкомыслие и вольнодумство. Не знаю и не ручаюсь, удалось ли бы мне достичь этого, но

я надеялся, ибо и опытность и здравый смысл ручались, что вымаранные места совершенно позволительны. Но мне измаранной книжки не дали и объявили, что сокращения будут сделаны, ибо уже таков в «Отечествен<ных> записках» порядок, и номер выйдет. Мне оставалось одно средство защищаться — заявить в какой-нибудь газете, что роман выходит не в том виде, в каком он сделан для печати, и что он вдобавок выходит в свет почти насильно, против моего желания. Я не хотел сделать такого литературного скандала г. Краевскому, ибо, вследствие некоторых особенностей нрава и обычаев этого почтенного редактора, такие скандалы для него уже не редкость; а для публики они только открывают язвы нашей и без того много раз компрометированной литературной семьи. Я ограничился одним исполнением моего обещания г. Краевскому, то есть не дал более присланному им человеку оригинала, и рукопись романа остается у меня, пока я оправлюсь, обдумаюсь и найдусь, чту мне можно с ней сделать, после начала романа в «Отеч<ественных> записках».

Возвращаюсь теперь назад к моей литературной деятельности.

По массе произведенных мною литератур-

ных работ, об объеме которых Литературному фонду нетрудно будет собрать сведения, Ваше превосходительство и члены Фонда, вероятно, изволите прийти к заключению, что я не гулял, а трудился, и трудился прилежно. Получал я гонорарий довольно хороший и, следовательно, мог бы перенести нынешнюю беду мою. Но на мою долю, по несчастью, выпали самые странные и несчастливые случайности. Газета «Северная пчела» недодала мне *800* руб., мною заработанных; журнал «Эпоха», удовлетворив почти всех своих сотрудников, остался мне должен *150* р., «Библиотека для чтения» закрылась, оставшись

мне должною *4950* рублей, и все это раз за разом, одно за другим. Долг на «Северной пчеле» я считаю безнадежным и не ищу его на г. Усове, в добросовестность которого глубоко верю, г. Достоевский и г. Боборыкин мне выдали векселя, срок которым давно минул. Векселя своего на г. Достоевского я не представляю, потому что литератор этот нынче, как говорят, сам в затруднительных обстоятельствах; а долг свой с г. Боборыкина я получу только осенью этого года, когда имение его по претензии гг. Печаткиных будет продано с аукционного торга. До тех же пор, пока последует это несомненное, но отдаленное получение, мне

буквально нечего есть; у меня нет средств работать новой работы, которая бы меня выручала из беды, в которую меня поставил г. Краевский; мне нечем заплатить полутораста руб. за дочь мою, обучающуюся в пансионе Криницкой, и я не могу отдать 200 руб. долгу г. Краевскому, — что меня стесняет до последней степени.

Утомленный тяжкою работою по сочинению ныне погибшего романа, я тотчас же по его прекращении не дал себе ни минуты отдыха и сел за окончание два года назад начатой драмы «Расточитель». Три акта этой пьесы готовы, — два остальные я надеюсь дописать к будущему сезону; в покупщике на нее в журнал не сомневаюсь, в допущении на сцену тоже; но угрожающая привычка питаться, от которой до сих пор меня не отучила жизнь русского литератора, заставляет меня, отложив листы сочиняемой драмы, писать на этом листе к Вашему превосходительству это письмо с просьбою помочь мне. Я прошу Литературный фонд обеспечить мне пять месяцев жизни, ссудив меня пятьюстами руб. серебром, которые обязываюсь заплатить к новому году с десятью процентами в пользу сумм Фонда. Средства для отдачи этого долга я имею: эти средства — моя драма и получение долга с боборыкинского

имения, назначенного в продажу; средства же не умереть с голода и продолжать работу без такого пособия Фонда решительно не вижу.

Ваше превосходительство будете бесконечно милостивы, если предложите мою просьбу членам Фонда в одном из ближайших заседаний и изволите распорядиться почтить меня уведомлением о резолюции, какой она удостоится.

С высоким уважением к Вам имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою

Николай Лесков
(М. Стебницкий).

Е. П. Ковалевскому

26 мая 1867 г., Петербург.

Ваше превосходительство
Егор Петрович!

П. В. Анненков известил меня, что просьба моя о заимообразной ссуде из Литературного фонда удовлетворена не будет; но что комитет поручил г. Гаевскому посетить меня и осведомиться о моем положении, дабы потом подать мне некоторое безвозвратное вспоможение.

Не имея способности принимать от кого бы то ни было безвозвратных пособий, я тем более далек от желания получить их от членов русского литературного общества, которое отозвалось, что оно меня не знает и в кредите мне отказывает. Прошу Ваше превосходительство передать г. Гаевскому мою просьбу, чтобы он не утруждал себя посещением, которого я не приму; а просьбу мою о ссуде считать не требующею никаких последствий.

Я уверен, что Вы не изволите встретить препятствий к тому, чтобы о ходатайстве моем в отчетах Фонда не упоминалось даже намеком, и

прошу Вас принять засвидетельствование моего отличного к вам почтения.

Н. Лесков
(М. Стебницкий).

Письма 1868 года

Н. Н. Страхову

4 апреля 1868 г., Петербург.

Уважаемый Николай Николаевич!

Я слышал, что Вы работаете в «Журнале министерст<ва> нар<одного> просв<ещения>» — мне же совсем негде работать; а пока что путное напишется, нужно выполнять все три ненавистные привычки, то есть «буар, манже и сортир». — Если бы можно было, не похлопочете ли, ради сохранения меня от глада, присовокупить мне какую-нибудь работку?

Обращаюсь к Вам так бесправно и бесцеремонно, потому что знаю, что Вы не исключаете уместности пособлять собрату подобною услугою. Ведь просто приткнуться некуда тому, кто написал «Некуда».

Отпишите мне, будьте ласковы, чту Вы об этом думаете? Я знаю, что Вы сделаете для меня, если пожелаете, и вопрос, стало быть, только в том: сможете ли что-нибудь сделать? — А потому я и не обижусь Вашим отказом.

Почитающий Вас

Лесков.

М. А. Маркович

9 апреля 1868 г., Петербург.

Милостивая государыня
Мария Александровна!

Назад тому около четырех лет П. С. Усов, оставшись мне должным за мою работу около 800 руб. (которых я не получил и до сих пор), просил меня принять в часть уплаты его счет с Вами на 500 р., взятые Вами через Слепцова и Бенни под рассказ «Без рода и пл<емени>» (которого Вы г. Усову не доставили до самого прекращения им «Сев<ерной> пчелы»). Я вынужден был принять этот счет и выясняющую его Вашу переписку с г. Усовым. В течение четырех лет я старался не беспокоить Вас напоминанием об оказании с Вашей стороны содействия к окончанию этого старого расчета; но теперь я весьма нуждаюсь в деньгах и имею обязательства, которые не ждут; а Вы, — сколько я могу судить по достойному успеху Вашего последнего произведения, — вероятно, найдете очень мало затруднений поквитать хранящуюся у меня Вашу расписку на имя г. Усова.

Прошу Вас, Мария Александровна, почтить

меня уведомлением: как Вам угодно будет окончить это дело? Вы бесконечно обяжете меня, если ответите на этот вопрос с возможной скоростью.

Ваш покорнейший слуга

Н. Лесков.

Н. А. Любимову

25 мая 1868 г, Петербург.

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Петр Карлович известил меня, что он передал Вам на Ваш просмотр и заключение мою небольшую рукопись: «Шпион. Эпизод из истории комического времени на Руси». По духу письма Петра Карловича я смею заключить, что вещь эта едва ли удостоится одобрения в «Р<усском> вестнике» (что, конечно, будет мне очень и очень прискорбно, ибо я считаю ее и честной и далеко не безынтересной, а вдобавок ко всему не имею где ее и провести, если мне в этом Вами будет отказано).

Позвольте мне, прежде чем Вы произнесете Ваш отвергающий приговор, обратить Ваше внимание на то: 1) что все написанное в этой рукописи есть факты, за верность которых я отвечаю; 2) что Бенни жил со мною и доверялся мне более чем кому-либо; 3) что из всех деятелей комической революции *он самый честный* и самый популярный; 4) что бумаги его хранятся; 5) что

о «предпринимателях» пишутся беспрестанно повести и рассказы и что «Живая душа» Марка Вовчка еще не последняя из таковых, и 6) что я согласен на всякие ваши редакторские сокращения, поправки и перемены (кроме фактических перемен).

Будьте снисходительны и взвесьте все это, прежде чем напишете свое «неудобно к напечатанию». Я бьюсь из того, чтобы нанести удар «предприятиям» и восстановить доброе имя оклеветанного человека.

Если Вы удостоите меня ответом, я приму его за величайшее с Вашей стороны одолжение.

С почтением и преданностью имею честь быть Вашим покорным слугою

Н. Лесков.

М. А. Маркович

13 августа 1868 г., Петербург.

Милостивая государыня
Мария Александровна!

Благодарю Вас за ответ. Предвидя в этом деле спор, я себя устраняю от него и Ваш ответ со всеми счетами и распискою возвращаю г. Усову.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

А. А. Фету

16 августа 1868 г., Петербург.

Милостивый государь
Афанасий Афанасьевич!

С 1869 года в С.-Петербурге будет издаваться журнал «Заря». Издавать и редактировать этот журнал будет Василий Владимирович Кашпирев (родственник покойного С. С. Дудышкина). Труды его по редакторству будут разделять: Н. Н. Страхов, В. П. Клюшников и я (Стебницкий). Журналу будет принадлежать сотрудничество всех лиц, принимавших участие в старых «Отеч<ествен-ных> зап<исках>», дудышкинского времени.

Принимая близкое и живейшее участие в судьбах нового журнала и очень любя Ваши сельские письма, я имею честь просить Вас не отказать нам в Вашем сотрудничестве. Прошу Вас почтить меня Вашим уведомлением: можем ли мы на Вас рассчитывать и заготовить для нас к ноябрю месяцу первую Вашу корреспонденцию, в которой бы желалось по возможности видеть общий очерк состояния помещичьих и крестьянских хозяйств в настоящее время. Затем следующие

пусть имеют характер текущих хроник.

Если же у Вас есть какие-либо готовые для печати поэтические Ваши произведения, то не откажите сообщить и их.

Прошу Вас принять уверение в общем почтении всех нас, желающих Вашего сотрудничества в «Заре».

Ваш покорный слуга

Ник. Лесков.

Письма 1869 года

А. П. Милюкову

4 января 1869 г., Петербург

Милостивый государь
Александр Петрович!

Некоею порою я знал в Петербурге некоего «неразгаданного человека» Артура Бенни. Он убит при Ментане, и его интереснейшая история, мною в свое время писанная, может быть оглашена. Это вещь пряная и забористая и, кажется, очень интересная. Шуму она может возбудить множество. Я ее хотел бы напечатать в газете, но с газетами петербургскими совсем не имею связей. Не хотите ли посмотреть эту вещь? Уведомьте меня, пожалуйста, да уж прибавьте и адрес, где Вас искать; а то я ночью был, да и позабыл. Мне же писать: «В городе, Николаю Семеновичу Лескову, Фурштатская, № 62».

Ваш покорнейший слуга

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

25 января 1869 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Я послал к Вам свой очерк в простом конверте, наклеив, впрочем, большое количество марок. Поступил я таким образом во избежание толкотни на почте, а теперь трушу: дошел до Вас этот конверт? Не откажите мне сказать: получили ли Вы моих «Карликов», и если можно, прибавьте: когда Н. А. Любимов думает их напечатать?

Посылаю Вам свою карточку и надеюсь, что и Вы мне тем же заплатите. «Люди сороковых годов» до сих пор еще не вызвали о себе никаких отзывов. Все подобное, вероятно, еще впереди, когда роман более выяснится. На «Зарю» также никаких нападков нет, ни в обществе, ни в прессе. Критический разбор «Войны и мира», по-моему, чрезвычайно длинен и водянист и вообще изъясняет гораздо менее, чем Ваша сжатая заметка (с которою я не согласен в отношении внешности издания). Вас побранивают за сочувственный отзыв к книгам Кельсиева, и побранивают, конечно, совершенно неосновательно. Я нашел Ваш

отзыв и прочитал его с большим удовольствием. Кельсиев точно немножко рисуется, но от этого книги его все-таки не утрачивают интереса, а судьба его не теряет права на внимание. Патти слышать невозможно: кресла доходят до 80 р., а по 20 р. платят стоять в проходах. Раек весь абонирован, и «стойка» в оркестре закуплена. Я, однако, с помощью знакомых артистов пробираюсь за кулисы и слушаю в сообществе театральных плотников. Патти, по-моему, несравненно хуже Лукки. Лукка душа и человеческий голос, а Патти — это *инструмент*, — правда страшный, звучный и прекрасный, но совершенно бездушный. У нее в горле точно серебряные струны, а одухотворения звука — никакого. *«Шампанское Патти»* гораздо доступнее, чем сама она, и потому оно идет с чрезвычайным успехом. Носятся слухи, что сбежавший редактор Тиблен «был видим» в Нью-Йорке, где он намеревался издать какую-то книгу о России. Редакторам, позволявшим себе полемизировать с «Вестью», на днях сделано внушение, что «такой тон нетерпим». Я это знаю достоверно. Распеканцию производил «наш общий друг», и редактора (не все, но двое) дали слово вперед с «Вестью» не схватываться. Замечательно, что «Новое время» таким покро-

вительством не пользуется. Дожди и оттепель согнали весь снег, а теперь заморозило, и пути нет ни на санях, ни на колесах.

До свидания! Отпишите мне, пожалуйста, о «Карликах» и пришлите свою карточку.

Мирре Александровне и всему Вашему уважаемому семейству прошу передать мое глубочайшее почтение.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

Н. А. Любимову

<Январь 1869 г., Петербург.>

Усердно Вас прошу, достоуважаемый Николай Алексеевич, черкнуть мне безотлагательно два слова: идут ли «Божедомы» в феврале? Если нет, то, бога ради, возвратите их мне, — иначе я в ужасном положении. Пожалуйста, напишите *скоро*. Я расстроен даже до болезни.

Н. Лесков.

Письма 1870 года

А. С. Суворину

5 апреля 1870 г., Петербург.

Милостивый государь
Алексей Сергеевич!

Так как Вы будете вести завтра по моей просьбе переговоры с г. Стасюлевичем о литературном суде, которого я прошу себе в защиту от тяжкой клеветы, то я нахожу нужным добавить Вам кое-что к тому, что было сказано мною.

1) Скорый отъезд Ваш не помешает быть судьею с моей стороны, потому что срок для суда можно назначить на святой неделе.

2) Если же противная сторона затянет дело, то вместо Вас я изберу Александра Петровича Милюкова.

3) Если противная сторона вовсе не пойдет на литературный суд по моему вызову через «Пет<ербургские> вед<омости>», то «Пет<ербургские> вед<омости>» в крайний срок вызова благоволят напечатать, что согласия на литературное разбирательство не последовало.

4) Когда таким образом суд сделается невозможным, то я прошу г. Стасюлевича и Вас в

сообществе Ал<ександра> Петр<овича> Милюкова и графа Алексея Константиновича Толстого учинить следующее:

а) Удостоить меня просмотреть рукопись романа «Божедомы», дабы Вы могли убедиться, что роман этот не имеет 60 листов, а заключается листах в 30–32. Приблизительно это Вам нетрудно будет сделать.

в) Проверить на выбор на любой странице: играют ли в романе какую-нибудь роль «плодомасовские карлики» и может ли этот кусочек в 1 1/2 листа и по существу и по объему почитаться *«существенной частью»* романа, как лжесвидетельствовал на суде г. Клюшников.

с) Прочесть бумаги, которые я представлю, и по содержанию их (они официальные) решить предосудительно ли было с точки зрения литературных нравов мое поведение по отношению к г. Кашпиреву и составляет ли оно во всей его совокупности нарушение обычаев, существующих в литературных кружках по сделкам между писателями и редакторами?

д) Обсудить на основании тех же бумаг: отвечают ли тяжкие притязания г. Кашпирева ко мне тем обычаям, которых держатся редакторы других изданий?

е) Так как у нас никаких «правил» для продажи литературных произведений в журналы в законах нет и суды в этих делах совершенно некомпетентны, то решить, *сколько видно по бумагам*, я ли нарушил договор и оскорбил литературный обычай, или это сделано противною стороною?

ф) Постановить, может ли все мое поведение в деле с этим романом (*насколько оно будет выяснено бумагами*) почитаться честным со стороны нравственной и неуклончивым со стороны обычая?

ж) Выдать мне в том, что Вы постановите (не выходя из вашего собрания), письменное удостоверение, которое дозволите мне напечатать в газетах и предъявить суду как свидетельство экспертов.

Это, как Вы сами, вероятно, согласитесь, мне весьма необходимо, и без всякой экспертизы перенос дела в другую Палату будет выстрелом в воздух. Отказать же мне в этом *единственном* способе оправдания в тягчайших оскорблениях обвинением в подмене рукописи и исторгнутии из романа «существенной части» — будет вопиющею жестокостью к человеку, и я уверен, что Вы не напрасно похлопочете склонить Михаила

Михайловича Стасюлевича быть моим судьею, или экспертом, для опровержения лжеца, нагло объявившего «существенною частью» романа анекдотик, не имеющий с романом *никакой связи* и даже подлежащий изъятию в расчетах конкретности главной нити повести.

Простите, что я пишу кое-как и не переписываю. Извините моему раздраженному состоянию, с которым я не могу совладать.

Ваш слуга

Никол. Лесков.

P. S. Ответа буду ждать, считая минуты.

Не знакомы ли Вы с г. Скабичевским, и нельзя ли попросить и его, или это лишнее? Пожалуйста, подумайте за меня сами лучше. Может быть, не пригласить ли тогда г. Страхова?

Н. А. Любимову

18 ноября 1870 г., Петербург.

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Позавчера я прочел в печати начало своего романа и два дня нахожусь под невыносимейшим для меня впечатлением. Не могу скрыть от Вас (и единственно от Вас), что я никак не ожидал и не мог ожидать выхода своей работы в таком оконфуженном виде. Иначе я, конечно, ни за что и ни при каких обстоятельствах не согласился бы на столь жестокое с нею обхождение. То, что с нею сделано, для меня во все мое литераторство, слава богу, еще новость, но, к сожалению, новость столь безотрадная, что я не знаю: чем себя утешить и как поднять к работе мои упавшие руки? Убийственнее всего на меня действует то, что я не могу взять себе в толк причин произведенных в моем романе совсем уже не редакторских урезок и вредных для него изменений. Так: выпущены речи, положенные мною в основу развития характеров и задач (например, заботы Форовой привести мужа к богу); жестоко нивелирована

типичность языка, замененная словами банального свойства (например, вместо: «не столько мяса поешь, сколько зуб расплюешь» заменено словом «растеряешь»); ослаблена рисовка лиц (например, не позволено Висленеву чесать под коленом) и даже допущен nonsens[1] (разговор о законе, имевший смысл лишь после разговора о разводах — что выброшено совсем во вред). Без всякого неуместного «авторского самолюбия» не могу горестно не сетовать, зачем все это сделано и отчего мне не сказано, что с моею работою будут делать все это?.. Что теперь сотворить и как помочь этому великому для меня горю? Повторяю: у меня пали руки, я не знаю, чем поднять их к работе, — столь все это мне кажется жестоко и столь непривычно!

Крайне расстроенный и огорченный, я не нахожу даже слов, как уместнее выразить Вам мою просьбу помилосердствовать надо мною и не отнимать у меня средства окончить работу с уверенностью, что Вы не отвергаете во мне известной доли смысла и сознания для того, чтобы соображать материал моей постройки; но сделайте милость, не взыщите с меня за форму

---

[1] Примечания: 1

Нонсенс, бессмыслица *(англ.)*.

моего обращения к Вам и не отнимите у меня совсем руки от дела, дабы как-нибудь хотя одолеть поверье, что я при всем моем тяготении к уважаемой редакции «Р<усского> в<естника>» должен отказать себе в удовольствии служить ей моими, должно быть мало пригодными, силами.

С совершеннейшим к Вам почтением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою

Н. Лесков.

С. А. Юрьеву

5 декабря 1870 г., Петербург.

Милостивый государь!

Вчера я имел удовольствие прочесть объявление об издании Вами «Беседы». Объявление это очень меня обрадовало: Вы обещаете журнал в духе, который найдет, конечно, сочувствие всех истинно русских людей. Не имея чести знать Вас лично (хотя и наслышан о Вас от А. Ф. Писемского и П. К. Щебальского), я спешу приветствовать Ваше предприятие и предлагаю Вам иметь в виду мою готовность служить Вашему изданию, если Вы того пожелаете. У меня есть оконченный роман, начинавшийся уже печатанием в «От<ечественных> зап<исках>» и известный довольно многим по этому началу. Он называется «Божедомы». Герои его несколько необыкновенны, — они церковный причет идеального русского города. Сюжет романа, или, лучше сказать, «истории», есть борьба лучшего из этих героев с вредителями русского развития. Само собою разумеется, что ничего узкого, фанатического и рутинного здесь нет. Детали романа нравятся всем, и, меж-

ду прочим, Мих. Ник. Каткову, но в общей идее он для некоторых взглядов требует изменений, которых, по-моему, он вовсе не требует. Задача и стремление этого сочинения выражены лучше всего словами Вашего заявления:

«Вселенская Христова истина, сохраненная во всей ее чистоте восточною православною церковью, была просветительницею русского народа с первых веков его истории: под влиянием ее сложились его духовный строй и существенные основы его быта. Мы, согласно истинному духу нашего вероисповедания, ожидаем от полноты братской любви и свободы — всей правды в русской жизни».

Вырезаю этот прекрасный текст и наклеиваю его.

Потрудитесь подумать: не соответствовало ли бы такое сочинение Вашим требованиям, и потрудитесь тоже написать мне пару слов в ответ на мое предложение.

Если Вам подобная работа нужна, то я захватил бы про всякий случай с собою рукопись «Божедомов», когда поеду в конце января к М. Н. Каткову, для свидания с ним по делам ныне печатаемого в «Р<усском> в<естнике>» моего романа «На ножах». Я бы прочел Вам моих попов и очень бы рад

был слышать им Вашу оценку.

С должным к Вам уважением и безмерным желанием успехов Вашему делу имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

Николай Лесков (Стебницкий).

Прилагаю при этом мою карточку и адрес.

С. А. Юрьеву

18 декабря 1870 г., Петербург.

Милостивый государь.

Я вчера получил Ваше почтенное и необыкновенно приятное для меня письмо и сегодня же спешу отвечать Вам. Будьте милостивы, простите мне, что я пишу эти строки даже без условного форменного вступления. Не отнесите этого к чему бы то ни было, кроме желания отвечать Вам скоро, тогда как я не знаю Вашего имени и отчества и, по нездоровью моему, не могу видеть людей, у которых мог бы о них справиться. Надеюсь, что Вы меня простите и не осудите за это, тем более что источник моей нынешней поспешности есть именно то горячее сочувствие Вашему направлению, которое Вы не напрасно увидали в моих первых строках. Будем ли мы трудиться вместе или нет, я навсегда сохраню дорогой для меня Ваш отклик на мое письмо. Я действительно горячо сочувствую Вашему направлению; я верю в его святое и высокое значение; я чту достойнейших людей Вашей партии (чести которых, к досаде своей, не умаляют даже и предатели отчизны), и я

всегда тяготел к Вашему стягу, но я вышел на литературную работу тогда, когда «Русская беседа» уже не существовала, а к газетной работе я мало способен. Весть о Вашем журнале — весть радостнейшая для меня, и я хочу и готов приложить все мои силы и все мое старание для того, чтобы по возможности содействовать успеху Вашего издания. Благодарю Вас, что Вы сами «зачли меня своим сотрудником» — я буду им со всеми моими способностями и любовью к нашему честному и святому влечению служить родине словом правды и истины. Благодарю Вас искренно, горячо, ото всего моего простого и нестерпимо болящего за родину сердца!

Что же бы Вы хотели и что бы я мог сделать для Вашего издания так, чтобы участие мое принесло Вам как можно большее подспорье?.. Позвольте оговорить об этом. Я, конечно, очень сжато выразился, говоря Вам в первом моем письме о романе «Божедомы». *Продолжать*ь его нельзя, и его надо напечатать *весьсполна*, то есть повторить прежде напечатанные 7 листов, дав их не в счет абонемента подписчиков, и потом продолжать. Само собою разумеется, что бывшие уже в печати 7 листов должны идти бесплатно, без всякого авторского гонорария, как и предполагалось

сделать в «Русском вестнике». Таким образом, у Ваших читателей будет весь целый роман, или, как он у меня назван, «история лет временных», но прежде напечатанная доля этой истории пойдет Вашему изданию бесплатно, и Вы потратитесь лишь на излишние листы, если захотите дать это особым приложением (в чем, кажется, нет и необходимости потому, что Вы не связываете себя объемом книг). «Божедомы» готовы давно, но их все-таки нужно будет пересмотреть и кое-что поизменить, кое-что выкинуть, кое-что вставить. Я это сделаю, как немножечко пооблегчусь в работе с оканчиваемым мною романом для М. Н. Каткова, и тогда увидимся и переговорим. Если же угодно, то я пришлю Вам половину рукописи, но это только в том случае хорошо, если рукопись эта Вам нужна скорее, чем я могу быть в Москве (в феврале). Напишите мне, и я сделаю так, как Вам лучше.

Далее: пять лет тому назад по поводу толков «о призвании женщины» и кривотолков о русской женщине с верою и упованием, которые были осмеяны, мне пала в голову и в сердце неотвязная мысль изобразить в живом очерке: мешают ли эти злополучные вера и упования истинной свободе чувства и независимости женщины? В

обдуманном плане я уложил целую эту идею в повесть, снабдив ее и кличкой по шерсти. Повесть эта должна быть названа: «Марфа и Мария». При этом библейском названии во главе повести идти и евангельский эпиграф: «Марфо, Марфо, печешися» и пр. Отсюда, я думаю, Вам уже понятно, чту будет сказано в этой повести? Она еще не писана, но весть о Вашем журнале и особенно радушное письмо Ваше говорят мне, что ей пора писаться и поспевать к Вам. Не откажитесь мне ответить: нравится ли Вам мой замысел поделить наших современных соотечественниц на «Марф и Марий» и показать всю тщету их «марфунства» при несомненной ясности пути Марий? С получением Вашего ответа я немедленно начну повесть и надеюсь, что напишу ее скоро с любовью и с желанием дебютировать в Вашей «Беседе» с достойной вещью.

И еще далее: я и еще могу и желаю служить Вам. У меня есть «влеченье, род недуга» считаться с общественным настроением и шарлатанством наших лицедеев, для чего так удобен род фельетонного писания, но, конечно, не такого, какой принят петербургскими газетами. В Москве этим вовсе пренебрегают, и совершенно напрасно. Припомните фельетонный пошиб Гейне и Герце-

на — какая это прекрасная форма и какая ловкая и удобная! Я не хвалюсь, что я могу сделать это так же, как они, но я много раз пробовал, и, кажется, моя попытка была не без удачи, — таковы некогда «Русские обществ<енные> заметки» в «Биржевых ведомостях», где я искал случая восстать против пошлой радости по случаю предостережения, данного Каткову; некоторые статьи бывшей «Северной пчелы» против Герцена и «Русское общество в Париже» в «Библиотеке для чтения» Боборыкина. Я люблю между большою работою ловить мимолетный случай жизни, получающий ложное освещение и толкование, с тем чтобы дать ему освещение подлежащее и толк по разуму и по совести. В «Современной летописи» М. Н. Каткова Вы на сих днях увидите такие мои очерки, озаглавленные общим заголовком: «Смех и горе», которые будут подписаны вымышленным именем «Меркул Праотцев». Не хотите ли иметь от меня раз в месяц письмо о петербургской общественной жизни? Конечно, это будут письма не о балах, новостях и скандалах (о чем я мало и знаю), но это будет летопись заблуждений, ошибок, неправд и грехов общественного неразумия и злобы по делам якобы текущего дня. Я просил бы себе для этого в журнале от листа до двух в

месяц, а там увидим, как будем нравиться. О том же, что мы сойдемся *во всех воззрениях*, я считаю излишним и говорить. Благоволите ответить мне и на этот вопрос, и если ответите скоро, то я, может быть, еще успею прислать Вам письмо для первой Вашей книжки.

Теперь о Вашем издании: здесь его ждут и говорят о нем — конечно, каждый по-своему. Преобладающее мнение то, что Вас «нахлопнут». Дай боже, чтобы эта беда Вас минула. Надо больше змеиной мудрости, больше! Потом: литературщики трубят, что Вы одни, без людей. Надо бы вначале статей уважаемых людей вроде Ив. Серг. Аксакова, Юр. Самарина и других, которые с Вами заедино. Их статьи сразу окрасят издание и подсекут толки вредителей. Безмерно жаль, что Вы запоздали с Вашим объявлением, и дай бог, чтобы это было только с объявлением… Опыт «Вестника Европы» показывает, как много значит в нашем малоразборчивом обществе своевременность выхода книжек… Трудно поверить, до чего дорого ценит это провинция и особенно читатели захолустий! Пока он разберет, что ему прислали, он не нарадуется и не нахвастается, что ему уже прислали нечто.

Помогай Вам бог на все доброе и достойное Вас

и Ваших благородных и благомыслящих родине друзей.

Ваш слуга

Николай Лесков.

Не откажите, пожалуйста, высылать мне экземпляр «Беседы», адресуя ее «в Петб., Ник. Семенов. Лескову, Фурштатская, № 62».

Не укажете ли мне в Петербурге лица, через которое я мог бы сноситься с редакциею, не вверяя рукописей легкой почте, при чем легко возможны потери и проч.

П. К. Щебальскому

19 декабря 1870 г., Петербург.

Это прекрасно, достойнейший Петр Карлович, что Вас «учили писать письма». Я сам тоже очень рад, что обучен этому и беру еще уроки у Вас: говорю сначала о Ваших поручениях.

Письмо Ваше страдает неполностью, точно Любимов «приготовил его к печати». Я не вижу из него, получили ли Вы два мои письма, в которых я подробно описывал Вам причины незадачи с Вашими депешами и затруднение со статейкою. Мне будет очень жаль, если все это остается Вам неизвестным во всей курьезной полноте, несколько облегчающей меру вины Усова и Трубникова, которые затем уже могут быть названы только свиньями, и то с значительными преимуществами на долю последнего. Усов виноват менее, хотя ему, разумеется, пора бы знать своего премудрого принципала и надо бы знать, что образованные люди обыкновенно отвечают на письма, как отвечают на вопросы в разговоре. Но черт с ними, в самом деле!

Я сегодня ездил с Вашим счетом, отдал его кас-

сиру и просил поверить (как это у них водится) и высчитать, сколько Вам следует за корреспонденцию, пошедшую передовою статьею. Усова я сегодня не видал, а Трубникова предпочитаю не видать вовсе. Деньги Ваши или обяжу послать Вам немедленно, или же вытребую и сам Вам отошлю, разумеется тоже немедленно. При этом, конечно, не лишу себя удовольствия и поговорить об их вежливости и любезности к заслуживающему уважения человеку. На ближайших днях отпишу Вам об этом подробно. Не знаю, что из этого выйдет, но не думаю, чтобы они «не дорожили» Вашим сотрудничеством. Нет, это просто дурь и совершенное равнодушие к настоящим достоинствам дела. Я Вам писал об отзывах Усова и еще раз сожалею, что это письмо пропало. Я буду в начале речей «мудр яко змий и незлобив яко голубь», а там увижу: пойдут ли они на поправку, или пора с ними совсем расплеваться. Может быть, еще и пойдет дело!

Теперь о своей рубашке. Я совершенно согласен с тем, чту Вы говорите о печатании повести в «Летописи». Это действительно будет меледа, а не печатание, и для меня гораздо лучше видеть ее в «Русском вестнике», но только не по окончании романа, ибо в повестушке той много вещей,

имеющих интерес временный, да и потом роман при их делении не может кончиться ранее пяти или шести месяцев. Надо печатать повесть или в журнале с псевдонимом «Меркул Праотцев», или же в «Летописи» с моею настоящею фамилиею, но во всяком случае немедленно, не ожидая окончания романа. К тому же, если и печатать ее в «Р<усском> в<естнике>» тотчас за романом, то не все ли равно будет тянуться мое имя? Нет, бога ради скорее! Там ли, сям ли, но скорее, а то она уж и так выдыхается, да и мне позарез нужны деньги, а их мне дают с крайнею осторожностью. Устройте, пожалуйста, повесть, как сами заблагорассудите, но лишь бы она не лежала. Мне, конечно, лучше и приятнее видеть ее *со своим именем*, но и это предаю во власть Вашу. Об ней было столько переговоров, что я сам уже не нахожу удобным снова еще раз переговариваться, и все, что Вы с нею учините, приму то за благо и ни против чего спорить и прекословить не буду. (Я думаю, что ведь гонорарий одинаков что в «Летоп<иси>», что в журнале. Это тоже важно.) В повестушке в *начале*, кажется, надо бы кое-что сдвинуть, сконкретовать… Мне помнится, таково было и Ваше мнение, да и я то же думаю, но только прошу Вас не отказаться взять это дело на себя.

Пожалуйста, возьмите ее к себе! Скромностью Н. А. Любимова Вы напрасно кичитесь (с его слов, разумеется). Это просто ужасный человек, Атилла, бич литературы!.. Он что же делает-с? — он черкает не рассуждения, не длинноты, а самую *суть фабулы!!* Он обворовал Ларису ни за что ни про что, и именно в ноябрьской книжке, в разговоре Форовой с Синтяниною у реки. Раз показано было, что «Лора роковая и скрывает в себе нечто, а может быть и ничто», — далее: старик генерал о ней говорит, что «ее, как калмыцкую лошадь, один калмык переупрямит», — это все нужные, необходимые ритурнели, и их нет, и зачем их нет, это один черт знает! И добро бы это были длинноты, — нет, это говорилось в кратчайших словах… То есть просто черт его знает, чего он хочет и из чего, из какого шиша я теперь сделаю эту Ларису? Отчаяние полное и бесконечное! Я готов бросить роман недописанным, потому что все равно боюсь, что сей профессор с его резвыми руками совсем меня спутает, и романа станет *нельзя свести с концом*. Я хотел ему было писать, Да боюсь, то ли напишу, что следует. Ну, художник! ну, «приготовитель к печати!» Недаром Вы запугали всех людей, тяготеющих к Вам по своему направлению. Это спаси и сохрани господи

злого татарина, а не только Ф. Берга, который дописывает свою повесть, но едва ли пойдет на любимовские пытки.

Потом, что за корректура! В разговоре попа о травах «алиела» вместо *«омела»*, «родилища» вместо *«родимца»* … Эко толково! И еще: поп на приглашение Висленева выпить вина говорит: я вина никакого.

— Ну, хересу, — просит Висленев.

— Ну, разве ксересу, — отвечает поп.

Этот *ксерес*, разумеется, не сдуру же был поставлен вместо *хересу*, а для выработки типичности в языке доброго Евангела, так г. Любимов и это изволили поправить!.. Ах, сказал бы я ему за это словцо, встретя его на улице, да боюсь не позабыть бы, пока встретимся, ибо он столь мил, хорош, и прочее, и прочее.

Помогите, ради бога, если чем можете подействовать на сего ужасного оператора!

Здесь романом заинтересованы очень сильно. Хотелось бы знать: как в Москве?

Вашего «Шишкова» прочел с удовольствием и интересом большим. Я, впрочем, всегда читаю все, что Вы пишете, и занимаюсь не одним «интересом», но и способом Вашего обращения с людьми и манерою писания, которую очень

люблю. Сторонних отзывов пока еще не слыхал, ибо сижу дома и точу веретена, которые Любимов в свое время потщится позатупить.

Сегодня пишу ему несколько строк о распределении частей и не вхожу ни в какие иные объяснения, — боюсь быть «увлекательным».

От Юрьева вчера получил письмо не только радушнейшее, но даже лестное, — я не полагал, чтобы они меня так знали, как вижу из его письма. Я сегодня уже отвечал ему с благодарностью и полною готовностью служить им чем могу. Корреспонденции я, думаю, буду писать им, и потому нет нужды посылать никакого пробного письма.

Веру Петровну благодарю, что она читает мой роман. У нее такое удивительно четкое лицо, что я в жизнь мою не видал ничего подобного ее выражению, и думаю, что она должна видеть полтора аршина под землею. Будущей героине повести, которую завожу для «Беседы», подарю ее благородные черты, так как Любимов мне не позволил и живописать мою видящую под землею генеральшу.

Кланяюсь Вам, чтимый, уважаемый и преданно мною любимый Петр Карлович, и прошу Вас ждать от меня на сих днях и Ваши деньги и отчет о моих объяснениях.

Ваш слуга

Н. Лесков.

P. S. Нет; решил совсем не писать Любимову! Потрудитесь ему сказать одно, что я прошу обе книги второй части назначить *самостоятельными частями*, что совершенно необходимо после уничтожения им деления частей на книги, ибо 1-я книга II части (где изображен современный нигилистический Петербург) не должна сливаться со 2-ю книгою той же части.

Третью часть я тоже разбиваю на две, и роман таким образом выйдет в*пяти частях*.

Усердно Вас прошу передать это.

Н. Л.

Письма 1871 года

С. А. Юрьеву

6 января 1871 г., Петербург.

Милостивый государь
Сергий Андреевич!

Вы увлекли меня Вашим письмом до некоторой восторженности, под влиянием коей я написал Вам длинное письмо с целым рядом благожеланий искренних и предложений всяческих (может быть, наполовину вовсе неуместных). Теперь при свидании в Петербурге с Ал. Феофил. Писемским я имел случай узнать кое-что более о духе и направлении, которых Вы намерены держаться в Вашем журнале, и еще более радуюсь появлению этого издания, еще более единомыслю с ним и еще более ему сочувствую и желаю служить ему. О беллетристических работах мы поговорим с Вами при личном свидании, так как я около половины февраля рассчитываю быть в Москве, но мне хотелось бы и даже совершенно необходимо знать: по обычаю ли Вам мое предложение писем из Петербурга (смешанного полубеллетристического характера)? Я говорил об этих письмах с Алексеем Феофилактовичем, и он одобряет

мой замысел для Вашего журнала, и, надеюсь, одобряет не из вежливости лишь и любезности. Пожалуйста, при свидании с ним потрудитесь решить, нужны ли Вам такие письма в размере от листа до полутора листа в месяц, и не откажите мне в удовольствии получить определительный ответ на этот вопрос.

Повесть для «Беседы» я заделал и, верно, предложу ее летом на Ваше обсуждение, а план ее сообщу Вам в феврале. Название же повести будет, как я писал Вам, «Марфа и Мария». Если бы Вы пожелали объявить о ней (если будете это делать), то, конечно, с моей стороны никаких претензий против этого нет, потому что повесть эту я не предложу никому прежде Вас.

С глубочайшим сочувствием к Вашему делу и с почтением к Вам имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

Никол. Лесков.

P. S. В «Совр<еменной> летописи» идет мой фельетонный рассказ. Пожалуйста, взгляните в него: он может дать понятие, чту я могу «возделывать» в моих письмах. Письма я, переговорив с А. Ф., полагаю подписывать или буквами, или всем собственным моим именем, без новой маски.

П. К. Щебальскому

14 января 1871 г., Петербург.

Вы, вероятно, уже знаете, достойнейший Петр Карлович, о беде, постигшей сообщенное мною сведение о св<ященнике> Смирнове. Поистине понять не могу, что это такое может значить, и, прилагая при сем ответ на полученный мною запрос от редакции, усердно прошу Вас передать эти строки Михаилу Никифоровичу. Я жду ответов из Ревеля скоро и надеюсь восстановить правду сообщенных сведений, ибо ошибка здесь решительно невозможна.

Посылаю это на Ваше имя потому, что так мне кажется надежнее, а Вы, пожалуйста, на меня не сердитесь за это.

«Смех и горе» сконкретованы прекрасно. Если это Вы делали, то усердно благодарю Вас. Жаль, конечно, что все это дается по таким маленьким кусочкам. Нельзя ли, чтобы хоть следующий кусочек был целым эпизодом московских похождений героя, то есть по старому делению глав до XX главы. Эго было бы мне очень желательно.

Кроме того, земно Вам кланяюсь и прошу Вас

неотступно вложить в уста голубого купидона несколько раз слова *«простенько, но мило»*. Так, я желаю, чтобы он, говоря о том, как устроил свою квартиру, сказал: «оно, конечно, простенько, но мило». То же самое он должен употребить, говоря о доме своей хозяйки, об исправленном им зонтике, о комнате Ватажкова и о том, как он, не имея настоящей наблюдательности, решился донесть на него «простенько, но мило». То же самое надо сделать и далее везде, где купидон подводит приятеля. Не откажитесь, пожалуйста, если только возможно, взять корректуру и добавить эти словечки в подлежащих местах по Вашему усмотрению.

О романе не хочется и говорить: Горданову не позволяют быть во фраке, когда он охуждает неуклюжий сак Базарова; корректура ужасная; получаю книги через две недели, между тем как другим присылали корректурные листы… Нет; видно уж не везет! Пишу далее, как сухой мерин борозду гоню, чтобы кончить, да и к стороне.

Про Вашего Сушкова заговорили. Слышал от литераторствующих цензоров, что «это уж слишком». В «Биржевых в<едомостях>» фельетонист процитировал Вашу статью и, по фельетонному обычаю, скрыл источники, но Красовский вооб-

ще стал у газетчиков притчей во языцех.

Ужасно скучаю, что не могу исправить Вам никакой службы и лишен удовольствия видеть Ваши строки, служившие мне доказательством Вашего лестного мне внимания.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

P. S. Алексей Филатыч приезжал сюда кряхтеть и сетовал, сколь тягостно ему было получать деньги с К<ашпире>ва. «Главное дело, — говорит, — все это, братец, надо помнить, что есть у тебя вексель; надо его в срок протестовать; десять дней *грацыи спушшщать* ... ведь это все беспокойство!» Да и впрямь так, хотя едва ли это главное.

За роман меня в «Петерб<ургских> ведом<остях>» выругали, а впредь еще не того ожидаю. Подписка у всех прекрасная, кроме «Зари» и «Нивы», — так глаголет Базунов. По отзывам «Летучей библиотеки», роман мой читается нарасхват и с азартом, даже превосходящим мои ожидания. Читают ли «Смех и горе»? Пожалуй, повестушка эта так и кокнет, как разбитое яйцо в яичницу, во всяком случае, впрочем, весьма почтенную и вкусную. Я думаю, по таким маленьким кусочкам невозможно читать, а потом забудется, да так и не прочтется.

Спеша успокоить редакцию, я тотчас же по получении сегодня их письма послал им депешу и сказал, что письмо следует. Получили ли они депешу? Прилагаю квитанцию.

П. К. Щебальскому

2 февраля 1871 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

В пополнение всех неудач со «Смехом и горем» в печатании этой повестушки начался перерыв. Вот уже в двух номерах ее нет, и я ничего не знаю о причинах этого смеха и горя с «Смехом и горем». Усердно прошу Вас, не осудите меня за назойливость и, пожалуйста, черкните мне два слова, как намерено начальство поступить с этою злополучною моею работою? Вы, конечно, поймете, как мне, рабочему человеку, нелегко все это видеть, сносить и не уметь помочь себе ничем?

Пожалуйста, пособите и не оставьте меня в неведении.

Трубников потерял и последнего профессора Предтеченского, а с ним и всех отцов церкви. Теперь он «проклят».

Ваш слуга

Н. Лесков.

Для «Беседы» не только начал, но даже *кончаю* работу и за то от них не получаю теперь ни слова. Работу сию, надеюсь, позволите прочесть Вам.

П. К. Щебальскому

11 февраля 1871 г., Петербург.

Ваше превосходительство меня, чтителя своего, изволили уязвить напрасно, назвав меня «чадолюбивым отцом своих творений», тогда как я их чуть ли не как щенят закидываю (чего и не поставлю себе в похвалу, а наипаче в покор и порицание). Но зато и я смею на отместку «язвануть» Вас, уважаемый и достойнейший протектор мой, Петр Карлович. Вы писали мне, что «от Усова никакого письма не получали», — это так; но Вы прибавили, что «и не получите», — в этом Вы ошиблись. Не все, значит, делается и по Вашему. Сегодня я был «у них», в камере, оставленной «отцами», и говорил с ними насчет книжки «Письма о Киеве» Максимовича, которую меня просят проблаговестить (чего, кажется, и от Вас ожидает Ваш ветхий деньми хранитель голенищ ярославлевых и дву тьму новейших динариев, пенязей и златниц, то есть М. П. Погодин, отправивший Вам экземпляр этой в самом деле интересной книжки). При разговоре со мною «они» заявили *удивление*: почему-де Щ<ебаль-

ский> нам не хочет давать передовых статей? На удивление это я отвечал сугубым удивлением и умеренною нотациею, добавив при сем, что мне от Вас запрещено даже и говорить об этом. Усов был моими словами крайне переконфужен и просил меня «поправить это дело»; а я ответил, что не я его испортил и не мне его поправлять, ибо я тут и сам не на радостях, краснея за них перед человеком, достойным всякого почтения. Поговорили смачно. После того Усов спросил моего мнения: поправится ли дело, если он напишет Вам сознание своей вины и попросит о возобновлении сотрудничества? Я отвечал, что ни за что не ручаюсь, но извинение есть их долг перед Вами. Тут Усов вскочил и написал Вам извинение, которое я прочел: оно не складно, но полно. Перестаньте, пожалуйста, сердиться и пишите им! Теперь их редакция на Литейной, и я, ходя гулять, всегда могу заносить Вашу работу, и наблюдать за ней, и производить настояния и взыскания. От Т<рубникова> же письма ждать нельзя, потому что он практиковать это рукомесло *конфузится* … (Это истина!) Ему гнусные Ъ досаждают, и зачем же его «изнурять», как героиню романа Писемского? Не вводите в искушение его милую застенчивость и преложите гнев на милость, по покаянному

канону одного Павла Усова. Роман Писемского жив, но, по-моему, похабные места можно бы к черту, и это делу бы не помешало. Что за радость такая гадость? При девушках читать невозможно, и я именно на этом и попался. Достоевский, надо полагать, изображает Платона Павлова, но, впрочем, все мы трое во многом сбились на одну мысль. Статьи «Беседы» мне не понравились. Вы правы — это, говоря по-гамлетовски, всё «слова, слова и слова». Особенно такова перепичканная всяким шпигом статья Юрьева. «Чего ради трата сия миру бысть?» Подписка их у Базунова, однако, двинулась, но библиотеки на них ропщут, и «Летучая библиотека» (самая сильная) показывала мне письмо, подписанное Майковым, но содержащее «слова» и бестолковщину. Я ничего не понял… Жду Вашего ответа.

Лесков.

Г. Бенни

<4 марта 1871 г., Петербург>

Господин пастор! Я близко знал и считал своим другом брата вашего Артура Бенни, бесчестно оклеветанного в Петербурге, и Вы, вероятно, знаете немножко о моей с ним приязни. Это чувство внушило мне мысль восстановить его поруганную честь подробным рассказом об его пребывании в России. Рассказ этот напечатан в прошлом году в одной из петербургских газет («Биржевые ведомости»). Он принес свою долю пользы, но и возбудил со стороны злонамеренных людей новые толки не в пользу покойного брата Вашего, и даже во вред мне. Все это стало делом чести Вашего семейства и моей. Я решился вновь повторить печальную историю Артура, но уже не в газете, а отдельною брошюрою в десять листов, которая уже печатается и выйдет в свет без предварительной цензуры. Зная об этом моем намерении, Иван Сергеевич Тургенев написал мне письмо, в котором, одобряя мое «хорошее и честное» (по его словам) заступничество за поруганную память покойного Артура, обещал,

тотчас по выходе этой брошюры, поддержать слова мои и, с своей стороны, запротестовать таким образом против укоризн, оскорбляющих неповинного члена Вашей семьи. Книгу мою я посвящу Вашей матушке и Вашему семейству, которое уважаю и люблю по Артуру. Не оставьте сообщить об этом уважаемой матери Вашей и соблаговолите известить меня о ее имени и согласии. В книге я предпошлю письмо к Вашей матушке. Если при всем этом Вы не откажетесь сделать мне какие-либо указания, нужные для моего сведения, или почтите меня строкою от Вас или от Вашей матушки — разумеется, строкою, властною содействовать восстановлению доброго имени Артура, — то, как бы ни коротка была эта строка, я дам ей самое почетное место в моей книге. Я считал бы это даже необходимым, дабы положить конец толкам, *кто* таков был Л. Бенни, так как об этом до сих пор еще спорят и желают видеть в нем какого-то «Бениславского». Во всяком случае, позвольте надеяться, что вы удостоите это письмо мое ответом в самом непродолжительном времени.

Ваш, милостивый государь, покорный слуга

Н. Лесков.

А. С. Суворину

5 марта 1871 г., Петербург.

«Коварный, но милый» благоприятель
Алексей Сергеевич!

Исполняя мое вчерашнее обещание, посылаю Вам четыре книжки «Русского вестника», в которых напечатаны две первые части моего романа. Прочтите, судите и «ругайте», если добрая совесть Ваша укажет Вам, за чту «ругать» следует. Посылаю тоже четыре № «Современной летописи», в коих напечатана другая моя литературная безделка. Ее в Петербурге «просмотрели» (то есть не заметили), а ее тоже стоит, может быть, «обругать», а может быть, и нет. Во всяком случае, пожалуйста, пробежите ее. Тут поставлено: («окончание»), но это ошибка — будет еще отрывка три или четыре.

О делах буду писать Вам завтра.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

5 марта 1871 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Хотите ли Вы или не хотите, но Вы упорно заставляете меня не только чтить, но и любить Вас, как никого не любил с дней моей юности! Вы сделаете меня безмерно счастливым, если позволите мне хранить в моей душе это чувство, дающее мне прекрасные и высокие минуты. Ваше слово меня животворит, одушевляет и поддерживает. Благодарю Вас, и несказанно благодарю, за все, а наипаче за внимание к моим работам, за поощрение, за совет, за указания. После покойного Дудышкина ко мне никто так не относился, и я никогда этого не забуду. Я слаб, я, на горе мое, слишком болезненно все чувствую, и поддержка для меня так дорога, что Вы не можете себе этого представить!

Я вас послушаю и не буду выходить из провинции, насколько можно, хотя роман уже попорчен страхом чирканья… То, что вы читаете (и чего я еще не читал), писано в Ревеле, до страха, нагнанного мне Любимовым. С тех пор я писал кое-как

— лишь бы короче, лишь бы кончить, и перенес все мои симпатии на повесть, которую привезу Юрьеву и которую попрошу позволения прежде прочесть у Вас. Ею я сам даже доволен.

Статьи Вашей о Миртове жду, но как «Р<усский> в<естник>» ходит к нам по допотопной почте «на волах», то вот уже 2 часа 5-го марта, а Питер еще не получил февральской книжки. Вы бы сказали об этом.

Я писал М<ихаилу> Н<икифорови>чу, что Ив. С. Тургенев собрал 4-го ч<исла> (то есть вчера) всех представителей искусства на вечер (у Демута). Я хотел об этом вечере написать в «Московских в<едомостях>», да не напишу, потому что неудобно. Собралось 160 человек. Буквально были все искусники: музыканты, певцы, литераторы, артисты (то есть актеры), живописцы и ваятели. Был квартет, были речи, играл Рубинштейн, — толковали *о соединении церквей* и, кажется, остановились в положении церковного же соединения. Выбрали комиссию по два человека от цеха (Анненкова, Боборыкина, Самойлова, Васильева, Рубинштейна, Балакирева, Зичи и Клодта). Пристойно все было до нельзя более. Пьяная компания не пошла на сходку, но тонкий задор был, хотя очень слегка. В следующий четверг

снова положили собраться у того же Демута, и надеемся это продолжать, покуда выпросим себе «беседу», но не клуб. Почин этого дела оказался не за Тургеневым, а за Рубинштейном, Микешиным и Самойловым. Рубинштейн и Тургенев завтра уезжают, первый к Вам на концерт (до среды буд<ущей> недели), а второй в Мценск. Новостей бездна, да всего не изобразишь в письме.

Будьте здоровы и вечно живы и юны Вашим прекрасным сердцем.

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Нельзя ли Вам сказать Любимову, чтобы он присылал мне роман из дефектовых листов в конверте по почте? Ведь это просто, и несносно не знать, что напечатано. Был ли у Вас некто Гойжевский? Я *должен был* дать ему рекомендацию к Вам.

А. С. Суворину

20 марта 1871 г., Петербург.
Воскресенье.

Благодарю Вас, Алексей Сергеевич, за Ваше письмо и сохраню его, как доказательство, что я *никогда* в Вас не ошибался, считая Вас человеком, ищущим правды и любящим ее. О том, кто из нас грешит в выборе путей для этого искания, говорить долго (по-моему, Вы грешите более меня, нападая на таких людей, как Катков), но довольно того, что мы уже можем опять вести хотя литературные споры (в чем, однако, заслуга принадлежит мне, ибо я доказал, что я Вам вполне верю и уважаю Вас, несмотря на нашу разность во мнениях и даже на Ваши не совсем ловкие, надеюсь, нападки на мою совесть). Благодарю Вас за указания. Роман, конечно, с большими погрешностями, но в нем еще многое не выяснено. Я не думаю, что мошенничество «непосредственно вытекло из нигилизма», и этого нет и не будет в моем романе. Я думаю и убежден, что *мошенничество примкнуло* к нигилизму, и именно в той самой мере, как оно примыкало и примыкает

«к идеализму, к богословию» и к патриотизму. Я (может быть) связан кое-чем, что не мог провести этих параллелей, а они меня даже и занимали и намечены в плане романа. «Непосредственное же продолжение» нигилизма есть майор Форов — лицо, впрочем, наиболее потерпевшее от уступок, какие я должен был в нем сделать. Они простираются очень, очень далеко, и вширь, и вдоль, и вглубь… Но тем не менее *он* есть «продолжение» нигилизма, и я советую Вам терпеливо задержаться осуждениями, пока прочтете всю третью часть романа, где уяснится и Синтянина.

«Сочинения» нет. Разве Вы не знаете «литератора-ростовщика», служащего в полиции и пишущего в «Искре»? Разве Вам не известны его проделки с Кашеваровой и мн<огими> др<угими>? Вы жмурите глаза, мой уважаемый противумышленник! Вы не свободны и партийны, гораздо более чем я, которого в этом укоряете. Я не мщу нигилизму за клевету мерзавцев и даже не соединяю их воедино в моей голове. Я имею в виду одно: преследование поганой страсти *приставать* к направлениям, не имея их в душе своей, и *паскудить* все, к чему начнется это приставание. Нигилизм оказался в этом случае удобным в той же мере, как и «идеализм», как

и «богословие», — в этом Вы правы. Но Вы не хотите правды… Вы укоряли меня за письма о Бенни, а Ив. С. Тургенев письмом ко мне признал эти письма «делом честным». Где же истина, и за кем беспристрастие? Беспристрастны ли Вы, придираясь к Каткову за его лицей? Конечно, я не могу видеть в этих нападках того беспристрастия, какое сам я обличаю в Форове, в моем уважении к Вам и во многом другом. «Ран», нанесенных мне мерзавцами, клеветавшими на меня, я не чувствую. Поверьте мне в этом! Да и что чувствовать? Неужто у меня нет друзей, или мне заперты двери честных домов, или мне негде помещать моих работ? Боже мой! Какой же вред они мне сделали? Кто же, зная меня, не знает, что я имею право быть назван человеком не глупым и честным? Затем, когда смерть сделает свое дело, все это получит новое освещение, и стыдно будет не моим детям, а детям тех, кого я по совести называю клеветниками и подлецами.

Да, я спокоен! Верьте мне, уважаемый недруг, что я не мщу никому и *гнушаюсь* мщения, а лишь ищу правды в жизни, и, может быть, не найду ее. Остальные части романа пришлю Вам (если хотите, у меня есть корректура всей 3-й части). Жму Вашу руку и еще раз благодарю Вас.

Никол. Лесков.

Я потерял Ваш адрес и не помню его. Прилагаю Вам клочок, — не найдете ли в себе «беспристрастия» поговорить об этом.

С. А. Юрьеву

31 марта 1871 г., Петербург.

Милостивый государь
Сергий Андреевич!

Зная Ваши недосуги, теперь уж совсем боюсь беспокоить Вас моими письмами, а между тем «грех воровать, да нельзя миновать». Я должен дать Семевскому ответ о письмах Журавского и Нарышкина и потому усердно прошу Вас сказать мне: годны ли Вам эти письма, или они не имеют для Вас интереса? В последнем случае возвратите мне их, пожалуйста, по почте.

Прошу Вас принять уверение в моем почтении, с каковым имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

Никол. Лесков.

P. S. Статья «о свободе совести» меня очень заинтересовала. В публике здешней о журнале почти не знают или сторонятся его, повторяя с чужих слов: «серьезно и скучно». Как Вы хотите, а мне кажется, у Вас действительно очень большое преобладание серьезного, так сказать трактующего чтения перед живым и художественным.

Может быть, это в Ваших целях, но это всегда обрезало успех изданий, державшихся такой программы, и надо желать, чтобы с Вашею «Беседою» сталось иначе. Надо же брать в расчет, что журнал выписывается для *всей семьи*, для целого дома, и половина Ваших читателей женщины… Эта вся ученость не в их вкусе; а их вкуса Вы не должны забывать, ибо иначе они Вам отомстят злее всяких литературных врагов.

Я не понимаю: зачем наши современные редакторы отменили старинное деление книги на два отдела? То было гораздо удобнее, и самый разнообразный читатель находил себе тогда подходящее чтение, да и редакции виднее было, чего куда надо привесить и примерить. Я бы непременно держался этой умной и удобной старины, столь соответствующей разности наших читателей в одном и том же семействе, где получается известный журнал.

Однако же простите за приятельскую откровенность.

Н. Леск.

P. S. Милюков написал повесть «Царская свадьба». (Это сватовство и кончина Марии Темрюковны.) Изучение старины большое и воспроизведено не худо. Сегодня вечером он читает

эту вещь у меня при знатоках древнего русского быта: Семевском и епископе Ефреме. Думаю, что Вам бы нелишнее взять этакую штуку, а ей и цена не с гору.

А. Ф. Писемскому

6 апреля 1871 г., Петербург.

Милостивый государь
Алексей Феофилактович!

Не мне писать вам похвальные листы и давать «книги в руки», но по нетерпячести своей не могу не крикнуть Вам, что Вы богатырь! Прочел я 3-ю книжку «Беседы»… молодчина Вы! Помимо мастерства, Вы никогда не достигали такой силы в работе. Это все из матерой бронзы; этому всему века не будет! Подвизайтесь и не гнушайтесь похвал «молодых людей», радующихся торжеству Ваших сил и желающих Вам бодрости и долгоденствия.

Ваш слуга

Н. Лесков-Стебницкий.

С. А. Юрьеву

6 апреля 1871 г., Петербург.

Уважаемый Сергий Андреич!

(Простите, пожалуйста, что я не хочу Вас называть «милостивым государем».) Вот в чем дело: статья Майкова «Всеславянство» превосходна! Я начал ее читать с предубеждением и дочитал ее с восторгом. Точка зрения верная; развитие прекрасное; вывод благоразумнейший. Поздравляю Вас, ибо люблю Ваш журнал и Вас самих полюбил. О повести Милюкова мне уже не отвечайте, потому что ее берет Михаил Никифорович и я ее ему отдал, а насчет писем Журавского ответьте.

Бога ради, оживляйте Ваш журнал статьями и художественною мелочью, отвечающими требованиям легкого читателя! Недостаток таких вещей не проходит безнаказанно для финансовых средств издания, а это не вздор. Что делать? Надо мешать дело с бездельем — иначе «с ума сойдешь».

Что же нет у Вас писем о петербургском театре и о петербургской жизни — особенно о петербургской семье? Я жду этих вещей с нетерпением и

отзовусь на них. Разлад нашей семьи — это такая тема, на которую можно и должно отозваться живым и сердечным словом. Зачем медлит Ваш ангажированный сотрудник? Этим можно за самую жилу затронуть общество. Подгоните-ка его, — полноте все только говорить «о матерьях важних». Разве жизнь дня сего тоже не важная материя?

Роман Писемского пытаются злословить, но, по-моему, он могучая и превосходная вещь. Силы Писемского еще никогда и ни в одном из его произведений не проявлялись с такою яркостью. Это положительно так. Что бы кто ни говорил, а всем злословиям не повалить одного Элпидифора Мартыныча с акушеркой. Могучая, могучая штука! Фигуры стоят как бронзовые: им века не будет.

Затем бог Вам в помощь и сочувствие всех добрых людей. Жму Вашу руку.

Лесков-Стебницкий.

P. S. Сейчас приехала к нам доктор медицины Варвара Александр<овна> Кашеварова и говорит, что муж ее, профессор Руднев, подписался на «Беседу». Одобряю, но спрашиваю: почему так они выбрали «Беседу»? — А потому, отвечает, что статья Майкова это восторг, это прелесть, и т. д., и т. д.

Если находите удобным, передайте автору сии «восторги» прекрасной русской женщины, каковою имеет полное право называться докт. медиц. Кашеварова (которой капитальное изучение естественных наук не помешаю любить Русь и теперь не мешает молиться за раннею обеднею у Знаменья о своих грудных больных). Нет, велик, велик наш бог земли русской!

Не потрудитесь ли Вы, благосердый Сергий Андреич, отменить московский обычай не отвечать на письма? Пожалуйста, попытайтесь: это совсем не так неудобно, как принято думать в Москве на всех ее стоячих прудах.

Еще раз: здоровья Вам и успехов.

Лесков.

П. К. Щебальскому

8 апреля 1871 г., Петербург.

Благороднейший Петр Карлович!

Как было бы досадно думать, что Вы посудите обо мне по невежеству моему, а не своему благодушию? Когда мне нужда в Вас, так я что день строчу послания, а тут не тороплюсь сказать спасибо за Ваш привет, за Ваши большие одолжения в делах и за неоценимую ничем ласку Вашей благословенной и трижды благословенной семьи! Но я не виноват, а виноват во всем… Усов с Трубниковым. (Вот Вы и подивитесь, а дело именно так!) Штука в том, что я все Ваши поручения исполнил с надлежащею точностию и аккуратностию: 1) книжка Толстому отослана; 2) Базунову все передано; 3) Семевскому книга вручена, и произведен с ним надлежащий разговор; 4) в «Бирж<евых> ведом<остях>» заметка о книге Вашей написана и отослана туда на третий день по приезде, и с тех пор до вчерашнего дня я ожидал ее появления в печати, льстя себя надеждою с нею вместе (то есть одновременно) отрапортовать Вам, что все порученное Вами мною исполнено в точности.

Ожидание это было, конечно, довольно суетное: хотелось эффекта, но его не вышло, а вышло только некое невежество, удобосоединяемое с моралью басни о «дубе и свинье». Пожалуйста, простите мне и не подумайте, что и я, как оное животное, поевши желудя, «задрал от дуба рыло». Это было бы мне несносно против Вас, редкого и превосходного человека, расположенностью которого я дорожу безмерно! Я проэффектничался, и более ничего. Теперь ждать нечего, ибо когда я вчера по поводу некоторых затей был в редакции, то оказалось, что заметка моя о Вашей книге «затерялась» у нигилиста-корректора, и ее надо написать вновь, что уже и исполнено. Мих. Ив. Семевский сказал, что о Вашей книге в «Старине» *был* отзыв, но что Вы его, верно, просмотрели (то есть не заметили). Семевский сожалеет, что Вы его не застали, а он Вас, и все закончилось только визитами. Он полон к Вам и Вашим трудам наилучшего почтения. Статья Ваша в «Беседах» Об<щества> л<юбителей> р<оссийской> с<ловесности> очень замечена любителями литературы. Мне о ней с восторгом говорил, вероятно известный Вам, актер Ив. Фед. Горбунов, прибавлявший, что он «знал об этой статье ранее ее напечатания». Сочинения мои все

собрал и отдал переплесть и потом пришлю Вам с надписями. Я хочу, чтобы в милом и ласковом доме Вашем был хороший экземпляр моих литературных работ. На сих днях ко мне обратился книгопродавец Ваганов с просьбою продать ему право на «Полное собрание» моих сочинений, — я отказал. По-моему, это еще рано и невыгодно для меня, до тех пор, пока будут напечатаны «Божедомы». Здесь я вошел с Михаилом Никифоровичем несколько в иной тон отношений. Не знаю, чему это приписать? Начальное внимание его ко мне, верно, кроется в столь зримой интриге моей в пользу классического образования — интриге непредосудительной и, смею думать, даже честной… Надо же было хоть один орган удержать в пользу этого вопроса, и тут мы, разумеется, «поинтриговали». Что делать? Но потом Мих<аил> Никиф<орович> верно нашел, что меня пустым мешком не били, и обласкал меня, как никогда не ласкивал. (А может быть, и тут не без Вас? Скажите-ка правду? Все доброе мне из Москвы идет через Вас.) Мы виделись до сих пор всякое утро и беседовали неторопливо втроем: то есть он, Болесл<ав> Маркевич и я. Речи бывали разные, с касательством до имен живых людей. Я опять «поинтриговал» и зародил в Трубникове желание

сблизиться с М<ихаилом> Н<икифоровичем>, а Мих<аил> Н<икифорович> сам пожелал быть у него, и, наконец, завтра они должны увидеться, причем желательно, чтобы Мих<аил> Ник<ифорович> закрепил сего Константина не великого на нашу сторону, на которой он хотя и стоит, но шатается так, что его надо постоянно держать под локти. Я жажду, чтобы там очутилось влияние Болеслава и Ваше, и тогда и сам возьмусь опять, а «один в поле не воин». Надеюсь, хотя вся эта «интрига» — новость, которой Вы, пожалуй, подивитесь, а пожалуй, хоть посмеетесь.

Но «интригу» в сторону. Вчера Мих<аил> Ник<ифорович> за завтраком у того же Болеслава говорил, что ему «Р<усский> в<естник>» в тягость и что он даже думал его бросить, ибо заниматься им ему самому некогда, а он стал «просто какой-то сборник, а не журнал». Я и Болесл<ав> М<аркевич> с этим вполне согласились, но возражали против мысли о закрытии, и Бол<еслав> при этом сказал: «отдайте лучше нам». (Сие *«нам»* разумеется *«ему»*). М<ихаил> Н<икифорович> на это отвечал: «что ж, пожалуй». Этим акт и кончился, но не знаю, совсем он кончился и не возобновлялся ли без меня? Советую Вам подумать и поговорить о старом

Вашем плане прежде с Миррою Александровною, а потом с Николаем Алексеевичем, ибо с ним вместе, кажется, это вероятнее, чем без него, так как это было бы против него. Во всяком случае, прошу Вас принять все это к сведению. Трудитесь-то Вы много, а надо бы труда посытнее, к чему аренда «Р<усского> в<естника>» как нельзя более удобна и время к сему очевидно благопотребно. Мих<аил> Н<икифорович> поручил мне взять у Милюкова его «Государеву свадьбу». Я ее завтра возьму и пришлю Вам в редакционном пакете. О критиках я говорил и с Милюковым и с Мих<аилом> Ник<ифоровичем>, который их тоже хочет, но дело в том, что Милюков занят и не обещает постоянных статей, а сказал, что напишет «что-нибудь получше». Все боятся всё Ваших порядков… Это возмутительно даже! Всех людей *отпугали*. Я говорил К<аткову>: «зачем искать критиков, когда у Вас есть Петр Карлыч?» и при этом указал на те достоинства Ваших рецензий, которые знаю, то есть на их спокойный тон, резонность и силу… М<ихаил> Н<икифорович> к этому даже прибавлял красок, но… но Вам, одним словом, нужно перестать мечтать, а надо *брать* «Русский вестник».

Теперь на остальную часть страницы прошу

Вас наложить ладонь и читать uno solo.[2]

Я посылаю кусок романа «На ножах». Кусок живой и горячий, как парная кровь, но немножко непоследовательный. Непоследовательность эта, весьма не худо, впрочем, смазанная, происходит от необходимости восстановить характер отношений Форовой к нигилисту-мужу. Это все было безрассудно вымарано, а без этого *нет идеи* романа. Теперь это все восстановлено с лицом новой «умной дурочки» — попадьи, жены отца Евангела. Само собой разумеется, что здесь нельзя йоты переставлять, если не желать оставить роман без окончания, но есть еще и мелочи, к которым я прошу Вашего внимания и милосердия о мне, грешном, люте от оного сарацина страждущем.

«Умная дурочка» написана крайне тепло, с ее собственною плотью и с ее же языком, а не с моим и не с Николай Алексеевичевым. Она говорит прекрасно, когда *чувствует сердцем*, и преглупо, когда хочет быть «умною дамою». Такой случай есть у нее в разговоре с Форсвым; сна говорит: «я вас еще прежде видела, но только вы теперь в сюртуке и в штанах, а тогда были в мундире и *в подштанах*».

---

[2] Примечания: 2
Наедине *(итал.)*

Ходатайствую перед Вами за эти «подштаны», — они необходимы, и, имея в виду, что Тургеневу позволялось писать «портки», а Павел Ив. Мельников вчера еще писал в «Р<усском> в<естнике>» «порты», я уповаю, что сия просьба моя не особенна и дерзновенна! Ради бога, попросите Николая Алексеевича не стягивать «подштанов» с моего майора, тем более что эти «подштаны» вовсе не «портки» Тургенева и даже не «порты» Павла Иваныча, а просто летние военные рейтузы, которые попадья низводит до низкого звания «подштанов» единственно по своей наивности, а не по фривольности. Растолкуйте ему, ради Иисуса Христа, что это не цинизм (которого я сам не терплю), а это точно такое же невинное событие, как пресуществление Павлом Ивановичем «клестера» в «клистир» за обедом при четырех дамах, из коих ни одна сего казуса не сконфузилась, несмотря на то, что оратор особенно напирал своим «клистиром» на Ахматову и даже «трегубил» о нем. Пожалуйста, спасите мне эти «подштаны». Читая утомляющие длинноты Мельникова, я начинаю думать, что я, должно быть, пользуюсь особенным рачением добрейшего Николая Алексеевича и потому так робко трясусь за судьбу майоровских «подштанов». Еще

раз, не оставьте их Вашим заступлением.

Значит, опять не обошлось без просьбы, — ну и прекрасно!

Поручаю себя Вашей опеке, почтительнейше целую руку Мирры Александровны и кланяюсь большим поклоном всем барышням.

Если в письме что-нибудь нескладно, то Вы, пожалуйста, догадайтесь, а то «перечитать всей этой литературы» некогда, ибо два часа, и я лечу, лечу и лечу, чтобы отдать письмо в вокзале.

Ваш всей душой

Лесков.

P. S. От *силы* таланта Писемского я в восторге. Это бронзовые изваяния какие-то. Могуче написано. Не могу удержаться и пишу ему.

П. К. Щебальскому

16 апреля 1871 г., Петербург.

Некоторая многосторонность Вашего письма, уважаемый Петр Карлович, требовала собрания некоторых сведений, прежде чем ответить. Я так и сделал и вот отвечаю Вам пунктуально:

1) Милюкову я прочел строки Вашего письма, касающиеся его критики и его повести. Он Вам ответит на все это сам и сегодня же.

2) Замеченная Вами действительно хорошая статья в «Заре» под буквами №№ писана стародавним сотрудником «Русского вестника», ныне губернатором, Громекою!

3) Статьи моей о книге Общества любит<елей> росс<ийской> слов<есности> в «Биржев<ых> ведомостях» вы не увидите, потому что Трубн<иков> боится, что это «поссорит его с цензурою», с которою ему хочется дружить. Усов этим очень сконфужен.

4) Вместо того чтобы просить Краевского, я взял набор моей заметки из «Биржев<ых> ведом<остей>» и отдал его Милюкову с просьбою включить в первый его библиографический

отчет в «Голосе», где он постоянно ведет библиографию и журналистику. Все это исполнено вчера. Милюков обещался сделать это через неделю, а набор своей заметки я дал ему потому, что у него нет книги, да и этак короче.

5) На редакцию «Р<усского> в<естника>» трудно не жаловаться, ибо сами же Вы видите, что приходится лепить, да перелепливать тожде да к томужде, и ото всего этого не выходит ничего иного, кроме досады, охлаждения энергии, раздражения, упадка сил творчества и, наконец, фактических нелепостей и несообразностей, вроде тех, которые Вами усмотрены. Одним словом, я дописываю роман с досадою, с злостью и с раздражением, комкая все как попало, лишь бы исполнить программу. Может быть, я излишне впечатлителен, но тем не менее я ни гроша бы не стоил с меньшею впечатлительностью. Надо же было, кажется, пожалеть и эту впечатлительность, а не раздражать ее бестолковейшими хамскими приемами, после которых я чувствую только одно, что роману уже нельзя быть таким, каким я его задумал и вел в первой части. Он убил меня, этот «милый сердцем невежда», которому не понятно ни одно живое человеческое отношение. Мне не позабыть, как его ужасало, что Форов

считает себя «нигилистом». Он думает, что можно заблуждаться все только в одну сторону… Да нет; уж лучше оставим и говорить про это! Не только кровь бросается в лицо, как у людей, а даже

Все кошки в негодованье
У меня вертятся в брюхе,

как у лохматого Атта-Троля. И еще: я даже и Вам не верю в Вашу искренность, когда Вы говорите, что это «ничего». Это «ничего» стоит того «ничего», которое говорят парни неопытным девушкам, вызывая их «ночку коротать — разговаривать». Это то «ничего», которое, по пословице, «девок портит». Вы говорите: «это миф», — хорош миф, который дело портит и которого люди как черта боятся!

6) Статья Ваша, озаглавленная «Если бы», напечатана передовою статьею в страстную субботу 27 марта. Посылаю Вам ее вырезанную из «Бирж<евых> в<едомостей>». Барышни, значит, просмотрели, что и вполне свойственно их блаженной юности.

7) Критиков, помимо Милюкова, не знаю, где искать. Между дудышкинскими людьми есть некто Зарин, но он не подойдет, а другие все боятся Николая Алексеевича. Вчера мы обедали

у Палкина (мы собираемся обедать два раза в месяц: я, Милюков, Маркевич, Данилевский и еще человек пять единомыслящих), и я укорял Милюкова за небрежение зовом, а Гр. Данилевский и многие другие заговорили, что «при Любимове нельзя писать критик», и вот Вам все и разговоры! И это «миф»? Впрочем, Милюков напишет «о непроизводительности в современном искусстве» и пошлет статью Вам. Не знаю уж, ловко ли это? Впрочем, Маркевич находит, что «ничего», а я опять повторяю мужичью присказку, что «ничего» девок портит. Впрочем, моя хата с краю, и я буду только радоваться, если критики, наконец, появятся в «Р<усском> в<естнике>». Катков обласкал Милюкова, и тот очарован Михаилом Никифоровичем, а М<ихаил> Н<икифорович> здесь все повторяет, что «Р<усскому> в<естнику>» нужна критика. Поимейте-ка это в виду! Я же остаюсь при своем, что из всех способнейший человек к критике это Вы, и Милюков все-таки не принесет той пользы литературе, которую принесли бы Вы, если бы сами взялись за это дело.

8) «Смех и горе» в отдельном издании уже заказаны в типографии Каткова, и Лавров прислал мне два первых листа корректуры, но на том все и стало. Прошу Вас: узнайте, пожалуйста, что сей

сон обозначает? «Смех и горе» и здесь возбуждает у всех большое сочувствие. Могу сказать, что ни одна моя работа не шла при таком полном внимании читателей, как эта, которую «миф» «Русского вестника» продержал год под столами, все норовил откатнуть се ногой. Благодарю Вас за приятнейшее для меня желание Ваше видеть «Смех и горе» посвященным Вам. Ничего я не делал с таким удовольствием, как делаю это посвящение Вам, моему просвещенному руководителю, моему сердечнейшему поощрителю и драгоценнейшему и после смерти Дудышкина ни с кем несравнимому моему литературному другу. (Не бойтесь этого последнего слова, — моя дружба почтительна и помнит границы всех очертаний.) Я Вам пришлю посвящение, которое не хочу ограничить одним упоминанием Вашего имени на титуле книги, а напишу Вам несколько строк, определяющих характер драгоценнейших чувств, Вами во мне зарожденных и воспитанных. Кроме того, я скажу в том письме и о «Смехе и горе», по поводу одного весьма неприятного мне явления; все видят его «смех» и хохочут, но никто не замечает его «горя». Это мне очень досадно, и я ли тут виноват, или же и тут опять «и смех и горе»? Я пришлю это письмо к Вам, с тем

чтобы Вы его обсудили, обдумали и, поправив, дали бы тиснуть в типографии и прислали мне. Надеюсь, что Вы все это сделаете, а теперь пока спросите Лаврова: за чем же стало дело? и скажите, чтобы печатали не 1800 экземпл., как было говорено, а 2400, то есть по-ихнему ровно *два завода*. Книжники к этому поощряют, и я рискую издать издание большое. Кому бы доверить московскую продажу? Вы хвалите Кольчугина. Как бы с ним уладить это дело? Молвите при случае слово. Условия я прошу те, что и Вы.

9) С Семевским об экземпляре «Старины» переговорю «при случае», как Вы сами того требуете.

Теперь рапорт весь отрапортован.

Далее позвольте начать грубить Вашему превосходительству.

Ваш «виноград», наверное, никуда не годится: это в Вас,

…своеволием пылая,
Мятется юность молодая,
Опасных алча перемен.

У литературы есть своя «священная мерзость», которою мы весьма походим на жриц публичного разврата. Возьмите Вы и рассуждайте: почему бы уличной женщине не сделаться хорошею

женщиной, если ее возьмет замуж честный работник? Ведь теоретики говорят, что она будет *женою*, но на деле она все-таки останется виконтессой Дюшкуранс! Это верно и подтверждено самыми беспристрастными наблюдателями. То же и с литературой: Вы со всем Вашим умом заблуждаетесь, что, садя виноград, Вы уже и «не заглянули бы ни в газету, ни в журнал». Нет-с; этот «разврат», которому мы поработали в поте лица и в нытье мозга костей своих, не даст нам силы обречь себя на целомудренное молчание. Не быть из литератора вертоградарю, особенно же из литератора такого живого и чуткого, как Вы. Писемский вчера прислал мне большое и задушевнейшее письмо, в котором сетует за меня, что «нет руководящей критики», и потом говорит, что «путь наш тернист». Да; противный, гадкий, колкий и голодный путь:

Жизнь без надежд —
Тропа без цели,

а все-таки мы с него не должны сворачивать, ибо куда ни повернем, везде скиксуем и потянемся опять пошляться на своей поганой литературной улице, и это наше благо. Почему? а вот почему-с, по бывалым примерам. Ни из

одного литературного человека хозяина не вышло и не выйдет, а тем паче сельского хозяина. Рожь и виноград (все равно) зреют не так, как наши мысли, и разочарования в них не менее, чем на нашем тернистом пути. У меня был отец, большой замечательный умник и дремучий семинарист, в которого, однако, влюбилась моя мать, чистокровная аристократка. Отец мой был близок к Рылееву и Бестужеву, попал на Кавказ, потом приехал в Орел, женился и при его невероятной наблюдательности и проницательности прослыл таким уголовным следователем, что его какие-то сверхъестественные способности прозорливости дали ему почет, и уважение, и все что Вы хотите, кроме денег, которыми его позабыли. Он рассердился, забредил, подобно Вам, полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать, но… неурожаи, дрязги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы позабываем, предаваясь буколистическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга, а потом он и умер, оставив кипы бумаг, состоявших из его переводов Квинта Горация Флакка и Ювенала, сделанных им в те годы, когда матери нечем было ни платить за нас в училище, ни обувать наши ножонки (буквально). Второй при-

мер есть Нестор Васильевич Кукольник, потом Степан Степанович Громека, которого вот, как видите, литературный разврат выводит из стен его губернаторского кабинета, где его никто не смеет обругать и облаять. Нет-с, равви мой благий, это Вы не дело затеваете, и Вам на этом не опочить! Ходит в народе глупая сказка, что будто бы три лекаря поспорили, что один глаза у себя вынет и потом вставит, другой еще что-то (не помню), а третий «утробу» вынет себе и назад вложит. Так и сделали и отдали вырезанное спрятать кухарке, а у той ночью крысы «утробу лекаря и съели». Баба в перепуге заменила эту утробу свиною, а лекарь ее себе вставил и начал жить, но только всю жизнь потом удивлялся, что «чту, говорит, я ни ем: всякие шоколады и фруктери, а все после г….ца хочется». Вот Вам подобие силы литературной жизни, к которой *тянет* и из губернаторских кабинетов, и потянет и из виноградника, и это еще благо, что этого «г….ца хочется», а то застой, коснение, измельчание. Почему измельчание? А потому, что хозяйничать хорошо или с хорошими и не малыми средствами, или со святым смирением мужика, а у Вас не может быть ни того, ни другого, и Вы скоро почувствуете тягость сугубую от сил неодолимых и от людей, имени

человеческого не заслуживающих. Я это говорю не только с верою, но и с убеждением, которое не лжет мне, когда я думаю о Вас, о Вашей семье, счастье которой мне дорого и мило, и при этом припоминаю Русь такую, как я ее знаю от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру. Нет; нет; хлопочите, берите виноградник, но не делайте бесповоротного шага от литературы, сколь бы она Вам сею порою ни опротивела. Опять и это вспомянется и поманится. А ко всему этому… (Христа ради, простите) у Вас дочери девушки, девушки милые, чудесные: за что это их-то прочь от людей и в виноградник? Ведь им *жить надо*; нужны люди, а не виноград. И далее… дальше все-таки Мирра Александровна станет заниматься тщательным хранением ножниц, которыми бабушки обрезывают пупочки внучатам, а в свободное время будет вязать свивальники и обрубливать подгузочки из ваших выслуживших сроки рубах. Как же: ей тоже в виноградник? За что? Нет, это так не будет.

Л.

П. К. Щебальскому

19 апреля 1871 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович! Я получил Ваше письмо и корректуру в 12 часов, а в 2 часа уже отослал листы в Москву. Надеюсь, что они уже дошли до Ваших рук. Я сделал поправки по Вашему указанию, да они иначе и невозможны. Досадно, что все это было в своем месте в начале романа, равно как и характер Лоры там был заквашен, и вся эта закваска вылетела вон, а теперь надо ее вправлять, как выпавшую кишку. Предосадно! На Вас мне сердиться не за что, а все только надо благодарить. Вы во всем правы, и все Ваши замечания справедливы, и я их всегда беру к «милому сердцу», как говорят нежноголосые чехи. Спасибо Вам, благороднейший из знакомых мне и присных! Не знаю: как Вас благодарить за все незаслуженные знаки Вашего расположения? Авось жизнь недаром кладет это в мое сердце. Я очень рад; несказанно рад, что мне довелось узнать Вас и на себе испытать благое влияние Вашей очаровательной мягкости. Книги мои, наконец, готовы и сегодня же Вам посылаются.

Пожалуйста, проштудируйте все мои силенки и скажите мне Ваше прямое мнение. Силы должны быть, но они как-то нестройно слагаются и крепнут медленно. Я чувствую, что я все шатался до самых «Божедомов». Напишите мне письмо обо мне, ни на волос не щадя меня. Я от Вас с радостью выслушаю самый суровый приговор, ибо я верю, что теперь с критическою вервой один человек — это Вы. Мне Ваши мнения очень дороги, и я Ваше письмо приплету к тому заветному экземпляру, который передам дочери. Напишите спрохвала (по мере чтения) несколько слов в осуждение и в одобрение каждой штуки, которую прочтете. Это будет для меня дорогой подарок. Я ведь, работая восемь лет, еще ни одного слова критики не слыхал… Каково это? Писемский (спасибо ему) сетует об этом. Я бы, кажется, воззрился в себя и окреп бы скорее, если бы мне кто-нибудь помог советом и указанием рода моих сил и преимуществ и недостатков моей манеры и приема. Ради бога и любви моей и моей веры в Вас: не читайте моих сочинений без пользы для меня, а напишите в назидание мне критическую статью обо мне. Гр. Данилевский известил меня, что такая статья готовится в «Заре» Страховым, но я жажду Ваших советов, одобрений и порицаний.

Будьте ко мне строги как возможно, но пособите мне уразуметь себя и не шататься. Напечатайте эту статью где хотите — хоть у Юрьева, если не в «Р<усском> в<естнике>», где, впрочем, пора бы обо мне поговорить. Не отказывайтесь, что Вы не критик, — для меня Вы единственный полезный мне критик, и я, как милости слабым силам моим, прошу: поставьте меня к ставцу лицом… Не откажете же Вы мне в этом, если вправду верите, что на мне может лежать некоторая доля литературных надежд? Я доведу до ведома потомства, что я, слепо и зряче веруя в Вас, просил у Вас строгой себе критики, и, может быть, Вас позднейший критик укорит, если Вы мне в этом откажете. Успокойте меня и скажите, что я прочту о себе статью за Вашею подписью.

Теперь еще просьбы: в одном месте найдете в рукописи «Смеха и горя» описание комнаты генерала Перлова. Там у него есть «портрет царя Алексея Михайловича с указом». Припишите, пожалуйста, еще «в углу большой образ святого пророка Илии с обнаженным ножом и с подписью: „Ревнуя поревновах о вседержителе“».

Посвящение и письмо для первой страницы пришлю Вам на сих днях (сегодня очень устал). Пожалуйста, когда увидите Лаврова, скажите

ему, чтобы корректор вел счет главам наизново. Я делаю деления, а мне порядка цифр не видно, и я просто ставлю «глава».

И еще — остальное и последнее: попросите Любимова прислать мне в бандерольке избранные листы этой части, а то у меня нет следа, ибо набирается прямо с чернового. Пусть бы он велел это сделать тотчас.

Кланяюсь Вам и семейству Вашему большим обычаем.

Ваш докучатель

Н. Лесков.

Видел я на столе у К<аткова> Вашу статью о конкордате. Это очень любопытно по тому, что я успел пробежать; но, значит, еще книжка не скоро, если Ваша статья путешествует в Питер. Кто же это кончит дело о «Р<усском> в<естнике>»? А его можно бы, кажется, двинуть, и это, ей право, было бы и веселее и сытнее виноградника.

Однако я совсем сплю, и поздоровь Вам боже на то же самое.

Ник. Лес.

П. К. Щебальскому

22 апреля 1871 г., Петербург.

Вчера на вечерушке у князя Влад. П. Мещерского я и Гр. Данилевский снова попали под струи известного потока и поплыли по нем вместе с Михаилом Никифоровичем. Вы, конечно, догадываетесь, уважаемый Петр Карлович, что я хочу сообщить Вам нужные вести о «Вестнике». Дело в том, что М. Н. К<атков> саморешительнейше говорил о критике, то есть о необходимости критического отдела для «Р<усского> в<естника>», дабы «не оставлять его сборником безгласным и не давать развиваться на его счет успеху „Вестника Европы“». Тут был и Милюков, и я, и Данилевский, и Мещерский. Все мы, разумеется, просили не дать заглохнуть журналу, и Мих<аил> Никиф<орович> «бе в дусе» и сказал, что он это решил и сделает, только давайте хороших статей. Тогда аз грешный восстал и рек, что статьи будут, ибо все мы о них станем заботиться, но что одного такого критика, который бы единою своею рукою пополнил целый критический отдел, нет, да и быть не может при нынешнем

развитии издательства. Что, по моему, надо *всем* писать, кто к чему влечет и в чем чувствует себя в силах выразить слово, а дабы все эти статьи были проникнуты единством мысли и направления, должно, во-первых, чтобы все они были без подписей, а во-вторых, чтобы они шли через одни руки и дабы этот редактор группировал их и примирял их несогласия в частностях. Мих<аил> Никиф<орович> мой проект очень одобрил, и все другие были тоже на моей стороне. Мих<аил> Ник<ифорович> сказал: «пишите и отдавайте Бол<еславу> Мих<айловичу>, пусть он собирает». Я опынился, выразив, что этак опять дело не пойдет, потому что речь не о лице, которое бы только *собирало*, а о таком, которое бы собирало и строило отдел, то есть редактировало статьи, причем я указал, как это делалось у Дудышкина в «Отеч<ественных> зап<исках>», где в последнее время была последняя критика, которую писали *многие*, а редактировал один. Я сказал, что хорошо бы, если бы редакционные работы «Р<усского> в<естника>» были разделены так, чтобы, например, Вы ведали самостоятельную критику и чтобы с работою этого сорта, в форме ли больших статей или в форме мелких библиографических заметок, люди относились прямо

и непосредственно к Вам, — так, чтобы Вы были ответственный министр этого министерства. Мих<аил> Н<икифорович> это одобрил, особенно после того, как ему стали докладывать и выкладывать, что оно даже и непозволительно вести весь журнал одному человеку, да еще занятому не одним делом. Заключилось это почти буквально таким молением: «Дайте нам Щебальского, — пусть он будет у вас для критического отдела, и *мы все* станем работать и присылать ему свои критические наблюдения и будем искать хороших работ на стороне». Мих<аил> Ник<ифорович> отвечал: «Что ж?.. я очень рад, очень рад, пусть так будет». Я закрепил эту просьбу еще вопросом: будет ли это слово крепко и легко? А граф Данилевский добавил, что «не напрасно бы работать, потому что при нынешнем положении никто не хочет посылать статей?» Мих<аил> Н<икифорович> *дал* слово нам, что будете с нами Вы, и уполномочил нас и самих работать и искать хороших критических работ, где только могут попадаться. Вот Вам обо всем этом отчет, как к сведению, так и к надлежащему, буде пожелаете, руководству. Мы Вас просим и испрашиваем себе и у Вас самих и у «начальства», — потянитесь же и Вы к нам на наш призыв и тяготение. На

этой неделе мы хотим устроить Михаилу Никиф<оровичу> обед от горсти нас, литераторов московского уряда мыслей, и на этом обеде, благодаря его за все им сделанное, опять станем молиться и кучиться ему порадеть об поднятии совершенного упадка литературной критики и, наверное, еще заручимся его словом, которое он дает весьма, по-видимому, некрепко. Помогайте и сим способом и сами забирайте в руки гибнущую силу популярного еще до сих пор журнала. Хотелось бы верить, что Вы слова эти примете к сердцу и отзоветесь на них.

Теперь-с вот что: пожалуйста, пришлите мне те листки «Смеха и горя», которые я написал в Москве и вручил Вере Петровне с просьбой пришить их к тетради. Отделите их снова: я хочу еще кое-чем оснастить заключение.

Ваш *Н. Лесков.*

А. С. Суворину

<Март — апрель 1871 г., Петербург>

Роман Лескова (Стебницкого) «Божедомы», бывший предметом процесса между его автором и журналом «Заря», приобретен на сих днях «Русским вестником» и начнется в этом журнале тотчас по окончании романа «На ножах». Печатание этого романа покажет, сколь справедливы были претензии редакции «Зари» в отношении размеров этого романа, и даст возможность по достоинству оценить добросовестность и компетентность литературной экспертизы г. Клюшникова, утверждавшего перед судом, что крохотный кусок этого романа, «Плодомасовские карлики», напечатанные в «Рус<ском> вестнике», составляет *существенную часть* «Божедомов». Зачем бы, кажется, в таком случае «Русскому вестнику» приобретать остальные двадцать листов, когда все существенное, по мнению литератора Клюшникова, было уже в том одном листе, на котором напечатаны «Карлики», — эпизод, рассказанный одним из лиц романа на пирушке?

Подивитесь сей странной добросовестности,

столь нагло и дерзко скованной на суде! Не скажешь же, что к одному нигилизму пристают мерзавцы и что в нем одном они возможны! Это прохитное дрянцо, которого я же выписал и втер в редакцию, а оно так неосторожно стремилось доказать свою «преданность и уважение, и уважение и преданность».

Страхов был несравнимо честнее и *отказался* дать такое свидетельство, что и послужило началом к возникшему потом охлаждению между ним и редакцией. Вот каких, государь мой, имеем у себя сподвижников!

<Без подписи.>

П. К. Щебальскому

7 мая 1871 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович, здравствуйте! Во-первых, я скучаю, давно и давно не получая от Вас ни одной милой для меня строчки. Порою думаю: не рассердились ли Вы на меня за что-нибудь и не перестали ли любить меня понемножечку, но потом отказываюсь этому верить, потому что не знаю тому никакого повода. Не докучил ли я Вам своими письмами да комиссиями? Это легко быть может, однако и в этом случае будьте долготерпеливы и многомилостивы, ибо мне без Ваших милостей нельзя обходиться. (Хороша причина и обстоятельство!) Посылаю Вам всё, то есть переделанный конец «Смеха и горя» и *посвящение* Вам этой книги *с письмом к Вам, назначаемым для печати* во главе книжки, вместо предисловия. Учините, бесценный благодетель мой, следующие распоряжения и настояния.

1) Велите набрать и конец повести и письмо и в корректурах просмотрите, и то и другое с полномочием от меня выпустить или приписать, где что-нибудь найдете необходимым, но

ради бога не доводите этого опять до Михаила Никифоровича, потому что при его теперешней сосредоточенности на другом предмете и при его недугах это того и гляди что заляжет в длинный ящик, или снова явится перерыв или затяжка, как с Вашею статьею о конкордате. Теперь я видел, как это бывает и как трудно этому быть иначе. Лучше сами больше выпустите, если найдете нужным, но не взносите, пожалуйста, на апелляцию.

2) Само собою разумеется, что все это касается только повести, где я, однако, *непременно* прошу сберечь конец, то есть не самые последние строки, которые могут быть и не быть, а рассказ о том, как Ватажкова высекли в Одессе, и *главное*, его заключительное письмо ко мне о моей ссоре с немцами. Это ставлю conditio sine qua non.[3]

3) Письмо же к Вам, посылаемое почти без просмотра, ибо очень спешу, прошу Вас выправить, обдумавши его со многих сторон, и уже по Вашей выправке велеть тиснуть и прислать мне тот оттиск.

4) Равно прошу Вас сказать Лаврову, что я *всегда* на другой же день возвращаю корректуры и

---

[3] Примечания: 3
Непременным условием *(лат.)*.

у меня ничего не задерживается. А если что не получается, то это, значит, пропало на почте.

5) Прошу г. Лаврова набрать, тиснуть и прислать мне обертку по прилагаемому оригиналу и на такой бумаге, какую он намерен мне поставить. Я же прилагаю образчик вышедшей на сих днях книги Сарсе (изд. Гиероглифова) и заявляю желание, чтобы моя книжка была как можно более похожа на эту. Бумага дикого цвета скучна, и на ней этикет не так ярко кричит, как на желтой.

6) Надеюсь, что «Смех и горе» вы покончите теперь не более как за два приема, то есть кроме того, что уже, вероятно, приготовлено к следующему № (10 мая), останется на один номер. Пожалуйста, попротежируйте, чтобы не тянули и чтобы Лавров тоже не медлил. Вы знаете, какая большая разница выпустить книгу в мае, когда люди разъезжаются по деревням и дачам, или в июне, когда уже никого нет в городе.

7) (Экая бессовестность, уже *седьмое*!) При случае устройте *800* экземпляров «Смеха и горя» *Вашему книгопродавцу Кольчугину совершенно на тех же условиях*, на каких Вы признаете удобным доверять ему Ваши издания. Что он на это скажет и как с ним надо написать условие?

Я буду в Москве проездом в Киев в июле, но это надо сделать ранее, чтобы вся московская порция книги поступила к нему, как только выйдет из типографии. Пусть бы он мне написал, если он письменнее петербургских редакторов Кашпирева и Трубникова, имеющих свои понятия о вежливости и об английских королевах.

Затем что же еще? Как нахальные гости, обглодав кости, тотчас берутся за шапки и идут спать, так и я: навалил Вам три короба просьб, рекомендуюсь Вашим слугой и почитателем и этой не стоящей монетой расплачиваюсь за Ваши обязательнейшие одолжения. Впрочем, нечего более и делать и нечего сообщать. Все мы здесь поделались такими учеными, что только и речей что про образование, и уж леший знает, когда эта скука окончится? Однако порадую Вас и прогрессом: на сих днях узнаете о новом законе, по которому сослуживцы капитана Постельникова получают право входа в новые суды и имеют по-старому право участвовать в следствиях и по-новому даже производить их сами. Слышано сие из источника верного (от князя Мещерского и Бориса Обухова). Как не радоваться таким сюрпризам? «Принц голландский» по осмотре его с разных сторон, говорят, не годится. На мой взгляд, он тоже не

авантажен. Я думал, что уж плоше короля Неаполитанского (похож на лакея) ничего нет хуже, но этот «голландский» превзошел мои ожидания. Имеет, однако, какое-то *фамильное* сходство с фельетонистом «Голоса» г-ном Нилом Адмирари, но как Вы таких больших людей не знаете, то, стало быть, Вам это все равно что ничего, да оно и действительно ничего. Будьте храбры и здоровы.

Н. Лесков.

Нельзя ли напомнить ее сиятельству Вере Петровне, что она со мною «не по поступкам поступает», я ее карточку раскрасил, а она мне вместо другой шиш под нос.

Позвольте также осведомиться: получили ли Вы мои бессмертные творения?

А. Ф. Писемскому

17 мая 1871 г., Петербург.

Благодарю Вас покорно, достоуважаемый Алексей Феофилактович, за Ваши строки, за выраженное в них доброжелательство ко мне, и всего усерднее благодарю Вас за высокое и превысокое наслаждение, доставляемое мне «Водоворотом». Я прочел вчера IV кн. «Беседы» и совсем в восторге от романа, и в восторге не экзальтационном, а прочном и сознательном. Во-первых, характеры поражают верностью и последовательностью развития; во-вторых, рисовка артистическая; в третьих, экономия соблюдена с такою строгостию, что роман выходит совсем образцовый. (Это лучшее ваше произведение.) А наипаче всего радуюсь, что… «орлу обновишася крыла и юность его».

Зачем Вы жалуетесь на «склон своих дней», когда Вы еще так сильны и молоды душою и воображением? Это нехорошая у нас, у русских, привычка. Диккенс умер 73-х лет, пишучи роман, а мы чуть совершили пять десятков, сейчас и записываемся в «склон». Зачем это? Правда, что в

нашей сторонушке нестройно живется и потому человек ранее оттрепывается, но все-таки Вы еще романист на всем знойном зените Ваших сил, и я молю бога поддержать в Вас эту мощь и мастерство поистине образцовое.

Роман Ваш вообще публике нравится, но, конечно, имеет и хулителей, но и их нападки (очень грубые) направлены против одного, что «очень-де нескромно и цинично». Вот Вам здешние толки о Вас, передаваемые со всею искренностью и прямотою. Я относительно «скороми» имею свои мнения и не почитатель ее. По-моему, она имеет для автора то неудобство, что дает на него лишний повод накидываться, а читателя немножечко ярит и сбивает чересчур на известный лад, но «у всякого барона своя фантазия», а что эти осудители говорят по поводу «Водоворота», то это вздор, ибо, за исключением сцены в Роше де Конкаль и глагола «ты ее изнурил», остальное нимало не шокирует. Сцена же родов так целомудренно прекрасна, что в ней «виден бог в своем творении», и ее надо ставить рядом со сценою родов сына Домби у Диккенса. Это просто грандиозно, и на такой-то цинизм помогай Вам бог, что бы кто ни ворчал и ни шипел от безвкусия, мелкой злобы или безделья.

Засим примите, пожалуйста, еще раз мою благодарность и почтение глубокое и искреннее. Посылаю Вам мою карточку и прошу прислать мне Вашу с вашею надписью. Поклон мой низкий Катерине Павловне, вашему сыну и Б. Н. Алмазову.

Н. Лесков-Стебницкий.

P. S. От Юрьева нельзя добиться ответов. Я дал ему переписку Журавского и до сих пор не знаю: нужна она им или нет?

П. К. Щебальскому

17 мая 1871 г., Петербург.

Получив Ваше письмо от 14 мая, я тотчас же принялся за то, чтобы выполнить Ваши указания, уважаемый Петр Карлович, — и вот Вам отчет по пунктам.

1) Адрес Милюкова (Александра Петровича) — Офицерская улица, д. Китнера, кв. № 5.

2) Милюков вполне согласен с Вами, что в журнале критика должна исходить от редакции, а не от одного лица, и будет присылать статьи, заготовленные таким именно образом и не подписанные. А что до меня, то я признаю это даже необходимым, по всем тем соображениям, какие имеете Вы, и еще по другим, моим собственным, весьма и весьма, по-моему, важным. Тут важно уже одно то, что исчезает во всяком случае стеснительное авторское самолюбие, то есть исчезает в значительной мере, если не совсем, а я имею слабость думать, что Вам придется с статьями порядочно хозяйничать.

3) Рецензии, конечно, уже совсем не годится подписывать, да это и нигде не делается.

4) Обо мне, как об авторе, Милюков Вам напишет, хотя он теперь очень болен — его на старости щелкнул пострел в поясницу, и он не может разогнуться и сидит, как кикимора.

5) Милюков и я просим письма к Базунову о выдаче нам для прочтения новостей книжных под наши расписки. Это так здесь принято, да иначе нельзя, ибо невозможно покупать всех выходящих книг на свои деньги. Книга может стоить 3–5 руб., а напишешь о ней на полтинник. Лучше их брать и возвращать, по доверию редакции (конечно, если это не встретит препятствий).

6) С Мещерским увижусь в среду, но он в пятницу уезжает, и во все лето на него вряд ли можно рассчитывать.

7) Маркевичу все скажу завтра же, но я не знаю, он станет ли писать рецензии.

8) Мы рассчитываем на Данилевского, который на перо весьма боек. Впрочем, Вы вообще не беспокойтесь, — это дело пойдет.

9) Я *могу* писать рецензии, много их писал и чувствую любовь к этому занятию. Скажу более: не попал бы я более всех в Ваш тон и в манеру, так как на последнее я «обезьяну съел».

10) Желаем знать: нужны ли обзоры журналов? В таком случае я взял бы на себя *нигилистические*,

то есть «Дело» и «От<ечественные> зап<иски>» и сумел бы обходиться с ними смехом.

11) Семевского видел и имел случай спросить. Экземпляр посылается *лично* Вам.

12) О «Записках Общ<ества> люб<ителей> р<оссийской> сл<овесности>» Милюков написал в «Голос» (вклеил мою заметку), но Краевский не пропустил, как кажется, по настоянию Феоктистова (а может быть, это и не так).

13) У Семевского будет отзыв об этой книге, которую он при мне же и взял у Базунова.

14) Катков уезжает послезавтра и едва ли совсем довольный делом. Толстой не умел этого ни поставить, ни провести, и вообще он не мастер орудовать.

15) Удивляюсь, что Вы не получили книг, которые Вам бог весть когда посланы! Дело в том, что Базунов соскряжничал и, вместо того чтобы послать тючок по почте, как я просил, спровадил его Соловьеву в магазин, где книги, вероятно, и вылеживаются. Пожалуйста, зайдите и справьтесь и получите или напишите. Ужасно досадно! А я уж так и пишу Любимову, что Вы *знаете* мои работы… Пожалуйста, справьтесь, что же это за притча еще?

16) О «Божедомах» жду Ваших строк и непре-

менно ими воспользуюсь.

17) Кстати о «Божедомах»: я предложил Кашпиреву получить свои деньги с меня или прямо из редакции по моей доверенности по напечатании «Божедомов». Прилагаю Ваше письмо посредника наших отношений. Из этого письма Вы увидите, чту требует Калатузов. Само собой разумеется, я не хочу впутывать в эту дрязгу К<атко>ва (да он на это и не пойдет), но нельзя ли чего-нибудь сделать для этих… Я бы почитал удобным получить за подписом Дюбука письмо, в котором бы значилось, что вследствие-де моего заявления об уплате из причитающегося мне гонорария *1 900* р. (насчитали проценты, расходы, и пр., и пр.) сумма эта по напечатании романа «Божедомы» может быть выдана Кашпиреву по представлении им на то моего согласия. Посудите с Николаем Алексеевичем — нельзя ли меня таким образом развязать с этим тягостнейшим делом?

18) Трубников совсем обремизился и *никому* не платит! Я ездил, ездил за 54 рублями, да нахожу, что уж себе дороже стоит путешествовать, а вчера ко мне пришел растерянный Усов. Труб<ников> его отставил по неимению средств платить, и бедняк *без гроша и без работы*. Я просил у Мих<аила> Н<икифоровича> предоставить ему торговые

корреспонденции, в чем Усов знаток. М<ихаил> Н<икифорович> обещал *непременно* дать мне ответ, но Усов, не дожидая этого ответа, пошлет пробные работы в редакцию, но на Ваше имя.

Он надеется, что Вы ближе многих других примете к сердцу его тяжелую долю и поможете ему поступить на экзамен. Я ему сказал, что он надеется на Вас не понапрасну, и он «дерзает». Ради бога пособите: он добрый человек и очень, очень несчастлив, по милости этого плута Т<рубнико>ва.

19) Не должен ли Вам чего-нибудь этот бездельник? В таком разе пришлите мне, пожалуйста, особую записочку, — я с ним справлюсь.

20) Комаров открывает газету с осени, ежедневную, по 12 р. Лист будет средней величины. Приглашает меня и Милюкова.

21) Где Вы изволите жить в Московской губернии?

22) Прошу Вас доложить ее сиятельству Вере Петровне два слова: «Благодарю, не ожидал».

Кажется, все отрапортовал? Теперь и до свидания.

Ваш *Лесков.*

П. К. Щебальскому

26 мая 1871. СПб.

Очень рад, что книги мои, наконец, доехали до Вас, уважаемый Петр Карлович. Они, по моим справкам, получены в Москве Соловьевым 21 апреля, — значит «немножко пролежали». Теперь зато читайте их и, зная, что Вы сами пожелали их иметь, имейте в виду слова того хохла, который купил себе очень горькую редьку и, евши ее, со слезами говорил: «бачили очи, що куповали, топерь ешьте же». Без шуток, я очень хочу, чтобы Вы знали мои литературные шатательства и помогли бы мне понять себя и стать на мою дорогу, а для этого нужно, чтобы Вы меня прочитали. В этих «бессмертных творениях» вся моя литература, кроме еще одной книжечки, которая должна выйти на сих днях и которую я тотчас же пошлю Вам, с просьбою замолвить о ней где-нибудь подходящее словечко. Заметка моя о «Чтении в Об<ществе> л<юбителей> р<оссийской> слов<есности>», наконец, вчера появилася под чужим флагом, то есть в конце фельетона Милюкова. Имея в виду, что Вы, живучи теперь где-то в

безвестных палестинах, пожалуй, не знаете, что происходит у нас, европейцев, посылаю Вам клок, оторванный от органа Андрея Краевского.

Корректуры «Смеха и горя» шлются ужасно медленно. Я просто в отчаяние прихожу от этого толстого Михаила Николаевича. Ради бога, подшпорьте его! Замечаниями Вашими непременно воспользуюсь, но сожалею, что Вы сами не прибавили того, что находили нужным. Ведь я же вас просил не церемониться. В конце июня будем видеться: я поеду к братьям в Киев и тогда с радостью все выслушаю и восприму все, что касается «Божедомов». Я сам рад с ними возиться и знаю, что это, может быть, единственная моя вещь, которая найдет себе место в истории нашей литературы.

«Ножами» здесь стали даже *очень* довольны. Милюкова видел сегодня, но до получения Вашего письма. Он все еще болен и едет проветриться в Варшаву к дочери, а оттуда в Москву, чтобы видеться с Вами и войти в ближайшие консидерации с редакцией «Р<усского> в<естника>» (что и должно послужить новым опровержением Вашего мнения, что сия редакция есть «миф»). До осени все будут отлынивать, а не один Маркевич, но с августа должно, кажется, начаться действо.

Один лишь Мещерский вряд ли будет писать — он страшно разобиделся на «миф» за самовластие с его «митральезой», из коей будто бы выстрелили не полным его зарядом. Не говорю об этом ничего более и не сужу, кто прав, кто виноват, но только он сказал, что ни за что «им» строки более не даст. Я обнаружил в этом деле часть отличающих Вас дарований соглашения и извинял редакцию по ей одной, может быть, известными соображениями, а также сказал шамбеляну Болеславу, чтобы они с своей стороны поуспокоили княжеский гнев. Мещерского всегда жаль потерять. И что это, однако, за манера самовластничать?

Самовластительный злодей!
Тебя, твой род я ненавижу;
Твою погибель, смерть детей,
Я с злобной радостию вижу,

и т. п., и т. п.

Одним словом, это очень досадно, если Мещерского непременно придется потерять! (Хотя, впрочем, я, судя по рассказам, думаю, что редакция, блюдя единство направления, не могла печатать того, что она исключила, — но надобно было об этом *списаться*, а не трах-тарарах! да и херь во всю рукопись.)

Семевскому напишу сегодня же, чтобы он надписывал Ваши экземпляры.

Вчера был у меня Усов. Он кое к чему уже приютился, но все-таки дорожит и торговыми корреспонденциями «Московских вед<омостей>», а я его рекомендовал Михаилу Никифоровичу как человека самого сведущего, честного и аккуратного, и М<ихаил> Н<икифорович> был не прочь. Теперь же Усов говорит, что он уже послал первую корреспонденцию на Ваше имя. Черкните, пожалуйста, мне о судьбе этого писания, сего злополучного изгнанника трубниковского «биржевого сквера», где все птицы поют по своему голосу. — Насчет «серьезных» разбирателей Дарвина покорно Вас благодарю и даже обижаюсь. Я думал, что Вы о нас имеете более верные понятия.

Храни Вас бог от мух и блох.

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

5 июня 1871 г., Петербург.

Благодарю Вас, дорогой Петр Карлович, за память и желание знать обо мне. Я только вчера поставил точку под 5-ю частью «Ножей» и послал их Любимову. До этого события я не давал себе никакой льготы и в эту пеклую жарищу все пер и пер, как осел. Не знаю, что уж там и вышло! Последняя 6-я часть вся написана и переписана. Она опять сделана очень тщательно: я много пыхтел над сценами убийства и народными сценами на похоронах, и они мне удались. Шестую часть везу с собой, чтобы еще раз перечитать ее в Киеве, ибо теперь голова моя не понимает ровно ничего, кроме желания отдыха, который дай бог начать с свидания с Вами, мой благороднейший доброжелатель и добродеятель. Я выезжаю в Киев 7-го числа с почт<овым> поезд(ом), а 8-го утром должен быть в Москве, где только сложу мой саквояж в редакции да условлюсь с Лавровым относительно счетов, и затем в тот же самый день, то есть 8-го числа, в четверг, буду спешить в Балашове с нетерпением видеть Вас и Ваше ми-

лое семейство. Поистине судьба будет милостива, даруя мне возможность так, а не иначе начать мое путешествие после труда, сделавшегося просто несносным!

Милюкова нет и следа. Где бы это он пропадал?

«Смеха и горя» здесь продано *все*, что прислано, то есть 200 экз<емпляров>.

Новая работа задумана как раз в этом же роде, и я к ней рвусь с жадностью. Это будут «Чертовы куклы», — все будет о женщинах. В приеме намерен подражать «Серапионовым братьям» Гофмана. Все это мне нравится, и мы поговоримте, и Вы мне посоветуете.

До свидания!

Ваш всей душой

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

8 июня 1871 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

Благодарю Вас за Ваше письмо, хотя оно повергло меня в бездну недоумения: когда это Вы изволите диспарироваться во Псков? Это бы надо знать, потому что мне, конечно, надо Вас видеть в оба мои проезда через Москву, а так можно устроиться, что в оба и не увидишь. Вас вообще давненько стало нужно укорить некоторого рода растерянностью, благодаря которой я не знаю ни того, где Вы живете, ни того, получаете ли мои эпистолы, ни того, наконец, когда Вы уезжаете, но надо все это отнести за счет Вашей летней резиденции, где Вы там ее основали и бродите небось до упаду да мечтаете… К Вам вчера поехал Александр Петрович Милюков, и он-то где-то просверлил носом щелку и увидал, что Вы будто живете в Мытищах, где он и намерен Вас изловить. Письмо Ваше я получил получасом позже того, как у меня был Милюков, а вчера я ездил на железную дорогу, чтобы предупредить его, что Вы собираетесь во Псков, но все глаза про-

глядел, а его не видал. Так он и понесся, значит, на «уру» — увидит Вас, так видит, а не увидит, так, посетив Мытищи, получит право говорить, что он «был в Риме и не видал папы». Между тем как он едет наудачу, я так же точно шлю это письмо к Вам, с одним лишь желанием получить от Вас известие: где Вы и когда уезжаете? Если я не получу скоро ответа, то буду считать, что Вы уже, значит, укатили. Но про всякий случай пишу Вам неизменный мой ответ насчет «Божедомов». Дьякон положительно не должен быть пьян перед сценою на огороде — это мой недосмотр или, лучше сказать, забывчивость: я давно решил это зачеркнуть и поставить, что *он пил чай* за своей беседой, а не водку. Прошу Вас это сделать за меня. Дневник Туберозова, может быть, и объемист, но он нежно любим публикою и весьма почитается. Я уполномочиваю Вас, однако, сделать в нем те сокращения, какие Вы признаете полезными, но непременно Вашей рукою, осторожною и доброжелательною. Термосесова и других лиц выпускать признаю невозможным, но на некоторые сокращения опять-таки даю Вам полное доверие. А что касается до недостатка хороших людей на смену Туберозову, Захарии, Ахилле и Николаю Афанасьевичу, то и этим

делать нечего, и сколько бы я ни хотел угодить почтенной любви Вашей к хорошим людям, не могу их обрести на нынешнем переломе в духовенстве русской церкви. Изображенные мною типы суть типы консервативные, а что дает нынешняя прогрессирующая церковь, того я не знаю и боюсь ошибиться. Разве бы пересадить туда Евангела, но это значило бы повториться. Хроника же такая, как «Божедомы», должна быть строго верна правде дня, и я возмущаюсь против Вас, мой благороднейший руководитель, и желаю оставить дело на том, что «Старогородской поповке ударил час всеобщего обновления». Как это будет обновление церкви с Дмитрием Толстым на крестовом шнурке, того мое художественное чутье не берется предсказать мне, и Вы, простирая такое требование, мне кажется, погрешаете, стесняя свободу художественного чувства. Я не враг церкви, а ее друг, или более: я покорный и преданный ее сын и уверенный православный — я не хочу ее опорочить; я ей желаю честного прогресса от коснения, в которое она впала, задавленная государственностью, но в новом колене слуг алтаря я не вижу «попов великих», а знаю в лучших из них только рационалистов, то есть нигилистов духовного сана. Что же я ста-

ну пророчествовать? Туберозов умер с верою в лучшее; Вы живете с этой верою; я точно так же верю, и по вере нашей нам и дается; но что это и как будет сие? — про то я не знаю и говорить не могу. Впрочем, побеседуемте: я так верю Вам и так люблю «Божедомов», что готов всегда еще и еще с ними повозиться. Все, что Вы говорите о моей памяти, это правда. Я всегда, задумывая план, беру не в меру широко и хочу обнять целые миры и тем себе врежу. Спасибо Вам за все, и наипаче за обычай говорить со мною с уверенностью, что я люблю Ваше слово и ценю его. Жду ответа.

Н. Лесков.

М. Н. Каткову(?)

21 июля 1871 г., Петербург.
Ночью.

Пишу Вам у князя Влад<имира> Петровича Мещерского, имея перед собою гранку стенограммы «Правительственного вестника» о заседании суда по нечаевскому делу 21-го июля. Столбец этот (доставленный Гр. Данилевским) заключает в себе следующую вымарку, сделанную Эссеном (в речи *Черкезова*, — не Черкесова).

Послеслов «Мы должны уничтожить, стереть с лица земли лиц особенно вредных при начале движения» *вымарано*: «Опасными могли бы быть те люди, опыт, знание и таланты которых всем известны: такие люди находятся у нас в военном ведомстве, как, например: Тотлерен, Черняев и т. п. Но не этих людей хочет уничтожить „Народная расправа“, а бывшего министра вн<утренних> дел Валуева; настоящего министра Тимашева, шефа жандармов генерала Мезенцева, петербургского оберполицеймейстера и, наконец, пресловутого Каткова. *Устранение* этих лиц могло бы мотивировать и тем, что в руках их

находится высылка административным путем; они могут делать распоряжения об обысках и арестах; г. Мезенцев заведует деморализующим шпионством, и, наконец, Катков, деятельность которого известна и о котором нельзя ничего другого сказать, как то, что выразил о нем Герцен в своих письмах к русскому путешественнику: „Это публичный мужчина в России“».

Ниже через шесть строк опять вымарка в шесть же строк, где указывается на авторитет Герцена и «Незнакомца „Петербургских ведомостей“».

К этому новости:

1) *Флоринский* получил приглашение быть народным учителем разом в пять школ.

2) *Орлов* на поезде в Петергоф и в самом Петергофе удостоился восторженных оваций.

3) Для *Дементьевой* идет подписка *на приданое*.

4) Гр. Пален прибыл 18-го числа, но в должность не вступал. Он страшно огорчен поведением Любимова и Половцева и *плачет*, а в министерстве объявили, что он увольняется и завтра едет в Петергоф с просьбой об отставке. — Князь Вл<адимир> Петр<ович>, однако, имеет соображения, что это кончится ничем.

5) Шувалов тяжко болен приливом крови к

почкам и потерял употребление языка (пишу со слов Шебеко).

6) Вся публика, присутствующая на суде, переписана, и оказалось, что *все* эти лица — шайка единомышленных подсудимым. Вчера несколько человек из этих господ потребовали, чтобы вывели четырех человек, назвав их шпионами III отделения, которые будто бы подбивали их сделать демонстрацию. Пристава это исполнили (со слов Гр. Данилевского).

7) При речи Спасовича две дамы сидели за судейскими столами. Председатель этого не возбранил.

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

7 октября 1871 г., Петербург.

Я давно собирался писать Вам, уважаемый Петр Карлович, да все откладывал, поджидая вначале домолвок к недомолвкам Мещерского, а потом начал сам собираться в Москву (и скоро приеду). Мещ<ерский> давно, то есть месяца два, говорил при мне с Ф. Тютчевым о Вашем труде по истории Екатерины и о неудачах, Вами встреченных, для окончательного посвящения себя этой достойной Вас работе. Сожалели об этом все, кто тут случились, и пошла речь о том, что Вам, кажется, можно бы не покидать дела и совершить его на положении свободного художника, то есть без тех казенных пособий, которых Вы искали. Не помню: не был ли тут и Гр. Данилевский, но кажется, что нет. Говорили много, конечно всё с сочувствием к Вам, и я, как человек простой, просто и молвил, что все-де сочувствия этому человеку слышать приятно, но укорять его за нежелание взяться за работу на правах вольного мастера не следует, потому что Петр Карлович этого сделать не может. А почему не может — про то опять по-

шли речи, в коих я еще раз наблюдал, как трудно верблюду лезть сквозь игольное ухо. Удивлялись не тому, что права свободного художника были бы неудобны при добыче материалов, а тому, что «неужто-де Щеб<альский>) не может посвятить этому труду *каких-нибудь два, три года, чтобы потом разом*», и пр., и пр. Я их удивил, что, мол, вероятно, не может.

— А ведь это, — говорят, — пустяки.

— Да как же, — я говорю, — не пустяки, когда будь у него наготове пятнадцать — двадцать тысяч, и он бы, конечно, охотно отдался этому труду.

Тут взахались, а Тютчев меня поддержал, что боже-де мой: неужто же у нас и такого содействия человеку не найдется? А я говорю, что этого содействия надо не промеж нас искать, где Голь, Шмоль да К°, а вот если бы Владимир Петрович довел об этом до ведома государя-наследника да там бы поштудировал… Мещерский взгрелся и, оборотясь ко мне, отвечал:

— Знаете, вы прочитали во мне мою мысль. Где живет Щеб<альски>й?

Я назвал путь Вашей дачи.

— Я непременно к нему съезжу, — отвечал Мещ<ерский>, — и буду с ним говорить. Чтобы

начать говорить с вел<иким> князем, надо прежде хорошенько условиться с Щеб<аль>ским, что ему нужно?

С той поры Мещ<ерский> все выезжает и никак но выедет и, наконец, на сих днях сказал мне: не поедем ли мы с ним вместе. Ко мне же неделю тому назад приехал из Киева мой брат, и вот все так перебуравилось до того, что я некоторым образом и виноват даже перед Вами, хотя часто и часто размышлял о вас и желал Мещерскому доброго почина в Вашу пользу.

«Русский вестник» совсем другое дело. По корыстным побуждениям, я, конечно, желал бы видеть Вас редактором этого журнала, но более радости было бы, если бы Вас ссудили на покойных условиях хорошею суммою и Вы предались бы стройному, созерцательному труду, который бы собрал Ваши растраченные в статейной работе силы, поднял Ваш благородный дух, освободит бы Ваш прекрасный ум от мелких забот и успокоил бы Мирру Александровну, а русской науке дал бы сочинение, в котором недостаток так осязателен. Мне кажется, что это гораздо интереснее «Рус<ского> вестника», но если Мещ<ерский> охладеет и вместо содействия на деле ограничится сочувствием на словах, то, разумеется, надо

не сводить глаз с «Вестника», хотя я, признаться сказать, не верю в возможность тех комбинаций, о которых Вы мне пишете. Во-первых, К<атков> уже не первый раз это говорит, и все из этого ничего не выходит, да и не выйдет. Как ни подупало издание, а сорвать его с кона настоятельной необходимости все-таки нет еще. Из-за чего же им выпускать из рук орган, когда надо только переменить при нем человека, и дело опять пойдет превосходно? Разве они этого не видят или не понимают, что ли?.. То, что говорится в сообщаемом Вами мне тоне, все это говорится по-насердкам на самих себя, что приставили они к пирожной даже сапожника и несмотря на то, что это сами они сделали, а ничего из этого не выходит, кроме старой морали, что

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник.

Угадал ли я или нет, а по-моему, К<атко>в сердится, что никак не разобрать этого камуфлета? Тут на выручку бы надо подоспеть Н. А. Люб<имо>ву, но он не догадывается, а к тому же, бог весть, еще и стоек ли он настолько, чтобы противостать тем ласкам, какие Мих<аил>

Н<икифорович> непременно стал бы ему расточать, упрашивая его «не покидать». А ну как он вдруг не устоит, и… снова воспоследует его реставрация, а затем снова начнется с другой стороны сначала олимпийский покой, что все-де равно: «людей нет», а потом… опять то же самое, что ныне… Так это и будет ехать idem per idem,[4] как Кузьма с Демидом. При вашем лестном доверии к моему беллетристическому проницанию я готов бы, кажется, даже живообразно Вам представить, как должна произойти эта сцена сугубой деликатности и обоюдной уступки ко вреду дела, но авось Вы и так поверите, что в соображениях моих есть такая доля истины, при которой дело можно считать беспомощным. Аренда, конечно, могла бы разорвать эти сонные нити, которыми все перепутано, но… тут есть бездна различных «но», о которых хотелось бы лично с Вами переговорить, а не на письме, — что я вскоре же и исполню, ибо нахожусь совсем почти на пути к Вам для окончания счетов по «Ножам» и последних приноровлений «Божедомов». Пока же скажу одно: человека, о котором Вы пишете, я знаю и вдоль и вглубь: это очень хороший знакомый,

---

[4] Примечания: 4
От чего же к тому же *(лат.)*.

предобрый сотоварищ, — человек доброжелательный и услужливый, но бесхарактерный, не в меру искательный, болтун, — вообще человек и легковерный и легковесный, верящий всем и никому не доверяющий настолько, чтобы вместе садить и поливать то горчичное зерно взаимоверия, без которого злак стебля не даст, а не только колоса не вымечет. Денег у него много — по крайней мере так говорят, и этому нетрудно верить, но он скуп почти до скаредности и если дает чувствовать свою готовность рискнуть на издание, то я подозреваю, что это не так спроста, как Вам могло показаться. По меньшей мере тут, видимо, играет важную роль желание самому фигурировать и заправлять: это я знаю *наверное*. Впрочем, я завтра же поеду к нему и выщупаю его во все его мякоти — благо у меня есть и сторонний повод посетить его, так как я всегда несу от него укоризны за мое нелюдимство. Касательно потребной в этом случае тонкости ручаться за себя, хотя и боюсь, но благодарю Вас, что Вы мне верите, и уповаю, что я сумею узнать что нужно, смаскируя все, чего ему до времени знать не надо. Вообще будьте покойны, что выраженное Вами в первых строках желание или просьба сохранить

все «en toute confidence»[5] соблюдается мною в полной точности. О том, что Вами написано, я говорить не буду, да и незачем об этом говорить, хотя, впрочем, все-таки хорошо, что Вы меня на этот счет предупредили. Повидавшись с указанным Вами лицом (если он приехал), я Вам тотчас же напишу, так как мой отъезд может еще затянуться дней на семь, на восемь, а если *его* нет и он скоро ожидается, то я, разумеется, дождусь его и уже тогда только выеду. Вообще я *все* сделаю, чту Вам кажется нужным, но веры в успех имею мало, по недоверию к серьезности этого лица. А впрочем, может быть чего и не может быть. Меня уж так прошколила и истрепала жизнь, что я, точно армейский разочарованный капитан, с гитарою в руках напеваю себе:

Друзья я недоверчив стал
К пленительным любви напевам
И нынче верить перестал
И красоте и милым девам.

Может быть, все это вздор, — по крайней мере хоть в той мере, что «красота» есть и, пожалуй, есть и «милые девы».

---

[5] Примечания: 5
В полной тайне *(франц.)*.

О себе Вам скажу вот что: я некое время сам не знаю, чту о себе думать: мне как-то все жестоко надоело, то есть так надоело, что я все держусь плана Вашего: хочу на год спрятаться в Веве, или, еще лучше, в Сорренто и что-нибудь «совершить» (как говорил Гоголь). Мне все кажется, что все, что я пишу, вовсе не то, что я хочу и могу написать — *могу*, ибо ощущаю, что

«Жизнь хороша *потому*, что *искусство прекрасно*!»

Я думаю, что в этом настроении я могу быть Вам полезен более, чем в прилежании делу иным образом. Я знаю себя и чувствую, что во мне собралось чего-то много на что-то вроде «Некуда», и я хотел бы предаться этому с полною отторженностью от жизни, которая здесь, на Руси, меня все беспокоит, тревожит и манит, волнует и злит… Возлюбите, ради любви к искусству и идее любви, моих «Божедомов» и соблюдите их. Я на них возлагаю большие мои надежды, и по их поводу, вероятно, придется договориться до дела: будет или не будет выходить в 1872 году «Р<усский> в<естник>»? Если не будет, то, я полагаю, надо будет передать роман в «Беседу» или, может быть, напечатать в «Совр<еменной> летописи». Я полагаю, что последнее мне будет более по сердцу

и по обычаю.

Пока же до свидания. На днях же опять Вам напишу, как только с кем нужно повидаюсь, а Вы, не ожидая того, черкните, пожалуйста, где Вы теперь обитаете. Уж и нечего говорить, какой Вы любезный, а вот адреса своего никогда не имеете привычки обозначать… Это худо и так и называется «неудобством» в «Книге общежитейской мудрости и приличий». Не знаешь никогда, куда Вам адресовать письмо и где Вас искать с приезда, между тем как желалось бы видеться с Вами прежде других. Сделайте милость, напишите, где Вы живете, — я бы хотел опять и поместиться неподалеку от Вас.

Поклон мой низкий достойнейшей Мирре Александровне. Радуюсь, что Лизавета Петровна властвует, а Вера Петровна жуирует. Это им обеим на пользу. Спасибо Вам за память, внимание и доверие.

Н.Лесков.

Post script<um>.

Насчет Ваших статей я уже писал как-то один раз Любимову. Это было именно по поводу статьи, в которой Вы столь любезно вспомянули «Некуда». Она называется «Наш умственный пролетариат». Эту статью очень любят хорошие

и умные люди, и она действительно не только хороша и умна, но и боговдохновенна. Статья о посмертных сочинениях Герцена менее нравилась, но тоже нравилась, а «Идеалисты и реалисты» даже возбудили бурю в стакане воды, и Вы, конечно, уже знаете последовавший Вам ответ Пыпина, на который желательно бы видеть Ваш ответ.

Скажите, пожалуйста, Любимову, что сегодня приехал Крестовский и во вторник выезжает в Москву с совершенно готовым романом (по его словам) в 70 листов. Впрочем, я его сам еще не видал, хотя он и был у меня, а передаю эту новость со слов моих домашних.

Н. Л.

П. К. Щебальскому

13–14 октября 1871 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

Лицо, с которым мне надлежало повидаться и поговорить, возвратилось, и я с ним имел разговор. Результат всего тот, какого я и ожидал: он не думает вверять денег литературному предприятию, хотя и уверен, что предприятие, о котором идет речь, совершенно верное. Он старался быть *непонятливым*, но говорил, между прочим, дело, то есть выражал ту мысль, что вместо большой возни со сдачей в аренду лучше бы просто сдать дело на нынешних условиях в единоличное Ваше заведование (что и справедливо и чего, вероятно, не будет). О Вас при речи об аренде я не заикнулся ни словом и все дело вел *по слухам*, от самого себя, с тем лишь, что Вы, «*вероятно*, не отказались бы» и проч. Но на этого человека нет и не может быть никаких расчетов. Доходило до того, что он не понимал даже тогда, когда я говорил, что «П<етр> К<арлович> не может, к сожалению, взять, потому что у него вряд ли есть капиталец».

— Вот это жалко, — отвечал он.

— Если бы, — говорю, — ему кредит какой-нибудь открыть, тогда, может быть, он бы и рискнул.

— Где же кредит: это трудно.

Я заговорил потом о кредите работами и сказал, что наше пролетарское дело хоть этим бы поусердствовать предприятию и почтенному литератору: но и это осталось *непонятым* … Одним словом: в эту сторону не глядите, а ладьтесь как-нибудь иначе, буде же что вздумаете поручить — поручайте.

Выезд мой опять замедлился, но все-таки я через неделю или много через две буду в Москве, а до того желаю знать: где же Вы теперь живете? Крестовский едет завтра. Он, разумеется, ничего о Вашем письме не знает.

Ваш Лесков.

14 октября 1871 г.

Распечатываю конверт, чтобы вложить еще маленькую цидулку. Дело в том, что сейчас я виделся с Григорием Градовским и в общем разговоре о том, что М<ихаич> Н<икифорович>, по словам Данилевского, нездоров и крайне расстроен, получил известие такого рода, что М<ихаил> Н<икифорович> в бытность свою здесь говорил

Градовскому о неудовлетворительности журнала и приглашал *его* переехать в Москву опять-таки для поднятия этого же журнала. Изо всего этого явствует, что «Р<усский> в<естник>» нередко приходит в голову М<ихаилу> Н<икифорови>чу и что с журналом может случиться что-нибудь далеко не желанное, а потому, имея все это в виду, надо бы Вам быть как можно более решительным и не упускать его из своих рук. Это дело хорошее, и Вы с ним выплывете без всяких компаний, с одною подпискою, особенно если собственники не обременят Вас арендою.

Да, еще: что это значит, что в сентябрьской книге нет окончания моего романа, которое послано, кажется, своевременно? Если опять что не по нраву, то надо бы мне прислать корректуру, и я бы переделал. Сокрушил меня этот роман, и свертел я его как не думал, благодаря всем этим qui pro quo.[6]

Сделайте милость, успокойте меня: напишите, что это значит и докуда протянется?

Н. Л.

Мещерский едет в среду и, вероятно, будет с Вами видеться. Подписка на его «Гражданин»

---

[6] Примечания: 6
Здесь: перипетиям *(лат.)*.

идет очень хорошо. Комаров со своим «Monde Russe»[7] совсем заехал в «Весть» и уедет в этом направлении, кажется, еще подалее. По моим наблюдениям, он вовсе неспособен к редакторству.

[7] Примечания: 7
«Русским миром» *(франц.)*.

П. К. Щебальскому

20 октября 1871 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович! прочитал я Ваши короткие строки — как будто посмотрел на картинку Рюисдаля: нет в них ничего скорбящего, а есть *нечто* столь грустное, что любящее Вас и Вашу семью сердце мое сжалось до слез. Эти строки — рюисдалевская лодка в болотной трясине. Вы устали и перестаете верить: Вам кажется, что все «остынет». Таковы обыкновенно последствия долгих неудач, и Вам еще надо дивиться на крепость могучего Вашего духа. Но «имейте веру с зерно горчичное». Вчера я обедал у Мещерского, и мы много о Вас говорили. Соблюдая все Ваше достоинство и не пускаясь в подробности, я не таил, что Вам должно быть очень тяжело, и даже поопасался: долго ли так можно выкрепить? Он грустно слушал. Затем я спросил: не кончатся «благие намерения» на Ваш счет словами? Он пожал плечами и отвечал, что еще не может отвечать на это, а сегодня приехал ко мне и заговорил о журнале своем и о критике. Я опять прямо повернулся на то, что

кроме Вас, по-моему, нет человека способного для критики вообще, и в особенности для критики исторической. Он воспрянул и отвечал, что уж это решено, что «Щ<ебальско>го надо перетащить в П<етер>бург». Я спросил: на какой конец? Мещ<ерский> ответил, что сегодня будет решено дать Вам средства на сочинение истории Екатерины, и в общем вот как: Вам дадут на три года 9 т. р., с тем, что 4 1/2 Вы получите безвозвратно, а 4 1/2 у Вас возьмут в возврат сочинениями. Я сказал, что, вероятно, Вы это примете, но скоро ли это будет? При этом я вынул из стола Ваше последнее рюисдалевское письмо и прочел три последние строчки о вашем бивакировании и опять сказал, что это несносно знать о человеке, столь почтенном, как Вы, и что, бог весть, все может терпеться лишь до поры и до времени. «Нет, нет, — воскликнул М<ещерс>кий, — это решено, что мы его сбережем». Относя это «мы» к наследникам Карамзина, я отвечал, что это, кажется, теперь уже их прямой долг. Князь так это и принял. «Надо его как можно скорее успокоить», — сказал он и затем спросил, когда я буду в Москве? Я отвечал, что уеду послезавтра и в субботу буду у Вас, а он молвил, что выедет в субботу «и будет у Щ<ебальско>го вместе в воскресенье».

С тем мы расстались, и я спешу Вам об этом сообщить, еще раз прося Вас бодриться и хранить «горчичное зерно веры» и в провидение, которое есть, и в людей, которые Вас чтут и любят.

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. О прекращении «Р<усского> в<естника>» забродили толки, по-моему превредные для всей партии. Видясь вчера с Маркевичем, я говорил ему, что знаю от Вас, что М<ихаил> Н<икифорович> действительно об этом поговаривает: М<аркевич> был этим удивлен и хотя (как и я) толкам этим большого значения не придает, но все-таки смущается ими и хотел сегодня написать К<атко>ву. О других намерениях Ваших, разумеется, я не проронил ни звука, но Маркев<ич> слышал от Гр. Данилевского, что Вы считаете себя в Москве не прочным.

Еще слово: евангелист просил однажды простить ему: «занеже, что недописах или переписах», — о том и я Вас прошу, буде что-либо в поведении моем касательно Вас усмотрите что-нибудь относящееся к перепису или недописку, — простите: делал как казалось лучше, ибо думаю, что скрывать Вашу зависимость от труда и обстоятельств дело напрасное, перервать хронический характер этой зависимости мож-

но, только сразу шпигуя способных «остывать» людей опасением потерять Вас, пока эта потеря для них дорога. Если же это не так, то опять простите.

И еще.

Я с дороги прямо толкнусь в редакцию; оставьте мне, пожалуйста, там записочку: нельзя ли мне иметь на неделю комнату в тех же номерах, где живете Вы? Мещерский же остановится у Дюло.

А. П. Милюкову

<3 или 4 ноября 1871 г., Петербург>

Любезнейший Александр Петрович!

Что опять за казус! Какой злой дух или насмешливый недруг научает Вашего театрального невежду делать сравнения? Неужто можно *сравнивать*ь пьяницу и забулдыгу актеришку Несчастливцева с принцем Гамлетом, который никогда не был актером, а тем менее забулдыгой и пьяницей, и именно *бежал пьянства и презирал его*. Поистине удивительно, чего же смотрите все Вы, читая рапорты этого «Эзопа с фонарем»? Что это за крайность печатать курьез за курьезом?

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Этот Ваш бебешка, вероятно, хотел сравнить Несчастливцева с *Киномъ* … Должно быть так?

Письма 1872 года

А. Ф. Писемскому

3 марта 1872 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Феофилактович!

Благодарю Вас покорно за Вашу книгу и за добрые пожелания. Внимание Ваше и память меня глубоко тронули. Я всегда чтил Ваш большой ум и талант, многому у Вас учился и стою к Вам в искренних ученических отношениях того сорта, каковы были, например, отношения художников в те времена, когда они учились не в непроизводительных академиях, а в скромных студиях. Мне успех работ Ваших не внушает беспокойного чувства зависти, а я им горжусь и любуюсь, — да благословит Вас бог, которому я верую, за то, что и Вы дали мне случай увидать, что и с Вашей стороны есть ко мне теплое доброжелательство. Спасибо Вам за это от всего сердца. Во всяком случае я знаю мое место: я иду до сих пор за Вами и равняюсь Вам только в одном: в степени безумной слепой злобы, постоянно рядом читающей наши имена в своих поминаньях. Крепи Вас господь на пользу родному слову и на поучение нам, желающим принять и понести в свой черед

лучшие предания и заветы учителей своих.

«Смех и горе» идет превосходно. Издания в 2 400 экз. почти уже нет — все распродано, и, кажется, нужно печатать другое. Набиваются художники иллюстрировать, да боюсь, как бы это не задержало.

Роман мой в «Рус<ском> вестн<ике>», кажется, начинают с мартовской книги. В конце поста я привезу им для воскресных номеров вещь вроде «Смеха и горя», которая уже пишется и будет состоять из ряда повестей одного жанра кривляк в семейной жизни, как там были кривляки в жизни общественной. Общее название этой шутке дано до сих пор «Блуждающие огни». Это Вам объясняет тему: света не ищут без источника света, при мерцании теорий, а не истин, лежащих в природе духа и сердца.

Так как друга моего Петра Карловича нет более в Москве, то, если угодно, я почитаю кое-что у первых у Вас, но только Вам, а не собранию, ибо хочу не похвал, а замечаний.

Затем еще раз благодарю за память и внимание; прошу Вас не лишать меня и того и другого на будущее время и верить моей глубокой и искренней Вам преданности.

Ваш слуга и ученик

Н. Лесков.

P. S. Прошу Вас передать мое глубочайшее почтение Екатерине Павловне.

Еще P. S. Бедняга Корибут таки не вылечился и умер, потеряв здравый рассудок. Врачи говорят какую-то нескладицу, а, кажется, сами во всем виноваты.

П. К. Щебальскому

6 мая 1872 г., Петербург.

Драгоценнейший мой Петр Карлович!

Вы, я думаю, имели уже время сопричислить меня к лику тех наших добрых знакомых, которые питают неодолимую вражду к доходам почтового ведомства и потому отвечают только на десятое письмо. Однако же я, слава богу, такой неприязни к почти не питаю и тому, что не сразу ответил Вам на Ваше доброе письмо, имею резонные причины, по коим надеюсь получить если не извинение, то хотя прощение.

Во-первых, письмо Ваше было получено одновременно с приятным уведомлением от Н. А. Любимова, что они там потеряли 4-ю часть «Божедомов», или, по-нынешнему, «Соборян». Сами можете представить, в каком я был терзании, и это терзание длилось до сего времени, когда Воскобойников, наконец, прислал мне депешу, что рукопись нашли у Михаила Никифоровича, оказывающего ей «особое» лестное внимание и потому ее то туда, то сюда закидывающего.

Славу богу, это искание кончилось, но прежде отравило мне три недели и без того не красной

жизни, причем особенно возмущали вопросы и переспросы: «да послали ли Вы ее? Осмотритесь у себя, припомните мельчайшие подробности посылки» и т. п. — Тьфу! Одним словом, люди превосходнейшие, но и довольно превосходные терзатели, особенно если кого возьмут в отличное от обыкновенного внимание. Но повторяю: «Dei gratiae»,[8] это пока улеглось «в ожидании лучшего», и я, пользуясь передышкой, строчу Вам наиобстоятельнейший ответ о Вашем лестном поручении.

Написать книгу, о которой Вы говорите, мне кажется, я могу; но как в письме Вашем стояло еще имя Крестовского, который может иметь в Варшаве своих аматеров, то я почел долгом прежде всего прочесть ему надлежащие строки этого письма. Он положительно от писания такой повести отказался, да я иного и не ожидал, так как эта работа совсем, мне кажется, не в его роде. Но, однако, весь декорум был соблюден. Затем, полагаясь на свои силы художественные, я задумывался над моею компетентностью. Я знаю Польшу и Русь, — это правда, но мне показалось, что для такой повести, требующей вымысла са-

---

[8] Примечания: 8
Слава богу — *Лат.*

мого пестрого и в то же время реального, лучше соединиться в этой работе с человеком, у которого есть такие стороны дарований, каких нет или мало у меня. Мне пришло на мысль написать требуемую повесть *вдвоем*, как это делают французы. Подходящим для сего человеком я почитал и почитаю полковника генерального штаба Сергея Ив. Турбина, который занимался статистикой России и Сибири и был, что называется, «не точно wszendze,[9] но еще пятьдесят верст за *вшендзою*». На днях я его уловил, чаем с ромом напоил и согласие получил, но еще два дня оставался в нерешимости насчет участия рома в этом деле. Однако же вчера, то есть 5 мая, получил письмо, которое к Вам в подлиннике посылаю. Из этого письма Вы увидите, что мой колоновожатый полковник уже на походе. План его мне нравится. Сибирь и жизнь ярмарочных пунктов он знает превосходно; отношения к России у него теплые; писать он для народа опытный мастер (его много рассказов *для солдат*, печатанных у великодушного пана Погосского). Условились мы так: он должен к половине июля доставить мне *канву* повести на *десять* печатных листов с безапелля-

[9] Примечания: 9
Всюду — *Польск.*

ционным согласием на переработку мною этого брульона в любую художественную форму со всякими изменениями, вставками и т. п. Одним словом: его подмалевка, а моя не только ретушь, но вся *живопись*. Этак, мне кажется, я могу Вам пообещать книжку, которая не постыдит Вашей рекомендации. Подписать же эту книгу (если нужно), то мы ее желаем подписать обоими нашими именами, то есть «Н. Лесков и С. Турбин».

Теперь благоволите же, дорогой Петр Карлович, пробежать прилагаемое письмо Турбина и ответить мне по возможности скоро (я уезжаю): 1) Нравится ли Вам моя мысль писать повесть соединенными силами? 2) По вкусу ли Вам турбинский план? 3) Что нам за этот труд могут заплатить и когда? (об этом пишите так, чтобы я мог Ваши строки *показать* в подлиннике). 4) Хорош ли размер в 10 листов? По-моему, более не для чего, а менее невозможно, — ничего не расскажешь. 5) К какому времени рукопись должна быть готова, куда ее прислать и кто будет ее ценителем?

Прошу Вас не замедлить этим ответом, потому что если книга нужна к предстоящей зиме, то необходимо, чтобы я не откочевывал из Петербурга прежде, чем получу возможность поставить

моего сотрудника в ясное и определенное положение, так как он тоже живет теперь *только* литературным трудом и должен быть ассюрирован. Цены Вы знаете и потому, вероятно, найдете основательным, что Т<урбин> хочет по 50 р. за брульон, а мне кажется, справедливо дать другие 50 за отделку, группировку и общую редакцию. Кроме того, рублей по 5 на лист может пасть на переписку экземпляров, что необходимо при работе вдвоем. Благословите!

Поклон низкий Вам, Мирре Александровне и всему Вашему прекрасному семейству.

Ваш *Н. Лесков.*

Роман Маркевича мне очень нравится, но в чем же тут вопрос? А если бы мать развелась да замуж вышла?

А. Ф. Писемскому

17 августа 1872 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Феофилактович!

Желая не упустить ни мало времени для приступа к доверенным Вами мне предварительным переговорам, я на второй же день по приезде осведомился о М<ещерском> и его издании и имею честь сообщить Вам нижеследующее. Самого сиятельного издателя нет в Петербурге, — он за границею и вернется лишь в начале сентября. Так говорят у него в доме. Редактор же его изданий г. Г. в деле ничего не значит, и говорить с ним было бы несовместно с достоинством Вашего предложения. Князь Вас просил — с ним надо вести и речи. Но вот что еще нужно Вам иметь в виду: первый томик их гражданинского сборника вышел и уже раздается. Я посмотрел хотя бегло, но довольно внимательно эту тощую серожелтую книжку и не могу о ней сказать ничего лестного: очевидно одно, что издатель сильно заботился «пестрить обертку». Содержание самое сбродное и бесталанное; даровитейшее имя на этой обертке есть имя г. Страхова, оно же и самое популярное. Отсюда можете сами заключать об

остальном. Издание серо, неопрятно и преисполнено опечаток. Каков будет второй том — я не знаю, но полагаю, что более или менее не должен быть под кадриль первому, ибо они должны составить одно целое. Второй этот том, по словам служащих в конторе, уже будто бы почти отпечатан и скоро выйдет, что и вероятно, так как с первого сентября опять уже должна выходить газета. Но отпечатан он, или печатается, или даже приготовляется к печатанию, за верность этого Вам не поручусь, а за что купил, за то и продаю. Князю я послал записку, которою прошу его уведомить меня, когда он приедет, и тогда тотчас же с ним повидаюсь и Вас о результате свидания и переговоров уведомлю. Может быть, вторая половина его сборника и неполна, а может быть, он будет приобретать Вашу пьесу для газеты: одним словом, я все это приведу в ясность и не замедлю Вас уведомить. Но как до этих переговоров еще есть время, ничем не рискуя переписаться, то я хотел бы знать Ваше мнение на тот счет: согласны ли Вы будете, чтобы Ваша прекрасная пьеса печаталась не в сборнике, а в газете? Разумеется, я спрашиваю об этом единственно на тот конец, если справедливо, что и второй том сборника уже составлен, и я услышу подтверждение этого

от самого М<ещерского>.

Других новостей никаких еще не слыхал, да их, верно, и нет, точно так же как нет вовсе никакой холеры и ее ровно никто, кроме Вас, не боится.

До свидания, учителю благий. Храни Вас небо для русского искусства и любящих Вас людей. Пишите, ради бога, более и не хандрите, а приезжайте сюда к нам за «Эрфиксом», которого доброжелательствовали Кашпиреву, его же память неведомо когда и праздновать. То ли дело Хан: по крайней мере «закрыт по высочайшему повелению». Что же: падать с коня, так с хорошего.

Ваш *Н. Лесков.*

По моему мнению, печатать ли пьесу в сборнике или в газете — это совершенно все равно. Даже в газете лучше: она опрятнее и более читается.

А. Ф. Писемскому

4 сентября 1872 г., Петербург.

Многоуважаемый Алексей Феофилактович!

Почтенное письмо Ваше я получил, но не мог исполнить Ваших поручений, потому что князя не было в Петербурге. На сих днях он приехал, но в особом настроении, исключающем всякое удобство свиданий с ним с моей стороны. Он гневается на какое-то зложелательство ему или на что-то сему подобное, и потому выходит, что мне с ним нельзя вести переговоров. Я это слышал еще ранее от Данилевского, а теперь имею тому и подтверждение; а потому простите меня и не поставьте мне этого в вину перед Вами.

О пьесе Вашей я говорил в кружках, и об ней напечатаны два раза добрые слухи в «Русском мире». Лихих болезней здесь никаких нет, и Вам надо бы пожаловать.

Душевно преданный Вам

Н. Лесков.

С. А. Юрьеву

10 сентября 1872 г., Петербург.

Милостивый государь Сергий Андреевич!

Три года тому назад я отдал Вам переписку первого освободителя крестьян, статистика Журавского, с гр. Перовским. Три года Вы ее держите, обещая напечатать, и все не печатаете… В прошлом году, когда я, в бытность свою в Москве, требовал эту рукопись назад, Вы прислали ко мне Вашего сына, и тот при Крестовском и Щебальском просил меня оставить эту переписку у Вас до весны, что «весною-де „Беседа“ ее непременно напечатает» Я поверил этим словам; но с тех пор, как присланный Вами юноша говорил их, «прошло лето, прошла осень, прошла красная весна и наступает злое время, — то холодная зима», а статья не печатается: ответов от Вас не добьешься; в Москве бывая, Вас не застанешь… Уважаемый Сергий Андреевич, да что же это такое? Усердно прошу Вас решиться как-нибудь кончить эту комедию, вперед Вас заверяя, что я не могу оставить этого еще на неопределенные времена.

Я глубоко уверен, что Вы не найдете оснований укорить меня ни в малейшей неделикатности

по этому делу и постараетесь как-нибудь успокоить меня в моих, надеюсь, самых справедливых желаниях.

Ваш покорнейший слуга

Ник. Лесков.

P. S. Прилагаю мою карточку и адрес, который, может быть, у Вас не записан, хотя я много раз его напоминал.

А. Ф. Писемскому

15 сентября 1872 г., Петербург

Уважаемый Алексей Феофилактович!

Несказанно рад, что буду иметь удовольствие видеть Вас в Петербурге, и от души хотел бы, чтобы этот Ваш приезд был не как прошлый, — хотел бы, чтобы Вы видели, что среди литераторов, младших Вас по возрасту и по силам литературным, есть к Вам нелицемерная любовь и уважение. Что до меня, то я желал бы Вас встретить при самом Вашем приезде и пособить Вам устроиться с дороги; а потому прошу Вас известить меня накануне Вашего выезда. Надеюсь, что Вы это исполните.

Князь М<ещерский> дуется на весь мир и негодует на меня за Крестовского, коего будто бы я отклонил от него, что вовсе не правда, ибо Крестовский просто требовал денег, а их недоставало, что ли, или что-то в этом роде. Но всл это мелочи.

Хандра Ваша неодобрительна, но поездку за границу нельзя не одобрить. Это лекарство чуднее и едва ли не единственное, когда «на родине все омерзеет». Лучшее средство полюбить снова

родину — это разлучиться с нею на время. Родина же наша, справедливо сказано, страна нравов жестоких, где преобладает зложелательство, нигде в иной стране столь не распространенное; где на добро скупы и где повальное мотовство: купецкие дети мотают деньги, а иные дети иных отцов мотают людьми, которые составляют еще более дорогое достояние, чем деньги. Но и Ева была мотовка и промотала рай, а однако Адам не мстил ей и не прогнал ее от себя, ибо без этой мотовки он стал бы совсем один. Что делать: надо смириться и полюбить самую неблагодарность в смирении своего сердца; а проехаться и отряхнуться — мысль благая: «да обновятся орлу крыле его».

Адрес Петра Карловича (у которого всем надо учиться силе и доброте) просто: в г. Сувалки, но я не знаю, там ли он теперь или в разъездах, потому что к ним поехал министр Толстой. Однако же Вы все-таки пишите: письмо, конечно, дождется его дома.

Напишите-ка мне до приезда своего: не прочтете ли Вы своей пиесы прежде литературным людям, которые по тому или по другому к М<ещерскому> теперь не бывают? Я бы советовал это сделать, ибо в числе таких людей много хороших

друзей Ваших (например, Авсеенко и др.). Если Вы найдете, что это хорошо, и не откажете нам в этом удовольствии, то не изберете ли мой дом, где люди нашего кружка бывают без чинов и без претензий? Соберемся, как Вы укажете: потеснее или пошире, и отворим двери только тому, кто Вам приятен.

Затем крепитесь и не хандрите. Хандра вещь прегадкая — это та «печаль, которая, по апостолу, спасения не соделывает». Вас любят и чтут, а многое другое бог дал Вам. Чем тосковать?

Ваш *Н. Лесков.*

М. Н. Каткову

29 ноября 1872 г., Петербург.

Репетиции в «Р<усском> м<ире>» невозможны, — там являются на дело свои воззрения, с которыми ничего не поделаешь. Орган совершенно уходит из рук и, вероятно, пойдет во вред делу, если теперь не устроить его в добрые руки. Сейчас М. Г. Ч<ерняев> имел со мною разговор, в котором передал следующее: пайщики четыре дня тому назад составили протокол о прекращении издания. Ч<ерняев>, желая спасти свои 14 тысяч, а также и сочувствуя делу, вызвался продолжать издание 2 года. Ему это уступили, но с тем, чтобы он принял еще некоторые долги, всего тысяч до 28, из коих 6 тысяч он должен уплатить 2-го дек<абря>. Ч<ерняев> все это принял, и «тонкий — долгий — белый — волокнистый» со всею командою 26-го получили абшид, но 27-го на георгиевском празднике Ч<ерняев> был встречен таким образом, что непременно должен поступить на действительную службу. Это поставлено так, что никакие компромиссы невозможны. Теперь дело с издательством совсем уже спуталось: но Ч<ерняев>, однако, готов скорее рисковать

своими деньгами, лишь бы не дать газеты Д., который, как мне достоверно известно от Ю. Б<огушеви>ча, представлял уже двух редакторов: 1. Пыпина и 2. Белозерского (из «Основы»). Получив отказ от этих, он поставит подставное лицо, за которым будет спрятан будто бы Сув<ори>н. Так говорят в Главном управлении по делам печати. Это, кажется, верно. Ч<ерняев>, чтобы не допустить этого, хочет все-таки взять газету за себя и завтра (то есть 30 ноября) непременно подпишет условие, имея заднюю мысль тотчас же передать ее в добрые руки. Кто окажется с этими «добрыми руками» — до сих пор на горизонте не видно. Ч<ерняев>, однако, уполномочил меня написать обо всем этом Вам и, во-первых, просить Вас, не придумаете ли Вы какой-нибудь комбинации, так, чтобы спасти орган, и кому бы его сдать; а во-вторых, просить Вас и о сохранении всего этого в глубочайшей тайне, так как пайщики только ему отдают предпочтение перед Д., а если они прослышат, что он берет газету не для себя, а для передачи, то Д. найдет основания ее перехватить и передать на более выгодных условиях во враждебный лагерь, где идет сильная забота о приобретении старой формы (так как Лонг<инов> новой не дозволит). Ч<ерняев>

думает: не пожелаете ли Вы сами взять дело? Он не рассчитывает на это, но только так думает и просит: нельзя ли Вам черкнуть словечко в разрешение его дум? Это Вас ровно ни к чему не обяжет, а у него одна дума будет уже разрешена. Деньги 6 тысяч рублей он вносит 3-го дек<абря>. Затем 8 тысяч нужно уплатить в 2 года. Всего же надо уплатить до 28 тысяч. — Подписка у них сравнительно идет такая, чту и в прошлом году (то есть, конечно, по сие время).

Я не думаю, чтобы Вы сами вошли в это дело и промолчали на этот счет Ч<ерняеву>, но мне кажется, что Вы можете указать путь, как бы устроить это на волоске висящее дело? Нет ли у Вас в виду кого-нибудь? Кратчайший ответ Ваш на это крайне необходим 2-го числа, ибо в этот день уже должны быть приготовлены все диспозиции. Ч<ерняе>ва и я боюсь, как бы он не сплоховал. Если Вам угодно будет написать мне или (еще лучше) дать иносказательную, но внятную депешу тотчас по получении этого письма, то я не промедлю минуты ориентировать Ч<ерняе>ва как надо. — Сделайте милость, не замедлите своим словом: оно теперь может чрезвычайно много.

Преданный Вам

И. Лесков.

М. Н. Каткову

27 декабря 1872 г., Петербург.

Милостивый государь
Михаил Никифорович!

Мне кажется, что я непременно должен сообщить Вам, чту делается в эти минуты с «Русским миром», сконфуженный редактор которого теперь состоит в Москве. Может быть, Вы захотите помочь Вашим словом гибнущей газете. Дело в том, что оба генерала, из коих один полусобственник издания, окончательно недовольны Комаровым и его антуражем и решили его устранить от редакторства, к которому они признают его неспособным. Я говорил Вам об этом слегка и, кажется, говорил тоже, что они предлагали и предлагают это редакторство мне; но я от этого отказался, отказываюсь и всегда откажусь, как потому, что мне неприятно становиться между людьми, которых я люблю и уважаю, так и потому, что это оторвало бы меня от художественной работы, которой я душою предан. В таком положении я оставил дела и, возвратясь, застал у себя экстренные письма генералов с просьбою помочь газете в критические ее минуты. Пись-

мо это пролежало у меня, пока я был в Москве, а встревоженные раз генералы тем временем обратились к Милюкову, который и изъявил согласие принять редакцию (Комаров об этом едва ли знает). Авсеенко, на которого я указывал вместо себя, им, кажется, не по нраву. — Теперь они склонили Комарова немедленно уехать за границу и дают ему за это 3000 р. и ящик устриц. Он согласен и едет. Отъезд его немедленный признается Ч<ерняе>вым необходимым для того, чтобы «сразу выместь весь шпионствующий, нигилистический сор», чего действительно нельзя сделать при страдающем феминизмом Виссарионе. Но я боюсь, и, кажется, не без основания, что немедленный отъезд К<омаро>ва во время подписки (которая идет удовлетворительно) неизбежно породит слухи о прекращении газеты и страшно повредит ей. Они этого не понимают, и я вчера на генеральном совете, на который был вытребован к Ч<ерняе>ву, едва успел преклонить их на следующее: 1) Имя Комарова оставить на газете и оставить за ним внешние сношения по редакции с людьми. Я указал его достоинства: благородство, мягкость, покладливость и уменье держать связи. Это принято. 2) Придать ему в помощь Авсеенку или Милюкова (они склоня-

ются в пользу последнего), по гласно этого не заявлять. И это принято. 3) Не высылать К<омаро>ва немедленно, а удержать его или вовсе и тем сберечь 3 тысячи, или же по крайней мере сберечь его здесь до половины февраля, то есть пока подписка выяснится и, может быть, докажет ненужность высылать. Против этого неодолимые возражения, которые мне удалось поколебать, но опровергнуть не удается. Ф. пристал к моему мнению, что это безопаснее, чем рисков<ать> слухами, которые подхватятся и повторятся на тысячу ладов; но Ч<ерняе>в, видимо боясь за свои деньги, минуты боится оставить К<омаро>ва и 3 тысячи на его поездку считает потерею относительно ничтожною. Значения же слухов он не понимает и думает, что их достаточно будет раз опровергнуть. — Так ли это? — Я просто дрожу за судьбу этого единственного издания в известном духе и, зная Ваше к нему внимание, сообщаю Вам все это на тот конец: не найдете ли Вы нужным и удобным тем или другим путем установить Михаила Григорьевича на настоящую и лучшую точку отправления? — Письмо это, конечно, прошу принять к единственному Вашему ведому. Из двух людей: Авс<еенко> или Милюков, я не знаю, который удобнее? Авс<еенко> гораздо способнее

и умнее, но он человек больной и бессонных ночей не переносит, а без них редактору не обойтись. Милюков же человек опытный и ровный, но… я боюсь, не сделалась бы газета в его руках набело перепечатанным «Сыном отечества». Рутинный прием «Голоса» для него образец. «Реалисты они оба, конечно, потаенные», но у Авсеенки больше чутья, больше такта, он лучше пишет и человек вполне самостоятельных взглядов, тогда как М<илюков> был, есть и всегда будет под рукою Андрея, которого «нет продажнее». С другой стороны, М<илюков> покладливее, а А<всеенко> упорен и легко разрывает связи; у М<илюкова> большое литературное знакомство, а от А<всеенко> люди как-то сторонятся, я полагаю, единственно по неприветливости его обычая и его холодной манере. Нехорошо ли бы было вместо того другого дать кого-нибудь совсем иного из людей Вам известных? Ваше слово было бы в этом случае вполне действенно, тем более что на Авсеенку генералы как-то не располагаются; я ни за что в мире за это не возьмусь, а М<илюков>ими еще не усвоен последним словом. — Во всяком случае желаю, чтобы эти передряги были Вам известны, — авось уже и из одного этого делу будет какая-нибудь польза. С

глубочайшим к Вам почтением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою

Н. Лесков.

P. S. Письмо запоздало, зато я нечто узнал и приписываю: откуда сильный напор против К<омаро>ва? От ориенталиста Григорьева, у которого Ч<ерняе>ва окружили разные люди и совсем его обескуражили. Я этого Григорьева совсем не знаю, что он такое, но, во-первых, опасаюсь: нет ли там планов посадить своего канцелярского либерала, а во-вторых, о намерении К<омаро>ва ехать знает и рассказывает уже граф Д<анилевски>й, — значит, распространения этого слуха уже бояться нечего, а надо его принять как совершившийся факт.

Письма 1873 года

А. С. Суворину

26 февраля 1873 г., Петербург.

Милостивый государь
Алексей Сергеевич!

Я очень благодарен Вам за Ваше внимание и считаю долгом исполнить Ваше желание, но я не совсем понимаю, чту нужно Вам для Вашего издания: формулярные ли сведения о моем рождении, воспитании и проч. или несколько более живой рассказ о моем прошлом? Я ведь вполне *самоучка* и всем, чту знаю и что усвоил, обязан себе и двум добрым людям, которых нельзя не вспомянуть, давая сведения обо мне как о литераторе. Удобна ли Вам по этому предмету заметка строк в 50–70? Это о времени долитературном.

Что же касается литературных моих трудов, то я стесняюсь только в одном: я решительно не могу указать, *когда* именно что было мною написано. Достаточно ли будет для Вас, если я просто перечислю мои беллетристические работы в том порядке, как они одна за другою писались и где помещались?

Равномерно позвольте мне узнать: нужна ли

моя записка Вам в окончательной редакции для печати, или Вы предпочли бы иметь об этом мое письмо к Вам, из которого сами могли бы взять то, что найдете нужным?

Ответьте мне, пожалуйста, и я без замедления исполню Ваше желание.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

А. С. Суворину

7 марта 1873 г., Петербург.

Не посердитесь, пожалуйста, на меня, уважаемый Алексей Сергеевич, что я о сей пору не прислал Вам обещанного письма. Я его составил, но многого не могу припомнить и к тому же несколько дней лежу больной. Однако на днях все это будет сделано, и я отдам мое письмо Гр. Данилевскому, с которым Вы, кажется, видаетесь, а если это и не так, то он имеет возможность доставить его Вам с одним из сорока тысяч курьеров, какие у него есть для всяких посылок. — Благодарю Вас за добрый ответ и выраженные в нем добрые чувства. Благодарю и за искреннее мнение обо мне и моей деятельности. Как быть? Все мы люди, все человеки, — существа плохие и несовершенные перед идеею абсолютного разума и справедливости. Может быть, и я во многом виноват; может, и Вы в чем-нибудь не безгрешны. В виду нарастающих годов и естественно приближающейся смерти порадуемся хотя тому, что мы еще умели всю жизнь оставаться *литераторами* и, питаясь тощими литературными

опресноками, не продавали себя ни за большие деньги, ни за малые, как это начинается у других, похваляющихся своей бесстрастностью… Кто из нас в чем был правее другого, то решать не нам, а с нас, мне кажется, довольно того утешения, что мы любили и (надеюсь) любим свое дело горячо и служил ему по мере сил и умения искренно и не бесстрастно, не ожидая себе за свою деятельность ниоткуда никаких великих и богатых милостей. В заключение скажу Вам: вряд ли многие из нас теперь в существенных вопросах гак противумысленны друг другу, как это кажется. А подумайте, что впереди! Если мы поживем, то, не придется ли нам повоевать заодно против того гадкого врага, который мужает в меркантилизме совести? За что же мы *унижаем* друг друга? И перед кем? Перед людьми, которые всех нас менее совестливы…

Распря чаша часто держится характера чисто сектаторского… Это худо, но помочь этому могла бы только одна талантливая критика, а ее нет. У нас есть обидчики, но истолкователей нет, а обидчикам, конечно, всегда будет более приятно заботиться о литературной вражде, чем о единодушии и мире. Возможен ли такой мир или он есть утопия, но во всяком случае одна забота о

нем сама по себе уже не осталась бы неблаготворною для литературы, и наш лагерь, мне кажется, имеет в этом случае некоторое преимущество перед Вашим. Наши люди как-то более умеют щадить самолюбие и человеческое достоинство своих противников и по крайней мере они едва ли на десять оскорблений отвечают одним, и то всегда гораздо более умеренным. Как хотите, а это несомненный признак порядочности, который нельзя не уважать в самом противумысленном нам человеке.

Вот Вам мой болтливый ответ на Ваше доброжелательное письмо, за которое еще раз благодарю Вас; *вполне* Вам верю (как и всегда верил) и желаю Вам от души наилучших и во всем успехов и наилучшего счастья.

Преданный Вам

Ник. Лесков.

Крестовский тоже пришлет Вам свою записку.

В. П. Мещерскому

18 марта 1873 г., Петербург.

Милостивый государь
Владимир Петрович!

Почтив меня своим посещением в начале Вашего литературного предприятия, Вы изволили просить меня приготовить для «Гражданина» какую-нибудь небольшую беллетристическую работу. Теперь я располагаю такою вещицею (рассказ листа в 4, размера «Русского вестника») и по ее относительным достоинствам, кажется, могу позволить себе предложить ее Вам. Потрудитесь известить меня: пригодно ли Вам в эту пору такое произведение? Гонорар мой в «Русском вестнике» 150 р. за лист — что я желаю получить и от «Гражданина». Рассказ писан в роде «Смеха и горя», то есть легко делится эпизодически. Прочесть его я готов, если можно, в одну из сред.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

Письма 1874 года

П. К. Щебальскому

4 января 1874 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Получив Вашу «критическую статью», я устремился в преследование нашего консервативного камергера и, наконец, настиг его сегодня и с его речей начинаю мою Вам отповедь.

Особа, о которой Вы спрашиваете, появлялась сюда для того, чтобы проситься в члены совета м<инист>ра. Граф счел это за несообразность и отказал в этом. Тогда П<отапов> спросил через директора д<епартамен>та: «что ему делать?» (то есть он не ладит с В<итте> и проч.). Граф на этот вопрос отвечал: «ехать на свое место». Граф им очень недоволен и очень бы рад был, чтобы он, приехав на свое место, прислал просьбу об отставке, что здесь и ожидается, так как П<отапо>ву с В<итте> не поладить, а между тем он, кажется, уже выслужил пенсию. Но выслужил ли он *наверно*, — этого камергер не знает. Далее же, теперь здесь ничего не могут делать для Ваших интересов, а просто Вам осведомиться: что делает в Варшаве П<отапов>? Уселся ли г-н

снова или, не стерпев афронта, уходит? Если он уходит, то перевод Ваш на его место — дело решенное в Вашу пользу. Если же он смирится и сядет на свое старое место, то… надо и Вам сидеть и ждать погоды. Перемена эта, «вероятно, состоится» (говорят), «но надо выжидать, а если П<отапов> уходит, то Вы тотчас будете на его месте». Об Одессе М<аркеви>ч говорил с графом, но это невозможно с сохранением выгод, предоставляемых Вам местными привилегиями. Вот Вам отчет о том, что я узнал. Теперь узнавайте сами в Варшаве и пишите сюда кому знаете. Если сочтете нужным вести что-нибудь через меня, то я, конечно, не буду неисправен и по мере сил постараюсь быть толков.

Мое собственное определение, кажется, совсем устоялось. Геор<гиев>ский сказал, что уже есть приказ, но я его еще не читал.

За критику благодарю и «приемлю оную за благо», но не совсем ее разделяю и не вовсе ею убеждаюсь, а почему так? — о том говорить долго. Скажу одно: нельзя от картин требовать того, что Вы требуете. Это *жанр*, а жанр надо брать на одну мерку: искусен он или нег? Какие же тут проводить направления? Этак оно обратится в ярмо для искусства и удавит его, как быка давит

веревка, привязанная к колесу. Потом: почему же лицо самого героя должно непременно стушевываться? Что это за требование? А Дон-Кихот, а Телемак, а Чичиков? Почему не идти рядом и среде и герою? Я знаю и слышу, что «Очар<ованный> стр<анник>» читается живо и производит впечатление хорошее; но в нем, вероятно, менее достоинств, чем в «Ангеле». Конечно, это так, — только вытачивать «Ангелов» по полугода да за 500 р. продавать их — сил не хватает, а условия рынка Вы знаете, как и условия жизни. Обижаться же мне на Вас за придирчивость ко мне я не думаю, так как в самой этой придирчивости вижу Ваше ко мне расположение. И скажу Вам откровенно, если Вы любите мой, так говоря, «талант», то я не только люблю и Вас и Ваше отношение к литературе, но считаю Ваши мнения самыми беспристрастными и основательными и потому чрезвычайно мне дорогими и милыми. На этот раз я с Вами не согласен, но это, конечно, потому, что мы не с одной точки относимся к задаче искусства. Затем о «Захудалом роде». О новом поколении не стоит говорить: я это «вокруг перста обовью», а тут самое трудное: чем изгажены князья Димитрий и Яков? Я хочу сделать так: бабушка навлечет немилость губернатора, и тот

ей отомстит доносом. Детей у нее *потребуют* в казенное заведение… (Это бывало!) Укажите, в какое заведение сдать их *поневоле*? Учитель будет сослан в отдал<енные> губернии. Нравится ли это Вам? Пожалуйста, пособляйте, пока помощь так важна.

Душевно любящий Вас

Н. Лесков.

Мирре Александровне и всему приветливому семейству Вашему бью челом. Соловьев умер в Москве скоропостижно, от нервного удара.

А. С. Суворину

11 августа 1874 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Исполняя Ваше желание иметь мои автобиографические заметки, посылаю Вам записочку, в которой включено все, что я помню о своей литературной деятельности. Если это Вам на что-нибудь годится, то я буду очень рад и еще раз благодарю Вас за честь, которую Вы мне оказываете, интересуясь мною.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

И. С. Аксакову

16 ноября 1874 г., Петербург.

Милостивый государь
Иван Сергеевич!

Александр Николаевич прочел мне сегодня Ваш ответ на его письмо, писанное по моему желанию. Я не знаю, почему я в эти тягчайшие минуты вздумал тревожить Вас, но я был уверен, что Вас моя просьба не обидит и что Вы сделаете все то, что возможно. Все это так и вышло… Примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность и за участие и вообще за доброе слово. У Кокорева я побываю, но прошу Вас, если можно, пришлите мне Вашу карточку, с которою бы я мог к нему приехать, — это облегчает неприятность положения входящего просителя. Вы меня этим много обяжете. О том, что выйдет из нашего свидания, я расскажу Александру Николаевичу, а если это и Вас может сколько-нибудь интересовать, то извещу и Вас. Разочарований же каких, впрочем, не боюсь, — никаких удач ниоткуда давно уже не ожидаю. Чтобы иметь в это время успех и не бояться голодной смерти, надо было идти не

тем путем, каким шел я, служа мою посильную службу русской литературе и русской мысли. «Р<усский> в<естник>» был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться, терпя там значительное стеснение, — теперь и это кончено; а ни плодить материалистов других «Вестников», ни лепить олигархов «Р<усского> мира» я не могу. Поэтому, чтобы не совсем отречься от литературы, остается на время отойти от нее в сторону и стать вне зависимости от всеподавляющего журнализма. При нынешнем тиранстве журналов в них работать невозможно, и мое нынешнее положение лучшее тому доказательство. Вы оказали мне, в письме к Ал<ександру> Н<иколаевичу>, большую любезность; но представьте себе, что мне все говорят такие комплименты и в глаза и за глаза; а между тем… мне некуда деться! И так идет не с одним Некрасовым, а так шло и с Юрьевым, которому *первому* были предложены и «Соборяне» и «Запечатленный ангел»… Я понимаю, за кого и за что может мстить мне кружок бывшего «Современника» и вся беспочвенная и безнатурная стая петербургских литературщиков; но за что руками предавал меня в единую и нераздельную зависимость от Каткова продолжатель московской «Беседы», — этого я о сию пору

не знаю. А все это меня огорчало, томило мой дух, убивало мою энергию и веру в свои силы и в то же время давало надо мною ужасную власть людям, которые, кажется, великодушие знают только по доктрине. Теперь я все покончил и с ними: нет никаких сил сносить то, что я выносил долго. Кроме одного «Запечатл<енного> ангела», который прошел за их недосугом «в тенях», я часто не узнавал своих собственных произведений, и, наконец, 2-я часть «Захудалого рода», явившаяся бог весть в каком виде, исчерпала или, лучше сказать, источила последние капли и моего терпения и всех моих сил душевных. Не ближе ли ко мне теперь станет господь, являющий силу свою в немощи человека?

Заключаю мои строки повторением еще раз моей признательности, как за Вашу готовность просить за меня, так и за доброе слово о моих работах. Вы мне среди всех зол нынешнего дня моего доставили отраднейшую минуту.

Не буду употреблять обычной фразы об уверении Вас в моем почтении, — я чувствую, что Вы знаете, что Вас уважают даже Ваши враги; а мне уж лучше позвольте любить Вас так — как это мне более привычно по отношению к роду Аксаковых.

Преданный Вам

Николай Лесков.

И. С. Аксакову

27 ноября 1874 г., Петербург.

Милостивый государь
Иван Сергеевич!

Я получил Ваше доброжелательное письмо и карточку, но не отвечал Вам до сих пор и не благодарил Вас потому, что хотел в моем ответе сказать что-нибудь о результатах свидания моего с Кокоревым, а его все не было в Петербурге. Он приехал только два дня тому назад, и я вчера же был у него, и попал, как кажется, весьма неудачно: утром я его два раза не заставал, и прислуга сказала мне, что самый удобный час для уединенного с ним собеседования — вечерний (7–8), когда он кончает свой послеобеденный отдых. Я так и сделал, но застал у него кучу гостей — людей мне совершенно неизвестных, и самого его за картами. Заход был совсем некстати, но назад пятиться было поздно, тем более что я вперед послал уже свою и Вашу карточки, — мы свиделись… К<окорев> принял меня ласковой, доиграв партию, увел в гостиную, где сказал, что Вы ему обо мне говорили и что он рад мне служить чем

может, но не знает, «под каким заглавием»? Ввиду его занятого в эту минуту времени и близкого соседства сторонних людей я не назвал и «заглавия», тем более потому, что оно-то и есть для меня самое худшее и едва ли не самое труднейшее для произношения. Я выразил ему свое сожаление, что застал его в такое неудобное время, и просил назначить мне другой час, а он просил меня приехать к нему утром через неделю, потому что эту неделю он очень занят, и мы на этом расстались. Всем этим я, однако, нимало не огорчился, а, напротив, оглянув, с кем готовлюсь иметь дело, весьма даже обрадовался, что вышло так, а не иначе, и сейчас же пишу к Вам, прося у Вас новой помощи и поддержки по части «заглавия». Из всех добрых людей, принимающих в эти минуты во мне участие, Вы вернее всех поняли мое положение, — мне надо выбиться из-под давления журнализма, и это вполне согласно с моим собственным взглядом и составляет самое горячее мое желание. Но как этого достичь? — Напечатать роман помимо журналов не штука: деньги, на это потребные, я могу найти и у родных, и любой типографщик мне покредитует; но ведь Вы, конечно, знаете существующие у нас разбойничьи отношения книгопродавца к автору: я издам

роман, и он пойдет, а я все-таки буду биться и колотиться, да еще с долгом за плечами (чего я до сих пор не знаю). Поэтому содействие в форме субсидии или кредита мне не нужны. По моему мнению, чтобы поставить меня на ноги и дать мне возможность свободно служить литературе, меня нужно поосвободить хотя немного от полной от нее зависимости в рассуждении хлеба насущного. Издать один роман и, проедая его, снова спешить строчить новый, — на это не станет меня; а чтобы жить с семьею, мне все-таки нужно около 3 т<ысяч> р<ублей> в год. Одну из них я имею, по должности члена уч<еного> ком<итета> при гр. Толстом, а две мне хочется зарабатывать трудом не литературным — трудом, который бы требовал ума, добросовестности и прилежания, но не авторского творчества. Вот, мне кажется, мое «заглавие». Пособите, пожалуйста, мне его выговорить Вашими устами! Я помню Ваше письмо Александру Николаевичу. Вы совершенно правильно рассуждаете о несоответствии коммерческому делу людей литературных, но дело-то в том, что прежде, чем быть литератором, я был человеком коммерческим, я служил у Скотта и Вилькенса; я правил самостоятельное дело, получая около 6 т<ысяч> р<ублей> в год; мною всегда

были довольны, и я, смею сказать, знаю Россию как свои пять пальцев. Я могу быть употреблен к коммерческому делу не в виде синекуры, а я могу трудиться с пользою для дела, и желаю того всемерно. Коронная служба, не скрою от Вас, мне далеко не мила, да и мне, в моем литературном чине, нельзя на это рассчитывать; а главное, она мне глубоко противна при нынешних порядках, и самого уч<еного> комит<ета> я держусь поневоле, — торговая же деятельность, которая дала бы мне средства урывать час-два для неспешных занятий литературою, особенно такая, при которой бы я мог освежить свои впечатления в столкновениях с новыми типами и новыми фактами русской жизни, была бы для меня самым желательнейшим. Словом: я хотел бы, чтобы меня взял к себе на службу кто-нибудь из добрых торговых людей, как брали Громеку, Данилевского, Полонского и им подобных. Взявший меня во мне литератора не заметит, а понадобится ему мое перо, — оно готово к его услугам, как перо его служащего. Вот мое «заглавие» в некотором подробнейшем развитии. Мне прежде всего *нужно отдохнуть от литературы*, чтобы служить ей несколько по-иному.

Если я изложил это понятно и для Вас убе-

дительно, то, пожалуйста, поспешите мне на помощь, пока Кокорев здесь! Прошу Вас написать ему (Англ<ийская> набереж<ная>, собств<енный> дом), «под каким заглавием» он может быть мне полезен. Я человек от природы застенчивый и особенно неумелый в ролях искательного характера: облегчите мне, ради Христа, мои затруднения; я у Кокорева буду отныне через пять дней — в это время к нему может доспеть Ваше письмо, если Вы его напишете завтра или послезавтра; а это будет мне облегчением несказанным. Иначе я опасаюсь, что вследствие недоговоренности все может кончиться одним знакомством, которое, конечно, само по себе весьма интересно; но в это-то время я, к сожалению, потерял вкус ко всему на свете. По примерам, какие вижу, просьба моя Кокорева не может затруднять — коммерсантам тоже люди бывают нужны, а я работник и способный и не ленивый. Что к себе, так к другим он может меня пристроить — разумеется, если захочет.

Катков теперь здесь и совсем на меня надулся, но тем не менее отношения мои с «Р<усским> в<естником>» я оставляю поконченными. Не думаю, чтобы это имело влияние на положение мое при Толстом, но не удивлюсь, если и там

затрещит и станет рваться… Сам Т<олстой>, разумеется, ничего, — что я ему? — а другие могут быть влиятельнее. Вообще мне так мудрено, что могу кричать: кто в бога верует, — помогите!

Прилагаю Вам мою статью, посланную в поддержку освобождения России от новой повинности. Это должно интересовать Кошелева, и я усердно прошу Вас передать ему эту статейку и сказать, что 25 и 26 числа проект обязательно будет провален, несмотря на большинство (18 прот<ив> 3), которое стояло за эту новую повинность. Три противника были: я, Майков и Страхов, и силою «доводов Кошелева» побеждали.

Нетерпеливо буду ожидать от Вас хоть коротенькой строчки.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Графиня Толстая говорила мне, что Вы ее спрашивали почему я знаю духовенство? Откровенно Вам отвечу: я сам этого не знаю.

И. С. Аксакову

5 декабря 1874 г., Петербург.

Милостивый государь
Иван Сергеевич!

Трудно сочинять благодарность, которая шла бы сколько-нибудь в меру доброго внимания Вашего к моим докукам, но зато я не стану пытаться соплетать слова в выражение моей Вам признательности: мне верится, что Вы будто знаете, как полно мое сердце Вашим участием. Не к себе будь сказано, я всегда думал, что ужасающая цифра самоубийств зависит весьма много от входящей в моду «юридической правды», которою заменяется милосердие, дорогое во время свое, как милостыня во время скудости. Утешь человека одною готовностью поддержать его, и он переживет день, а другой день принесет с собою и другие мысли и другие утешения. Общий эгоизм страшен безмерно, и ему мы обязаны нашею страшною цифрою самоубийств. Я, конечно, весьма далек от этого, и по обстоятельствам и по убеждениям, или, лучше сказать, мню себя быть далеким, по милости божией; но чувствую,

сколь велика и важна радушная помощь в минуту тяжелой передряги. Ваши два письма меня оживили — особенно второе, где Вы журите меня за спешность. Вы правы: я отношусь ко многому — к своему положению и к не своему — «слишком нервно», но во-первых… круто пришлось, а во-вторых, так уж меня, видно, бог создал. Не осудите строго: бесстрастных ныне не недород. Что же касается данного случая, то Вы совсем и во всем правы, так что, пожалуй, и предсказания Ваши грозят сбыться: Кокорев, кажется, хочет быть мне полезным. Како будет сие? — не знаю, да и он сам, я полагаю, до сих пор не знает, но он обещал подумать, и я в том обещании слышу правду, а пока он просил меня прочесть заготовленную им книгу о бакинской нефти, за что я и взялся. Работы этой хватит недели на две, потому что он хочет иметь мои замечания на литературную часть. Сочинение это большое и, кажется, очень нескладное, и писал его некий Скальковский — человек Кокореву давно известный… Вот это немножко и щекотливо. Впрочем, поступлю по правилу: «делай что следует, и выйдет что нужно». Беседовали мы много и долго — от 9 до 12 утра — и потом вместе ездили в нефтяное общество. К<окорев> действительно очень умен, а всего

более быстр и проницателен; на меня он произвел впечатление хорошее: здесь между *да* и *нет* не существует той истомы, без которой ничего не умеют решать наши государственные мужи. Книги обе я ему отвез, и он их велел человеку положить у себя в спальне, добавив мне, что «Иван Сергеевич такой завет дал, чтобы непременно прочесть, — нельзя ослушаться». И за что это Вы за меня так работаете!.. Утешь и обрадуй бог Вас, как Вы меня утешаете и радуете Вашим горячим участием: меня браните, а сами за меня еще горячее меня идете. Что бы из этого ни вышло, но большое добро мне уже сделано; я оправляюсь духом и радуюсь, что знаю Вас, да еще вдобавок не по рассказам, а на сердце своем вас изведал. Князь Алекс<андр> Петр<ович> Щербатов

(которого Вы знаете), посещая меня, прочел Ваши оба письма и ручается, что Кокорев) сделает существенное дело, — дай бог его устами бы да мед пить.

«Захудалый род» продал Базунову, сколько вышло; 2-ю часть выпущу, восстановив все урезки; дописывай роман в целом не смогу теперь после этой встрепки и отложу до более спокойного времени; а вчера заходил ко мне кн<язь> Вл. П. Мещерский и пожелал взять в свой «Гражданин»

отдельные эпизоды 3-й части («Князь Кис-меквик» и «Смерть княгини Варвары Никаноровны».) Так, как с пожара, кусочки и разобрали. Занимаюсь рассказом для «Нивы» и довольно живою статью о *штундистах* для «Гражданина», назову ее «Практические христиане на юге России»: пристойно это или нет? Я был там, изучил эту штунду и убежден, что эго чистый пиетизм, родившийся не столько от чужеверного заноса, сколько от недостатка практической действенности в церковном обществе.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Корша обязывают во что бы то ни стало взять инго редактора, причем, несомненно, имеется цель, кого он не представит, всех браковать. Лонгинов тяжко болен — почти при смерти.

Пока приведет бог свидеться, прошу Вас принять мою фотографическую карточку.

Катков третьего дня был принят государем и говорил с ним в течение *22* минут (верно).

И. С. Аксакову

23 декабря 1374 г., Петербург,
(вечером).

Милостивый государь
Иван Сергеевич!

То, что Вы называете «моими с Кокоревым делами», вчера вступило в некоторую новую фазу, и я сегодня все раздумывал, не надлежит ли мне сообщить Вам кое-что об этом, как вдруг в обед получил письмо от Вас.

Право, не знаю, как Вас благодарить за то, что Вы мною интересуетесь и возитесь терпеливо с моим устройством; а наипаче и предо всем преимущественно благодарю Вас за Ваши письма. Если Вы хотя сколько-нибудь знали меня по типам, худо или хорошо мною воспроизведенным, то Вы, конечно, знаете, что все мои симпатии клонят к простоте и искренности отношений, а потому едва ли мне нужно уверять Вас, что живые соотношения с Вами мне дороги бесконечно. Примите мой низкий поклон за Ваше обо мне памятование; а на письмо Ваше буду отвечать по пунктам. — Рассказы мои издавались спекулято-

ром, и как они издавались — мне до того дела не было. — Штундисты меня очень занимают, и я сам становлюсь очень нетерпеливым к тому, чту из моей работы выйдет. Заметочка, на которую Вы обратили внимание в «Гражданине», отнюдь не принадлежит к статье или к исследованию. Это именно так себе — un discours en l'air;[10] но ей посчастливилось: она понравилась очень многим, и «Гражданин» в своем завтрашнем номере, кажется, оповестит, что самое исследование тоже будет у него напечатано. На «Москву» я всегда был подписчиком (и по сей час храню корректуру статьи, написанной для «Бирж<евых> в<едомостей>» в защиту Вашей газеты во время суда, но Трубников находил это «дело невыгодным»), однако статей Ваших о штундистах не помню. Все номера с останавливавшими мое внимание статьями у меня сбережены, а о штундистах ничего нет. Не знаю, как это могло случиться и во всяком случае прошу Вашей помощи и содействия: или укажите мне с точностью эти №№, или (если можно) пришлите их. Исследование еще все в голове, и всякий совет и всякое указание мне теперь сугубо дороги. План мой таков: я не

---

[10] Примечания: 10

Здесь: пустячок, безделка *(франц.)*.

буду держаться приема исключительно беллетристического и не стану избегать его, где он пригоден для придания образности. Кроме того, он в скользких местах гораздо удобнее со стороны ответственности. Затем я буду рассказывать истории, как их слышал и, не кривя душою, покажу, что штундизм идет не столько от немцев, сколько от небрежения нашею собственного духовенства, от дурной жизни клира и возмутительной холодности иерархов. Катехизис, составленный в Киев<ской> дух<овной> консист<ории>, я стану отвергать, как *сочинение столоначальника* (о чем имею право свидетельствовать со слов Авксентия Курки и епископа Филарета (ректора), играющего в истории со штундистами роль Гамалеева). У штунды теперь нет катехизиса, и я проведу параллели, чем штунда разнится с учением, изложенным в изъятом из обращения сочинении Новицкого. Из материалов я думаю пользоваться: 1) предисловием Юрия Федоровича к богословскому тому соч<инений> Хомякова; 2) сочинением проф. Знаменского «О русском духовенстве»; 3) исследованием Нечаева «О пиетизме», 4) «Догматическою системою Оригена» и 5) сочинением Новицкого «О духоборцах» 1832 г. Начать я думаю это скоро — на сих днях, и если

Вы можете меня познакомить с Вашими взглядами на штундистов, то, пожалуйста, не откажите в этом. За замечание Ваше о маймистах очень Вам благодарен и совершенно с Вами согласен. Это некстати; но оно бы не совсем так было, если бы не произошел довольно забавный казус: вслед за рассказом о маймистах шел рассказ о таких же делах, по нашей инициативе совершаемых, и вывод делался прекомичный, *но конец статьи не влез в номер, и его потеряли*, что Вы и можете видеть по тому, что под статьею нет моей подписи, — она вместе с концом осталась в типографии. Кокореву я прочитал (про себя, разумеется) творение Скальковского о нефти и уразумел оттуда что мог, составил реестр моих заметок и вчера их ему отдал. Его инженер и компаньон (Игнатьевский) высказались в пользу моего взгляда, и затем пока (или совсем) все тут. Книги я ему подарил, но не для того чтобы он прочел их: ему, я думаю, теперь не до того, у него сын болен и т. п. неладица. Конечно, кто захочет, тот на все найдет и время и средства; но а впрочем призовем пока святое терпение и благое молчание: они ничего не губят. — «Захудалый род» кончать невозможно, даже несмотря на то, что он почти весь в брульоне окончен. У меня руки от него отпали,

и мне сто раз легче и приятнее думать о новой работе, чем возвращаться на эту ноющую рану. Это свыше моих сил! Пусть пройдет время, тогда, может быть, что-нибудь и доделаю, а теперь…от этого много черной крови в сердце собирается. Надо прежде забыть.

Журавского мне было не дивно обрисовать, — я его тоже знал, и он едва ли не первое живое лицо, которое во дни юности моей в Киеве заставлял меня понимать, что добродетель существует не в одних отвлечениях. Статью Юрия Федоровича о Журавском я отлично знаю и пользовался ею для составления очерка о Журавском при основании журнала, который направляли Юрьев и Майков. Мне в то время были присланы Веригиным письма Журавского к Веригину, к Нарышкину и к Перовскому — письма, в высшей степени интересные для определения характера времени и выражения освободительных идей покойного Дмитрия Петровича. Тут же находятся спокойные, но меткие аттестации, положенные Журавским Нарышкину и Перовскому. Все это я собрал, переписал и, приведя в начале статьи слова Ю. Ф. Самарина о значении Журавского, послал мою статью в «Беседу» Юрьева. Мне казалось, что этой «Беседе» очень бы хорошо договорить по вновь

открывшимся материалам то, что было не договорено Ю<рием> Ф<едоровичем>вскоре после смерти Журавского. Юрьев так это и понял, и у меня по этому поводу образовалась особая литература из писем почтенного Сергея Андреевича. Однако Майков или кто-то другой ему посоветовал не заниматься такими мелочами, как Журавский — борец-де только за права человека в России, в самую глухую пору, и Юрьев рассудил за лучшее сначала отложить, а потом совсем потерять мою статью… Дивными путями Писемский как-то проник, где ее надо было и<скать>, и прислал ее мне уже гораздо после прекращенья кошелевской или юрьевской «Беседы». Потом эти письма ездили к П. И. Бартеневу, и его они тоже не заняли: никакого эффекта нет. Жертвовал я их и Семевскому, — тому велики очень (их будет листа на 3). Теперь просят их у меня Шубинский, который заводит старину с nортретами, но а где же взять портрета Д. П. Журавского? У меня нет его портрета. Нет ли у Юрия Федоровича? Какое бы доброе дело он сделал, если бы, имея таковой, ссудил им на время; а то земля русская дала бедняку Журавскому три аршина, а русская литература не хочет дать трех листов для того, чтобы сберечь самые задушевные слова превосходнейшего из

людей. И это при том страшном многословии и пустословии, о котором даже стыдно подумать!.. У нас зима, Патти и граф Сальяс, которого *вывозят*. Приезжал П. К. Щебальский, но ему не повезло.

Ваш *Н. Лесков.*

Письма 1875 года

Н. С. Аксакову

1 января 1875 г., Петербург.

Милостивый государь
Иван Сергеевич!

Прежде всего поздравляю Вас с новым 1875 годом. — Желаю Вас видеть целым, здравым, долгоденствующим и благополучным во всех делах и начинаниях. Старый год канул в вечность, а сей новый всеми встречен как-то сумрачно и, так сказать, безуповательно: выдуманная на Страстном бульваре фраза о «пожертвованном поколении» облекается в плоть, и гнетет, и душит. Жить одним сознанием, что гимназисты учатся лучше, чем учились пять лет тому назад, — просто томление духа, и ничего себе так пламенно не желаешь, как того, чтобы не иметь никаких желаний. С такими мыслями встретили мы вчера полночь в кружке добрых людей (у Засецкой), где вспоминали Вас добром и пожелали, чтобы разомкнулись давно умолкнувшие уста Ваши, и тут же почувствовали, что на все это нет никаких надежд, что мы «пожертвованное поколение»… Дьякон Ахилла сидел под арестом «в пользу дет-

ских приютов», — мы благоденственно молчим обо всем серьезном в пользу читателей. Вот положение, ему же, по-видимому, несть конца!

Письмо Ваше я получил, взгляд мой на штундизм совершенно тот же, что и Ваш. Немец только потум, примером доброй жизни, а мысль о протесте против церкви дали сами «требоисправители», которые в юго-западном крае бесчинны и нерадивы до крайности, а притом сверх меры своекорыстны и жадны. В Киевской губернии попы сделались ростовщиками и бывают в сем ремесле жесточе и немилостивее жидов. В самом городе, куда, как Вам известно, сходятся летом богомольцы со всей Руси и из земель, полно единоверных, небрежение в богослужении и наглость в обирательстве неописуемы. Мы имели семейный обычай служить по отце заупокойную обедню в июле и обыкновенно съезжаемся все к матушке в Киев, и платили причту не скупо, но они уже так изучились «скорохвату», что *не умеют* отслужить лучше. Покойный Анд. Муравьев любил мешаться не в свое дело, но в ссорах с Арсением за возмутительное бесчинство в церквах он был прав. Не знаю, читали ли в «Русском мире» мою статейку (заметку для археологов), что в Киев<ской>лавре монахи по лености и небре-

жению *перемешали мощи* и не могут их теперь разобрать!.. Замечательно, что они это съели молча и ни слова мне не ответили. Так там и все, по целой губернии. Мне неловко рассказать, что отвечал Авксентий Курка Новикову (при мне и при еп<ископе> Филарете). Тот говорит:

— Разве все ваши священники недостойны почтения?

А Курка отвечает:

— Мы того не знаемо, яки вони уси; а що наш батюшка, то вин такій, що як владыко митрополит у нас були, то вони тода у пана, у двори кушали, а потим того на дорози до церквы подъихали… Мы стоимо и батюшка… А владыко як побачили батюшку, та отразу ему кажуть, що ты дурак; ну и наши тода говорят: що же як винь дурень, бо вже его сам митрополит дурнем зове, то что же нам от его божьего научения пытати и т. п.

А владыка, по циничному, но верному выражению Дундукова, блюдет одно: «тяжелые обеды, да легкие беседы», — вот он и весь тут, на кого вся надежда!

Вы мне ничего не ответили: нет ли у Юрия Федоровича какого-нибудь портрета Журавского? Тогда Шубинский бы охотно напечатал о нем статью, которую можно составить по имеющимся

у меня письмам. Не годится ли для Об<щества> люб<ителей> р<оссийской> сл<овестности> записка Журавского об улучшении быта крестьян? Она тоже у меня. — Кокорев не позволяет ни из чего заметить, помнит ли он меня? Работу ему нужную я сделал, как должен, и на праздниках у него побывал — он не отзывается. 1-м № «Петербургских; ведомостей» в «подлежащем ведомстве» недовольны — желали, вероятно, большей преданности. Как он взялся идти под столь тяжелыми и несогласимыми давлениями, — это удивительно; а если он их вынесет, то будет еще удивительнее.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Менгден вчера говорила кн. Щербаковой, а та мне, будто гр. Л. Н. (Толстой) опять взял роман от Каткова? Чрезвычайно любопытно: неужто это взаправду так?

И. С. Аксакову

22 января 1875 г., Петербург.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Спешу не замедлить ответом на письмо Ваше от 18-го сего генваря, где Вы пишете о дагерротипе Журавского, о штундистах, о книге Щапиной и о Григорьеве.

С Киевом я уже ссылался письмом об изображении Журавского, но там ничего нет и искать нечего. — Исследования о штундистах я бы очень рад был отдать редакции «Православного обозрения», против которого ничего не имею, но Вы, вероятно, видели уже, что это исследование Мещерский обещал подписчикам «Гражданина»... Как же теперь с ним заговорить об этом? По-моему, это очень неладно, да и не вижу к тому же причины или побуждений, — мне кажется, что бесцензурный и наивно смелый «Гражданин» легче пронесет эту историю, чем «Прав<ославное> обозр<ение>». У них можно свободно говорить по вопросам экзегетики, но по живым, бытовым вопросам журналы, находящиеся в зависимости от духовной цензуры,

мне кажется, совсем неудобны, и «Гражданин» в этом случае заслуживает предпочтения. Так и буду просить Вас передать почтенному редактору, сделавшему мне честь своим вниманием, за которое прошу его от меня поблагодарить. Если же он найдет, что я рассуждаю не право, то есть что они могут быть свободнее, чем я думаю, то пусть мне объяснит об этом что-нибудь поподробнее: может быть, я найду удобным выделить для сочинения о штундизме часть, — так самую интересную (напр<имер>, сравнение нынешнего штундистского учения с учением, описанным в исследовании Новицкого о духоборах, и определение значения, какое имеет у этих сектантов известная книга Ионикия Голятовского «Ключ Разумения», 1654 г.). Тут можно стать на строго научную точку и рассказать много интересного *в виде необходимых объяснений* к тексту и контексту. Если это редакторам «Обозрения» понравится, то об этом можно подумать и, пожалуй, можно и сделать. Теперь, принимаясь за дело, я хватился многого, о чем, в Киеве бывши, позабыт, и написал еп<ископу> Филарету в Киев и в<ысоко> п<реосвященству> Агафангелу в Житомир, но не знаю, будет ли их архипастырское внимание мне благоспешно. (Я, например, ничего не пере-

молвил об отношении штундистов к молитве за усопших… Глядя на страдания живых, позабыл о мертвых, а теперь все это затрудняет.)

В министерстве нар<одного>просвещения есть комитет один, — он называется «Ученый»; но в нем два дела: отдел чисто учебный и другой — для книг детских народных. Я состою членом последнего (вместе с Майковым). О сочинениях г. Щетшной или Щапиной я имею понятие, потому что она уже представляла некоторые свои сочинения в министерство, и их рассматривал я. Помнится, что они именно «ничего», и их, кажется, «допустили». «Одобрение» у нас не дается за достоинства отрицательного свойства, — нет: в Комитете существуют *три* категории: I) *Рекомендовать* (значит *обязательно* для школьн<ых> библиотек), 2) *Одобрить*, то есть похвалить, указать на книгу и 3) *Допустить*. Последнее касается для тех, которые, как Вы говорите, «ничего». Впрочем, можете быть уверены, что все, что лишь только возможно сделать для обратившейся к Вам труженицы, будет сделано со всеусердием и добрым рачением. Пусть пошлет свои книжечки при просьбе *на простой бумаге*, адресуя в Ученый к<омитет>при м<инистерстве> н<ародного> п<росвещения>. Просьба должна быть самая

простая и короткая. Формы никакой нет, — пусть выразит то, что хочет, и все тут. А чтобы ускорить дело, пусть она, послав просьбу и книги, тогда же известит меня, что они посланы. И я и Майков поддержим, сколько можем.

Ориенталист на полицеймейстерском поприще еще не показал ничего нового: до сих пор он, по-видимому, держится как человек пришлый, а не хозяин. Лонгинов еще канает, хотя совершенно безнадежен: вода дошла до живота, но все тянет. В так называемом «большом свете», ныне не чуждающемся более ни концессионных взяток, ни служебных интриг, говорят, что «это с его стороны даже неделикатно умирать так долго». На его место одни прочат Мартынова (губерн<атор>из Полтавы), другие — Мансурова, третьи — Маркевича, а четвертые, наконец, думают, что будет оставлен Григорьев; а наверное никто ничего не знает, и потому-то очень тяготятся «неделикатностью Лонгинова», который и в сей смертный час неравнодушествует к «направлению» вообще и судьбе «Русского мира», в частности. Дивная печаль на пороге двери, открывающей неведомый путь! Вчера я слышал от людей случайных снова речи о Маркевиче, но говорят, что находят неудобным предать всю

печать в руки «к<атков>ского агента», и, впрочем, право, теперь все возможно: проект Кузьмы Пруткова о введении единомыслия в России становится, по-видимому, возможным. Долго ли это так будет? — Духи Журавокого ничего об этом не знают, и духи Александра Николаевича Аксакова тоже не сюда смотрят, а Черняев вчера ходил к m-me Фельд гадать на картах г-жи Ленорман, но и она ничего не сказала. Кокорев тоже ведет себя как дух. Хотелось бы знать по крайней мере, доволен ли он тем, что я для него сработал? Знаете: это просто даже уже смешно и весело становится! А впрочем, все как-то живу и — право — удивляюсь даже, а бог как-то помогает

Низко Вам кланяюсь

Н. Лесков.

Кн. Ал. Васильчикову газета положительно не дозволена, а дела с Черняевым как-то у них позамялись.

Он этим очень недоволен и вообще продолжать издательства не желает.

Вот достойная внимания политико-экономическая новость: в Главном пр<авлении>по дел<ам> печати измыслили, что они потому не разрешают новых изданий, *чтобы создать ценность изданиям существующим*. Каковы доброхоты!

Н. С. Аксакову

27 января 1875 г., Петербург.

Многоуважаемый Иван Сергеевич!

В. А. Кокорев вчера с вечерним поездом уехал в Москву и теперь должен быть там. В Москве он пробудет дня три. Перед отъездом его мы с ним виделись два раза, и он обещал мне какую-то работу. В чем эта работа будет заключаться — не знаю; но во всяком случае, если бы Вам довелось с ним видеться и заговорить обо мне, — порадейте за меня немножечко. Судя по тому, что он платил за работу «некоему», я признаю эту плату несоразмерно щедрою (напр<имер>, 4 т<ысячи> за компиляцию о нефтяном промысле), и вообще я работе рад, но мне было бы вдвое милее, если бы он платил мне не сдельно, а вообще взял бы меня для своих работ, чтобы я делал все, что потребуется ему и что мне по силам. Эго бы нас сблизило гораздо более, и, бог весть, может быть и я бы ему пригодился, как он теперь не думает. Во всяком случае: не найдете ли возможности бросить ему эту мысль?

Ваш *Н. Лесков.*

А. Н. Островскому

14 февраля 1875 г., Петербург.

Милостивый государь
Александр Николаевич!

Я получил Ваше письмо и считаю себя обязанным поблагодарить Вас за этот скорый ответ, значительно разъяснивший мне дело. Соображения Ваши вполне верны, и я, признаюсь Вам, не ожидал, чтобы Вы могли отнестись к этому иначе, а писал к Вам под давлением неотступных просьб и ввиду недоразумений, к которым постоянно припутывали Ваше имя. Мне постоянно напоминали, что об этом просите Вы, принимая в судьбе осужденного особое участие по каким-то Вашим семейным отношениям. Я был в величайшем затруднении, колеблясь между чувством сострадания и ясным пониманием неуместности и бесполезности всего стороннего вмешательства. Мне говорили, что Вы можете что-то сказать и указать и что от Вас ежедневно ждут письмо, а между тем все настаивали, чтобы я ехал и просил. Мне ничего иного не оставалось, как отнестись к Вам прямо, и я это сделал и очень благодарен

Вам, что Вы мне разъяснили дело. Понятно, что как мне ни прискорбно отказать бедной матери, но я в ее пользу ничего сделать не могу.

Пользуюсь случаем при этом просить Вас верить, что я действительно высоко ценю и уважаю Ваше имя.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

23 февраля 1875 г., Петербург.

Я почти такого ответа и ждал от Вас, уважаемый Петр Карлович, и ответ сей признаю справедливым, тем более что «грязная история», раскрываясь, обнаруживает такую тину, что от нее надо желать быть только подальше. Бобоша пал бесславно и низко и сносит свое падение со всей гадостью души мелкой и ничтожной, — визжит как высеченный щенок и не находит в себе сил обратиться к универсальному средству наших опальных дедов — сбежать в свои местности на Галиче и дать стихнуть мерзкому скандалу, доколе его заменит новый, еще мерзейший. Нет: он жалуется, что «взял не в том смысле, — не как взятку (или, по выражению покойного Н. И. Соловьева, „братку“), а *как гонорар вперед за свое перо*» … Понимаете, что все это делает его еще более жалким и смешным и ничему не помогает, но он все бьется устоять на этом и хлопочет, чтобы его «принимали». На 4-й день скандала он собрался в Москву к К<атко>ву, которому в эти дни писал 3 письма и 2 депеши и ни на письма,

ни на депеши ответа не получил. Насколько меня спрашивали, я не советовал и ехать, тем более что ко мне явился кн. Ш<али>ков с предсказанием, что К<атко>в Бобку *не примет. «Пусть-де прежде счистится»*. Однако он поехал, и вот уже неделя, как сидит там и все просится впустить, а тот ему не отвечает и к себе не пускает. Я говорил Ш<али>кову, что ведь, однако же, он сказывал М<ихаилу> Н<икифорови>чу большую преданность, — нельзя быть с ним чересчур суровым, но Ш<аликов>только сделал удивленные глаза и отвечал: «За что деньги заплочены»… Так этот Бобо и теперь *там* и пишет оттуда жене, что «надо туда совсем переехать», — все вероятно из того, чтобы встретиться с М<ихаилом> Н<икифоровлчем>хоть на бульваре и броситься ему в ноги (что Бобо, несомненно, желает и что привести в исполнение может). Еничку напрасно сожалеете: его фонды стоят высоко, и его во всем оправдывают: «его-де вывели из терпения». Он давно расстроился со своим антрепренером и, прекратив с ним свидания, начал ссылаться письмами: в этой-то корреспонденции и вскрылось все дело. Б<айма>ков написал в одном письме, что он не может отдать К<ат>кову газету за 120 т., потому что кроме сих 120 он «дал обязательство

выплатить 50 т. *одному известному лицу в министерство*». Еничка списал с этого письма 4 копии и послал их одну К<атко>ву, одну гр. Т<отсто>му, в III отд., а четвертую — самому государю. Таким образом, все вдруг было обнято. Следствие (негласное) проводил Пот<ап>ов, и Бобо выгнан в 21 часа, со снятием с него даже придворного звания. Перед рассылкою сих депеш Енька держал совет с Феклистом и подозрительным нарцизом, которые «недоумевали, кто это *известное лицо*», и будто опасались, не наводит ли это тень на них, и присоветовали все вскрыть… Таким образом, за Христа невинного один Пилат умыл руки, а за проворовавшегося Бобу трое измылися. Теперь Б<айма>ков за этот месяц прислал Еньке вместо 500 р. — всего 150, прибавив, что и «это много». Оказывается, что у них никакого письменного условия нет; но как они развяжутся, — это интересно, ибо выражена высокая воля, чтобы Енька был укреплен на этом месте; Б<аймаков> же не отступается от газеты, если ему не возвратят его гласных и *негласных* расходов, всего 200 тысяч. Всего этого я не знал, когда писал Вам, а теперь с ужасом обоняю это смердящее болото и, конечно, не хотел бы видеть Вас в тумане его испарений. Бобо свое условие на 60 т. 12-тилетней аренды,

разумеется, уничтожил и получит только 5 т. за первый год, но и в них дал *расписку*, которая представлена к делу. Желая выручить расписку, он дал Б<аймако>ву на 5 т. заречных векселей Кушелева, и Б<аймако>в векселя взял, а *расписки не отдал* и теперь по векселям взыскивает, и уже 1 т. взыскал. Общество выражает свое великолепное негодование, не разбирая, что оно негодует не на мерзость поступка, но на его глупую *неловкость*, и злорадство не пойманных плутов отвратительнее изловленного неумелого Бобки, который тем провинился, что вошел в сделку письменную, а не взял «братку» наличными и не свез их в банк… До чего все это отвратительно — рассказать Вам не могу: это падение заносчивого хлыща с его двухаршинной высоты взбуравило такие нравственные подонки общественных страстей, что мнится, не стоят ли уже какие-нибудь вестготы за шлиссельбургскою заставою вашего сгнившего Рима? Что за подлые и жестокие сердца! что за низкие умы! Теперь недостает, чтобы Боба, возвратись после своего московского сиденья, вскинулся на К<ат>кова и Т<ол>стого и начал вскрывать какие-либо их тайности. Приступ к этому он уже сделал и обнаружил, что К<атко>в хочет взять газету и Б<айма>кова и иметь Ень-

ку своим петербургским приказчиком. Теперь остается это доказывать, — что и нетрудно. О фельетонистах тоже напрасно мечтать: всем редакциям «рекомендовано» ни одним словом не касаться этого дела, и «Голос» лишен права розничной продажи за самый отдаленный намек, заключающийся в словах: «мы, граф С<алиас>, не рапортуем там, где Вы рапортуете». Светские люди из *кружка чистого* гадливо молчат или говорят, что «М<аркеви>ч сделал для „Петербургских ведомостей“ — то самое, что он делал всегда для „Московских ведомостей“, то есть продал министерство Б<аймакову>, как продавал его К<атк>ову». Правды тут, разумеется, мало, но *нечто* к делу идущее есть. О двухклассных школах сейчас ничего Вам не могу сообщить и сомневаюсь: есть ли их правила напечатанные? По крайней мере мы их очень недавно еще обсуживали, и я не думаю, чтобы они были уже готовы. Вашим всем кланяюсь. Внимания «Р<усского> вестн<ика>» к себе не заметил и не надеюсь его заметить. Будьте здоровы и долгоденственны.

Ваш *Л.*

P. S. Над Енькою сбылась половина предсказания m-me Ленорман, записанное в «Некуда», — теперь должна исполниться вторая половина: он

должен быть «первым министром».

И. С. Аксакову

1 марта 1875 г., Петербург.

Только хотел писать Вам о покровительствуемой Вами г-же Щепиной, как получил Ваше письмо, с которым не только вполне согласен, но даже уже и поступил таким образом. Кокорев приглашал меня на днях написать статью о Сиб<ирской> ж<елезной>дороге по северному направлению (в пользу сего последнего). Я взял бумаги, перечитал и *убедился*, что северное направление имеет за себя довольно много, но писать не стал: 1) потому что о сем уже слишком много написано, и пришлось бы только компилировать да рекламировать, а во-2) потому, что К<окорев> хотел напечатать статью непременно в «Отеч<ественных> зап<исках>», в коих я участвовать не хочу, особенно же нахожу недостойным снабжать их моею работою под сурдинкою. Я обо всем этом отписал Кокореву откровенно и получил от него письмо тоже очень теплое и задушевное, в котором он просит меня не прощаться. Я его благодарил и ответил, что очень рад его знакомству; рад буду и работе, ко-

торая может случиться (особенно сопряженной с поездкою с описательной целью), но ни на что не напрашивался и отошел, как говорят, с «достоинством». На том дело наше и кончено. Я на него ни в малейшей претензии и думаю, что Вы не ошибетесь: он мне даже желает пригодиться, но ему не до меня. Мельница его не озабочивает: он свое (700 тысяч) получит, как собственник, не с двух обществ, так с Овсяникова, но сей почтенный муж может иметь историю, которая способна пугнуть насчет географии… А как он был нескромно весел, когда утром на другой день при мне влетел в кабинет Кокорева с восклицанием: «А мы нынче блины пекли!.» О деле этом слухи самые мерзкие, но К<окоре>ва они нимало не марают и даже вовсе его не касаются. За совет и отличное истолкование моих опрометчивых слов усердно Вас благодарю и повторяю: я уже так и сделал, как Вы пишете. Делать «все, что потребуется», я разумел о роде занятий, то есть ездить, писать, с людьми говорить и т. п., но слава богу, что и я ему этого не сказал, и Вы тоже.

Редактор «Правосл<авного> обозр<ения>» был у меня на второй день маркевичевской истории, и при нем тут ко мне всё прибегали любопытные люди с вопросами, чту сей сон значит? Так что я

не успел с ним путем перемолвиться. Я просил его зайти ко мне вечером, но он зашел опять на другой день в часы моего обыкновенного выхода на прогулку и опять меня не застал; между тем я хотел с ним побеседовать о тоне работы и вручить ему экземпляр нового издания «Захудалого рода», напечатанного с моей, а не с катковской рукописи, с тем чтобы он передал эту книжку Вам. Так это и не состоялось. — От Щепиной я получил письмо, по дамскому обыкновению без адреса, и потому не мог ей отвечать, хотя письмо ее, по моему мнению, требовало с моей стороны скорого и утешительного слова. Не откажитесь ей передать следующее: «Легкое чтение» рассматривал действительно я и докладывал его Комитету в заседании 7-го мая. Книга эта по представлению моему *допущена в школьные библиотеки*, но г-же Щепиной об этом не дано знать опять потому, что и в просьбе ее *нет адреса*, и потому департамент распорядился только напечатать об этом в министерском журнале. В каталог же се «Легкое чтение» будет включено, о чем она и получит теперь бумагу, которую я просил делопроизводителя послать по Вашему адресу. Новые книги г-жи Щепиной получены только на сих днях и переданы мне же: я их не задержу и, сколько

можно, за них порадею. — Салиас не покидает своего с честью им занятого поста, а, напротив, укрепляется зело-зело: свыше внушено трем министрам упрочить его положение. Баймаков, говорят, в отчаянии и не знает, как его выжить? О новом редакторе нет и речи, и если бы Б<аймаков>стал об этом хлопотать, то все его хлопоты останутся втуне, доколе новый большой скандал не даст ходу дел иного направления. Здесь ругают Каткова за «жестокосердие», что он не принял Марковича, и ругают подло, зло и напрасно; напрасно же обвиняют его в том, что будто он хотел откупить за 120 тысяч «П<етербургские> вед<омости>» у Баймакова и держит Салиаса своим петербургским приказчиком. После побега Маркевича в Москву жена его просила меня просмотреть в беспорядке брошенную им переписку по этому делу, и я *самоличным чтением* убедился, что Катков этого не желал и даже *был против* передачи «Петербургских>ведомостей» в руки министерства. Салиаса выписали Феоктистов и Маркевич, которым он и обещал письмами из Женевы «никогда не забыть их добра» и при этом так прельщал их своим profession de foi:[11] «Я не

[11] Примечания: 11
Символом серы *(франц.)*.

красный, даже не розовый или белый, а скорее подхожу к лазурному, *голубому, жандармскому*». Это так сказано всеми словами, а Ф<еоктистов>и Марк<евич> сим цветом пленились. Письмо это ходило *к начальству*, которое его тоже пробовало, а ныне оно ходит по рукам публики и никакого секрета не составляет, почему я и пишу о нем. В обществе все не пойманные до сих пор взяточники и картежники ревниво стремятся заявлять свое великолепное негодование к *неловкости* М<аркевич> а и тем делают невозможным негодование более правильное. Катков едет сюда 3-го числа. Нужно ожидать еще большей игры.

Ваш *Н. Лесков*.

Н. С. Аксакову

19 марта 1875 г., Петербург.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Спешу написать Вам, что порученные Вами моему опекунству литературные произведения г-жи Щепиной благополучно проведены мною через комитетские прения. Во вчерашнем заседании я доложил обе книги, и обе они «*допущены* в библиотеки средних учебных заведений». В народные школы они, как Вы сами судить можете, не годятся и по содержанию и по цене, сравнительно чрезвычайно высокой. Одной из этих книг я ходатайствовал о высшей апробации, то есть об *одобрении*, но должен был уступить общему голосу моих сочленов и удовольствоваться *допущением*. Эта речь шла о «Часах досуга», где, как на грех, г-жа Щепина на 91-й стр. прошлась на счет латинского учителя. Пусть она поверит, что мне стоило труда спасти ее книгу с помощью вольного толкования этого места, и вперед пусть латинских учителей или не трогает, или только хвалит. Если посылать книги в министерство, то ведь невозможно же не иметь в виду

взглядов, руководящих всеми действиями этого министерства в данную минуту. Как Катерина Владимировна этого не сообразила? Я сам не нахожу удобным писать ей об этом, но Вы, может быть, сочтете возможным предупредить ее на этот счет. Она пишет мне, что Вы советуете ей сделать объявления, но, по моему мнению, с этим надо повременить, потому что выгоднее публиковать разом о всех трех книгах, а этого нельзя сделать, пока К<атерина> В<ладимировна>не будет извещена о допущении книг официально. Я прошу Вас сказать ей, что мое частное извещение не должно быть ей выдаваемо во всеобщее ведение: у нас на это смотрят ревниво. Впрочем, я попрошу в департаменте, чтобы ее уведомили как можно скорее, и тогда она может объявлять.

Кстати, если позволите, желаю сказать Вам несколько слов по поводу г-жи Щепиной, которая была так искрення, что сообщила мне нечто о своем положении. Очевидно, ей нужен заработок, но едва ли она стоит на своей дороге (конечно, в литературном только отношении). Она пишет бог весть как легко и прозою и стихами, но вряд ли она когда-нибудь может сделаться детскою писательницею, или по крайней мере *теперь* она к этому положительно не готова. Не зная

ее, я по одним ее письмам (написанным всегда горячо и бойко) вижу, что у нее нет устойчивости в мировоззрении и спокойного отношения к объекту, без чего невозможно написать детскую повесть не рядового достоинства. По-моему, таких способных, но не управляющих собою всегда бывает полезно ставить в такие условия, что они не валяли наскоро во всю руку, а обдумывали «что нельзя, и то, чего не можно». Для этого всего лучше упражняться некоторое время в составлении очерков по известным источникам, и мне приходит в голову даже К<атерине> В<ладимиров>не мысль такой работы. Назад тому некоторое время попечитель Варш<авского> уч<ебного> окр<уга> стал составлять книжечки о русских людях для ознакомления с ними школяров польского края. Книжечки эти все пишутся крайне бесталанно, а между тем министерство, по-видимому, неравнодушно к этой идее. Почему К<атерине> В<ладимировне>не написать томика два о борцах за русскую народность на окраинах России? Я уверен, что если бы Вы ей надоумили, как с этим обойтись, то это были бы произведения далеко более интересные и полезные, чем вечные Петеньки и Оленьки детских повестей невысокой пробы. По-моему, хорошо бы

составить очерки эти, начиная с северо-западных святых правосл<авной> церкви. Я боюсь сказать К<атерине> В<ладимиравне>, но Вам выскажу мое подозрение, что министерство, может быть даже приобрело бы такую книгу или по крайней мере *рекомендовало* бы ее (то есть сделало бы ее обязательною), а это значит 30–40 тысяч экземпляров. Иными книгами в этом роде люди составляют состояние (например, автор книги «Почему и потому» уже купил каменный дом в Петербурге). Над повестями же она будет трудиться, и все это будет меледа… Я ей пишу сегодня же, но сих моих соображений в подробности не высказываю, ибо, не зная ее характера, опасаюсь быть виновником каких-либо неосторожных увлечений; а Вы обсудите мои слова и если найдете их имеющими смыл, по приложимости к способностям К<атерины> В<ладимиров>ны, то сообщите ей эти мысли и направьте ее на путь, как взяться за дело. Я уверен, что это будет самое выгодное в денежном отношении и выработает ее как писательницу.

Простите меня, что я Вам все это так подробно расписываю, но мне кажется, что этой женщине надо помочь выбрать себе труд, более соответствующий ее силам и более благодарный.

Глубоко чтущий Вас

Н. Лесков.

И. С. Аксакову

23 марта 1875 г., Петербург.

Я получил Ваше письмо, уважаемый Иван Сергеевич, и имею побуждение отвечать на него сию же минуту: дело в том, что я позавчера отдал Базунову сверточек, подписанный на Ваше имя в Москву, и просил переслать это в магазин Соловьева. В этом тючке 4 экз<empляра> нового издания «Захудалого рода»: 1) для Вас, 2) для Ю. Ф. Самарина, 3) для Влад<имира> Петр<овича> Бегичева и 4) для К. В. Щепиной, которая просит меня подарить ей какую-нибудь книгу моей стряпни. О посылке Юрию Федоровичу оговорюсь, что хотя я лично его и не знаю, но слишком хорошо знаю его как писателя и потому, кажется, могу послать ему книгу?.. А впрочем, Вы ему скажите, что я извиняюсь перед ним за этот поступок, а совершаю его от избытка сердца. Что же касается экземпляра, посылаемого Бегичеву, то отошлите, пожалуйста, эту книжечку Киселевой (дочери Бегичева), которая живет в одном доме с Вами. Если же она теперь не живет там, то вручите книжку при случае Конст<антину> Шиловскому

или, наконец, всего проще — оставьте ее у себя, пока Бегичев пришлет за нею.

Но эти распорядки уладятся, а напишете ли Вы мне: как покажется Вам 2-я часть «Захудалых» в моем, а не в катковском сочинении? Мне очень совестно просить Вас пересматривать книгу, которая уже не имеет для Вас интереса новизны, но я не могу отказать себе в пламенном желании знать Ваше мнение, прав или не прав я был, остановив печатание романа? Я не говорю о принципе, но прав или не прав был я просто в рассуждении достоинств романа? Мои друзья имеют не одинокое об этом мнение, но все их мнения в сем деле для меня не имеют значения, а Ваше, напротив, значит очень много. Не откажите мне в этом, дорогой и милостивый праведник русского слова! Ваше мнение и мнение Щебальского я признаю для себя судом, против которого не прореку, не возоплю, ибо верю бесповоротно в его и Ваше доброе ко мне расположение и прямоту. Мне кажется, что перекрещивать *Жиго* в *Жиро* не было никакой надобности; что уничтожать памфлет Рогожина против Хотетовой (А. А. Орловой) не было нужды; что от перемены мною сочиненной для нее фамилия Хотетова в Хоботову дело ничего не выигрывало; что старой княгине можно было

дозволить увлечься раздариванием дочери всего дорогого, причем дело дошло до подаренья ей самой Ольги Федотовны, и пр., и пр. — Вообще: скажите Ваше прямое, аксаковское слово, и оно будет мне мило. Дмитрий Самарин, встретясь со мною недавно у Щербатовых (Александра Петр<овича>), сказал мне, что, памятуя «Захудалый род», он помнит и «огромную утрировку, допущенную в лице Дон-Кихота Рогожина» Когда бы мне это говорил петербургский сановник или даже писатель реальной школы, я бы не обратил на это внимания, но Дмитрий Самарин ведь не мог же не знать наших чудаков, которыми *кишели* мелкопоместные губернии (например, Курская и юго-западные уезды Орловской, где я родился и вырос). Дон-Кихот лицо почти списанное с памятного мне в детстве кромского дворянина и помещика 17 душ Ильи Ив<анови-ча> Козюлькина, который вечно странствовал, а приют имел у Анны Н. Зиновьевой. Он был очень благороден и честен до того, что требовал, чтобы у него в указе об отставке после слова «холост» было дописано: «но детей имеет». Он служил попечит<елем> хлеб<ного> магаз<ина> и замерз в поле, изображая среди метели Манфреда. Почему этих чудаков нельзя вывести, чтобы сейчас даже

хорошие люди не закричали, что «это утрировка»? А я утверждаю, что тут утрировки нет. Кто же прав? Однако интересно знать, что Вы об этом скажете?

Несравненный «граф» Данилевский так находчив, что до него, «разумеется, не дотянешься: он теперь, вероятно, еще у Вас в белокаменной и поучается у Михаила Петровича или даже что-то читает в Общ<естве> любит<елей> русской словесности». По слухам, его туда будто бы даже вызвали, чтобы прослушать его Петра III-го. Чудачок он!

Что же про «Анну Каренину»? Я считаю это произведение весьма высоким и просто как бы делающим эпоху в романе. Недостаток (и то ради уступок общему говору) нахожу один — так называемая «любовная интрига» как будто не развита… Любовь улажена не по-романическому, а как бы для сценария. Не знаю, понятно ли я говорю? Но я думаю: не хорошо ли это? Что же за закон непременно так, а не этак очерчивать эти вещи? Но если это и недостаток, то во всяком случае он не более как пылинка на картине, исполненной невыразимой прелести изображения жизни современной, но не тенденциозной (что так испортило мою руку). Однако у нас ро-

ман*дружно ругают* (Дм<итрий> Самарин тому свидетель): светские люди раздражаются, видя свое отображение, и придираются к непристойности сцены медицинского осмотра княжны Китти, а за настоящими светскими людьми тянут ту же ноту действительные статские советники, составляющие теперь довольно значительную общественную разновидность, с претензией на хороший тон. Литературщики злобствуют потому, что роман появляется в «Р<усском> в<естнике>» — для них этого довольно. Но есть и жаркие почитатели Карениной, по преимуществу в числе женщин среднего слоя. Вообще же успех романа весьма странный, и порою сдается, что общество совсем утратило вкус: *многим* «Женщины» Мещерского нравятся более, чем «Анна Каренина»… Что с этим делать?

Благодарю Вас за описание К. В. Щепиной: она мне как раз такою и представлялась. Оспециализировавшись в изображении этих типов, я узнаю их издали, по запаху и по перу. Мне было очень приятно узнать от Вас, что, не внушая Вам симпатии, они возбуждают в Вас живое сострадание — именно живое, *действенное*, а не брезгливое и потому ничего не стоящее. Я питаю к ним те же самые чувства, и — не удивитесь — сколько я им ни

наносил ран, они имеют ко мне какое-то «влеченье — род недуга». Яростнейшие из них доверяли мне свои тайны и не гнушались в крутые минуты посильною моею помощью. И я, не симпатизируя им, всегда имел к ним даже какую-то слабость: в их «глупостях» я ясно видел порывы чувств, не совсем порочных. Порицая их и осмеивая в печати, в жизни я не имел никогда силы сторониться от этих жалких и трижды жалких межеумков. Этого рода щепетильность мне глубоко противна… Умно это или глупо — это мне все равно; но незапятнанный «друг грешников» никого не сторонился, а я сам гадок, сам нравственно квол и всех пороков достаточно исполнен, так поэтому мне претила мысль о всякой брезгливости. Говорю это *по поводу* К<атерины> В<ладимиров>ны, а *не о ней*, которой не знаю. Помогать ей рад всеми силами, да силенки-то мои малы… Однако опять возвращусь к тому, что если ее необходимо приурочивать к писательству, то надо ее выдержать на корде — «в *мерный* круг» направить ее разметистый бег. Вы правы, говоря, что указанный мною труд требует подготовки и пр., но ведь за то же он и вознаграждаться может хорошо, а не как-нибудь. Пусть подчитается! Потом Вы говорите о материалах, — но для народных книжек

нужны материалы не архивные, а библиотечные. Напр<имер>, возьмем хоть «Кирилла инока туровского», вдохновенные молитвы которого (XII века) беспрестанно списываются различными боголюбцами. Молитв этих отдельно напечатать нельзя, — *не позволят* (Лаврентьев пытался), но их можно все поместить среди текста жизнеописания автора, и вот Вам заручка к сбыту книги *ради одних этих молитв*. А какой же для этого нужен материал? — Просто журнал Казанской духовной академии… И таких вещей есть немало. Но если у К<атерины>В<ладимировны> нет любви к этим занятиям и нет доброй воли себя определить и «ограничить», то уж этого я не знаю, откуда она заполучить может… Подозревая, что святые ей «претят», я думаю, что надо ей указать хоть на грешных, но на людей исторических и заставить ее компилировать (например, по монографиям Костомарова, изменяя нечто в его иных воззрениях). Это ей, вероятно, будет *для начала* более по душе; а потом, может быть, и во вкус войдет… Во всяком же случае ей нужен «мерный круг» и тропа развешунная, — иначе она изболтается в безграничном пространстве своей неопределенности, и из нее ничего не выйдет, и хлеба она себе не припасет. Мне кажется,

что ей надо это откровенно высказать, и я это почти уже сделал: она не рассердилась за совет, но как бы недовольна за некоторую сдержанность тона. Надо ее утешить с этой стороны. Язык простонародный она, кажется, знает гораздо лучше Ростопчина и даже гр<афа> Салиаса, но кому у нас исполнять народные пиесы и кому охота смотреть их?.. Все это она затевает «не по сезону». Если ей можно пособить чем-нибудь в репертуаре, то пусть скажет; я напишу Бегичеву и уверен, что он не откажет мне ей повольготеть. Не ей ли взять на себя труд передать Бегичеву книжку и при сем случае с ним познакомиться? Он (как, вероятно, знаете) парень души очень доброй и характера покладливого и дружелюбного.

Овсяников «напек блинов», но В<асилий> А<лександрович> к нему еще не едет. Я вчера видел «брехунца», который ведет дело, и расспрашивал, каким боком прилипает сюда В<асилий> А<лександрови>ч? Говорит, «все дело в том, что он — К<окоре>в и что у него денег много, — не будь этой вины, не из-за чего было бы к нему и касаться». В самой *сути* одно утешительно: какой гений подсказал перестраховать мельницу в двое рук? Лично я, однако, глубоко уверен, что К<окорев>привлекается именно так, как мне сказано.

Однако второй лист исписан, и пора знать честь. Будьте благополучны; за книгами к Соловьеву пошлите и меня не осудите, если что не дописал или переписал.

Ваш *Н. Лесков.*

И. С. Аксакову

29 марта 1875 г., Петербург.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Простите, пожалуйста, мою наглость, что я шлю через Ваши руки письмо к Преображенскому. Дело в том, что он мне показался как будто легкомысленным и неустойчивым, и я боюсь, как бы он без всякого злого умысла не подвел меня впросак. Он говорил со мною обо всем, кроме самого нужного. Я ему показывал книгу «Ключ разумения», но он о ней не имеет и понятия (как и большинство нашего образованного духовенства рационалистического пошиба), и он мне *ни слова* не сказал о средствах вознаграждения за труд, а я ведь живу этим… *Не вмешивая Вас ни во что*, я только посылаю письмо Преображенскому *открытым*, через Ваши руки, прося Вас прочесть его и передать отцу Преображенскому: я рассчитываю, что *одно такое* участие Ваше поставит его в необходимость отнестись к делу серьезнее, а не дуть в бороду, когда надо давать ясные и определенные ответы… Не осудите меня, пожалуйста, и не сочтите нахалом; а если Преображенский по-

советуется с Вами о гонораре, то скажите ему наш *средний* журнальный гонорар. Если его средства ограничены, то и я этим ограничусь.

Как новость могу сообщить Вам, что Мещерский продал свой «Гражданин» Пуцыковичу, который давно подписывает это издание. Сделка состоялась на 20 тысячах, рассроченных к уплате в 5 лет (по 4 тысячи рублей). Теперь все это кончено, но как сегодня хотя и пятница, но на сей неделе еще не седьмая, то не знаю, не разделается ли это заново. Однако они завтра подписывают контракт. Пуцыкович малый неглупый и хороший.

Получили ли Вы «Захудалый род»?

Ваш *Н. Лесков*

P. S. Вчера был у меня Кушелев и сказывал, что у Александра Николаевича «духи уже ходят». Клянутся, что *«сами видели»!*

Какою дружною толпою сунутся беды на несчастного Каткова! Что это за роковой закон этой кучности несчастий? Дай ему бог силы всё снесть.

Н. С. Аксакову

<Конец марта 1876 г., Петербург.>

…стоит заметить! Кн. Мещерский юродствует тоже напоследях: он скоро уедет строчить новый роман. По словам Пуцыковича, все свои нынешние аристократические глупости он извергает по наущению некоего секретаря канцелярии Лонгинова, Юрия Богушевича, — родом поляка, по натуре чиновника. Он вечно егозит при «консерваторах» и, кажется, «консервирует» только самого себя. Кое у них общение с сим велиаром, уже и прах их не разберет: он их учит, он им и щетину всучит, а они всё с ним якшаются. Вы сравниваете Мещ<ерского> с Валуевым… Я не согласен: у Валуева все-таки *более сознания*: тоже думает, что он аристократ и может давать концерты на своем красноречии, так что их всем приятно слушать; а этот… Это просто какой-то литературный Агасфер: тому сказано: «иди», а этому: «пиши», и он пишет, пишет, и за что ни возьмется, все опошлит. Удивительнейшее дело, что при его заступничестве за власть хочется чувствовать себя бунтовщиком, при его воспе-

вании любви помышляешь о другом, даже при его заступничестве за веру и церковь я теряю терпение и говорю чуть не безумные речи о вкусе атеизма и безверия… Я согласен с Вами, что ему не худо бы «запретить» писать; но еще лучше нельзя ли его склонить к этому по чести; нельзя ли ему поднести об этом адрес?

С Преображенским Вы меня совсем с толку сбили: я его называю Петром *Васильевичем* (так сказал мне Нечаев), Вам это не понравилось, и Вы в письме советуете называть его Петром *Алексеевичем*. — Я было и на это согласился, но вдруг замечаю кусочек бумаги, на котором читаю: «Петр *Александрович*». Начинаю думать, что он, вероятно, Петр, но отчество его утверждать не смею… Средний гонорар за уч<еные> статьи я разумею именно 50–60 р<ублей> в размере листа «Р<усского> в<естника>», а его меньший лист надо сравнять, то есть подсчитать сравнительно с листом «Р<усского> в<естника>» и по этой норме рассчитываться. Впрочем, я для себя тут ни о чем не хлопочу, и мне даже приятнее отложить эту работу, а взяться за иную. Уладьте, что захотите и как захотите, — со всем, что Вы учините, я буду согласен и исполню как должно. — Гриша Скоробрешко вернулся от Вас из Москвы в упоении

славы, а вдогонку за ним примчались печатные похвалы его новому произведению… Он, видно, у Вас похлопотал о себе по обыкновению. Сказывал он мне вчера и про Ваши похвалы, но я не мог их поддержать, потому что романа не слыхал.

«Русский вестник» с продолжением «Анны Карениной» только сейчас получил, и я сию же минуту приступаю к долгожданному наслаждению. Наши светские дамы всё кропочутся за осмотр Китти: зачем доктор тщательно мыл руки? Этим бесстыдницам, пересмотренным на все лады по поводу всякой лихорадки, ужасно как досадно читать, что после них «тщательно моют руки», и, — ей-право, ничего не прибавлю, — не далее, как позавчера, одна молодая, красивая, светская (настоящая светская) дама и княгиня мне отпустила следующее:

— Но *зачем он мыл? Зачем мыл?..* Я вас уверяю, что меня, может быть, сто докторов смотрели и здесь, и в Париже, и на водах, и *ни один после меня руки не мыл!*

Напустя на себя дерзость, я спросил:

— Отчего же это так?

— Оттого, — отвечала она, — что я *так готовилась*.

Изволите видеть, какое чудовище — привыч-

ка!

Преданный Вам

Н. Лесков.

И. С. Аксакову

6 апреля 1875 г., Петербург.
Вербное воскресенье.

Достойнейший Иван Сергеевич!

Не знаю, как поступить с К. В. Щепиной: сегодня меня известили, что театральный комитет распорядился обраковать обе ее пьесы («Деловые барыни» и «Случай из обыденной жизни»). Ответа она будет ожидать напрасно, так как это надменное учреждение ответов не дает. Мне очень жаль, что я должен сообщить бедняжке такую неприятную новость, да еще в такие особенные дни, и я никак не могу написать об этом прямо ей, а прошу Вас избрать наиболее благоприятное время и способ для передачи ей этой вести; причем, кажется, неизлишне было бы покуражить ее мыслью обратиться в Общество драм<атических> писателей (к Радиславскому или к Бегичеву). В прошлом нашем собрании я слышал, будто было довольно случаев, когда пьесы, забракованные здешним комитетом, очень охотно ставились на провинциальных сценах и давали добрые сборы. Пусть она обратит внимание на это и толкнется

к Владимиру Петровичу. По правде сказать, я в оценку драбандов театрального комитета *совсем не верю*, и легко может быть, что пьесы обракованы и напрасно.

Новости у нас малые: кн. Дм<итрий> Обол<енский> бьется с гр. Дм<итрием> Толстым; Толстой отмахивается, влача за собой повсюду Георгиевского; восьмой класс в гимназиях под особым исчислением еще не совсем прошел — и только. Мещерский или у Вас, или на пути к Вам в Москву: детище свое он после седьмой пятницы оставил при себе до осени. Он сам отбежит на сторону далече, но будет авторствовать. Пуцыкович же соделывается свободным во всем, кроме обязательства печатать измышления сего прокаженного…

Кланяюсь Вам и поздравляю Вас с праздниками, на которых, может статься, соберусь в Москву. Хочу уехать месяца на три за границу и сесть за роман, а перед тем манится повидаться с Вами и посоветоваться. — Третий кус «Анны Карениной», по-моему, столь же хорош, как и первые два. Роман графа Данилевского в самом деле одобряют.

Глубоко Преданный Вам

Н. Лесков.

И. С. Аксакову

23 апреля 1875 г., Петербург.

Воистину Христос воскресе, уважаемый Иван Сергеевич! Благодарю Вас за Ваше приветствие и Ваше откровенное письмо, которое мне вдвойне дорого: как доказательство приязненных ко мне отношений и как вполне правильное критическое указание моих ошибок. Последнее я всегда умел принимать без малейшего раздражения и сожалею только о том, что подобные откровенные и доброжелательные указания встречал слишком редко. Вам, может быть, известно, что в печати меня *только ругали*, и это имело на меня положительно *дурное влияние*: я сначала злобился, а потом… смирился, но неискусно — *пал духом* и получил страшное недоверие к себе, импонирующее всякое начинание. То самое было и с «Захудалым родом», с которым я спутался… и в самом деле пошел выводить fantasie по полотну, довольно правильно разостланному. Этого не было со мною даже при юношеском «Некуда», не было, кажется, ни в «Зап<ечатленном> ангеле», ни в «Соборянах». Критика Ваша вполне спра-

ведлива, и все, что Вы мне написали, я не только приемлю, но и сам так чувствую. Роман стал путаться в голове моей, и его надо было бросить. Но отчего же это случилось? Перебираю все мои муки с ним и останавливаюсь на одном, что меня путало то видение, которое неотразимо стояло передо мною с тех пор, как я отдал в редакцию 1-ю ч<асть> романа: это видение был сам редактор, который стоял передо мною и томил меня своими недомолвками, своими томными требованиями, в которых я ничего не мог разобрать… Я не виню его, но виню себя — мою болезненную впечатлительность: меня никогда не портило доверие к моим силам (даже излишнее), но я оробеваю и путаюсь при всяком знаке недоверия и усиленных наблюдений за каждым моим словом. Это точно ошибает мне крылья, и я уже только дрыгаю, сам не зная зачем и как. Пожалуйста, не заподозрите меня в желании сваливать с своей головы на чужую; нет, я действительно запуган, заруган, и довольно чего-нибудь в этом роде еще, чтобы я совсем никуда уже не годился. Я ценю многие заслуги Каткова и за многое ему благодарен, но лично на меня *как на писателя* он действовал не всегда благотворно, а иногда просто ужасно, до того ужасно, что я мысленно считал его че-

ловеком вредным для нашей художественной литературы. Одно это равнодушие к ней, никогда не скрываемое, а, напротив, высказываемое в формах почти презрительных, меня угнетало и приводило в отчаяние. Отчаяние здесь имело свое место потому, что я мог трудиться *только с этим человеком*, а ни с кем иным. Критика могла оживить мои изнемогавшие силы, но она всего менее хотела этого. В одном знакомом доме Некрасов сказал: «Да разве мы не ценим Л<еско>ва? Мы ему *только ходу не даем*», а Салтыков пояснил: «А у тех на безлюдье он да еще кой-кто мотается, так они их сами *изморoм возьмут*». Попытки Щебальского и Полонского сказать хоть что-нибудь в одобрение меня были обкорнованы рукою, которой, кажется, это даже было самой невыгодно; но все это так шло, и дошло до того, что я совсем опешил, утратил дух, смелость, веру в свои силы и всякую энергию. Душевное состояние мое самое мучительное (о другом я не говорю): печатать мне *негде*, на горизонте литературном я не вижу ничего, кроме партийной, или, лучше сказать, направленской лжи, которую я понял и служить ей не могу. Вот и все! Что же впереди?.. Неужто *уже конец?!* Двенадцать лет тому назад, написав «Некуда», я очутился в самом невыносимом поло-

жении, среди терзания четырех цензур (оно шло, кроме обыкновенной цензуры, через руки Веселаго и Турунова, а сей последний еще передал в III отдел<ение>) и самого неистового воя и клевет: я был тогда очень молод и по впечатлительности своей пришел в состояние крайней нервной раздражительности и *бежал* из России. Прага и Париж помогли мне забыть домашние невзгоды. Я вылечился; но тогда было иное: меня ругали и мучили, но я мог работать, а теперь меня уже, кажется, совсем дошли. Около 15 мая хочу уехать за границу: хочу хоть на время не видеть всего того, что лишило меня сил и действия. Думаю пристать к какой-нибудь партии французских паломников и *сходить* с ними в Лурд. Может быть, это религиозное возбуждение людей, известных мне со стороны их нерелигиозности, займет меня, и я не буду думать о том, о чем думы так мучительны и так бесплодны. Далее, не знаю даже, зачем я еду; но только потребность уехать чувствую неодолимую, и, по возможности, на срок должайший. Благословите ли Вы меня на это или осудите мое малодушие? Хотелось бы знать: где Вы будете летом и куда написать Вам, если душа того сильно попросит. Не откажите мне черкнуть об этом.

Щепина на меня, кажется, опять сердится. Что за напасть, право! Я не знаю и *не могу знать* подробностей о ее пиесах: почему они бракованы, но Милюков, по просьбе моей, справлялся у себя в Т<еатральном> комитете и отписал, что пиесы обракованы. Я получил от нее письмо и завтра буду ей отвечать, причем приложу письмо Милюкова в подлиннике. Новая ее пиеса «Народные сцены» у меня: я не советую ее представлять потому, что в ней положительно нет *никакого движения*, а одни реплики, не имеющие никакого достоинства. Актеры не возьмут этой пиесы в спектакль, но Щ<епина> требует, чтобы я представил пьесу. Представлю. Ученый комитет имеет делопроизводителя, ровесника и соратника М. П. Погодина, и он, имея чуть не сто лет на плечах, «спешит потихоньку». Однако в следующий вторник стану ему бить челом за К<атерину> Владимировну. У Ахматовой (как и у Богушевич) переводчиц гибель, и я не имею там никакой надежды там что-нибудь уладить; а вот не знает ли Катерина В<ладимировна> *по-польски*? Спросите ее, пожалуйста. Я исполняю одну работу, при которой нужен переводчик с польского, и у меня сейчас лежит под рукою целый волюм, который я, переговорив с издателем, вероятно мог бы послать

Катерине Владимировне. Угодно ли ей это? Только зачем это она все сердится и обижается? Сама спросит совета, а потом и обидится.

Я видел у Щ<ербатова> действительно не Дм<итрия>, а Петра Самарина. У вас я надеялся быть проездом в Киев, где у меня захворала жена брата, но ей, слава богу, стало лучше, и я отложил свою поездку и исполнение своего желания видеть Вас и Ю. Ф. Самарина. Авось приведет бог увидеться при условиях хотя немного лучших, но хотя немножко более оживленных.

Преданный Вам

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

8 мая 1S75 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

Милое письмо Ваше застало меня совсем на пути: я завтра уезжаю, а теперь уже вечер и потому не ждите от меня исполнения Вашего поручения, — не могу — спешу безмерно. У меня все перебуравилось: вместо того, чтобы ехать на Варшаву, я еду в Киев, где тяжко занемогла молодая жена моего брата, и тот, потеряв голову, умоляет меня спешить к нему. Вследствие этого я изменил и день отъезда и маршрут мой. Выйдет, вероятно, на Ваше: если мне придется побывать в Варшаве, то разве на обратном пути, в сентябре. Очень и несказанно рад, что Вы наконец-то выбираетесь из своего захолустья в большой город, что имеет очень важное значение для разных сторон Вашей жизни. Хотелось бы знать: когда Вы переедете, хотел бы и написать Вам из-за границы, да не знаю куда? Не писнете ли мне в *Париж*, на имя нашего священника Прилежаева (rue de la Croix, в дом русской церкви)? Вы меня очень бы утешили и не напрасно, потому что я не только хандрю,

но и пищать желаю… Все вынесенное, как и все выносимое, так тяжело и *обидно*, что и говорить не хочется и боишься начать, потому что, кажется, никогда не кончишь, а между тем слушать, пожалуй, будет нечего. Тоска бездействия снедает и точит, а на литературном горизонте и просвета нет. Сальяс покинул Питер и отбыл в Москву делить заботы с форейтором. Долго ли потерпит — неизвестно, но надеюсь «вкушая вкусит меду», а журнал через это становится еще тяжелее обставленным. Нет; do naszego brzegu nie plynie nic dobrego.[12] Остается сложить ружья в козлы и дремать, если тощее брюхо будить не будет. Катков приезжал (говорят), и просит 600 тысяч заимообразно, и подал о том просьбы, а решения еще нет. Пав<ел> Мих<айлович> умер; будто бы было завещание, и его наследники (опять-таки будто бы) приступают к определению части его состояния. Этим оканчивается бюллетень ходячих слухов, а с ними и мое письмо к Вам, дражайший Петр Карлович.

Ваш *Н. Лесков.*

С ужасом замечаю, что не сказал Вам самой новой новости: кто становится у руля «С.-П<етер-

---

[12] Примечания: 12

К нашему берегу не плывет ничего хорошего *(польск.).*

бургских> в<едомостей>» вместо Сальяса. В эту минуту называют белого Висю Комарова, в лице которого надеются достичь «примирения партий»… Это комбинация уже не моего, а Вашего благоприятеля Юрия Богушевича. Байм<аков> делает Комарова пайщиком и номинально передает ему газету в собственность. Министерство своего голоса, кажется, еще не подавало, и о вероятности этой комбинации ничего нельзя сказать. Данилевский являлся ко мне ангажировать меня в новую лигу унионистов, — дело было при Маркевиче, — я отказался. Эти бедные люди думают, что образ мыслей человека зависит от Каткова или от Некрасова, а не проистекает органически от своих чувств и понятий.

Н. Л.

А. П. Милюкову

9(12) июня 1875 г., Париж.

Уважаемый Александр Петрович!

Исполнение поручения Зинаиды Васильевны встречает неодолимые препятствия: указываемого ею дома на угле улиц Navarin и Martyrs *нет* … Что далее делать? Имея в кармане письма к некоторым членам нашего посольства, я решаюсь на сих днях просить их посредства передать письмо Анатолю, путем, какой окажется возможным. Обо всем, что сделаю, тотчас же Вас извещу, а Вы напишите мне: не знает ли Зинаида Васильевна еще каких-нибудь примет, по которым можно было бы искать Анатоля? Вы знаете, что здесь в обычае переменять фамилии, и это делается даже без большой надобности: стало быть, можно предполагать, не сочинили ли французы для Анатоля такого прозвища, под которым его чужестранцу открыть весьма трудно. Я буду ждать от Вас письма и указаний. О себе пока ничего не могу сказать кроме того, что болтаюсь по городу; ем где попало и, возвращаясь к ночи домой, засыпаю, едва упаду в постель. Париж, однако,

нравится мне гораздо менее, чем в первое мое здесь пребывание: этот неумолчный шум и крик ужасно утомляет мои совершенно испорченные нервы. Погода здесь превосходная, и Вы правы: здесь совсем нет той изнуряющей жары, какую доводится испытывать в Петербурге, Москве и Киеве и даже в несравненной Пензе. До 12 ч. вовсе не жарко; с 12 до 4 везде можно идти в тени, а с 6 час. настает свежая и приятная прохлада. Купания Сены, по-моему, превосходны, особенно так называемые «школы плаванья», где я и ныряю по команде француза, которой решительно не понимаю, но исполняю. Земляков видел мало, но зато весьма замечательных: 1) Панютина, 2) «Чудо Костромских лесов». Первый сам узнал меня: я шел из русской церкви через парк Монсо с двумя русскими дамами и присел отдохнуть; в это время по средней аллее показалась коляска, в которой лежал закутанный *труп* и рядом с ним сестра милосердия, и вдруг этот труп, увидав меня, заметался… Коляска остановилась, и когда я подбежал, то увидел нечто похожее на Панютина, но совсем безжизненное, — я даже не вполне уверен, он ли это? Он *без голоса* прошипел мне: «Приходите в Maison de santé Dubois, rue fab.

St.-Denis[13] *200*». Я на днях к нему отправлюсь, хотя до сих пор не вполне уверен, что это он, а сестра милосердия не позволила ему на воздухе говорить более. Ивана Акинфиевича, или «Чудо Костр<омских> лесов», показывают в садике под статуею Генриха IV. Я зашел туда случайно и как заговорил по-русски, то *«человеко-собака»* (так его называют) расплакался и сильно жаловался, что его завзяли *обманом*, продали за 20 р. в месяц; но третий месяц уже не дают денег, и харч жидок. Просится, чтобы его пустили к посланнику, но ничтоже не успевает. Рассказы его в высшей степени интересны. С ним сынок Ваня 6 лет, которого показывают за souplement[14] по 4 cent.[15] Дитя это возбуждает глубочайшее сострадание. Я думаю обо всем этом написать в «Р<усский> м<ир>» и рассказать гр. Орлову. Известите меня: будет ли выходить наш «Р<усский> м<ир>»? Читал анонс о второй книге Суворина и вижу, что они опять берутся за Крестовского. Что это за бесстрашные люди! Однако до свидания: у меня

---

[13] Примечания: 13
Больницу Дюбуа, улица Сен-Дени *(франц.)*.

[14] Примечания: 14
Доплату *(франц.)*

[15] Примечания: 15
Сантима *(франц.)*

преподлое перо, и Вам нелегко будет прочитать мое письмо… Поклон мой Зинаиде Валериановне и всем Вашим домашним.

Ваш *Н. Лесков.*

Прилагаю мой адрес для Зинаиды Валериановны.

А. Н. Лескову

11 (23) июня 1875 г., Париж.

Мой милый сын!

Вот уже полтора месяца, как я тебя не вижу, и еще долго не буду видеть, и мне о тебе тяжко соскучилось: все ты мне снишься во сне, и хочется знать о тебе что-нибудь. Я уже два раза просил Протейкинского написать мне о тебе, но он, вероятно, не знает, как отцу бывает скучно о детях, и не спешит отвечать мне. Более я не хочу никого затруднять этим и пишу к тебе самому: возьми бумажку и напиши мне, как идет твое время: что ты делаешь и прочее. Я уверен, что при божией милости и внимании твоей мамы тебе хорошо, но все-таки хочу иметь от тебя слух, тем более что увидимся еще очень не скоро. Письмо свое попроси Веру надписать так: France a Paris, Monsieur Nicolas Leskow, Rue Chateaubriand, 5.

Я совсем было разболелся и хотел было уехать из невыносимо шумного Парижа к чехам, в тихую Прагу, а оттуда в Мариенбад, но доктора, с которыми я советовался, говорят, что это надо отложить на август, и я снова остаюсь в Париже,

только переменяю квартиру: из шумного Латинского квартала перехожу сегодня же в гораздо более тихие Елисейские поля, где мои здешние русские знакомые устроили мне комнату окнами в старый, тенистый сад. Надеюсь, что мне здесь будет легче, и несносное мое нервное страдание будет послушнее. Тут я буду жить с семьею моск<овского> профессора Буслаева, которым интересуется Коля; с г-м и г-жою Монтеверде, которых знает Ледаков, и с двумя сестрами Левиными, которые учатся в здешней консерватории и будут зимою петь на Мариинском театре. Так у нас своя русская компания, и даже превеселая: мы вместе обедаем и вечером имеем даровую музыку и пение. Я ездил в Лонгшанское поле на большой парад — видел все французские гвардейские полки и самого Мак-Магона, с которым совсем случайно минут пять стоял плечо о плечо. Вспоминал при этом случае тебя; как бы ты посмотрел на чужих солдатиков… По мундирам мне больше всего нравятся их драгуны и кирасиры; лошади у них жиже наших, но необыкновенно легки и проворны. В пехоте люди очень мелки, и строевые передвижения мне не особенно нравятся, а музыка без всякого сравнения хуже нашей. Вот тебе мой рапорт по твоей военной части.

Скажи Вере, что ц и ее вспоминаю и часто думаю: будь она со мною, как бы с нею до упаду ходили по этому городу, на который, кажется, никогда не насмотришься! Теперь бы ей и весело было, потому что у нас в куче три молодые дамы и две девушки, и все премилые. Запечатай-ка Веру в пакет да пришли ко мне! Как она тут навострилась бы по-французски! (и каким бы гримасам выучилась!). — Впрочем, я всех вас вспоминаю и всеми интересуюсь, — интересуюсь знать: каково бабушке Александре Романовне, и есть ли у нее место? Пусть бы написала мне — я, может быть, и отсюда что-нибудь сделал бы. — Прощай, мое дитя: будь умен и послушен маме. — Детям скажи мой дружеский привет.

Отец твой *Николай Лесков.*

Детям

12 (24) июня 1875 г., Париж.

Мои добрые друзья Боря и Вера,
и ты, мой милый сын Дронушка!

Я очень вам благодарен за письмо, которое вы мне прислали: оно было для меня большою радостью на чужбине, где я скитаюсь уже два месяца, не имея никаких вестей ниоткуда, точно я нигде с людьми не жил и никому во всю мою жизнь ничего не значил. Вы меня обрадовали, и я много, много раз перечитывал ваши коротенькие строчки — особенно Верины, так как она написала всех больше и всех обстоятельнее. Не отвечал я вам до сих пор потому, что ждал от вас ответа на мое письмо, которое вы должны были получить до 15 июня, — мой же ответ не мог прийти к вам ранее 20-го числа, а вы писали, что 15-го уезжаете в Ревель, чему я, по правде сказать, плохо верил и думал, что это вы сами сочинили, — какие нынешний год поездки к морям, когда и на юге, в затишье, холодно и всяких день дожди! Так я и не знаю наверное, где вы теперь, и это тоже длится уже целый месяц. Протейкинский мне

не отвечал на 4 письма, Милюков, для которого я сделал здесь довольно трудные розыски, даже не сказал «спасибо» и тоже, не ответил; писал теперь Матавкину, чтобы узнать, где вы и куда вам писать, и тоже нет ничего. Вот я как живу, без всяких вестей о тех, с кем сжился и сросся. Если можете понимать это, то не ограничивайтесь одним пониманием, а будьте внимательны к отсутствующему и пишите. Здоровье мое все худо; неудачи идут во всем до смешного: Лурд, куда я хотел идти пешком через всю Францию, во время самых моих сборов залило водою разлившейся реки Гаронны. Это ужаснейшее народное бедствие всполошило всю Францию, и вы, может быть, слыхали о нем по газетам. Женеву разорила буря. Теперь же только стал собираться ехать лечиться на воды в Мариенбад, как получено известие, что главный мариенбадский источник, Крейцбрун, стал давать воду крайне вредную, а не полезную. Тем не менее я все-таки еду послезавтра в Мариенбад, чтобы там выискать другой источник, более подходящий к моему состоянию. Так, как видите, и самая поездка, на которую я собирался с такими усилиями, мне самым невероятным образом не удается, а между тем деньги тратятся, и их жаль, а болезненное состояние

духа не позволяет ничего работать. Прошу вас всех написать мне теперь уже не в Париж, а в Мариенбад, адресуя так: В Австрию. Autrich, a Marienbad, Monsieur Nicolas Leskow, Poste restante.

Надписанное таким образом письмо удержат на почте, пока я приду за ним, и, получив его, напишу вам тогда свой мариенбадский адрес. Лечиться водами я должен никак не менее шести недель, а потом уже не знаю, что сделаю. Так как при лечении всякое спокойствие становится вдвое необходимее и дороже, а оно у человека отсутствующего всегда связано с добрыми вестями от милых, то и прошу вас, мои милые, пишите мне не один раз в два месяца, а один раз в неделю, — чего я и буду ждать с большим нетерпением. На этих днях я ездил в Версаль и был там в Национальном собрании, во время заседания депутатов республики. Это очень интересно. Вопрос шел об участии духовенства в учреждении высших школ, и говорили разные люди и монсиньор Дюпанлю. Я слышал Гамбетту, который действительно схож со мною, в доказательство чего посылаю вам его карточку. — Из театров хожу в Comédie Francaise,[16] где дают классические

[16] Примечания: 16
Французскую Комедию *(франц.)*.

пьесы и играют удивительно, а музыки нет вовсе, и дамы в кресла не ходят. На театре же Porte St.-Martin[17] дают «Путешествие вокруг света» Верна. — Это удивительно сделано, и корабли рушатся, и льды валятся, и дикие сражаются. Посылаю вам кусок афиши. Боря по ней поймет все, что делается. Это такое представление, что глаз не отведешь. — До свидания же, мои милые, обнимаю вас и целую. Всею душою вас любящий

Н. Лесков.

Марок на письма не надо никаких, — я заплачу при получении, а вам это легче.

---

[17] Примечания: 17
Порт Сен Мартин *(франц.)*.

А. П. Милюкову

12 (24) июня 1875 г., Париж.

Уважаемый Александр Петрович!

Ко мне явился просить содействия в устройстве работы некто Чашников — человек очень акклиматизировавшийся в Париже и даже начинающий здесь разлагаться. Он писал что-то в «Ниву», имеет вход в Нац<иональное> собр<ание>, но не имеет нигде обеда и не ест дня по три. Я ему дал посильную субсидию и откомандировал его выискать, где хочет, Анатолия. Он, кажется, очень ловок на подобные дела и притом знает все закоулочки Парижа, а потому пусть Зинаида Валериановна еще не отчаивается. Вас же прошу немедленно повидаться с М. Г. Черняевым и переговорить: не желает ли он заполучить сего Чашникова как политического корреспондента, к чему он мне кажется весьма способным, особенно если отыщет Анатоля и сведет меня с ним. Буду ждать от Вас скорого себе ответа, дабы этим вознаградить нашего шпиона. Адрес мой тот же: «9, Monsieur le Prince, 9». О себе пока ничего не могу сказать: за работу не брался, да думаю, что

здесь и не возьмусь, а отложу это до приезда в скучный Marienbad, куда непременно отправлюсь или думаю отправиться 2-го здешнего июля. О здоровье моем Вам нечего говорить, так как Вы знаете, что оно прекрасно, но тем не менее меня все медики в один голос шлют на самый большой курс на железистый Крейцбрун, и я поеду. Что всего удивительнее, это то, что *пока* мне советуют пить зельтерскую воду с красным вином, говоря: «хотя это и не вкусно, но пейте», а между тем моя натура *сама* указывала мне это чернильное питье! Нервозность моя, слава богу, облегчается и успокаивается, но мысль о возвращении на родину вдруг посетит и всего как варом взварит. Не знаю, как я оттуда уехал, но чувствую, что если бы еще не уехал, то последний ум мой сбился бы с толку. В Лурд я не поеду, как потому, что это стоит очень дорого, так и потому, что вполне ясно вижу и понимаю, чту такое эти пелегринажи.

Возбуждения *религиозного* в настоящем смысле этого слова во Франции нет, а есть ханжество — некоторое церковное благочестие, напоминающее религию наших русских дам, но это столь мне противно и столь непохоже на то, что я желал видеть, что я, разумеется, и видеть этого не хочу. Вообще *идеал* нации самый меркантильный и

низменный, даже, можно сказать, подлый, за которым это благочестие, конечно, всегда легко уживается. Случай и беспримерная любезность наших отцов иезуитов Гагарина и Мартынова поставили меня в такое выгодное положение для наблюдения церковной жизни, что я не мог этого и ожидать. Иезуиты ко мне *донельзя* внимательны, — даже ректор Шаво пригласил меня в воскресенье на именины и спектакль в конгрегации, а наши русские иезуиты возили меня во все свои школы, которым, по-моему, *нет равных*. Что это за умные люди! Мартынов ярый иезуит и спорщик, а Гагарин — милый барин, от которого веет еще атмосферою пушкинского кружка. Какая разница это со всею русскою сволочью, образовавшею нынешние русские читальни в Париже. О, если бы Вы видели — какая это *сволочь*! Тургенев им, однако, благоприятствует, но, по-видимому, не без омерзения — сам от них сторонится. Курочкина и Глеба Успенского не видал — они на дачах в Пасси. Нил Адмирари «требовал попа». Я был у этого злополучного в maison de santé[18] три раза. Краевский ему ничего не дает и даже на письма не отвечает. Нил *весь сгнил*, и

[18] Примечания: 18
Больнице *(франц.)*

сидеть возле него есть уже подвиг самоотвержения: ни один garde de malade[19] не хочет к нему прикоснуться голою рукою, и все это делает его молоденькая жена, которая уже и сама заболела и попала в руки Рикора. Вчера эта бедняжка (ей 18 лет) сообщила, что ей *вырежут всю груд*ь. По ней тоже пошли какие-то гнилые прыщи, но она являет дух удивительного самоотвержения. Нил дышит *через трубку* — в горле у него свистит, хрипит и брызжет, и он же еще ругается как ямщик, — к счастью, не всякое слово слышно бывает. Какое ужасное существование его, а особенно ее! Она очень похожа на М. П. Корибут, но без черных кругов под глазами и вообще en bébé.

Ваш *Н. Лесков.*

Не франкирую писем, чтобы вернее доходили. Не сердитесь за это.

---

[19] Примечания: 19
Санитар *(франц.)*

Детям

1 (13) июля 1875 г., Париж.

Мои дорогие и милые дети
Вера и Дронушка!

Сегодня я получил ваше письмо, писанное в Ревеле 26-го июня русского стиля, и был, по обыкновению, очень обрадован вашими детскими строчками. Вы, вероятно, помните, как во всякую минуту жизни я любил, чтобы вы пришли ко мне и поговорили со мною. Так и теперь в моем отдаленном одиночестве мне кажется, будто я слышу ваши родные голоса, и мне от них и тяжело, и грустно, и отрадно. Благодарю вас, что вы меня помните и любите, — верьте, что и я не только дня, но и часа не провожу, всех вас себе не вспоминая; а в том, что я вас люблю, вы, конечно, и не сомневаетесь. Хотел бы благодарить вас и за то, что вы обо мне скучаете, но это было бы с моей стороны большим эгоизмом, а его и без того на свете много. Что делать, не всем жить так, как хочется: надо это принимать с покорностью воле божией и учиться безропотности и терпению. Бывает на свете и худшее, и, по-моему, лучше,

не видясь, знать, что мы любим друг друга, чем видеться и не любить. Думайте обо мне, молитесь за меня бог может услышать ваши молитвы и дать мне свою помощь, которая столь нужна мне. Посмотрите вдвоем при восходе луны на ее светлое яблоко, куда я так часто смотрю, сидя где-нибудь под деревцем Булонского леса, а теперь стану смотреть с Богемских гор, и глаза наши там встретятся, и я узнаю, любите ли вы меня, а вы почувствуете, легко ли мне и весело ли. Вот и забава и свидание, пока о другом еще ничего нельзя знать, и я сам о нем ничего не знаю, и вы меня об этом не спрашивайте. Прежде чем вы получите это письмо, Матавкин должен переслать вам мои ответ на первое ваше письмо. Я запоздал ответом, потому что не знал, где вы, и мало верил, чтобы вы на самом деле поехали в Ревель в такое холодное лето. Здесь невозможно купаться: холодно и дождь каждый день. Послезавтра я уезжаю из Франции в Австрию, в маленький и очень тихий городок в Богемских горах, в Мариенбад, где буду шесть недель пить железные воды, на которые много надеюсь, по совету дяди и профессора Меринга, а также и двух парижских докторов. Вы бы меня теперь не узнали, как я похудал и изменился, — худо ем и еще хуже сплю. В Мариенбаде

надеюсь дописать повесть, которую начал и которая будет называться «Соколий перелет»; а чтобы мне было веселее, здоровее и спорее работалось, вы не ленитесь и почаще мне пишите, — что моя потребность, и удовлетворение ее укрепляет меня на все лучшее, что могу делать.

Н. Лесков.

А. П. Милюкову

12 (24) июля 1875 г., Мариенбад.

Уважаемый Александр Петрович!

Приехав неделю тому назад в Marienbad, я застал здесь дружелюбное письмо Ваше и такое же письмо Зинаиды Валериановны, из которого, между прочим, узнал о Вашей досаде по поводу неудачного экзамена Бибы. Зная, сколь это тяжело Вам, от всей души за Вас поскорбел, хотя и не могу некоторым образом не винить Вас самих в этой неудаче. Если Вы простите моей приязни, то я сказал бы, что мальчика надо поставить иначе: во-первых, снять его с принятой им офицерской позиции, а во-вторых, воздержаться от резонерства, одинаково вредного для его занятий и для правильности его развития. Нужно очень немного наблюдательности, чтобы не видать, как он идет в Кривороса и так едва ли выбьется на путь верный; но мне всегда казалось, что Вы и сами это замечаете, а только не решаетесь сказать: «крак — с сегодняшнего дня ты, любезный друг, на ином положении». А это надо сделать, пока еще не поздно (если только не поздно). Иначе,

как хотите, это будет преступно по отношению к нему к самому, и Вы это, конечно, знаете, а потому и должны сделать. Новости, Вами передаваемые, очень интересны: я уже видел в Париже подпись Усова, но не знал процесса этого избрания. Все это как должно и в порядке вещей: мы хотим вокруг себя видеть ничтожества и жаловаться, что «людей нет». Противная глупая песня, терзающая слух и отравляющая всякую энергию! Когда же будет какой-нибудь конец этому пошлому началу? О себе ничего не могу сказать хорошего: в Париже не мог работать, а здесь некогда, весь день с 5 час. утра до 9 вечера на водопое и на ногах. Нервические муки мои, по-видимому, утихают, и лимонная желтизна сходит или хотя убывает, но всякое воспоминание о глупости своего положения на родине опять все будит и поднимает. Не могу, решительно не могу слышать об этом издевательстве над правами разума и дарований и об этом тиранстве тупой и скупой реакции во имя будто бы «спасения» чего-то. Что может быть спасено рутиною, покровительствующею одной бездарности, или людям, способным «потрафлять чужому вкусу». Это опять начало обезличенья — от чего пошли, к тому и пришли. Едва ли весь классицизм окупит такую страшную

деморализацию! «Р<усский> мир» читал и читал «Деды» Крестовского. Что это он порет? Гришиному роману рад, потому что это сопряжено с беготнею и шумом, а стало быть и с некоторым оживлением. Впрочем, Ледаков сильно одобрял это произведение, а в нем, сами знаете, «три головы». Теперь еще дело: в «Рус<ском> мире» было напечатано откуда-то взятое известие, что главный мариенбадский источник Крейцбрун испортился. Это было перепечатано всеми газетами и целый месяц оставило Мариенбад без приезда. Между тем все это ложь, выдуманная карлсбадскими врачами: об этом уже произведено следствие, и начинается суд. Управление Мариенбада не желает привлекать ни к какой ответственности «Р<усский> м<ир>», который был кем-то обманут, но просят редакцию поместить на *видном месте* прилагаемое при сем письме моем их официальное опровержение клеветы на Крейцбрун. Прошу Вас покорно передать его Михаилу Григорьевичу или Федору Николаевичу с моею просьбою напечатать как можно скорее, а Вас прошу прислать мне сюда под бандеролью 5 экз. номера, где это будет напечатано. Этим Вы дадите мне случай услужить очень ласкающим меня мариенбадским врачам, из коих трое го-

ворят по-русски, а один (Добшевич), как видите, даже может и писать. Пожалуйста, обделайте это со свойственною Вам любезностью и точностью. Адрес мой: Marienbad, Casino Hôtel, 22. Да напишите мне, что значит увольнение М. Г. Черняева в чистую отставку? Меня это очень удивило. И вообще напишите мне, что есть нового в обществе и в литературе.

Душевно преданный Вам

Н. Лесков.

Здешний русский наплыв очень интересен — особенно жидки засматривающиеся на Шамбора, который ходит в одном со всеми хвосте к источнику. Жизнь здесь дороже Парижа втрое.

П. К. Щебальскому

29 июля (10 августа) 1875 г.,
Мариенбад.

Уважаемый Петр Карлович!

Встретясь вчера на водах с Н. М. Благовещенским, я узнал от него, что Вы уже в Варшаве, хотя еще и без «фамилии». Радуюсь за Вас и еще более за «фамилию». Дай бог Вам счастья на новом месте, а барышням хороших мужей, которые умели бы их оценить и сберечь. Я лечусь, хандрю и не работаю ничего от хандры безысходной, но много, очень много прочел и духом возмутился: «зачем читать учился». Вообще сделался «перевертнем» и не жгу фимиама многим старым богам. Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию не допускаемых. Имел свидание с молодым Невилем и… поколебался в моих взглядах. Более чем когда-либо верю в великое значение церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя. «Соединение», о котором молится наша церковь, если произойдет, то никак не на почве

согласования «артикулов веры», а совсем иначе. Но я с этим так усердно возился, что это меня уже утомило. Скажу лишь одно, что прочитай я все, что теперь много по этому предмету прочитал, и выслушай то, что услышал, — я не написал бы «Соборян» так, как они написаны, а это было бы мне неприятно. Зато меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного *духовного христианина*, прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей. Я назвал бы такую повесть «Еретик Форносов», а напечатал бы ее… Где бы ее напечатать? Ох, уж эти «направления»! Михаила Никифоровича я по-прежнему люблю, но преимущественно когда его глупо и грубо ругают — тогда я за него; а сидя один сам с собою, я не могу не чувствовать к нему того, чего не может не чувствовать литературный человек к убийце родной литературы. Он руки отнимает от всякого начинания и мертвит мысль своею противною «пыхою». Не знаете ли: в какой должности у него прислуживает граф Сальяс? В Париже я жил с Ф. И. Буслаевым, который мне говорил, будто бы Георгиевский переходит в Москву директором Лицея, с оставлением в должности члена совета

министра. Невозможного в этом нет, но верится с трудом: А<лександр> И<ванович> Георгиевский знает московскую кулебяку. Не знаете ли чего об этом? Да еще: напишите мне, будете ли Вы около 15-го нашего августа в Варшаве, и где Вас искать. Я бы поехал на Варшаву, чтобы повидаться с Вами и кое о чем поговорить. Мне надоел Петербург, где на одно жалованье жить нельзя, а литературствовать негде. Как хорошо они распорядились с «П<етербургскими> вед<омостями>» — искали, искали ничтожества и наконец таки нашли … А еще ругают правительственных людей за их влечение к бездарности. Все, видно, одним миром мазаны. Прошу Вас, откликнитесь мне, и чем скорее и словоохотливее, тем лучше. Я очень скучаю и наблюдаю только одно, «како изнеможда́ет господь плоть сынов человеческих».

Кланяюсь Мирре Александровне и всем барышням.

Преданный Вам

Н. Лесков.

А. П. Милюкову

3 (15) августа 1875. Мариенбад.

Любезнейший Александр Петрович!

№№ газеты обогнали Ваше письмо: их я получил вчера и обрадовал ими эскулапов, а письмо получил сегодня и себя им радую, благодаря Вас за приязнь и доброжелательство. Насчет вод спорить не стоит; я сам того мнения, что воды сами по себе чудес не творят, а служат только подспорьем к чрезвычайно хорошим условиям здешней жизни (горный, чистый воздух, беспрестанное движение, раннее вставанье и простой, умеренный стол). Всего этого в городе не соблюдешь, а здесь соблюдешь по благоразумно устроенной невозможности выйти из этого порядка (так, после 9 ч. утра нет завтрака, позже 1 часа нет обеда, позднее 9 ч. в. нет огня во всем Marienbad). На меня все это имело свое действие, и если Вы теперь еще считаете меня нервозным, то это, конечно, только потому, что Вы не знаете, чту со мною было. Кроме того, грязевые морбады вещь несомненно полезная. После 3-го морбада со мною сделался обморок, и когда меня обтирали, то *про-*

стыня оказалась покрытою желчью; я вспотел желчью и с тех пор стал цветнеть и поправляться. Теперь я держу 3-ю неделю курса, самую тяжелую и самую критическую, — пью 7 кружек и всякий день беру горячую грязевую ванну.

Но довольно о себе: радуюсь, что Вы пришли к убеждению повести Бибу иначе, и думаю, что это еще не поздно. Не суровость, а спокойная твердая строгость действует благотворно не только на отроков, но и на юношей, и даже на людей совершенно взрослых, — он же, по-моему, не испорчен в основе характера, а только ужасно распущен — в чем Вы, несомненно, и виноваты. Желаю Вам исправиться и радоваться сыном; но только смотрите не откладывайте своих мероприятий со дня на день, а то будет поздно. Взгляд Ваш на министерскую выходку вполне разделяю: это глупая бестактность, в этом именно смысле и понятая всеми благомыслящими людьми во всей Европе. Над этим циркуляром везде смеются, — исполнение же его просто невозможно, как невозможна вообще борьба со связанными руками; прежде надо развязать борцам руки, а наше слово до сих пор было сковано то цензурою, то карами, то не менее вредною силою узких направлений.

Что может говорить учитель о социализме?

Во-первых, я согласен, что, по-моему, учителя сами чувствуют невольную слабость к теориям этого сорта, ибо это в духе времени, а во-вторых, разве нынешний социализм то же самое, что утопии «карбонеров бледных» или наших нечес? Социалистическое учение ныне многим поступилось и стало очень вкрадчиво, тем, что многих его современных требований по разуму нельзя не признать справедливыми (например, плата за государственные надобности соразмерно достаткам; фактическое равенство перед законом и т. п.). Как об этом спорить, да еще в классе? Иной ученик с хорошею головою и с хорошим сердцем, никогда и в глаза не видав чисто социалистической книги, поставит увещаниям учителя такие возражения, что класс весь станет на стороне товарища, а не преподавателя, — явятся выскочки, говоруны, и «будет последняя вещь горше первые». Кто это у них выдумал этот циркуляр? Бедные, жалкие люди! Они бы всё хотели устроить «канцелярским порядком»… да так, чтобы кроме них никто ничего не понимал. А надо было не затыкать рта людям благоразумным и благонамеренным и не отдавать во всем преферанса глупцам и людям без мнения, готовым служить только за выгоды. С кем они ныне на службе; с кем

в литературе? — все с ничтожеством и бессилием. А жизнь идет, а не стоит, и «дух бурен» носится и разнесется: это ясно как день, и тогда схватятся, и будет поздно; да, пожалуй, и теперь уже поздно. Я здесь вижу целую коллекцию их ректоров и профессоров из избранников. Это наполовину тупицы, наполовину льстецы, сладострастно рассказывающие, как это в день Кирилла и Мефодия «графу депешу поздравительную послали».

— С чем же, — спрашиваю, — вы его поздравляли: разве он Кирилл или Мефодий?

— Нет, — говорят, — а так… он доволен был: отвечал: «благодарю, что в этот день обо мне вспомнили».

Еще ли не деятели? А того и нет, чтобы сказать графу о стоне, который стоит по всей стране за неразрешение переэкзаменовок за одну двойку… Кто же будет с ними? — конечно, только они сами, пока их черт возьмет куда следует. Они мне здесь и воду и воздух гадят, и на беду их тут много собралось.

В заключение скажу, что вся эта пошлость и подлость назлили меня до желания написать нечто вроде «Смеха и горя» под заглавием «Чертовы куклы», и я за это уже принялся. Предложу сегодня же это Черняеву, с тем однако, чтобы он

прислал мне рублей 300, дабы я мог по окончании лечения через две недели сесть на месяц в Праге и дописать эту работу, которою здесь очень мало времени заниматься. Прошу Вас заговорить с ним об этом в мою пользу и о его ответе *немедленно* мне отписать, дабы я мог иметь свои соображения.

Преданный Вам

Н. Лесков.

И. С. Аксакову

**29 июля (10 августа) 1875 г.,
Мариенбад.**

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Пишу Вам это письмо наудачу, по старому московскому адресу, и желаю, чтобы оно как-нибудь нашло Вас. После разлуки с Вами в Кунцеве я пробрался через Киев за границу — сначала в Вену, а потом в Париж, откуда собирался пуститься с французскими пилигримами в Лурд, но Лурд в это самое время залила Гаронна, а меня залила не менее многоводная тоска, какой и описать невозможно. Ездил я и в Версаль слушать парламентское пустословие; видел и Дюпанлу и Гамбетту; беседовал с заклятым Мартыновым и с рыхлым Гагариным; посетил с последним все парижские иезуитские школы и другие учреждения и пользовался обильною обоих сих земляков ласкою; но все это не спасло меня от второй раз в жизни приключившегося разлития желчи — весь до зрачков глаз пожелтел, ослабел и, разнемогшись по совету врачей устремился в Мариенбад. Вот уже полтора месяца, что я здесь:

испил полный курс вод; вдоволь измарался в грязевых ваннах; излазил все горы, вертепы и пропасти, и телом оздоровел: желчь моя убралась в свое место, нервы поокрепли, но вообще духовные силы еще далеко не в авантаже; та же тоска, то же тяжелое томление и безнадежность, убивающая всякую охоту взяться за какой бы то ни было умственный труд. Вопрос, что с ним делать и куда его деть, отнимает руки от дела, и мысль о родине, к которой рвется душа, смешивается с чем-то невыносимо грустным. Петербург, с которым я свыкся *при деле*, кажется мне совсем невыносимым без занятий, питавших и дух мой и семью. На жалованье Уч<еного> ком<итета> в одну т<ысячу> р<ублей> я не могу успокоиться, по той простой причине, что на это нельзя существовать, — в литературе же теперь искать нечего. Если бы я и хотел примкнуть к какой-либо газете, то и это было бы напрасно: им нужны столоначальники по тому или другому отделу, а не человек хоть с каким-нибудь, но с убеждением и образом мыслей. Между тем вернуться будет необходимо, и даже довольно скоро: средства истощаются; Кокореву намекнул: не сочтет ли он справедливым вознаградить меня за сделанную мною для него в декабре месяце <1>874 года

работу, за которою я без мала просидел целый месяц, — от него ни ответа, ни привета и, вероятно, уже ничего не будет. О втором издании «Соборян» есть разговоры с москвичами, но чтобы эти разговоры произвести в дело, тоже надо приехать самому; а ехать к тому самому, от чего уехал, весьма неохота. В этих-то обстоятельствах я получил дружеское письмо от П. К. Щебальского, который теперь переведен директором народных школ в Варшаву. Ему там, по-видимому, очень полюбилось, и он сманивает меня бросить Петербург и переселиться на Вислу, причем вызывается всячески хлопотать, отыскивая такое местечко, которое не было бы только подспорьем к литературному труду (которого для меня теперь нет), а могло само пропитать в сии во всех отношениях голодные годы. Входя во все соображения этого дела, я нахожу его стоящим внимания, а к тому мог указать и на лицо, на которое, кажется, можно бы попробовать действовать в моих интересах довольно откровенно и смело: это управляющий ныне Варшавским кредитным обществом барон Менгден. Мы с бароном довольно часто встречались у кн. Щербатова (Ал<ександра> Петровича), не раз вели полунощные беседы о делах всякого рода и особенно о литературной деятельности

гр. Льва Н<иколаевича> Толстого, которого Менгден считает не только своим благоприятелем, но даже и «другом». С женою Менгдена и с его дочерьми я также знаком. Дочери его весьма замечательные чтицы, и мы с ними вслух читывали разные роли из пьес Гоголя и Островского у тех же Щербатовых; но короче этого я не сближался с семейством Менгдена, частью по лености, частью по нежеланию увеличивать бесцельно круг моего знакомства. Теперь же этот дом был бы мне очень нужен, а обратиться туда в качестве просителя я нахожу совершенно неудобным. Конечно, князь и княгиня Щербатовы не нашли бы никаких неудобств просить за меня Менгдена, но я не знаю, где их искать в эту минуту, да, признаться, и в силу и в значение их просьбы не много верю. Другое дело, если бы с Менгденом об этом заговорил кто-нибудь другой, — человек, более им ценимый, например, Юрий Федорович Самарин или Лев Н<иколаевич> Толстой, из коих я лично *ни одного* не знаю. Пособите мне, пожалуйста, в этом случае! На доброту Юрия Федоровича и его участливость я более почему-то рассчитываю, чем на своенравную непосредственность Льва Николаевича, но, может статься, и самая эта непосредственность не идет так далеко, чтобы

уклониться от содействия человеку, который более или менее все-таки честно служил добрым началам и, конечно, не был бы в нынешнем своем положении, если бы с тем же усердием послужил хотя половинный срок началам противуположного свойства. Не прошу Вас сделать что-нибудь определительно тем или другим путем и в той или другой форме, а вообще прошу: «порадейте». Щебальский пишет мне сегодня, что он и сам будет экзаменовать Менгдена и намерен на днях же открыть воздействие на него через какое-то другое лицо, — стало быть, дело теперь в ходу, и влиятельное подспорье, добыть которое я желаю через Вас, было бы как нельзя более ко времени и кстати. Пожалуйста, порадейте и выручайте!

Если Вы сочтете нужным сказать мне что-нибудь по поводу этой моей просьбы, то я должен объяснить Вам, что до 8 (русского) августа я остаюсь еще в Мариенбаде, а 8-го уеду в Прагу, где, вероятно, пробуду неделю, а может быть и дней десять, и письмо, адресованное туда Poste restante,[20] должно попасть в мои руки. Далее же мне всего удобнее написать в Варшаву на имя Петра Карловича Щебальского, *по Иерусалимской*

---

[20] Примечания: 20
До востребования *(франц.)*

аллее, № 25.

Обременив Вас такою сложною просьбою, на которую дерзничаешь только зная Ваши свойства, хочу еще сообщить Вам кое-какие новости и впечатления. Прежде о впечатлениях: наши парижские иезуиты совершенно то самое, чем Вы их мне представили: Мартынов весь словно для того рожден, чем он сделался; Гагарин же едва ли не более пришелся бы к месту настоятеля Сергиевской пэстыни, что за Петербургом? Что он за иезуит и почему он иезуит, — он, я думаю, и сам не знает. Так себе, во время уно увлекся и «отличился», и я не боюсь ошибиться, что теперь он об этом жалеет и кается. При Мартынове и без Мартынова он совсем не один и тот же человек и, говоря раз со мной об отце Савелии (из «Соборян»), столь увлекся, что даже сказал: «Да, я сам тоже был бы с такими православными православный», и это, видно, был порыв искренний. Кого же они считают православными? — Ту бессмысленную и неверующую орду чиновников и легковесных барынь, которые нынче носятся с своим православизмом. О Вас и Ю<рии> Ф<едоровиче> у нас бывали с Гагариным большие разговоры, всё по поводу известной Вашей статьи в «Дне», вызвавшей письмо Мартынова и пять ответных писем

Юрия Федоровича. Мартынов ни разу не коснулся этого дела, но Гагарин многократно к нему обращался с неудержимою слабостью. Укора в тени, которую он старался бросить на былой славянофильский кружок, он не трогает и проходит молчанием, но много, много говорил о «любовной переписке, найденной, по словам Ю<рия> Ф<едоровича>, в Московском иезуитском доме». Он отклоняет «любовный» характер найденных писем и говорит, что это просто «нехорошо перетолкованная интимность, дружеская короткость и т. п.». Ничего не зная о существе этих писем, я, разумеется, только слушал и не возражал. Всего лучше он был, когда, уезжая в Пломбир, зашел ко мне проститься, — просидел два часа, выпил стакан шабли за благоденствие России и… заплакал. Мы обнялись и много раз поцеловались: мне было до смерти его жалко… Он отяжелел, состарел, без зуб и без ног (от подагры), но имеет еще очень красивую наружность, напоминающую немножко т<ак> называемый «екатерининский» тип. Симпатии его к России, разумеется, состоят в невольной любви и невольном влечении к родине. От всего этого он еще весьма и весьма не свободен, тогда как Мартынов совершенно ни во что вменил. С Мартыновым у нас вышел

маленький анекдот, но зато довольно глупый: мы говорили о церковных делах и о церковниках, то есть о клире по поводу известной брошюры Гагарина, забывшего в рассказе о наших монастырях *всех* подвижников русского иночества. Тут меня и дернуло сделать некий комплимент иезуитскому упорству и твердости в преследовании своих целей, сравнительно с ненавистною вялостью наших современных иерархов; а от<ец> Мартынов, — прости его бог, — невесть что почуял в этом, и простер ко мне обе руки, и сказал глупость, за которую я, однако, покраснел гораздо более, чем он. Ю. Ф. Самарин, видно совершенно угадал, что «они принесли в иезуитский орден русскую наивность». Судя по отношениям к ним других иезуитов (я был представлен многим, и самому ректору), они Мартынова, очевидно, считают человеком нужным, и он у них беспрестанно то пишет, то куда-то шнырит: уезжает и возвращается; а Гагарина добродушно по плечам треплют и по пузу гладят, а при случае немножко над ним и подтрунивают. Больше о них расскажу при свидании. Был я и в нигилистическом кагале, основанном Ив<аном> С<ергеевичем> Тургеневым; но это уже просто мерзко. Париж мне вообще в этот раз не понравился. Здесь, на

водах, по обыкновению скука, весьма ожесточаемая полнейшею невозможностью работать: дела не делаешь и от дела не бегаешь. Наш всероссийский «бомонд» в это лето блистает отсутствием. Повертелась одна Шувалова, и та скрылась. Зато тут теперь Шамбор с женою, и молодой Бисмарк с трубачом в полной прусской форме, и очень много каких-то немецких графинь хищного типа — красивых, но противных. Книг русских много навезено: все страшно дороги, и дельного очень, очень мало; кроме Хомякова и Самарина нечего в руки взять. Из брошюр достойны внимания (довольно давние) «Вопросы веры и знания» и «Ответы», да «Об аристократии вообще и в особенности о русской». Покупают всего более, разумеется, переводы Ренана. Преобладающий ассортимент русской публики — интендантские чиновники.

Преданный Вам

Н. Лесков.

По народ<ному> просвещ<ению>, слышно, пошло что-то на взятки: здесь приезжие из Кишинева рассказывают, что у них директор, какой-то Вороной, переведен в уезд<ную> гимназию *за продажу аттестатов зрелости*.

Митрополит Арсений столь на меня осерчал,

что *не велел мне посылать академического журнала*, а архиерей Филарет прямо написал укорительнее письмо. Документ в<есьма> интересный.

Не осудите меня за просьбу передать мой низкий поклон Анне Федоровне: ее дорогой привет будет мне всегда памятен, и мне хочется очень ей поклониться.

И. С. Аксакову

1 сентября 1875 г., Петербург.

Достойнейший Иван Сергеевич!

Вот я уже снова на своем пепелище и хочу отдать Вам отчет о том, что видел и слышал в Варшаве. С Менгденом я обедал вместе в русском клубе, где он первый отыскал меня, и мы поговорили кой о чем, нимало не касаясь моих планов. Из этого я заключаю, что или он не получал никакого письма от кн. Черкасского, или же не может ничего для меня сделать. По словам Щебальского, который штудировал это дело, можно думать, что Менгдену будет трудно что-либо устроить, потому что управляемое им учреждение чисто польское, и все производство идет (будто бы) на польском языке. Если это так и если затруднение только в этом, то я его не могу почитать неодолимым, потому что я до некоторой степени знаю польский язык и могу на нем объясняться и писать, но, может быть, Менгден до сих пор просто ничего обо мне не получал и все мои соображения должны окончиться на этом. Что же касается планов П. К. Щебальского, то они мне

кажутся неподходящими: дело состоит в том, что в Варшаве недовольны берговскою редакциею «Варшавского дневника» и желают изъять газету из рук Н. В. Берга и передать ее в другие руки, более рачительные: такие руки оказались у П. К. Щебальского и Н. П. Воронцова — помощника попечителя Варш<авского> уч<ебного> округа. Оба они люди добрые и хорошие, хотя далеко (по моему мнению) не солидарные во взглядах. Принимая газету, они подали от себя условия, в числе коих стоит сохранение им субсидии и освобождение их от предварительной цензуры. По заручкам, какими они владеют, они надеются, что условия их будут приняты, и притом в самом скором времени. (Дело теперь уже у Тимашева.) Так мы накануне появления первой провинциальной газеты без предварительной цензуры… Вот к этому-то изданию меня и приглашают, но я, пробыв 5 дней в Варшаве и понюхав ее веяния, не дал на это приглашение своего согласия иначе, как под условием, что могу переехать, только имея кроме газеты другое, казенное место. До тех же пор я нахожу невозможным положиться на эту редакцию и оставить даже свое скудное жалованье по Ученому комитету. Притом в Петербурге у меня все-таки есть приятельские

связи и небольшой кружок добрых людей, с которыми пришлось бы расстаться ни за что, ибо вознаграждение, которое может предложить «Варш<авский> дн<евник>», конечно, не более того, что я могу заработать здесь, даже при нынешних неблагоприятных обстоятельствах, но времена и обстоятельства могут перемениться, и здесь у меня опять может быть выбор, а там никакого. Мы расстались на том, что я обещал «В<аршавскому> дн<евни>ку» постоянное сотрудничество из П<етербур>га, а о переезде отложил думать до тех пор, пока к литературному делу не удастся присоединить более верный служебный гонорар. Кроме всего этого, настроение Варшавы произвело на меня впечатление нехорошее: со стороны русских косность, со стороны поляков косина; меж тем как теперь с поляками более чем когда-нибудь можно бы заговорить в тоне весьма справедливом и дельном, и даже не только заговорить, но и договориться. Теснимые и презираемые повсеместно, начиная с Парижа, откуда Бронислав Залесский улепетывает с своею библиотекою в Краков, поляки обнаруживают много желания поговорить с русскими, но едва ли этому будет способствовать освобождение от цензуры одной русской, варшавской газеты с

оставлением под цензурою всех газет, выходящих там на польском языке. Это будет игра в пользу поднятия интереса газет «Часа» и «Дневника познанского», где будут судить обо всем только вкривь и вкось, и выйдет из этого не польза, а сугубый вред. Меж тем, ошибаюсь я или нет, но мне кажется, что если бы теперь повольготить польское слово в Варшаве, то оно не дышало бы одним безумием злобы и в значительной мере стремилось бы само к отрезвлению умов, для которых русское слово долго еще будет подозрительно и бессильно. Подцензурным же изданиям, как Вам известно, нельзя разговаривать с изданиями вольноотпущенными, и вся затея о возрожденном «В<аршавском> дневнике» мне представляется вздором, если одновременно с этим не получит права относительной свободы печать польская. Вот как мне все это показалось и побудило меня предпочесть для себя старое мое положение, доколе нет в виду никаких средств изменить его к лучшему.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

Историю об освобождении «Дневника» меня просили *пока* держать в секрете.

П. К. Щебальскому

23 сентября 1875 г., Петербург.

Разговора не было, почему я, прощаясь с Ходневым, вручил ему Ваше письмо ко мне, прося его прочесть и в следующий вторник сказать мне; чту он найдет возможным сделать для удовлетворения Вашей просьбы? Он мне это обещал и письмо Ваше взял с собою. Советую Вам *немедленно* же написать ему, адресуя в Уч<еный> к<омитет> м<инистерства> н<ародного> п<росвещения>, где он будет в следующий за сим понедельник и потом во вторник. Я желал бы, чтобы он получил Ваше письмо в понедельник и был им подготовлен к разговору, который может быть поднят во вторник. Просите его главнейше, чтобы речь получила почин *от него*, так как мне об этом, по множеству соображений, неудобно заговорить; а на других я не могу рассчитывать. Не худо сделаете, если, написавши Ходневу, одновременно с тем известите и меня.

Менгдену я писал — благодарил его. Интересно бы знать: не будет ли у Вас с ним обо мне каких-нибудь разговоров и не может ли оттуда

последовать каких-либо полезных соображений и видов.

Байм<аков>, кажется, недоволен Усовым, который все «без людей», а работы нет как нет, и, — что всего хуже, — нет никаких средств пособить себе в этом глупом положении. Газеты, как видите, заботятся не о достоинстве статей, а только наполняются в известную меру и к известному сроку. Тут ничего не поделаешь. Корреспонденции Вам, может статься, буду писать; но откровенно Вам скажу: я мало верю в Ваши предприятия. Есть люди задачливые, есть незадачливые, — Вы и я из последнего сорта. Кроме того, при последнем нашем свидании я усмотрел промеж себя и Вас изрядный провал: Вы стали, на мой взгляд, очень большой оптимист, — что мне довольно непонятно. Вы видите свое время и понимаете, — и я его тоже вижу и тоже по-своему понимаю; а взгляды у нас выработались разные, и это случилось когда-то недавно. Что же это на Вас так воздействовало?.. Я Вас люблю и уважаю и потому, может быть, немножко смело претендую на Вашу снисходительность: я отнюдь не вижу ничего, способного настраивать меня к оптимизму, и едва ли буду в состоянии попасть в тон Вашего будущего издания, и Вам, может

быть, лучше иметь здесь в виду кого-нибудь такого, чей взгляд был бы светлее и радужнее моего. Впрочем, начавши газету, пришлите мне ее: надо видеть, чего Вы станете домогаться от этого, по-видимому много обещающего, на Ваш взгляд, порядка вещей. Оставим этот вопрос о моем сотрудничестве открытым.

Ваш Н. Лесков.

Л. Н. Милюкову

27 сентября 1975 г., Петербург.

Мне было очень приятно получить от Вас, уважаемый Александр Петрович, письмо, в котором Вы выражаете готовность поспешить на помощь несчастному Панютину. Он действительно в ужасном положении, и я ума не приложу, как ему помочь, тем более что обстоятельства не дозволяют мне располагать теперь никакими к тому средствами. «Обращаясь за сим по существу», я не могу ничего отвечать Вам на Ваши вопросы до тех пор, пока снова повидаюсь с Панютиным, который, вероятно, сам к Вам приедет; но будет ли это в воскресенье или в иной день — я не знаю. Меня же прошу извинить: мне, право, не до выездов, и я нахожу, что они мне просто вредны: я себя всего лучше чувствую у себя дома, и добрые приятели должны мне это простить. Это отнюдь не значит, чтобы я чуждался людей; а просто теперь в обществе очень много говорится такого, чего я, по своим чувствам и убеждениям, спокойно и не расстраиваясь слушать не могу. Зачем же мне неволить себя, для того чтобы быть

в тягость и себе и людям? Не рассердитесь на меня и не принимайте чего-нибудь в этих словах на свой счет — это будет несправедливо: я Вас очень люблю и уважаю, но гостем позвольте мне быть тогда, когда я буду чувствовать себя к этому способным.

Душевно Преданный Вам

Н. Лесков.

P. S. Поздравляю Вас со вчерашнею передовою статью «Московских ведомостей» по герцоговинскому вопросу. Спрашивается: почему это воистину «циническое» отношение к столь ужасным событиям считается такими умными людьми за самое уместное и благоразумнейшее? Я не могу не видать в этом, как и во многом другом, особенного самоуслаждения в противуречии лучшим инстинктам страны, как только она выходит из своей мертвящей апатии и пробует проявить какой-нибудь живой дух и симпатии. И эти унылые люди со всею их дальнозоркою расчетливостью ошибутся, и эту ошибку им покажет не кто иной, как тот, очень многими (и Вами) отвергаемый, незримый *дух* народа, о котором говорит всех смелее и, по-моему, всех лучше граф Лев Толстой в «Войне и мире». В том, в чем они хотят всех уверить, они никого не уверят, а сами

изверятся у многих.

П. К. Щебальскому

5 октября 1875 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Вчера я получил Ваше письмо; а Комитет — Вашу рукопись (под девизом, но с указанием на тюке, кто ее посылает!!). А. И. Ходнев сегодня сообщил мне по секрету, что все Ваши желания будут исполнены, — чему я и радуюсь.

С книгами Стрижевского нельзя было поступить иначе: Вы знаете, сколько у министерства недоброжелателей, которые не станут разбирать, что умышленно, что неумышленно, а просто пойдут на это указывать, и повторится опять история с азбукой Блинова, где тоже, вероятно, не все дурное сделано с умыслом.

В словах Ваших о «мере шпаг» нахожу много справедливого; но в конечной цели с Вами не согласен. Вы делаете комплимент моему «здравому смыслу» и знаете, конечно, что я не враг правительства и послужил ему на свой пай немало; но правительство ведь это не отвлеченная идея, а равно и не одно лицо, которое и я, как и Вы, и люблю и уважаю «не точно за страх, но и

за совесть». Когда мы говорим о правительстве, мы, конечно, рисуем перед собою целую группу известных нам людей, со всеми их нравственными свойствами и способностями. Что же это за люди в данную минуту? Одним штрихом их не охватишь иначе, как примени к ним слова пророка: «Люди сии не жарки и не холодны»; а таковых, по тому пророку, «изблевывает господь с уст своих». Вы надеетесь, что загарантируете себя и проведете издание честно и интересно, а я Вам отвечаю головою, что все Ваши гарантии не поведут Вас ни к чему и издание в радость Вам не будет. Мысли эти мне не «подшепнуты славянофилами», а их родит тот самый мой здравый смысл, которому Вы воздаете столь лестные хвалы. С этими людьми «не жаркими и не холодными» ничего нельзя делать: ты их крести, а они в омут. Нет никаких таких принципов, которые можно было бы поддерживать, не поддерживая людей, сим принципам преданных и им служить готовых. Не верю я таким принципистам; а на себе вижу весьма близко шкуры моей касающийся пример их внимания: у меня нет уже не только ситного хлеба, но даже и решетного; а я и не ленив, и не коварен, и не без службы правительству в прошлом. Мог бы кто-нибудь мне бросить хоть

возможность существования, о которой я боюсь *три года* и дошел до последней крайности, которой более уже *нельзя терпеть*, не скажете ли и Вы, что «ведь нельзя же…» О, как это противно и мучительно! Все можно, когда хотят; а не делают только для очистки совести — чтобы отвязаться. Изнемогаю я, Петр Карлович, и ничего более не жду, ни от кого, и не от Менгдена; ничего он не сделает, да и никто для меня ничего не делал и не сделает, чтобы я мог хоть дух перевести. К тому же все уже и поздно: мне буквально нечем жить и не за что взяться; негде работать и негде взять сил для работы; а на 1 т<ысячу> р<ублей> с семьею существовать нельзя. Ждать я ничего не могу и, вероятно, пойду к брату в его деревеньку в приказчики, чтобы хоть не умереть с голоду и не сесть в долговую тюрьму. Положение без *просвета, и дух мой пал до отчаяния*, препятствующего мне и мыслить и надеяться. Если со мною случится что худое, то бумаги мои будут присланы Вам, и Вы из них многое извлечете для характеристики литературного быта, зависящего от столь известной вам «обидной рассеянности и капризов», — прибавлю от себя — пошлых и грубых. Жму Вашу руку.

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

16 октября 1875 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

Если бы не Ваше письмо, то я и сам бы сегодня написал Вам; Алексей Ив<анович> позавчера меня спрашивал: «успокоил ли я Вас», и при этом, узнав от меня, что дело в спешности, сам обратился к делопроизводителю с просьбою сколь можно скорее известить Вашего попечителя. Курта попросите — он старик добрый; а я тоже буду наблюдать и с своей стороны. Письмо Ваше Ходневу передам 20-го числа и о его ответе напишу Вам немедленно и аккуратно. Предрешать же, что Вам ответят, — не берусь, потому что не могу понять: как это сделать? При том же я ожидаю с этими премиями изрядных курьезов. А впрочем, — что сможем, о том будем стараться.

А. И. Георгиевский теперь должен быть у Вас, и Вам бы надо воспользоваться свиданием с ним, чтобы поставить дело «на точку вида». Вопрос о премиях непременно будет решаться при нем; а он, сколько я понимаю его, кажется расположен к Вам. По крайней мере мне всегда так казалось.

Не лишнее, может быть, известить Вас, что у нас в прошлом заседании рассмотрен «сравнительный польско-русский букварь» г. Стрижевского, и не только не одобрен и обракован, *но признан вредным*, и в сем духе, конечно, будет сделано распоряжение, которое, может быть, благоразумно было бы предупредить. Посмотрите там картину, изображающую русскую *избу* (izba)… Прочтите, как напечатано в русском столбце слово «монарх»… Как могли выпустить у Вас такую книжку?! Может быть (и даже вероятно, все это непредумышленно; но уже зато крайне несчастливо.

У меня был вчера наш Бобоша и сетует, что «Щеб<альский> *тоже* мне ничего и написать не хочет». Он поправился и духом и брюхом; много рассказывал о последних минутах Алексея Толстого. Умирал мучительно, — говорил: «О, как тяжело разлагаться на стихийные начала». Бобоша, описывая характер покойного (в «Пет<ербургских> вед<омостях>»), сделал легкую NB Каткову (по поводу неверности в дружбе).

Мои дела довольно скучны и довольно трудны: работы нет никакой, и деться с нею некуда. Не знаю, чту вперед буду делать: а так идти не может. Благодарю б<арона> Менгдена за добрые жела-

ния; но долгие и неустанные неудачи уже отняли у меня даже привычку на что-нибудь надеяться. Интересно, однако, было бы знать: в чем могут заключаться эти заботы обо мне, возбуждающие в Вас такие завистливые чувства? Нашли кому позавидовать! Мы, кажется, можем обойтись без зависти: ни того, ни другого судьба не побаловала. Да и это бы ничего; а хоть бы «реванжик» злодейка давала, — чтобы совсем не скопытиться. Мне бы к получаемой одной т<ысяче> еще одну — но только не литературную, а казенную или вообще служебную, и я бы, может статься, опять нашел в себе силы обратиться к своему неблагодарному, но милому «литературному разврату». В душе кипит нечто и в мыслях слагается; но обстоятельства гнетут, и руки падают: ото всего остаются одни «головки да хвостики».

Письма об *оптимизме* очень жду, и, откровенно говоря, Вы его должны мне написать, потому что я на Ваш счет «попутался»; а мы так давно прожили, считая себя друг с другом в известной мере солидарными, что хотелось бы восстановить пошатнувшееся единомыслие.

Будьте здоровы. *Н. Л.*

Что там «форейтор», — как он у Вас прыгал? Не слыхали ли Вы чего про «Анну Каренину»? Дани-

левский утверждает, что ее не будет в «Р<усском> в<естни>ке». Не врет ли?

П. К. Щебальскому

29 октября 1875 г., Петербург.

Благодарю Вас, уважаемый Петр Карлович, за Ваше письмо об оптимизме и во многом с Вами согласен: то и я чувствую, на том и я обжегся; но практически-то я все-таки не понимаю Вас. Вы человек, несомненно, либеральный, в самом хорошем смысле этого слова: но как Вы будете Ваши либеральные чувства сберегать в газете официозного характера? Не скажете ли, что Вы выговорили себе ту и ту долю свободы?.. Ах, как это все ненадежно и как самый либерализм тускнеет, когда его проводят в газете не вполне независимой! По-моему, чисто официальные издания гораздо лучше полуофициальных, или субсидиальных, и это не мне одному так кажется. Не скрою от Вас, что *хорошие* люди даже жалеют, что Вы беретесь за эту газету! С поляками считаться время, и с ними *надо* посчитаться; но — воля Ваша — и они для этого должны иметь равное с Вами право возражать Вам свободно, конечно, в пределах, дозволяемых законом, но законом общим, а не цензурными «правилами», в кото-

рых черт ногу переломит. Иначе вся Ваша правда будет принята как кривда П. И. Мельникова.

Ходнев Вам сам писал, и потому я Вам не писал; а рукописи Ваши отправлены Вам позавчера, то есть 27-го числа. От б<арона> Менгдена я получил письмо — правда, очень милое, но едва ли могущее возбудить или поддержать зависть, которою Вы так торопливо воспылали. Это пока — *ровно ничего*, и впредь, я думаю, будет то же.

Желаю Вам всего доброго и сохранения неизменного ко мне расположения.

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Не знаю, чего «форейтор» хихикает. Он сыт, конечно; но… все бы честнее было не хихикать.

П. К. Щебальскому

10 ноября 1875 г., Петербург.

Страдания страданиям рознь, как рознь и сила силе, уважаемый Петр Карлович. Я знаю, что Вы человек, к которому люди были далеко не справедливы; я знаю Вашу семью, очень уважаю Вас и, — без фраз, — много скорбел о Вас и о них; особенно в одно время, которому не дай бог помянуться. И тогда я видел силу Вашу и дивился ей, и с тех пор имею о ней высокое мнение, придающее моим отношениям к Вам особый характер почтительного удивления. Вы, кажется, не так «фантазироваты», как говорит об мне один мой приятель, недалекий, но очень добрый монах. Эта «фантазироватость» ужасное несчастие, и я терплю его, при всех своих религиозных и иных убеждениях, как мне кажется, довольно трезвых, определенных и стойких. Напомню Вам весьма удачные, по моему мнению, слова Искандера: «Я понимаю Курция: махнул в пропасть, да и поминай как звали, — это возможно; но мотаться над пропастью изо дня в день ряды лет — этого снести невозможно, потому что и голова закружится

и погибель предпочтешь истоме терзания». Где взять, Пет Карлович, «ослиного» терпения — и именно *ослиного*, я не человеческого, потому что человеческое тут никуда не годится. С чем надо бороться: с хихикающею и ничему не внемлющею тупостию и разума и чувств? Что же против них можно сделать? Вы говорите о клеветах, несенных Вами после оставления Вашей московской службы. Знаю я их; но разве Вы не знаете клевет, которые нес я и которые так и присохли ко мне и мешают мне беспрестанно? В этом случае у Вас передо мною нет преимущества. И один и другой журнал *охотно* бы взяли у меня работу (о чем и говорил Гончарову), но… «он-де так ясно определился, и все это с Катковым, и вдобавок, говорят, он близок к III-му отделению». Ведь это, пожалуй, и смешно, только когда бы тот же Катков не отшиб последней способности сложить уста в улыбку. В «Гражданине» нет работы, — там сам редактор досуж, да и издание слишком мало, чтобы дать человеку не только хлеб, но и подспорье. Притом же там мой (и Ваш) друг (уж не славянофил) Аполлон Майков, с его «этим высоким… этим христианским» уменьем не любить человека, в «Р<усском> мире» — меня не зовут; в «Пет<ербургских> вед<омостях>»

тоже, хотя и там и тут сидят люди, которым я в свое время из кожи лез пособить в заработке (Усов, Милюков, Крестовский и Заинька Берг). Что же мне: идти просить и почти несомненно получить отказ? Неужто Вы посоветовали бы это? Аксаков просил за меня Кокорева — не вышло ничего, несмотря на то, что Аксаков лбом бил, а не только попросил. Черкасский тоже просил, и тоже ничего не вышло. Комитетского мало жалованья — сами знаете: на кота широко, а на собаку узко. Притом же «странноприимный» Георгиевский ко мне так странно приимен, что я, право, даже и ума не приложу, как с этим быть. Благочестивый вельможа этот забывает, что такой или сякой мой талантишко открывал мне двери, куда действительных статских советников не всех пускают, и что я приучен уже к некоторой деликатности и вниманию. Я чувствовал бы большое счастие не видать его, потому что я человек вспыльчивый и масса неудач сделали меня раздражительным; а он человек все-таки очень добрый и мне одолжения делал. Вот Вам моя ситуация, как я скажу. Добавить разве к этому сторонние и иные, так как «враги человеку домашние его», — и они не столь в этом виноваты: что им за дело до моих убеждений,

до несчастных стечений обстоятельств, и проч., и проч. И они «друзья минутного, поклонники успеха», а от всего этого… хоть в воду! Однако Вы поняли не так мое письмо, и я думал, что это выйдет; да, собираясь переписать его, вдруг заболел еще хуже, и оно было отправлено. Жизнью своею я самовольно не думаю распоряжаться и боюсь этой мысли, и гоню ее, и осуждаю себя за ее противные посещения. Религия моя со мною, и Христос, с его страданием и терпением, есть моя сила, в одно и то же время меня поддерживающая и пристыжающая. Я признаю спасительную силу незаслуженных страданий как воспитательную школу для духа, в бессмертии которого ни на волос не сомневаюсь. Принимаю бессмертие не стихийное, а субъективное и не смущаюсь тем, что не могу понять его; но смущаюсь не по страху рассуждения, а потому, что это дело не мое и вообще не человеческое: понять это — значит понять бога, а его дано только чувствовать, но не комментировать, ни с какой, ни с лютеранской, ни с поповской точки зрения. Scio quod Rodemptos mens vivit,[21] и надо терпеть, но… измучился, хотя и стыжусь ему это говорить; но ведь то он,

[21] Примечания: 21
Знаю, что ум Искупителя живет *(лат.)*.

а то я… тля ничтожная! Однако все-таки я Вам писал не то, что Вы поняли; а я *болен* припадками, никогда со мной не бывавшими: я *стыну* и обливаюсь *холодным* потом и несколько раз в день *теряю сознание*, при неотвязной мысли — что у меня *нет работы*. Я это вижу во сне; с этим пробуждаюсь, с этим хожу и брожу, наводя на всех постылое чувство при виде беспомощной неудачи. Милый московский Воскобойников прекрасно говорил, что «это во мне самое противное», — и я думаю, что это правда. За утешения Вас благодарю: надежда так животворна, хотя и знаешь, что она *лжет* своим лепетом; а все… отряхнешься будто. В помощь чью-нибудь я уже решительно не верю и не жду ее; но попытайтесь. Поговорите и с Бергом и хоть с конюхом, если есть конюх, который может дать 2 000 р. своему помещику: я к нему пойду, и притом не только в Варшаву, а куда угодно. Исключение составляет одна «голубая» служба, к которой меня причислил Пав. Ив. Мельников, — остальное все что угодно: хоть горшки выносить, лишь бы было чем детей кормить и хоть дух перевести до новой трепки. Пожалуйста, пишите мне почаще.

Книга Ваша сегодня еще не получена.

Преданный Вам

Н. Лесков.

И. С. Аксакову

16 декабря 1875 г., Петербург.

Ах, благороднейший Иван Сергеевич: о чем бы и речь, если бы был какой-нибудь спрос на то, что Вашей снисходительности угодно величать моим «талантом»! Но в том весь и корень всех нынешних затруднений моих, что я, 12 кряду лет, почитал мои литературные способности не только «главным», но даже единственным, за что надо держаться. Этим, может быть, должно объяснить и многие опрометчивости, сделанные мною под теми или другими живыми впечатлениями, без оглядки на стороны; этим же я думаю себе объяснить и мою долгую, долгую веру в Каткова как в литератора. Я чувствовал, что мне, *для меня лично*, ничего не нужно, кроме сходного по мысли издания, и не видал, как в этом издании чисто литературные интересы умалялись, уничтожались и приспособлялись на послуги интересам, не имеющими ничего общего ни с какою литературою. По прямоте моего неловкого характера я остался при органе человека, которому заботы комиссии наряжать,

жидов декорировать и все, что хотите, но только не литературою заниматься. Я думаю, что другого такого презрителя, как он, литература не имеет во всей России, и очень хорошо, что в этой литературе есть действительно немало достойного презрения, — иначе он презирал бы ее еще больше. Ему, как капризной приказничихе, гораздо легче обходиться с мужем, который имеет всеми заметные пороки: она с ним сварится, но и живет этим — живет, ибо может показывать и некоторое свое превосходство; но беда, если ее свесть с мужем достойным, у которого нет таких пороков, на кои можно пальцем тыкать: она с ума сойдет. Они знали, что делали, внушая мысль «понизить тон в литературе». Что же делать нынче с этим воителем?.. Кажется, самое лучшее: ничего с ним не делать. Так я и поступаю, утешаясь, что не я один немотствую; что эту участь я разделяю с людьми высокочестными и высокоумными (в наилучшем смысле последнего слова), — и я бы более всего хотел так выдержать, хоть не на белом хлебе и даже не на ситном, а на решетном; но когда и того негде заработать!!. Вы не поверите, как в одно и то же время мне и смешно и противно не только говорить об этом, но даже знать, что это так есть! Указанный Вами мне Кокорев (за

знакомство с которым я Вам очень благодарен) казался мне именно таким лицом, которое нужно. Тех же мнений был Александр Николаевич Аксаков, Щербатов и другие, кому известно мое положение и от которых я не делал из этого секрета. Кокорев в каждую данную минуту мог мне сделать все, что мне нужно, ибо требования мои, кажется, очень скромные: я хотел бы иметь занятия с вознаграждением тысячи в полторы в год. И Кокореву и Губонину я этих денег стою, даже при нынешних их делах, до решения вопроса о направлении Сибирской дороги. Если бы К<окорев> *хотел*, — он, конечно, сто раз мог бы это уладить; но… ему, видно, «хотей не велела». Вправду говорят: отношения наши с ними, с самого первого дня знакомства, до сей минуты *самые наилучшие и приятные*. Мне даже кажется, что он ко мне не без некоторого уважения; но и только… Проект Скальковского я ему разобрал и размерил, за чем прошел месяц; он мне за это недавно прислал 300 р<ублей>, и опять конец… Просил меня сказать на суде, что знаю в его оправдание по кляузам Овсяникова, — я, по долгу совести, сказал то, что знал: виделись мы любезно; расстались любезно; говорили всегда шутя и никогда обо мне, — вот Вам и весь отчет о характере моих к нему отно-

шений — совершенно чистых, приятных, но, к сожалению, нимало не полезных в той мере, в какой они могли быть полезны.

В чем тут дело? По-моему, во-первых, в духе времени: Кокорев человек не без шири и не без великодушия даже, но он *мудрец практический*. Вас он чтит высоко, но как мудреца в области созерцательной, а не практической, которая ныне «едина есть на потребу». За рекомендации Вами меня он на Вас, конечно, не сердится; но ему, вероятно, неловко видеть меня между шустрыми ребятами, гожими на все руки, и он, пожалуй, думает: «Сам этот И<ван> С<ергеевич> не практик, и человека такого поддерживает… Парень бы ничего, если бы теперь литературою интересовались; а то что вступись за него, что нет, — никто не похвалит. А притом „катковский“… Этого никто не любит». Эти и сами подобные соображения делают то, что дело без гадости гадко. Я не раз думал просить его поговорить с Губониным, но, право, язык не поворачивается; а теперь и совсем нельзя его поворотить: точно будто стану просить услуги *в вознаграждение* за мой свидетельский труд… Бог знает, не придет ли ему это в голову? А мне это так кажется. Меж тем опять повторяю: Кокореву ничего не стоит примкнуть

меня к делу, при содействии Губонина, который тоже меня знает и *как писателя* — любит, то есть хвалит. Но как сделать, чтобы Кокорев ревниво захотел помочь мне? Ему *лично* я едва ли могу быть полезным, хотя, разумеется, порученное мне дело всегда бы справил не хуже многих; а поддержать меня для литературы, — он, кажется, не в том духе теперь. Кто о ней заботится, кроме чудаков? Губонин же благонадежнее, если бы знать, через кого за него взяться. Дел у него теперь тоже немного, но он не останавливается этим и (между нами говоря) дает, например, 6 т<ысяч> р<ублей> общему нашему знакомому кн. Ал<ександру> Щ<ербато>ву за то, чтобы «в оперу ездил слушать, *что говорят*». Конечно, я для этого труда не гожусь; но есть ведь и другие труды, более черные и оплачиваемые подешевле. Нельзя ли его на это вдохновить и подвигнуть? Нет ли у Вас в Москве человека, которого мнением и словом он дорожил бы? Пособите пожалуйста! С Кокоревым же мне *теперь*, право, неловко самому заговорить, если не будет к тому побудительной причины откуда-нибудь со стороны. Генерал Шмилик Поляков пропитывал и Полонского и графа Скоробрешко, — неужто же русские люди и этого не сделают? Нет, я, право, все-таки уповаю

на Кокорева, что он тот «серый волк», который меня, «Ивана-дурачка», вызволит.

Еще о литературе: Вольф предлагает мне написать роман, «превзойдя Мещерского», который, взойдя в славу, «стал дорожиться». Как превзойти Мещерского, у которого хлеб на корню покупают? — Не могу.

Вис<арион> Комаров был у меня на сих днях, предлагал мне написать роман для фельетонов Черняева: *«чтобы, было совсем не художественно, а как можно базарнее и с похабщиной»*. Никак не мог и на это согласиться. Ком<аров> предлагал, что он мне «сочинит сценарию», а я чтобы только «исполнил»… Ну ведь вот Вам, чту теперь называется «литература» (litera dura). Да и помимо всего этого: я писать не могу, пока не вздохну и не поставлю себя в состояние, в котором можно наблюдать, обсуждать и резюмировать в живых образах это мертвое время. Я так напуган тем, подо что подпал, что не могу более надеяться на одну литературу и должен опереться на что-либо другое, чтобы служить слову. С Катковым мои отношения в глупой *заминке*: ему нет стати ко мне обращаться; а я тоже не могу этого сделать. И притом он уж таков, что не беспокоить его — самое приятное. Скоробрешко говорит, что

будто он «слышать обо мне не может за приостановку романа», но это, я думаю, вздор, навеянный на болтливого графа неудачами «Царственного блузника». А просто мы в таких друг к другу отношениях, что с ними нечего делать.

Душевно преданный Вам

Н. Лесков.

А. С. Суворину

24 декабря 1875 г., Петербург.

Очень благодарен Вам, любезный Алексей Сергеевич, за календарь и еще более того за привет, оказываемый Вами и Вашей дочерью моей Вере. Эго поистине очень хорошее дело, приносящее честь Вашему сердцу и сердцу Александры Сергеевны, а меня обязывающее глубокою Вам признательностью. Эти дети — ровесницы по возрасту, ровесницы по житейским невзгодам, которые они встретили рано, что и должно, мне кажется, быть для них хорошим уроком. Я очень рад, что они сознакомились, и еще раз благодарю Вас за добрый привет, оказанный в Вашем доме моей дочери.

Фельетоны Ваши хороши по-прежнему, силы Ваши, по-видимому, все в сборе: мысль о «досках», что купил гробовщик, мне очень понравилась, она напомнила мне одну превосходную речь пастора Стерна (автора Тристрама). К этому размышлению всегда полезно склонять внимание людей, особенно в эпохи, подобные той, какую мы переживаем, — эпоху пошлой скуки, умаля-

ющей цену жизни и делающей людей «к добру и к злу постыдно равнодушных». Одно скажу: замечаю в Вас уменьшение *чуткости* в выборе предмета, чем Вы отличались и чем приобрели себе любовь публики. Что такое М. П. Погодин для общества *в эту минуту*? А Вы его изъясняли очень пространно. Все, писанное об Овсяникове, было очень живо и умно, равно как и о полиции и об адвокатах… Разве мало неправд, вопиющих гораздо громче, чем преувеличение значения личного характера кого-либо из старых людей, «в пределах земли совершивших земное».

До свиданья; желаю Вам всего доброго и, с благодарностью за дочь, жму Вашу руку и руку Вашей дочери.

Н. Лесков.

Письма 1876 года

П. К. Щебальскому

4 января 1876 г., Петербург.

Я замедлил ответом на Ваше последнее письмо, уважаемый Петр Карлович, потому что хотел сообщить Вам ответ превосходнейшего молодого человека, которого хотел завербовать Вам в учители. Ответ этого молодого моего приятеля (человека лет 24–25) таков: он не желает сделать ц<арство> Польское долгим для себя поприщем; но на 1–2 года, в виду нынешнего бездорожья для скромных людей, готов и там поработать. Он очень *сведущ в литературе*; много *начитан*; разумен; честен до болезненности; добр бесконечно — до самозабвения; происхождения не громкого, но хорошего (сын одного губернатора); не хорош собою, но добровзгляден, чудаковат, но весьма симпатичен; весьма религиозен в хорошем значении этого слова; *классик и кандидат* Петербургского университета, но… юридического факультета… Это «ошибка молодости»: он избрал факультет, специальность которого всего менее отвечает его спокойной, доброй, чисто педагогической натуре. Тем не менее он все-таки будет

членом суда; а пока не прочь побыть и учителем, если его юридический факультет не будет признан к тому препятствием. Ответьте на это мне, не стесняясь, прямо. По министерству есть примеры, что юристы зачислялись учителями, особенно русской словесности; но не знаю, не было ли это мерою временною? *За человека же этого ручаюсь во всех отношениях* в самой высшей мере.

О себе не могу сказать ничего утешительного: напротив — вокруг меня все пустеет, и я совсем всеми позабыт. Новый год начался для меня в полной безнадежности, и слово «терпение» даже потеряло для меня всякий смысл. Нигде и ничего не вижу, и нет уже лица, к которому бы я не пытался обратиться, и все это напрасно и напрасно. Не знаю уже, что это за доля такая, — поистине какая-то роковая и неодолимая. И люди, горячо бравшиеся помогать мне, все поостыли: либо их горячность остудилась в столкновении с холодом других, либо… просто опротивело возиться с таким незадачным человеком. Я по опыту знаю, что это противно и Вам, сам не знаю, для чего об этом пишу. Поклон всем Вашим.

Преданный Вам

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

15 января 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Только призадумался о Вас в сумерки, как подали Ваше письмо от 10-го января. Поздравлять, конечно, не с чем, да и я вычитал в «Оракуле», что этого даже не следует делать. Впрочем, я Вас, кажется, поздравлял и пожелал Вам чего-то хорошего; да как из моих желаний почти ни одно никогда не сбывается, так я даже считаю грубым невежеством их иметь и высказывать по отношению к добрым людям, которые уже вволю настрадались и по справедливости (человеческой, конечно) достойны хоть некоторой передышки. Что делать? — а существование наше все-таки не случайность, а школа, воспитательный период, никак не более, и затем состояние, «какого не видел глаз и не слышало ухо». Иначе это уже «ад», — это царство глупого случая и злых прихотей языческого рока: тогда что же надо еще хуже этого для существа, одаренного разумом и ощущениями свойств возвышенных? Но это, конечно, не то, — это не ад, потому что в

нас еще живо стремление к высшему идеалу, — в аду, то есть в состоянии полного, неисправимого падения, конечно и этого не будет. Мне кажется, что мы черти, но еще недостаточно злые и благонадежные к некоторому исправлению, окончательным результатом которого будет что-то лучшее. Притом тут и слово Христа и догадки мудрецов древности — все это утешает, что ошибки не будет, и вдруг, таким образом, чувствуешь себя по крайней мере в очень хорошей компании. Однако за сим все-таки нельзя не попищать от впечатлений сегодняшнего дня: тяжело, и до жуткости тяжело, дорогой мой Петр Карлович! Даже, скажу Вам, бывает так тяжело, что не только охотно заснул бы на весь срок моего земного пребывания, но если бы «ради сожаления к людям сократились дни сии», то и спокойно бы лег и вытянулся. Гнетет, знаете, без отдыха и без передышки. Когда бы было что чавкать, так оно бы ничего: не страдая ни славолюбием, ни честолюбием и глядя на жизнь земную как на «переход», наблюдал бы, до чего переход этот особенно труден в России, где ничего не сделать честным трудом и где ни в чем нет последовательности, кроме преследования человека, если не острым терзательством, то тупым измором.

Два года, что я уже служу, и служу ревностно — работаю усердно и, по общему замечанию, видно и хорошо, было много случаев меня хоть прикормить, хоть передвинуть с одной тысячи рублей на две, и всякий раз отыскивали для этого «свежего человека» *с улицы*, а мои труды мне как будто даже мешали. Где тут взять бодрость и энергии? В литературе за мной признают силу и с каким-то сладострастием ее убивают, если уж не убили. Я не пишу ничего — не могу! Я не обижаюсь, как барышня среднего круга, которой не замечают в круге высшем; а во мне пропала вера в себя самого и во все, что я могу делать. Если мне еще суждено быть литератором, то это, конечно, не прежде, как я опомнюсь от долгих и тяжких неудач моих. Повторяю Вам мой вывод: чтобы быть порядочным писателем в России, надо быть вне зависимости от редакторского произвола. Служба в этом случае нашему брату, бедному человеку, пока единственное спасение, и мне нужна служба, которая давала бы хотя 2 т<ысячи> в год, дабы я мог существовать, тогда, может быть, стал бы и писать. Теперь же я способен только грызть себя, чем и занимаюсь со всеусердием, не только наяву, но даже и во сне. Я и внешне постарел, пожелтел и опустился, и упал духом,

как только можно. Никого не упрекаю, но и ни на кого более не надеюсь: верю в одно, что тот, кто призвал меня к бытию, разместил и этот путь мне, делали сей жизни едва ли заслуженный, — по крайней мере по «сравнению с сверстниками», которым идет не худо. Талантливый Усов получает 7 т<ысяч>; даровитый Милюков 4 т<ысячи>; честный Маркевич 5 т<ысяч> у Баймакова, и газета все падает, и читать в ней нечего, а у меня работы нет… Что же делать? Вы говорите о «бароне», — барон всегда был пустельга; но и вдохновители его, мои славянофилы, умолкли… Не виню их: хорошо тому помогать, с кем это ладится; но со мною не мудрено, что у всякого отпадает охота. Все ведь хорошо в меру: а это что-то алчное и бесконечное; чтобы возиться с таким незадачником, надо лезть напролом, а не пускать письма только для очищения совести. Надо мной совершено множество ничем мною не заслуженных неправд, и в скромности, с которою я снес и сношу их, лежит корень большого для меня зла: всем кажется, что так и нужно: «люди так, и я так же». Вот что худо! Кора эта все наслоняется и толстеет; а у меня, как у немощной рыбы, уж нет сил пробить и не вздохнуть, чтобы ударить хвостом и перья расправить. Вот где и в чем беда моя! Я

не удивляюсь, когда меня считает дурным человеком Островский, когда считает меня чуждым себе Некрасов или Салтыков (хотя никто, как эти два, не выражаются обо мне с похвалою), — но им я досадил; не сержусь на Феоктистова, ничтожество души которого я имел неосторожность изобразить. Я бы не был так мстителен, как он; но все-таки у него есть причины не любить меня и лгать и клеветать на меня. Это дело его сердца и его совести; но причина у него есть. Но Катков, но Георгиевский и tutti frutti[22] — им что я сделал? Но все те, которые нынче будто бы стоят за принципы, которым я прежде всех их и самоотверженнее всех их послужил: как в их планы входит изморить меня? При определении меня членом Комитета мне было обещано Деляновым 500 р. прибавки за то, что место чин<овника> особ<ых> пор<учений>, обещанное мне графом, по радению Георгиевского было передано Авсеенке, жена которого умеет вести дела своего мужа. Я и тем был доволен; но для этого стоило Георгиевскому установить эту прибавку, что не стоило ни малейшего труда. Вместо того в прошлом году я ее выпросил *уже как пособие*, а в нынешнем году

[22] Примечания: 22
Все прочие *(итал.)*.

мне совестно показалось просить, и мне ничего не дали; а дали по Комитету тому, что получает 2 800 р. и сравнительно ничего не делает. Между тем я почти завален казенною работою, и часто довольно трудною, и мои доклады, без самолюбия говоря, часто обращают на себя внимание, особенно в богословно-историческом роде, в котором едва ли не я один что-нибудь и смыслю. Но и тут чту выходит? — недавно граф, по светским своим связям, пообещал дамам всякую поддержку их вздорному изданию, и издание это, конечно, попало *мне*, а не другому… Я должен был его браковать, разумеется снискивая себе тем не особенные симпатии. Так идет у меня все. Но я с этим делом справился, и длинный доклад мой прошел среди внимательного молчания и общего одобрения. Комитет *единогласно* отверг издание дам, и Георгиевский по окончании заседания отнесся ко мне с сочувствием и вниманием к моему видимому нездоровью и расстройству… Однако всучил мне эту щетинку, а не другому. О, как тяжелы все эти мелочи, когда крупного нет ничего, кроме досад, уничижения и горя! Но стыдно и грешно жаловаться! Будем верить, что когда и «священник отвернувшись пройдет и левит мимо идет», то за ними еще может идти

самарянин, и тот будет добрее. Думаю теперь о Георгиевском (надо ли пробовать), он ко мне, видимо, стал участливее. Не воспользоваться ли этим: не попробовать ли обратить его в орудие к моему спасению? Он мог бы поговорить и с Брадке, а еще лучше с директором канцелярии по синоду, где я мог бы весьма пригодиться. Мог бы даже, ничем не рискуя, сказать при случае и графу, который два года т<ому> назад определял меня не с тем, чтобы всегда оставить на этом старческом месте. Но я решительно плохой за себя ходок; в меру слабых сил моих я умею выпросить кое-что другим и никогда себе самому. Не найдете ли Вы возможным от *себя* написать Георгиевскому о моем положении? Было бы достаточным поводом удивиться, что я бьюсь на 2 т<ысячи> в Варшаву, как будто не стою их в П<етер>бурге? Он, конечно, знает наши добрые отношения и не удивится, если Вы трогаетесь моим состоянием, которое даже и он изчужа замечает. Я думаю, что Вы на этом ничего бы не потеряли, а мне, может быть, дали бы некоторый шанс… Но если вздумаете «тронуться жертвою судеб», то, пожалуйста, не дайте Михаилу Никифоровичу превзойти Вас в горячности ко мне, он некогда написал им через меня открытое письмо столь укоризненно

сильное, что оно их проняло; а Вы хотя не укоряйте; но скажите же им тепло и от души, что ведь мне только сдохнуть остается за верную службу будто бы чтимых ими интересов. Попытайте еще это для меня сделать, и чем скорее, тем лучше. Протейкинскому я прочел Ваше письмо, и он, вероятно, будет писать Вам. По-моему Вы ему задачу задали, точно он не в учители, а в министры назначается. Какие же он будет выражать общие взгляды на образование? Мне это что-то мудрено кажется; а впрочем, пусть выразится. О делах Ваших, разумеется, порадею и не позабуду сфискалить Вам, когда будет о чем. О Мирре Александровне очень горько скорблю, и всего более сожалею, что она в разлуке с Вами. Много она, бедная, тоже изведала зла человеческого, и я ее никогда так не любил и не уважал, как в приснопамятный вечер залога билетов Леонтьеву. Молю бога ее хранить и для Вас и особенно для дочерей. Поклонитесь ей от меня: она знает, что я ее люблю и уважаю. Затем: мужайтесь и что можете сделайте мне.

Н. Л.

П. К. Щебальскому

18 января 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Вчера кн. Оболенский сказал мне, что в госуд<арственном> совете утвержден проект назначения школьных инспекторов для Кавказского края. Каждая из этих должностей дает вдвое более, чем Комитет, и при этом жаловании уже нельзя сдохнуть с голода. Если Вы согреетесь сочувствием к моему ужасному и незаслуженно постыдному положению и напишете Георгиевскому, то, пожалуйста, укажите на эти места. Конечно, было бы благодеянием дать мне такое место здесь, в Петербурге, чтобы я мог не терять и Комитета, но если этого нельзя, то я пойду всюду. Что делать? Не спросите ли: почему я об этом не говорю? Почему? — потому, что мне уже срама не имут отказывать, и я не могу ничего сказать без проклятого предубеждения, что из этого ни чего не выйдет. Я как столб, на который уже и люди и собаки мочатся.

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

24 января 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Я получил от Веры Петровны письмецо, на которое отвечаю Вам. Не знаю хорошо ли писать Марье Ал<ександров>не; а не ее мужу? — по-моему, все нехорошо; но все надо пробовать. Поступите как сочтете за лучшее; но не ошибитесь и не принизьте меня напрасно. Я не стыжусь искать труда; но *напрасных* унижений все-таки боюсь и избегаю. О порядках кавказских я положительно ничего не знаю, да и узнать не могу; но это не важно: нет нужды указывать именно на это — есть и многое другое, например синод, где я мог бы быть с пользою употреблен при различных делах. Г<еориевско>му, может быть, стоило бы только заговорить обо мне с гр. Т<олсты>м и, так сказать, «извлечь меня из моря забвения»; а потому я думаю, что точность указаний в письме Вашем отнюдь не необходима; а общность ему даже более бы пошла. За что же я один гибну измором? Марья Ал<ександровна> ко мне тоже (кажется) довольно расположена; но я не знаю:

не лучше ли писать прямо ему, или, может быть, совсем никому не писать. На сих днях я еще сделал две отчаянных попытки добыть работу и убедился, что мой «катковизм» мне загородил все двери. Более я уже и пытаться не стану. Будь — что будет!

Комаров (38 лет) женился на дочери Григорья Данилевского (16 лет) — она еще не кончила курса гимназии и будет его оканчивать. Мне нравится эта оригинальность. Рекомендую Вашему вниманию начало статьи Щедрина «Культурные люди».

Ваш Лесков.

П. К. Щебальскому

18 февраля 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

О «Дневнике» Вы, конечно, уже всё знаете: я заключаю это потому, что Менгден давно уехал и, вероятно, все сообщил Вам. О сочинении же Вашем узнал только сегодня, оно будет доложено *на 3-й неделе поста* в комиссии, состоящей из Савваитова, Замысловского, Авсеенки и Бестужева (последний председательствует и от него, как я Вам не раз уже писал, будет многое зависеть). Он и Савваитов, по всем видимостям, на Вашей стороне; о Замысловском не знаю; а об Авс<еенко> имею обычаем никогда ничего не узнавать. Этот человек добра не любит и просить его напрасно, — он гадит с сладострастием, так что вместо пользы можно наделать сугубый вред. Употребляйте возможное давление на Бестужева, — это, по моему мнению, — самое верное и надежное. В моих делах, разумеется, все по-старому: ни «тпру» не едет, ни «но» не везет. На днях Тертий Ив<анович> нападал на Георгиевского за полное обо мне забвение; но, кажется, все это

втуне. Отговорок, разумеется, всегда может быть столько, сколько захочется найти их. В России все возможно, если хотят, и ничто невозможно, если не хотят; это мне еще двадцать лет тому назад один старый жид в Киеве открыл, и я это до сих пор постоянно наблюдаю. Хотят же теперь только то, в чем видят выгоду, или необходимость; а в моих делах ни для кого нет ни того, ни другого.

Бедный Виссарион Комаров женился по рассеянности на дочери Данилевского, вместо дочери Каткова, и получил вместо 25 тысяч рублей нейзильберные ложечки работы Александра Кача. Сконфужен ужасно и имеет ныне один ус книзу, а один кверху, а очи червонные, яко у рыбы, глаголемой «окунь».

Поклон мой Вам, Мирре Александровне и барышням. Простите, если чем согрешил, а наипаче надокучил своею пискотнёю: буду говеть и потому каюсь. А не пищать нельзя: во-первых, будто легче, как попищишь; а во-вторых, как пророк Ваалов, хоть и знаешь деревянное сердце своего бога, а все думаешь: авось на диво, возьмет да и услышит! Пусть хоть Мирра Александровна за меня покучится отвращающемуся от просьб моих богу отцов наших; а я за нее покланяюсь, и тако исполним завет Христов.

Новостей хороших только, что на днях двое удавились на одной веревке друг против друга. Если Вы лавливали рыбу, то должны знать, что это выражает так называемую «бешенку». Скука делается просто одуряющею.

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

24 марта 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Я получил Ваше письмо, в котором Вы радуетесь, что в отечестве Вашем много людей более Вас достойных; но за то и Вы, конечно, получили мою сонную цидулку, из которой могли видеть, сколько и сия Ваша радость несовершенна. Ваша рукопись была *всех лучше* (из пяти), но Б<есту>жев наловил в ней так много *фактических* ошибок, что надо было признать необходимость их исправления. Были, правда, ошибки, которые, может быть, надо бы считать просто за описки, — например Дмит<рий> Донской, отправляясь на Куликово поле, у Вас берет благословение у м. Алексея, а не у св. Сергия и т. п. Однако доклад был таков, что Комитет оказал Вам много доброжелательства, не согласясь с представлением рецензента об отвержении рукописи, а постановил, что ее желательно бы видеть исправленною по замечаниям. Иного ничего Комитет не мог и сделать. Теперь о возвращении рукописи: я вчера просил об этом Савваитова, но он отклонил это от

себя, — говоря, что не может без Г<еоргиев>ского, которого я всячески избегаю о чем бы то ни было просить; но для Вас пересилил себя и попросил и очень усердно и тем дело совсем прихлопнул: он проголосил, что «как же-с это-с можно-с? Это ведь не порядок… и гр<аф> может-с сам пожелать увидеть-с сочинение-с» и т. п. Результат тот, что «нельзя» и ничего нельзя, — ни возвратить, ни домой взять и заказать писарю списать копию, потому что «граф-с может-с спросить-с». Словом, я отошел с носом и, сказав себе «дурака», решился еще крепче не беспокоить сего сановника ничем, *даже и для Вас*. Чудовищная и противнейшая подозрительность этого человека растет не по дням, а по часам и говорить с ним, поистине, сущее наказание. Они теперь ожесточенно катковствуют: завели особую домашнюю цензуру над всею прессою; назначили к сему Авсеенку и во всем видят подкопы, а посему все строчат жалобы и добиваются предостережений, направо и налево. Теперь идет дело о «Нов<ом> вр<емени>» Суворина, который напечатал корреспонденцию из Новгорода о неудовлетворительных порядках тамошней гимназии. Повод дать предостережение был так недостаточен, что вся тройка с ног сбилась, бегая по сему делу ко «Вн. Дел.», где не хотели давать

этому делу хода, — кажется более потому, что они уже очень надоели. Однако они добились, и предостережение завтра будет. До Вас ли тут и вообще до кого бы то ни было, кроме их самих? Поэтому прошу на меня не сетовать, что я Вам ничего доброго сделать не могу. Повидавшись после заседания с Савваитовым, я мог добиться от *него* в Вашу пользу только того, что рукопись можно будет выдать мне, как только граф подпишет журнал; но для этого Вы должны прислать мне записку в том, что-де рукопись под девизом таким-то прошу выдать такому-то, и подписать это опять *не именем, а девизом же*. Пришлите такую записку поскорее, но скорого исполнения сей Вашей просьбы не ждите: может быть, возможность удовлетворить ее явится и скоро; а может быть, и не скоро, например в мае месяце: «стяжите душу вашу в терпении» или ищите иных путей. Впрочем, я думаю, ничто не поможет: у нас с Вами на удачи не ходко, и добрых людей, готовых всучить в крестный снурок свиную щетинку, на всяком месте довольно. Не усилить бы без пользы толков, что «этот Щ<ебальский> любит докучать». По моему, лучше не докучайте: зачем? — ведь они, слава богу, сыты… О, дорогой Петр Карлович, когда бы Вы знали: как тяжело

жить в этой задухе, которой и конца не видно! И *мы же сами*, может быть, все это взгромоздили и подпираем… Эта мука с платком во рту убила во мне всю силу, и всякие надежды представляются мне уже какой-то непозволительною пошлостью. Зачем они? — нет им места.

Прощайте, поклонитесь Мирре Александровне и барышням.

Ваш *Н. Л.*

Барона «сладкопевца» я более не видал: это гораздо спокойнее.

Я. П. Полонскому

18 апреля 1876 г., Петербург.

Уважаемый Яков Петрович!

Посылаю к Вам юношу, имеющего страсть к поэзии и некоторые дарования, впрочем уже подпорченные гражданским направлением. Он ищет совета и указаний, — не откажите ему выслушать его и сказать ему доброе слово трезвой правды.

Душевно Преданный Вам и Вас искренно любящий

Николай Лесков.

Письма 1877 года

Ф. М. Достоевскому

***Ночь* на 7 марта 1877 г.,**
Петербург.

Сказанное по поводу «негодяя Стивы» и «чистого сердцем Левина» так хорошо, — чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет. Дух Ваш прекрасен, — иначе он не разобрал бы этого *так*. Это анализ *умной души*, а не головы.

Всегда Вас почитающий

Н. Лесков.

Ф. И. Буслаеву

1 июня 1877 г., Петербург.

Достоуважаемый Федор Иванович!

Внимание, Вами мне оказываемое, меня не только трогает, но даже и приводит в смущение. При всех моих человеческих недостатках я так счастлив, что не совсем утратил русское чувство скромности: я знаю свое малое значение в литературе, свои малые средства и малое искусство нравиться моим собратам по искусству. Вы человек большой, сведущность Ваша общепризнана,

заслуги Ваши родной литературе выше всяких пререканий. Вам ли у меня спрашивать мнения, и мне ли иметь наглость подавать его Вам? Но я не только уважаю Вас, но и люблю как человека и, в силу этого последнего чувства, решаюсь сказать Вам, чту думаю о затронутом Вами интереснейшем литературном вопросе.

За Вашу брошюру, переданную мне Ал. Дм. Галаховым, я только могу Вас благодарить и поучаться; но боюсь по поводу ее что-нибудь заметить. Вопрос об «утилитарном» значении романа и вообще художественных произведений, мне кажется, до сих пор не выяснен и не выяснен

именно потому, что он недавно неудачно поставлен и с тех пор, при каждой новой разработке, всегда роковым образом попадает под тот же угол зрения. Я думаю, что *роман* (то есть собственно один *роман*, — одна эта повествовательная форма) должен иметь то значение, какое Вы ему намечаете, и это, может быть, должно составлять характерную черту отличия романа от новеллы, повести, очерка и рассказа. В этом давно надо было бы произвести обстоятельный разбор, так как в наше время — критического бессмыслия в понятиях самих писателей о форме их произведений, воцарился невообразимый хаос. «Хочу, назову романом, хочу, назову повестью — так и будет». И они думают, что это так и есть, как они назвали. Между тем, конечно, это не так, и вот это-то, по-моему, стоило внимания такого знатока, как Вы. Писатель, который понял бы настоящим образом разницу романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в сих трех последних формах он может быть *только* рисовальщиком, с известным запасом вкуса, умения и знаний; а, затевая ткань романа, он должен быть еще и мыслитель, должен показать живые создания своей фантазии в отношении их к данному времени, среде и состоянию науки,

искусства и весьма часто политики. Другими словами, если я не совсем бестолково говорю, у романа, то есть произведения, написанного настоящим образом, по настоящим понятиям о произведении этого рода, не может быть отнято некоторое, — не скажу «поучительное», а толковое, разъясняющее смысл значение. У нас же думают, что для этого нужна та мерзость, которая называется «направлением», или «тенденциею». Этого укора не избежали и Вы, со своею брошюрою, которая иными в Петербурге понята так, что Вы хотите того, чего Вы, разумеется, не можете хотеть, — то есть тенденциозности, писания трактатов в лицах. Я Вас понимаю и, кажется, Алексей Дмитриевич тоже; но, я думаю, что все-таки Вам надо разъяснить свою мысль, а в этом Вам много пригодилось бы разъяснение того, что мы должны разуметь под романом, в отличие от повести, рассказа, очерка и проч.?

Роману нет нужды насильственно придавать *служебного* значения, но оно должно быть в нем как органическое качество его сущности. Если же нет этого в романе, то значит он не берет всего того, что должен взять роман, и не имеет основания называться романом. Тут, конечно, есть исключения, которые сами собою очевидны

(например, романы чисто любовные, каковых, впрочем, теперь немного и скоро будет еще менее). Но и в повести, и даже в рассказе должна быть своя служебная роль — например показать в порочном сердце тот уголок, где еще уцелело что-нибудь святое и чистое. Эта задача сколь приятная, столь же и полезная, и я ее достигал порой, вовсе не имея к этому никакой теории, а тем менее «тенденции». Мне нравилось мнение китайского «царя мудрости» Кунцзы, что «в каждом сердце еще есть добро — стоит только, чтобы люди увидали на пожаре ребенка в пламени, и все пожелают, чтобы он был спасен». Я это понял и исповедую и благодаря этому действительно находил теплые углы в холодных сердцах и освещал их. Вот *служебность* рассказа, но не тенденция. Мне кажется, надо бы перебрать это и пояснить примерами, потому что тут мы стали на всякие теоретические разговоры и нам надо «млеко», а не брашно. О самом приеме, или манере постройки романа, я с Вами еще более согласен и не далее как в прошлом году говорил об этом с Иваном Сергеевичем Аксаковым, который хвалил меня за хронику «Захудалый род», но говорил, что я напрасно избрал не общероманический прием, а писал мемуаром, от имени вымышленного

лица. Ив<ан> Серг<еевич> указывал мне даже места, где из-за вымышленного лица, от коего веден мемуар, проглядывала моя физиономия; но и он не замечал этого в дневнике Туберозова (в «Соборянах»). Однако, по вине моей излишней впечатлительности, это имело на меня такое действие, что я оставил совсем тогда созревшую у меня мысль написать «Записки человека без направления». Я не совсем убедился доводами Ивана Сергеевича, но как-то «расстроился мыслями» от расширившегося взгляда на мемуарную форму вымышленного художественного произведения. По правде же говоря, форма эта мне кажется очень удобною: она живее, или, лучше сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка, или то, что люди простые называют: «случается точно, как в романе». Но, мне кажется, не только общего правила, но и преимущества одной манеры перед другою указать невозможно, так как тут многое зависит от субъективности автора. Вопрос этот очень интересен, но я боюсь, не пришлось бы его в конце концов свести к старому решению, что «наилучшая форма для каждого писателя та, с какою он лучше управляется». От Вас, я думаю,

будут ожидать более разносторонней критики различных приемов и манер, а не генерального решения в пользу одной из них. И таковые ожидания, надо признаться, будут правильны, а исполнение их плодотворно для слушателей, и Вы принесете им немалую услугу и всей литературе, совсем сбившейся и неведомо куда вьющейся без критики. — Вот мое скромное слово, которое я позволяю себе сказать в ответ на Ваше письмо, делающее мне большую и незаслуженную честь. Если я сказал что не основательное — «не дописал или переписал», — простите.

Уважаемой супруге Вашей прошу позволения засвидетельствовать мое искреннее почтение. Вы, оба, в Париже были мне бесконечно дороги, посреди Рокамболей, из коих одного недавно видел здесь. А впрочем, и они на пожаре ребенка, захваченного огнем, вероятно, пожалеют искренно… Право, пожалеют!

Душевно Преданный Вам слуга и Ваш почитатель

Н. Лесков.

Письма 1878 года

Н. А. Любимову

8 марта 1878 г., Петербург.

Уважаемый Николай Алексеевич!

Недавно тому назад я получил Ваше письмо с обещанием прислать мне корректуру «Меламеда» и все ждал этой присылки, но ждал напрасно. Наконец вчера вечером, в присутствии сидевшего у меня кн. Андр. Петр. Шаликова, почтальон принес мне сверток, — весь испещренный полицейскими справками о том, когда я выбыл с Фурштатской в Выборг, из Выборга на Захарьевскую, с Захарьевской на Коломенскую, с Коломенской на Невский проспект. Словом: проследили мои переходы *за пять лет*. Причиною тому было, что сверток был послан мне по очень старому адресу, несмотря на то, что я всегда выставляю мой адрес и на письмах и на рукописях. Это одна история, — а теперь другая.

По вскрытии свертка я нашел в нем (опять при кн. Шаликове) *всего шесть* полос: 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Где же делись первые 15 полос, — о том знать не могу. Были ли они посланы и пропали или не были совсем посланы, — не знаю и узнать

не имею возможности.

Присланные шесть последних полос я прокорректировал и вместе с этим письмом послал их в Москву, адресовав *в Контору ун<иверситет>ской типографии М. Н. К<атков>а*.

Эпизода с нагайкой я не сумел ни сократить, ни переделать против того, как он уже сокращен и переделан. Не знаю: что Вам кажется, но я там шаржа не вижу. Весь этот анекдот написан с рассказа олькушского таможенного попа, и нагайка — событие испытанное и типичное, в казачьем вкусе. При том же, — вынуть его из рассказа было бы все равно, что заставить повара сварить уху без рыбы. Будет вода, а не уха, — нагайка эта здесь рыба. Да и при том она уже очень достаточно усмирена, так что мне делать ничего не осталось. — Прошу Вас об одном: *если еще можно*, дозвольте мне переменить заглавие, которое мне начинает казаться *малопонятным* для публики, не знающей жидовской среды. Я прошу позволения поставить вместо «Ракушанский меламед» другое, — а именно «Страшный жид». Это будет гораздо лучше. Просьбу эту я надписал и в конце последней корректурной полосы, чтобы метранпаж не забыл спросить Вас об этом.

Затем, если есть время, — прикажите прислать

мне не дошедшие до меня 15 полос, а если это может служить задержкой, — то, видно, так тому делу и быть.

Да долго ли я буду находиться под опалою по получению «Русского вестника», *которого я не вижу*? Если это так стоит за мои злодеяния, — я, конечно, не смею и плакаться, но мне все думается, что ни Михаил Никифорович, ни Вы этой обиды надо мною не учреждали. Как Вы об этом рассудите? Пожалуй, ведь это и не стоило, может быть, делать. А впрочем, поручаю себя Вашему великодушию.

Душевно Вам преданный

Н. Лесков.

Усердно благодарю Екатерину Дмитриевну за сказанный мне поклон и низко кланяюсь.

П. К. Щебальскому

3 апреля 1878 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

На почтенное и неленостное письмо Ваше отвечать нужно спешно, а притом и откровенно и кратко. Приглашение Ваше лестно со стороны Вашего доброго внимания, но оно совершенно невыгодно. У нас все вздорожало на 50 %, а гонорар поднялся едва на 20, — но все-таки за 50 р. никто писать не станет. Безобразов — дело иное: там по крайней мере скажешь, *что хочешь*, — а у Вас еще надо лезть под цензуру… Нет, на это не будет много охотников. Такой религиозности, о какой Вы пишете, — я терпеть не могу и писать о ней не в состоянии. Я люблю *живой дух веры*, а не направленную риторику. По-моему, это «рукоделие от безделья», и притом все это на православный салтык… Тоже «философия» называется! Переводить мои бессмертные творения разрешаю на все языки, кроме чешского, потому что очень не люблю этого языка. *Для Вас лично* напишу что-нибудь из церковной жизни, и пришлю с цензорским разрешением Алекс<ан-

дро>-Невск<ой> лавры. Может быть, это будет образцовое жизнеописание русского святого, которому *нет подобного* нигде, по здравости и реальности его христианских воззрений. Это *Нил Сорский* (Майков). Надеюсь, что это я могу сделать *Вам в угоду*, но более ничего обещать не могу. Впрочем, откровенно говоря, я в Ваше Revue не верю: у шести нянек дитя непременно не выходится. А впрочем: давай бог!

Новости, сами видите, какие… Что уж хуже этого? Я себя, в последние дни, начал чувствовать «другом мира» *во что бы то ни стало*. Да что в самом деле: это уже кажется всего беспечальнее.

Мирре Александровне и барышням низко кланяюсь.

Душевно Вам преданный

Н. Лесков.

Письма 1879 года

М. Г. Пейкер

<Первая половина 1879 г., Петербург.>

Очень благодарен Вам за снисхождение к «Мелочам» и за память о самом «мелочнике». Но давать книгу не советую, чтобы больше покупали. Это не дружески (для автора) — «давать» книгу, — достаточно ее показать и опять у себя оставить. Тем более, я и не надеюсь, чтобы она долго находилась в обращении. Митрополит Исидор уже жаловался и, кажется, кн. Урусов. Вообще, — я опять ни на кого не угодил и очень этому рад, но боюсь только за моего бедного издателя, который может много пострадать на этом издании. Книга должна быть понята *верно*, цель ее — развенчать пуф и показать, что это самые обыкновенные смертные, которые и чихают, и «запираются», и нуждаются в «струменциях». Они этого и не сносят, ибо понимают, что это злее, чем дерзость. Будет обидно, если ток этих простых, но нужных понятий, будет хамски заткнут. Но думаю, что они будут тактичнее, — вся надежда на то, чтобы ход книги показал, что останавливать ее *уже поздно*. Это не проповедь, к которой

я неспособен и за которую надеюсь, по милости божьей, никогда не браться, но это расчистка навоза, накопившегося у дверей храма. Это я умею и считаю моим призванием. Не высоко, кажется?

О М-ди пишется медленно и обширно. *Все* это нельзя впихнуть в журнальную статью. И при том есть места совсем без облика. «Плакала» — прекрасно, но чту же вызвало слезы? — Этого-то и нет. Не напомнило бы это греческого анекдота об орле, который, летя через синее море, потерял перо. Грек, который это говорил, был удивлен, что никто не плачет и сказал: «да, на вашем языке это не трогательно, но по-гречески — очень жалостно». Притом, — я всеми мерами отбиваюсь от хроники религиозного движения. Непонятливость и примитивность, обнаруженные «светом» при книге о Редстоке, — мне до смерти надоела. Кроме Бобринского, Тернера да самого Редстока, там словно «не умеют читать по-печатному» (так говорил кн. Вяземский, а не я). Мне это нестерпимо противно, и я глубоко сожалею, что публика любит почему-то, чтобы я ей об этом писал. Лучше бы это устроил какой-нибудь отец преподобный или «человек света». И чего, право, не помолитесь о чем надо!

Виктор П., вероятно, <1 нрзб> умалчивает, что

я делаю? Я даже не могу своего дела делать, а мучусь с «законом божьим». Это трудно Вам сказать, — какая не шутка. Вчера, было, хотел к Вам прибежать, но было уже 11 часов, — побоялся быть невежею, находя, что и так довольно невежлив. На днях непременно приду, но к Пашкову не пойду… Раз, что это *теперь* неудобно, а второе — и незачем… Это все одно и то же, и не одно и то же. Ужасно скучаю, если говорить по совести, и *для меня* совершенно бесполезно. Я вечером предпочитаю полежать часок с доброй книгой, которая мне открывает гораздо более, чем толкование о писании без научной подготовки. Прямо говоря, Пашков очень хорошо настроенный человек и хорош для простолюдина, но слушать его, по-моему (извините за вульгарность), значит «жеваное своим ртом прожевывать чужим». Что это за дело такое, да еще на досуге, ради хлеба насущного! Нет, «имейте мя отреченна».

О брате с Кавказа будет говорить, когда он уедет не попросивши «кишмишу», чего я очень опасаюсь. Это артист почище третьегоднешних «халдеев <1 нрзб>», которые и ныне еще в Москве «жрут хлебы предложения». А впрочем, — это как Вам нравится; но я этому проходимцу *прямо не верю*, и увидите, что дело без «кишмиша» не

обойдется.

Александру Ивановну много благодарю за перевод письма. И как это мы в десятиглавии читали «достал», когда надо было читать иначе! Она действительно права.

Низко Вам кланяюсь и пребываю в надежде скорого свидания Вашим слугою.

Н. Лесков.

P. S. Однако прошу Вас не думать, что я говорил о «кишмише» со слов В<иктора> П. Надеюсь, он слишком чист, чтобы его сосчитать в этом виновным. Я обыкновенно знаю то, что он не знает в своей голубиной простоте души.

А. С. Суворину

<Первая половина 1879 г., Петербург.>

Вы меня просили выискать что-нибудь недорогое, интересное и тягучее, с непрерывающимся интересом для «Недельного Нового времени». Вот я Вам и прилагаю программу, чту можно составить и чту будет от начала до конца живо, интересно, весело и часто смешно, а в то же время нетенденциозно, но язвительнее самой злой брани.

Угодно или неугодно?

Я буду поспевать к каждому №. Гонорар обыкновенный, газетный: Бесплатные оттиски тем же набором на бумаге в мой счет, числом 2 тысячи. Вот и все. Потрудитесь дать мне ответ.

Напишу я это с любовью, выбрав материал из редкостного антика, давно скупленного и уничтоженного.

Н. Лесков.

М. Г. Пейкер

9 июня 1879 г., Петербург.

Уважаемая Мария Григорьевна!

Благодарю Вас за Ваше интересное письмо с описанием Ваших дорожных приключений и посягательств Ваших на отрезвление особы Вашего урядника. Помогай бог. Я дела Ваши уже все попридела̀л и 15-го утром намерен уехать, на что уже и билет взял. 4-й № Александр понес сегодня утром на почту. № 5 весь готов, но еще не одобрены 2 ст<атьи>, подлежавшие дух<овной> цензуре. Вчера ездил для них к Арсению, и сегодня послал за ними Александра. Не знаю, что будет. Там Илья (моей работы) и «Два слова о вере» — перевод Вине. Если что будет не дозволено, то заменю статью «Из божественного» и № 5-й все-таки выпущу при себе, до 15-го. № 6-й тоже весь готов. Во избежание хлопот с цензурой без меня, я его составил из статей, не подлежащих духовной цензуре. Там вновь переведенный «Глазной доктор», значительно мною освобожденный от водянистого многословия и скуки, «Иоанн Дамаскин» и три отрывка. Чтобы избежать д<уховной> цензуры

«Библии» в б № тоже не будет, да иначе и нельзя расположить «Глазн<ого> докт<ора>», который как раз распадается на две половины (1 — описание болезни и 2-я — приезд врача и лечение). В 6-м № идет 1-я половина, а 2-я остается для 7-го. № 6-й будет полон и жив, сколько это было возможно достичь. «Провизии» от Вас я не мог дождаться, так как иначе 6-й № не был бы при мне составлен, а поручать этого я не могу никому. Какая «провизия» придет, — то пойдет в 7-й №, с которым уже нечего спешить. Отошлю к набору и предоставлю течению естественному. Теперь журнал будет сведен в свои сроки, и 7-й, июльский № свободно может выйти в августе. Из Англ<ии> получены 4 клише, 2 больших и 2 малые. Из больших один изображает Иосифа, представляющего своего отца фараону, а другая — большую собаку. Малые — одна лошадь, а другая — какого-то домашнего щенка. Я их послал тиснуть, и чтобы сделать 6-й № совсем независимым от Арсения, на 6-й № назначил на 1-ю страницу собаку (величиною с голову Ио<анна> Кр<естителя> и тоже *в кругу*), и в конце фазана. Корректуры на 6-й № уже все выправлены, и надо будет <воздать> особенной Витенькиной аккуратности, чтобы 6-й № не вышел через неделю же после 5-го. Надеемся — сила

вещей сама его вынесет ранее. О 7-м пока не будем говорить, кроме того, что я велел набирать в него то, что будет приходить от Вас. Пусть это все собирается, набирается и пропускается через руки Арсения, тогда увидим, как и что сделать. Во всяком случае я прошу Вас верить, что все будет сделано что должно из того, что можно. Сейчас получил депешу из Риги, что мои тамошние друзья устроили мне дачу и не хотят пускать меня в Либаву. Не знаю, настою на своем или уступлю им. Во всяком случае писать мне надо так: «*В Ригу, в редакцию „Рижского вестника“*, для передачи». Желаю Вам «всего доброго», а наиболее желаю укрепить свои нервы, чтобы зимою не «падать на ноги» (как Вы говорите). Очень буду рад, если не дали к тому причины 5 и 6 №№ моего составления. Обаче покройте все милостью: старался сделать угодное, а угожу ли, — не знаю. Прошу мне об этом написать в Ригу. — Погода изменчива и непостоянна: был холод — теперь невыносимая жара и духота. От гр<афа> Корфа получил письмо, в котором, между прочим, пишет, что он находится в объятиях «стройной природы». Принимаю это в смысле иносказания. Алекс<андр> Григорьевич уехал на дачу и, прощаясь, подал Витеньке два пальца. Отношу это к неточно-

му пониманию слов псалтыри: «благо мне яко смирил мя еси». Щербинин сейчас был и ушел с баснею «Шестоверстова», — так подписался ее автор. В басне шест говорит с верстою, и говорит ужасную чепуху. Заручившись уверением, что этот «Верстошестов» не он сам, дал искренний ответ в тоне известного стиха Феокрита:

> «Прежде чем станешь писать, – научись
> же порядочно мыслить».

А все ведет к радостному восторгу того хохла, который умиленно воскликнул: «Боже милый! Яких у нашего царя людей нэма!» Волконский издал приказ, чтобы все классические гимназисты «снимали шапки перед архиереями». Еще раз: «Яких у нашего царя людей нэма!»

Благодарю Вас за ласки и внимание, оказанные Андрюше. Прошу продлить их и впредь и не поскучать, что увезли его с собою. Усердно прошу, чтобы он больше был на воздухе и *непременно* купался — это ему необходимо. Равно позвольте просить и о лошадке: ему надо растрястись от учебной насидки. Чем Александра Ивановна облагодарит его цикл понятий и сведений во французском языке — за все буду ей глубоко благодарен. Прошу только непременно *час в день*

заставлять его читать по-французски и непременно *вслух*. Дел у меня неодолимая куча перед отъездом, но все-таки напишу Вам хоть открытую карточку, как идет с 5 №. Почтительно целую Вашу руку.

Н. Лесков.

P. S. Из Риги напишу. Там думаю пробыть до 26 июля, а 1 августа поеду к Вам за Андрюшею. Сию минуту прочел предъявленную мне Вашу эпистолию, где сказано, что «если он будет вести себя честно, то *тогда бог* будет с ним», и очень, очень с этим согласился. «Если», и «тогда будет». Это очень, очень верно! Вот мы и *одной веры* вышли! Я его в этом усиленно утверждал, чтобы он «преклонял к себе бога». Будьте же здоровы!

Александр сию минуту пришел от Арсения: 5 № пропущен. Дописано, говорит, *одно* словцо. Не знаю, чту, думаю, что ничего зловредного. Завтра увижу в сводке. Будьте покойны.

М. Г. Пейкер

21 июня 1879 г., Рига, Карлсбад.

Я виноват, что не ответил путем на Ваше последнее письмо, но дело было слишком второпях и наскоре. «Мудрые заботы» мои с Вашим изданием были уже все закончены, — хорошо или худо, — это Вам судить. Конечно, я хотел сделать хорошо или как можно лучше, но трудно, и даже не трудно, а вовсе невозможно, делать что-нибудь живое в этом мертвенном, чисто буддистическом настроении притупления ума, воли и всех высших способностей, которыми «дитя света» может проявлять «свет, во тьме светящий». Недаром и английская литература *этого* направления также немощна и безжизненна, как и наша. Из всех материалов Вашего портфеля я выбрал только глазного доктора, который, впрочем, немножко советник и страдает водяною. Я его немножечко усмирил, немножечко подживил, да значительно поспустил у него водицы, и он пошел. Вторая половина, где я более злился и стругал его со всех боков, — вышла совсем недурна и похожа на живую повесть о

живых людях, а не о марионетках с религиозным заводом. Беда с этим искусственным зданием: тут машинка, там пружинка, и все одно за другое цепляется и путается само, и пряху путает, и в конце концов рвется. Так я понимаю все Ваше нервическое раздражение и понимаю его вернее самых давних и самых светских друзей Ваших; силы, дарованные Вам для работы во славу отца, светом не укладываются по этим игрушечным коробочкам. Вы усердно и добросовестно их туда мнете и тискаете, а крепкая опара все их еще поднимает… Замечательная борьба и ужасное самооскопление духа ради теории, которая не может произвесть ничего. Вы терпеливее Бобринского (умнейшего из людей Вашего союза) — он часто не выдерживает и постоянно лягается, если ему предлагают принять неудобоприемлемое, а Вы, с теми же способностями познавания, все это сносите, подчиняетесь, отыскиваете пророчиц между сорочицами и апостолов между всякими кишмишами, и все для чего? — чтобы страдать, мучиться и расстраиваться «во славу имени божия…» И это все так и будет и не может быть иначе. Вот то, чего Вы не можете не видеть и с чем, конечно, не могут сговориться ни Ваш рассудок, ни природная энергия, ни сердце, которое

Вам приятно отрицать в себе, как будто в этом и у Вас есть необходимость, как у кого-нибудь другого прочего… Вы, пожалуйста, простите меня, что я позволяю себе сказать Вам это, но это важно потому, что это Вас изнуряет и исчерпывает до дна Ваши силы, и Вы так дороги для существа, которое одно ценнее многих и обладает истинною способностью служить славе божией… «Русск<ого> рабоч<его>» надо воссоздать, чтобы он действительно шел и дело делал, или его надо бросить. Этак дело идти не может. Издание — дело заботное, и оно еще и ревниво, как влюбленная женщина, надо его строить и строить неустанно, а то оно рухнет и строителя придавит. Журнал народный, в свободном истинно христианском духе в России есть предприятие самое доброе и самое благочестивое, и число его подписчиков должно быть 100–200 тысяч. Пусть Вас это не удивляет, — это несомненно так. Но издание надо вести заботливо, старательно и только в духе христианском, не вдаваясь ни в какую церковность, ни в ортодоксальную, ни в редстоковскую. Нельзя «задняя забывая, передняя простиратися» и разрешать проблемы, стоящие вне наших соображений, таким путем. Можете Вы нечто такое предпринять, — дело Ваше спасено, и Вы оставите

по себе добрую память и достойное христианское занятие превосходной дочери Вашей (да будет всегда мило имя ее всякому, ее знающему), — а не можете или не хотите, — тогда без изнурительных колебаний следуйте смело Вашей мысли: бросьте это дело, как не стоящее того, чтобы им заниматься. Сдайте его кому-нибудь более ортодоксальному в этом направлении, а сами издавайте хорошие переводы, и увидите, что это Вас гораздо более удовлетворит, чем такая мука со связанными руками и с платком во рту. Это я Вам сказал не только как человек, Вас любящий, но и как журналист, у которого есть за плечами долгий опыт и понимание издательского дела, с которым играть нельзя. Веденное кое-как, оно падает; веденное старательно, не узко, — оно требует серьезных затрат и может расстроить дела; веденное же в угоду кружку (какому бы то ни было), оно становится в зависимость от людей этого кружка, — зависимость мелкую, докучную и в существе дела опять совершенно не стоящую хлопот, а между тем досаждающую и порой совершенно несносную. Так это или не так?.. Я уверен, что Вы если и сердитесь на меня в эту минуту, то Вы все-таки сознаете, что я говорю правду и что говорить ее меня ничто не вынуждает, кроме

искренней дружбы и приязни, готовой и способной выдержать всякое испытание. Подумайте-ка, докуда свидимся и поговорим на чистом воздухе. Дело Ваше — дело хорошее, и его стоит делать, вся ошибка в приеме и в некоторой издательской неопытности, с которою, однако, решительно надо расстаться.

Теперь о себе. Я поселился согласно совету Эйхвальда на берегу моря, в 1 1/2 версте от Дубельна в местечке Карлсбад. Место тихое, обитаемое «литератами», — людьми мне неизвестными. Все дачи с сосновом лесу, грунт песчаный, море мелкое и мало соленое; живу в Акцен-Гаузе. Это длинный, как фабрика, досчатый сарай с окнами. По середине идет коридор, и по обеим сторонам кельи, из которых из одной в другую все слышно, так что надо чихать и сморкаться с осторожностью, которой немецкие «литераты», к сожалению, напрасно не соблюдают. Живу я «на харчах у немца», и харчи эти очень плохи. Прислуга не говорит ни на каком человеческом языке, а только издает какой-то утиный шелест вроде «туля сэя сипу липу како пули мосте пай». Лихо их ведает, что это значит. Скуки здесь вдоволь, а грубо циничного немецкого разврата еще более. Немецкие Дианы охотятся по лесам,

поражая грубый пол своими стрелами, а людей бестолковых бьют зонтиками, что уже и со мною случилось. Познакомился я с пастором Рибнэ, переведенным в Ревель из Херсона за распространение штунды. Он здесь обер-пастором сделан. Как хорошо быть немцами! Старичок он очень милый, чистенький, как холмик, толстенький, и мягкий, как сибирский кот; говорит умно, сдержанно и тепло. По-русски изъясняется свободно. Веры хорошей, — веры Гладстона, <нрзб>, Берсье, Невиля и Вине. Мне с ним было очень приятно говорить об всем, печалуюшем всех нас, подданных нашего господа, идущих под его стягом, куда он хочет, но по лучшему своему разумению. Он мне сообщил кое-что о Вальденштреме и много расспрашивал о Редстоке. Все время 4-х дн<евного> бурного плавания по морю у нас в кают-компании шли дебаты, в которых (вообразите себе) я был защитником лорда. Рибнэ считает его дело полезным, но осуждает распространяемое им и его последователями неуважение к науке, с чем и я, разумеется, вполне согласен. Четыре барона находили все это редстоковское учение «думхейтом», а мы за него поспорили, хотя «за ним не ходим». Вообще я очень рад был случаю увидеть и узнать эту «рыбку», как зовут его хох-

лы-штундисты, и учение его нахожу чистым, а дух, его одушевляющий, очень приятным. Но всего в письме не перескажешь. Работы у меня много, и не знаю, как ее приделать. Желаю все это кончить здесь до 20–25 июля, а к 1 августа быть у вас и обнять моего сына, о котором очень, очень сконфуженно скучаю. Пожалуйста, ласкайте его, и пусть он больше бегает, больше играет с простыми ребятками, купается и трясется на лошади.

Целую Вашу руку. Душевно Вам преданный

Н. Лесков.

Да пишите мне побольше! Что Вы заленились.

А. С. Суворину

4 июля 1879 г., Карлсбад близ Риги.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Назад тому два дня я послал Вам статейку «Из культа мертвых», а теперь посылаю другую — поживее. Думаю, что она имеет интерес и написана цензурно. Рассказ тоже готов и переписывается набело. Пришлю дней через пять-шесть. Экземпляр «Некуда» перед отъездом сдал в Вашу типографию. Велите, пожалуйста, печатать по вашему усмотрению, только поскорее, — книги нет. Условие напишем, когда свидимся осенью. Под сегодняшнею статьею прошу оставить «Карлсбад», — пусть не знают, какой, и оно будто «новшественнее», и не видно, что я здесь раздобыл запретный листок, по поводу которого нашлось кое-что сказать. — Людей этих я лично *нисколько* не знаю.

Преданный Вам *Н. Лесков.*

Листок «Год» действительно основывается. Это мне сообщили в редакции «Рижского вестника».

В статье, я думаю, два фельетона, и потому я сделал карандашом заметку, где ее разделить

пополам.

Э. Е. Брадке

19 декабря 1879 г., Петербург.

Милостивый государь
Эммануил Егорович!

Вчера я получил из департамента несколько бумаг, присланных его сиятельству графу Дмитрию Андреевичу из Петропавловска учителем Желтышевым. В числе этих бумаг есть два сочинения: одно, посвященное имени государя наследника цесаревича, а другое графу Дмитрию Андреевичу.

Его сиятельству угодно было поручить мне рассмотреть эту предику, но мне не сообщено, в какой форме должно быть это рассмотрение, — в форме ли подробного служебного доклада или в виде отзыва, который представил бы его сиятельству только сущность и достоинства этих сочинений.

Я теперь недвижимо болен, так что не покидаю постели и потому лично разъяснить для себя этого не могу, тем более, что таким вопросом, может быть, нужно было бы беспокоить самого графа. А между тем, может статься, его сиятельство име-

ет какие-нибудь причины желать немедленно знать, что содержится в сочинениях Желтышева. Поэтому я имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство доложить, когда Вам будет угодно, господину министру, что, насколько возможно при моем болезненном состоянии, я поручение его выполнил, то есть сочинения г. Желтышева прочитал и могу о них выразить мое мнение. Оба они исполнены страстного, но нездорового патриотического духа, оба свидетельствуют о значительной душевной раздраженности и умственном непросвещении автора — не имеют никаких достоинств зрелой мысли и не содержат в себе ничего удобоприменимого сообразно с нынешними обстоятельствами России. Кроме того, они невозможны для распространения их в каком бы то ни было круге читателей. Кратко говоря, они содержат вот что: 1. Рукопись, посвященная наследнику цесаревичу, представляет народ русский в виде сказочного Иванушки-дурачка. Царь — отец, государство — мать; у них три сына: старший, «умный детина» — духовные; средний — «так и сяк» (чиновные); младший, дурак, — народ, Иванушка. У отца-хозяина кто-то стал ходить на поле топтать пшеницу; отец послал караулить старшего сына (духовных) — те

проспали и ничего не уберегли; потом послал среднего сына (чиновных) — эти наелись, разленились, заснули и тоже никого не поймали, да еще солгали, донесли, что «в поле все благополучно». Теперь началась третья стража: дозором вышел Иван-дурак — народ, об уме и вообще душевных свойствах которого идет ряд длинных, банальных, часто противоречивых, несостоятельных и смешных рассуждений, которых я в этом кратком отзыве приводить не буду. Вообще это сочинение исполнено самой младенческой мысли унизить значение образованных классов общества с желанием показать, что только в народной массе хранятся задатки плодотворных мыслей, утраченных нами под влиянием «разлагающегося Запада». По моему мнению, сочинение это не только недостойно быть посвящено имени наследника русского престола, но оно просто недостойно ничьего серьезного внимания.

Второе сочинение, посвященное графу Дмитрию Андреевичу, гораздо объемистее и разностороннее первого. Оно касается самых важных предметов с наивностью полного неведения и с узкою нетерпимостью фанатика. Политический идеал автора — московская патриархия и вообще допетровский порядок, в котором будто заключа-

ется наше спасение от современных настроений. Везде тут бездна текстов св<ященного> писания, изречения св<ятых> отцов, народных пословиц и присловий; масса выраженных здесь несообразностей так велика, что их нет возможности перечислять. Укажу на одно, что особенно сильно занимает автора и выработано им с особенной тщательностью: предстоящий юбилей 25-летнего царствования государя императора, и удивляется, как до сих пор не последовало «приказания всех расстрелять». Он возмущается затеею юбилея — этого языческого празднества, которое, по его предположениям, начнут молебном и окончат поклонением Бахусу. В жару религиозного и патриотического чувства автор предлагает вместо юбилея учредить по древнееврейскому обычаю всенародный пост со всенародною же складчиною на составление особой «полиции исполнительной», которая должна будет «разодрать всякое писание неправедное». И так все в этом роде, но, впрочем, то, что я привел на образец, есть самое практическое, что можно уловить в волнах этого туманного бреда.

При этом, конечно, в писаниях г. Желтышева в изобилии встречаются выходки против русских подданных нерусской веры и невеликорусского

происхождения и многие другие тенденциозности не примиряющего, а раздражающего свойства, словом — оное слабое, несостоятельное, беспокойное сочинение не заслуживает того, чтобы быть посвящено господину министру народного просвещения, да притом оно и не может быть напечатано.

С должным почтением и преданностью имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою.

Н. Лесков.

А. С. Суворину

25 декабря 1879 г., Петербург.

И Вас с праздником, мой старый коллега!

№ слава богу, хорош. Я его нетерпеливо ждал увидеть. Опытный глаз заметит, что «была спешка», но ничего — бредет. Одно стихотворение Буренина очень хорошо; другое к статье. Черниговец тоже удовлетворяет двери, и даже очень тепло. Я, кажется, не хуже людей, хотя и есть «смазь»; но ведь (забыл сказать) без подобной связи рождественский рассказ редко обходится. Она очень часто сверкает белыми нитками даже у Диккенса. Это ничего: лишь бы осталось что-нибудь образное. Теперь вижу, чту надо было сделать, — надо было отмарать фельетонный приступ, вызывавший необходимость обобщения в конце, и сделать просто рассказ *о дневном обороте*, — чту русский человек в день может переколобродить. Это было бы цельнее, — было бы совсем ценно и хорошо *для нас*, понимающих дело, но можно утешиться, вспомнив, что публика не так судит, — она не столь разборчива и этих тонкостей художественной экономии не

понимает. Но вперед (если доживем) надо не допускать себя до такой спешки. Что же касается до самой мысли рождественского номера — эта мысль хорошая, и она привьется.

Маслову даны известные Вам очень интересные очерки жидовской веры. Их еще нет в этом №, хотя я уже прочел корректуру. Конечно, это пойдет с *нового года*. Это хорошо, но там поставлено грубое заглавие: «Жидовская вера». Это, собственно, я подделывался к Вам, но, по-моему, это грубо… Не благоволите ли поставить «Набожные евреи»? Я бы очень об этом просил.

К Новому году работу сделаю. Здоровье поправляется, но очень медленно, — учусь ходить. Барц говорит, что я схватил ревматизм чудовищный.

Ваш *Н. Лесков*.

Теперь вот нашел чудесную проповедь Стерна (юмориста).

А. П. Милюкову

<1878–1879 гг., Петербург.>

Позвольте мне рекомендовать Вашему вниманию слово «простец» в записках Посошкова, который и сам себя и вообще крестьян называет «простецами». Заключаю от этого, что употребление такого слова не зазорно, и оно значит совсем не то, что значит «простяк» — которое мне тоже известно, а также известно и настоящее его значение. Слово «простец» есть слово русское, правильное и притом столь ясно-выразительное, что я позволю себе за него стоять и впредь стану его употреблять ничтоже сумняся. А употребляют ли его теперь, в живой речи, «парлиируя и скрибируя», — об этом знает всяк, имевший когда-нибудь беседы со староверами. Парлянты этого слова не употребляют, но тем не менее это слово хорошее, ибо хорошо выражает то, что другим *одним* словом не выразите.

Н. Л.

Письма 1880 года

С. Н. Шубинскому

<23 апреля 1880 г., Петербург.>
Среда, вечер. Пасха.

Я с радостью приеду к Вам в понедельник, вечером м<ежду> 8 и 9 час. Очень рад послушать очевидца. — Книгу Вашу привезу. О Голубинском *никому* не поверю. Я читаю его страстно, но сужу не увлекаясь: он понимает *дух* нашей церк<овной> истории, *как никто*, и толкует источники вдохновенно, как художник, а не буквоед. Он должен быть руган и переруган, но прав будет он, а не его судья. Он производит *реформу* и должен пострадать за правду, — это в порядке вещей, но правда, и притом вдохновенная правда, исторического проникновения, с ним, а не с Б-м и не с tutti frutti. Я, впрочем, охотно готов о нем не писать, но ему я написал, потому что я не спал четыре ночи, не будучи в силах оторваться от книги. Не думаю, чтобы суд о нем был суд правый, — митрополит Макарий не дал бы денег на издание пустячного труда, а он их дал, несмотря на то, что Голубинский много раз противоречит Макарию. О Голубинском вернее всех отозвался

некто таким образом: «Он трепит исторические источники, как пономарь поповскую ризу, которую он убирает после служения». Сейчас ее еще целовали, сейчас чувствовали, как с ее «ометов» каплет благодать, а он ее знай *укладывает* … Грубо это, но ведь он знает, что под нею не благодать, а просто крашенина с псиным запахом от попова пота. Но Голубинский, кажется, так и идет на это… Это Шер русской церковной истории, у которой до сих пор были только «кадиловозжигатели». Пусть что кому нравится, а мне нравятся Шлоссер, Ренан, Шер, Костомаров, Знаменский и Голубинский. Степени их учености и дарований различны, но прием и дух один и тот же, — это дух, единственно принадлежащий *живой науке*, и он есть дух живучий — дух будущего истории, тогда как Б. и tutti frutti останутся мертвыми, погребающими своих мертвецов.

Дружески любящий Вас

Н. Лесков.

А. С. Суворину

<Апрель 1880 г., Петербург.>

Заметку об австрийских школах есть повод пустить немедленно и безопасно. Повод этот имеет в «Русском вестнике», месяц апрель, статья Щебальского «По поводу одн<ого> юбилея» (Крашевского). Там, на 912-й странице, читаете, будто в славянских землях, подведомных Австрии, *«народ лишен образования».* Надо начать с того, что это оч<ень> относительно и противоречит другим источникам *польского же* происхождения. Тут и пустить сведения, взятые из «Zwiastuna Ewangelskiego»,[23] а что было в конце острого для сих тупых дней, то вычеркнуть бестрепетной рукою. Если же теперь упустить этот случай, то нового невесть когда ждать, а дело интересно и непустяково.

А знаете ли Вы что-нибудь о загадочном исчезновении графа Коскуля?

Н. Л.

---

[23] Примечания: 23
«Евангельского вестника» *(польск.).*

С. Н. Шубинскому

4 мая 1880 г., Петербург.

Посылаю Вам, уважаемый Сергей Николаевич, беллетристику, в размере 3/4 листа. Она не худа или по крайней мере — весела. Писал ее не только больной, но почти не живой. Мой 1-й доктор действ<ительно> сплоховал, и когда я, возвратясь от Суворина, слег и у меня началась лихорадка с обмороками, то был призван Мейер и нашел у меня, кажется, *воспаление легких*. Вот Вам и сюрприз. С этим-то — в промежутки между леденящим ознобом и 40-градусным жаром — и написал Вам «Мелочи арх<иерейской> жизни». Их так любят, что все прочтут не без удовольствия. Кажется, я был кроток и цензурен.

Вам не грех было бы меня навестить. Знаю, что «некогда», но страшно скучаю.

Преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

16 октября 1880 г., Петербург. *Вечер*.

Уважаемый Сергей Николаевич!

«Голован» весь написан *вдоль*, но теперь надо его пройти *впоперек*. Срок, Вами мне данный, был 20-е число. 21-го можете за ним прислать. «Кустарный пророк» будет готов к 20 или 10 ноября. Я никогда и никого не доводил до затруднений, а Вас тем паче. Будьте же покойны.

Благодарю Вас за то, что Вы меня знаете лучше других, и в споре своем Вы были правы. Никаких обстоятельств с «Петерб<ургскою> газетою» я не имею, а обещал им дать обработанным один им подходящий материал, которого не хотел понять г. Маслов. Более ничего. Но на работу у меня действительно есть спрос по условиям для меня более выгодным, только это не в «П<етербургской> газ<ете>», а в «Р<усской> речи» и в «Руси», с которыми мне удобно, потому что я разделяю их взгляды на интересующие меня вопросы веры и народности. Вот и все.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

P. S. Два письма Аксакова очень интересны по его оценке моих скромных работок в Вашем «Вестнике». Ласка идет до того, что и говорить застенчиво, а гонорар предоставляет самому себе назначить свободною рукой, лишь бы были «праведники». — «Голован», однако, вышел слабее других. Надо бы его хорошенько построгать. Не торопите до последней возможности.

С. Н. Худекову

26 ноября 1880 г., Петербург.

Милостивый государь
Сергей Николаевич!

Освободясь от работ, которыми был обязан, разыскал и выправил мои извлечения о еврейских обрядах. По-моему, это очень интересно и весьма отвечает современному возбуждению внимания к евреям. Очерков этих будет 10–12, и, конечно, все они будут новостью для нашей публики. Все они также будут по возможности *веселы* и *незлобивы*. Так это будет всего лучше. Корректуру мне просил бы присылать или же точно определить мне день и час, когда я могу видеть ее у Вас в редакции (кроме вторника и не ранее 12 часов). Очерки лучше бы ставить один раз в неделю — в определенный день. Перенос их на будущий год для издания, вероятно, будет скорее выгодным, чем невыгоден, потому что это занимательно и интересно.

С нового года (с 1-го № 81 г.) дам Вам 30 коротких рецептов старой русской письменности — что в который день месяца хорошо делать.

«Блаженные на Руси» — интересно.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

P. S. Пусть Николай Александрович дал бы мне знать, к какому дню недели надо присылать следующие очерки.

И. С. Аксакову

17 декабря 1880 г., Петербург.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Я ведь работаю медленно, а к тому же меня тяжко одолевает оное «одабриванье». Я начал для Вас бытовую историйку (по документам), под заглавием «Дворянский бунт на Добрыньской поповке», и половину написал, но она стала выходить немножко не в Вашем вкусе. Это правдивая история о трех наших сельских попах моего родного села Добрыни (Орловск<ой> губ<ернии>). Три поповские типа: пьяница и высокий праведник по чистоте души, при котором все жили в мире и как нежно оберегали его «в слабости», 2-й — добрый буян «гайдебур», — при котором тоже мир не нарушался, и, наконец, 3-й — «священно-ябедник», — тихоня, который выдумал заговор и доносил на моих родных и соседей губернатору, и пошло следствие, после которого все покинули свой приход, а губернатор *велел* архиерею (Поликарпу) не трогать «священно-ябедника», и тот позорно подчинился губернатору. Сведу опять к выводу прямому и правдивому, что архиереи

сами не умели постоять за свое право даже перед теми, кто не смел им быть никаким указчиком. Первый поп (запивоха) написан весьма с любовью, и перебраны тут вещи нежные: мир все ему прощал, даже не вменял во грех, а только убивался по нем. Выйдут и остальные, но это, кажется, не в Вашем вкусе. Напишите.

А то еще вот что: гоню всемерно спешно рождественский рассказ для Суворина и 20–21 сдам; а затем, если хотите, — могу написать и прислать Вам к Новому году тоже маленький же рассказ (сибирское предание) «Как Христос на рождество к мужику в гости зашел». Это могу сделать скоро и не боюсь разномыслия. В сцене с австр<ийским> императором Вы увидели значительно более того, что там есть. Если еще раз потрудитесь пробежать его в «Историч<еском> вестнике» (за январь), — увидите, что рассказец ничтожный, но самый смирный. Я ему, впрочем, пришил хвост, чтобы тяжесть его влеклась по другому направлению. «Дворянским бунтом» я несколько дорожу и знаю, что там есть «проникновение», но боюсь, что Вы уж очень за архиереев-то… Стоит ли? Посадит он наш церк<овный> корабль на сухой берег и с «верующим мирянином». Надо бы им открывать очи и «умалять их оную непо-

мерную пыху».

«Руси» не вижу, не читаю и тем изрядно даже обижаюсь.

Горячо Вам преданный

Н. Лесков.

P. S. О студенческих беспорядках отлично сказано.

С. Н. Шубинскому

<1880 г., Петербург.>

Посылаю Вам статью о митрополите Исидоре. Она вышла, кажется, очень интересна и для журнала *заманчива* по заглавию, которое я мог ей дать *без всякой натяжки*. Это так вышло и все позволительно. Прошу Вас только *непременно* поместить ее в июньской книжке, потому что боюсь, что материал доставили *не одним нам* … Если же не можете, то возвратите ее мне, — я передам ее в «Речь».

Ваш *Н. Лесков.*

Письма 1881 года

С. Н. Шубинскому

9 января 1881 г., Петербург.

Любезный Сергий Николаевич!

Спешу уведомить Вас, что статья готова. Название ее: «Дворянский бунт на Добрыньском приходе». — «1866 г.» — Объем — ровно 2 листа. Написалось, кажется, хорошо, — сильно, но цензурно. Выпусков не могу потерпеть никаких, ни на одно слово. Говорю об этом вперед и заранее. Вы были не правы и напрасно трусливы в словах об увольнении без прошений. Я уступил и сожалел, потому что потом это все резче еще сказано в «Нов<ом> времени». — Теперь есть места сильные «об архиереях», но я знаю, как это надо сделать, и сделал цензурно; но выпускать ничего не стану и ни за что, и знаю, что это будет только трусость. А может быть, ее и не будет, — это лучше.

Ваш *Н. Лесков.*

А. С. Суворину

***Ночь*на 3 февраля 1881 г., Петербург.**

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Не осудите меня за неодолимое желание написать Вам несколько строк по поводу обстоятельства, которое сильно меня огорчило. К удивлению моему, мне сказали, что мне приписывают какую-то заметку о Ф. М. Достоевском, напечатанную в «Петербургской газете». Я ее не видал и о сю пору не знаю ее содержания, а потому и не обратил на эти слова внимания, но потом пришел Лейкин и сказал, что и Вы тоже имеете такую уверенность, которую он, однако, поколебал в Вас, назвав Вам настоящего автора. Значит, Вы считали возможным, что я, написав статью против покойного, потом пришел к нему в дом и шел за его гробом… Это ужасно! Зачем Вы сочли меня способным на этакую низость? Какой повод я дал для этого всею моею не бесчестною жизнию? В моей литературной деятельности я знаю два проступка, за которые краснею, — это вывод на сцену «углекислых фей» да некоторый портрет в рассказе «Островитяне». Это дурные по-

ступки, но они были сделаны давно, в молодости, да и кто из писателей не грешен точно такими же грехами… С тех же пор я никогда ни одного раза не подпал подобному исключительному соблазну. Меня порицали напрасно ряды лет: мне вредили и повредили ужасно; на меня явно клеветали, и я никогда не тщился никому отплачивать, хотя и мог бы… К Вам я всегда хранил неизменную доброжелательность, — даже в то время, когда Вам казалось во мне все дурным и предосудительным. О Достоевском я имею свои понятия, может быть не совсем согласные с Вашими (то есть не во всем), но я его уважал и имею тому доказательства. Я бывал в критических обстоятельствах (о которых и Вы частью знаете), но у меня никогда не хватило духу напомнить ему о некотором долге, для меня не совсем пустом (весь гонорар за «Леди Макбет»). Вексель этот так и завалялся. Я знал, что требование денег его огорчит и встревожит, и не требовал. И вот, едва он умирает, как мне приписывают статью против него… Когда же это я был таким предателем и в каком кружке меня таким считают? Уверяю Вас, что ни в каком… Если бы я писал, то я бы и подписал — как сделал по поводу Малины; но чтобы каверзить и идти за гробом покойника…

Неужели же я так скверно жил, что дал повод считать меня на это способным? Нет; ни мои знакомые, ни сослуживцы, ни люди, с которыми я имею денежные дела, не усумнятся сказать, что я не каверзлив, и мне это так обидно, так больно слышать от Вас, что я не хочу таить этого в сердце и спешу сказать Вам. Я не сержусь и ровно ничего не добиваюсь, — думаю даже, что Вы, может быть, посмеетесь над моею тревогою но все-таки я хочу Вам это сказать. Вы обо мне подумали так дурно, как я того не заслуживаю. Зачем это? Зачем Вы не спросили меня прямо в глаза?.. Или Вы думали, что я отопрусь, стану еще лгать…

Если Вам дорога справедливость, — в чем я не сомневаюсь, — прошу Вас, ради убеляющих нас седин, вспомните, что я ведь много, много страдал от литературных клевет, и на будущее время о любом подозрении спросите меня прямо в глаза. Поверьте, я всегда отвечу правду, и только одну правду.

Преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

<Март 1881 г., Петербург>.

Уважаемый Сергий Николаевич!

Два дня писал и все разорвал. Статьи написать не могу, и на меня не рассчитывайте. Я не понимаю, что такое пишут, куда гнут и чего желают. В таком хаосе нечего пытаться говорить правду, а остается одно — почтить делом старинный образ «святого молчания». Я ничего писать не могу.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

И. С. Аксакову

26 октября 1881 г., Петербург.

Уважаемый Иван Сергеевич!

По-моему, «Блохи» должно быть еще на 2 №, а не на один. Кажется, как будто я ее делил на четыре куска, а не на три. Впрочем, может быть я забыл, так как это давненько было, и с той поры пришлось написать много. У Ахматовой же на днях выйдет такая же легенда о нынешнем государе, под заглавием «Леон — дворецкий сын, застольный хищник». Она хуже «Блохи», но ее тоже хвалят, только она писана наспех и потому хуже отделана. Там мания «хищения» с намеком на известные лица, но, разумеется, все нарочно запутано, так что не разобрать, кто этот «Леон» — не то лакей, не то кто-то повыше. Там и «хап-фрау», и «лейб-мейстер», и его «обер-преподобие». Ахматова открылась мне, что, желая напечатать очерк, но в то же время и опасаясь за него, она посылала «одному лицу» корректуру и от него получила радостный ответ, что «государю это не может не понравиться» и что «печатать следует *без малейшего пропуска*».

Не знаю доподлинно, кто это «одно лицо», но жалею, что недоговорил многое, боясь бабьего недомыслия редактора. Пиши я «Хищника» для Вас, он бы, конечно, вышел лучше, потому что Вы всех лучше понимаете, «что льзя и то, чего не можно»; но я *не мог* отбиться от Ахматовой, а другого у меня ничего готового не было. Царь там очень прост, очень тепел и (по-моему) очень приятен. Рассказ смешон, весел и в том же простодушном тоне, как «Блоха». «Блоху» здесь очень заметили даже литературщики, но мне кажется, что лучшая часть все-таки в конце — левша в Англии и его трагическая кончина. Впрочем, и «Обнищеванцев» критики очень хвалят ведь, даже в «Деле». На будущее время пока ничего ясного не придумал, но, может быть, напишу Вам «праведника» из острожных смотрителей, между коими наичаще встречаются «звери». Был некто полковник Саврасов из севастопольцев, определенный смотрителем виленской «центральной тюрьмы», где всё содержатся одни каторжные, и он своею честностью, простотою и добротою доводил их до того умиления, что они более всего боялись «огорчить старика». На него пришел государю Александру Николаевичу донос о послаблениях. Послали генерала-немца «дознать»

— тот приехал, посмотрел и *расплакался*. Саврасов попросил его выбрать из каторжных «самого злого» на вид, и когда такой был выбран, он велел снять с него кандалы, дал простое платье и 3 руб. денег и послал вечером в город (за четыре версты) купить гвоздей. Каторжник пошел, купил и принес при генерале сдачу. Заболевавших тоскою он посылал «на огороды», а не в острожную больницу, н они «молились и отгуливались». Чахотки и сумасшествий у него так и не было. Немец все по правде доложил государю, — тот тоже расплакался и велел вызвать Саврасова и долго его целовал, обнявши и плачущи. Саврасов и теперь жив и служит комендантом в Шлиссельбурге, — к нему, говорят, будто послали Гесси Гельфман. Како Вам ся мнит таковой тип? — Пожалуйста, посмотрите в ноябрьской книге «Исторического вестника» статью «Благонамеренная бестактность». Там я говорил нечто о Вас, — кажется, это Вам не может быть неприятно, а мне нужно было иметь компаньона по взгляду на дело гнусного подхалимства в мнимом верноподданничестве, с целями; недостойными поддержки. Дело идет о брошюрах, которыми вместо пользы приносится вред долгим жеванием одного и того же несчастного события. Пожалуйста, посмотрите

эту коротенькую заметочку. — О «Хронике» я того же мнения, что и Рачинский. Это — лучшее чтение для детей, но уговорная форма с министерством представляется мне возможною только так, если Вы возьмете экземпляр книги, тщательно зачеркнете в нем красным чернилом места, которые находите нужным выпустить, и пришлете тот экземпляр мне, с прошением в Уч<еный> к<омитет> м<инистерства> н<ародного> пр<освещения> (с двумя марками по 60 коп.), и в том прошении скажете о Вашем намерении издать книгу с пропусками «в том случае, если Ком<итет>, рассмотрев ее, найдет *в этом виде* удобною для школьных библиотек». Тогда я буду стараться при докладе выяснить, что нужно сделать, а Вы получите ответ, который, в свою очередь, обеспечит Вам возможность рассчитывать на содействие м<инистерс>тва, когда книга будет отпечатана. Других способов я не вижу.

Ваш слуга

Н. Лесков.

И. С. Аксакову

25 ноября 1881 г., Петербург.

Уважаемый Иван Сергеевич!

Во-первых, благодарю Вас за деньги, которые я получил и расчетом доволен, а во-вторых, хочу Вам сказать нечто в дополнение к Вашим словам об обидах израненным добровольцам и литераторам, выходившим на бои с духом крамолы, когда она зарождалась и разносилась. Мне жаль, что Вы не упомянули обо мне, который перенес *более всех*, и Вам, конечно, памятно, в каком я был ужасном положении, когда Вы просили за меня Кокорева… И это была, конечно, цветущая пора моих сил, и я никогда не ленился, но меня считали «зачумленным» и «агентом III отделения», что Суворин и Буренин в тогдашнем их настроении писали, не обинуясь. При такой репутации я бился пятнадцать лет и много раз чуть не умирал с голода. Не имея никаких пороков по формуляру, я не мог себе устроить и службы, потому что либеральные директоры департаментов «стеснялись мнениями литературы»… Приличенному вору и разбойнику было легче найти место, чем мне, — и

все это за роман «Некуда», который, по словам Страхова в «Гражданине», весь исполнился «как пророчество». Что я намечал, то и вызрело, и зато у меня *пропала* лучшая пора жизни (с 32 до 47). Я измучился неудачами и, озлобясь, дал зарок никогда не вступаться в защиту начал, где людей изводят измором. Но так поступали не одни нигилисты, а даже и охранители. Есть в моей жизни такой анекдот: Катков, в заботах обо мне, просил принять меня чиновником особых поручений (2 000 руб.), но у меня оказался «мал чин», так как я был тогда губернский секретарь в 40 лет. Можно было это обойти назначением к исправлению должности, но решили, что довольно с меня и меньшего жалованья, — назначили членом ученого комитета (1 000 руб.), и с тех пор я здесь восемь лет «в забытьи», хотя Толстой знал меня хорошо, считая, по его словам (Кушелеву и Щербатову), «самым трудолюбивым и способным», и лично интересовался моими мнениями по делам сторонним (например, церковным). Наконец им стало стыдно не давать мне ничего, и Георгиевский лет через пять после моего поступления сделал представление о награде меня за многие полезные труды и «за прекрасное направление, выраженное в романе „Некуда“, навлекшем на

меня ожесточенное гонение нигилистической партии», — чем бы Вы думали: чином надворного советника, то есть тем, что дается каждому столоначальнику и его помощникам. Мне это испрашивалось *в числе двадцати человек*, назначаемых к особым наградам *к Новому году*. И что, Вы думаете, последовало? Толстой на обширном и убедительном докладе Георгиевского надписал: «Отклонить», а из числа двадцати чиновников *одного меня вычеркнул*. И это всякий чиновник д<епартамен>та видел и хохотал над тем, что значит быть автором «Некуда». «После того и деться некуда», — острил в сатире Минаев. Чем же эта молодежь напоевалась, видя такое усердие меня обидеть, признаться сказать, в таком деле, которое мне и неинтересно, потому что быть или не быть «надворным советником» уже, конечно, — все равно. — Мне кажется, что это стоит рассказать, и если придет к слову, я против того ничего иметь не буду.

Ваш *Н. Лесков.*

Еще: как печатался роман «Некуда». Его марали не один цензор, а трое: цензор де Роберти, Веселаго и тогдашний начальник Упр<авления> *Турунов*, а потом еще посылали листы в III отделение. Роман ими весь искалечен.

И. С. Аксакову

9 декабря 1881 г., Петербург.

Покорно Вас благодарю за ласковое слово, уважаемый Иван Сергеевич. За мною действительно немножко ухаживают, но не то мне нужно и дорого. Имя мое шляется везде как гулевая девка, и я ее не могу унять. Я ничего не пишу в «Новостях» и не знаю Гриппенберга, но когда мне *негде было* печатать, — я там кое-что напечатал, и с тех пор меня числят по их департаменту. Не отказать же Татьяне Петровне Пассек, которая в 72 года без хлеба; не откажешь своим киевлянам, трудно отказать и Лейкину, который всегда был ласково услужлив, а теперь ему это будто на что-то нужное. Но Вы очень проницательны и отгадали мое состояние: я сам напугался этой раскиданности и невозможности сосредоточиться. Еще год такой работы, и это меня просто убило бы. Вот почему я и схватился за большой труд как за якорь спасения и очень рад, что так сделал. Фавор, который выпал мне после долголетнего преследования, меня не увлек и не обманул, а, напротив, я понял его вредную сторону и избегаю ее. Суворин дей-

ствительно запасся от меня маленьким пустяком, озаглавленным «Иллюстрация к статье Аксакова об упадке духа». Гатцуку я написал давно обещанный рассказец рядового святочного содержания. Конечно, все это не «Левша с блохой», которые очень и очень замечены. — Катков на меня никогда не сердился по поводу «Соборян». Ему было известно, что первая часть их была напечатана в «Отеч<ественных> записках» в год смерти Дудышкина, — это *не* скрывалось, и «Русск<ий> вестник» *не* платил мне за повторенную в нем первую часть. В «Отеч<ественных> зап<исках>» роман был прерван по случаю смерти Дудышкина и перехода редакции в руки Некрасова, который, впрочем, очень ко мне благоволил. С Катковым мы разошлись по поводу «Захудалого рода», и разошлись мирно, *по несогласию во взглядах*. Другого никогда ничего не было, и сказанное Вам — есть ложь. «Некуда» частию есть исторический памфлет. Это его недостаток, но и его достоинство, — как о нем негде писано: «Он сохранил на память потомству истинные картины нелепейшего движения, которые непременно ускользнули бы от историка, и*историк непременно обратится к этому роману*». Так писал Щебальский в «Р<усском> в<естнике>», и

Страхов в том же роде. В «Некуда» есть пророчества — *все* целиком исполнившиеся. Какого еще оправдания? Вина моя вся в том, что описал слишком близко действительность да вывел на сцену Сальясихин кружок «углекислых фей». Не оправдываю себя в этом, да ведь мне тогда было двадцать шестой год, и я был захвачен этим водоворотом и рубил сплеча, ни о чем не думая кроме того, чтобы показать ничтожное пустомыслие, которое развело всю нынешнюю гадость. Сеяли ветер и пожинаем бурю. Порою я себе прощаю этот памфлет, — иначе я тогда не умел бы сделать картины. Впрочем, памфлет есть только во второй части, — именно «углекислые феи Чистых прудов». Но что же на меня клеветали… О мой господи! А Толстой со мною был превосходен, — я могу думать, что он даже как будто уважал меня, — он меня, больного, просил, например, пробежать вовсе не касавшиеся министерства н<ародного> п<росвещения> доносы по синоду, желая моего чутья, «где тут правда», но он не любил людей с своим мнением.

Н. Л.

Статью Влад. Соловьева ругают как «верующий мирянин», так и его сателлиты, — особенно раб божий Тертий и Аполлон, — говорят: «Это не

предмет журнализма». Они осточертели уже.

Письма 1882 года

Ф. А. Терновскому

20 августа 1882 г., Петербург.

Уважаемый Филипп Алексеевич! Без числа и меры виноват перед Вами, что ни словом ни отозвался на Ваше письмо, вслед за которым получена и рукопись. То я был в отлучке, то нет Шубинского, и так дело все длится да длится и до сих пор находится в нерешенности. — Мне кажется, это интересно, но у нас иногда бывают взгляды иного рода:

Им не надобно звона гуслярного, —
Подавай им товара базарного.

А потому надо говорить и договориться, а тогда только и считать дело законченным. Но если Шубинский найдет здесь «мало *общего* интереса», то не уполномочите ли меня приютить статью где инде? Гонорар в 25 руб. везде дадут, но, может быть, захотят *опустить* что-либо из частностей личного значения. Это бывает и нужно, — иначе выходит то, что вышло с дневником Аскоченского. Балабухи из Киева пишут, — нельзя ли «ничего не выпускать», чтобы было про Балабух как можно побольше. А все остальные ругают-

ся, — «чту-де нам до любовишек и волокитства за неизвестными девчонками». И впрямь, его дневник часто напоминает пошлую песню:

Как за речкою мы жили,
Много девушек любили —
И Катеньку, и Машеньку,
Ильинишну, Кузьминишну,
Макарьевну, Захарьевну,
Да всех понемножку
Дергали за ножку.

Я говорил Шубинскому, что надо было *выбрать* 2–3 листа характеристики этого грубого нахала, слывшего в Киеве за умника, но все надеялись «пленить попов». Вот и тянут, что называется, «попа за <....>». Тоже самое надо сказать о глупейшем и даже в некотором отношении подлом «дневнике Аскоченского».

Все это говорю Вам к тому, что тут ведь играют роли соображения, достоинству литературы совершенно посторонние, а Шубинский, как я его знаю, — человек очень хороший, но ведь он почти «приказчик на отчете» у Суворина... Подождите половины сентября, и мы дело с Вашею рукописью выясним и так или иначе ее устроим.

Во всяком случае, она в руках человека, понимающего здешние обороты и Вам самым искренним образом приятельски преданного. — «Киевская старина» ведется не без умения и не без удачи. Цензура к ней тоже милосердствует, но «пономарь Лампадоносцев» сильно ею недоволен, особенно со времен «Кирилла Терлецкого», все сказание о коем считает «сплошною ложью». Подсыльному мерзавцу, которого он присылал с этим сказом к Суворину, я говорил, что вполне бы рады были напечатать опровержение, но, однако, такового не последовало.

Не знаю, что бы такое прислать Ф. Г. Лебединцеву, — чем бы его отблагодарить за экземпляр журнала? Не поможете ли советом или указанием? Хотел послать заметку на статью кн. Голицына о «почаевских святынях», которых, собственно говоря, «не существует в природе» (например, *стопы* божьей матери), но я боюсь, что это совсем нецензурно, даже для милосердной цензуры. У меня есть много писем покойного Филарета Филаретова, из коих, кажется, стоит кое-что напечатать, например по поводу его столкновений с Арсением из-за книги Иова. Поговорите Вы с Феофаном Гавриловичем да напишите мне. — Да напишите свой адрес *поточнее*, а то я все путаюсь

с надписью конверта.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Ф. А. Терновскому

8 сентября 1882 г., Петербург.

Уважаемый Филипп Алексеевич! В погоню за письмом, вчера Вам посланным, спешу Вас уведомить, что книги я получил, — одну из них оставил себе, другую сдал в редакцию «Историч<еского> вестника», а третью, с наилучшею рекомендациею, сдал в руки некоего купчины Игнатия Лукияновича Тузова (преемника Кораблева и Сирякова). Он мой постоянный издатель и покупатель, достаточный человек и аккуратный плательщик. Мне он вполне верит и, на слово мое полагаясь, согласен купить у Вас «все на корню» на нижеследующих условиях: 1) Чтобы *все издание* (500 ли или 600 экз.) было у одного его в руках, то есть чтобы ровно ничего не было продано Вами никому другому, а наипаче Оглоблину. Словом, чтобы книги *в Киеве не было в продаже*. 2) За все издание (500 или 600) он Вам наличными деньгами и сразу даст по 2 руб. за экземпляр (то есть 1 тыс. или 1200 руб., если у Вас есть 600 экз.). 3) Деньги будут уплочены, каким Вы укажете порядком, тотчас по получении Тузовым товара, который Вы, — если это условие Вам нравится, —

должны выслать ему сюда, в Петербург, и как можно скорее, дабы иметь их к осеннему съезду людей в город. 4) Условие Вы можете доверить письмом — подписать за Вас мне, и я могу получить от него почтовую расписку в высылке Вам денег по количеству товара. 5). Вы ему напишите письмо (Игнатию Лукьяновичу Тузову, СПб., Большая Садовая, в собств<енном> книжном магазине) и в том письме удостоверите, что книги более ни у кого нет. По-моему, все эти условия для Вас очень выгодны, и продать всё сразу за наличные деньги по полтине за номинальный рубль — цена очень хорошая. 35 % будут на комиссию и враздробь, а там поди еще — выбирай по грошам, да еще и что-нибудь заваляется и засядет. Словом, совета не даю, но считаю это *очень хорошим* и для себя такие условия принимал с радостию. Отвечайте скоро и точно, а в случае согласия даже советую прислать мне депешу, чтобы дело оформить.

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Заявление на последней странице о приложении весьма темно и непонятно. Вместе, что ли, обе книги составляют до 800 страниц? И вместе, что ли, им цена 4 руб. или приложение одно само по себе будет стоить 4 руб.? Ужасно неясно. — С

отзывом надо ждать, пока появится книга в магазинах. Отзывы сейчас вызывают спрос, а когда книги нет в лавках и удовлетворить спроса нет возможности, то это убивает книгу, и когда она появится, то уже ход ее с самого начала идет вяло, ибо все позабыли, что о ней сказано. Отзыв напишу коротенький в «Нов<ом> времени» и большой в «Историч<еском> вестнике».

С. Н. Шубинскому

8 октября 1882 г., Петербург.

Уважаемый Сергий Николаевич!

Я прочитал и возвращаю Вам присланное Вами письмо Аменецкого из Казани. По-моему, о печатании его не может быть и вопроса, так как оно просто — письмо бессодержательное. Кого же это может интересовать и в каком отношении?..

Прошу Вас извинить меня, что не был у Вас в среду в 8 часов вечера. Я заезжал к Вам во вторник в 7 час. 45 мин., чтобы извиниться заранее, так как ко мне приехал брат и мне в среду надо было быть с ним; но мне в 7 час. 45 мин. не удалось ни Вас видеть, ни найти способ сообщения Вам о цели моего визига. Тут, очевидно, не все должно быть поставлено в вину мне, а нечто отпадает и на Ваши порядки, может быть доведенные до не совсем удобной аккуратности. Сам «бог есть мера, — говорит мудрец, — и остерегается перейти свою мерность, чтобы она не расстроила гармонии». Вы очень аккуратны, — это правда, но правда и то, что Вы иногда злоупотребляете этим прекрасным качеством и делаете его даже не удобством, а неудобством. Так и меня — человека,

всю жизнь умевшего быть удобным в деловых сношениях, — Вы ставите в невозможность вести дела без объяснений и извинений, к которым я сам никогда и никому не подаю поводов, ибо всегда стремлюсь сделать все должное как могу своевременнее и лучше.

Статью «Синодальные персоны» я был бы очень рад получить назад и охотно заплатил бы за ее набор. Мне это было бы выгодно. Я знаю, что она содержательна и любопытна. Не знаю, что Вы хотите мне о ней сказать. Во всяком разе, усердно прошу Вас нимало ею не стесняться.

Повидаться теперь, — в виду Ваших обременительных занятий, — конечно, уже становится особенно трудно, но бог милостив — может быть, на помощь придет какая-нибудь счастливая случайность.

О будущем годе ничего Вам не могу сказать, кроме того, что статья по письму Самарина написана; объем ее (полагаю) около 4 1/2 или 5 листов, а заглавие ее — «Русские деятели в остзейском крае». — Там Суворов, Самарин, архиерей Филарет Гумилевский (историк), Филарет Филаретов и Платон, нынешний митрополит киевский. Статья живая, полуисторическая, полуполемическая со введением некоторых увеселяющих и

характерных анекдотов. — Вы ее можете получить когда хотите, но лучше пусть она лежит у меня до надобности. Я не могу себя удерживать от размышления о написанном и от желания поправлять там то или другое. — Впрочем, можете и взять, если это для Вас покойнее.

Рассказ, я думаю, Вам не особенно нужен, а у меня просят кое-какой отрывочек. У Вас ведь много материала.

О письмах Филарета Дроздова писать не могу, Надо все это прочитать. Это ведь очень работно; а написать для критического отдела заметку лучше сумеют те, кто критикует не читая.

Преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

14 октября 1882 г., Петербург.

Уважаемый Сергий Николаевич!

Ничего не могу ответить Вам на Ваше письмо. Разумеется, всякий живет, как ему кажется лучше; но не хочу возводить пустяков и на себя, — я не бываю часто виноват в бесцельной неаккуратности и укоризн в том сподобился от Вас от первых. Впрочем, довольно об этом. Вы изобрели такой шрифт, который оплачивает суточную работу шестью рублями, — так работать невозможно, даже и не болея корыстолюбием. Поэтому рецензий я писать не могу. От Ф. А. Терновского получил одно преинтересное предложение для журнала, но у Вас, кажется, есть предубеждение против этого человека. По-моему, это напрасно: у него все с содержанием, а в прошлой книжке опять какое море брандахлыста!.. По ошибке я Вам сунул что-то другое вместо статьи Аменицкого. Извините, пожалуйста. Теперь прилагаю эту статью, хотя не знаю: для какого она годна употребления.

Кладу сюда же рецензию о новой, замечательной книге по еврейскому вопросу. Книгу я знаю

и статью читал и выправил. Писал ее еврей же, потому что я боялся ошибиться в суждении о талмуде. — Фамилия автора Дубнов, — студент Петербургского университета, филолог.

Кажется, все. — Когда, бог даст, встретимся где-нибудь, — поговорим более обстоятельно.

Задержка работ мне тоже невыгодна, и я, слава богу, не вынужден этого сносить. Я Вам опять попался: у меня до 8 листов готовой работы (2 1/2 в наборе, да 5 в столе), а я должен изворачиваться кое-как… За что это и ради каких благополучии? Ведь я все это мог бы отдать другим и получить гонорар и скорее, и больше, и с благодарностью, а не с замечаниями. Вы едва ли не забываете, как трудно сводить концы человеку, который живет аккуратно. Не сердитесь, — а это так. Я не люблю ни просить, ни должать, и для того работаю усердно и по возможности аккуратно. Слова Вы могли вычеркнуть.

Ваш *Н. Л.*

Ф. А. Терновскому

28 октября 1882 г., Петербург.

Благодетель Вы мой! Что же Вы это со мной делаете и за какие провинности? Как же можно дать *казовую* книгу с одним титулом, а прислать другое и притом *самое непрактическое* заглавие, с обозначением связи чего-то в прошедшем и с ожиданием дополнений в будущем?.. Разве это можно? Тузов Вам послал деньги (600 руб. за удержанием уплоченных за пересылку), но он раздражен и тяжко смущен этой обложкой, с которою — говорит — «и половины не дал бы и ни за что бы не стал путаться с такою книгою, продавая которую надо еще объяснять, что это за „второй выпуск и что составляет выпуск 1-й“». И впрямь, что это Вам за охота пришла давать эту неудобную в торговом деле вставку?.. Ужасный Вы *не коммерсант*! Потом целая пачка книг погибла от неосторожной и вполне неряшливой укладки, а весь нижний и верхний ряды пришли измаранные. С них теперь срывают обертки и будут здесь допечатывать. Ведь это возня и расход, а Тузов очень хороший плательщик, по скареда… Щунять Вас не хочу более, потому что люблю Вас,

но желаю, чтобы это «напредки пригодилось». Нельзя, сударь, переменять содержания обложки — купцы к этому «ревнивы». Хвалу и честь Вам за «язык аспида» уже прописал, а реферата ожидаю. Это меня очень интересует. Вместо рассуждений лукавых о том, что почнете писать для Шубинского, Вы бы прислали отчет о «Боярской думе» Ключевского, — и это было бы полезно редакции и приятно автору, а то теперь о ней что-то навараксал Ив<ан> Дм<итриевич> Белов, не имущий никакого дарования. Ужасно Вы долго собираетесь. В редакции «Нов<ого> времени» и «Истор<ического> вестника» о Вас имеют досадительное понятие по книге о «Леванде». По-моему, эта книга относится к тому роду литературы, который позволительно считать «скучным». О других же лучших Ваших произведениях здесь надо делать внушения, а они того живого-то и не читали, да и не разумеют, но отвечают: «Да, он писал что-то про Леванду — то очень скучно». Нельзя уверить, что Вы — человек по преимуществу самый живой и отзывчивый, — и все это через Леванду!.. — И Суворину и Шубинскому очень нравится Ваша мысль дать исторические очерки по движению художественной литературы. Это блистательно исполнил датчанин

Брандес (см. «Современные течения в литературе»), но надо опасаться, как бы не повторить Н. И. Петрова, который топит журнал со своею украинскою литературою. Вот уже именно вспомнишь Писемского, — «вода с Аполлоновых <…>)». Полоскано там что-то, да черт знает что. Противный писатель! Да еще сколько там (в редакции) выпускают! Ваш Исмайлов все гостит у Пятковского, которому я напоминаю многократно и многообразно. В «Истор<ическом> вестнике» статья об Исмайлове, или, лучше сказать, о Муравьеве, идет 1 ноября. Она вышла довольно пустомысленная. Просят Вас прислать начало этюдов о литературе, — будут Вам рады и заплатят с удовольствием. Такие же этюды предлагал Кирпичников, но еще не собрался, а в «Вестн<ике> Европы» есть подобный опыт Пыпина, — по-моему, едва ли удачный. Знания много, а талантливости как-то тут-то и не оказалось, — от этого много подробностей и нет общего освещения, которое дает, например, Брандес или Тэн. Все сливается во что-то серое. Кстати о сапогах: Ф. Г. Лебединцев просит меня прислать работку. Я пришлю, но хотел бы знать *от Вас*: чту мне заплотят? Я во всяком разе пришлю работу, но если плата сносна, — я дам работу большую, а если она убыточна, — я дам работку поменьше.

Н. И. Костомаров в убыток себе не возьмет, а мы с того только и хлеб едим, так дешевить нет и причины. Знаю, что это очень щекотливая материя, но тем не менее прошу Вас мне это сделать. Тогда я буду знать, как поступать, не огорчая ни себя, ни Лебединцева.

Новости наши все заключаются в одном стремлении на «попятный двор». Покушений к этому несть числа, и почти все равномерно пошлы. Проект Тертия о школах читал. Организация такая: в уезде попечительство из трех попов, в губернии — попечительство под председательством архиерея, в П<етер>бурге — главное попечительство под председательством лица, «которое зауряд заседает с правом голоса в Государственном совете». Гадайте, кто сей будет, ему же то требуется?

Ваш *Н. Лесков.*

Ф. А. Терновскому

12 ноября 1882 г., Петербург.

Драгоценный Вы мой Филипп Алексеевич! Получил три Ваши писулечки и оттиск реферата. Всё Вы правильно пишете и хорошо отгадываете. Исмайлову придется полежать, как апортовому яблоку. Я получил на него отказ и на днях его возьму к себе, а потом вышлю Вам. Тузов утихомирился и, кажется, застыдился своих претензий. Рецензий о книге Ключевского Вам и не достояло писать. Рецензии пишутся ныне куцые, шарлатанские и необстоятельные. Белов просто дает «вытяжку», и это, по-нынешнему, — наилучшее. Ваш Петров прислал рецензию о Вашей книге — сочувственную, но что Писемский на своем циническом, но метком языке называл «без <….>». Подробной и написать негде, да и читать не станут. Читают одно *занимательное*. Я оставляю за собой право слепить что-нибудь a propos[24] вроде «Византийского боярина», которому нашпилил уборцев из первой Вашей книги. Это — самое лучшее как для пишущего, так и для редакции и для

---

[24] Примечания: 24
Кстати (*франц.*)

читателя: он снова читает повесть, сказание, а не критику. Если бы Вы мне не написали последней записочки, то получили бы от меня на сих же днях как раз то же самое предложение. Шубинский не хочет критики на Ключевского, а желает иметь новый живой этюд по поводу Ключевского. Это как раз то, что и Вы мне пишете. Мысль Ваша о параллелях мне вполне сочувственна, и я тем более стоял бы за нее, что Вам это очень удается. Заглавие тоже хорошо, но я бы его несколько изменил, чтобы казалось еще независимее. Почему бы не озаглавить так, например: «Византийский отблеск в русском боярстве — опыт бокового освещения к русским фигурам „Боярской думы“? Ко мне частенько „братия“ толкаются за заглавиями и, смеяся, „просят наречь имя младенцу“. Я люблю заглавие, чтобы оно было *живо* и в самом себе рекомендовало содержание живой повести. Может быть, и Вам мое изобретение пригодится для вывески статьи, о которой я уже переговорил и буду ее ждать. Начать советую с нее, потому что это вопрос теперь циркулирующий, а „литература“, как»…[25] — всегда уместно, да и Вы не скоро с нею справитесь. Итак, пишите же с богом. — Ф.

---

[25] Примечания: 25
Оторван край письма (*ред.*)

Г. Лебединцеву статью изготовил. Разумеется, это вовсе не история, а фельетон кое о чем, но читаться, надеюсь, будет и кое-что пошевелит. Размер вышел от 2 1/2 до 3 листов. Половина уже переписана, а вдоль написано все. Понятно, что я не могу этого ни подарить, ни отдать за печеное яблоко. Я заставил Шубинского спросить Н. И. Костомарова, на каких условиях он дает свое «Жидотрепание» (он очень заболел), и сегодня же написал Лебединцеву откровенное письмо, что я могу, по приязни, немного сбавить, но тоже менее 80 руб. за лист взять не могу (Вы, вероятно, знаете, что художественный вздор оплачивается дороже учености). Если же Ф. Г — чу это неудобно, то я ему *в году* напишу что-нибудь новенькое. Тогда о цене говорить не будем, но, конечно, это уже будет обрывочек или оборвышек. Я ему послал содержание заготовленной статьи и ее эпиграф. Этого довольно, чтобы судить, а написано, разумеется, как могу и как умею. Прошу Вас, достойный благоприятель, побывайте у Лебединцева *немедленно*, попросите прочесть Вам заголовок содержания и потом переговорите в тоне выяснения дела. Лучше раньше иметь эти вопросы уясненными. Затем прошу Вас мне написать, ибо очерк этот у меня тянут, а я нового

ничего к генварю написать уже не в силах. Веселое ведь весело читать, а делается это в работе труднее, чем самое скучное (что, впрочем, принято называть «серьезным»). — Книга Ваша идет. Суворин говорил, что и он бы ее купил. Это всегда так бывает.

Жму Вашу руку.

Н. Лесков.

P. S. Видали ли Вы гравюру, как Протасов едет в телеге на тройке архиереев, а в корню митрополит Рафальский?

С. Н. Терпигореву

13 ноября 1882 г., Петербург.

Любезный Сергей Николаевич!

Пушкинский кружок, которого Вы и я состоим членами, удостоил меня избрания к некоторым должностям. Я, конечно, ценю такое доверие и всемерно рад бы его оправдать, но известные Вам недосуги мои лишают меня возможности быть точным и исполнительным; а дела этого не терпят. К тому же, я чувствую себя и нездоровым.

А потому усердно прошу Вас оказать мне товарищескую услугу, выразив общему собранию мою глубокую благодарность за честь избрания, и вместе с тем просить от всяких должностей меня освободить.

Искренно Вам преданный

Николай Лесков.

Письма 1883 года

Ф. А. Терновскому

19 января 1883 г., Петербург.

Давным-давно, что день, собираюсь писать Вам, сердечный мой Филипп Алексеевич, но все некогда. Пишешь, пишешь — и станешь. Сказать надо много: статьи Ваши прошли с большим «апломбом»; три дня Вы были героем читающей публики, и если принять, что Вас прочли сто тысяч человек (по три человека на экземпляр), да столько же в перепечатках («Новости», «Петербург<ские> ведомости» и «Соврем<енные> известия»), то это чего-нибудь стоит. В редакции «Нов<ого> вр<емени>» хваление общее, и оба московские кутейника на мой вопрос отвечали: «Ну, говорить нечего, — хорошо». Суворин очень доволен. Вычеркнул две последние строки он, а не я, и Вы отгадали причину — «осторожность». Он просил меня написать Вам, чтобы Вы не сердились за это.

Тут действительно к 3-му дню стало *остро*, пришел вестником от Лампадоносцева Ламанский, а у Каткова Вас уязвил Субботин. Суворин все за Вас огрызается, но с веселостью. Шансы Ваши в газетном мире вспрыгнули высоко, и все

о Вас спрашивают: «Откуда он такой взялся?» Счет и деньги Вам посланы. Расчет сделан *из ста рублей* за лист, то есть по 10 коп. за строчку столбца. Это плата хорошая. Я ее не назначал, — он сам спросил: «Я отмечу Т<ерновско>му по сту руб. — довольно ли?» Я ответил: «Мне кажется, это как следует», и более разговора не было. Более за публицистику и нет платы, — это самая высокая. Газета Вам выслана, и билет выслан. Тузов очень рад: «Статья двинула книжку». Я с Вашего дозволения и в Ваших интересах вычеркнул две строчки, во вступлении. Это там, где говорилось, что научно-литературная деятельность интереснее и важнее общественной. Суворин, как чуткий и ловкий журналист, был бы этим недоволен, так как это производило бы невыгодное *в журнальном смысле* впечатление: дескать, «все лучшее мы покажем в первом, а во втором уже одно кое-что», то есть второго можно и не читать. Вы, господа ученые (за исключением Костомарова), совсем не хотите помнить, что тут дело о «розничной продаже». Остальное в статьях все сбережено. Корректуры все читал я, и ошибок очень немного. Пишите и присылайте о Толстом и Достоевском. Это тема богатая и благодарная. Рекомендую заглавие*: Гр. Л. Н. Толстой*

и Ф. М. Достоевский под Кривосудом. Если сами выдумаете лучшее, — тем лучше. В февральской книжке «Исторического вестника», кажется, будет обещание этой статьи. Желательно, чтобы Вы нашли удобным дать хотя косвенный ответ на выходки Субботина и последовавших за ним и московской шушеры. Поповские издания прислали Лампадоносцеву статьи *с подчеркнутыми строками*... Пусть это будет им на радость. — У Исмайлова еще возьму кое-что о воспитании, но все это положительно возможно только в пересказе. Он — надо отдать ему справедливость — умел писать очень скучно, сухо и безжизненно. В пересказе это нравится. Многого, однако, взять невозможно. — Об университетском уставе все в глубокой тайне. Катков здесь, и Любимов, и Мещерский, и tutti frutti.[26] В государственном совете разве говорит Бунге да Рейтерн, да и то не зычно. Вообще идет дело о «формировании голосов». К<атков> в этом мастер. Более же никто ничего не знает, но, мне кажется, хорошего ждать очень трудно. — Что Вы писали о поездке на север, то мне совсем по мыслям и по сердцу. Я и сам намечал себе не раз этот путь, и вдвоем

---

[26] Примечания: 26
Все прочие (*итал.*)

исполнить его уж куда ж бы мило. Начать надо с *даниловских доживальщиков*. Их все описывают по слухам, а их бы надо посмотреть. Пругавин, Нем<ирович>-Данченко мне подозрительны, а Майнов раз, после усердной рюмки, *сознался* мне, что он «там и не был»… Напишите, сколь это сбыточно к осуществлению с Вашей стороны. Разумеется, в Питере — Вы мой гость, и гость желанный. Что «Елисея» приписали, — это хорошо. Удивительно, что я все думал, будто я это и обозначил. Благодарю Вас и впредь прошу о том же. Ошибки у всякого возможны. Думаю, что и Ф<еофан> Г<аврилович> сделал то, что должно. О «Кукурузе» я мог позабыть, но архиерей, кажется, был Евсевий. А впрочем, если Ф. Г. лучше помнит, то и прекрасно. В «антиках» должен недурно выйти «Старец Малахия» и «Поп Ботвиновский» — дивная *громада смеси* пошлости, беспутства и доброты какой-то героической. По-моему, Лебед<инцев> дурно сделал, не пустив «Антиков» с 1-й книжки. Они пустяки, но их *знали*, и еще так недавно, и их хоть ругать да будут, а это лучше молчания. Так мы по крайней мере судим.

Н. Лесков.

Ф. А. Терновскому

25 января 1883 г., Петербург.

Уважаемый Филипп Алексеевич! Последней Вашей славы я пережил за Вас некоторый тяжелый час. Аннину довелось быть свидетелем доклада нового российского эпитропа Тертия Лампадоносцеву. Злой человек хотел зла. Суворин и Шубинский говорили мне написать Вам об этом, чтобы Вы приготовились дать отпор. Аннин настаивал, что «не стоит тревожить», и примеры Лесгафта и Модестова считал к Вам не идущими. Кажется, он был полезен для того, чтобы обрезонить Д<еля>нова. А может быть, более всех помогла острая шутка, что «надо не Терновского выжить, а Филарета выбросить, чтобы он не писал таких писем, над которыми нельзя не смеяться». Я не мог ни извещать Вас об этом, ни молчать и потому просил Лебединцева предупредить Вас помягче. Теперь здесь дело, кажется, кончено. Дай бог, чтобы оно и там Вас не потревожило. Смешной Модестов даже, кажется, завидует стоящему о Вас говору: такой, говорит, *смирный*, а всех взбудоражил. Статьи ему кажутся «невинными», вероятно потому, что не имеют

много знаков восклицания. Однако прошу Вас меня успокоить и непременно черкнуть: что это такое было — о какой «поднятой буре» пишет мне Лебединцев? Не подписать статей было невозможно, потому что это по теперешним правилам все равно обязывало редакцию дать ответ, *кто автор*. Вы ведь, вероятно, знаете, что есть такое правило. Следовательно, мы ничего бы не выиграли: придирка к Вам была бы такая же, и даже хуже, а успех принадлежал бы какому-то NN или ZZ. Я все это имел в виду и взвесил и поступил по разумению и расположению. Лебединцев мне прислал корректуру *без начала* (два листа), и потому это меня не удовлетворяет. Разве я не понятно писал, «что мне нужно *собрать себе экземпляр* без цензуры». Потом он мне прислал «загвоздочку»: деньги, пишет, «вышлю *все разом*». Это, значит, в апреле или в мае, но после 6–7 листов… не было бы сие мне и ему «неудобно». Три месяца работа шла и лежала, да три месяца за нее деньги ждать, — это неладно, и так не повелось. И зачем это? Пишет — «бедствую». А я это со стороны издателя признаю за «уметы». Издание не следует предпринимать без денег, потому что тут работник самый нежный и нервный, и «мзда наемничья» поистине «вопиет». Еще раз

скажу — это не резон. Я ему ответил уклончиво так: «Что касается до денежных расчетов, то я просил принять на себя Терновского и думаю, что он мне в этом не откажет, так как я веду эти дела для него здесь». К сему добавил, что такой способ рассчитываться, «вероятно, и для него будет самый удобный». Да оно и в самом деле так. Вам же позвольте подать теперь такой претекст, что я будто понял слова «все разом» не в самом обширном значении и просил Вас доставить деньги жене брата Алексея на семейную надобность, имеющую срочное применение. Может быть, это доставит случай теперь выбрать хоть за первое, а все-таки в долгу меньше останется. Беда с этими мелкими редакциями! Для утешения же Ф<еофана> Г<аврилови>ча пожертвуйте ему от меня *без гонорара* четверостишие (экспромт) Буренина по прочтении мною в редакции («Нов<ого> времени») смешных строк Лебединцева, как «Иван убрался»… Экспромт этот по всем правам принадлежит к материалам «Киевской старины», если достаточно, чтобы я разрешил его печатание вместо цензора. — О статье по поводу еретичества Льва Толстого в февральской книжке «Исторического вестника» объявляется.

Жму Вашу руку.

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

1 февраля 1883 г., Петербург.

Большую мы с Вами, Сергей Николаевич, развели «междуусобную литературу», и препустую. Нечем Вам против меня и слова молвить, и потому — что пишете, то пишете неистово и не в делах. Не Вам, сударь, поставлять мне на вид дружелюбие, преданность и расположение. Я все это имел и доказал. Такой ли я, сякой ли, но я человек прямой: люблю — так люблю, а не люблю, то и того не укрываю; но о том, кого люблю, за глаза и инако говорить не стану. — Люди, которые меня не любят, конечно есть, но есть которые и любят… Думаю, что это почти как у всякого, — даже как и у Вас… Нашли Вы тоже о чем говорить! Дела мои хоть в одном роде чисты: я «не ухищрялся против брата и на врага не клеветал». Вас я любил очень, горячею любовью и потому тягостно, до боли в душе и теле, обиделся, когда раз, два и, наконец, три убедился в удивительной странности поступков Ваших. Это стало для меня несомненно с «Синодальных персон» и шло быстрыми подтверждениями. Я и сам удивлялся: что за охота унижать человека Вам

преданного, — надеюсь, — Вам полезного и никогда против Вас не обмолвившегося ни словом, ни намеком… Удивительно! Точно Вы исполняли какую-то неодолимую потребность жаловаться. То я Вас «поставил в затруднение» объемом статьи; то «Синодальные персоны» многим «не нравятся» (и между прочим тупице Майкову, который столько же понимает в литературе, как свинья в апельсинах), то я не так деньги получил… Тпфу! Да что это за черт такой! Я всегда точен, всегда аккуратен и на меня в делах жалобы не терплю. Я ее не заслуживаю. Далее: как Вы, историк, могли сказать, что полтора листа из глухой поры 30-х годов — «много»? Это обидно слышать, потому что это нелепость, которой нет меры. — Я Вас ведь читаю хорошо: Вы по капризу и предубеждению считали дрянным и мертвым писателем самого живого и прелестнейшего из современных исторических писателей. Я Вас не раз принимался разуверять в этом, — Вы упрямо качали головою. Я показал этого писателя в образце, и все развели руками: где он такой взялся? — Может быть, Ленька Майков и иже с ним — другого мнения, так на тех и всегда смотрели как на тупиц. — Вы сдали с рук записки редкостного интереса, которые заставляют говорить о себе всех истинных

любителей литературы. Думаю, что Вы их не читали, по предубеждению против «скучного Терновского» и по роскошеству Вашим «изобилием материала». Это Ваша вина, и я Вам ее два раза указывал, и Вам ничего не стоило ее поправить: надо было только сказать: «если это хорошо, то сделайте это для „Исторического вестника“». — Вы опять мотали головою. — Теперь еще я давал время все поправить, и Вам стоило сказать: «Однако я ошибся, — это в самом деле очень хорошо, и Вы сделайте все остальное мне сразу, чтобы это к другим не попадало». Так оно было бы и умно и по-приятельски, а Вы вместо того мне-то, старому писателю, у которого уже, конечно, есть хоть вкус и понимание, приводите чью-то вопиющую глупость при конторщиках и думаете, что Вы правы и милы, а я «придирчив»? — Поздравляю Вас с таким открытием.

Расчет прикажите сделать, а денег вперед я с Вас не желаю и не возьму. Я Вас одолжаю тем, что жду с исполненною работою, но сам не одолжаюсь. Вы меня простите, — но это так.

Что касается личных чувств, то я ведь тоже не молод, чтобы не ценить их и легкомысленно рвать. Я без фраз имею право называть себя

Вам преданный

Н. Лесков.

Ф. А. Терновскому

12 марта 1883 г., Петербург.

Любезный Филипп Алексеевич! Очень благодарен Вам за Ваше милое, теплое и дружески встревоженное письмо. Искренности слов и чувств Ваших я верю и сам Вам плачу тем же самым. Я рад, что узнал и полюбил Вас со всею свойственною мне горячностью.

Дело рассказывать долго нечего: оно произошло 9-го февраля — с глазу на глаз у Дел<яно>ва, который все просился «не сердиться», что «он сам ничего», — что «все давления со вне». Сателлиты этого лакея говорили по городу (Хрущев, Егорьевский и Авсеенко), будто «давление» идет даже от самого государя, но это, конечно, круглая ложь. Давителями оказались Лампадоносцев и Тертий. Прошения не подал, и на *просьбу* «упомянуть о прошении» — *не согласился*. Я сказал: «Этого я позволить не могу и буду жаловаться». Я *хотел* вынудить их не скрываться и достиг этого. Не огорчен я нисколько, но рассержен был очень и говорил прямо и сказал много горькой правды. На вопрос: «Зачем Вам такое увольнение», — я ответил: «Для некролога», — и ушел. О «Кома-

ре» не было и помина, а приводились «Мелочи архиерейской жизни», Дневник Исмайлова и «Чехарда», в которой мутили не факты, но выводы об уничтожении выборного начала в духовенстве. Припоминалось и сочувствие Голубинскому, и намекалось на Вашу статью о Филарете. Доходило до того, что я просил разбить: слышу ли это от министра или от частного человека? Он отвечал: «И как от министра и как от Вашего знакомого». Я сказал, что это мне неудобно, ибо, по-моему, «до министра это не касается, а моим знакомым я не мешаю иметь любое мнение и за собою удерживаю то же». И вот вообще все в этом роде. «Новости», выгораживая меня от Маркевича, дали мне возможность написать «объяснение», которое Вы, чай, читали.

Сочувствие добрых и умных людей меня утешало. Вообще таковые находят, что я «защитил достоинство, не согласясь упомянуть о прошении». Не знаю, как Вы об этом посудите. Я просто поступил по неодолимому чувству гадливости, которая мутила мою душу во время его подлого и пошлого разговора, — и теперь не сожалею *нимало*. Мне было бы нестерпимо, если бы я поступил иначе, — и более я ничего не хочу знать.

Статья действительно Вам не задалася. Суво-

рину она не понравилась. Я ее взял, состряпаю совместно, подпишу и устрою иначе, еще не знаю где; а гонораром поделимся. Ваша будет канва, — мол вышивка, а выручка общая.

Передайте Лебединцеву прилагаемый счет из конторы «Нового времени» и, если можно, дохните на него мыслию, что от убавления в год 1 тысячи руб. карман у меня не стал гуще. Почему бы ему удобнее накоплять гонорар, а не платить его, как принято во всех редакциях? Я ведь уверен, что Костомаров не ждет (это уже его правило), да оно, признаться, и всякому так, 240 руб. — это месяц обихода. А ведь за передрягами и досаждениями было не до работы… Чудаки, право, — хотя хорошо, что не против себя.

Если Вас может интересовать сочувствие и отношение ко мне товарищей, то прилагаю Вам записочку Аполлона Майкова (которую прошу и возвратить), — увидите, чту это была за комедия и что сочувствие умных людей *со мною*. Посетили меня и сочувствовали и председатель судебной палаты Кони и светила адвокатуры, — словом, думаю, что я, значит, поступил *как надо*. Но я Вас люблю, Вам верю и хочу слышать Ваше мнение. Вы знаете: это нужно человеку раздосадованному. Других дурных чувств у меня, слава богу, нет,

и «ближние мои» — это те, кто понимает дело умом и сердцем.

Ваш *Н. Лесков.*

Ф. А. Терновскому

6 апреля 1883 г., Петербург.

Любезный Филипп Алексеевич! Не отвечал Вам, все поджидая времени, чтобы устроить нашу статью «о ересях» и свести наши счеты; и ныне час тому настал, и час благоприятный. Статья наша напечатана в «Новостях» 1-го и 3-го апреля, и в ней вышло около 1200 строк. По 10 коп. это составит 120 руб., то есть по 60 руб. на брата и сотоварища, да 50 руб. Вам следует получить с меня за рукопись «Исмайлова», которою я, может быть, еще воспользуюсь. Итого я у Вас в долгу 110 руб. Прошу Вас покорно при окончательном расчете с Ф. Г. Лебединцевым *безотговорочно* эту сумму из моих денег удержать (если же будет остаток или недостача, — то написать мне). Статья в литературном мире прошла очень замеченною и похваляемою. Тут ее поняли, — поняли некоторые и в публике, хотя для сей последней она, конечно, *суха* по самому роду вопроса. Я ее, кажется, не перепортил и *сохранил все*, — только старался «разбумажить» и дать ей, насколько возможно, живости и «касательств». Очень любопытен знать о сем Ваше *искреннее* мнение.

Трудиться вместе у французов есть в обычае, и оно иногда имеет большие удобства, но у нас редко случается, а мы с Вами попробовали: я остаюсь доволен, но не знаю, как Вы. Посылаю Вам карточку Философовой, так как это касается Вас столько же, как меня. — О болезни супруги Вашей сердечно сожалею. Да будет небо к Вам милосердно. Попутешествовать с Вами, — чего бы лучше! И конечно — «экономно», но места, Вами намеченные, мне не совсем нравятся: во-первых, они очень жаркие, а во-вторых, чту там видеть? Нельзя ли бы нам куда-нибудь «ко святыням»? Там бы расходы путевые скорее возместились. Однако я всему предпочту провести время с Вами, ибо Вы милы и дороги душе моей; напишите, пожалуйста, мне пообдуманнее и поопределеннее об этой статье.

Дружески Вас обнимаю и жму Вашу честную руку.

Н. Лесков.

P. S. Напишите непременно, — надо сообразить время и средства.

С. Н. Шубинскому

15 апреля 1883 г., Петербург.

Сергей Николаевич!

Пожалуйста, напишите: когда, то есть в какой день в неделе, Вас наверно и непременно можно заставать дома вечером. Это иначе невозможно. Видеться и переговорить — представляются надобности, а стоять у двери, как хотите, — нельзя. Это просто уж и не по летам, и не по нраву, ни по приличию, — ни по чему не идет, и нигде это не делается, и всяк этого избегать станет. А что до меня, то мне это решительно не по характеру, — как себе хотите. А видеться нужно бывает, чтобы сказать и условиться, какая работа замаячивается в уме. Иное так носишь, носишь, да и бросишь. Нельзя же редактору жить «во свете неприступном» постоянно. Вы это чудите что-то. Говор такой идет, что «что-то секретное делаете». Это теперь неудобно есть.

Ваш *Н. Лесков.*

Будьте дома хоть по воскресеньям с утра до двух. Уж чего еще проще!

С. Н. Шубинскому

23 апреля 1883 г., Шувалове.

Любезнейший Сергей Николаевич!

Посылаю достопочтенству Вашему великую библиографическую редкость — мою записку о расколе. Ее желает получить Семевский, и я имею основание подозревать, что он, пожалуй, на сих днях добыл один ее экземпляр из Академии наук (их отпечатано 80 экз., по числу тогдашних членов государственного совета и попечителей округов. Где остальные — неизвестно, может быть у Головнина). Надо ее напечатать и, пожалуй, немедленно, может быть в июне. Мой экземпляр надо сберечь и *не разрывать его*. Пусть так и набирает, не спеша, один наборщик, прямо с книги, и потом книгу эту мне возвратите. Гонорар желаю самый малый, 50 руб. за лист. Думаю, что это недорого за эту работу, полную живого интереса для историков и для всего раскольничества. — Конечно, нет необходимости помещать всю записку сразу в одной книге, а можно ее разделить на две, по 2 листа.

Да добудьте мне, пожалуйста, «Отеческие записки», где обо мне писано. Это, может быть, даст

мне повод и охоту написать Вам любопытное литературное воспоминание: «Историю романа „Некуда“».

Ваш *Н. Лесков.*

«Южнорусское разноверие», кажется, придется запродать Нотовичу.

В понедельник 25-го вечером жду Вас непременно. Помните, что ведь все сами назвались. Куплю тельца упитанного и дам есть в 12 часов. — Будет, думаю, травля одному либералу и одному Атаве.

Ф. А. Терновскому

23 мая 1883 г., Петербург.

Уважаемый Филипп Алексеевич! Благодарю Вас за письмо Ваше, ставящее меня «на горизонт событий».

Да, в таком положении цели наши согласовать нельзя, и упрямое стремление к тому было бы с нашей стороны малодушеством. Надо покориться обстоятельствам, соблюдая в непокорстве им один дух своего разумения. Скорблю о Вас как о близком и приятном друге, но знаю, что Вы всё встретите и всё вынесете, ибо знаете, где искать утешения. Это само по себе есть утешение: «крепкий млат, дробя стекло, кует булат». Души чистые и нежные, как Ваша, всегда ковки. Из этого, конечно, не следует, чтобы они не страдали много и чтобы за них не замирало сердце. Пусть небо милосердствует о Вас и детях Ваших.

План моей поездки я изменяю совсем иначе: не хочу тащиться никуда далеко, а хочу только оставить город и переехать в место более спокойное, более свежее, зеленое, удобное для купанья и для работы *на месте*. Бог знает, увидишь ли еще что-либо подходящее, а между тем пропу-

тешествуешь немало и без пользы, а купанье в море мне всегда приносило пользу, да и работается в этих тихих купальных городах прекрасно. А потому я все прежние затеи отложил и еду в Аренсбург, на остров Эзель. Это все там в три раза дешевле и в несчетное число удобнее Киева, а мне хочется работать на месте: я, что называется, «забрался работой», так что надо много удобств, чтобы переработать то, за что взялся к осени. Таков, полагаю, и будет мой адрес с 5-го июня: Остр<ов> Эзель, г. Аренсбург, до требования (post restante). Напишите мне свой адрес из Крыма.

Тем я задавать не мастер, но две у меня (есть?): 1) «Молот на разбитие камня веры» — его стиль и дух, вероятность происхождения этого сочинения по его филологическим признакам и т. п., или 2) «Разнохарактерность религиозного сектанства великорусского и малороссийского». То и другое может быть написано при небольшом количестве подручных книг; и то и другое, несомненно, было бы очень интересно и нашло бы себе место без хлопот. Но я в истории не знаток и как могу Вам давать в ней советы или выбирать темы? Я всегда находил, что Вы сами отлично чувствуете, что живо и что может интересовать. По поводу «молота», однако, можно сказать много крайне

любопытного и еще никем не развернутого. Есть ли у Вас хороший экземпляр этой рукописи? У меня есть превосходно писанный четким и красивым полууставом.

О некоем охлаждении нашем с С<увори>ным не сожалейте. Он мог прямо сказать о статье Вашей, что она *ему* «не ко времени» по обстоятельствам, от Лампадоносцева зависящим. Это было бы не храбро, но честно и не обидно, но он смелкодушничал и начал хаять: «Неужто это статья?!» Я промолчал и, напечатав ее в другом месте, показал тем, что «да, это статья, и очень любопытная, — хорошая статья...» Только всей и обиды я ему сделал. Неужто же надо было, чтобы его хамство шагало, как конь Аттилы, — «где наступил — там и трава не растет». Ишь ты! Не много ли чести будет?.. А что «Отечест<венные> записки» сказали мне некоторые любезности, а ему шпильки, то я тому не виноват.

Разлада, то есть распри, между нами нет, но его «оппортунизм» стал такого свойства, что цикл вопросов, в которых бы я мог идти с ним не разноречa, значительно сократился. Вы, чай, читаете, «что» такое он пишет из «дома» и как относится к малейшему с ним несогласию. «Говори искренно», а чуть кто сказал искренно, — тот сейчас, не

говоря худого слова, «подлец». Я, право, не вижу себе роли в таком органе, но, быть может, она и явится, — тогда можно и писать. Но теперь это все не в моем роде.

О плательщичестве пишете напрасно: щедрости большой он никогда не обнаруживал, а неисправных плательщиков теперь уже нет, — это когда-то было, но давно

вывелось. Нынче все исправно платят, даже и вперед, и то людей нет. Лиха беда — было бы что дать, — была бы душа в сборе и работали бы руки. — Нервы измучились и устали от всего вместе взятого, и оттого-то хочется не восвояси перебалтывать все одну и ту же утомительную, скучную и раздражающую болтовню, а хочется к немцам, которые, по крайней мере летом, только купаются и слушают своих плохих соловьев.

Преданный Вам

Н. Лесков.

P. S. «Государственная утопия Леонтьева» сдана в «Новости». Не знаю, когда он насмелится ее тиснуть. Деньги Вам вышлем, вероятно, в июне. — Дух сектантства в Малороссии и Московии мог бы быть очерчен в очерке беглом без критики, а с одною «светотенью», которая вышла бы сама собою. Это живая вещь. — От Феофана ничего не

получал. Письма Жуковского небезынтересны, а личность его очень стоит внимания. Журнал ведется весьма недурно, но в чашке нельзя растворить сахару более, чем можно. Ему нужно или найти капитального честолюбца с хохлацким вкусом, или журнал придется бросить. Чтобы он имел успех, его надо делать *хохлацким*. Иначе он никому не потрафляет. — С Шубинским мои отношения всегда одинаковы и не страдают от «Нов<ого> времени».

С. Н. Шубинскому

23 июля 1883 г., Шувалово.

Уважаемый Сергий Николаевич!

Я живу на даче в Шувалове (по Софийской ул., дача Орлова, № 19) и здесь же видаю Карновича (Парголово, № 136). У него нет «Старины» и стихотворений Лермонтова в переводе Висковатова. Вы, однако, совершенно правы, что стихи эти были и есть в переводе Висковатова, — есть они и отдельными оттисками; но тем не менее и новый их перевод, думается, имеет место. Адрес Минаева: СПб., Озерки, по Выборгскому шоссе, № 39-й (Дм. Дм. Минаев), у Курочкина. Вы ему туда и напишите. Цена его 50 коп. за стих, я это Вам и писал, да, видно, листок мой вывалился из незаклеенного конверта, который надписывал Короленко. — Списывайтесь лучше сами.

Заметка о Марко Вовчке была моя, и я думаю, что Петров ошибается: М. А. не могла быть в Орловском институте, и ее развитие всецело принадлежит ее прекрасному мужу, которого я очень хорошо знал и любил, да и обязан ему всем моим направлением и страстью к литературе. Он давно умер, убитый горем и, может быть, бесславием…

Но на что же Вы будете отвечать? Пусть Петров разъяснит, была ли она в институте, и очерк на характерную и милую личность «пана Опанаса», которого супруга всегда стремилась стушевать ниже Пассека или Карла Бенни, иже недостойни быша разрешись ремень у ног его. Характеризовать, так уж надо правду говорить, а не разводить помои «с Аполлоновых <…>». — М. А. теперь в Харькове вновь замужем за Людовиком № 151-й.

Владелец «мартьяновской улицы» в Озерках бывает часто видим и собирается к Вам в Любань, — звал и меня, но я боюсь не застать Вас дома. — К осени купил у Грота полдюжины карточек с подходящими евангельскими текстами и попытаюсь привезти их к отсутствующему из дома хозяину Вашей квартиры. Капризов у меня нет, и я никогда ничем не нарушил моей к Вам приязни. Не знаю: так ли у Вас?.. Впрочем, обо всем этом не стоит говорить.

Прошу Вас передать мой поклон Екатерине Николаевне.

Преданный Вам
Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

17 августа 1883 г., Шувалово.

Уважаемый Сергей Николаевич! Простите меня, что долго не отвечал Вам. Опять простудился и проболел кряду целый месяц претягостно, начав воспалением горла и продолжав воспалением уха, едва не перешедшем на мозг. Да; живем как рыбы в воде или по крайней мере как лягушки в болоте. Вот наш и отдых! «Бедному жениться, — так и ночь коротка». Что делать. «Покорствуй, раб, небесной воле». — С Минаевым, надеюсь, Вы списались. Мне не по сердцу посредства с ним. Это люди совсем иного фасона. «Подкузьмич» (как называют здесь «солдата»), кажется, не разоряется, но наипаче приобретает и маклерит. Карновичей вижу: *это — моя радость*. Простые вопросы, простые советы, радушное рукопожатие и сердечное слово. Поговорим, и хорошо станет. Литераторов вижу мало. Навещали Максимов и Михневич, — другие навещали, пока было при чем посидеть… Изнемогся я от боли ужасно, и ничего не мог работать. — 27-го думаю переезжать в город. Работаю нынче для Вольфа, а потом имею еще заказов надолго. Вам ничего обещать не могу, да и не

думаю, чтобы Вам это было нужно. «Изобилие материалов» у Вас известное, а Вы только набираете и тем накликаете себе напрасные укоризны. Имя (если угодно) ставьте сколько угодно, но так вообще, — а обещать что-нибудь определенное — я не могу. — Любопытно несколько: где рецензийка о книге «Государственное учение Филарета»? Неужто она о сю пору почитается «опасною», тогда как уже дважды в более резкой форме прошла в «Новостях»? (раз сама по себе, а второй по поводу утопий Леонтьева). Газета может, а «исторический» журнал боится. «Пиши куплет»! Катерине Николаевне кланяюсь. Давно ее не видал. Катенька, чай, выросла на сырости-то. Бедные дети в этой противной природе. А зима — опять то же, что и было. Вас продергивают за «хождение на вести». Имея привычку любить и уважать в Вас многое, я сердечно радуюсь этому, — хотя думаю себе: «Не изоймете его этим: он причину себе вымыслит, что на вести ходить надо». Скучно, тяжко, и вокруг столь подло и столь глупо, что не знаешь, где и дух перевести. Не могу себе простить, что я никогда не усвоил себе французского языка в той мере, чтобы на нем работать как на родном. Я бы часа не остался в России и навсегда. Боюсь, что ее можно совсем возненавидеть со

всеми ее нигилистами и охранителями. Нет ни умов, ни характеров и ни тени достоинства… С чем же идти в жизнь этому стаду, и вдобавок еще самомнящему стаду? — За приглашение на наливки очень благодарю. Наливки у Катерины Николаевны очень хорошие, да — лиха беда — дойти до них трудно, да и вино уже утратило свою веселящую силу. — Все притомилось от тоски, безрадостья и уныния.

Ваш *Н. Лесков.*

С. Н. Шубинскому

20 августа 1883 г., Шувалове.

Получил Ваше вчерашнее письмо. Действительно, дача измучила. Это не отдых, а терзание, а в городе тоже несносно. Все нам худо. И в Киев ездить — тоже тяжело. Что и природа без людей, с которыми можно хоть потосковать вместе! Ужасно тяжело, несносно тяжело! Суворин летит в Париж… Видно, как там ни скверно, а все туда тянет… Бесстыдники! что они пишут и что поддерживают? Положим, от этого хуже не делается, да все-таки — как же не стыдно? Видел Нотовича и Розенгейма, а те видели вчера Краевского, который сказал: «Голос» будет, но это будет не тот «Голос». Газета продана, говорят, Циону, а другие говорят, что Цион — только подставка. Выйдет «Голос» без подписи Краевского и будет орган «консервативный», может быть с некоторым немецким отблеском. Что-то такое, чего и не разберешь, но любопытно, хотя ничего хорошего быть не может. Война у всех на устах, и ее ждут скоро, но, кажется, это в значительной мере поддерживается общеизнурительною скукою всего общества. Вы пишете, что не надо падать духом,

а надо бодриться. Слова нет, что это так, и то ведь всякие силы знают усталость. Столько лет работы и уныния чего-нибудь да стоили душе и телу. Родину-то ведь любил, желал ее видеть ближе к добру, к свету познания и к правде, а вместо того — либо поганое нигилистничание, либо пошлое пяченье назад, «домой», то есть в допетровскую дурость и кривду. Как с этим «бодриться»? Одно средство — презирать и ненавидеть эту родину, а быть философом и холодным человеком… Но до этого без мук не дойдешь. И на небе ни просвета, везде minimum мысли. Все истинно честное и благородное сникло: оно вредно и отстраняется, — люди, достойные одного презрения, идут в гору… Бедная родина! С кем она встретит испытания, если они суждены ей?

Стихотворение о том, как Вы ходите аккуратно «на вести», имело, очевидно, в виду не лето, а период действительно бывший. Но ведь это шутка и ничего более. Историю Петра продергивали за «сухое, мертвенное изложение». Не знаю, — основательно или нет. «Подкузьмич» — делец неутомимый. Его здесь зовут «шуваловский маклер». Он «на обухе рожь молотит». — Видел в 31 № «Живописного обозрения» мой портрет, гравированный Панемакером. По-моему, очень

нехорошо и с очень плохой моей фотографии. — Обещать Вам я все-таки ничего не могу. Была работка, подходившая Вам («Апокрифические предания о юности Гоголя»), да я ее продал, а теперь очень забрался работою и подороже Вашего и не на такой ужасный (между нами говоря) лист. А не хотите ли Вы взять работку у Сергея Максимова? Это что-то о Сибири. Думаю, что должно быть не без интереса. — За всякое приветливое слово «лобзает Вы душа моя», и поверьте, что я не в долгу у Вас… Да, да; далеко не в долгу. Оттого, может быть, мне и было нечто особенно больно. Литературное общество — злое и безучастливое (хуже чиновников), и я в нем всегда сторонился, но тем более любил тех, в ком встречал черты живого человеколюбия и участливости. Отрадой мне было увидеть все это в Вас, и Вы знаете, как я расположился к Вам всею душою, даже и посейчас, а Вам зачем-то надо было меня как-то выставить со стороны мне даже и несвойственной. Вот и все. Это меня очень огорчило, но я добрые стороны Ваши очень ценю и нареканиям на Вас не верю. Время гнусное, но тем теснее надо добрым людям стоять друг возле друга и поддерживать друг в друге веру в человека.

Видел нашего старичка-Милючка, и слышал,

как он «сопутствовал» Григорию Петровичу в его имения, слышал, как он своим блекотанием встречал Авс<еенко> словами: «А я по вас соскучился». Кто с кем соединился и смешался? Как же не любить Карповичей, Костомарова и еще тех, кто кое-как несет свою скорбь одиноко, не якшаясь направо и налево, а сохраняя душу свою хотя в некотором возможном опрятстве. И Вы способны это отмечать и ценить, да вдруг — возьмете да и выдадите своего, — невесть для чего! Право, это ставят Вам в вину!

Преданный Вам

Н. Лесков.

В среду непременно хочу переехать в город. Весь размок здесь.

А. С. Суворину

8 октября 1883 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

В высокой степени любопытно то, что Лев Толстой сделал, но «Петерб<ургские> ведом<ости>» врут, что он отказался будто потому, что христианину нельзя судить. Есть текст «по суду любящих имя твое — спаси мя». Судить самый высокий христианин *может*, и суд его будет благ, ибо, «любя имя божие», он может «спасти», а не погубить. Судиться «у своих», то есть у *верующих*, даже повелевается св. писанием. — Дело, вероятно, зависело от присяга, от ее убийственного для христианской совести текста, повелевающего нам «клясться богом». Я об этом в прошлом году давал заметку Вам. Гей ее (в Ваше отсутствие) счел негодною — и возвратил, — она напечатана под моим же именем у Аксакова, с заглавием «Снедаемое слово». Многие не произносят — «снедают» — слова присяги, — Толстой, очевидно, на это лукавство не согласился. Но он не один таков. Из военного министерства ко мне приезжал три раза казачий генерал Хрещатицкий, присланный по поводу той же моей статьи в «Руси», с прось-

бою комиссии по учреждению войск «составить новый, иной текст присяги», так как и в войсках люди (особенно казаки) тяготятся ужасающими клятвами русской присяги. Я два раза отклонял от себя это, но потом составил новый текст присяги, кажется довольно удачно. Хрещатицкий опять приехал ко мне благодарить меня и передавал «общий восторг». Присяга написана коротко, стильно, в христианском духе, без угрожений и самонадеянности.

Нынче по зиме это должно решиться *для войск*, но доколе же будет оставаться все это в нынешнем возмутительном виде для людей гражданских! Случай с Толстым слишком благоприятен, чтобы теперь промолчать об этом в чуткой газете. По крайней мере я так думаю и за напоминание о том прошу у Вас извинения.

Имя генерала Хрещатицкого, конечно, неудобно упоминать, но о деле, думается, можно бы написать хорошую передовую статейку.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

А Толстому, знаете ли, чего хочется!.. Он совсем онародовел и «жаждет *пострадать*». Поверьте, что это *так!*

А. С. Суворину

9 октября 1883 г., Петербург.

С величайшим бы удовольствием исполнил, о чем Вы мне пишете, Алексей Сергеевич, но я завтра уезжаю в Москву и теперь весь в сборах и хлопотах; а это надо написать спокойно и хорошенько. По приезде назад с радостью это сделаю. Это ведь не к спеху.

О Льве Н. Толстом я совершенно тех же мыслей, как и Вы, но это не исключает сбыточности моих предположений насчет «желания» пострадовать. Он будет рад, если его позовут к суду за ересь, но этого, как Вы справедливо думаете, — не будет. *Желание* пострадовать ведь даже прямо выражено им в конце его предисловия к его евангелию. Вихляется он — несомненно, но точку он видит верную: христианство есть учение *жизненное*, а не отвлеченное, и испорчено оно тем, что его делали отвлеченностью. «Все религии хороши, пока их не испортили жрецы». У нас византиизм, а не христианство, и Толстой против этого бьется с достоинством, желая указать в евангелии не столько «путь к небу», сколько «*смысл жизни*». Есть места, где он даже сопри-

касается с идеями Бокля. Старое христианство просто, видимо, отжило и для «смысла жизни» уже ничего сделать не может.

На церковность не для чего злиться, но хлопотать надо не о ней. Ее время прошло и никогда более не возвратится, между тем как цели христианства *вечны*.

Поступки Толстого «есть чудачество», но оно в народном духе.

Разве Вы думаете, там тоже не чудачат? Но ведь без этого нельзя. — По приезде приду к Вам и поговорим.

Ваш *Н. Лесков*.

С. Н. Шубинскому

20 октября 1883 г., Петербург.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Вчера я вернулся из Москвы, куда ездил не праздно: сделал некоторые свои книжные дела и кое-что добыл по части рукописей. Одна покупка есть превосходная — рукопись попа города Великих Лук: «Удивительные повести о семи мудрецах», 1702 года. Повести *превосходные* бог весть с какого латинского оригинала, — все любовные и действительно «удивительные». Напечатаны они нигде не были, и я полагаю, что мой экземпляр есть *уника*, в чем удостоверяет меня и Гатцук, хороший знаток старой литературы. Писано все уставом, с заставицами и зачальными литерами. Добра в них очень много, и прелюбопытного. Есть и еще нечто, но это самое дорогое и поистине *прелюбопытное*.

Прошу Вас, буде не слишком обременены материалом, — повидаться со мною. Я дома у себя ежедневно от 6 до 8 час. вечера, а когда Вы принимаете без отказа, — это мне по-прежнему остается неизвестно.

Так как «удивительные повести» могут быть

гожи и для других изданий, которые ко мне обращаются за работами, то я просил бы Вас мне ответить: предвидится ли Вам в них надобность или нет? Повести все маленькие. С уставного письма я не могу сообразить точно, как с своей рукописи, но думаю, что каждая повесть не более одного листа, и читаться будут они со смехом и с интересом. Похабности в них есть, но простодушные, как в «Тысяче и одной ночи». По-моему — это клад для исторического журнала. Жалуйте!

Преданный Вам

Н. Лесков.

Письма 1884 года

С. Н. Шубинскому

8 февраля 1884 г., Петербург.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Я послал Вам вчера письмо о деле, а возвратясь домой, нашел у себя Ваше письмо об обедах. Очень благодарю тех, кто обо мне вспомнил и поручил Вам пригласить меня; благодарю и Вас, что Вы приняли на себя это поручение. Затем, разумеется, оставалось бы только сказать по-архиерейски: «благодарю, приемлю и ни что же вопреки глаголю». Обаче нечто нудит меня ко иному, несколько пространнейшему ответу.

Во-первых, я нахожусь в сомнении: действительно ли кто-то поручил Вам «пригласить» меня? Не есть ли это только Ваша личная ко мне любезность, или, быть может, это товарищеская любезность С. Н. Терпигорева.

И во-вторых, я опасаюсь: не сделаю ли я неприятности моим присутствием каким-нибудь другим, менее ко мне расположенным членам редакции, из тех, например, которые имеют достаточные причины меня презирать и оберегать от общения со мною свое превосходство?

Я, к сожалению, не могу считать Вас столько

простым, прямым и искренним, чтобы не допускать возможности употребления с Вашей стороны шутки, которая может меня поставить в такое неловкое положение, какого я сносить не умею. Это уже было, и один раз очень досадительно (по поводу моего удаления в трактир для заговора с Михневичем против авторов «Медеи»). Дай бог, чтобы ничего такого же не случилось второй раз.

Осторожность же по отношению к чистотелу некоторых сотрудников газеты, в которой я лишен удобства принимать литературное участие, мне внушают многие приметы, из коих позволю себе обратить Ваше, дружеское внимание на две, самые свежие:

а) один из влиятельнейших сотрудников этого издания на днях рассказывал в Палкинском трактире, что «А. С. не знает, как от меня избавиться». «Имени, говорит, его (то есть меня) не печатают, так он без имени статейки тычет. С<увори>н хохочет… Теперь велел и их не печатать». Это было говорено при множестве людей, в числе коих находился один сотрудник «Вестника Европы», и он на другой день говорил это у Пыпина.

б) на сих же днях другой, еще более крепкий газете сотрудник, в том же месте, при чиновнике,

близком Победоносцеву, порицал меня за неблагочестие и неблаговерие и за неблагодарность к С-ну, который будто, «наконец, освободил от меня свою газету».

Я не имею ни малейшего неудовольствия к уму одного из этих господ и к честности другого и верю, что А. С. С-н ничего этого не говорил, что ему приписывается., Я знаю, что в нем есть столько душевной чистоплотности, вкуса и гадливости. Поэтому, когда он меня позвал к себе в дом, я, нимало не рассуждая, тотчас же к нему пошел. Я его хорошо знаю и не обманусь в том, чему на его счет можно верить, а чему нет. Но идти в коллективное собрание, состоящее из лиц, отомщевающих на мне их собственное ничтожество, но никогда не сытых смутьянством, — я без зова самого Суворина не могу. Это не кичливость, но простая осторожность. Я не знаю, кто это Вас просил пригласить меня, и не считаю за невозможное, что это как раз именно и есть те же самые литераторы, которые желают в моем появлении дать наглядное доказательство тому, как я искательно дорожу их сообществом и «надоедаю С-ну». Вы же, быть может, этого не знаете, а быть может, и сами шутите, как случилось с заговором о «Медее». Во всяком случае, если это

даже и пустяки, то пустяки гадкие и препротивные, и я не желаю давать пищи ни сплетникам синодального прокурора, ни каверзникам редакции Стасюлевича. А потому думайте и говорите обо мне заочно все, что Вам угодно, но в личном присутствии имейте мя отреченна.

Никогда никакого зла Вам не сделавший

Н. Лесков.

М. И. Пыляеву

9 августа 1884 г., Петербург.

Уважаемый Михаил Иванович!

Во мне всегда была, — не знаю, счастливая или несчастная, — слабость увлекаться тем или другим родом искусства. Так я пристращался к иконописи, к народному песнотворчеству, к врачеванию, к реставраторству и пр. Думалось мне, что это уже и прошло, но я ошибся: разговоры с Вами и Ваша книга о «драгоценных камнях» потянули меня, на новые увлечения, и как из всякого такого увлечения я всегда стремился создать нечто «обратное», то и теперь со мною случилось то же самое.

Мне неотразимо хочется написать суеверно-фантастический рассказ, который бы держался на страсти к драгоценным камням и на соединении с этою страстью веры в их таинственное влияние. Я это и начал и озаглавил повесть «Огненный гранат» и эпиграфом взял пять строчек из Вашей книги, а характер лица заимствовал из черт, какие видел и наблюдал летом в Праге между семействами гранатных торговцев. Но чувствую, что мне недостает знакомства с старин-

ными суеверными взглядами на камни, и хотел бы знать какие-нибудь *истории* из каменной торговли. На этом останавливаюсь и с этим к Вам прибегаю, как к доброму товарищу и не только дорогому литературному другу, но и к такому редкому человеку, который, помимо своих специальных знаний, понимает, что именно нужно мне для затеваемого мною баснословия вроде «Запечатленного ангела». — Укажите мне (и поскорее, — пока горит охота), где и что именно я могу прочитать полезное в моих *беллетристических* целях о камнях вообще и о пиропах в особенности. Пиропов я насмотрелся вволю и красоту их понял, усвоил и возлюбил, так что мне писать хочется, но надо бы не наврать вздор. Вы много знаете, очень живо и образно говорите об этих вещах и очень можете меня наставить. Пожалуйста, не откажите мне в совете, если не личном, то письменном, — чего я буду ждать от Вас с уверенностию в Вашу милую мне приязнь и с упованием, что она остается для меня неизменною.

Искренно Вас любящий и уважающий

Н. Лесков.

Дома я всегда от 6 до 9 час. вечера. В Праге вспоминали Вас часто.

В. Г. Черткову

15 октября 1884 г., Петербург.

Милостивый государь
Владимир Григорьевич!

Я получил письмо, адресованное Вами мне через редакцию газеты «Новости». Письмо это нимало меня не оскорбляет, но несколько удивляет. Если Вы читаете «Новости», то Вы, вероятно, встретили там мое возражение «Петербургским ведомостям», которые усмотрели в моей заметке о к<нязе> Мещерском горячее заступничество за Пашкова. Того же мнения были и другие газеты и лица, мнения которых выражал г. Авсеенко. Но Вы и В. А. Пашков усмотрели совсем иное — именно, «обиду» и насмешки… Кто-нибудь из Вас не так понял, как следует, но я не нахожу Ваше отношение ко мне основательным. Надо писать так, как можно писать, и не поступать по пословице: «гнет — не парит, а сломит — не тужит». Я не вижу причины, чтобы люди христианских убеждений непременно являлись бестактными и всегда представляли себя так, чтобы их брали как простофиль. Я пишу, имея в виду то, что мне всего дороже, и жертвую кое-чем, что, по-моему, не

важно, не существенно и никому не вредит. Иначе бы надо было только вздыхать да молчать.

Я не нахожу, чтобы это было умно и полезно.

Прошу Вас принять уверение в моем к Вам уважении.

Ваш покорнейший слуга

Н. Лесков.

П. К. Щебальскому

16 октября 1884 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Письмо Ваше я получил и что-нибудь Вам пришлю для Вашего «Дневника», а Вы, пожалуйста, пришлите-ка мне «Дневник», которого я *никогда* не видал, да окажите-ка мне дружескую услугу, которую *лишь Вы один* и можете оказать.

В 44 № дружески ко мне расположенного, очень умненького и чистенького «Еженед<ельного> обозрения» было напечатано следующее:

«Это во-первых. А во-вторых, что сделали наши рыцари чистой литературной воды, чтобы выделиться из среды деятелей навозной журналистики? Есть ли у них хоть слабое подобие общих интересов, поползновение сплотиться и идти дружно рука об руку, — или же все врозь ползут? Некогда пробовали учредить третейский *суд чести* и испугались насмешек тех, кому это неудобно было. В прошлом году затевали что-то вроде литературных обедов, и пока, кажется, ничего из этого не вышло. Сделали ли далее что-нибудь наши литераторы, чтобы возвысить в глазах публики свое значение, или просто-на-

просто хотят напомнить ей о существовании „литературного сословия“? Сколько раз затевали праздновать юбилей тех или иных писателей, и всегда дело ограничивалось словами или келейным торжеством. Не далее как в прошлом году много толковали об юбилее симпатичной писательницы, пишущей под псевдонимом В. Крестовского (не Всеволода Крестовского), на настоящий год, если не ошибаемся, также отложен юбилей Н. С. Лескова и еще кого-то другого. Что же сделано? А ведь, во всяком случае, это силы крупные в нашей небогатой талантами литературе. Теперь на очереди юбилей литературного фонда. Хотелось бы знать, будет ли он отпразднован торжественнее, чем — ну хоть, например, юбилей Обуховской больницы, знаменитой только тем, что в ней никто почти не выздоравливает?»

В ответ на это я 16 октября напечатал в 286 № «Новостей» следующее:

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

об обеде Н. С. Лескову

В 44 № «Еженедельного обозрения» упоминается о намерении почтить меня каким-то знаком внимания по поводу исполнившегося двадцатипятилетия моих

занятий литературою. Там сказано, что намерение это «отложено» на 1884 год.

Дозвольте мне сказать, что это намерение *не отложено, а совсем оставлено* по усердной моей просьбе, для которой я имею уважительные в моих глазах причины.

Николай Лесков.

15 октября 1884 г.
С-Петербург.

За этим таится перетолковывание, — будто я «ломаюсь», а мне самому не только неловко, но и совсем неудобно пространно объясняться.

Вы ближе многих знаете, какой тернистый путь проходил я по литературному полю и каких мерзостей только не подбрасывали мне под ноги мои собратия… И за что? Что злого и бесчестного написал я? Началось с «Некуда», собственно со 2-й части, где я картинами показал, что либерализмом драпируются мошенники и что с таким сбродом честно-либеральным людям «идти некуда». Но ведь то и сталось! В «Расточителе» я показал, как бессудно было время дореформенных судов, и между тем *все*, и во главе всех тогдашние «Петербургские ведомости» (Кор-

ша), руками Суворина и Буренина писали, что я «опошляю *новый суд*», — хотя заключительные слова драмы таковы: «И вот какими *нас новый суд застал*». Меня не только подозревали в шпионстве, но печатаю уверяли, что «Некуда» написано «по заказу (разумеется, III отделения)», тогда как «Некуда» переносило *усиленную* цензуру: его читал цензор де Роберти, а за ним поверял Веселаго, а за ним М. Н. Турунов, и еще некоторые главы посылали в III отделение. «Некуда» измарано цензурою жестоко. Там выпускались целые главы. «Расточителя» боялись брать на сцену актеры, что их «заругают», а вот «Расточителю» 20 лет, *и он до сей поры не сходит с репертуара в провинции* и каждый год приносит мне гонорар. Лучшие годы жизни и сил я слонялся по маленьким газеткам да по духовным журнальчикам, где мне платили по 30 р. за лист, а без того я умер бы с голоду со всем семейством. И одно духовенство действительно явило мне любовь. Нынче по осени в Казани вышла книга «Духовные типы в русской литературе, где эпиграфом взято место из „Соборян“» (слова Туберозова в благодарность светской литературе). Туберозов поставлен *первым* в числе типов, и даже сказано, что все другие писатели были, конечно, «подражателями». Меж-

ду тем в изданном томе писем Ф. Достоевского он говорит даже о какой-то моей «гениальности» и упоминает о «*странном* моем положении в русской литературе», а печатно и он лукавил и старался затенять меня. Что же я мог бы вспомнить на обеде, сделанном в мою «честь»? Что я мог бы по совести высказать, кроме обиды и досады за низкие и подлые клеветы? Не лучше ли было отклонить это? — что я и сделал… И опять — я знаю, что мысль почтить меня родилась тоже в кружках духовенства и людей «верующих», но о чем могли бы мы говорить? Поговорите об этом со своей совестью и по расположению ко мне.

Н. Лесков.

Недавно еще «Нов<ое> время» в отсутствии Суворина обозвало меня «фарисеем». <Вы зн>аете — какой я фарисей? Что я написал в фарисейском духе?

С. Н. Шубинскому

<Вторая половина октября 1884 г., Петербург>.

Я очень рад, что силуэт Боброва Вам понравился и Вы его напечатаете. Я бы советовал сделать с него «фотогравюру». Он стоит этого. Нет сомнения, что шарж тут есть, но легкий и не безобразный, а «во вкусе века». Притом все говорят, что портрет этот «имеет поразительное сходство». Притом, что за фигура! Другой такой выдумать невозможно.

Кое-что (очень немного) я Вам напишу к портрету. Это я сделаю, когда Вам будет «нужно, и это будет очень немного, так что затруднений в гонорарном отношении быть не может. Вы заплатите, что найдете нужным по „сиротскому положению“ своего журнала.» — Если же справедливо то, что носится в публике и что мне сообщают, — будто Вы или Ал. С. Суворин «дали Феоктистову обязательство, что я не буду писать для „Исторического вестника“», — то я Вам дам к портрету Боброва несколько строчек безымянных. — А если это правда, то я этим нимало не обижаюсь, но, откровенно сказать, очень хочу

знать и непременно буду знать: кто это из Вас двоих был так малодушен, что дозволил делать себе внушения и еще отвечал на них?.. Вот век и вот характеры! Это, видно, не Катков с Ковалевским, и даже не… Нет; неужто это правда? Неужто Вы изъяснялись, извинялись и обещали «воздержаться»? Неужто можно допустить над собою такой срам и унижение! Как он должен уважать Вас, — он, которого даже Авсеенко презирает и презирать не боится…

Горишь со стыда, слыша такие вести… И особенно мне обидно за Вас… И зачем Вам было давать такие слова, когда Вы, верно, знаете, что я в жизнь мою никогда и ни одному редактору не предложил работы иначе, как по его просьбе. Зачем мне эта благодать, и чем полтинник «Исторического вестника» выгоднее рубля из другого кармана? — Простите, что все это говорю Вам, но я не люблю таить злобы на сердце, — а Вы, наверно, дали к этому какой-нибудь повод.

Н. Л.

С. Н. Шубинскому

28 октября 1884 г., Петербург.

Очень рад, что заметка Вам нравится. — Заглавие перемените. Пусть будет: «Один из трех праведников». Я думал, что надо непременно «к портрету». Так и соедините: вверху крупно поставьте «Один из трех праведников», а ниже, в скобках, «к портрету А. П. Боброва».

Это будет хорошо. — Догадка Ваша насчет литографии, быть может, верна, и потому вычеркните все, что касается моих догадок насчет портрета китайскою тушью. Это неважно, но проговариваться не надо, когда есть сомнение. — О Костомарове глубоко скорблю. Это был настоящий писатель и человек с литературною честностью, каких все становится менее и менее. «Память его будет с похвалами» и «во благих водворится». Он пожил и потрудился довольно, но без него станет пусто.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Н. С. Аксакову

10 ноября 1884 г., Петербург.

Досточтимый Иван Сергеевич!

Не знаю, в милости я у Вас ныне или в немилости? Со дня памяти митрополита Филарета Дроздова Вы лишили меня «Руси». Гнев оный ощущаю. Филарета же чтить не могу, но обаче всегда в добром к Вам почтении пребываю и просьбы или поручения Ваши помню.

В последний раз как Вы писали мне с присылкою гонорара за «Левшу», Вы просили меня, «если случится штучка *особенная*, обточенная и обделанная», то чтобы прислать ее Вам для «Руси».

С той поры ничего такого не было.

Здесь не надобно звона гуслярного, —
Подавай им товара базарного.

Осужденные биться из-за «буар, манже и сортир», — поспеваем лишь подавать то, что вприспешню требуется; но трафится штучка, которую облюбуешь и для своего удовольствия сделаешь по-иному. То случилось и ныне. Стал я заготовлять к р<ождеству> Х<ристову> фантастический рассказец и увлекся им и стал его

отделывать, а потом, как отделал, стало мне его жаль метнуть туда, куда думалось. И ту помянуся мне слово Ваше последнее, и в нем Вы соблаговолите выпеть вину сего моего, писания. Рассказец очень маленький (в пол-листа), фантастический, касается государя Александра Николаевича и «его камня». Истолкователем выведен старый гранильщик, чех с «сухих гор Мереница». Разумеется, все почтительно и (думается) вполне *оригинально*. Это поэтический каприз, «штучка», кунстштюк, где вымысел стоплен с действительностию и отливает и горным суеверием и ужасною действительностию. Прислать или не надо? Отпишите, государь, а я всегда Ваш слуга и послушник

Николай Лесков.

P. S. Насчет «возвращения правительства» Вы были превосходны. Рассказ, о котором пишу Вам, называется «Подземный вещун». — Место для него наилучшее было бы в рождественскую пору, ибо он *фантастичен*, хотя и не весел, более грустен. Он совсем готов и переписывается.

Терновский, умирая, написал карандашом:

«Одно неприятно в моей смерти, что Победоносцеву покажется, будто он убил меня». Теперь ищут «главу Климента», украденную в Киеве мос-

ковскими иерархами. Говорят, будто она в Кремле и ее можно узнать с помощию «краниологии». — То ли еще не заботятся о вере христианской?!!

Кстати — это разыскание было намечено Дроздовым. — «Целая эпоха» то, значит, с ним не «сошла в землю», а еще довольно ее и на земле осталось.

С. И. Шубинскому

21 декабря 1884 г., Петербург.

Имел честь получить письмо Ваше, Сергей Николаевич! Замечание Ваше о заглавии — неверно. Заглавие метко и едко. Но, может быть, оно неудобно. Предлагаю Вам два на выбор:

1) «Площадной скандал» или

2) «Всенародный гросфатер».

Выбирайте одно из трех. — Далее я ничего предлагать не могу и *не желаю*. Я даю заглавие *по первому впечатлению*. Все, что Вы пойдете выдумывать, — будет хуже.

При несогласии Вашем на одно из этих заглавий прошу Вас немедленно рукопись мне возвратить. Объяснений у нас на этот счет, конечно, не будет.

Деньги мне не необходимы, но мне нежелательно ходить в учреждение, где их выдают. А потому, если работы мои Вам угодны, — прошу Вас тотчас учесть их по таксе Вашей можливости и прислать мне деньги, как и другие мне присылают. — Деньги я имею обычай получать вперед, по учете рукописи, и иного правила держаться *нехочу*.

«Слова» вычеркивать можете, мысли целые — нет.

Ваш слуга

Н. Лесков.

А. Е. Разоренову

<1834 г.>

Только вчера, друг мой Алексей Ермилович, посвятил вечерок пересмотру Ваших стихов. Есть среди них вещи очень и очень недурные, но отделывать их вы или не умеете, или же совсем не хотите. Так писать нельзя. Помните, что основное правило всякого писателя — переделывать, перечеркивать, перемарывать, вставлять, сглаживать и снова переделывать. Иначе ничего не выйдет. Стихи так же, как и всякое беллетристическое произведение, — не газетная статья, которую можно набирать с карандашной заметки. Не знаю, знаком ли вам следующий случай из жизни нашего историка Карамзина. Когда появились его повести, один из тогдашних поэтов, Глинка, спросил автора: «Откуда у вас такой дивный слог?» — «Все из камина, батюшка!» — отвечал Карамзин. Тот в недоумении. «Не смеется ли?» — думает. «А я, видите ли, — отвечает, — напишу, переправлю, перепишу, а старое — в камин. Потом подожду денька три, опять за переделки принимаюсь, снова перепишу, а старое — опять в камин! Наконец уж и переделывать нечего: все

превосходно. Тогда — в набор». Советую и вам поступать так же с вашими стихами. Мысли в них попадаются хорошие, да форма далеко не всегда литературная. Нынче к стихам строго относятся. Уж больно приелись все эти фигляры, которые пред публикой наизнанку вывертываются за гривенники и двугривенные. Надо иметь особенно сильное дарование, чтобы стать впереди других, заставить о себе говорить. Такие даровитые люди, как известно, не плодятся, как летние грибы, а появляются веками. Конечно, в литературе нашей нет трезвенных слов. Вместо руководящей критики то и дело приходится наталкиваться на полемические статьи бравурно-развязного тона, с потугами и недомолвками, берущими через край. Одно время у нас совсем не было критики, даже газетные рецензии встречались редко. Оно и лучше было. Разве может быть теперь такая здравая критика, которая руководила бы не одних начинающих писателей, а освещала бы путь, давала бы добрые советы и тем, кто достаточно окреп на литературной дороге? В наше время разгильдяйства и шатаний отошли в вечность такие имена, как Белинский, Добролюбов, Писарев. Теперь люди, которым нет места на поприще изящной словесности, взялись за картонные ме-

чи и давай размахивать ими направо и налево: берегись — расшибу! Это люди, озлобленные собственной неудачей. Вот почему я не советую вам слушаться и прислушиваться к мнению таких горе-критиков. Работайте по-прежнему, не обращая ни на кого внимания. Я не поэт, и давать вам совета не стану. Но если есть божья искра, она не потухнет. Вот мое последнее слово.

Истинный ваш доброжелатель

Ник. Лесков.

А. С. Суворину (?)

<1884 г.>

Я отдал Литературе всю жизнь и предал ей все, что мог получить приятного в этой жизни, а потому я не в силах трактовать о ней с точки зрения поставщичьей. По мне пусть наши журналы хоть вовсе не выходят, но пусть не печатают того, что портит ясность понятий. Я не то что не понимаю современного положения печати, а я его знаю, понимаю, но не хочу им стеснять себя в том, что для меня всего дороже: я не должен «соблазнить» ни одного из меньших меня и должен не прятать под стол, а нести на виду до могилы тот светоч разумения, который дан мне тем, перед очами которого я себя чувствую и непреложно верю, что я от него пришел и к нему опять уйду. Не дивитесь этому, что я так говорю, и не смейтесь: я верую так, как говорю, к этой верою жив я и крепок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому и ничего, — и лгать не стану и дурное назову дурным кому угодно. Некоторые лица все это приписывают во мне «непониманию». Они ошибаются: я все достаточно понимаю, а не хочу со всеми мириться, и как я сторонюсь от сопри-

казными и злодеями, то мне не надо ни изучать их ближайшие привычки, ни мириться с ними. Я уже старик, — мне жить остается немного, и я желаю дожить дни мои, делая, что могу, и не мирясь с «соблазнителями смысла». У меня есть свои святые люди, которые пробудили во мне сознание человеческого родства со всем миром. До чтения их я был «барчук», а потом «око мое просветлело» и я их считаю очень дорогими людьми, и вот их-то именно теперь и принято похабить и предавать шельмованию рукою ничтожных лиц, ведомых всем по их злобе, лжи, клеветничеству и сплетничеству…

А. С. Суворину

<Конец 1884 г.>

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Против «составителя брошур», то есть Льва Толстого, выпущена книга — очень глупая. Я об ней написал статейку, кажется не совсем глупую. Я люблю и почитаю этого писателя и слежу за его делом страстно. Мне дорого тоже, что мои писания о нем его не огорчают. Но мне все приходится пробираться и побираться, где бы можно сказать о Толстом не банальное, шаблонное слово. Трудно это очень, и я не понимаю почему? — Статейку свою я отдал переписать четким почерком, собственно для Вас, чтобы Вы прочли ее, не посылая в набор, и потом бы не сердились и не уклонялись под такими причинами, которые не достойны ни Толстого, ни Вас, ни даже меня и наших с Вами отношений. Я люблю Ваши литературные мнения и охотно их слушаю, когда они искренни, а когда они не искренни — я их понимаю и сожалею. — Статейка вполне цензурна и занимательна, но, конечно, не по вкусу тем, кто эту глупость задумал. — Черкните мне: станете ли Вы читать мою маленькую тетрадку (3

почтовые листка), — и тогда я Вам пришлю. Когда прочитаете и увидите, что это Вам не годится, — возвратите и не сердитесь, потому что сердиться дурно, и не за что, и вредно, и скучно, и т. д. А объяснить — почему возвратите — не надо.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

Письма 1885 года

С. Н. Шубинскому

10 сентября 1885 г., Петербург.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Я всегда «содержу Вас в памяти» и всегда рад доставить «Ист<орическому> вестнику» что-либо живое и интересное. Мне очень приятно было встретить несколько убедительных для меня доказательств, что в публике, читающей Ваш журнал, есть люди, очень дружественно встречающие мое имя и даже ожидающие моих работ. Поработали мы вместе уже немало и, как видится, не без успеха. Мне было даже странно слышать порою внимание именно к моим работам в «Ист<орическом> вестнике», и притом всегда с сочувствием к тому, что принято называть «интересом» и «направлением». Нас одобряют люди зрелого возраста и с удовольствием читают юноши. Это отрадно. Дай бог, чтобы, перетрясая недалекую старину, мы положили свою лепту на то, чтобы сохранить и провести до лучших времен добрые предания литературы, окончательно, кажется, позабывшей свое благородное призвание и обратившейся в прислужничество, за которое надо краснеть.

С посланными Вам статьями поступите как хотите. Обе они небезынтересны — особенно «Бракоразводное забвенье».

Имею к Вам и просьбу: великое душевное расстройство, которое я перенес из-за неудачного сына, лишало меня возможности подумать о работе в течение целого лета и осени. Только теперь, отправив его в Киев, в юнкерское училище, я взялся за работу и желаю не покладывать рук. Плата за его подготовление, отправка, снаряжение и проч. стоили еще около 700 рублей. Это потрясло мой бюджет, и я чувствую некоторое денежное стеснение. Не можете ли Вы (если можете) исходатайствовать мне у Алексея Сергеевича аванс под работу, Вам сданную, в размере рублей двести? Это, быть может, не превысит того, что я Вам сдал, но если бы и превысило, то не беда, — я (как вы знаете) в денежных делах аккуратен и в долгу не остаюсь. А между тем теперь я нуждаюсь. Если можно — сделайте мне эту нимало не опасную для кредита издания услугу.

Об издании рассказов Алексей Сергеевич говорил со мною, но мне показалось, будто неохотно, а потом тут сряду вышла история у его сыновей с Вольфом, и мне казалось несвоевременно и некстати докучать с делом мелким и мало-

ценным. А тут подвернулся покупщик, и я все рассказы продал.

Преданный Вам

Н. Лесков.

А. С. Суворину

<Ноябрь 1885 г., Петербург>

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

У меня был Острогорский и сказывал об участии, которое Вы приняли в горестном положении женщины, жившей с Пальмом.

Я всегда был уверен в добрых движениях Вашего сердца, но боюсь за Ваши недосуги, за которыми нетрудно многое упустить и позабыть, а потому позволяю себе сказать Вам, чту именно было бы теперь всего нужнее для этой женщины и особенно для ребенка, которому всего два года.

Они буквально без приюта. Ждать помощи им неоткуда. Острогорский собирает лит<ературиое> чтение. Что оно принесет, — это неизвестно. В лучшем случае — рублей 200–300. — Потом попробуем выпустить сборник, по возможности из хороших старых отрывков, а не из нового дарового хлама. Опыт «Складня» показал, что это лучше. Можно ли надеяться, что Вы окажете кредит для издания сборника, с тем, разумеется, чтобы издание поступило в Ваш магазин и было оплачено на общих основаниях?

Без уверенности в таком кредите нам трудно

соображать далее.

Кроме того, — не позволите ли Вы просить Вашего содействия, чтобы в число лиц, обыкновенно принимаемых временно, на время новогодней подписки, взяли именно эту, Ольгу Александровну Елшину?.. Сколько бы ей ни положили за ее занятия, — она все-таки найдет в этом и денежное подспорье и нравственный кураж. А последнее тоже очень много значит. — «Ждать» — это ужасное томление!..

И еще один вопрос: не сочтете ли возможным дозволить кому-нибудь из нас, при посредстве Вашей газеты, снять с своей головы шляпу и просить у добрых людей помощи для дитяти? Я не вижу, чего скрываться и через то дать остынуть участию и оставить ребенка почти на верную гибель. Матери двадцать три года… «Утешится она, и друга лучший друг забудет», но дитя надо приютить… Если позволите писать мне, — я испрошу дозволения у матери этой крошки и стану кланяться миру.

Позвольте мне знать Ваше мнение.

Всегда преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

26 декабря 1885 г., Петербург

Я в большом затруднении, как Вам ответить, уважаемый Сергей Николаевич! Цензурные стеснения в разработке тех исторических вопросов, которые мне наиболее по сердцу и наиболее по плечу моему, — совсем меня подавили. Я переглядел весь мой сырой материал и ужаснулся… Весь подбор, все соприкасается тем или иным боком к истории церковного управления. Я люблю, чтобы мои счеты были чисты и аккуратны и обеспечили все, что забирал у Вас, готовыми работами, отделанными старательно и совестливо, и вот — ничто готовое и сданное в печать не проходит!.. Какая досада! — Я постараюсь найти что-либо светское, но это не будет то, чем я люблю служить «Ист<орическому> вестнику». Постараюсь, но… обещать не смею к сроку.

Суворин меня очень обрадовал: рассказ его в рождественском номере исполнен силы и прелести и притом — смел чертовски. Это написано так живо и сочно, что брызжет на читателя не только горячею кровью, но даже и спермой… По смелой реальности и верности жизни я не знаю равного

этому маленькому, но превосходнейшему рассказу. Я думаю, что если бы он не сам написал этот мастерской рассказ, то он бы отказался его напечатать. Я более всего рад, что талант его жив и цел и ни годы хандры, ни иные причины его не упразднили. Рассказ дышит силою и зрелостью ума, глядящего зорко и опытно. Словом, это прекрасно, несмотря на несоответствующее заглавие и на несколько скомканное окончание. Какая бы из этого могла выйти драма!.. И, однако, ее на сцену бы не допустили. В общей экономии картины холуй остался не выписан, а тут два-три штриха могли потрясти читателя глубже, чем все остальное, написанное страстно и с удивительною жизненностью. «Орлу обновишася крила его». В этом рассказе материала художественного на целую повесть, в которой анализа можно было обнаружить столько, сколько его не обнаруживал нигде Достоевский. И притом — какого анализа? — не «раскопки душевных нужников» (как говорил Писемский), а Погружение в страсть и в казнь за нее страстью же (страстью лакея). Это не «пустяки», а «преступление и наказание» по преимуществу. Суворин сжег в этот рождественский вечер в своем камине не «рождественский чурбак», а целый дуб, под ветвями которого

разыгралось бы много дум. За это на него можно сердиться. Так глубоко не всегда заколупишь. Жаль, если этот рассказ останется мало замеченным, — а это возможно, как возможно и то, что его справедливые *направленские* рецензенты назовут «клубничным» и т. п.

Ваш *Н. Лесков*.

P. S. Она могла в трех строках рассказать, как она в первый раз отдалась лакею… Ее томил страх после смерти любовника… она не опала, ей что-то чудилось… лакей вышел из ниши, где тот погиб, и тут его смелость и нахальство и ее отчаяние. Думала отделаться одним мгновеньем, а он ввел это в хроническое дело… У нее явилось что-нибудь вроде не бывшей (ранее страсти к духам… она все обтирала руки (как леди Макбет), чтобы от нее не пахло его противным прикосновением. Эта новая ее привычка до развязки рассказа увеличивала бы силу чего-то в и ей совершающегося. — Очень глубокий и сильный рассказ!

В Орловской губернии было нечто в этом роде. Дама попалась в руки своего кучера и дошла до сумасшествия, все обтираясь духами, чтобы от нее «конским потом не пахло». — Лакей у Суворина недостаточно чувствуется читателем, — его тирания над жертвою почти не представляется, и

потому к этой женщине нет того сострадания, которое автор непременно должен был постараться вызвать, как по требованиям художественной полноты положения, так и потому, чтобы сердцу читателя было на чем с нею помириться и пожалеть ее, как существо, оттерпевшее свою муку. По крайней мере я так чувствую, а может быть, и он тоже.

Н. Л.

Иначе все как-то легко сошло… Очень уж легко.

А. С. Суворину

28 декабря 1885 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Соловьеву нельзя не ответить. Ведь это вопрос очень живой, и над тем, что говорит о нем Соловьев, будут смеяться, как над глупостью. — «Четвертое колесо» не имеет обидного смысла, а выпустить его — значит не противопоставить самого сильного сравнения, контрирующего с «альфой и омегой». — Снять «четвертое колесо» — все равно что сварить уху без рыбы. Тогда и болтай вздор по-соловьевски. Я люблю и иногда умею ставить эти вещи кратко и в упор. Если же это, по Вашему мнению, боязно, то делать нечего: оставим Соловьева проповедовать его благоглупости. — Огорчаться этим я не подумаю.

Рассказ Ваш действительно превосходен. Вы до него ничего столь хорошо не написали. Вы посмотрите-ка за собою: не это ли и есть Ваш жанр, до которого Вы вон когда только докопались… Это очень глубоко, умно и сильно сделано. Лакей не должен был заявить свои претензии в ту же ночь, как убрал тело… Я так не думал. Это было бы грубо и противохудожественно. Нет, — он ее

томил взглядами, она страдала от мысли, что он «чего-то» еще хочет. Ум ей налгал, что — «нет, — этого не может быть». Она сочла за унижение его остерегаться, — а он тут-то ее и оседлал. Вы бы написали это прелестно. — Стремление «отогнать противный запах» есть характерная черта женщин, спавших с мужчинами, возобладавшими ими насилием того или иного рода. — Убрать тело лакея было необходимо. Это Вам правду сказали. От этого конец и вышел скомкан.

Что же Вы не поставите заметочку о друге моем, великом часовщике Эриксоне? Ведь он действительно такая знаменитость, какою каждая обсерватория в Европе желала бы обладать. Его мастерская — это восторг, и его приспособление к выверке хронометров в произвольной температуре введено теперь им впервые в России.

Статейку о Соловьеве прикажите разобрать.

Рассказ свой наклейте на листок и допишите ему две сцены: первое — проклятое соитие с лакеем (в последнем рассказе дамы) и уборку тела лакея. Если не сделаете этого теперь, то после так хорошо не выйдет.

Ваш *Н. Лесков*.

Письма 1886 года

А. С. Суворину

16 января 1886 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Прилагаю Вам статью о календаре графа Льва Толстого, который печатается здесь на моих глазах. Статья написана по корректуре. Книга должна выйти через два дня. Цензурою она пропущена (к удивлению моему). Для газеты, конечно, хорошо, чтобы статья упредила выход книги за день. Для этого и поспешаю. — Статья, конечно, вполне цензурна. Не прикажете ли ее немедленно набрать и прислать мне корректуру, так как все писано мною страшно наспех. Я сделаю поправки по корректоре и сообщу Вам накануне о дне выхода книги; но набор должен быть готов, чтобы его можно было тотчас поставить по приказанию Вашему.

Преданный Вам

Н. Лесков.

А. С. Суворину

28 февраля 1886 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Усердно благодарю Вас, что в сегодняшний знаменательный для Вас день Вы вспомнили обо мне и почтили меня приглашением, от Вас и от имени Вашей супруги Я очень ценю этот знак Вашего внимания и внимания Анны Ивановны.

Лично прибыть на радушный зов Ваш не могу, по нездоровью и некоторым иным обстоятельствам, угнетающим душу; но всеусердно прошу Вас верить моей радости за успех, которым венчались труды Ваши в истекшее десятилетие. Припоминаю прошедшее, гляжу на настоящее и сердечно желаю еще лучшего будущего. А если бы кто-нибудь по душе спросил меня: чего же я могу пожелать Вам в настоящем, втором десятилетии? — то я сказал бы, что желаю Вам того, что многие почитают для Вас гибельным, — я желал бы Вам поработать еще при лучших условиях для свободы совести и слова… Вы бы доказали тогда, что успех может принадлежать Вам не в силу сторонних обстоятельств, а по праву таланта и знания своего дела. И тот успех, без сомнения,

оживит Вас и даст Вам такие радости, которые милы и дороги при всяком благополучии.

Этих-то радостей я Вам и желаю, как самый старый Ваш литературный сотоварищ, никогда во всю жизнь не нарушавший своей к Вам приязни.

Николай Лесков.

А. С. Суворину

3 марта 1886 г., Петербург.

Простите меня, старый коллега, что я два дня не ответил на Ваше дорогое и милое письмо! Я Вам не лгал: я болен, и еще больше — расстроен. Я был бы «не к пиру гость», но я был все время с Вами, и притом очень близко и очень приятно. — До 12 час. я говорил и спорил о Вас и внушал добрые к Вам чувства, находя в собственной душе моей для Вас мир и благословение. «Несть бо человек, иже поживет и не согрешит». — До 5 часов утра я читал полученные из Москвы новые тетрадки Льва Толстого и… все время с Вами… Я чувствовал: «как он до святости искренен!» И слышал, как это Вас радовало и восторгало. — В 5 час. я сам открыл бутылку красного вина и выпил ее всю за Ваше здоровье, — причем подошел к окну, поглядел в Вашу сторону и сказал: «Будь, друг, счастлив!» На другой день нашел у подушки Ваше прекрасное письмо и… рассмеялся. Выходит, что мы оба всю эту ночь были вместе, и притом в самом хорошем друг к другу настроении… Много ли таких воспоминаний в жизни!.. Я свернул Ваше письмо и положил его в своей божничке строгановскому

Спасу за спину. Он у меня бережет то, что мне нравственно дорого.

Спасибо Вам за это письмо.

Что мы не умеем сойтись плотнее, — это, конечно, досадно, но хорошо и то, что добрые чувства все-таки живут в нас.

Я зайду скоро, а пока напечатайте-ка прилагаемую заметочку о пасквильных акростихах. Поэт тут упоминаемый есть Д. Минаев. Событие, разумеется, верно, как то, что я чту имя божие.

Ваш *Н. Лесков*.

P. S. А замечаете ли Вы, что Лев Толстой и в нынешнем своем настроении *оживляет* литературу. Он шевелит совесть, будит мысль, переустанавливает точки зрения на лица и репутации… Сколько бы дела и интереса для независимой критики, чтобы все это разобрать и оценить! Отчего же этим не занимаются? Ведь это живо, любопытно и полезно!

А. С. Суворину

<Март 1886 г., Петербург>

Я не в претензии, Алексей Сергеевич, но на «тетрадки» указывать можно, и на них люди указывают (например, Скабичевский). Другое дело — «неудобно». Тут все сказано.

О Розенберге — пустяки. Это дело забавное и интересное для редакторов, которые сами часто подпадают диффамациям.

Вообще же пусть ничто из этого Вас нимало не стесняет.

«Китрадки», по миновании в них надобности, мне возвратите.

Если бы со стороны железнодорожников было возражение, — я Вам пришлю указание на конкретный случай в этом роде.

Преданный Вам

Н. Лесков.

P. S. Щебальский Аксакова терпеть не мог… «С.-П<етербургские> в<едомости>» соврали. — Щеб. лицо искреннее, а не направленское, как Аксаков. Его характеристика, может быть, не велика, но оригинальна: Петр Карлович — это тот, который «Каткову не уважал» и, будучи крайне

беден, умел держать перед собою в решпекте даже Леонтьева. А сухой Любимов и надменный Феоктистов дорожили честью знакомства этого голого бедняка. — Как «литературный характер» это был самый благородный и вполне независимый человек и патриот с превосходным тактом. Славянофилы его всегда не любили и отягчали его судьбу в Москве, а Щ. считал их «людьми своего вкуса», для которых нужны «декорации». Очень жаль, что такое характерное лицо остается помянутым совсем по-казенному. — В литературе, кажется, нет уже и тени литературного вкуса и преданий.

Н. Л.

С. Н. Шубинскому

<Апрель 1886 г., Петербург>

В статье Штромберга было не 600 строк, а 196 строк. В таком наборе она стояла два месяца за неимением места. — 27-го марта мне прислали корректуру с просьбою «сократить». Я еще сократил на 80 строк. Всего осталось в статье 116 строк. — Я поспешил тотчас известить автора, что мною корректура уже прочитана и статья завтра выйдет… С тех пор прошло пять дней, и 116 строкам нет места… Понимаете ли Вы мое положение? Да будет проклята эта минута, когда Вы сочли нужным отдать эту статьишку в «Новое время» и там вызвались ее напечатать! На что мне это было нужно, чтобы выйти свиньею из свиней перед людьми добрыми к оказывавшими мне дружбу. В «Новостях», в «Пет<ербургской> газете», в «Русских ведомостях», в «Газете Гатцука» — везде бы это мне напечатали, и я бы услужил людям, а теперь я с ними навсегда расстался… Для чего Вы мне это сделали? Чем я заслужил такую предательскую гадость? И наконец — будет ли же этому конец? Имейте же хоть каплю сострадания. Вы ведь не в лесу выросли.

Н. Л.

С. Н. Шубинскому

3 апреля 1886 г., Петербург.

Высокочтимый генерал!

Мне до глубины души больно, если я в самом деле огорчил или «обидел» Вас моею запискою. Вы знаете и не можете не знать, что я Вас горячо и искренно люблю и уважаю, а потому огорчить Вас умышленно я не могу. Но, может быть, в словах моих было что-нибудь неуместное. Простите мне это, дорогой и милый друг мой Сергей Николаевич! Как я узнал об этом, так сейчас же поехал к Вам лично просить не извинения, а прощения. Так я всегда делаю, чтобы наказать себя за несдержанность и дать тому, перед кем виноват, — самое полное удовлетворение, какое человек человеку дать может.

Самое дело не стоит слов, на него потраченных. Рекламой можно назвать все — даже статьи о Богдановиче и о Григоровиче. Но и это наплевать. А не надо было держать статью и давать обещание, не читая ее… Была бы она где-нибудь мною приткнута, и мне было бы спокойно, — а мне только и нужно. Посмотрите-ко, что я получал ежедневно… Это было очень неприятно. — Теперь я

положил сообщенную Вами переписку в конверт и отослал ее, и мне спокойно: человек увидит, что я свое дело сделал и даже обруган за это. Знаменитым людям «какой-то Ш<тромберг>» — все равно, а для меня это сосед, приятель, оказывавший мне услуги, и я не могу так презрительно относиться к людям вообще.

В отношении Вас виновата форма «памятных листков». Они очень удобны, но всегда отдают какою-то резкостью. Так пенсне делает дерзким лицо. Оскорбить же Вас я не желал и еще в третий раз говорю Вам: простите меня, Христа ради!

Преданный Вам

Н. Лесков.

А. С. Суворину

8 апреля 1886 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

Праздную радостное для меня событие! Сегодня получил из Вашего магазина расчет, из коего явствует, что все мой издания, у Вас сделанные, окупились, и мне еще следует получение в 104 руб — vivat! Да еще из Москвы нет счета, а там тоже что-нибудь продано… Но главное то, что я Вас ни подо что не подвел и Вы на мне ни копейки не потеряли. Это все мое самолюбие. Да еще не забудьте, что я забирал ежегодно (рублей на 80—100 книг, и это тоже все погашено изданиями. Зачем же Вас тревожили и пугали и отбили от издания «Обойденных», которое идет у Тузова благополучно?..

«Очарованный странник», попавший умнице Комарову, лежал восемь лет в погребу и потом продан С. Истомину, у которого я его забирал по 60 коп. назад. Ступин Истомин был рыночник и, может быть, поступил со мною нечестно, — он мне будто отдал все, что у него было; а быть может, он, как больной человек, и сам не знал, что у него есть в складе. Но, как бы то ни было, после его

смерти его наследник нашел еще связки «Странника». Я вчера его обязал предъявить мне все, что у него есть, и он объявил мне, что у него, может быть, есть «экземпляров 100–120». Он их продает только с уступкою 20 %. Я у него возьму все с уступкою 40 %, то есть по 60 коп. за экземпляр, и предлагаю эту книгу (100 или 120 экз.) Алексею Алексеевичу по той же цене, за которую сам надеюсь выкупить весь остаток. — Затем предлагаю «Левшу» по полтине за рубль, то есть по 20 коп. за экз. вместо 40 коп. — «Смех и горе» по 75 коп. вместо 1 руб. 50 коп., «Шерамура» по 75 коп. вместо 1 руб. 50 коп. и «Некуда» по 1 руб. 50 коп. вместо 3 рублей. — «Странник», «Левша», «Шерамур» и «Смех и горе» — это книжки самые железнодорожные. Вы их знаете и можете судить, правду ли я говорю. Покупка эта для Вас небезвыгодна, а мне более нет нужды иметь книги на комиссии, и надо с ними развязаться. Если не возьмете их Вы, — я должен буду продать их кому-нибудь другому. Ваш же опыт показал, что книги эти в торговом смысле безопасны, — особенно с такою большою скидкою, какую я предлагаю. Если же на какую-либо из них и эта цена кажется высокою, — скажите без церемонии, и постараемся сойтись. Я только не вижу причины — почему

мне не сделаться с Вами, а идти к кому-либо другому? Может быть, и Вы с этим согласитесь.

Затем «Очарованного странника» сейчас же (к зиме) надо издать в одном томе с «Левшою», под одним общим заглавием: «Молодцы». Они пойдут и не могут не идти теперь. Вместе они составят 12–13 листов и могут идти по 1 рублю, не мешая остатку «Левши» (по 40 коп.) и «Страннику» (по 60). Притом 120 экз. «Странника», конечно, до тех пор и распродадутся. «Странник» убит или, лучше сказать, заморен глупым издателем, томившим его восемь лет в погребе. Так и книгу «О женщинах» можно было заморить. Но ему надо дать выход, и он пойдет. Не иное что, а его надо было переводить г-же Коскуль на французский язык. Он занимателен, оригинален, и от него «Рысью пахнет». Мне жаль видеть, что из него сделал Комаров.

Пожалуйста, не оставьте моего письма без внимания и без ответа. Я очень болен, и мне надо ехать полечиться и надо свои дела справить. Вишневский же в воскресенье верно изобразил меня у Вас в вымышленной им беседе с Лейкиным. Там неправда только то, что будто у меня «есть зависти причина», — я никому и ничему не завидую. Только так еще и можно сносить

кое-что.

Преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

22 мая 1886 г., Петербург.

Извините меня, достоуважаемый Сергей Николаевич, что я не могу послать Вам теперь рукопись «Повесть о боголюбезном скоморохе». Повесть еще немножечко не закончена, и притом она в самом примитивном виде, то есть вся измаранная. Ее надо переписать, выправить и еще раз переписать. Это у меня так делается. Иначе — вещь не в своем виде. — Далее можно говорить только о Вас, который иногда бывает любопытнее всякой повести о скоморохе. Я Вам писал, что повесть вполне цензурна, а Вы мне отвечаете: «Я не верю». Почему это? Разве не я сам всегда удерживал Вас, когда Вы хотели посылать рукописи мало-мальски сомнительные? — Вы не можете сказать, что это было не так! Потом, — разве, Вы думаете, я мало горд для того, чтобы не давать поводов говорить обо мне с Феоктистовым?.. Или я так глухо писал Вам, что в повести о скоморохе нет ничего религиозного, — до того, что даже не упоминается ни про евангелие, ни про церковь, ни про попа, ни про дьякона, ни про звонаря. Словом — нет ничего относящегося к церкви,

а только сюжет заимствован. Живет скоморох, хочет исправиться, но не может, потому что все увлекается состраданием к несчастным, а в конце ему говорят, что ему уже и исправляться не в чем. Даже бздёху ладонного, и того нет, а есть просто очень любопытная повесть, написанная с изучением и старанием. — Я очень рад, что она Вас испугала и что Вы мне не верите. Это Вас займет и сделает Вам приятное досаждение от самого себя.

Очень сожалею о Ваших семейных неблагополучиях. Мое здоровье тоже очень худо — так худо, что не знаю, как и ехать.

Желаю Вам благополучного лета.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

14 июня 1886 г., Петербург.

Достоуважаемый Сергей Николаевич!

Четыре дня, как я уже хожу и даже помаленьку выхожу из дому. Работы для Вас сделал две: «Повесть о скоморохе» и статью «О женских способностях и о противлении злу». Первая написана вся, но вчерне, — только «вдоль», а еще не «впоперек». В ней от 3 1/2 до 2-х листов. Ее надо отшлифовывать и переписывать, что я и сделаю в Аренсбурге, куда пора уехать. Статья состоит из большого, в 2 печатные листа письма Пирогова к Эдифе Фед<оровне> Раден о значении дел вел. кн. Елены Павловны, с моим предисловием и послесловием. Объем ее от трех до трех с половиной листов. Это статья в высшей степени интересная в историческом и философском смысле, имеющая живое отношение к вопросам о женщинах и о противлении злу, которые коверкает юродственно Толстой. Воззрения Пирогова, конечно, противоположны воззрениям Толстого и уничтожают сии последние и умом и серьезностью авторитета Пирогова. Статья два раза переписана и доведена до отделки, выше которой я дать уже

не могу. Она совсем готова к печати, и по существу трактуемого в ней предмета ее надо не задерживать. Она имеет большой интерес исторический и еще больший современный. На случай указано в рукописи место, где удобно разделить статью надвое. Это на 17-м листе. Если же не захотите делить, — тем лучше. Как мне досталось это письмо Пирогова, писанное к Раден, — объяснено в самом начале статьи. Вы, может быть, не знаете, что я по рекомендации Грота и Победоносцева (!) был приглашен в Михайловский дворец, чтобы принять на себя составление «Истории деятельности вел. кн. Елены Павл.», и имел в своих руках многие ее бумаги, а от «истории» отказался. Письмо Пирогова (на немецком языке) Раден дала мне с тем, что оно мне, «может быть, пригодится». Я сделал себе с него перевод и берег его до лучшего случая Случай этот теперь настал Семевский слыхал об этом письме и искал его, но не нашел, потому что оно у меня. Статья совершенно цензурна, и я ею очень дорожу. Это вдохновительно, серьезно и умно, и теперь кстати. — И так мною для Ваз изготовлено 7–8 листов работы, из коих 3–3 1/2 в совершенно отделанном виде сегодня же сдаются Короленко. (Что это так, то есть, что статья сегодня будет сдана, — я надеюсь, Вы мне

поверите.) Теперь о деньгах, которые нужны, чтобы ехать. Усердно прошу Вас доверить мне, что работа сдана Короленке, и выслать мне, если можно завтра, записку на получение 350 рублей, которые мне необходимы. В невольном долгу, образовавшемся на мне от запрещений, теперь останется около 200 рублей, которые и отчислятся из повести, для Вас написанной. К концу июля Вы ее получите, и тогда долг будет не за мною, а за редакциею. Гатцуку, «России» и «Варшавскому дневнику» я отказал в этой повести и никому, кроме «Исторического вестника», ее не отдам. Вы, кажется, имеете ко мне доверие и можете ее считать, как бы она была у Вас в портфеле. Не отнимайте только у меня удовольствия ее на свободе выправить и отделать.

Прошу Вас сердечно — отвечайте мне скоро и удовлетворительно, чтобы я опять не разболелся и не закис тут безнадежно.

Облегчение я получил от лекарства, которое мне прислал аптекарь, без доктора. Три месяца я пострадал!.. Как я измучился, как изнемог, — Вы того и представить не можете. Рвусь в теплые грязи и на чистый воздух.

Поклон мой Екатерине Николаевне.

Пожалуйста, отвечайте тотчас.

Ваш *Н. Лесков.*

Мои «Соборяне» переведены и вышли в «Универсальной библиотеке». Это был мне совершенный сюрприз. — Теперь должны скоро выйти по-французски «На краю света» и рассказы из «Исторического вестника». — Конечно, я пальцем не шевелил, чтобы это было сделано.

С. Н. Шубинскому

17 июня 1886 г., Петербург.

Благодарю Вас, любезный друг Сергей Николаевич, за исполнение моей просьбы и за милое письмо. Помимо того, что провидению угодно было дозволить нам обоим любить честность и благородство поступков, мы с Вами достаточно съели соли и горечи вместе, чтобы знать друг друга и один другому верить. Это отрадно и это в то же время есть своего рода право и обязательство. Статья, которую я Вам сдал (о Пирогове) есть, по моему мнению, не только любопытная и современная, но и драгоценная для «исторического» журнала. Это перл пироговской задушевности. И кого, как не его одного, можно поставить в упор против учительных бредней Л. Н. Толстого — Знаю, что Вы неохотно даете такие статьи в летнее время, и понимаю, почему это делается, но думаю, что на этот случай надо бы немножко отступить от правила. Теперь идут всё прожекты уничтожения женских курсов, и в женских сферах стоит страшное возбуждение. Таким настроением, мне кажется, издание должно воспользоваться — особенно когда оно может

дать не фразы, а веское слово авторитетного лица, подкрепленное ссылками на факты из такой замечательной эпохи, как Крымская война. Притом тут взгляды Елены Павловны, которая имела массу почитателей — ныне ренегатов. Женщины чутки, и они отлично разносят вести о всем их касающемся. — Впрочем, я ни на чем не настаиваю, а я только советую. «Усматривайте полезное», — как говорит митрополит Платон.

Купил 57 записей о скандалах 30—40-х годов и заплатил 60 рублей. — Очень любопытно. Стану писать. Назову: «Шепотники и фантазеры. Апокрифы, вымыслы и шутки безмолвной поры».

(Эпиграф): «Беста им рвения велико на всяку прю, на зависти, и клеветы, и рети, и шептания, и плища, и суесловия, и инии дьячество имяху за шепты» (Акты ист., I и II, 381, 367).

Сделаем это вроде «Мелочей архиерейской жизни» и потянем отрывками на полгода, то есть книг нашесть, листа по 1 1/2. — Материал не строго достоверный, но любопытный по характеристике времени. Вообще я очень набрался историческим материалом и за все заплатил наличными. Купил тоже заметки «о помилованиях». Это очень важно к мотивам суда присяжных и само по себе прелюбопытно. Зато не найду

рукописи «об архиерейских хиротониях». — Ал<ексей> Петр<ович> Коломнин взял у меня на короткое время литографированные статьи Льва Толстого, да и позабыл их у себя. Боюсь, не пропали бы! Пожалуйста, при свидании спросите его о них, и если они ему не нужны, то возьмите и приберегите их у себя до моего возвращения. Из Аренсбурга, вероятно, Вам напишу. Еду на корабле «Адмирал» 20-го числа, в пятницу. Здоровье кое-как служит пока. Как бы только добраться. Времени для лечения остается очень немного. Надо грязи, а потом купанье. Напуганность во мне огромная — ветерка боюсь. — Поклон мой Катерине Николаевне и Катеньке.

Преданный Вам

Н. Лесков.

P. S. Ахилла открывает мне двери в европейскую литературу. Получил требования на согласие из Лондона и из Бадена. Конечно, все это само собою — без всяких моих забот.

А. С. Суворину

29 сентября 1886 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Очень хотел бы повидаться с Вами, да моя сироточка девочка заболела дифтеритом, и хотя я поместил ее в больницу Ольденбургского, однако сам хожу туда ее посещать и затем боюсь входить в дома, где есть дети.

Посылаю Вам статейку, чтобы прикончить вопрос о притеснении русских на рижских пароходах. При посредстве «Нов<ого> времени» мы провели это дело славно, — все выяснили, всех заинтересовали и довели дело до конца — или до того предела, до которого литература может вести общественное дело, помогая власти. Прочтете и увидите, что мы в три хода кончили кампанию, за которую Вам множество людей скажут спасибо.

Теперь о другом. По поводу же этого, но о другом, — хотя в том же роде.

Прожив изрядное количество лет, и много перечитав, и много переглядев во всех концах России, я порою чувствую себя как «Микула Селянинович», которого «тяготила тяга» знания родной земли, и нет тогда терпения сносить в

молчании то, что подчас городят пишущие люди, оглядывающие Русь не с извозчичьего «передка» (как мы езжали за три целковых из Орла в Киев), а «лётком летя», из вагона экстренного поезда. Все у них мимолетом — и наблюдения, и опыты, и заметки… Всему этому так и быть следует, ибо «всякой вещи есть свое время под солнцем», — протяжные троечники отошли, а железные дороги их лучше, но опыт и знание все-таки своей цены стоят, да и покоя не дают. То напишу я заметку Вам, то Нотовичу, то Худекову, и они, кажется, везде читаются и даже будто замечаются и, быть может, отличаются от скорохвата. С. Н. Шубинский говорит, будто он везде меня узнает, а Худеков говорит, что «простые читатели» меня «одобряют». А мне что-то, наконец, надоело этак раскидываться повсюду… «И ту вспомянуся мне глагол некий», недавно усмотренный при перечитывании Ваших писем (числом 31!!), иде же глаголется: «Я сотрудничеству Вашему всегда рад». И я тоже рад, да оно у нас не клеится (хотя мы всегда отменно дружелюбно расходимся. Это я приписываю моей искренности и, может быть, чересчур чуткой щекотливости). Но хочу я еще раз предложить Вам вот что: не найдете ли Вы для себя желательным и удобным, чтобы я писал

мои «Наблюдения, опыты и заметки» одному Вам, не отрывочно, а в размере фельетона, не в срочные дни, а по мере, как они у меня набираются от встреч с людьми и от чтения газет и книжек? Гонорар мне все платят 15 коп., и Вы тоже, и я этим доволен и больше ничего не требую, но только прошу, чтобы мой фельетон (раза два в месяц) не шел ни в чей приходский день, а шел на затычку — когда нет стихарного звонаря. (Я терпеть не могу никому мешать в работе) — В том, что называется «направлением», я, конечно, не со всем согласен, что иногда в «Н<овом> вре<мени>» пишут, но я и не верю, чтобы было возможно соглашение мыслей по всем пунктам, которых должно бывает касаться большое издание. Надо иметь ум и литературные понятия, которые, по моему имению, есть у Вас и не вполне отсутствуют у меня. Следовательно, есть то, о чем нечего распространяться, но на чем можно хорошо держаться. Немножко же разноречия даже и не мешает, — оно живит и разнообразит взгляды и веселит чтение. Итак, — если Вы мне по-прежнему «рады», то хотите ли Вы иметь «Наблюдения, опыты и заметки» Н. С. Лескова?

Повторяю: они будут пестрые, — о чем попало, но всегда по поводу чего-либо недавно случив-

шегося и непременно из такой сферы жизни, которая мне хорошо известна.

Ваш смиренный ересиарх

Николай.

А. С. Суворину

8 октября 1886 г., Петербург.

Очень благодарен Вам, Алексей Сергеевич, за присланное Вами вчера письмо. Вы отгадали, — я был очень неприятно смущен тем, что Вы мне не ответили. Я знал, что я ничем не заслужил такого ко мне отношения, и только это одно меня успокаивало и сдерживало от сильного желания сказать Вам, что полное невнимание Ваше мне показалось очень тяжело. Как-никак ведь мы старики, и нам обидеть друг друга нехорошо. Притом я писал так просто, что письмо мое не могло Вас ни затруднить, ни рассердить. Я знал, что Вы могли бы сказать мне: «Я знаю, что Вы можете сделать это хорошо, но Вы иногда упрямы, а газета требует», и т. д. И я бы сказал, что Вы правы, и нимало бы не обиделся. Словом, я был смущен, и теперь утешен тем, что Вы и это поняли и загладили добрым словом.

Соображения Ваши нахожу правильными. Фельетоны действительно «полонят» газету, и притом сами они совсем не фельетоны. Но публика привыкла искать «под чертою» чего-то более живого, более легкого и житейского, — стало

быть, «публике надо потрафлять».

Но заведенные Вами «полуфельетоны» тоже привились, и их ищут в газете. Таковы «маленькие фельетоны» и «маленькие хроники». К ним под кадриль будут и «Наблюдения и заметки». Для фельетонов в настоящем их смысле я и не годен. У меня есть опыт и некоторое здравомыслие или то, что называют «деловитость», но остроумие, составляющее душу в фельетонах, мне, к сожалению, совсем несвойственно. Я могу вывесть язвительное сопоставление, но у меня нет игривости и остроты. А потому мне даже лучше говорить в деловом тоне заметок. В 300 строках, конечно, иногда можно высказаться, а иногда и нет. Каков предмет и сколько приходится перебрать фактов. Ставьте мои заметки где Вам угодно — вверху или внизу. Мне это все равно. Разводить многословия я не люблю, но желаю всегда выяснить дело до основания. Писать буду всегда по поводу чего-нибудь текущего. Начну с Л. Толстого и, быть может, немножко удивлю Вас, показав Вам нечто такое, что все прозевали. Меня мучило его положение «о непротивлении злу». Негодяи считают это себе на руку, а глупцы вопят, видя в этом «уничтожение смысла жизни». (Их забота ершиться с противлением.) Но я не понимал дол-

го и сам: что это такое? Как, в самом деле! Неужто, если пьяный солдат насилует девочку-ребенка (как было в ботаническом саду в Киеве), я должен стоять и смотреть, «не сопротивляясь злу», а не отнять насилуемую и не сбросить насильника? Я послал через одного человека этот и два другие примера и еще усиливался понять — не говорит ли Т. глупость? Наконец я получил помощь от чужой головы и понял сам то, что и всем надо бы давно понять, но что не понято, собственно, по страстности отношений врагов и друзей Толстого и по их верхолетству. С этого и начнем «Наблюдения и заметки». Вы увидите, что «противление злу» у Толстого есть, и насильники напрасно считают, что он им выгоден. И это любопытно, и на 300 строках это можно усиливаться «высказать», но не знаю, удастся ли в таком объеме довести это, то есть доказать точно фактами из его же собственных сочинений. А у него это построено правильной лестницей, которой никто, однако, не замечает.

Будьте веселы и здоровы, а я начинаю писать, — чего и Вам желаю.

Болгаре меня утешают. Вот она Nemesis![27] Вот

---

[27] Примечания: 27
Немезида, судьба (*лат.*).

она, ирония и кара за презрение к умам, к честности и к дарованиям! Какое унижение, и как усердно оно заслужено!

У Вас был намек о «дипломатической иерархии», да не доведено до дела. Их перемещают совершенно как архиереев (что противно канону), и даже есть поповское «местонаследие». Есть роды дипломатов, прямо с правами на «приход», — например какие-то Кудрявцевы в Испании и кто-то в Португалии. Все это самая вопиющая бездарность, и все «стыдятся русских»... Есть на их счет хороший анекдот Рост<ислава> Фаддеева.

Через две недели кончится мой карантин, и тогда забегу повидаться.

Ваш слуга

Н. Лесков.

Пыляева статьи, по-моему, превосходны, — они и любопытны и очень теплы, что встречается теперь как редкость. — Чехов хорошо вырабатывается.

С. Н. Шубинскому

29 октября 1886 г., Петербург.

Нелегкая дернула меня послать Суворину статью о Толстом (о противлении злу). Конечно, статья резонная и не против того, что пишет «Н<овое> в<ремя>». — Ее держат уже месяц. Корректура давно исправлена. Статью ставят и вынимают и в это время, вероятно, нервничают и меня ругают…

Пособите, пожалуйста: возьмите эту статью оттуда от греха. Я в месте помещения не стеснен и очень на себя досадую, что обременил моим предложением «Новое время». Все это Вы виноваты со своим подзуживанием… Пожалуйста, возьмите оттиск, и все будет кончено. Ни претензии, ни объяснения причин — ничего. Я и так все знаю.

Ваш *Н. Лесков.*

А. С. Суворину

<1886 г>

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

Еще раз простите меня, невежу. Получил Ваш прекрасный и щедрый дар и все надеялся обмогнуться и пойти поблагодарить Вас, а вместо того день за днем мне стало хуже, и я теперь совсем разболелся. — Покорно Вас благодарю за экземпляры «Горе от ума». Они очень, очень изящны. Статья Ваша — живая и чуткая. Гарусовским списком, думается, Вы, однако, напрасно пренебрегаете. Некто Алферьев в Москве имел тетрадь, где «Горе от ума» было списано его рукою, а на ней, — не знаю, по какому случаю, — была грибоедовскою рукою сделана надпись: «Верно. — Грибоедов», и стояло какое-то число. Тетрадь эта долго жила у нас в семье, и я по ней впервые выучил «Горе от ума», на котором было написано автором «верно». И то было вполне схоже с Гарусовым.

Признательный Вам

Н. Лесков.

Письма 1887 года

А. С. Суворину

24 января 1887 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

С. Н. Шубинский сказал мне, что Вам будто неприятно, что Вы мне возвратили статейку о календаре гр. Толстого, потому что я такой человек, который «обижается». — Мне очень отрадно было услыхать, что Вас озабочивает, не обидели ли Вы меня? Благодарю Вас за это доброе чувство и уверяю Вас, что я нимало Вами не обижен. Замечания Ваши верны, но не во всем. Выписки были велики, но все очень содержательны и: оригинальны. То, что установляет Толстой во взгляде на солдатство и на сельское соседство, — вполне ново, умно и оригинально. Конечно, писать об этом лучше бы в «Сельском вестнике», но ведь там календарь Толстого разбирать не станут. Почему же газета общего характера не может интересоваться оригинальнейшим изменением взглядов народа о сокращенном солдатстве, о котором никто из нас и одного слова не умел проговорить в толк? — Очевидно, моя статейка попала Вам под «дурной стих» (что я видел даже *по почерку* письма), и Вы сорвали на ней свое

неудовольствие… Это мне так кажется, и я об этом жалею, потому что все-таки я больше кое-кого разумею в том, что заготовляется Толстым для народа, и никогда не бываю его рабом и других ему в ноги не укладываю. Я понимаю толк в народной книжке, и что я сказал о Толстом, то принято как «дельное слово», а его «Винокур» (с немецкого) и «Коготок» есть вещи скучные и не имеющие той цены, какую силятся им придать хвалители Толстого. Это и доказать легко.

Пожалуйста, не думайте обо мне так, что я будто все «обижаюсь», как барышня. Ей-ей — это неправда. Я только не бойцуюсь. Устал и разлюбил всякий горячий спор и всякое «противление». Ведь все равно я бы Вас не разубедил в том, что Вам показалось. Лучше смолчать.

А я бы на Вашем месте не один раз сказал об этом календаре гр. Толстого, а двенадцать раз: именно каждое 1-е число месяца я бы выписал толстовский совет. И это все бы прочитали, и поговорили бы, и сами бы кое-что о сельском быте узнали. Вот это было бы доброе служение честному стремлению Толстого, а не то что хвалить его, как цыганскую лошадь… Чего его нахваливать? Его надо *внушать* в том, где он говорит дело, а не расхваливать, как выводного

коня. С ним и вокруг него ведь много нового. Это живой и необычайно искренний человек. Дух его не «горит» (что любил Аксаков даже в письме к Кокореву о денежных делах), а этот «*летит*, как вержение камня», уже «склоняющегося к земле». Его надо отмечать во всякой точке, удобной для наблюдения, ну да что же поделаешь, если этого негде сделать? Расхвалить или «раскатать» — это сколько угодно; но разобрать и особенно внушить — этого невозможно.

Я очень благодарен, что и «О рожне» напечатали, «О „куфельном мужике“» лучше было, да пришлось печатать в «Новостях», потому что у Вас не удалось бы рассказать правды о Достоевском. Я уже привык слоняться, где бы только просунуть то, что считаю честным и полезным.

Преданный Вам

Н. Лесков.

В. Г. Черткову

28 января 1887 г., Петербург.

Владимир Григорьевич!

Я шестой день не выхожу из дома. Болен мучительным судорожным кашлем, от которого, однако, чувствую уже облегчение. В беде этой усматриваю нечто и утешительное: я могу не идти не только на обеденное бахвальство по Пушкине, но и на молитвенную комедию о нем со стороны людей, допускающих религию только «как стимул политического объединения». Но зато не могу быть и у Вас. Хотя корректура рассказа как раз лежит у меня на столе и я люблю иметь таких слушателей, как Вы и Анна Константиновна, в то время, когда еще вещь правится, а не тогда, когда она уже вышла. Слушатель нужен не литератор, а человек, верно чувствующий и определенно направленный. Поэтому я хотел бы прочесть «Скомороха» по корректуре Вам и Анне Константиновне, но не при гостях, которых я не знаю. Многоличие здесь не в помощь. Вам (Вы пишете) это было бы приятно, а я Вам говорю, что мне и делу это было бы, или могло бы быть, полезно. Мое-то кажется важнее, но вот: как это

уладить? Я могу удержать у себя корректурные листы еще два-три дня. Здоровье мое, наверно, станет улучшаться, и я буду в состоянии выехать и читать тихо (так как у меня судорожная боль в горле). Остальное обдумайте сами с Вашей супругой.

Начало, то есть 1-ю половину легенды, которая выйдет в февральской книжке «Историч<еского> вестникам», посылаю Анне Константиновне. Прошу ее прочесть. Вторая половина, — самая важная, — в корректуре. Она очень щекотлива, и потому женское ухо при слушании ее мне драгоценно. Будьте любезны, не оставьте меня без ответа.

За желание общения благодарю Вас и сам имею это желание. Дух, которым водимся и дышим, дозволяет нам общение живое и отрадное. Зачем этим не пользоваться и не черпать друг в друге восполнения и поправок? Я буду помнить Ваши вечера по средам.

О «Федоре и Абраме» я не совсем с Вами согласен и боюсь, что Вы не правее меня. Дитя (народ — дитя, и злое дитя) надо учить многим полезным понятиям: кормилицу за грудь не кусать и пальца не жечь, а потом гнезда не разорять и молоденькую горничную за грудь не трогать. Все

это разное, да в одном духе, и ведет к; одной цели — к воспитанию души. Ориген, Иустин-философ и другие великие умы со всех сторон брали дичок и его культивировали христианским колером, а мы себя если «укоротим, то не воротим». Не все по одному долбить, — иначе наскучишь и дыру пробьешь. Моя цель не то, чтобы все зараз обхватить и кодекс религии выразить, а чтобы добиться у мужика минуты размышления о жиде… Довольно, Владимир Григорьевич, довольно этого! Не гонитесь за всем сразу. Я знаю то, на что Вы указываете, но дорожу полезнейшим — передать рассказ авторитетно для тех, кои привыкли почитать за авторитет «книги кожаны». Пусть тут торгуют, — это зло не делает. Вспомните, что Л. Н. говорит о «помойном ушате», в котором есть и ценный камешек… Я этим камешком дорожу и говорю Вам как человек, достаточно знающий и понимающий русского простолюдина. Притом же ведь это в самом деле из Пролога, — ведь это же некоторым образом легенда историческая! И жид умел уважать любовь и веру к «мужу галилейскому»… Да чего же еще хотите?.. Иначе ведь все можно засушить и так заанатомировать, что станут все как солдатики, и явятся «скучные произведения», — а с ними и охлаждение

читателей.

Теперь к Вам просьба в суетном роде. Ко мне раз пять приезжал от Вашего покойного отца генерал Хрещатицкий, с просьбою составить такую форму солдатской присяги, которая менее оскорбила бы закон Христов. Я от этого отстранялся, но, наконец, сдался и что-то написал. Хрещатицкий был в восторге, и мы распрощались друзьями. Почему покойный отец Ваш послал его ко мне, — я не знаю. Думаю, что указание на меня могло быть сделано Вашею матушкою. Это мне теперь нужно бы знать, потому что Хрещатицкий мне нужен для моего сына, оканчивающего курс в Константиновском военном училище. Россия такая страна, где необходимо иметь звание, а для этого надо отслужить известное время. Я хотел бы написать Хрещатицкому, но не знаю, как его зовут и где он находится. Не известно ли это Вашей матушке, и — еще лучше, — не даст ли она со своей стороны строчки к Хрещатицкому? Пожалуйста, пособите мне в этом.

Прошу Вас верить моему живому сочувствию Вам и Вашей супруге.

Николай Лесков.

В. Г. Черткову

1 февраля 1887 г., Петербург.

Ночью.

Был сегодня в больших хлопотах с утра, а возвратясь, застал Вашу присылку. Спасибо Вам за память к моей просьбе. «Дневник» прочел немедленно, а письмо до половины. Третьей вещи, которую Вы называете «Предисловие к сочинениям Бондарева», — я не нашел в Вашей посылке. Верно, Вы ее не положили. Посмотрите у себя дома.

В среду вечерком приду посидеть и поговорить с Вами и с Анной Константиновной, которую я «видел когда-то, но только не помню когда». Мне очень радостно, что Л. Н. высоко ставит богомыслие Конфуция и философию Эпиктета и Марка Аврелия, но не понимаю: отчего нет в этой свите Сократа? Это удивительно!

Дело со «Скоморохом» в некоей надежде спасения. «Духовный ц<ензор>» оказался умнее «плотского». Он говорит: «Тут до меня ничто не касающее», кроме имени Феодула, который есть в святцах. Я предложил взять имена такие, каких нет, как это принято в опереттах: «король Бебе»,

«паж Шампиньон». Цензору это вполне понравилось. Итак, есть надежда спасения, — только слова о христианстве (лишь слова) все выпустили. Феодула назовем Памфалоном, а Корнилия — Пеперментом или еще как иначе.

В P. S. у Вас опять упоминается о «предисловии»… Да нет же у меня никакого предисловия! Пожалуйста, посмотрите у себя дома. Итак, быть может, вместо «Боголюбезного скомороха» увидит свет «Пепермент скоморох». Ничего! — «имя звук пустой».

На самом деле я думаю озаглавить так: «Ермий пустынник и скоморох Памфалон». «Памфалон» таки пусть так им на память и останется.

Пожалуйста, когда будете вблизи, не позабывайте исполнить добрую службу человеку, навестив того, кто чувствует радость в общении с Вами.

Н. Лесков.

А. С. Суворину

3 марта 1887 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Два письма Ваши вчера получил и посылаю проклятие тому гусю, который дал перо, коим они написаны. Стальные перья плохи, но все-таки я прочитывал без труда все, что Вы ими писали, а тут доброй четверти слов разобрать не мог. Гуся этого, однако, верно уже добрые люди съели, и ему не будет вредно мое проклятие. — Радуюсь, что Вы не будете сердиться, и потрафляю к вечеру, когда Вы, по приметам, бываете терпеливее, — не скажу «добрее», потому что в основе Вы человек очень добрый. — Прилагаю статью, приведенную в щегольской внешний вид собственно для Вас. Прочитайте ее и, если можете, — напечатайте. Она в размере средней величины фельетона «Н<ового> в<ремени>» и писана по поводу Вашей корреспонденции из Москвы. Если она Вам неудобна, — возвратите. Я, впрочем, думаю, что она удобна, ибо очень смирна и в ней сказано дело. — Две статейки, о которых Вы мне пишете, действительно обе писаны мною, и во второй не было никакого «отступления», но оно явилось

не по моей причине, а по иной. Мое там голова и хвост, а в середине втерлось не мое… Вы знаете, как это случается. Мямленье «серафима» при его миссии мне противно. Ни з что нет у них натуры. Я удивлялся Вашему выбору. В России действительно самые ловкие люди — купцы, действующие всегда «с запросом». Мой «высокий тон» тоже был своего рода «запрос» — «чтобы было из чего уступить», но у нас правды поддержать негде. Всё те же гоголевские крысы: «прийти, понюхать и отойти». Если же человек вправду вступиться хочет, то «с ним опасно» — «заведет, втравит», и т. д. Словом, кроме Толстого и Каткова нет людей, которых неправда может взять за живое и заставить говорить языком чести и истины (как ее кто понимает). Утроба из моей 2-й статейки вывалилась и заменена трухою, и я об этом более не хочу и вспоминать. Вы мне представляетесь человеком, который под крик и гам потерял голову. Это со мною было много раз, например у Сальясихи, когда я прослыл зверем за то, что не пускал душевнобольную женщину делать все, что может прийти в голову сумасшедшей. Я не понимаю, как действуют такие вещи, но глубоко сочувствую, когда вижу человека под их одуряющим давлением. — Полонскому я,

помнится, рассказывал не о письме, а о рассказе «Ник<олай> Палкин», производящем страшно сильное впечатление. Письма, где бы прямо говорилось о Ни<колае> П<авловиче>, я не знаю, но писем ходит много, и я читал письмо к какому-то Штанге, который шел в толпе на могилу Добролюбова и потом подал через Манасеина записку царю. Читал и эту записку. Читал и еще другие письма, из коих вывод резюмируется всегда в одной фразе Л. Н.: «Я их люблю, когда они стоят на верной дороге». От лиц же, самых близких к Л. Н., мне доводилось действительно слышать, что хвалебные статьи с посяганием на имя и репутацию других ему очень огорчительны. Теперь он уже и не читает. Начать статью о драме сближением с либералами я почитаю за очень большую неловкость и удивляюсь В. П., у которого много ума и таланта. Разве не либералы были Милютины и Соловьев? Разве нынешним духом дышали совершители освобождения крестьян? Из того, что масса сволочи именуют себя либералами и, ругая Вас, тычут Вам свои статейки, следует унижать либерализм?.. Кто Л. Н.? А вот разберите: он желает свободы труда, свободы слова, свободы совести, не сочувствует теории наказания, не сочувствует церковным путам, на-

ходит, что «люди — дерьмо» разного достоинства, и на высших ступенях кольми паче… К кому же он ближе, — неужели к тем, которые противополагаются «либералам»? — Вы говорите: «Или он не хочет понять, что разумеют…» Странно это от Вас слышать! А разве кто-нибудь это понимает так, как Вам хочется, а не так, как это у Вас выходит? А выходит оно всегда так, что нравится тем, которых он не любит, ибо они никогда «на верной дороге не стоят», а ведут к стеснениям ума и совести. Это и есть истинное несчастие Вашей газеты, и очень удивительно, что Вы этого не чувствуете. Если уже необходимо притягивать либералов даже к драме Т<олстого>, то отчего не пользоваться этим реже и не при слове о таком человеке, который чужд всяких партий, и Штанге напишет письмо и скажет о них: «Я их все-таки люблю», а два столпа противоположной твердыни не обинуясь называет «злодеи». — Простите, ежели что «переписах, и милостию покрыйте».

Преданный Вам

Н. Лесков.

P. S. Сейчас зашел ко мне Полонский. Он не от меня слышал о письме.

А. С. Суворину

4 марта 1887 г., Петербург.

Извините меня, что я отвечу Вам несколько слез на последнее письмо Ваше. Вовсе не нужно быть Лютером или вообще новатором, чтобы не оставаться равнодушным к тому, как дурачат людей и обирают их во имя бога. Я знаю, что Вы на это можете возразить много, но это все будет «из другой оперы». В сущности же, разум и простая честность внушали и внушают потребность останавливать наглости морочил и обирал. В этих целях гнусные затуманивания религиозного сознания, что бог есть начало добра, — всегда будут вызывать чувства благородного негодования. Как бы Вы к этому ни стали относиться, — дело все-таки останется в этом, а не в. ином положении. Т<олстой> ведет к укрощению себялюбия и к умягчению сердца, а поп — к принесению ему «денег на молитвы». О чем тут полемизировать и как полемизировать?.. Я не понимаю, что это Вы ставите ему в вину! «Славянофилы». Я знаю их, да и как еще знаю! Тем, конечно, любо было полемизировать, но вообще это никакого удовольствия и никакой пользы не приносит. Употреблю Ваши

слова: «Веруй всяк во что хочешь». У славянофилов же было не так: они вопрошали: «Како веруеши?» И хорошая вера была только их вера, «уже вселенную утверди». Это были величайшие спорщики, и спорам их не было бы конца, если бы они просто не перевелись на свете. За свободу совести и за то, что выше всего в настоящем учении Христа, — они не стояли никогда и не могли стоять за это. — Вы совсем не правы.

Что касается сухости упоминаемых Вами трактаций Т, то в них действительно есть указываемые Вами недостатки; но это суть недостатки, общие всем религиозным трактатам. Однако же без них нельзя, и тот, кто любит вопрос, он не стесняется сухостью трактата, а ищет сокрытой в нем мысли. Трактаты эти сухи, но они произвели большие чудеса, «воскрешая мертвых» и «исцеляя слепых». — По этим трактациям рождалась вера у не веривших, и люди из «Черного передела» переходили в Ясную Поляну. Что-нибудь, верно, есть сильное в этом слове! — О пьесе Т. приходится теперь слышать ужасающие глупости. Теперь в нем уже находят «незнание быта»… В сущности, пьеса эта в бытовом отношении вполне верна; язык ее образен и силен; страсти грубы, но верны и представлены рельефно. Произведение это большое

и в чтении очень потрясающее и любопытное. Поучительности в нем нет или очень мало. Для сцены пред зрителями образ<ованного> класса она будет груба, и в этом нельзя винить одного зрителя. Человек меняется под влиянием среды и привычек. Московской купчихе в мужчине нравится «снасть», а нервной испанке — страсть. Нельзя, чтобы Никита нравился и той и другой. «Антошины словца» — тоже для уха многих очень резки. «Шекспировское» что-то есть. Это сила грубо поставленных страстей. Долголетия у этой пьесы не будет. Простонародию она мало понравится, потому что здесь не любят сцен из своего быта, — разве так только, чтобы мужик барина «объегоривал». «Либералы» и не либералы — это все равно люди, и никто еще не знает, что из которого может выйти; но кто бы как ни назывался, а когда он говорит правду, — он стуит поддержки, и хочется быть на его стороне. Т. говорит: «Я их люблю, когда они на верной дороге» Как же иначе? Иначе ведь будет — не любить правды за то, что ее высказал Y, а не Z. Не дай бог, чтобы до этой степени забывалась старая пословица «Amicus Plato..».[28]

---

[28] Примечания: 28
Платон мне друг... (*лат.*).

Ваша гневность и волнения меня смущают, и если бы Вы были дама, я бы, кажется, наговорил Вам много слов, которые не идут нам, «двум старикам». Т. больше, чем Вы, испытывает, что с ним все не согласны, но он умеет себя лечить, а Вы нет. Старинное гарунальрашидство — чудесное лекарство в таких томлениях: Вы же, наоборот, — «сидень», и вот «результе» Вашего сидничества. Вы десяток лет не обновляете себя погружением в живые струи жизни, посторонней изнуряющему журнализму, и оттого характер Ваш действительно пострадал, и Вы это сами замечаете и мучите себя. Купите-ка себе дубленый полушубок да проезжайтесь, чтобы не знали, кто Вы такой. Три такие дня как живой водой спрыснут.

Простите за то, что сказал от всего сердца.

Ваш *Н. Лесков.*

В. Г. Черткову

8 марта 1887 г., Петербург.

Возлюбленный Владимир Григорьевич!

Чрезвычайно рад я, что Вы выяснили вопрос о праве собственности рассказов Л. Н. Это было необходимо, и сделано это прекрасно. Теперь надо, чтобы на этом дело не стало, — надо, чтобы пример человека, которого мы чтим и любим, не проходил вотще. Нехорошо, если он будет стоять одиноко и за ним не пойдут его ближние и единомысленные ему. Если мы не можем поступиться всем, то можем принести в дар народу «часть обреченную», — своего рода «десятину», то есть то, что на шабашку для народа сработано… Это все мы можем, и, по моему мнению, — все должны это сделать, и по совести, и из принципа, и из любви и уважения к Толстому, чтобы он не был один и видел, что за ним следуют. «Один в поле не воин». Кто-то возражал: «А если он богатырь?» Если и богатырь, то и богатыря не след оставлять одинокого. Пример Толстого должен родить новое движение в душе писателя. Я уверен, что я не первый так чувствую, и так думаю, и хочу так поступать в пределах моей возможности. А

потому, не указывая на меня, имейте, однако, в виду следующее: рассказ мой «Христос в гостях у мужика» отдан мною для народного издания «Посреднику» без всякой платы. И пока фирма «Посредник» существует в нынешнем направлении и руковожди ее одушевлены нынешним духом, я впредь не желаю брать никакой платы за то, что «Посредник» найдет полезным издать для народа из моих сочинений. Все это должно идти от меня как дар народу и составлять народную собственность при моей жизни. А потому и перепечатка моих вещей с изданий «Посредника» пусть тоже будет свободна для всякого, и Вы сделаете мне одолжение, если примете на себя труд — сами разрешать всякому свободное воспроизведение всего, что из моих писаний будет издано «Посредником».

Уважающий и любящий Вас

Н. Лесков.

А. С. Суворину

11 марта 1887 г., Петербург.

Я ни в чем не причинен, Алексей Сергеевич! Вишневский мне написал, а я тогда уже не выходил из дома и не мог ни с кем переговорить о том, какой ему сделан учет. Шубинский и Терпигорев зашли ко мне позже, а я не люблю, чтобы порученное мне дело оставалось без внимания с моей стороны. Вот я Вам и написал. — Извините, пожалуйста, если это Вам кажется за неуместное. Я сделал это совсем в душевной простоте.

Об изданиях Толстого я с Вами согласен. Может пойти чепуха, но иначе не сманить в это дело Сытина и иже с ним. А без них ничего не поделаешь. Л. Н., кроме того, очень дорожит «принципом», — чтобы даром поработали для народа… И — признаюсь Вам — и мне это нравится. Может быть, что и выйдет чепуха, но надо пробовать.

Насчет околеванья идет очень живо и крепко, но только отчего же Василью Федоровичу умереть? Идет все «стеною», забирая с нашей стороны, а казенные люди, наоборот, удивляют своею неимоверною живучестью. «Батюшка Ми-

кола Милостивый» на их стороне, и, — честное слово, — я вижу в этом что-то провиденциальное! «Не туркам, а нам худо».

Толстого нельзя осуждать за дорогую цену его сочинений. Что же он поделает с женою? Поверьте, он искренен и стоит на верной мужичьей дороге к целям «Алексия — человека божия». Он сам чувствует несогласицу и целый день ходил по снегу около Филей и «молился», да, видно, все молился богу, а надо молиться «Николе много-милостивому».

Я очень рад, что Толстой написал Буренину и благодарил его «за указания». Это ему и нравится, и это действительно хорошо; а от нахваливанья как-то… не то противно, не то совестно. Если это так нравится Виктору Петровичу, то почему бы ему не возвести и не «поставить на место» Гр. Скоробрешку? Как бы он был этим доволен! Я этому человеку (то есть Буренину) удивляюсь! Масса начитанности, остроумия и толковости, и при этом, вместо критики, какие-то «выходки». Верно, это от лени. Он бы мог много послужить вкусу и сознанию общества, а меж тем извадил всех считать его только «ругателем» Всегда сожалел и сожалею об этом его удивительном пристрастии. Все он точно за что-то «отомщевает», как говорил

о нем Писемский. Ничего бы он не потерял, если бы это ему, наконец, опротивело.

Гусю, перьями которого Вы пишете, опять посылаю сугубое проклятие

Благоволите, пока мы живы, принять от меня томишко моих рассказов для Вашей библиотеки и не сочтите этого за тонкий намек на толстое обстоятельство. Это издание не мое, и я не имею выгоды, чтобы о нем говорили. «Бог в тишине». А я пишу программу оперы по Прологу. Это будет забористо… Черти будут петь, и будет один бес «удом, яко цепом, камения молотящий».

Храни Вас Микола Милостивый (он супроть всех понадежней).

Ваш *Н. Лесков.*

На последнее письмо я написал Вам большой ответ, но положил его вылеживаться. После его можно будет изорвать и бросить.

Очень рад, что Вы покинули свою хандру.

А. С. Суворину

11 марта 1887 г., Петербург.

Вторицею пишу к Вам днесь, Алексей Сергеевич. Две просьбы имею. Лев Бертенсон одолел меня своим великодушием: спас меня, ездит и денег не берет!.. Оле несказанная похвала! Оле добруто неиссчетная! Да где бы я и набрался столько денег, сколько ему платить надобно? Поместите строчки, что он меня вылечил. Пусть хоть это будет ему за мое опасение благодарностью. Не откажите мне в этом.

Рядом известие о Гатцуке. «Варш<авский> дн<евник>» его схоронил, а он вчера пишет мне, что еще жив. Чего они торопятся?

Разверните, пожалуйста, на 105 стр. мои «Рассказы кстати». Увидите там, как я уважаю «Миколу Милостивого». И тогда не скажете, что я «лютарь». — А психопат Вишневский — это дед нашего «Черниговца». Вот было чудушко! Он же и Шубинскому родич.

Не побрезгуйте при случае спросить Мих. Мих. Иванова: каким голосом должен петь бес «удом, яко цепом, камения молотящий»: басом, тенором-грация или баритоном? Я могу его по-

ставить в соответственное положение. Опера называется «Бог Анубис, или Капище Изиды». В 3-м акте коренной текст — «бесы молотят», и вариант «молотьба» за стеною, а только «юные девы христианские содрогаются от слышания». Напечатать думаю у Шубинского. Это в состоянии поднять подписку до большой высоты «уда».

Какие есть сюжеты в благочестивых византийских сказаниях?

Хотел бы знать Ваше мнение: неужто «Скоморох» совсем плох? Я по трусости его сильно испортил.

Ваш *Н. Лесков.*

А. С. Суворину

11 марта 1887 г., Петербург.

Третицею то же слово реку: благодарю Вас за милые строки. — Вторицею я уже сегодня писал Вам по почте. Фельетон Ваш превосходен. Она полная дрянь, которую даже ненавидеть нельзя. — Старое письмо Вам посылаю. Вы в таком хорошем духе, что всё можете прочесть. Обиды, мною перенесенные, так велики, что я их боюсь трогать и не трогаю. Мне испортили только целую жизнь. «Некуда» все оправдано как пророчество. Я не был дурак и теперь вижу, что должно настать. Писемский!.. Как о нем говорить, когда он обо мне говорил так хорошо, как ни о ком ином!

Хорошо, что напечатали Бразоля. Это большой умница и отличный человек.

Ваш *Н. Лесков.*

А. С. Суворину

11 марта 1887 г., Петербург.

Вы теперь очень правы в указании главной беды. Будь у нас слово свободно, — печать оживила бы нашу скуку и ничего вредного бы не сделала; но правительство наше так глупо и презрительно, что никогда этого не допустит. О Л. Толстом Вы судите правильно, и надо жалеть, что Вы этого не можете печатать, а печатать нельзя, потому что ясно говорить Вы не можете, а «картавить» — значит вредить себе и самому делу. Вот и беда. То же самое и о всех спорах. О значении религии Вы всегда судите шатко и мелко, конечно потому, что вопросы религиозные Вас мало интересовали и Вы в них не обнаруживаете сведущности. Ум у Вас сильный, острый, отгадчивый, но совсем не для религиозного изыскания. Тут у Вас идет словно соха у рассеянного пахаря, который борозду гонит, а о другом думает, — глядь, соха из борозды и выпрыгнула. Это дело требует любви к нему, а у Вас нет этой любви, и Вы даже не вникаете в сущность веры, а защищаете православие, которого не содержите и которого умный и искренний человек содержать не мо-

жет. Я не хитрю: я почитаю христианство как учение и знаю, что в нем спасение жизни, — а все остальное мне не нужно. Читая Ваше письмо, я оцениваю Ваши мысли, а мне нет дела, кто мне принес это письмо. Воскресенье было нужно, и Т. этого не отвергает. Все было нужно, но не все теперь нужно. Наш век есть торжество в разъяснении учения Христа. Вы за этим не следите и этого не знаете, и это Вас не занимает, но, может быть, займет. Т. говорит: «Хула на духа св<ятого>, есть догматическое богословие». И это правда. Смысл весь в ученье Христа. — Авторитета Миколы Милостивого никто оспаривать не смеет. Он и цыгана научил «золотое стрюмено красть» и «божиться». Вы думаете, что я поклонник либерализма?.. Я поклонник искренности. Я очень люблю Ваши литературные мнения и в одном отношении часто сравниваю Вас с Катковым, под рукою, которого работал много. Раз, когда я жил летом в Ревеле, К. передал мне через Любимова, чтобы я написал что-нибудь об остзейском крае. Я написал. К. отдал в печать не читая. Потом К. приехал сюда, а мне привезли корректуру. Я прочел и отослал ее в Москву. Выходит книжка, а моей статьи нет, — захожу к Базунову, там мне выдают гонорар… Что за притча? Идем мы вече-

ром с К. и Гезеном по Невскому, я и спрашиваю К — ва: что это значит: или моя статья не хороша? Тогда за что же мне деньги? А он отвечает: «Нет; статья очень хороша, а мне нужен Шувалов, и с ним надо было помириться». (Это было во время классицизма.) А Вы бы так прямо и просто ни за что не сказали, а нашли бы в моей статье все пороки и проч. Эта черта и обидна в Вашем обиходе. Разве я не знаю, чего стоит газета и что ей могу повредить? Но Вы на это не укажете, а пойдете весь вопрос вменять за умёты. Вот чего бы, кажется, и не стоило Вам делать, и я удивляюсь, как Вы при тонкости, даже хитрости, ума и замечательной иногда откровенности в самых щекотливых вещах непременно уклонитесь от простоты, а пойдете в полемику! Скажите просто: «Нельзя этого теперь», — и все дело легко и ясно. Вот что я разумею под неискренностью в Вашем литературном характере, и Вы мне это простите, потому что я говорю чисто от сердца и говорю правду — любя Вас и ценя Ваши симпатические стороны. — По поводу уч<ения> Т — го Вам бы хорошо наметить отрывочные замечания. Богословски с ним связываться не для чего, но в этом духе, как Вы накинули в письме ко мне, — это могло бы быть очень живо и кое-что многое бы

озарило. Вы можете отлично это сделать, и публика это с жаром проглотит.

Аще переписах — простите ради Миколы Многомилостивого.

Преданный Вам

Н. Лесков.

А. С. Суворину

14 марта 1887 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Есть на свете богатый барин, барон Штромберг, — ружейный охотник и такой же психопат, как я и Гей по части часов. Он выудил в специальной часовой газете «Uhrmacherzeitung»[29] любопытное известие о соперничестве, какое в Америке явилось против Швейцарии и Англии в часовой фабрикации. Это интересно не менее, чем всякая другая промышленная новость. Штр. обратился ко мне с просьбою «пристроить» его работку. Я мог послать ее в одно и в другое место, но прежде всего подумал о «Новом времени», так как это, по-моему, интересно. Часы имеют все, и многие их очень любят. Статью я послал Шубинскому. Шуб. отдал ее кому-то в редакции и сказал мне, что ее обещали напечатать. Я передал это Штромбергу. Тот ждал, ждал, да и жданки потерял, и приступает ко мне… Вы знаете, что все мало пишущие люди придают особенно большое значение тому, что они напишут, и мне за эту

---

[29] Примечания: 29

«Газета часовых дел мастеров» (*нем.*).

статейку приходит жутко… Усердно прошу Вас: прикажите отыскать это сочинение и просмотреть его, и если оно пригодно, — напечатайте его, а если нет, — то возвратите мне.

Фельетон Виктора Петровича написан прекрасными стихами и заключает много правды, но в нем нет того, что «липнет» к лицу, как меткая кличка, например «трех поленный Панин», «трехпрогонный Муравьев», «Муханов на Висле» и т. п. Все только о происхождении да о каком-то малоизвестном прошлом, — в чем и покора немного, да и не все достоверно. Одна кличка «Луиза Мишель», данная Гамме Модестом Ив. Писаревым или Терпигоревым (настоящий автор неизвестен), — гораздо язвительнее и метче, чем все намеки о его перебежничестве. Его голова, его фигура, его блекотание горлом и кличка бабьим именем «Луиза Мишель» — это пресмеш но и полно образного о нем представления.

Короленко вышел уже «полным изданием». Вот что значит фавор! Отсюда же, переводя на себя, вижу, что значит и клевета… Я *доволен* моим положением в литературе: меня всё топили и не утопили с головою; повредили много и очень существенно — в куске хлеба насущного, но зато больше никто уже повредить не может… Сладок

этот покой, но издание дало бы мне возможность хоть год не писать как можно больше и наскоро, и я, быть может, написал бы что-нибудь путное. Но вредить легче, чем помочь. И есть судьба: старый Вольф заключил со мною условие и умер в тот день, когда мы должны были его подписать. Новый Вольф предпочел издать Боборыкина, и хорошо сделал, потому что того все-таки кое-кто поддерживает… Тяжел мой хомут — совсем оттер шею.

Пересмотрел своего Панталона и сравнил с соответственными ему сценами из древнего мира. Все так писано — не нынешним живым языком. Не говорю о достоинстве языка, но собственно о строе речи. Так же он подстаринен в «Видении св. Антония», и в «Агриппине», и в Вашей «Медее». Просто Вам это не нравится, а другой язык (вроде «Кавказского пленника» Толстого) был бы неуместен. «Зализанность», то есть большая или излишняя тщательность в выделке, есть, но ее, думается, можно снесть, так как это нынче встречается очень редко. Вы вспоминали о Писемском: он, бывало, говорил мне: «Люблю, что у тебя постройка хороша: крылец по дому и все под стреху сведено в препорцию». Он меня любил и говорил мне правду — по крайней мере: я так верю. У Вас я

читал и напечатал «Кадетский монастырь». Этюд этот везде нашел себе ласку и внимание, а Вам и он не нравился. Значит, «не потрафляю».

Пожалуйста, развяжите меня с бессмертным творением Штромберга!

Преданный Вам

Н. Лесков.

P. S. Говоря о попах, Вы забыли про того, который написал в «Отеч<ественных> записках» «Кузька — мордовский бог». Это прелестное и сильное создание настоящего таланта. Мордва там только и есть живая (а не у Майкова), и страсти там в истинном, классическом развитии.

Зачем Вы не издадите «Кузьку-бога»?

А. С. Суворину

15 марта 1887 г., Петербург.

Очень Вам благодарен, что Вы дали себе труд прочитать мои «Рассказы кстати». — Замечания Ваши правильны: между мною и читателем стояли события дня, по поводу которых в то время писались эти рассказы «кстати». Ведь это журнальные фельетоны. Поляк и Саша таковы и есть, как Вы их находите. Самое милое лицо Саша, за ним ротмистр с подмышками, а за этим полковой поп. В поляке преимущество выдержанности и воспитанность, при коих все-таки остается просвечивающая пренебрежительность к русским. Это самое я и хотел показать, и, вероятно, показал. Во всяком разе, это рассказы рядовые, а не из ряда вон выходящие; но они не хуже тех, из коих о каждом возглашают, как будто о замечательном произведении. Только и всего.

Зачем это Вы опять разругались? Ах, если бы Вы прислушивались к публике, — как это ей надоело!.. И в существе ведь все это преобидные вещи. А их надо было ждать.

Ваш *Н. Лесков*.

А. С. Суворину

<Март 1887 г., Петербург.>

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Вижу по объявлениям газеты, что Вы приобретаете и издаете для «Дешевой библиотеки» беллетристические произведения. По плану этого издания думаю, что Вам нужно немало беллетристического материала, а у меня за последние четыре года понакопилось рассказов, которые были напечатаны в журналах и теперь, кажется, могли бы явиться не без запроса в отдельных томиках. Из них есть такие, которые Вы, быть может, знаете, а других, конечно, не знаете. Все они более или менее ровненького достоинства, но читались и, может статься, оказались бы пригодными для публики, переезжающей по железным дорогам. — Пришло мне на мысль — предложить Вам: не купите ли Вы чего-нибудь и у меня, как покупаете у других людей? Не сочтите этого за назойливость, а примите просто, как просто мое предложение. Я думаю, что могу найти издателя, но с Вами мне приятнее было бы издать томик-два, — а Вам, быть может, мои книжечки не легли бы бременем, так как публика меня

кое-как читает.

Что Вы мне на это скажете?

Если предложение мое Вам подходит, то повелите, когда мне побывать у Вас для переговора.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

18 апреля 1887 г., Петербург
(вечером).

Сейчас заходил ко мне Павел Ив. Бируков и известил меня, что Вы на сих днях будете в Москве. Он и Вл. Гр. Чертков очень желают, чтобы могло осуществиться мое давнее, горячее желание видеться с Вами в этом существовании. Я выезжаю в Москву завтра, 19 апреля, и остановлюсь в Лоскутной гостинице. Пробуду в Москве два-три дня и буду искать Вас по данному мне адресу (Долгохамовнич<еский> пер., № 15). Не откажите мне в сильном моем желании Вас видеть, и, — если это письмо найдет Вас в Москве, — напишите мне: когда я могу у Вас быть.

Излишним считал бы добавлять, что у меня нет никаких газетных или журнальных целей для этого свидания.

Любящий и почитающий Вас
Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

29 апреля 1887 г., Петербург.

Любезнейший Сергей Николаевич!

Сердечно благодарю Вас, что Вы, получив в свои руки издание «Дешевой библиотеки», сейчас же обо мне вспомнили. Я знаю, что Вы хороший друг и милый человек, но это внимание почему-то особенно меня тронуло. А. С. Суворин очень хорошо сделал, что передал это дело в Ваши руки. Не знаю, какие Вы от этого получаете выгоды, но дело непременно выиграет много, и оно может иметь большое развитие. Указываемые Вами два рассказа: «Кадет<ский> монастырь» и «Скоморох» отдаю в Ваше распоряжение на тех условиях, какие Вы предлагаете. Не сомневаюсь, что Вы даете сколько можете и обидеть меня не захотите. Я всегда Вам верю и вполне на Вас полагаюсь. Но я советовал бы присоединить к тем двум еще «Спасение погибавшего» из «Русской мысли», ибо он тоже относится к «праведникам», — не велик, довольно всем нравится и нигде, кроме московского журнала, неизвестен. — Экземпляр прилагаю для прочтения и соображения. Мне бы очень хотелось, чтобы все эти добряки собрались

вместе, и это как раз составит томик («Кадетский монастырь» 2 л., «Скоморох» 2 л. и «Погибавший» 1 л. = 5 листов). Сообразите и известите.

Затем еще просьба: переговорите, пожалуйста, с Ал. Серг., к которому мне трудно попасть в такое время, когда с ним можно говорить.

1) У меня есть 175 экз. «Соборян». Это все, что остается. Не купит ли он у меня этот остаток, со скидкою 40 %?

2) В складе магаз<ина> «Нового времени» есть 1180 экз. моей книги «Смех и горе». Книга эта веселая и приятная для дорожного чтения. Она лежит в забытья и не попадает на свою колею. Между тем она непременно пошла бы на железных дорогах, где ее даже и спрашивают. Мне с нею возиться не рука и дорожиться ею не время. Номинальная ее цена I р. 50 к. Не облегчит ли меня Ал. Серг., сделав несомненно необременительное для себя приобретение этой книги по той цене, какую сам он найдет справедливою, мне не разорительною и себе небезвыгодною. Я думаю, ей бы хорошо перепечатать титул и обертку; назначить цену вместо 1 р. 50 к. — один рубль и дать мне, например, по 35 к. за экземпляр. Я полагаю, что это было бы не худое, а даже хорошее, ходкое приобретение для лавок железных дорог.

Пожалуйста, поговорите с ним об этом и решите, как решали ранее покупки прошлого года.

Прилагаю Вам очень схожую мою фотографическую карточку. Это делал самоучка, но сделал лучше всех. В Пассаже она только печатана с негатива.

Л. Н. Толстой говорил о Памфалоне с похвалою самою теплою. Очень, очень его одобряет. Ал. Серг. был у него за день ранее меня и меня помянул там… Редакция «Русской мысли» чрезвычайно хлебосольна. Меня заласкали и закормили. Впечатление они производят чисто «московское». Я этого жанра не люблю и не подхожу к нему. В общем, это какой-то разброд и «семибоярщина», а это, по моему мнению, в редакционном деле никуда не годится. Довольно автору согласовать свою работу со взглядами одного редактора, а не применяться к разным воззрениям. Это всегда вредно отзовется на задуманной работе и может охладить энергию. Они, однако, ждут романов Г. П. Данилевского, Григоровича, Я. П. Полонского, Щедрина и Гл. Успенского. В виду такого изобилия я не стану писать романа, а ограничусь повестью небольшого размера и такого содержания, чтобы она подходила не на один заказ. — Квартиру начинаю искать, — уехать на Эзель намереваюсь

20–25 мая. Рассказ «Вешателъ» сдам Вам к 15-му. Объем его будет около 1 1/2 листа. Поклон мой Катерине Николаевне.

Преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Терпигореву

10 мая 1887 г., Петербург.

Сюжет «воспитания свиньи» прекрасен. Это живой тип, которого не прозрел Островский. «Их будет царствие». Это очень хорошо — верно схвачено и любопытно Я давно на них засматриваюсь. Выведи в конце путешествующего попа или дьякона и резюмируй тип его словами из библии — «Книги царств»:

«Се Ровоам, сын Соломонь. — Мудр был Соломон, а сей мудрейши отца своего. Сей глаголет: истяжу вы паче отца моего и приумножу тяготы ваши. Юность бо моя толстее чресл отца моего: отец мой бил вас бичами, а я буду бить вас скорпионами».

Это бы надо поставить эпиграфом, но ты это упустил. — Поставь хоть в конце. Слово библейское очень картинное.

Твой *Н. Лесков*.

Зачем ты не успокоишь Шубинского? Что это у тебя за пакостная манера, что ты никакого своего слова не можешь сдержать.

С. Н. Шубинскому

19 сентября 1887 г., Петербург.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Слухом слышу, что Вы уже приехали, но оком моим не зрю Вас и о сем стуждаюся и жажду, сетуя, зане глагол некий иму реши к Вам. — «Почтите ли», или позовете, или где инде спотычку назначите? Черкните, пожалуйста, на новую мою квартиру, что еще ближе к Вам, — Фурштадтская, четвертый дом от Таврич<еского> сада, дом графини Орловой-Давыдовой, «Община сестер милосердия», № 50, кв. 4, первый этаж, ход из-под ворот с Фурштадтской. Надо сговориться насчет возмещения запрещенных рассказов. Я предлагаю это сделать посредством издания «Очарованного странника», в котором 11 листов. Издание его распродано. Книга веселая, занимательная и интересная. Экземпляр взят Н. Ф. Зандроком и давно уже дан в типографию для расчета. Вам только нужно обо всем этом спросить. — В «Русской мысли» (сентябрь <18>87 г., стр. 533) — не поинтересует ли Вас отчетом об изданной Вами «первой книжечке» моих рассказов «Скоморох Памфалон» и «Спасение погибавше-

го». Журнал находит в соединении их счастливую идею издателя и воздает похвалы Памфалону, ценя особенно язык рассказа — «своеобразный и напоминающий старинные сказания», а также «ясность, простоту и неотразимость». Вам это должно быть приятно, так как Вы первый и долгое время Вы единственный ценили этот рассказ, стоивший мне особого труда по подделке языка и по изучению быта того мира, которого мы не видали и о котором иосифовский «Пролог» в житии св. Феодула давал только слабый и самый короткий намек. Мне лично эта похвала и то, что «Скоморох» *всем* нравится и ото всех любим, — ничего не приносит, но я очень радуюсь за Вас — за Ваши скорби и досаждения, Вами перенесенные, и за глупые придирки со стороны тех, кому бы надо благодарить Вас за Вашу заботливость о поиобретении настоящей «художественной работы», как ее ныне называют. «Скоморох» проживет сам собою дольше многого, что держится нахвалами и рекламами. Я над ним много, много работал. Этот язык, как язык «Стальной блохи», дается не легко, а очень трудно, и одна любовь к делу может побудить человека взяться за такую мозаическую работу. Но этот-то самый «своеобразный язык» и ставили мне в вину и таки заставили меня его

немножко портить и обесцвечивать. Прости бог этих «судей неправедных». — Они, верно, отвыкли думать, что есть еще люди, которые работают не по-базарному, «без помарок», — прямо набело, «как вы<....>, так и заморожено». Но «Скомороха» общество возлюбило, Лев Толстой благословил, критика хвалит, и говорят, будто художник готовит картину на выставку, где изображен наш скоморох. Сцена взята та, когда Феодул лежит на циновке у Корнилия. Корнилий в шутовском уборе собирается идти на потеху, а в двери его стоят две призывающие его к гетере «нильские змеи с играющею кровью и запахом страстного тела». Стало быть, Вы оправданы множицею, и я за Вас, добрый друг мой, радуюсь: мы дали публике настоящее литературное произведение в дни полного упадка и базарничества. Пособляйте скорее разделаться с возмещением за запрещенный «Кадетский монастырь» и за «Пигмея». — «Очарованный странник» вполне к тому способен и достоин. — Рассказ для Вас почти готов. Это «Инженерные бессребреники» (Брянчанинов, Чихачев и Фермер). Деньги нужны. К 150 <руб.> аванса, за мною состоящего, любезно и безопасно было бы дать еще 150. Это было бы очень кстати теперь. А «дает хорошо тот, кто дает скоро»

Подпрапорщик Андрей Николаевич Лесков 16 сент. произведен в офицеры с переводом в Новгород. Это (то есть перевод) стоил неимоверных усилий при помощи М. И. Пыляева и генер<ала> Асташева. Я рад, что буду иметь его близко к себе. Перевод в гвардию обещают через год. Теперь их благородие желают обмундировываться… «Приказ» о них пошел в Данию для подписи и будет объявлен 3 октября. Вера перестала петь и выходит замуж. Совершилось это в Аренсбурге.

Ваш *Н. Лесков*.

А. С. Суворину

30 сентября 1887 г., Петербург.

Поздравляю Вас с благополучным возвращением и принятием за дело. Сегодняшняя статейка о Каткове и о глупостях хромого Голицына прекрасна, но в ней есть маленькая погрешность в определении характера М<ихаила> Н<икифоровича>. К удивлению, в нем действительно всегда замечалось очень странное и подчас очень смешное стремление к аристократизму. Он любил «высокое положение» в людях, особенно — родовое, и благоволил к тем, кто имел знакомства в том круге. С этого, например, началось и долго на этом главным образом держалось его благорасположение к Маркевичу, у которого, — как это ни смешно, — он брал примеры обхождения и старался пришлифовать к себе его совсем не утонченные манеры. Это было известно многим, а мне раз довелось видеть пресмешной случай в этом роде. Маркевич был толсто<...> и имел удивительно округленные окорока, по которым умел при разговоре громко хлопать себя ладонями. Один раз, споря с М. Н. в своей квартире, в доме Зейферта на Сергиезской, Маркевич в пылу

спора все прискакивал и отлично прихлопывал себя по окорокам, что, видимо, нравилось М. Н-чу и Евгению Богдановичу, который тоже хотел так хлопнуть, но у него не вышло. После этого тотчас Маркевич пошел провожать Богдановича, а М. Н. остался один в кабинете, а я в зале, откуда мне было видно в зеркало, что делается в кабинете. И вот я увидал, что М. Н. встал с места, поднял фалду и начал себя хлопать по тем самым местам, из которых Маркевич извлекал у себя громкие и полные звуки… У М. Н-ча ничего подобного не выходило, и он, оглянувшись по сторонам, сделал большие усилия, чтобы хлопнуть себя, как Маркевич, но все это было напрасно: звук выходил какой-то тупой и плюгавый, да и вся фигура его в этом положении не имела той метрдотельской, величавой наглости, какою отличалась массивная фигура Маркевича.

Тогда М. Н. вздохнул, спустил фалду и с усталостью и грустью сел писать передовую статью, в которой очень громко хлопнул по голове Валуева.

Но уверяю вас, что эти пустяки совсем мною не выдуманы.

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Не будет ли Вашего усердия когда-нибудь

взглянуть у меня превосходный портрет какой-то дамы, который считают «портретом русской актрисы». Пересмотрели его многие сведущие люди, и никому не удалось узнать, кто это такая. А между тем это портрет замечательной кисти.

Не согласились ли бы Вы напечатать, за моею, конечно, подписью, статейку о гимназии в Аренсбурге, где всё учатся сыновья рыбаков и прачек, а благородных всего пятнадцать учеников, и те двух фамилий: семь баронов Нолькенов и восемь бар<онов> Буксгевденов. — Ивана Делянова с его последним распоряжением, кажется, позволяется сажать на кол тою частию его тела, которая у него более прочих пострадала.

С. Н. Шубинскому

3 октября 1887 г., Петербург.

Ваши письма, Сергей Николаевич, приходили в такие минуты, когда я не мог ни на одно из них ответить. На этих днях произошла свадьба Веры и приезд Андрея. Оба эти события требовали моего личного тормошения, кончившегося тем, что я разболелся и лежу. Тем не менее я отвечал Вам на Вашу записку, при которой были присланы листы «Запеч<атленного> ангела», и не моя вина, что Вы этой записки не получили. Я написал ответ, надевая фрак, чтобы ехать благословлять невесту, и послал ответ Вам с тем же посланным, который принес Ваше письмо. Следовательно, я ни в чем не виноват, а виноваты какие-то порядки, от меня не зависящие.

По моему мнению, «Запеч. ангел» есть такой рассказ, в котором не должно быть никаких исключений. Его печатал Катков и хвалил царь Александр II и царица, присылавшая генерал-адъютанта выразить мне ее благодарность. Это знают Тизенгаузен, Кушелев, Пиллер, Контакузен и министр Толстой, а также Мещерский и Победоносцев… Сделанные вымарки глупы, бес-

причинны и портят рассказ. Для меня — лучше бы его в этом виде не печатать, но я не люблю спорить и написал Вам, что поступите так, как Вы с Ал. Серг. Суворинымъ заблагорассудите. Я спорить и прекословить не буду. Следовательно, опять дело за Вами, а не за мною.

Что «Зерцало» есть книга переводная, — это я знаю. Тут и Пекарский не нужен, но она была у нас книгой универсальною, как в Англии брошюра «О вежливости». По тому, что ею интересовались, можно понимать, как она приходилась по обстоятельствам. — Что я не попадаю в тон «Историч<еского> вест<ника>», — это я тоже знаю, но помогать себе в этом не могу и не хочу. Я думаю заодно с теми, кому кажется, что «все роды литературных произведений хороши, кроме скучного». Я люблю вопросы живые и напоминания характерные, веские и поучительные. Терпеть не могу писать вещей, относящихся к разряду: «ни то ни сё». Что интересно, весело, приправлено во вкус и имеет смысл, — то и хорошо, а всякая «вода с Аполлоновых <…>» — есть помои, которых сколько ни лей, все до них никому нет дела. — К этому разряду относится все «изобилие материалов», о которых говорят во многих редакциях. — Пусть в это попадает кто хочет.

С Андреем я засуетился по неопытности. Мне помнилось, будто Вы говорили: «Куда деть военное пальто?» Вчера я, однако, нашел ему готовую теплую шинель и в ней отправил его вчера же в ночь в Бронницы. Вы на меня не сердитесь, что я обратился к Вам с такою фамильярностию, — я думал, что Вам Ваши военные вещи не нужны и им лучше найти сбыт, чем пропадать зря, а к тому же недосуг и внезапно наступивший холод, при неопытности насчет военной справы, совсем сбили меня с толку. Мне очень хочется, чтобы Вы мне это простили. Не разыщи я вчера случайно теплой офицерской шинели, — бедный мальчик смертельно бы мог простудиться. В таком затруднении — всюду кинешься. Пожалуйста, простите.

О «Запеч. ангеле» я сделаю все так, как Вы с Алекс. Серг. скажете. Вам ведь все равно идти под суд: Вы уже напечатали «Странника» без моей записки, и я еще не подавал на Вас жалобы. Думаю сорвать с Вас рублей тысячу на мировую и тем удовольствоваться. Вы покряхтите, а все-таки заплатите, и зато тогда у. Вас будет хороший материал — на что жаловаться.

Ваш *Н. Лесков*.

В. М. Лаврову

5 октября 1887 г., Петербург.

Уважаемый Вукол Михайлович!

Уведомляю Вас, что я получил 300 руб., присланные мне Вами через контору Юнкера. Благодарю Вас за эту присылку. Сегодня я послал Вам рукопись: «Инженеры бессребреники». В ней три печатные листа с небольшим. Так я заключаю по объему всей рукописи. Послана она Вам по почте, посылкою в холсте, на Ваше имя и на Вашу квартиру «с доставкою на дом». Переписывать было некогда, чтобы не опоздать дать ее Вам для набора к ноябрьской книжке. Рукопись, впрочем, несмотря на помарки и дописки, достаточно четка и ясна для типографии. Но черновой у меня нет, и я усердно Вас прошу иметь это в виду и уведомить меня тотчас же, как рукопись будет Вами получена, что должно состояться 7-го — 8-го октября.

Пока я не получу от Вас такого уведомления, это будет меня немножко беспокоить, и я сочту за любезность с Вашей стороны, если Вы не замедлите уведомлением.

Картины, представляющие ужасное время

ипокритской и подлой поры безгласицы, — терзательны, но зато представляют свое время яко в зерцале. Теперь у Вас моей работы должно быть листа 4 — под нее получено авансом 300 руб. Таков наш счет с Вами. «Челядь», конечно, идет без моей корректуры, но «Бессребреников» прошу прислать в полосах, до сверстки, но по последней корректуре. Иначе — не утерпишь, чтобы не делать поправок корректорских, а это непременно увеличит пестроту необходимых авторских поправок. Через небольшое время я Вам пришлю небольшую статейку о современных офицерских нравах, написанную по книге, сочиненной гг. офицерами и выпущенной в свет под заглавием «Досуги Марса». Это очень глупо и очень характерно, а потому и интересно. Это составит что-нибудь около полулиста или немножко более. Желательно ли Вам это? Прошу написать. А то это годится и в «Историч<еский> в<естник>», но я думаю, что Вам не худо заставить поинтересоваться Вашим журналом многочисленный состав военных читателей.

Был у меня С. Н. Терпигорев и много удивлялся, что Вы ему не даете никаких известий о сданной им повести или романе. В чем дело? Вы бы это лучше как-нибудь разъяснили.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

P. S. Кланяюсь Виктору Александровичу и г. Ремезову. Последнему прошу сказать, что я ему очень благодарен за отзыв о «Памфалоне-скоморохе», Как Ваши дела с Н. Н. Б-вым?

С. Н. Шубинскому

6 октября 1887 г., Петербург.

Уважаемый Сергей Николаевич!

В «Запеч<атленном> ангеле» семь листов. Отдать такой рассказ на 10 тыс. экземпляров за сто рублей просто ужасно!.. Подумайте, во что это обойдется лист? Даже считать стыдно… И для чего уж это такая дешевизна? Мне кажется, что за рассказ дешево дать и по 25 руб. за лист. И так я никому не продавал. Я знаю, что Вы укажете на особенности условия, — это так; но ведь все же 10 тыс. экземпляров!.. Не найдете ли Вы и Алексей Сергеевич справедливым дать мне ту, очень малую цену, которую я считаю справедливою и дешевою, то есть по 25 руб. за лист, или хоть 150 руб. за всю штуку? Пожалуйста, поговорите и напишите мне. Несправедливо же дать за «Ангела» в 7 листов — то же самое, что за «Пигмея» в два листа!

Ваш *Ник. Лесков.*

В. М. Лаврову

30 октября 1887 г., Петербург.

Уважаемый Вукол Михайлович!

Возвращаю Вам корректуру «Бессребреников» с добавкою предисловия. Оно необходимо, чтобы обеспечить себя на тот случай, если что-либо окажется не вполне исторически верно. Этим, собственно, и начнутся «общественные апокрифы», продолжение которых для Вас нимало не обязательно. Понравятся они Вам и Вашим читателям, — будем их продолжать под общим заглавием «апокрифов», а не понравятся — я их перенесу в другое издание, но все под тем же необходимым упоминанием, что это апокрифы, по устным рассказам. Предисловие прочтите в корректуре сами или попросите о том Виктора Александровича. Рукопись Терпигорева и «Челядь» получил, а Вам на декабрь пришлю маленький рождественский рассказ из орловского и елецкого быта, — история Кастовского (1837 г.). Это будет лист с небольшим.

Затруднений Ваших с «Марсом» не понимаю. Не все ли равно, куда это ткнуть, — лишь бы было интересно прочитать, а оно интересно.

Корректуры идут под бандеролью, заказным, на адрес редакции. Кланяюсь Вам и Виктору Александровичу.

Ваш *Н. Лесков.*

В. Г. Черткову

4 ноября 1887 г., Петербург.

Добрый друг мой!

Позавчера я получил Ваше милое письмо от 30 октября из Крекшина. Оно мне было очень приятно, потому что я не остаюсь в долгу у Вас и сам люблю Вас, люблю Вашу умницу жену и люблю и чту в единомыслии с Вами человека, дух которого светит нам и ведет нас. Я рад, что Вы дорожите моей дружбой, и прошу Вас верить, что я искренно дорожу дружбой Вашею. Я приехал в П<етербур>г 22 августа и переменил квартиру. Живу теперь по Фурштадтской, в Общине сестер милосердия — Барятинской (нынче Орловой-Давыдовой). У меня просторно и чисто. Первый этаж и окна в сад. Я это люблю. Книги, о которых пишете, обе изданы. Особо посылаю Вам их по экземпляру. «Жидовин» напечатан во множестве, и право на него дано (бесплатно) на два года. «Скоморох» напечатан Сувориным в числе 10 000 экз. и продается хорошо. Таким образом, обе эти книжечки распространяются очень хорошо, и прилагать усилия к тому, чтобы еще более распространять их, едва ли есть надобность. Притом

же на «Жидовина» обращено неблагосклонное внимание по упованию мин<истерства> народн<ого> просвещ<ения>, которое усмотрело в рассказе нечто вредное. Следовательно, новое издание, да еще с Вашею фирмою, едва ли было бы разрешено теперь. Настроение теперь таково, что, например, Суворину не дозволили печатать «Пигмея» и «Кадетский монастырь» и весьма измарали «Запечатленный ангел». Пишу я кое-что, что меня самого нимало не радует и даже не занимает, — единственно для «буар, манже и сортир». К сожалению, это необходимо, и об этом распространяться нечего. Рассказ «На краю света» принадлежит книгопродавцу Игнатию Лукьян<овичу> Тузову, мужу крепкому и к деньге усердному, а потому об издании этого рассказа теперь не может быть и разговора. Да и еще скажу, если «Запеч. ангел» вернулся весь исщипанный, то «На краю света» и пытаться нечего представлять. Не то ныне время, чтобы возобновлять подобные вещи, и лучше не обращать на них внимания злодеев. Здоровье мое не очень худо, но и не хорошо. По Вас и по Анне Константиновне скучаю и давно жду Вас. Я думал, что Анна Константиновна уже привела на землю нового странника, а она еще все собирается… Да

облегчатся ее страдания мужеством ее прекрасной души. Скажите ей мой поклон и что я жду услыхать, что она уже оттерпела свои муки. О Л. Н-че мне все дорого и все несказанно интересно. Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его. Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума. Где есть у него слабости, — там я вижу его человеческое несовершенство и удивляюсь, как он редко ошибается, и то не в главном, а в практических применениях, — что всегда изменчиво и зависит от случайностей. — Друг мой Филипп Алексеевич Терновский никогда не был священником, а был профессор Киевск<ого> университета и Духовной академии. Выгнан с обоих должностей Делячовым по требованию Лампадоносцева и умер в нищете в Киеве, где остались его дети, круглые сиротки. Это был человек огромного ума, дивного сердца и поразительных познаний. У меня много его писем. Сироты его почти без куска хлеба при старой бабушке. Умирал шутя и, улыбаясь, шутил над Лампадоносцевым, что «и он даже может убить человека». Смерть его описана мне проф. Лебединцевым. Бирюкова не вижу. Пусть это бу-

дет ему стыдно. Писаний Л. Н. читать жажду, но не имею их. Критику догматич<еского> богословия списал. Это очень умно и тонко прослежено. Не можете ли написать, чтобы, мне что-нибудь дали почитать?

Братски любящий Вас

Н. Лесков.

А. С. Суворину

6 ноября 1887 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Мне приходится навещать умирающего Бурнашева. Ужас нищеты и горя, в которых он находится, невозможно передать словами. Он буквально гол и ходит на четвереньках, потому что не может распрямиться. Конечно, я ему не в силах помочь сколько нужно, ибо нужно все. Он поручил мне просить Вас «от умирающего» напечатать о нем обращение к общественной помощи, не скрывая его имени. Я исполняю эту просьбу и прилагаю при сем текст для обращения. Если это возможно, — не откажите. Он брошен всеми решительно, и хотя, быть может, он и сам не прав, но страдания его ужасны, а он — человек… За верность его просьбы я перед Вами отвечаю.

Преданный Вам

Н. Лесков.

А. С. Суворину

9 ноября 1887 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

У меня есть полудетский, полународный рассказ «Пугало», печатавшийся три года тому назад в детском журнале Вольфа как «святочный рассказ». Он представляет доброго, честного мужика, «постоялого дворника», которого считали вором и разбойником без всякой иной причины, кроме того, что он был страшен собою и нелюдим, а также скрывал свою жену — дочь отставного палача. Это истинный кромской случай. Мужик этот привозит большие деньги проезжему, который у него их забыл. — Рассказ читали с удовольствием и большие и дети. В нем три листа, и он цензуреп и нигде в особой книжке отпечатан не был.

Позвольте мне предложить Вам: признаете ли Вы за удобное взять этот рассказ для третьей или (после «З<апечатленного> ангела») четвертой книжечки «Дешевой библиотеки» моего изделия? — В таком разе я доставил бы Вам печатные листки этого рассказа.

Не знаю, говорил ли Сергей Николаевич с Алексеем Петровичем об «Ангеле». Рассказ был продан

Базунову; книги Базунова проданы с аукциона. Не могу себе уяснить: неужто Вольф, купивший книги Базунова кучею и вразброд, имеет права этого издателя, обанкротовавшего?.. Одни говорят: «Не имеет: все условленное с банкротом кончается», а другие путают что-то неудобопонятное. Не спросите ли Вы Алексея Петровича: правильно ли мы поступаем?

Преданный Вам

Н. Лесков.

В. М. Лаврову

24 ноября 1887 г., Петербург.

Уважаемый Вукол Михайлович.

Книжку за ноябрь получил и удивляюсь Вам, как пронес бог два-три места в «Бессребрениках». — Вы напрасно научились у Мих<аила> Никиф<оровича> не отвечать на деловые письма. Это внушительно, но пренеудобно, что я сейчас и чувствую и Вам объясню.

Я Вам писал, что изготовлю «святочный рассказ», и просил известить: нужно это Вам для декабрьской книжки или не нужно. Такой или другой ответ, по значению своему, для меня были безразличны, не открывали мне карты. Вы ничего не ответили, а в это время приезжает Гайдебуров и просит рассказ «на декабрь».

В эту минуту (8 час. утра 24 ноября <18>87 г.) рассказ у меня на столе: готовый, переписанный и вновь основательно измаранный. Теперь его остается только отдать и напечатать. В нем два листа и он называется «Родственная услуга»; по жанру он бытовой, по сюжету — это веселая путаница; место действия — Орел и отчасти Елец. В фабуле быль перемешана с небылицею, а в общем

— веселое чтение и верная бытовая картинка воровского города за шестьдесят лет назад, при Трубецком и Курилеико. По-моему, рассказ одинаково удобен Вам, Гайдебурову и Шубинскому, но я Вам о нем писал раньше других и считаю неудобным распорядиться им, не получив от Вас отказа.

А потому усердно прошу Вас по получении сего письма, в 25-й день ноября < 18>87 г., — тотчас телеграфировать мне три слова: прислать ли Вам рассказ, или у Вас материала довольно. В первом случае я вышлю Вам рукопись 26 ноября, и 28-го она будет уже в Ваших руках; а во втором случае я ее тотчас же отдаю здесь, и опять дело устраивается удобно для меня, для Вас и для третьего, кому рассказ нужен.

Во всяком случае, я буду считать себя не свободным перед Вами *до 26 ноября* включительно, а если и 26-го Вы мне ничего не ответите, — я сочту это за то, что Вам мой рассказ не нужен, и тогда отдам его в другие руки.

Очень желаю, чтобы Вы и Виктор Александрович нашли образ действий чистым и правильным.

Ваш *Н. Лесков*.

P. S. Что же Вы будете делать с моею заметкою

о военных? Я Ваших затруднений *не понимаю* и, вероятно, никогда не пойму, но возвратили бы, да и конец. Эти вещи все уходят.

А. С. Суворину

28 ноября 1887 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Сегодня я написал Таганцеву, что я не хочу оставаться в Лит<ературном> фонде и слагаю с себя звание члена. Вчера я хотел посоветоваться с Вами, — что предпочесть: сложение с себя звания или требование, чтобы мне предоставили возможность прочесть перед полным собранием записку, в которой я изложил бы критику па прошлое и представил бы мои соображения на будущее Я надеялся написать дельную критику и имею дельные мысли для того, чтобы общество это служило своему делу. За ночь я решил, что мне нужно отказаться от членства, потому что иначе в том, что я буду говорить, можно будет находить, как будто я ищу там чести для себя, а это может убивать всю силу моего слова, задуманного крепко. Теперь мне нужно место для одной большой статьи, зараз напечатанной. Потом могут понадобиться две-три отповеди. Могу ли я рассчитывать, что место это дадите мне Вы, так как у Вас мне приятнее и удобнее вести это дело, чем где-нибудь в другом органе. Мои мысли

пусть и будут моими, за моею подписью; а Вы, — в чем не согласитесь со мною, — ставьте свои примечания. Я надеюсь, что мы будем говорить не пустяки и не в пустыне и проберем кручину этим сухим и неспособным к делу «милостивым государям». Я боюсь, что Вы не похвалите меня за то, что я сложил звание члена, но это необходимо. Иначе я не мог бы, говорить все, что думаю, и тем сильно бы себя ослабил. Моя основная мысль та, что глупо выбирают по партийности, по чинам и по литературному значению. Надо выбирать по способности служить добру, а не по важности чина или литературного значения. М. И. Пыляев, Вы, я, Шубинский, Гей — все пригоднее, чем, например, Кобеко или Утин. И потом — разве надо капитал собирать, а не завести на него врача, койки в больнице, ваканции в приютах, №№ в дешевых квартирах и т. д. Словом: благословите или нет? Я очень хочу теперь за это взяться.

Ваш *Н. Лесков.*

В. М. Лаврову

4 декабря 1887 г., Петербург.

Уважаемый Вукол Михайлович.

Я и в помышлении не имел сказать Вам что-нибудь укоризненное или колкое и о Каткове вспомянул просто шутки ради. Если это имело вид обиды, или по меньшей мере — неуместности, то, пожалуйста, не причтите это к умыслу моему, а отнесите к неудачности выражения и приятельски простите. Я ничего, ровно *ничего* не имею ни против Вас, ни против Виктора Александровича Гольцева, и мне неприятно знать, что Вы думаете об этом иначе. Ни Вы, ни Гольцев не оказали мне ничего, кроме милой ласки и предупредительности, и я плачу Вам за это самою чистосердечною приязнью. Вот и все. Полного согласия во взглядах на все предметы и условия не бывает между людьми, и, конечно, я не из тех, кто считает свои взгляды непогрешимыми, а чужие ошибочными. Если бы Вы знали меня ближе, то знали бы и то, что я всегда бываю уступчив и не спорлив. Переписываться дело довольно тяжелое, но необходимое. Я пишу вещь, подготовляя ее к потребностям одного журнала, а она выходит

ближе к другому. Надо же списаться, а если ответа нет, выходит затруднение. Из письма моего Вы должны бы, кажется, усмотреть, что я не имел самолюбивых претензий, а *у Вас у первых* спрашивал, не нужно ли Вам. И потом только дал эту работу другим. В чем же «недоразумение»? Я ничего не вижу. «Досуги Марса» ставьте где хотите и когда хотите. Я писал только о том, что если они Вам *не* годятся (чего я не думаю), то возвратите их мне. Это просто потому, чтобы Вас не связывать, так как эти маленькие отрывочки легко уходят в газеты. Еще раз прошу Вас — не думайте, что я мог иметь желание сказать Вам колкость, и верьте моей искренней к Вам приязни.

Ник. Лесков.

А. Н. Пешковой-Толиверовой

17 декабря 1887 г., Петербург.

Я только два дня тому назад вычитал в древнем Прологе рассказ о ручном льве святого Герасима. Но рассказ, по обыкновению житийных описаний, скуден и требует домысла и обработки, а это опять требует восстановления в уме и памяти обстановки пустынножительства в первые века христианства, когда процветал в Аравии св<ятой> Герасим. Поэтому я не могу обещать, *когда* я дам этот рассказ, а только я его дам. Вероятно, это во всякое время Вам пригодится. Написать же историческую или «житийную» сценку с налета, как пишут про зайчика или про курочку, — невозможно. — Рассказ будет очень небольшой, потому что такова вся фабула Пролога, а когда он будет готов, — я его пришлю.

Н. Лесков.

А. С. Суворину

26 декабря 1887 г., Петербург.

Усердно Вас благодарю, Алексей Сергеевич, за то, что Вы согласны заявить об окончании мною обозрения Пролога, «как повествовательного источника». Я с удовольствием говорю, что сделал дело трудное и полезное для литературы. Пролог — хлам, но в этом хламе есть картины, каких не выдумаешь. Я их покажу все, и другому в Прологе ничего искать не останется. Я вытянул все, что пригодно для темы. — Где я это напечатаю, — это я еще не решил. Может быть, в «Русской мысли» или у Шубинского, если ему нужно. Но это листов пять, а у него всегда «изобилие материала». Прежде же я хочу напечатать образчик этого труда под заглавием «Повествовательные образцы по Прологу». Я дам там два милые рассказа — один во вкусе Л. Н., а другой во вкусе Курганова, — очень интересные. Это я, признаться, хотел предложить Вам на один-два фельетона, что, верно, было бы приятно Л. Н — чу, чтобы рассказ в его духе, стиле и манере явился бы в издании многочитаемом. — Что Вы мне на это скажете? Я мог бы дать это даже к Новому году. — За переписку повести

деньги студенту уплочены уже П. Я. Леонтьевой (по 30 коп. за лист). О самой повести я вполне Ваших мнений. Пролог достать можно, но не сразу, и они дороги. Я, однако, закажу и Вас извещу. На днях приду к Вам. Апокрифы писать лучше, чем пружиться над ледащими вымыслами. Меня это занимает. — Что касается С. Н. Шубинского, то, право, говорить стыдно. Ему, словно соску дитяти, надо на кого-нибудь дуться.

А. Н. Пешковой-Толиверовой

26 декабря 1887 г., Петербург.

Уважаемая Александра Николаевна!

Поздравляю Вас, не знаю с чем, — так разнообразны и многочисленны фамильные дни Ваши. Покорно Вас благодарю за бювар. У меня еще служит тот, который Вы принесли два года назад. Посылаю Верочке сумочку для платка, а в ней кофейную старинную чашечку. — Рассказ написал «вдоль» и положил лежать и улеживаться, а в удачный час пропишу его «впоперек», и тогда дам переписать отцу Пэтру и извещу Веру. — Гонорар она себе может сосчитать изрядный — около 1/2 печ<атного> листа. Называется рассказ «Лев старца Герасима». — Слова «святого» надо избегать, а просто «старец». Ничего неприязненного к Вам не имею, но пребываю в мире и любви ко всем.

Смиренный *Николай-ересиарх*.

Письма 1888 года

И. А. Гончарову

2 февраля 1888 г., Петербург.

Высокочтимый Иван Александрович!

В Орле живут две мои приятельницы, тамошние помещицы Страховы, — весьма искусные в переводах с русского языка на французский. Они просят меня испросить для них у Вас разрешение на перевод Ваших «Слуг». Я не могу отказать этим девушкам в том, чтобы довести до Вас их покорную и усердную просьбу. Если это возможно, — разрешите им сделать перевод и послать его к Вогюэ, а если невозможно, то не посердитесь на меня за то, что я позволяю себе беспокоить Вас моею просьбою.

Ваш искренний и глубокий почитатель

Николай Лесков.

P. S. Я пишу Вам, потому что боюсь лично Вас беспокоить, но если позволите, — я приду в то время какое Вы мне укажете.

И. А. Гончарову

11 февраля 1888 г., Петербург.

Высокочтимый Иван Александрович!

Статья в «Нови» написана бывшим приказчиком Вольфа, по фамилии Либрович. Он также занимается и литературою под псевдонимом «Русаков». Я об этом узнал впервые теперь, именно по поводу статьи о Вас. Статья эта мне не нужна, и я прошу Вас не беспокоиться возвращать ее мне. Развязность, с которою говорит автор, мне тоже казалась очень странною.

Усердно благодарю Вас за внимание к легенде. Они все очень наивны, и их всегда приходится приснаровлять. Я чувствую справедливость Ваших замечаний и высоко ценю Ваше внимание.

Почтительно преданный Вам

Н. Лесков.

А. Н. Пешковой-Толиверовой

11 февраля 1888 г., Петербург.

Посылаю Вам рассказ. — Вчера мы его прочитали с Репиным и остались им довольны. Картинка у Вас будет через две недели. Потрудитесь сейчас отдать рассказ в набор и доставьте мне *два* экземпляра корректуры, чтобы один из них я мог сейчас же послать Репину. От этого будет зависеть скорость в изготовлении картинки.

Вы нехорошо поступили, не сказавши мне, что Стасов отказался просить Репина о рисунке. Я сыграл очень неприятную для меня роль, и это мне урок.

Н. Л.

В. М. Лаврову

11 февраля 1888 г., Петербург.

Уважаемый Вукол Михайлович!

Письмо Ваше и рукопись «Сошествия» получил. Не думаю, чтобы она подлежала цензуре, но думаю, что она просто не нравится. Она найдет себе место. «Апокрифов» я поищу в моем архиве. Они действительно нравятся, но их трудно выбирать, чтобы они были цельны и содержанием своим давали цельное же впечатление. Я пишу для Вас в том же фактически повествовательном роде двух «обрусителей» в Остзейском крае, под заглавием «Фортинбрас и Оберон» (картинки с натуры). Как только допишу и перепишу, так и пришлю Вам, а если найду «апокриф», то тогда пошлю Вам апокриф, а Фортинбраса с Обероном отдам здесь по обещанию.

Ладно ли это по Вашему или нет?

Напишите, если не ладно.

В «Петербург<ской> газете» было что-то о Бахм<етеве>, будто он и Щедрина зацепил в «свидетели»… Чего свидетельствовать-то? Скажите поклон мой милому Гольцеву. Его за что-то на днях угрызал Буренин.

Дружески жму Вашу руку.
Н. Лесков.

А. С. Суворину

11 февраля 1888 г., Петербург.

Посылаю Вам, Алексей Сергеевич, экземпляр «Захудалого рода». Желаю, чтобы он Вам понравился и чтобы Вы его издали. Я люблю эту вещь больше «Соборян» и «Запеч<атленного> ангела». Она зрелее тех и тщательно написана. Катков ее ценил и хвалил, но в критике она не замечена и публикою прочитана мало. Если есть досуг, — пробежите ее. Книжка может выйти в полтинник, и это будет удобно Вам, публике и мне. Я буду ждать от Вас ответа даже с нетерпением, потому что это моя любимая вещь.

Что Вы пишете о притуплении своего вкуса, то это неправда. Рецензии и заметки этого не обнаруживают, да и немолодой век еще не есть престарение. Отчего бы Вам потерять то, что Вы имели?! Это у Вас «мерехлюндия». Но, кроме вкуса, у Вас есть еще и честность в оценке, — чего у других совсем нет. Это меня возмущает глубоко, до страдания. На днях я виделся случайно с критиком, который говорил много обо мне и о Вас, что мы, дескать, могли бы быть так-то и так-то поставлены, но нам «сбавляют успешный балл за

поведение». Я отвечал, что мы оба «люди конченые» и нам искать расположения уже поздно, но что, по моему мнению, в нашем положении есть та выгода, что оно создано органически — публикою, а не критиками, и что критики нам ничего не могут сделать ни к добру, ни к худу. Оно так и есть. Я знаю для себя только один существенный вред, что до сих пор не мог продать собрания сочинений. Это дало бы мне возможность год, два не печататься и написать что-нибудь веское. Изданы уже все, кроме меня, — а меня и читают и требуют, и это мне нужно бы не для славы, а для покоя. В этом отношении ругатели успели меня замучить и выдвинуть вперед меня Сальяса, Гаршина, Короленку, Чаева и даже Лейкина. Слова же в помощь мне — ниоткуда нет, да теперь оно вряд ли и помогло бы делу, важному для меня только с денежной стороны. Но я и с этим помирился и приемлю яко дар смирению нашему. А экономически это все-таки меня губит.

«Катехизис» и «Исповедание» для Вас списывается. Это прелюбопытно, но я сомневаюсь, чтобы это было «народно». Я знаю штунду и в этом «Катехизисе» не узнаю ее. Об этом я Вам сообщу заметку. — О прелестницах по Прологу напишу.

Искренно преданный Вам

Никл. Лесков.

И. А. Гончарову

12 февраля 1888 г., Петербург.

Посылаю Вам заметочку, которую хотел бы поместить в хронике «Нового времени», с целию рассеять неприятные для Вас «преувеличения». Не откажите пробежать эти строки, и если они не усугубляют путаницы и Вам не противны, то возвратите заметочку мне, а я отошлю ее Суворину. — Вчера был у меня редакт<ор> «Историч<еского> вестника», генер<ал> Шубинский, который ежедневно видится с Сувориным, и при разговоре о «воспоминаниях» Русакова я прочел из Вашего письма ко мне то, что касается этих воспоминаний. — Всем кажется, что это стоит исправить, но я боюсь, чтобы это не было почему-либо Вам неприятно.

Ваш слуга и почитатель

Н. Лесков.

И. А. Гончарову

13 февраля 1888 г., Петербург.

По духу Вашего письма, Иван Александрович, я должен, кажется, думать, что разъяснительная заметка Вам более *не* желательна, чем желательна. У меня же нет никаких иных целей, кроме того, чтобы сделать Вам угоднее. Следовательно, для меня безопаснее — оставить эту поправку без употребления, потому что в самом деле возможно, что автор тоже захочет поправляться, и дело может дойти до того, что окажется надобность в Вашем собственном слове, — а это Вам сделает неприятность. А потому я не пошлю заметки Суворину. Но позвольте Вам указать на опасность другого рода: «алмаз алмазом режется, а репортер репортером опровергается». Почему Вы не думаете, что завтра или послезавтра какой-нибудь репортер со слуха пожелает опровергнуть Р<уса>кова и напишет своею хамскою рукою самый развязный вздор, который и напечатает без всяких стеснений?.. Вот, может быть, почему и следует предотвращать это строками, составленными более или менее толково и не на задор.

Искренно преданный Вам

Н. Лесков.

В. Г. Черткову

5 марта 1888 г., Петербург.

Милый друг Владимир Григорьевич!

Простите меня, что я Вам долго не отвечал. Я хотел Вам прибавить к «Даниле» женщину «Азу», а Суворин целый месяц приловчался, чтобы ее напечатать. Наконец она сегодня только вышла, с посвящением и послесловием, которые должны маскировать ее дух и направление аксессуарами литературно-полемического свойства. Хорошо, что она вышла хоть под этим гарниром. Павел Иванович сердится, но я спокоен: мне думается, что всякий умный человек поймет, зачем положен гарнир, а не подано «о-натюрель». Натюрель бы села и не пронеслась в 30 000 экземпляров во все концы России. Далее, мы можем гарнир отбросить и подать «Азу» в ее чистом виде. Пав<ел> Ив<анович> этим немножко успокоился. Читайте, обдумайте и все подробно и искренно мне отпишите. Я люблю Ваши мнения и дорожу ими. Печатать «Азу» и «Данилу» можете где хотите, но я думаю, что теперь нигде не напечатаете, — разве за границею. Но я на все согласен с Вами, — лишь бы идеи милосердия проходили в народ. Писать

так просто, как Лев Николаевич, — я не умею. Этого нет в моих дарованиях, — притом цензура нас развратила, приучив все завертывать в цветные бумажки. Принимайте мое так, как я его могу делать. Я привык к отделке работ и проще работать не могу. — Жалею, что не вижу Вас и Анны Константиновны, с которою, мне все кажется, я будто был уже когда-то знаком, очень давно. Жалею о ее болезнях и немощах и никак не могу оправдывать Вашей настойчивости, чтобы она кормила дитя своей слабой грудью. Вы пишете о «гармонии». Разве одна женщина не должна помочь другой в том, в чем эта слаба? Не понимаю Вас и не одобряю, что Вы делаете и для жены своей и для своего ребенка. Не сердитесь за откровенное слово. Других не стоит говорить. Дружески обнимаю Вас и почтительно целую руку Анны Константиновны.

Искренно Вас любящий

Лесков.

А. С. Суворину

18 марта 1888 г., Петербург.

Критическая статья о картине К. Маковского «Смерть Грозного» — очень умна, метка и справедлива. Несмотря на ее спешность, она останется памятною и художнику и читателям. Картина истолкована прекрасно, а что от нее следовало спрашивать — показано еще лучше. Вы напрасно жаловались на утрату чуткости и вкуса, а я вам возражал «в правиле». Это очень хорошая, умная, зрелая и в то же время спокойная и необидная заметка. М<аковскому> стыдно будет, если он рассердится или обидится. Так бы надо писать и обо всех — кроме подлецов (то есть людей продажных), но, к сожалению, — так не пишут *ни о ком*. К замечаниям о представленном я прибавил бы, что Ирина *ни в каком случае* не могла «на людях» стоять в той позе, в какой она поставлена около мужа. Как ни исключителен момент, но женщина русского воспитания того века не могла себе позволить «на людях мужа лбпити», а она его удерживает «облбпя». Читайте Забелина, вспомните типический взгляд Кабанихи (Островского), схваченный гениально, наконец проникнитесь

всем духом той эпохи, и вы почувствуете, что это «лапание» есть ложь и непонимание, как сцена могла сложиться в московско-татарском вкусе, а не во вкусе «живых картин» постановки К. Е. Маковского. Вы этого не заметили, или я говорю вздор? По-моему — я говорю дело… И далее: бездушность женских лиц в картинах Маковского есть их специальная черта. Многим думается, что в русских картинах это и кстати, так как русские женщины «были коровы». Это, однако, глупо и неправда. Были коровы, а были и не коровы, и Ирина, смею думать, не была корова, а она была баба с лукавиной и двоедушием. Неужели это не черты для живописца!.. У Алексея Толстого в «Потоке-богатыре» есть боярышня, которая ругается: «сукин сын, неумытое рыло» и т. д., а потом прибавляет про свой «девичий стыд»… Вот это наша старинная «царевна» и даже «царица»: «на людях» очей не поднимает, а «в дальней клети с соборным певцом <…> окарачивает». Художники боятся льстить — это хорошо, — но они не знают, что сами у себя характерную и вовсе не лестную правду жизни крадут. У меня есть этюд головы «боярышни» стыдливой, но <…>, и никто из М<аковских> и Р<епиных?> до него не долезет., Я его когда-нибудь принесу Вам

показать. И не забудьте, что он писан девушкой (то есть настоящей «мамзель», а не «гут-морген».) Что же М<аковский> то все свою красивую куклу мажет!

А. С. Суворину

25 марта 1888 г., Петербург.

Простите, Алексей Сергеевич, что я три дня медлю ответом на Ваше письмецо. Это потому, что хотел ответить обстоятельно. — «Монашеские острова», где описана поездка на Валаам, находится при базуновском издании «Запеч<атленного> ангела». Их кое-кто любит, но я их терпеть не могу и всегда отрываю и бросаю. У меня их нет, именно потому что не люблю их. — Что Вы спрашиваете о Дамаскине?.. Я не совсем понимаю вопрос Ваш. Я о нем ничего не писал; чту о нем писал Алексей Толстой, — то Вы знаете: на церковнослав<янском> языке есть «житие» и потом еще «жизнеописание». Я вчера справлялся и ничего не нашел более. По историч<еским> источн<икам> он, надо думать, был «песнотворец» и вообще «художеств<енная> натура» и порядочный интриган. Христианство он понимал навыворот и был неразборчив в средствах борьбы. Это не Исаак Сирии, который искал истины и милосердия, а Дамаскин вредил людям, которые стояли за христианский идеал, и довел дело до «иконопоклонения». Но я все-таки не знаю, что

вы спрашиваете о Дамаскине, и, может быть, отвечаю Вам невпопад. — О «Маргарите» надо знать: сколько за него просят и *какого он выхода*? В этом есть разница. Но вообще на что он Вам?.. По моему мнению, — ни на что он Вам никогда не понадобится и никакой прелести в библиотеке не составит. Лучше уж купите когда-нибудь *одну* книгу (рукописную) «Зерцало великое», чтобы человек мог прийти к Вам и просить позволения «позаняться», а то срам, что надо в Москву к Буслаеву ездить. А «Маргаритов» сколько угодно у староверов, и им их и читать, а литератору они ни на что не нужны. — Таково мое посильное мнение. — Что «Аза» Вам нравится — этому я, понятно, очень рад. Я с нею столько мучился (буквально — мучился), что сам к ней примучился. Вчера приходил Полонский, которому я обещал отдать первую черновую, и трогательно меня целовал и все говорил мне милое и теплое. «Аза» писана с любовью и крайне тщательно. — Прошу Вас — велите набрать ее ранее и оставить корректуру у меня *на ночь*. Это очень полезно. А то принесут на полчаса и сидят над душою. Я еще хотел бы в двух местах крошечку тронуть. — Прикажите тиснуть и прислать, а я возвращу, когда назначите, то есть через ночь. — Книгу Крам-

ского взял с Вашего дозволения и многое в ней проследовал, например о Ледакове, Александрове, Стасове, Исаеве, Булгакове и др. Это лучший способ читать такие книги, и этим же способом узнаешь личность автора… Боже, сколько вздора все мы говорим и пишем! Н. И. Крамской, по-моему, не был «хамелеон», но был «с лукавинкой», без чего «нельзя на Московском государстве жить». Если бы был теперь ловкий фельетонист, — он бы по этой книге мог написать две-три такие штуки, что люди запрыгали бы, кто со злости, кто с радости, но это требует труда — и умного чтения, выборки и лукаво-добродушного изложения. А могло бы выйти много qui pro quo[30] и много смеху и колкости. — За книгу эту усердно Вас благодарю и кое-где пущу о ней весть в тоне забирающем и духу органа соответствующем. Но позвольте снахальничать и по-купечески еще что-то вымаклачить. В «агенстве» смеются надо мною, — как они «нажили» на «Смехе и горе». Знаете, как это колет… У русских купцов есть обычай в таковых разах давать «утешение». Я похвалился при всех, что выпрошу себе у Вас «утешение» в виде экземпляра Лейкснера, и, может быть,

---

[30] Примечания: 30
Недоразумений (*франц.*)

даже в переплете… Посудите теперь: каково мое положение, если Вы на это промолчите? А «прикинуть», право, стоит. — «Подозрительность» во мне, может быть, есть. Вишневский писал об этом целые трактаты и изъяснял, откуда она произошла. Он называет ее даже «зломнительством», но ведь со мною так долго и так зло поступали… Что-нибудь, чай, засело в печенях… Притом я знаю натуру того, с кем рядом упомянут: ему мало прилепить пятно, а еще надо и почесывать, а Вы — человек впечатлительный… Мы много прожили вместе, и я не хочу ничем огорчить Вас и потому вперед себя ограждаю от наветов «мужа льстива и двоязычна». Я люблю сказать прямо и сам прямое слово слушаю без досады и раздражения. Заметку о скотах опять Вам посылаю. Вы ее прочтите, разорвите и бросьте, — мне она не нужна: но разве это не надо знать газете?.. Я не понимаю Вас. Это большое дело. Не нравится Финляндия — вычеркните ее, но ведь р<огатого> скота *никуда* не пускают… Неужто это не вопрос? Я узнал это случайно — при встрече в гостях, и мне это показалось за любопытное.

Ваш *Н. Лесков*.

О скоте я слышал *сам* от инспектора медиц<инской> части в Херсоне, который теперь приехал

сюда по требованию начальства. Фамилия его «Сотничевский» (доктор).

А. С. Суворину

26 марта 1888 г., Петербург.

По поводу Дамаскина мы говорим о разных лицах, и это я только догадываюсь, а вопрос Ваш и теперь неясен. Чехов, вероятно, говорил Вам *о валаамском игумене* Дамаскине, чего я не мог вообразить и старался отвечать Вам о настоящем Дамаскине, который просился у калифа «на волю», сочинял «панихиды» и стоял за иконопоклонение против идеалистов христианства.

Любим калифом Иоанн.
Ему что день – почет и ласка;
К делам правления призван
Лишь он один из христиан
Порабощенного Дамаска.

Валаамский игумен Дамаскин (это имя, а не прозвание) — в монашеском мире зван был «валаамский полицмейстер», и эта кличка ему была дана по шерсти. Он был штукарь по вызнаванию секретов, дипломат по сношениям, очень разумный эконом, — знал, где взять и где дать, и вот Вам его фигура и облик. — Как вы держитесь и

хотите держаться с «Деш<евой> библиотекой» вещей *чисто литературных*, то я не думаю, чтобы туда годились Валаам и его «полицмейстер». Говорить о нем правду — значит «терять дружбу» и «дразнить гусей», а повторять бабьи россказни и монашеские «афинейские плетения» недостойно издателя с литературным именем.

Это может делать синод, Тузов и подобные, но не Вы. Чехов — милый юноша, он может быть в каком-нибудь увлечении. Я это знаю, ибо сам все это прошел и описывал «старца Иону» из Выдубецкой пустыни, который оказался прохвостом и с помощью «церквина сына Тертия» оттягал у крестьян соседнего села всю землю и лес, купленные ими «на слово» и «под записочку» у княгини Екатер<ины> Алекс<еевны> Васильчиковой (рожд. Щербатовой), уверовавшей в Иону, как современные дуры веруют в Ивана Кронштадтского. Она завещала «все имение» Ионе (то есть его скиту), а скит на этом основании завел тяжбу с крестьянами, которые купили землю у своей бывшей помещицы «под записочку», и у них эту землю *отняли*, при содействии «церквина сына Тертия». Мужики (хохлы) сначала ревели, а потом озлились и стали монахов ловить и бить, а отпускали, наклав в порты крапивы. Поднялись

дела — усмирения и ссылки… Этих «освященных» особ надо «подождать хвалить, дондеже чудеса сотворят». Валаамский Дамаскин заморил голодом крестьян, возбраняя им ловить рыбу у берегов острова под тем предлогом, что они подвозят ром, которым его монахи опиваются.

«Маргарит» — книга «беседная», — ее хорошо грабителю-купцу в пост читать. В библиотеке литератора она ни на что не нужна. Другое дело редкости «житийные», как «Зерцало» и т. п. Честь была бы Суворину, чтобы писатель пришел к нему в библиотеку и у него просил права поработать, тогда как теперь в синоде (2 экз.) книги не *дают*, а надо просить у Солдатенкова, Буслаева или Владимирова. На этакие книги — тратьте деньги, и Вы себя и других утешите; а на что Вам «беседность», во многом узкая и всегда очень скучная и не полезная? — Четьи-Минеи екатер<ининского> времени *полные* имеют еще свое значение, но не важное, так как Феофан из них все поэтическое или легендарное повыпускал, а неполные к чему они? — «XIX век» еще не получил, но ожидаю и Вас очень благодарю. Это мне приятный подарок от Вас и «возмещение» нравственное за торговую насмешку надо мною. Усердно Вас благодарю и прошу не посердиться на мое попрошайство.

По русским торг<овым> обычаям, при хорошей «развязке» — продавцу полагается «магарыч» или «накидка», Соблюдайте обычай. Природу воронежскую хорошо описываете, и синодик воронежских людей интересен. Какие хамы у нас в двор<янских> собраниях и в думах: отчего ни Орел, ни Воронеж не имеют на стенах этих учреждений портретов своих даровитых уроженцев? В Орле даже шум подняли, когда кто-то один заговорил о портрете Тургенева, а недавно вслух читали статью «Новостей», где литературный хам «отделал Фета». Сколько пренебрежения к даровитости, и это среди огромного безлюдья!.. И газеты не дорожат своими людьми. Неужели Гаршин не стоил траурной каемки вокруг его трагического некролога?.. Я, ложась спать, думал: «Верно, А<лексей> С<ергеевич> велит поставить крестик и каемочку». Утром вижу — нет! Почему, спрошу? Нам, литераторам, он ближе, чем Скобелев! Он несомненно «пробуждал мысли добрые». Зачем все известия о приезде «действительных стат<ских> советников» печатаются, а непристойным считается известить о приезде Чехова? Это уже Ваше, редакторское, пренебрежение. Пусть бы люди знали, что литераторы достойны внимания не менее столоначальников департамента.

Прикажите быть к ним внимательнее, — это даст тон и другим, не умеющим ничего придумать. Вам это часто удавалось.

Смир<енный> е<ресиарх> *Николай*.

«Азу» ставьте когда угодно. На шестой неделе я Вам дам «Пасхальную ночь в аду» для пасхального номера. Не позабудьте уберечь место для этого полномерного фельетона ростом с «Данилу».

А. Н. Пешковой-Толиверовой

14 апреля 1888 г., Петербург.

Мордовцева, без сомнения, надо спросить. «Так» подобные дела не делаются. Он мужик добрый и, без сомнения, не откажет Вам. Пересказывать он не мастер: он очень скверно пишет — манерно и с хохло-кривляниями. — О французских картинах я одного с Вами мнения. Письмо Соловьева-Несмелова я прочитал в тех местах, что касается меня. Очень благодарю его за хорошее обо мне мнение, но доводами его не убеждаюсь, а, напротив, еще более противуубеждаюсь. По словам Христа, по учению двенадцати апостолов, по толкованию Льва Ник<олаевича> и по совести и разуму, — человек призван помогать человеку в том, в чем тот временно нуждается, и помочь ему стать и идти, дабы он, в свою очередь, так же помог другому, требующему поддержки и помощи. Это же и у Смайльса (книга «Долг», то есть обязанности). И я надеюсь, что никто не обличит меня в том, чтобы я когда-либо отказался от исполнения этого человеческого долга. Но я нигде, кроме католического катехизиса, не слыхал о долге накоплять суммы во имя кого-то умершего,

дабы потом ими орудовать в филантропическом духе, да еще вдобавок по усмотрению особого учреждения, и притом такого, смею сказать, лядащего, пристрастного и мертвого учреждения, как Литературный фонд… Теперь это выходит уже какая-то чистейшая глупость, к которой я не имею никакой охоты присоединяться. Я могу допустить, чтобы Лит<ературный> фонд был *исполнителем* выдач, мною указанных, но чтобы я дал мой труд в распоряжение этих приказных, — нет, слуга покорный!.. Я. не признаю за ним ни доброты, ни ума, ни чистосердечия и никогда нигде не скрываю моего совершеннейшего неуважения к этому обществу. И вот об этом-то я стану хлопотать, чтобы католически капитализировать сумму доброты для того, чтобы вверить ее в руки Фонда?!. Ах, как это хорошо и как всесовершенно пошло! — Нет, я на это не пойду, да и другим бы не советовал. Касьян того и гляди перекинет кого-нибудь такого, после которого прямо надо будет подумать *о хлебе*. Вот тогда я, — если жив буду, — весь к услугам. Иначе же ни на какие комбинации, — особенно с Лит<ературиым> фондом, — я не только не пойду, и им не сочувствую и их осуждаю не только как бесполезные, но прямо как вредные. Лезть

к обществу в карман часто не следует. Сегодня лезут «по поводу Гаршина», не зная *еще на что*, а завтра может явиться что-нибудь вопиющее вроде Лиды, Кущевского, Решетниковой или Бурнашева… И тогда опять лезть, опять просить?! А не скажут ли нам: «брысь! надоели». — Словом, эта затея жалка мне, и очень жалко, что за нее взялись добрые ребята. Иначе стоило бы их поставить перед зеркало разума на всей красоте, не стесняясь плюнуть в бороду Фонду, который уже не раз обтирался от заслуженных им плевков. — К этому еще могу Вам сообщить, что я говорил о своем отказе тем, кого люблю за разум и веру, и они мне отвечали: «Так и следует»… Они ведь писали к Льву Николаевичу, — что же от него получили?.. Помощь нужна старцам, детям, больным, холодным и голодным. Надо приставить человека к возможности трудиться и зарабатывать, а немощного питать. Более ничего, ничего и ничего! Оле все затея, срам и глупость.

Н. Лесков.

P. S. Я советовал бы (и это очень нужно), чтобы затеяли сборник в пользу нуждающейся «литературной бабушки Татьяны Петровны». — «Сребра и злата не имам, а дар его же да ми господь вдам ей в веселии сердца моего». — Чего они смотрят-то, да

не видят того, что *надо сделать*. Горька старость с нуждою, а не похороны… Идолы это, а не живые люди с живыми и чуткими сердцами. — А вон как «Лев» проектирует свои похороны: «вырыть яму на том поле, которое я пахал, и зарыть меня в нее просто, безо всего — без гроба, да *притоптать ногами*, а потом распахать да хлеб посеять, чтобы хлеб рос, а меня *знаку не оставалось*»!.. Вот кто «человек во всем значении слова»!.. А то еще с Фондом возиться! — Пусть заводят «бабушкин кошель», да пусть все дадут ей, что могут, *самое лучшее*. Я супротив других не дам ни меньше, ни хуже.

А. С. Суворину

15 апреля 1888 г., Петербург.

Благодарю Вас за Ваше сегодняшнее письмо, более, чем за всю нашу переписку. Я знаю, что сознание своей вины есть величайший шаг, ибо с него начинается поворот. Слова Ваши: «и я в этом виноват» — есть прекрасные слова человека, тронутого сознанием своей былой несправедливости. — Чего мне недостает? — Вы отгадали: именно *критики*. Я очень чуток, и правдивое замечание меня восполняет и родит во мне много мыслей. Критики я *никакой* не слыхал… Теперь я ко всему этому равнодушен, и «замалчивание» меня только смешит.

Журналисты молчат, а публика меня ласкает и любит. Этого довольно. Анатолий… говорил мне, что он у Андреевского имел… разговор о бестактной глупости «пропустить… замечательного писателя». Он хотел писать сам, хотел сводить меня с Стасюлевичем, — хотел сам все это сделать. Потом за то же брался Гончаров… *Я ничего этого не захотел по глубине чувствуемого мною оскорбления и ничего не хочу.* Я имею что нужно: я сыт, и публика меня любит. Нас с ней *теперь*

нельзя поссорить, как это было сделано в глупые годы нигилизма. А «в борьбе» с пошлою злобностью (как сказано у Тургенева в «Помещике») таится наслажденье

Неистощимое презренье…
Как яд целительный, оно
И жжет и заживляет рану…

Не читали Вы — это видно. Иначе, может быть, Вы захотели бы указать вчера Виктору Петровичу, что повесть Боборыкина «У плиты» — есть *перелицовка* «Леди Макбет Мценского уезда»… Да! я Вас прошу — окажите мне дружбу — пробежите эту «Плиту», и Вы увидите, что это *моя фабула*, может быть значительно искаженная. И в «Вестнике Европы» этого *не узнали*, и Буренин тоже. Неужто это позволительно? Как бы, я думаю, Стасюлевич удивился, что напечатал «подражательность модисткам» и «предпочел список оригиналу»… По-моему, это стоит, может быть, указать, — и еще не поздно. Чту Вы говорите о моей литературности, то я хочу оборотить к Вашей жизненности, о которой Вы упоминаете и на которую недаром сетуете. Отстрадали Вы ужасно много, может быть оттого, что над Вами в начале Вашего семьянства не было доброй критики…

Все это, однако, прошло, и пусть не воротится в вашей памяти. Теперь, слава богу, — хорошо. У одной Вашей девочки *чудесное лицо* … Какое-то превосходное слитие лучшего от отца и от матери… Она Вас должна много утешить. — Вы раз сказали о Горбунове, что он «более писатель, чем актер». Я это запомнил, потому что это правда. Вы хороший, живой писатель и *лучший*, по моему мнению, критик теперь, но по натуре Вы не редактор, а нрав у Вас актерский. Вы чувствуете вдруг, порывами, страстно и прекрасно, и Вам бы ездить, играть, увлекать и увлекаться и потом опять писать страстно. Редакторство не по Вашей натуре. — Вы сделали и делаете дело, но все-таки страдаете. Счастливым актером Вы были бы счастливы. Я мог бы, кажется, написать на Вас повесть не такую, как «У пристани» Смирновой… Хорошо это, что мы стариками стали друг другом заниматься.

Очень хорошо!

Рассказы, у Вас находящиеся, издавайте как хотите: я на все вперед согласен. Положите сами по совести и по расчету, — я буду доволен.

Вы меня не обидите. Желаемые переделки сделаю в корректуре. От Шуб<инского> ни слуху ни духу; Гайдебурову нравится «Пасхальная ночь»,

из Москвы спрашивают о Прологах… Я ли буду виноват, если я опять «продам его за сребреники»? Вот настоящий «Сергий нзнуритель»! А потом разобидится. Бируков (от Толстого) просил сто экз. «Азы» для кого-то в Москв. Приказали ли вы дать? Ему ста экз. не дают, а давали менее. Зачем не дают? — Толстой написал «Пустой барабан». Бирук спрашивал меня: нельзя ли его у Вас напечатать, как «Азу»? Я отвечал, что поговорю с Вами и не сомневаюсь в Вашей готовности напечатать рассказ Льва Николаевича, но сомневаюсь в возможности — рассказ нецензурен. Я, однако, знаю его по устной передаче, — мы написали, чтобы Татьяна Львовна прислала рассказ в рукописи. «Пустой барабан» вроде Ивана-дурака.

Ваш *Н. Лесков.*

А. С. Суворину

19 апреля 1888 г., Петербург.

Усердно благодарю Вас, Алексей Сергеевич, за экземпляр Радищева! Это уже не малый дар, и даже не средний, а большой, восходящий к разряду «поминков». Покорно Вас благодарю. Получилось письмо от Л. Н. об «Азе». Это совсем не то, что говорили. Он (как и Вы) пишет, что «ставит Азу выше всего», и дальше другие похвалы, о которых говорить нечего.

Ровно никакого замечания, — всю одобряет и хвалит с головы до ног и советует мне «еще написать такую». Но я очень устал и утомился, да и довольно этого жанра. Вчера получил письмо от баронессы Менгден и Трохимовского о переводе Азы на нем<ецкий> и фр<анцузский> языки. По мне это все равно. Что мне не приносит заработка, тем я нимало не интересуюсь. — Какая жалость, что в книге Радищева есть ошибочная буква! Это должно неприятно обидеть Вас. Надо совладеть с собою. Вы хотели сделать «совершенное», а Великий Сатирик хочет, чтобы все человеческие дела были «несовершенны». Не сердитесь на невозвратное. — Об участии в сборнике Гаршина

Л. Н. Т. дал совершенно тождественный со мною отказ. Я читал его письмо. Оно, по обыкновению, очень мягко и добро, но содержит твердый и полный отказ, с прибавлением, что он Г-на «знал и любил», но «*по поводу его смерти*» не понимает цели делать что-либо общественное. «Помощь» он признает в тех же простых применениях, как и я им писал. Вы безмолвствуете, точно боитесь тронуть вопрос назревший, на котором этот Фонд можно бы весь вывернуть… Что это за такт?..

Вы писали Гайдебурову о Назарьевой, которой дали 75 руб., и написали, по их мнению, «резко» (словно «насмешка» не идет их величию), а почему бы не резко, но пристально не раскрыть служение их «Культу мертвых»? Это и есть *мое заглавие*: «Культ мертвых», под которым было два случая раздавить их как холодных гадин и бросить всем на смех, но Вы молчите и не хотите даже вызваться дать место… Я этого не понимаю. Победоносцы сделали им одолжение, запретив ношение венков, а то бы они скоро доспели в ряды форменных похоронных шутов. Вы пренебрегаете делом, которое стоит честной защиты и которое привлекло бы на Вас горячую признательность всех литер<атурных> бедняков, всех стариков и бесприютных вдов и сирот и оста-

вило бы о Вас прекрасную память. Но Вы этого почему-то не хотите, и, еще хуже, я боюсь, что Вы когда-нибудь рассердитесь и сорвете на них справедливую досаду, а их надо не оборвать, а *доказать* их непригодность. На это надо (по-катковски) «предпринять поход» и отстоять свое мнение доказательно. Не понимаю, отчего Вам это не хочется! Покойная Александра Алексеевна приписывала Вам «самодурство», вероятно не отдавая себе ясного отчета в значении этого слова. Это слово было в ряду вокабул, которыми говорили сверстницы ее молодого века, и она его повторяла зря. На ней было сильное отпечатление нигилистического «помазания» и какое-то предопределение к несчастию, при полной возможности устроиться удобно в жизни. Я не вижу в Вас свойства, которое она назвала своим словом. Вы непостоянны, страстны и порывисты, и отсюда у Вас частая непоследовательность, но рядом с тем Вы способны и к очень прочным привязанностям!.. Стало быть, есть и последовательность. «Привязанность» Вы тоже внушали и внушаете. Вы любимы в своей семье. Вас искренно любил покойный Вас<илий> Марков и теперь искренно и горячо любит Гей. Затем есть немало людей, очень к Вам расположенных. Чего

же еще? Друзей ни у кого нет или очень мало. «Сам<одур>ство» (если хотите) у Вас есть в манере шутить. Это очень странно, но у Вас это напоминает старинных избалованных бар, Алек<сандра> Н<иколаевича> Арапова, Афросимова и вел. кн. Николая и Владимира, которые, когда шутят, — не хотят замечать обидности их шуток… Когда я слышу о шутках Владимира и Николая, — я всегда вспоминаю Вас и нахожу поразительное сходство… (смейтесь, а это так). Вы как будто не знаете условий общей среды и не замечаете, что, шутя неосторожно, понижаете положение человека среди людей, где есть недоброжелающие ему. Этого люди не прощают и навсегда сохраняют в своем сердце. От этого стоит воздерживаться, и очень можно воздержаться. Думают, что это у Вас «грубость», но Вы человек не грубый, и вел. кн. Николай тоже, а это так — что-то «великокняжеское»… Однако это и не зло, ибо злой воли тут нет, но лучше, если можно это из себя вырвать. — С Шуб<инским> мы кончили к обоюдному удовольствию. Теперь он должен найти нового дежурного покусителя на его спокойствие. — Очень жду Ваших ответов об издании «Захуд<алого> рода» и рассказов. Сделайте решение поскорее, удобное мне и небезвыгодное для предприятия. У меня

очень болен сын (воспаление легких), и его надо взять из казармы на свободу. Надо стянуть все средствишки, а май м<есяц> на дворе, и в двадцать один год воспал<ение> легких переходит в роковую чахотку… — Что можете сделать без вреда и стеснения своему издательству, — не откажите в том моему писательству. Все равно ведь издавать кого-нибудь надо, а нас, бог даст, добрые люди купят и прочтут.

Преданный Вам

Н. Лесков.

«Пустой барабан» придет на днях. Как получу — так принесу сам. Только я очень сомневаюсь в его цензурности. Человек неслух — отца-мать не слушал, бога не слушает, а «пустой кадушки» слушается (солдат).

А. С. Суворину

22 апреля 1888 г., Петербург.

На последнее письмо Ваше, Алексей Сергеевич, я нашелся бы хорошо отвечать, если бы дело шло не обо мне, а о другом писателе. Я бы показал Вам, как я понимаю Ваш поступок и как ценю со стороны его порядочности и доброй услуги человеку, но как дело идет обо мне, то мне остается просто и коротко благодарить Вас за то серьезное дело, которое Вы вызываетесь для меня сделать, и затем я должен позаботиться, чтобы Вы не имели ни малейшего повода пожалеть о том, что вызвались оказать мне содействие к изданию моих сочинений. Я принимаю Вашу помощь; благодарю Вас от всего сердца и буду так же осторожен и честен, как был честен всегда в денежных делах с людьми. — История с полным собранием такова: Вольф (старик) купил издание у Боборыкина по 10 руб. за лист, за 5 тыс. руб., и в то же время предложил мне ту же цену. Я не отдал, более потому, что человек этот казался мне всегда неприятным и тяжелым в делах. Перед смертью своей он снова заговорил об этом, но ранее конца переговоров умер. Потом было

предложение Мартынова, — на тех условиях, как издан Григорович, — я на это не пошел по недостатку доверия к состоятельности фирмы. В этих последних днях один молодой писатель, издаваемый Панафидиным, пришел ко мне с вопросом, не желаю ли я, чтобы мои сочинения издал Пнф. на тех же условиях, как изданы им Гаршин и Ясинский? Я оставил за собою время «подумать». Условия их те: Пф. издает все на свой счет и выбирает расходы из продажи первый с прибавкою книгопродавческих 30 %. Кто на себя несколько может надеяться, — для того эти условия не хуже 10–15 руб. полистной платы с отчуждением книг в собственность издателя. Я на себя немножко надеюсь, ибо сочинения мои в общем составе их давно спрашиваются, и я верю, что они должны пойти, и после покрытия расходов издателя могут оставить мне 1 тыс. экз. в мою пользу. Следовательно, мне такая комбинация возможна. Но я все-таки и этакую комбинацию всегда предпочел бы иметь с Вами, а ни с кем иным, ибо, хотя у Вас издание выйдет и дороже, но оно будет сделано лучше и без всякой издательской «находчивости». Поэтому я сам хотел просить Вас сделать для меня издание на коммерч<еских> основаниях, то есть издать на Ваш счет; выбрать ваши расходы

и книгопр<одавческие> проценты, и потом все остальное, счищенное издание выдать мне. Но просить совестно, и я не умею, хотя я *никому* не должен и никто на расчет со мной пожаловаться не может. Вы были милостивы — заговорили сами, и я Вас прошу: издайте мои сочинения. Угодно Вам взять издание в собственность — вот какая была цена: Вольф давал 3500 руб. (за 350 лист.) — я просил с него не по 10, а по 15 руб. (на 5 руб. дороже Боборыкина). Около этого я желал бы взять и теперь (за 400–420 л.). — Если это удобно, то платеж денег может быть рассрочен как угодно. Если же Вы не хотите издать меня первым полным автором от Вашей фирмы, — то издайте так, как предлаг<али> Мартынов и Пнф, — то есть за мой счет с залогом издания Вам до погашения Ваших расходов. И этим я тоже буду доволен и сочту это с Вашей стороны за добрую дружескую помощь. Я знаю, что у Вас мое издание пройдет лучше, и во всяком случае дело будет сделано честно и безобидно. Денег я под издание не буду просить никаких. В этом я — слава богу — не нуждаюсь. Издание же надо выпустить зимою, сразу, все целиком, и потом его можно дополнять в том же формате. Но о технике издания будем говорить после: это дело второе, а первое прин-

цип: будет оно мое или Ваше? Я предпочту ту из этих двух комбинаций, которую изберете Вы, — и желаю одного — считать это дело конченным. Относительно распланировки издания я сам буду искать и просить Вашего совета и указаний, так как Вы понимаете в этом гораздо больше меня. В этом точном определении вопроса Вы меня и разрешите. Что касается денег теперь, то я разумею только те небольшие деньги, которые пришлось бы мне получить за томики, которые Вы изберете для «Дешевой» и «Дорожной библиотек», — что должно идти помимо издания. Более я ничего не испрашиваю, и счет по изданию не будет прерываем никакими авансами. Я хочу, чтобы это было чисто и окупилось, как окуплено все Вами для меня изданное и уже распроданное.

Замечания Ваши о моих силах и ошибках во многом очень справедливы и метки. Одно забываете, что лучшие годы мне негде было заработать хлеба… Вы это упускаете. Катков был благородный человек к сотрудникам: зачем он платил мне по 150 руб., когда мог платить, подобно Кашпиреву, по 50, *и мне «некуда»* было деться!.. А он еще мне *подарил* издание «Соборян». Что только со мною делали!.. В самую силу сил моих я «завивал в парикмахерской у монаха» статейки

для «Православного обозрения» и получал по 30 р., изнывая в нуждательстве и безработице, когда силы рвались наружу… Но ведь я и Бенни были «*шпионы III отделения*»… Это писали Курочкин и Василевский с Баталиным и Ниль-Адмирари, и tutli frutii… «Надо было продолжать», пишете Вы. Спрошу: «где и у кого». Надо было не сделаться подлецом и тунеядцем, и я об этом только и заботился, «завивая мокры в парикмахерской у монаха»… Что попало — я все работал и ни у кого ничего не сволок и не зажилил. Вот и все. Не укоряйте меня в том, что я работал. Это страшная драма! Я работал *что брали*, а не что я хотел работать. От этого воспоминания кровь кипит в жилах. Героем быть трудно, когда голод и холод терзает, и я еще был не один. Я предпочел меньшее: остаться честным человеком, и меня никто не может уличить в бесчестном поступке. Слава божию милосердию, сохранившему меня от диавола, который приходил два раза, и один раз в образе М. Н. Муравьева… Я мог брать имение под Вильной, а вокруг меня не было ничего, кроме «камней пустыни» и злой клеветы… Довольно и того, что я остался для знающих меня «добропостроенным и честным человеком», а для общества — «занимательным и умным

писателем»… Я доволен и этим… С Гоголем и с Салтыковым меня не раз сравнивали, но не знаю, достоин ли я этого? М. Н. Катков, печатая «Смех и горе», говорил Щебальскому: «Где у Щ<едрина> такая настоящая, добрая *сатира*!» Объезд помещиков вроде Чичикова всегда занимал меня, и я это пробовал слегка в «Смехе и горе» и в «Очарованном страннике». Обстоятельства не благоприятствовали заняться этим в размерах более широких. Я никогда не хотел быть должным и пятнадцать лет ждал издания моих сочинений, чтобы иметь денег на один-два года, но теперь это прошло. Сделайте то, на что еще не ушло время, чтобы я мог что-нибудь сберечь на старость «егда оскудевати силе и крепости». — В прошлом году Вы меня тронули, когда при гробе сына сказали некоему лицу, чтобы купить мои книги («Смех и горе»). Вы сказали: «Я *хочу*, чтобы это было сделано». И Вы сделали мне услугу и себе пользу. Сделайте так и нынче, и я Вам буду очень глубоко признателен. Рассказцы издайте для «Деш<евой>» или для «Дорожн<ой> библиотеки», а издание собрания возьмите за себя (10–15 — лист), или велите его сделать мне и продавайте до погашения долга. Только, пожалуйста, решите это скоро.

Благодарный Вам *Н. Лесков*.

А. С. Суворину

7 мая 1888 г., Петербург.

Мне теперь кажется, будто в списке у Вас позабыты очень важные люди для «Словаря», — как-то:

1) Ключевский — в Москве (жития святых).

2) Антонович (старший) в Киеве (Украина и Польша).

3) Пыляев, Мих. Ив. (люди, обычаи, драгоценности).

4) Быков, П. В. (подробнейшая соврем<енная> библиография).

Может быть, и еще кое-кто вспомнится. Да нет никого тоже для истории русского искусства, а это потребуется как вставка при описании всякого угла и закоулка, и этого не следует и нельзя избегать, ибо это-то и дает самую живую окраску месту, показывая, что там люди делают, — кроме того, что едят, пьют и на небо б<....>. Все кустарничество надо иметь в памяти и рассказать живо, с знанием дела и с интересом. Это не только оживит местные описания, но сделает их драгоценными *для иностранцев*, которые теперь надолго будут интересоваться

Россиею. Эту штуку надо иметь в буфете, как сою, и подпускать ее в каждое соответственное блюдо. По-моему, для этого ни один из штемпелеванных ученых не годится, ибо все они вялы и скучны, а годится очень опять тот же наш Пыляич, — если только Вы не дадите его обижать, потому что это всякого огорчает и всякому неприятно. Таких подправщиков, как Пыляев, много не найдете, и он будет нужен решительно к каждому городу и городишке. И он их бездну проехал и осмотрел с Асташевым. — Промышленность у Толя и у Гагарина (в географич. словаре) представлена ужасно жалко, а «промышленность есть *душа* местности». Надо показать не только, что тут делается, но и то, что с удобством могло бы делаться, да не делается, и почему это не делается? Это даст свою цену словарю у чужих людей, и об этом еще никто не подумал, а вот Вы послушайтесь моего смирения да подумайте и припасите способного человека да поберегите его, чтобы ему было при вас не так, «как на турецкой перестрелке». — Что еще вспомню — о том напишу во время свое.

Смир<енный> ерес<иар>х *Николай*.

А. С. Суворину

11 мая 1888 г., Петербург.

Я Вам когда-то говорил об этюде Л. Н. Т<олсто>го под заглавием «Николай Палкин». — Теперь он у меня случился, и я посылаю Вам его для прочтения. Если захотите оставить себе копию, то распорядитесь этим сами, — у меня теперь нет сих дел мастера. Подлинник мне возвратите.

Есть добрые люди, очень радующиеся, что я издам свое собрание. П. В. Быков составил для этого случая «библиографический указатель» *всего* мною написанного за тридцать лет (с 1857 г.). — Я сегодня же отдал его напечатать в 100 экземплярах (2 листа) и доставлю 5 экз. Вам для просмотра и совета. Мне указывают на статьи, о которых я позабыл, но которые представляют картины минувшего и предсказания последовавшего и потому имеют интерес. Просмотрите, пожалуйста, всё с карандашами в руках и обсоветуем. Будьте, пожалуйста, мне другом и приятелем в этом литературном, важном для меня деле, в котором я неопытен и неискусен, и на Вас всею душою полагаюсь.

Ваш *Н. Лесков*.

«Библ<иографический> указатель» должен поспеть дней в пять-шесть.

А. С. Суворину

16 мая 1888 г., Петербург.

Я все нехорошо себя чувствовал и ничего не мог делать, кроме как читать о Сирии и Египте, но слышу, что Вы собираетесь уезжать, и стараюсь вырваться из лап одолевающей душевной дремоты. — Сношения с Вами у меня бывают потребностью, и в них есть та особенность, которая свидетельствует о нашей поглощенности литературою: в личных беседах от уст к устам (что легче писанья) мы никогда не умеем сказать ничего сердечного друг другу, а как расстанемся так сейчас же что-то напишем!.. Это что-то вроде прирожденного писательства. Вам пора уезжать… Опять развел такое ругательство, что никакие нервы этого не могут выносить… Почитайте что-нибудь другое. Посылаю Вам листки, полученные вчера от Черткова «из мира людей не от мира сего». Тут есть много любопытного, в чем раскрывается жизнь этой группы, представленная в «Северном вестнике» г-жою Шабельскою — глупо и злонамеренно. Вы, верно, заедете к Л. Н-чу, и потому Вам, может быть, покажется не излишним узнать теперь: на чем они живут и как

подвигаются друзья их. Меня это жгучим образец интересует, и потому мне думается, что и Вам это может быть интересно. Если ошибаюсь — не сердитесь ибо не за что. По прочтении — возвратите бумаги мне да не позабудьте положить в конверт и «Палкина», который остается у Вас. — К изданию «Собрания» Подготовляюсь основательно и для того печатаю в Вашей типографии «Библиографический указатель» всего мною за тридцать лет написанного. Это необходимо, ибо я сам позабыл очень многое. Быков мне сделал большой и милый подарок этим поднесением. Спасибо ему. Я хотел печатать 50 экз., но меня уговаривают напечатать 200 экз. и предсказывают, что 100–150 разойдется в продаже между любителями, а 50 я раздарю, товарищам и друзьям. Я на это сдался. Без такого указателя было бы очень трудно окидывать взглядом все поле с которого надо собирать мою солому. Экземпляры будут у меня и у Вас, и я на своем все подчеркну и пошлю Вам в Крым, а Вы просмотрите и подайте мне свой совет. — Пока же начнем с крупнейшего и более нравящегося публике: т. I. «Соборяне» и «На краю света»; т. II. «Обойденные», «Смех и горе» и «Запечатл<енный> Ангел»; т. III. «Некуда»; т. IV. «На ножах». Дальше пойдут томы составные, и их

компоновать надо по указателю. То, что взято из Прологов, семь рассказов напечатанных и восемь готовых к печати (из обракованного обозрения Пролога) составят отдельный том под заглавием «Пустынные картины» (древнее христианство в Сирии и Египте). Все это в моей голове начинает мне выясняться и, бог даст, уложится стройно.

Для «Дешевой библиотеки» я принимаю Ваши условия и «откровенно, как Атаве», говорю Вам: я этими условиями доволен. Записку на 350 р. по назначению Вашему — прошу теперь дать мне. Теперь деньги становятся нужны. Расписку дам в конторе. Записку на продажу дам Петру Петровичу Коломнину, с которым мне приятнее иметь дело, но впрочем — это как Вы укажете. На выпуск страниц из «Плодомасова» согласен; конец к «Котину» допишу *в корректуре.* Теперь меня к этому не невольте, потому что я *его еще не надумал.* Я допишу. — Я уверен, что даже Ш<у>б<ин>ский удостоверит, что я свое слово всегда держу крепко и верно. Сейчас я могу написать гадость, потому что я очень изнурен и расстроен. Через две-три недели среди эзельских чухон я прихожу в порядок. Будьте уверены, что за мною задержки не будет. — О приплате нечего толковать, — это мелочи. О деньгах доводится

сказать в другом деле. Я нахожу удовольствие и *удобство* помещать мои христианские или египетские легенды в «Новом времени». Мне это нравится лучше, чем печатание в журналах, — а друзья мои еще сильнее на этом настаивают. И Лев Н., и Чертков, и другие — все находят, что «это лучшее место», и они заботятся пропускать листы с моими легендами «в народ». Притом Л. Н. заметил, что он писал «мужчин», а я (без умысла) «даю женщин той же семьи». Толстых журналов мужикам не набраться, а газетный лист до них доводят. И Вам эти рассказы, — я знаю, — не в тягость. По одному в месяц или в два — их все шесть или даже восемь можно бы у Вас напечатать, но гонорар газеты значительно ниже журнального, и один я являюсь от этой комбинации в чувствительном для меня убытке… У Вас мне платят по 15 коп. за строчку — без различия, что за статью и заметку, как в «Новостях» и «Пб. газете», так и за зрелую, многообделанную повесть… Это ужасно несправедливо, и мне так никто дешево не платит… Разве «Нов. вр.» беднее Лаврова и Гайдебурова? И потом: разве я работаю хуже других, которым платят и у Вас дороже?.. Это и несправедливо и *мне обидно*. Дайте мне за беллетристику что стоит, — что платили, напри-

мер, Костомарову! Не посердитесь, — я этим (и *только этим*) живу. Не огорчайте меня, — я и так изнемогаю.

Ваш *Н. Лесков*.

Л. Н. Толстому

26 июня 1888 г., Аренсбург.

Не посердитесь на меня, Лев Николаевич, что я беспокою Вас моими строками. — Живучи здесь на морском берегу, в тиши и уединении, — я перечитал наново лекции покойного друга моего Филиппа Алексеевича Терновского по церковной истории и нашел в них нечто, чего как будто не замечал прежде. Упоминается о направлении, которое обнаружилось в III веке у христиан в Севастии, — что они признавали войну делом непримиримым с христианскою верою и воевать не хотели, но в солдаты шли, когда их забирали насильно, но там (в службе) опять оружия для нанесения смерти и ран в руки не брали, а чтобы отстоять свое убеждение — безропотно подвергались мучительствам и позорной смерти. — Таких «святых мучеников, *иже в Севастии*», — поминает и наша греко-восточная церковь, но я пропускал это ранее мимо ушей и никакого внимания на это не обращал. Теперь же и хотел бы покопаться в этих делах, да не могу. Здесь нет ни Прологов, ни Четьих Миней, и вообще — никаких житейных книг; а у Вас, я предполагаю,

они есть. Усердно прошу Вас посмотреть в них: что там рассказано о мучениках севастийских? Если же найдете что-либо из подробностей, то не будете ли так милостивы, чтобы заказать сделать для меня выписку и ту выписку мне прислать сюда, в Аренсбург, так как мне здесь же хотелось бы об этом писать. Равномерно — нет ли у Вас церковной истории Гизелера и Гагенбаха, которыми пользовался пок<ойный>. Терновский и у которых предмет был трактован, без сомнения, полнее и свободнее, чем у русского профессора. — У меня же есть копии казенной переписки о том, что делать с духовными христианами, которых впервые набрали в рекруты в 30-х годах и они повели себя во многом подобно как мученики, «иже в Севастии». Имп<ератор> Николай тогда велел отдать их в «профосы», чтобы устыдить их и унизить, но они этому были рады и чистили ямы с удовольствием. К несчастию их, — какой-то гарнизонный дука доискался однако, что к обязанностям «прохвостов» принадлежит также «заготовление розог и шпицрутенов» и самое исполнение палачевских обязанностей в обозе. Все это, как видите, очень любопытно и дает прекрасный, живой материал, но чтобы приняться за его обработку — надо иметь выписку из того,

что житийные книги передают о мучениках в Севастии.

Не откажитесь пособить мне в этой моей литературной нужде, и я тотчас по получении выписки примусь писать «Прохвоста».

Преданный Вам и Вас любящий

Н. Лесков.

Адрес мой просто: «Аренсбург на Эзеле, Никл. Семн. Лескову». Надо писать «на Эзеле», а то письма нередко посылают «в Оренбург».

Л. Н. Толстому

22 июля 1888 г., Аренсбург.

Досточтимый Лев Николаевич!

Покорно Вас благодарю за письмо Ваше от 17 июля, которое я получил здесь вчера. Оно мне было и утешением, и радостью, и ободрением. Отправив письмо к Вам, я стал себя укорять, для чего я это сделал? Зачем я позволил себе Вас утруждать просьбою, да еще такою хлопотною? И стал я на себя сердиться ежедневно и положил в уме, что Вы мне не должны отвечать, потому что просьба моя груба и нахальна. Вы меня утешили, ибо я вижу, что просьба моя не показалась Вам неуместною. Мне ведь *не к кому* было обратиться с этим вопросом, кроме Вас. Я радуюсь, что Вы здоровы и отдыхаете среди любимых Вами сельских занятий, и я получаю ободрение в Вашем совете работать, не заботясь об угодничестве цензуре. Я от этого много страдаю материально, но еще более от досаждений редакторских. Эти господа думают, что непременно надо иметь их точки зрения и их заботы… За всем этим маешься, маешься, да и устанешь, и начинаешь сам в себе сомневаться. В Вашем слове я всегда черпаю

силу, которая в нем есть и которая мне доступна для усвоения. А потому я глубоко благодарен Вам за Ваше теплое и ласковое письмо.

Совестно мне перед девицами, которых Вы понудили сесть ради меня за Пролог, но чтобы не лицемерить, — не смею от этой помощи отказаться, а реку яко же обычно есть архиереям: «Приемлю, благодарю и ничего же вопреки глаголю». Справку, думается, можно сделать легко, если у Вас есть «месяцеслов» Косолапова там (помнится) есть оглавление и алфавит. Надо найти «Севастиа», или «Себастия», а потом «мученики иже в Севастии», — тогда сейчас и найдется то, что нужно. Выписочку мне нужно небольшую, но в которой бы содержалась «суть», и притом подлинными словами Пролога или Минеи, потому что я имею такой план, что мальчик раскольничьей семьи, перешедшей в господствующую ц<ерковь>, — живет с дедушкой, добрым стариком, но дремучим буквоедом, в землянке, на задворках и читает ему о мученицех в Севастии и двенадцати лет открывает в книге то, чего дед «чел, чел, да не узрел». Придут начетчики, и двенадцатилетний хлопец с ними будет спорить о *духе*, и «остро придет им слово его», и «да не разорит он предания», отдадут его в солдаты, как

«худую траву — из поля вон». А там он пойдет «под пеструтины» и будет «профосом во исполнение повеления». Его доброта, чистосердечие, насмешки над ним, он «прохвост». Аудитор богомольный научит заставить его быть «обозным палачом». Надо удавить жида и поляка. «Прохвост» отказывается и делается новомученик по севастийскому фасону. Таков мой план или моя затея, но я *не знаю*: что там написано о севастийцах? Пособите мне, и молодым графиням на том же кланяюсь.

Пишу же Вам все это со скоростию для того, чтобы Вы не послали мне справки сюда на Эзель, так как я на сих днях отсюда собираюсь уехать, а к 10 августа буду или надеюсь быть в Петербурге (Фурштадтская, № 50, кв. 4). Прошу адресовать мне выписочку в Петербург.

Верно Вам преданный и благодарный

Н. Лесков.

А. С. Суворину

17 октября 1888 г., Петербург.

Я все это понимаю и рассуждаю об этом совершенно так же, как Вы. Какова эта «мать», про то нечего и толковать. Список учиненных ею разводов не полон. Вы позабыли самую свежую историю: развод в<еликого> к<нязя> Николая Константиновича с его женою, — причем один Исидор «положил протест» для формы. Там уже не было никакого резона. Это дело хуже сербского. Но меня все это нимало не интересует: мне дорого было одно: напомнить ничего не знающему обществу, что у него есть права пользоваться одиннадцатью поводами к разводу, а не тремя только… Мучительно видеть, что делается в браке. Я думал, что Вы мою цель поймете… Я ведь столько пострадал… Брак с сумасшедшей, брак с прокаженным, брак с клеветником, искавшим погубить… Это ли не аспидство! — Вы спрашиваете: «Не для смеху ли?» Признаюсь Вам — даже и для смеху. Эту «мать» не знать чем пронять.

Однако плюньте на это. — Печатаете ли Вы ст<атью> Флиса? Я пришлю ответную заметку. Из Киева проф. Мейн и Подвысоцкий мне прислали

целую литературу и благодарности. «Никогда, — говорят, — это дело не было так возбудительно поставлено». Мы «опрокажены» до центральных губерний, и все это идет, и ничего против этого не делается.

Очень желаю Вас видеть, да все не изловчусь попасть к Вам.

Преданный Вам

Н. Лесков.

К. А. Греве

26 октября 1888 г., Петербург.

Сегодня я получил Ваше второе письмо, Карл Андреевич. Я Вам за него благодарен и ждал его и думал, что Вы его мне напишете. Вышло любопытное qui pro quo. Я Вас адресовал к В. А. Г<ольцеву>, а через час после посылки письма к Вам получил смутное и неопределенное известие о постигшем этого человека неблагополучии. Мне было очень неприятно думать — как Вы, ничего подобного не предполагая, обратитесь к Г — ву и что такое получите в ответ. Я хотел Вам телеграфировать, но боялся дать простой и невинной случайности характер, ей не соответствующий, и предоставил дело своему течению, с полною надеждою, что его чистота сама себя сбережет. Притом же я писал к Г-ву одновременно с тем, как писал Вам, и мое письмо не возвращено мне, а потому, конечно, оно перлюстрировано и показало настоящий характер наших отношений и цель, с какою я просил Вас побывать у В. А. Г-ва. Надеюсь, что смотрите на это так же, как я, и оправдываете меня в том, что я, попав в одну непредвиденную случайность, не употреблял

усиленных и экстренных мер предупреждать Вас, а оставил всему пройти так чисто и откровенно, как оно проведено Вами. Мне остается только пожалеть, что я Вам наделал хлопот. Да еще с сюрпризами, но я никак не мог ожидать такого происшествия с Г-м, которого еще так недавно видел и которого знаю за человека рассудительного и зрелого. Событие это для всех его знающих составляет здесь неразгаданную тайну. — Г-в хорошо знает мои сочинения, и он вообще очень литературный человек и мог бы быть Вам полезен при обсуждении, как распорядиться переводами. Писать обо всем очень трудно, и все-таки всего не выскажешь на бумаге. Мне Ваш выбор, например, кажется странным. Почему «Соборяне»? Разве немцы поймут эти типы? Или попы могут их заинтересовать более, чем герои «Некуда» и «На ножах» — романов политического характера? Эккарт наполнил выписками из меня 1/3 своей книги «Bürgerthum und Büreokratie», отдавая мне хвалы за «неуклонное беспристрастие». С этою чертою моего характера (поколику она мне в действительности доступна) знакомы и некоторые другие умные люди немецкой национальности в Остз<ейских> провинциях, и это, я думаю, и располагает ко мне редакцию журн<ала> «Nordische

Rundschau».[31] Так что же их должно наиболее и наивернее интересовать: художественная сторона моих сочинений или то, что Эккарт называет «беспристрастием», а покойный Щебальский называл в «Русском вестнике» — «профетизмом». Дело наше такое, что его надо обдумать и обсудить переводчику с автором вместе — чтобы иметь план, а не подавать образованной публике переводы в случайном беспорядке. «Скоморох» — вещь не русская, а «Блоха» чересчур русская и едва ли переводимая (по языку). «Сказание о Федоре христианине и Абраме жидовине» — опять не русская, и она хороша только для свирепой и темной черни народной. Я имею насчет выбора иной взгляд, и нам с Вами надо видеться и говорить лицом к лицу. Будьте со мною просты и напишите мне откровенно: какие условия «N. R.» уполномочила Вас предложить мне за «исключительное право перевода». Я не злоупотреблю Вашим словом, и если это сколько-нибудь мне выгодно, — мы сделаемся, и я приеду в Москву именно теперь, когда я устал от многой работы и проехался бы с удовольствием.

Жму Вашу руку.

---

[31] Примечания: 31
«Северное обозрение» (*нем.*).

Н. Лесков.

В. М. Лаврову

28 октября 1888 г., Петербург.

Уважаемый Вукол Михайлович!

Хоть Вам, должно быть, теперь и очень недосужно, — однако, пожалуйста, ответьте мне парою строк.

Ко мне обратился некто г. Греве из Москвы с запросом об условиях для уступки исключительного права на перевод всех моих сочинений для немецкого журнала «Nordische Rundschau», изд<аваемого>, в Ревеле. Письмо его было кратко и неясно сообщало, какие условия может предложить мне редакция названного журнала.

Чтобы выяснить дело, я поручил это по дружбе Виктору Александровичу и послал ему в этом смысле письмо по его адресу, а в то же время написал и г. Греве (Маросейка, Петропавл. училище). Через два часа после посылки писем я получил от Гайдебурова известие о постигшем В. А. несчастии. Вечером в тот же день слух об этом стал всеобщим. Я находил лучшим оставить дело без справок. Вчера я получил от г. Греве новое письмо, в котором он пишет, что ездил к В. А. два раза и его не видал и видеть не может. В конверте,

где было мое письмо к В. А., было положено тоже письмо г. Греве ко мне, которое для меня имеет значение, а ни к какому делу, постоянному вопросу о переводе моих сочинений, — не нужно.

Усердно прошу Вас справиться у супруги В. А., доставлено ли в их дом мое письмо с письмом г. Греве и где теперь это последнее находится?

Я надеюсь, что такого рода справка не заключает в себе ничего предосудительного и неудобного.

О самом В. А. глубоко сожалею и хочу думать, что не повлечет за собою роковых последствий. Мы здесь обо всем этом в полном недоумении. Кланяюсь Вам и Митрофану Ниловичу Ремезову.

Преданный Вам

Ник. Лесков.

К. А. Греве

31 октября 1838 г., Петербург.

Благодарю Вас, Карл Андреевич, за Ваше простосердечное и тем очень мне милое письмо. Я так и думал, что мне придется иметь дело с Вами, а не с издательством. Вы прекрасно сделали, что объяснили мне, сколько Вам будут платить. Поэтому я могу судить, что могу по доброй совести отделить для себя. Я думаю, что не обижу Вас, если пожелаю иметь 1/5 с Вашего гонорара. То есть за каждый лист, который будет напечатан по-немецки в Вашем переводе, Вы будете платить мне 5 рублей, с правом печатать свой перевод, где Вы пожелаете, — раз и навсегда. Если эти условия для Вас не обременительны, то Вы можете считать нашу сделку состоявшейся и в этом смысле заготовьте и пришлите мне условие. Я его просмотрю и возвращу Вам. Потом мы его напишем в двух экземплярах, и статья эта будет кончена. Нотариальных засвидетельствований не надо. — Что же касается «Скомороха», перевод которого Вами уже сделан и отослан в редакцию «Nordische Rundschau», то я сегодня же посылаю г-ну Дейблеру в Ревеле записку в удостоверение

того, что я на напечатание этого перевода согласен. Сойдемся мы с Вами или нет — это все равно, — я не хочу, чтобы сделанный Вами труд пропал даром. Более я, разумеется, никаких подробностей Дейблеру не пишу. — Соображения Ваши насчет выбора пьес теперь мне представляются с другой стороны и кажутся совершенно правильными. Сожалею только, зачем впереди «Скомороха» не пошла «Прекрасная Аза». Она из этого же древнехристианского быта, но она лучше «Памфалона». Если Вы ее не знаете, то пробежите ее… Она была в «Новом времени» за 1888 год и переведена на французский язык. По-немецки ее можно передать очень колоритно. Посылаю Вам сегодня же под бандеролью «Библиографию» всех сочинений, которая может оказать Вам помощь при желании ознакомиться с тем, что мною написано. Там же вложена для Вас моя фотография.

Ваш покорный слуга
Н. Лесков.

В. А. Гольцеву

14 ноября 1888 г., Петербург.

Достоуважаемый Виктор Александрович!

Я был обрадован Вашим письмом в том отношении, что узнал из него о Вашем возвращении домой, к испуганному и огорченному семейству Вашему, о котором я искренно скорбел; но то, что вы мне пишете о «Зеноне», — мне очень неприятно. Еще более досадно, что известие Ваше так «нарочито кратко», что я из него не вижу ни причин выставки «Зенона» из ноябрьской книжки, ни того, когда Вы надеетесь его поместить. Все это, разумеется, живо меня интересует, и я очень сетую на «нарочитую краткость», усугубляющую мои авторские терзания с этой повестью, на которую я положил целый год пристального труда. Усердно прошу Вас пояснить мне, что можно, дабы я имел хоть утешение знать: чего могу ожидать?

За обещание выслать гонорар по расчету набора в предстоящем декабре месяце, — очень благодарю. Гонорар, конечно, нужен, и я его буду ждать с изрядным нетерпением, но не в нем все значение повести для автора. Прошу вас напи-

сать мне: какие виды редакция имеет в будущем на «Зенона»?..

Еще же — черкните мне: получено ли в доме Вашем мое письмо, которое я писал Вам во дни Ваших неприятностей, не зная того, что с Вами случилось, и просил Вас войти для меня в переговоры с некоторым г. Греве, желающим переводить все мои сочинения для «Nordische Rundschau». Немцам — к удивлению моему — особенно нравятся мои египетские и сирийские рассказы, составленные, как Вам известно, на темы из Пролога. Они в первую голову взяли «Федора христианина», «Скомороха» и «Азу» и ждут «Зенона». Мне это удивительно потому, что у них есть такой писатель, как Эберс, которым я сам пользуюсь, ибо Египта не видал и знаю его по Житиям да по Масперо и по Эберсу; но тем не менее Греве пишет, что им мои христианские очерки особенно нравятся, и они их «непременно желают» иметь скоро. Не признает ли Вукол Михайлович возможным и для «Р<усской> м<ысли>» безвредным дать один оттиск «Зенона» г-ну Греве, чтобы он мог делать с него свой немецкий перевод для «Nordische Rundschau». Пока он сделает перевод, Вы, быть может, выпустите в свет оригинал. А если немцам показывать, чту мы

делаем из этого старья, то хотелось бы показать не «Азу» и «Скомороха», а именно «Зенона», который обработан тщательнее всего прочего, мною сделанного в этом роде.

И еще паки: читали Вы «Антука», которого я Вам послал оттиск? Я уважаю Ваши мнения и хочу знать: как показалась Вам эта безделка, бывшая у Вукола Михайловича под заглавием «Обозный палач». Неужо в ней есть то узкое ненавистничество, которого нет в душе моей ни к какой национальности, но которое, однако, увидел Лавров. Меня это очень занимает, и я хочу поверить себя Вашим мнением.

Пожалуйста, измените своему непохвальному обыкновению и ответьте мне ясно, определительно и «не нарочито кратко». О деньгах похлопочите. На них был расчет. — Не нужна ли еще маленькая «сирийская легенда» в лист с небольшим? Называется «Аскалонский злодей». Жанр тот же, но приноровлено к рождеству Христову.

Ваш *Н. Лесков*.

М. И. Пыляеву

19 ноября 1883 г., Петербург.

Рукопись отдал переписывать. Заглавие надписал: «Старчики и юродцы», — чтобы отбивало от настоящих, будто бы уважаемых «старцев и Х<риста> р<ади> юродивых». Будет готово дней через десять. Редактор «Русской мысли» теперь здесь, и я с ним буду говорить об этой статье. — В «Нов<ом> вр<емени>» — «Старую Москву» отложили «в долготу дней», до весны… Так уже это положено, и надо выждать время, чтобы пробовать изменить это настроение, навеянное, кажется, тем же самым опахалыциком, который во всем каверзит, Надо иметь терпение.

Ваш *Н. Лесков*.

А. С. Суворину

24 ноября 1888 г., Петербург.

Поступите, Алексей Сергеевич, как Вам угодно и как удобно. Я на все согласен. — Цензурное преследование мне досадило до немощи. Вы знаете, за что это? Это все за две строки в «Некуда» назад тому двадцать пять лет. Не много гордости и души у этого человека, — а другие ему «стараются». У меня целый портфель запрещенных вещей и пять книг «изъяты». Надо силу, чтобы это выдержать при всеобщем и полном безучастии, как в России.

Что Вы скажете, — я на то согласен. Кажется, можно еще печатать.

Ваш *Н. Лесков*.

К. А. Греве

29 ноября 1888 г., Петербург.

Простите меня, любезнейший Карл Андреевич, что я так долго не отвечал Вам и задержал у себя присланный Вами проект нашего условия. Я был уверен, что это не помешает Вашим работам, а у меня было много досаждений, за которыми приходилось отлагать дела в сторону. Теперь посылаю Вам «Азу» — как вещь, особенно мною любимую, и проект условия, в которое я сделал вставки, сколько мне кажется, совершенно необходимые и Вас нимало не стесняющие. Просмотрите их, сообразите и, если они Вам покажутся справедливыми, внесите их в условие. Сделайте два экземпляра, подпишите оба и пришлите мне. Я их тоже подпишу и один оставлю у себя, а другой возвращу Вам. — Если перевод в «Nordische Rundschau» вышел, — пришлите мне оттиск или книжку. (Не знаю, как это у них в Ревеле водится). Напишите мне, не наделало ли qui pro quo мое письмо в Ревель. В газетах я заявил, что право перевода принадлежит исключительно Вам. — Здешние литературные немцы говорят, что если Вы переведете «Левшу», то Вы,

стало быть, «первый фокусник».

Искренно Вам доброжелательный
Н. Лесков.

А. С. Суворину

30 ноября 1888 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Я послал Анне Ивановне книжку Берсье по ее желанию, после случившегося у нас разговора о некоторых местах св. писания. Я не имел и не имею никакого желания что-либо пропагандировать, а Берсье отличный критик и знаток библии, у которого можно встретить превосходные разъяснения на те вопросы, которые Анна Ивановна мне предлагала. Более ничего.

Что касается моего прошлого, то Вы вполне правы: в нем очень много дурного. Я это знаю и никогда этого не позабываю. События Вы вспоминаете верно, но не все. В театре я не был, потому что заболел. Затея принадлежала не мне, а Бенни, Ничипоренке и «тому, черному», — то есть Шаврову. Весь тот период был сплошная глупость, имеющая для меня обязательное значение, — мягко и снисходительно относиться к молодой глупости юношей, какими были и мы. После того периода был петерб<ургский> период слепцовских коммун — «ложепеременного спанья» и «утреннего чая втроем». Вы ведь никогда не

были развратны, а я и в этот омут погружался и испугался этой бездны!.. Потом пошла «фраза», и ипокритство, и, наконец, клевета на честнейшего человека (Бенни) меня совсем оттолкнула от этого кружка, показавшегося мне мерзким. Об этом говорили и другие. Боборыкин и Воскобойников подбили меня написать «Некуда», в котором занесено много правды. Не оклеветан там никто, или по крайней мере во множестве романов обличительного тона допущено гораздо более злости, чем в «Некуда». — Сальяс и вообще наш тогдашний моск<овский> кружок были плохою школою для молодого, не бездарного и не глупого, но маловоспитанного и не приготовленного к литературе человека, каков был я, попавший в литературу случайно и нехотя. Пользу мне сделало страданье, Катков и Аксаков, — Катков, кажется, более других. Я стал думать ответственно, когда написал «Смех и горе», и с тех пор остался в этом настроении — критическом и, по силам моим, незлобивом и снисходительном. — К переменам, происходившим в Вас, я иногда внутренне относился с недоумением, но и только, — и никогда, нигде и ни при ком не изъяснял их в дурном смысле и сам в себе так их не объясняю. Я люблю оставлять неприкосновенным то, что мне не

открыто, и вполне верю в возможность самых резких перемен в настроении человека, — особенно такого живого и впечатлительного, как Вы. На этом же основании я позволил себе назвать Ваше отношение к моим ошибкам несколько «безжалостным». — Если верить народной поговорке — «бог меня любит, — я уже пострадал здесь». Зачем Вам быть суровей бога? Поверьте мне в одном — что я был всегда искренен и никогда ничего не делал из «видов». Ни один сплетник не может сказать при мне, чтобы я той же искренностью не объяснял и Ваших перемен, когда мне приходилось отозваться. Самомнения во мне нет. Это неправда. Невеждою я себя признавал и признаю всегда и не обинуясь говорю об этом. И я и Вы пришли в литературу необученными, и, литературствуя, мы сами еще учились. Это, конечно, нехорошо, и глупостей можно было наделать, но мы, без сомнения, кое-чему научились, или, как Вы говорите о себе, — вы «поумнели». — Что же делать, когда воспитания и науки не было, а между тем надо было петухом петь и чтобы перья болтались? — Я скорблю, что не было возможности думать и не писать. Я счастлив лишь в том отношении, что «не привержен к политике», которая исключает мир с совестью и справедли-

востью. — Семейные горести Ваши я все помню и содрогаюсь от воспоминания о них, но не буду переходить к этому, чтобы облегчить себе переход к деньгам (а то Вы сделаете то лицо, которое Крамской написал на портрете). Хорошо, что Вы говорите «не твердо» и «можете поправить». Поправьте 150 на 200, и это не будет дорого, и я буду доволен и Вам признателен. (Опять вижу лицо с портрета! Дескать: «Ишь ты, подъезжаешь!.. Знаю я вашего брата!») — Что касается «покаяния», то как его приносить, чтобы не быть опять неточно понятым и обвиненным в лицемерии? Это тоже штука. Не лучше ли молчать и понуждать себя быть кротче и смирнее? Я иного не понимаю. И это трудно, но дорого усвоить себе хоть настроение к этому. Нам же, старикам, благо да будет друг другу не упрекати, и не стужати, и не сваритися, и не злобствовати, но друг друга сожалети, миловати и наготу взаимную покрывати, яко же и Иафет покры тело Ноево, и тогда бог мира и любви даст всем облегчение до конечного степени.

Лжесмир<енный> *Н. Лесков*.

А. Н. Пешковой-Толиверовой

5 декабря 1883 г., Петербург.

Посылаю Вам № «Новостей» с напечатанным письмом П. В. Засодимского. Можно от всей души послать проклятие гусю, который дал перо для начертания этого слабого, широковещательного, бесстильного и «недостигательного» письма! — Какой враг мог надоумить этого доброго и почтенного человека выступить с таким бабьим объяснением! Стоило молчать двадцать лет, чтобы прорваться в таком задорно-слабом и горделиво-обидчивом письме… Вот уж именно его противнику даже «черт детей качает»… И зачем это всех за хвосты, и Суворина, и Жителя, и т. д. И зачем же гордость? Зачем еще: «я имею *право* гордиться»?.. Это что за глупость? Какое это может быть «право гордиться»? Вот тебе и христианство, и гуманность, и Лев Толстой!.. Все сразу к черту и к матери в штаны!.. Как же этого карася не жарить и не переворачивать, когда он сам на сковородку лезет. — Чудесно отписался, и ходи до новых веников «дядюшкой-болтушкой».

Бедный старик!

К. А. Греве

5 декабря 1888 г., Петербург.

Достоуважаемый Карл Андреевич.

Возвращаю Вам подписанный мною экземпляр условия между мною и Вами. Да будет оно долгоденственно и благоуспешно. Письмо Ваше принесло мне особенное удовольствие тем, что в нем я увидел «коего духа есте». Усматривается это из описанного Вами разговора с Вашею супругою «о Феодоре и Абраме». Женщины наибольшею частью «практичны», отчего, по замечанию Гейне, они, даже идучи в театр на трагедию, «все-таки запасаются чем-нибудь съестным», — и это выходит недурно. Практически «на сей день» супруга Ваша основательнее нас в суждении об Абраме, но при отношении к делу «в долготу дней» — правда окажется на нашей стороне, хотя и я закажу работу охотнее немцу или русскому, чем еврею. Дело в том, что история Федора и Абрама такова и в Прологе (VII век), откуда я взял эту фабулу. Потом: «Истинно не то, что есть и было, а то, что могло быть по свойству души человеческой» (Лев Толстой), и наконец: «Прими их лучше их достоинства, — ибо если всякого принимать по его

достоинству, то не останется ни одного, который не заслуживал бы порядочной оплеухи» (Шекспир, «Гамлет»). По этому «большому масштабу» мы с Вами в наших желаниях умирить людей действуем, кажется, не в наихудшем настроении. Я в моей жизни знал двух-трех евреев — людей высокой пробы, но согласен с Вашею супругою, что % дурных людей в еврействе чрезвычайно велик. К сожалению, тут невозможны точные сравнения. Я не люблю и русской нравственности, особенно московской, и питаю отвращение к прусскому солдатству и к остзейскому баронству, но надо избегать племенного разлада. «Единство рода человеческого», — что ни говорите, — не есть утопия; человек прежде всего достоин участия, потому что он человек, — его состояние я понимаю, к какой бы национальности он ни принадлежал. «Родство же духовное паче плотского». Попы сделали из этого глупость, а истинный смысл тот, что человек, родственный мне по мысли, — роднее того, который одного со мною племени, но настроен совсем иначе, как я. Вот это и значит «родство духовное» и «родство плотское». В Орловской и Тульской губернии крестьяне говорят удивительно образно и метко. Так, например, баба не говорит о муже: «Он меня

любит», а говорит: «Он меня жалеет». Вдумайтесь, и Вы увидите, — как это полно, нежно, точно и ясно. Муж о приятной жене не говорит, что она ему «понравилась», а говорит: «Она мне по всем мыслям пришла». Смотрите опять — новая ясность и полнота… «Красота что линючий цвет сбежит», и «богачество изжиться может», а уж как «она мне по мыслям», так чту этого лучше и кто ее заменит. Духовное родство это и есть друг другу «по мыслям прийти», и тогда «несть ни эллина, ни иудея, а все Христос», ибо «мысли», то есть управляющее нами настроение, в нем, а он «сын плотника из Назарета, и мы это знаем». А он их отлично знал, от них замучен, и за них молился, и ими нам передан гораздо лучше, чем греками. Попросите от меня у супруги Вашей снисхождения тем, за кого господь наш плакал и молился. Почтительно целую руку ее на этой просьбе «Христа ради».

С «Левшой и блохой» трудно будет Вам справиться. Тут знания немецкого просторечия недостаточно. Что Вы сделаете с созвучиями и игрой слов: «клеветон» вместо фельетон, «спираль» вместо спертый воздух, «досадительная укушетка» и т. п. Конечно, что-нибудь выйдет, но общего тона такой вещи передать на ином языке

нельзя. А Вы возьмите-ка «Смех и горе» — вот это все переложится, и будет и весело, и забавно, и приятно, и даст целую массу русских положений и характеров. Книга должна быть в магазине «Нов<ого> вр<емени>» и стоит 1 руб. Издание все в подборе.

Бог Вам в помочь.

Н. Лесков.

А. С. Суворину

11 декабря 1888 г., Петербург.

Алексей Сергеевич!

Я получил Ваш запоздалый ответ на вопрос об апокрифе. Я не думаю Вам что-либо навязывать, а, ходя по комнате, вздумываю иногда «послужить» чем-нибудь приятельственному изданию и пишу Вам в таких случаях. Обижаться и раздражаться на меня Вам нечего и не из-за чего. Гр. Л. Н. Т<ол-стой> не считает меня разномысленным с собою в вопросах веры, а, напротив, — считает близким ему. «Хвалю (пишет он мне), что Вы стоите на пути и пишете так, что Вас запрещают». По-моему, это, однако, очень худо. Апокрифы все «грубы», или, лучше сказать, — детственны, но без них не понять бы: откуда взялись «сужекты лиц» и «пэозажи природы» в нашей древней иконописи, ибо все эти «сужекты» и «пэозажи» сделаны по апокрифам, н «Запеч<атлеиный> ангел» ими полон, и однако он нравился — и царю и пономарю. И ныне царь закупает иконы у Постникова и их развешивает в церкви Аничкова дворца и «дивуется: что это такое и откуда сочинено»! Я и подумал: «сём-ну мы ему это разъясним!» А

как Ваше с нашим не в лад, то мы со своим и назад. — Веры же во всей ее церковной пошлости я не хочу ни утверждать, ни разрушать. О разрушении ее хорошо заботятся архиереи и попы с дьяками. Они ее и ухлопают. Я просто люблю знать, как люди представляют себе божество и его участие в судьбах человеческих, и кое-что в этом знаю. Общество все апокрифическое всегда интересует, и Вы это не хуже меня знаете; а если есть опасность, что обществу и царю понравится, да пономарю не понравится, — так Вы взяли бы да так просто это и сказали. Оно было бы и ясно, и прелюбезно, и мне не обидно, и Вашего разума и духа достойно. Я думаю, что тут все дело не в Вас, а в «пономаре»... А то бы Вы и «клин» и блин — все бы взяли бы и напечатали и были бы правы перед судом разума и совести. Только отчего это Вам как бы противно — так просто и сказать, как оно есть?!. Ой, грехи, грехи тяжкие! Прежде Вы такой не были! Можно было с Вами говорить, как с Катковым или с Аксаковым...

Форма рождественского рассказа сильно поизносилась. Она была возведена в перл в Англии Диккенсом. У нас не было хороших рождественских рассказов с Гоголя до «Зап<ечатленного> ангела». С «Запеч<атленного> ангела» они опять

пошли в моду и скоро испошлились. Я совсем не могу более писать этой формой. Я Вам попробую прислать описание одного истинного «доброго дела». Оно проще, но зато трогательнее, чем вымысел. Это будет небольшое место и с именами, которые известны в городе.

Корректуры «Инженеров» отдал. — Надо бы спешить их отпечатанием.

Вы со мною поступили немилосердно, как Давид с Урием: увидали у меня одного истинного доброхота и того отняли. Надо Вам было шутить такою серьезною вещью, как место, которое мне обещал дать Атава!.. Вот он и рассердился на меня, и этого места теперь у меня через вас не будет!.. Зачем Вы это учинили?

Немцы мне прислали 500 талеров. Весьма своевременно! Это мне «Скоморох Памфалон» станцевал.

Всегда лжесмиренный слуга Ваш

Н. Лесков.

П. И. Бирюкову

30 декабря 1888 г., Петербург.

Любезный друг Павел Иванович!

Сегодня утром раб божий Ивантий принес мне Ваше письмецо о том, что Вы уезжаете в Москву и согласны сделать там для меня услуги. Услуги эти очень нужны, и я прошу Вас о них.

«Зенон-златокузнец» погублен без всякого сомнения (теперь мне это известно) нелепыми действиями редакции «Русской мысли», которая берет вещи, писанные для издания, выходящего без предварительной цензуры, и возит их в Петербург на цензурное одобрение, после чего ей негласно разрешают или так же негласно запрещают. То самое сделано было и с Зеноном, который запрещен негласно, то есть просто на словах, переданных от Ф<еоктисто>ва через московского цензора. Это без сравнения хуже цензурного форменного запрещения, потому что тут нет даже возможности жаловаться и искать прохода в другой, высшей инстанции. Между тем в литературных кружках и в цензурном ведомстве все это получает огласку, и хода произведению нет — он загорожен на неопределенное

время, до перемены обстоятельств, на которую теперь надеяться очень трудно. На то, чтобы напечатать «Зенона» вскоре, нечего и рассчитывать. Но деликатные редакторы, ходящие к Ф<еоктистову> спрашивать «пермете сортир», к тому же еще и лукавы чисто по-московски. Вы знаете их «московскую волокиту», которую они тянули со мной с сентября по 24 декабря и в день рождества Христова прислали о том четыре строчки, что «Зенон», к их прискорбию, им решительно запрещен. На девять писем к Лаврову и Гольцеву они или совсем не отвечали, или же отвечали, что «объяснят при свидании», а мне надо знать: кто же именно и за что именно запретил повесть о событии в Египте в III веке? Я все-таки еще хочу пробовать что-нибудь сделать для того, чтобы провести повесть, которую очень желает получить Гайдебуров. Молчание «Русской мысли» я понимаю так, что им неловко написать, что они цензуруются негласно и ездят сюда добровольцами за «пермете сортир», но мне надо узнать: чту именно было — что они делали и кто им запретил? Я уже имею сведения, но я не знаю, верны ли они? По моим сведениям, два цензора дали ответы такие, что повесть не содержит ничего непозволительного, а потом ее посылали

к синодалам, и, наконец, Ф<еоктистов> решил ответом обо мне: «Я его не люблю». Человек, мне все это передавший, верен во всех своих словах, но все-таки надо узнать: как это дело делали в редакции московских молчальников? Прошу Вас допросить их как можно точнее и безотступнее. Лавров живет в Шереметевском переулке, в доме графа Шереметева; редакция помещается в Леонтьевском переулке, № 21, а Виктор Александрович Гольцев — в собственном доме у Успенья на Могильцах. — Всего надежнее (по моему мнению) — говорить с Гольцевым, который был против показывания «Зенона» Ф<еоктисто>ву, креатуре Каткова, послежнику Лампадоносцева и моему всегдашнему недоброжелателю. Я надеюсь, что Гольцев добросовестно скажет Вам все, чту такое они вытворяли с «Зеноном» и как и на чем успокоились. Прилагаю листок, с которым Вам удобно будет попросить объяснений от моего имени и в моем лице. Потрудитесь его с собою взять, чтобы они не уклонились от делового разговора с Вами.

Потом: они печатали «Зенона» с вымарками московской цензуры и дали мне один такой оттиск с вымарками. Рукопись изгибла у них. Я потребовал оттиска без выпусков. Мне прислали

мараную корректуру… Прошу Вас всемерно постараться добыть у них для меня чистый оттиск полного «Зенона», как он был мною написан в рукописи, которая изведена у них в типографии. Я верю, дорогой друг, что Вы сделаете все, что можно. Черткову вчера писал «в несоглас» и спорил. Льву Николаевичу кланяюсь.

Любящий Вас

Н. Лесков.

Потрясение, внесенное в душу мою обидою и ограблением, несколько утихает.

Письма 1889 года

П. И. Бирюкову

7 января 1889 г., Петербург.

Любезный друг Павел Иванович!

Ваше письмо принесло мне удовольствие двоякого рода: во-первых, я только из него понял, как шло дело с «Зеноном», а во-вторых, я обрадован был участием, которое принял во мне Лев Николаевич, мои чувства к которому Вам известны. Тут же было нечто и странное: я все почему-то так и думал, что Л. Н. «встанет и пойдет»... Он и ходил. Милотб наша милая и премилая! — Дело с «Зеноном», по-моему, теперь зачинать нельзя. Оно испорчено Лавровым, обнаружившим свое залихватское легкомыслие и вкус к добровольческому метанию бисера. Некто из самарян рассказал мне, что когда два подначальника, ознакомясь с повестью, сказали Фите, что «ни единыя вины не обретают», то Ф<еоктистов> бросил листы на стол и сказал: «Я его не люблю!» Вот вина! И ее действительно достаточно, чтобы все подначальные теперь усердствовали, — следовательно, надо дело оставить до лучших обстоятельств на неопределенное время. Напрасные попытки только будут увеличивать досаду и раздражение

и будут тоже радовать людей, об удовольствиях которых я хлопотать не хочу. Удивляюсь, почему столь простых вещей, которые Вы сообщаете, — не сообщил мне ранее Г<оль>цев! Нельзя ли спросить его об этом? Был момент, когда я мог все это рассказать через основательного человека Рихтеру и В<орон>ц<о>ву, и это могло бы иметь хоть то значение, что Р<ихтер> спросил бы: чту в этой повести дурного? Но и Г<ольцев> и Л<авров> молчали, как рыбы… Писать об таких щекотливых вещах им представлялось опасным… Лукавые москвичи! Себя я обуздал именно тем, чем говорите, то есть привел себе на ум: «Вы путь ведете». Теперь я просто недомогаю. Угнетало меня больше всего поведение собратий, которое я мог бы назвать лучше «падением». Они вели себя как те собаки, которые бросаются грызть собаку, которую увечит жестокий человек. Никто не чувствовал, что происходит бесправие, а говорили: «Ах, да он сам виноват!.. Охота ему!.. Отличаться хочет!.. С кем связался бороться!.. Он описал в старинных личинах Филарета и П<обедонос>цева. Разве это можно?!. Поделом ему!..» Я только и слышу и припоминаю совет Льва Н-ча — «не шевелись», как больной. — В «Зеноне» нет намеков ни на какие живущие личности, и

Прологового там только одна тема с воробьиный нос, а все остальное — вымысел со смешениями из Эберса и Масперо.

Можете Вы для меня сделать вот что: сходите к известному Вам переводчику моих сочинений на немецкий язык, преподавателю Петропавловского немецкого училища Карлу Андреевичу Греве (Маросейка, Хохловский переулок, дом Моносзон, против Иванова монастыря), и скажите ему, что есть на свете «Зенон» и что по обстоятельствам (которые ему надо открыть) этого «Зенона» надо бы (кажется) перевести на немецкий язык прежде прочего, что он переводит, и напечатать прежде появления оригинала. Далее мы сделаем из этого оборот, какой нужно. Но прежде чем идти к Греве, обсудите это со Львом Николаевичем, — хорошо ли это я желаю? На Греве, впрочем, непременно посмотрите, чтобы рассказать мне: що воно есть? По письмам он мне нравится, но взгляд на человека — важное дело. Я ему пишу сегодня же, что Вы у него побываете. У него есть жена Паула Греве, приславшая мне свою карточку после «Колыванского мужа». Яка ця — сія пані? По письмам оба эти лица производят на меня впечатление благоприятное. Одно боюсь — перепугаете Вы немку своим кожухом!.. Авось она не беремен-

на! — Потом прошу Вас запомнить для меня все, что Л. Н. скажет о «Зеноне». Я всегда дорожу его замечаниями и принимаю их, и теперь приму и воспользуюсь ими — пересмотрю и исправлю. Его суждение мне всего дороже. Я люблю его более всякого иного человека на земле, ибо он уяснил мне множество драгоценных вопросов, которые я сам решал довольно близко к его решениям, но не верил в достоинство своих решений, и притом у меня они выходили смутны, а у него мне все стало ясно. С практикою других я в разладе: я не верю в «куркен-переверкен», а более доверяю исторической постепенности, которую Л. Н. указывает, например, в вопросе о смягчениях пожирания людей и животных. Придет к тому, что совестно будет убивать ручное животное, а потом — всякое животное. «Волк ляжет с ягненком». То же и об «опрощении». Не все могут всё вдруг сделать, а только «могущий вместит». Куркен-переверкен пугает, а постепенно конь дается между своих ушей стрелять. Масса мелких землевладельцев, и землевладельцев с хорошим христианским настроением, остается для меня самым верным шагом для моей нынешней поры. Я хочу написать такой романчик и назвать его по имени героя «Адам Безбедович» (из поляков-евангеликов).

Поляки отлично способны сидеть в деревне.

Ваш *Н. Лесков*.

К. А. Греве

7 января 1889 г., Петербург.

В Москве гостит у Льва Никол. Толстого в Долгохамовницком переулке, № 15, его и мой друг, Павел Иванович *Бирюков*. Он морской офицер, опростившийся и ходящий *по-мужицки*. Я просил его видеться с Вами и переговорить об одной моей повести. Я полагаю, что он к Вам придет, а может быть, и не один, а с графом. Это бывало. Предупреждаю Вас, чтобы не вышло недоразумения с этими *мужиками*. Они, конечно, не обидятся, но Вам, быть может, будет досадно.

Бирюкову я послал такой же формы листок к Вам.

Н. Лесков.

И. Е. Репину

22 января 1889 г., Петербург.
Л. Н. Т<олстому>

Я знаю мир души твоей,
Земному миру он не сроден.
Земной мир соткан из цепей,
А твой как молодость свободен.
Не золотой телец – твой бог,
Не осквернен твой храм наживой.
Ты перед торжищем тревог
Стоишь как жрец благочестивый!
Ты как пророк явился нам,
Тебе чужды пороки наши —
И сладкой лести фимиам
И злом отравленные чаши.
Ты хочешь небо низвести
На нашу сумрачную землю.
Остановясь на полпути,
Тебе доверчиво я внемлю.
Слежу за гением твоим,

?! Горжусь его полетом смелым…
Но в изумленье оробелом
Не смею следовать за ним!..

К. Фофанов.

Любезнейший Илья Ефимович!

Стихотворение это прекрасно, но в нем есть одно *ужасное слово*, которое совсем не идет к тону и противно тому настроению, которого должна держаться муза поэта-христианина, в истинном, а не приходском смысле этого слова. Это слово «горжусь»…

Л. Н. будет смущен и огорчен, что он внушил кому-то самое противное его духу чувство «гордости». Это несоответственное слово употребляют попы, газетчики, славянофилы и патриоты-националисты, но оно не должно исходить из уст поэта-человеколюбца, тронутого горящим углем любви христианской.

Я знаю, что Вы любите Фофанова, и, вероятно, любите его так, что говорите ему правду. Заметьте же то, что я Вам сообщаю тоже по любви к Фофанову, и передайте ему это дружески так, чтобы это его не обидело.

Любящий Вас
Н. Лесков.

Слежу за гением твоим.

Смущен его полетом смелым и т. д. — или все, что хотите… но не «горжусь».

И. Е. Репину

8 февраля 1889 г., Петербург.

Любезнейший Илья Ефимович!

Вчера я не попал на товарищеский обед, а Вас подбивал туда ехать… Дурно! — Простили ли Вы меня? Если еще не простили, то поспешите скорее простить, ибо в мире нам «лучшее». А потом потщайтесь мне на помощь.

Вы, чай, слыхали, что я сам печатаю «собрание» своих сочинений… При этом издании *требуется* портрет автора… Какой? Приятель-художник должен в этом случае помочь писателю. Об этом и прошу Вас. Придумайте и посоветуйте мне: какой дать портрет, чтобы было хорошо, скоро и не безумно дорого. Очень Вас прошу об этой дружеской услуге и во всем совету Вашему последую.

Говорят, будто Матэ очень дорог и очень медлителен. Не возьметесь ли Вы попробовать его, — чту он пожелает взыскать с меня? Вообще будьте другом — помогайте.

Любящий Вас

Н. Лесков.

И. Е. Репину

18 февраля 1889 г., Петербург.

Любезнейший благоприятель Илья Ефимович!

Читать мне «Зенона» не хочется по многим причинам, но тем не менее я исполню Ваше желание и свое обещание. Вещь эта не особенно хорошая, но она *трудная*, и ее можно читать только тем, кто понимает, каково было все это измыслить, собрать и слепить, чтобы вышло хоть нечто не совсем обстановочное, а и идейное и отчасти художественное. Таких слушателей негде взять. Потом «идея»… Для меня, для Толстого (Л.), для нас — это *суть*, а для всех теперь идея не существует. Я читаю Вам — как советовал кто-то скрипачу: «играть для одного в партере». Я в ужасе, я в немощи, я в отчаянии за ту полную безыдейность, которую вижу… Мне нравятся «Запорожцы», но я *люблю* «Св. Николая», а прием им будет обратный этому… Так падать, как падает эта среда, — это признак полной гадостности. Это какие-то добровольцы оподления, с которыми уже невозможны ни споры, ни разговоры. Прямо: «Не тратьте сили — спущайтесь на дно!» Я это чувствую повсеместно и читаю почти на всех

лицах. Еще им недостает смелости поднять руки на Л. Н., но что и это будет сделано, — попомните мое слово, что Вы увидите ужасающее бесчинство! Зачем же мы собираемся? Зачем говорим еще? Зачем?.. Не лучше ли молча «спущаться на дно»?.. Не обижайте меня, — не говорите, что это неправда, потому что это — правда.

Лучше будем укреплять друг друга в постоянстве верности добрым идеям, — хотя я боюсь, что «Св. Николай» будет не умно понят. Гольцев хорошо напишет, но не это повлияет на установление взглядов толпы, и я думаю, что Вы это чувствуете и однако на это идете… Вот что я в Вас уважаю. Надо иметь в душе *мужество*.

За переговоры с Матэ благодарю. Сожалею, что Вы меня не застали. Не понимаю, о какой гравюре Вы пишете: на дереве или на металле, и на каком? Постараюсь приехать к восьми часам вечера.

Ваш *Н. Лесков*.

Живописцы могут служить идеалам теперь лучше, легче, чем мы, и Вы обязаны это делать. Дайте «Запорожцев», но рядом заводъте на мольберте что-нибудь вроде остановителя казней. Почему нет группы кротких «штундистов» перед архимандритом консистории? У нас есть свои «Зеноны». Отчего нет «Беседы в Думском зале»,

где было бы несколько полковников и оратор на кафедре?.. Ах!.. Чем это не сюжет, достойный вдумчивого живописца с чистым сердцем и доброю совестью? Куда можно бы превзойти «Пустосвята» Перова! И какие лица!.. И в уголке молчаливые штундисты, и Л. Н., и П<авел> И<ванович>, и Ч<ерт>ков, и еще кое-кто… Это была бы во всех отношениях настоящая патриотическая картина. Те бы «буквальники» спорили, а эти бы молчали, но с ними был бы бог, в них бы *светилась правда*.

И. Е. Репину

19 февраля 1889 г., Петербург.

Я не говорил, что «Запорожцы» — вещь безыдейная, и идейность ее понимал точно так, как Вы ее изъясняете, однако идея идее рознь. Хорошо сказать то, что говорят «Запорожцы», но идея «Св. Н<иколая>» пробой выше. — Штундой еще не пользовался ни один художник, и об этом стоит подумать, да и сделать без отлаганья на досуг. Тут широкое поле Вашей даровитости и вдумчивости, и я не стану больше говорить об этой идее и *счастлив буду*, если Вы ее облюбуете и начнете исполнять.

С Шишкиным очень рад познакомиться. Я люблю его задумчивые леса. От того, чем заняты умы в обществе, нельзя не страдать, но всего хуже понижение идеалов в литературе… На что Вы надеетесь, — я не понимаю. Конечно, идеи пропасть не могут, но «соль обуяла», и ее надо выкинуть вон. Литература *у нас* — есть «соль». Другого ничего нет, а она совсем рассолилася. Если есть уменье писать гладко, — это еще ничего не стоит. Я жду чего-нибудь идейного только от Фофанова, который мне кажется органически честным и

хорошо чувствующим и скромным.

Талантлив Чехов очень, но я не знаю, «коего он духа»... Нечто в нем есть самомнящее и... как будто сомнительное. Впрочем, очень возможно, что я ошибаюсь. Старый Глеб Успенский служит хорошо. Кто же еще?.. Кто на смену? Где критика? Кто до сих пор понял весь вред нигилизма, игравшего в руку злодеям, имевшим подлые расчеты пугать царя Александра II и мешать добрым и умным людям его времени?

Проклятое бесправие литературы мешает раскрыть каторжные махинации ужасной реакции. Утешаться ровно нечем.

Н. Л.

И. Е. Репину

27 февраля 1889 г., Петербург.

Любезнейший благоприятель Илья Ефимович!

Приветствую большой и несомненный успех Ваших произведений. На выставке нет ничего лучше «Св. Николая» и портрета Глазунова. Похвалы Вам единогласные. Стоят картины прекрасно, и лучшего им не надо. Николай, Глазунов и Щепкин на выставке выиграли против того, что показывали в мастерской, а Бородин в мастерской казался лучше. Не понимаю, как он тут освещен.

Суворин был в восторге от «Св. Николая». Вероятно, будут ему и хвалы большие. Фигура палача в раме утратила свою казавшуюся колоссальность. Толпы у «Св. Николая» не редеют, а толки очень курьезные и неожиданные — например, что Вы хотите «показать главенство церкви над государством». — Если верно, что за «Св. Николая» Вам дано всего десять тысяч, то это очень дешево, — особенно ввиду цены «Фрины». Не завернете ли как-нибудь с выставки ко мне? Я был бы рад видеть Вас после успеха Вашей благородной картины.

Ваш *Н. Лесков*.

А. С. Суворину

2 марта 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

По достоверным и приятным для меня сведениям, мои книжечки в «Дешевой библиотеке» идут хорошо. Отдельное собрание подвигается и захватит все, что я могу почитать за более удачное и зрелое. Первые опыты и все хламовое я выброшу и в собрание не включу. На десять том<ов> наберется и изрядного материала, но в этот же материал попадет и то, что я особенно люблю, более всего люблю и знаю, что это хорошо, — это «Захудалый род князей Протозановых». Это любили Катков, и Аксаков, и Черкасский, и Пирогов… Мне это дорого, как ничто другое мною написанное, и я жарко хотел бы видеть этот этюд распространенным как можно более. В «собрании» он этого не достигнет, и я не могу остаться спокойным, не испробовав всех средств, чтобы этот этюд, дорогой мне и людям, вкус которых мне ручался за его достоинства, — не был доступен публике по сходной, дешевой цене. — Вы издавали несравненно слабейшие мои работы;– не откажите же мне, пожалуйста, в большом

литературном одолжении — издайте «Князей Протозановых» в «Дешевой библиотеке»!.. Ведь они же этого стоят! А я вас прошу, понимаете, — не из-за чего-нибудь мелкого, а этого жаждет и алчет дух мой. Это порыв, это требование моей души. Неужто Вы мне откажете?.. Пусть лучше не откажите, Вы ведь должны знать, что как себя ни замучь, а все-таки что-нибудь свое любишь артистическою любовью. То и тут. Любящему все прощает, кто сам знает, как это чувствуется.

Ваш *Н. Лесков*.

Неизвестному

5 марта 1889 г., Петербург.

Оставленную Вами пьесу я прочел и нахожу, что она чрезвычайно слаба и плоха во всех отношениях, начиная с замысла — основать дело на статье закона, эксплуатировать который в таком широком объеме совсем недостаточно. Отвергшие ее имели полное основание так поступить, и это молодому автору гораздо полезней всяких снисхождений, при столь несамостоятельной вещи неуместных и даже непростительных. «Коль основанье — ложь, то все тогда ничтожно зданье». Здесь основанье — ложь, а все остальное притащено снаружи, а не развивается из свойства характеров и положений. Стало быть, в пьесе, помимо недостатка и разумности сюжета, нет даже азбучного познания, как должно строить пьесу так, чтобы в ней чувствовалась жизнь и внутреннее движение. А это совершенно необходимо, и этого-то вовсе нет. Следовательно, это ничего и не стоит.

Если Вам, по любви Вашей к автору, мое мнение интересно, то я из него не прошу делать секрета для молодого писателя, к которому я и сам

чувствую симпатию. — Пусть эту пьесу бросит, а другую у богов просит.

Н. Лесков.

М. И. Пыляеву

12 марта 1889 г., Петербург.

Статью Вашу отдал переписывать, и с нею — запас бумаги на будущее время. Заглавие изменил так: *Петербургская сторона. Дома именитых людей по р. Мойке*.

Дальше велел оставить десять строк чистых, где по прочтении впишу подзаглавие (реестрики), чту именно есть в статье. Это заинтересовывает читателя и совершенно необходимо.

Во вторник к четырем часам буду в магазине «Нов<ого> времени», и ждите меня, или я Вас подожду.

Усердно прошу о друге моем Зинаиде Петровне Ахочинской. Поддержите ее кураж, сколько позволит правда и Ваша ко мне приязнь. Она, по отзывам Репина и Боткина, «очень талантлива; хорошо училась и с большим вкусом пишет». На выставке есть ее следующие работы: портрет французской актрисы *Рэнэ*, портрет Татьяны Петровны *Пассек* (больной, в кровати), мастерская Боголюбова и «цветы». Пожалуйста, дойдите до них и не пройдите вниманием.

Мы все семейно любим эту девушку сердечно

и дорожим ее успехом, крайне ей необходимым в ее трудном положении. Я надеюсь на Вашу приязнь и прошу только *внимания*.

Ваш *Н. Лесков*

И. Е. Репину

14 марта 1889 г., Петербург.

Добрый друг Илья Ефимович!

Огорчили нашу милую Зинаиду Петровну — не приняли у нее портрет Т. П. Пассек!.. Уж как мне ее жалко, то и выразить не могу. Приняли три штучки, а портрет-то и не приняли. Я это узнал и ей написал, — она поехала к Боткиным, и слух подтвердился. Она очень сконфужена — плакала до того, что заснула. Может быть, портрет и плох, но если Боткин схитрил, то это очень гадко. Однако надо ее поддержать словом и советом. Был у меня сегодня (в понедельник) Як<ов> Петр<ович> Полонский, видел подмалевок моего портрета и говорит, будто «хорошо».

Очень ведь важная вещь решить, стоит ей держаться искусства или нет? По-моему, стоит, ибо способности есть, и это даст занятие и положение: но я понимаю, что *надо много работать*, а у нее, кажется, мало прилежания… Она долго очень *сбирается* на работу. Полонская куда шустрее. Хочу их свесть и познакомить.

В пятницу 17 марта у Полонского будет старец Афанасий Фет. Любопытно. — Полонский просил,

не зазову ли я Вас? Очень зову. Не приедете ли посмотреть на это «чудище обло, озорно и стозевно»? Еще бы, кажись, лучше по пути заехать ко мне, ибо у меня явилось много нужды поговорить с Вами.

Впрочем, все это теперь изменяется, так как сейчас приехали Зин<аида> Петр<овна> и племянница моя Вера Михайловна Макшеева, ее подруга по Парижу (готовилась быть певицей у Маркози и здесь в прошлом году вышла замуж за полковника Макшеева).

Эта милая молоденькая дама видела «Св. Николая» и непременно просит меня привезти ее к Вам посмотреть портрет бр. <баронессы> Икскуль, о котором я по нескромности и искренности много наговорил справедливого.

Они просят Вас принять их *в четверг, 16 марта, в 2 часа дня*. Я заеду в корпус за Верой Макшеевой и привезу ее, а Зин. Петр, и мадемуазель Пассек приедут к Вам к этому же времени.

Таким образом, я надеюсь увидеть Вас у Вас же до пятницы, если только Вы не откажете всем нам в удовольствии видеть Ваши новые прелестные работы.

Для меня эти два женские портреты — чистое вдохновение.

Благоволите приехать.

Ваш *Н. Л.*

Надо мне просить Вас о многом, и все, конечно, о добром и об удобном.

З. П. Ахочинской

<15–20 марта?> 1889 г., Петербург.

Зинаида Петровна!

Вчера я виделся с Ильею Ефимов<ичем) Репиным и говорил ему о Вашем желании с ним познакомиться и просил его по-дружески ориентировать Вас, как мою добрую знакомую. Он на все это вызвался с полным удовольствием и хотел сам к Вам поехать, «чтобы иметь понятие о том, что Вы собою представляете как художница». — «Иначе, — говорил он, — я не в состоянии буду ей сказать ничего основательного», так как он о Вас *ничего не знает*. Потом это отдумалось, и он ждет нас вместе от двух до четырех часов в любой день. Хотите, поедемте вместе, а не хотите, — поезжайте одна. Он Вас примет радушно. Там же (у него) случился художник Матэ, который знает «мужественную Лаудан», и я сказал, что эта госпожа есть Ваш сотоварищ.

Относительно всего, что я говорил Вам о работах, — пока поберегите в секрете, и <особенно от> Репина. Вера и Коля Б<убновы> <напрасно шутили> насчет моего портрета. Шутка эта не должна иметь места, особенно в разговоре с Р., так как

я отклонил желания Крамского и Репина и он на меня за это недоволен, но я не желаю иметь своего портрета на выставке, — и его *не будет*. Выставок осенью нет. Выставка будет только в марте, и до тех пор Вы можете поработать много. — «Азу» Вам заказываю. Начинайте с моей «легкой руки». Альбомы Готенрота и Масперо видел. Они неописуемо полны и хороши. Готенрот у меня есть (наряды Египта), Масперо (лица) я могу достать. Сочиняйте. — Когда будете в моих краях, — заезжайте всегда просто, по-товарищески, и не портьте наших отношений переводом на визиты и прочие пустошные вещи. — Альбом нарядов Египта можете у меня взять. Адрес Репина (Михаила Ефимовича) — Екатерининский канал, рядом с Калинкинскою частью, № 26, 1-й подъезд, в верхнем этаже.

Ваш *Н. Лесков.*

В. Г. Черткову

23 марта 1889 г., Петербург.

Благодарю Вас, любезный друг Владимир Григорьевич, за Ваше письмо, и радуюсь, что Вам разрешено издать «Азу» и «Данилу», но печалюсь о том, зачем Вы не спешите их издать так, как они дозволены, то есть в одной книжке, а затеваете новый вопрос об издании их порознь. На что бы это нужно и чего ради трата сия миру? Рассказы очень невелики, и им бы как раз хорошо быть в одной книжке, а между тем как поднимете Вы вопрос об их разъединении, то еще нельзя знать, не поведет ли это к неожиданностям весьма нежеланным… Откровенно говоря, — я совсем не понимаю, для чего Вы это делаете, в виду нынешних неблагоприятных условий. Цена книжки 1 1/2 коп. или 2 коп. — совершенно все равно, а время пропадает, и является новый риск и новые беспокойства. «Льва старца Герасима» можете печатать как Вы хотите — одного, или в соединении с «Дровоколом», или и еще как иначе. Я все это предоставил для пользы народной на Ваше усмотрение, и, по-моему, все хорошо — лишь бы можно было напечатать и дать в руки народу, а не

медлить за соображениями какого бы то ни было педантического свойства. Пожалуйста, мною не стесняйтесь и печатайте как Вы можете, — лишь бы скорее и больше.

«Зенона» Вам пришлю. Один экземпляр, который у меня есть, бродит из рук в руки, и я его никак не залучу домой. Пошлю его заказною бандеролью, и Вы его не задержите и возвратите тем же порядком.

Некто, поэт Величко (которого знает Ивантий Иванович), просил меня послать Вам на выбор несколько его стихотворений для какого-то Вашего сборника, о котором он слышал от Фофанова. Я просмотрел эти стихи и не нахожу их близкими к преследуемым Вами задачам в народной литературе. Мы все, сколько нас есть в нашем о Христе братстве, худы и немощны, но все понимаем друг друга и, — плохо ли, хорошо ли, — а всегда берем верно и надлежащий тон. Это радостно. Значит, мы все спелись, а другие, извне приходящие, в тон этот хотят попасть, но не попадают. Это преудивительно, потому что тон наш необыкновенно прост и даже грубоват и примитивен. Вот и Фофанов (премилая душа) все берет в «гордость» да в «славу», а Л. Н. — ча видит «жрецом»... Фу ты, ну ты — пятки гнуты! Как это

ему идет «жречество»! — Стихотворения Велички будут положены в одном пакете с листками «Зенона». Вы их прочитайте, и что пригодится, — то возьмите. Одно стихотворение, мне кажется, подходит. — Нельзя ли прислать мне картинки «Азы»? Очень прошу. Их, может быть, прошел бы И. Е. Репин. Кланяюсь достопочтенному Ивантию Ивановичу, обнимаю Вас и почтительно целую руку Анны Константиновны. Кстати: нет ли у Вас ее фотографии? Есть вещи, которые очень отрадно видеть. Она из этих приносящих отраду. — В моих делах нет ничего достойного описания: тружусь и порою хандрю и раздражаюсь. Стало быть, похвалить меня не за что, а надо простить и покрыть милостию.

Смиренный ересиарх *Николай*.

В. Г. Черткову

28 марта 1889 г., Петербург.

Любезный друг Владимир Григорьевич!

Так как Вы приостановили выпуск «Азы» и «Данилы», а в это время лютость цензуры еще усилилась, то я почти наверное предполагаю, что счастливая случайность их разрешения пропадет втуне. Вам не позволят их вовсе. Это и будет реванш цензуры и вполне правильное возмездие Вам за невнимание к обстоятельствам и педантство Словом, я считаю это дело погубленным вторичным вопросом, как погублен «Зенон»; но если бы милосердие врагов добра было так велико, что и еще раз Вы получите разрешение, то, пожалуйста, сообщите мне: что за картинки делаются к «Азе» и кто (кто именно) их делает? Я бы очень просил позволить мне видеть эти рисунки. Дело в том, что тут есть художница Ахочинская, у которой «Аза» нарисована с натуры, и превосходно. Если заказ Ваш в Москве еще не исполнен, то я просил бы Вас принять рисунки Ахочинской, сделанные по моему совету, а я теперь в египетских дамах «насобачившись». В Москве же нарисуют не «Азу», а «Лупоглазу», —

что будет совсем неприятно.

Дружески жму Вашу руку.

Н. Лесков.

«Зенон» сегодня посылается.

К. А. Греве

6 апреля 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Карл Андреевич! Пожалуйста, простите меня за премногие перед Вами неисправности. Мне очень недосужно, и я очень устал. Единственный экземпляр корректуры запрещенного «Зенона» повез Вам в Москву сын редактора Гатцука, Владимир Алексеевич Гатцук. Он теперь уже в Москве у своего отца, у Никитских ворот, дом Гатцука. — Сегодня я пишу ему, чтобы он к Вам съездил, но, может быть, вернее и скорее будет, если Вы к нему съездите и возьмете корректуры. Владимир Гатцук (очень милый молодой человек) может Вам рассказать и обо мне и о том, как запрещали «Зенона»; а потом я, поосвободясь, напишу Вам письмо о моем «уединенном положении». Дело просто: я не нигилист и не аутократ, не абсолютист, и «не ищу славы моея, но славы пославшего мя отца». Я Вам напишу, а Вы сами делайте как знаете.

Дай бог Вам устраиваться и жить в мире с собою.

Ваш *Н. Лесков*.

В. Г. Черткову

***Ночь*с 8 на 9 апреля 1889 г.**
Петербург.

Любезнейший друг Владимир Григорьевич!

Знатнее всего «понял с полуслова», что я Вас издали порядком порассердил и что Вы тоже меня пощипываете. Все это очень хорошо. Однообразие сильно утомляет душу, а когда «милые бранятся, то они тешатся». Вы же мне милы, и я думаю, что и я Вам не постыл. Затем каждый из нас остается с своею самостию и своими особинами. Я раздражителен — это правда, и это очень большой недостаток. Извинения мне нет, а только объяснение есть: я терпеть не могу никакого доктринерства и профессорского тона где бы то ни было, и потом я не люблю откладывать то, что можно сейчас сделать (хорошего). У Вас же все делается с ужасающей медленностью. Это мне беда видеть!.. Этак (по-моему) дело делать не следует, а, по Вашему, так только и следует… Очевидно, не столкуемся. «Завтра не наше: наше только сегодня». Надо им дорожить и делать все, что можно, «доколе день есть». Объяснять же и отражать можно все. Известно ведь, что «доказать можно

все». В издательстве заметен упадок, и значение фирмы подорвано. Надо спросить per cui bono.[32] Того и гляжу, что оно совсем задерет ножки… И можно будет доказать, что и это тоже очень хорошо. «Вышло-де то, что могло выйти». Я с этим ни за что не хочу мириться. — За обещание прислать мне фотографию Анны Константиновны — очень Вам благодарен. Я буду ждать обещанного. Почему, однако, фотография «грех»?.. «Блюдите, брате, како опасно ходите!» Этак, пожалуй, скоро и почта станет, пожалуй, «спорым грехом». Черты одушевленного и выразительного лица могут, однако, вдохновлять и бодрить мысль… Почему же это грех? После этого, пожалуй, и чернослив после обеда грех есть… Эй, «блюдите, брате, како опасно ходите!» Этим аллюром люди доходили до вреда своему делу с великою борзостию. Впрочем — моя речь не пословица, а говорю я как думаю, может быть и глупо, но «блюдите»… Летом еще не знаю, как распоряжусь. Если будут средства, хочу видеть «народы мнози», — для этого надо съездить в Париж. К немцам своим не поеду, потому что их теперь «русифицируют», а я терпеть не могу быть при таких операциях. Затем, может

[32] Примечания: 32
Кому это нужно (*лат.*).

быть, решусь сидеть в городе и, может быть, проедусь к Вам и к Павлу Ивановичу не-Гайдукову. Но все это только мечты, а ясного — ничего. Заключаю из Вашего письма, что здоровье Анны Константиновны нехорошо… Это никогда меня не приводит к философии, а всегда к ощущению скорби… Я при этом и останусь. Он ведь о Лазаре «плакал»… Это верно. «Азу» и «Данилу», пожалуйста, пришлите. Картинки непременно были нужны. Как это Вы не знаете мужика! Он привык брать книжечку со шлепком, — так ему и давай шлепок, а то он заговорит: «Это другой нацеи». Все и надо спорить. — Теперь опять — что же это за печатание в числе 7 тыс. экз.?.. Ведь их вперед не дозволят, как «Федора и жидовина»… Зачем же не 15 тыс., не 20 тыс., а 7 тыс.?.. Что это, бедность, что ли, и чья бедность, и per cui bono? Ах, ах, ах и трах-тарарах, — как об этом даже писать стыдно! Это «как мокрое горит», — и ничего более. Не издаем, а просто «нищего за хвост тянем». Ужасно это видеть, кто привык делать живо и энергично. — Буддийский взгляд на «исполнение жизни» и переход «форм бытия» мне не чужд и не противен, но тогда надо бы и держаться всего земного проспекта Сакья-Муни и быть «бодисатвой». А меж тем дело путается. Фирме надо торговать, —

надо сделать у Суворина объявление; Суворин не буддист, а экономист и деньгу любит solo, solo. Без объявлений нельзя, а объявление стоит своей цены. Ступай, Н. С., покучься, чтобы сбавили. Н. С. идет и кучится, а там смеются: «Что это, говорят, на бедность уж просят!». «Коли им так нудно, так за это и другие взялись бы!»… И, я думаю, возьмутся… «Мокрое гореть» не будет, — сухого хворосту подкинуть, и пойдет дело шибко, а подбор будет иной… Так будет напрасно спущен жар первой печи, и дело будет направлено не в ту сторону… И это мне противно, а между тем я знаю, что наговорить объяснений и доказательств можно сколько угодно, но дух мой понижает дело, как оно есть, и нет никаких доводов, чтобы он перестал скорбеть о деле, таящем на виду нашем, как снег на угреве. И будет грязь, слякоть, — вот и все, — и «посмеются и покивают главами своими»… А дозревание и обновление — это своим чередом. — Сегодня читал корректуру статьи Л. Н. «Об искусстве» (кн<ижка> «Русского богатства», Оболенского). Это всего строк 500–600, но это превыше всех похвал за ясность, точность и вразумительность. «Зенона», думаю, Вы уже прочли. Ругин уезжает, а потому, по прочтении корректуры, возвратите прямо мне. Повесть эта, как злое дитя, наделала

мне много досад, и главное — расстроила мои дела, которые всегда надо стараться держать в порядке. За это она мне противна стала.

Н. Л-в.

Л. Н. Толстому

30 апреля 1889 г., Петербург.

Лев Николаевич.

Вчера я послал Вам под бандеролькой мой маленький новый рассказ «Фигура». Он дозволен к печати и долж<ен> явиться в журнале «Труд» (приложение к «Всемирной иллюстрации»). Это тот самый рассказ о родоначальнике украинской штунды, о котором я писал Вам некогда, испрашивая у Вас совета, чтобы сделать из этого мал<енький> роман. Не получив ответа, я скомкал все в форме рассказа, сделанного очень наскоро. Тут очень мало вымысла, а почти все быль, но досадно, что я из были-то что-то важное позабыл и не могу вспомнить. Кроме того, я Сакена никогда не видал и никаких сведений о его привычках не имею. Оттого, вероятно, облик его вышел бесхарактерен и бледен. Не могу ли я попросить Вас посолить этот ломоть Вашею рукою и из Вашей солонки? Не укажете ли в корректуре: где и что уместно припустить для вкуса и ясности о Сакене, которого Вы, я думаю, знали и помните. Пожалуйста, не откажите в этом, если можно, и корректуру с Вашими отметками мне

возвратите; а я все Вами указанное воспроизведу и внесу в текст в отдельном издании. Буду ждать от Вас хоть одной строчки ответа.

Гатцук передал мне свой разговор с Вами обо мне. Спасибо Вам, что знаете меня и говорите обо мне. В суждении своем Вы вполне правы: не столь много требуется «на нужу, сколько наружу». Душевное состояние мое, однако, улучшилось, и много улучшилось после того, как Вы мне написали, что «все хорошо и полно жаловаться». Я не жалуюсь более, и в самом деле стало легче.

Помогите мне выправить и дополнить «Фигуру» в отношении неизвестного мне Сакена.

Если Пав<ел> Ив<анович> Не-Гайдуков у Вас, — то прошу сказать ему мою благодарность за присланные сегодня выписки из М. Арнольда.

Любящий Вас

Николай Лесков.

Л. Н. Толстому

18 мая 1889 г., Петербург.

Благодарю Вас, Лев Николаевич, за полученное мною письмо Ваше о «Фигуре». Все, что пишете, — верно: рассказ скомкан и «холоден», но я все видел перед собою опротивевшее пугало цензуры и боялся разводить теплоту. Оттого, думается, и вышло холодно, но зато рассказ прошел в подцензурном издании. «Тени на лицо Фигуры» нужны, и я их попробую навести при внесении рассказа в V том собр<ания> моих сочинении, а под цензурою пусть уже хоть так бредет. Кое-что доброе рассказ все-таки внушает и в этом виде. Благодарю Вас и за то, что черкнули о Сакене: я о нем ничего не знал, кроме того, что написал. Оттиска «Фигуры» во второй раз не буду Вам посылать, чтобы не беспокоить Вас. С меня довольно того, что Вы мне сказали. Любовь и признательность к Вам питаю с великою радостию духа, который получил через Вас много света, и силы, и утешения.

Преданный Вам
Н. Лесков.

В. М. Лаврову и В. А. Гольцеву

2 июня 1889 г., Петербург.

Не знаю, кого из Вас, достоуважаемые друзья мои, это письмо найдет в Москве и при исполнении своих редакторских обязанностей: Вас ли, Вукол Михайлович, или Вас, Виктор Александрович. А потому пишу к Вам обоим, с просьбою, чтобы кто получит это письмо, тот бы на него мне и ответил.

Мой придворный поставщик редких книг, букинист Николай Ив<анович> Свешников, два года тому назад запил, просрочил паспорт, пропал из вида и, наконец, на сих днях возвратился и предстал полунагой с рукописью о претерпенных им злоключениях, (вызванных?) практикуемой теперь в огромном размере «высылкой на родину». Рукопись, разумеется, неискусная, но с содержанием очень жизненным. Я из нее сделал очерк, представляющий явление новое и нигде никем не описанное. Да его и не может составить никто иной, кроме мужика, который сам все там изложенное видел и претерпел на своей шкуре. Подлинная рукопись, составляющая четыре большие тетради, написанные Свешниковым, на-

ходится у меня; а то, что я из нее извлек и обделал в литературной форме, теперь перед Вами. «Крестьянские опыты», печатавшиеся Аксаковым и Л. Н. Толстым, в сравнении с этим — сентиментальная идиллия и искусственная канитель. У Свешникова я выбрал черты живые, сильные и простые, как сама ужасная жизнь арестанта, высылаемого невесть за что и невесть к кому. Так как это касается петербургской моды, то я подумал, что это всего удобнее напечатать в Москве, и притом *сразу*, а не врастяжку. Всему я придал тон простого внимания *к способу изложения простолюдина*. Так мне казалось удобнее. Сущность содержания сама обнаружит, в чем дело.

Прошу Вас покорно взять эту рукопись в руки и прочесть ее сразу, что берет час времени, и притом очень интересно. Потом благоволите ответить мне: принимаете Вы ее в свой журнал или нет. Если она, сверх моего чаяния, Вам не понравится, — то потрудитесь мне ее возвратить. — Относительно гонорара, так как мой труд здесь только редакционный и компилятивной, — я предоставляю Вам самим заплатить мне по Вашему усмотрению и справедливости. Свешникову же я уплачу сам за его материал. Не откажите мне ответить скоро.

Преданный Вам
Н. Лесков.

В. М. Лаврову

14 июня 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Вукол Михайлович.

Письмо Ваше о «Спиридонах» получил. Я думаю, что это просто, но очень жизненно и потому интересно и, следовательно, стоит внимания. Свешников — живой человек, и теперь шныряет по П<етер>бургу, доставляя и разнося книжонки. Написал он безусловно одну правду, а я ее средактировал и привел в литературный вид. «Суть» там вся свешниковская, а вкусовые специи подпущены мною, — какие идут и какие надо. По моему мнению, Вы резонно сделали, взяв эту маленькую, но не безынтересную штучку.

В производстве у меня на столе есть роман не роман, хроника не хроника, а, пожалуй, более всего роман листов в 15–17. Сюжет его взят из бумаг и преданий о 30-х годах и касается высоких нашего края — по преимуществу или даже исключительно со стороны любовных проделок и любовного бессердечия. «Натурель» он был бы невозможен и потому написан в виде событий, происходивших неизвестно когда и неизвестно где — в виде «найденной рукописи». Имена все нерусские и

нарочно деланные, вроде кличек. Прием как у Гофмана. В общем, это интересная история для чтения, а в частности, люди сведущие поймут, чту это за история. Главный ее элемент — *серальный* разврат и нравы *серальных* вельмож. «Борьба не с плотью и кровью», а просто разврат воли при пустоте сердца и внешнем лицемерии. — Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих, «Чертовы куклы». Живу я в П<етер>бурге и никуда не еду, потому что все переделываю и переписываю роман и желаю его кончить к августу. *Замолвки* о нем слышал *до разъезда* от Гайдебурова и от Шеллера в «Неделе» и «Живоп<исном> обозр<ении>». Слова никому не давал и не буду давать, пока не кончу. Роман делится на четыре части, каждая листа по 4 или немножко побольше или поменьше. Надеюсь, что это совершенно цензурно. Повторяю, роман по преимуществу) *любовный*, и все дело в московск<их> и петерб<ургских> великосветских «чертовых куклах» (курвах) изящной отделки под именами Помон, Неуд, Делли и т. д., упадающих перед герцогом, списанным известно с кого и не имеющим никакого иного имени, как «герцог». Потом тут в гарнире Брюллов (Фебуфис) и tutti frutti. Это все отдает то баснею и стариною, то

вдруг хватишься и чувствуешь — ведь это что-то свое. Так все и написано — вроде «Серапионовых братьев» Гофмана. Глубоких или «проклятых» вопросов нет вовсе. «Много бо пострадах их ради».

Хотелось бы без лицемерия спросить: будет ли у Вас что-нибудь о Собрании моих сочинений. Это не для любопытства и не в виде тонкого намека, а некто Бибиков составив какой-то мой «литературный портрет». Я его не читал или не видал, но говорят, будто это сделано очень хорошо. Не посоветуете ли Вы этому молодому человеку прислать Вам его работу на просмотр. Он вначале ветреничал и писал плохо, а теперь все вдумывается и пишет лучше. До свидания.

Преданный Вам
Н. Лесков.

П. И. Бирюкову

9 июля 1889 г., Петербург.

Любезный друг Павел Иванович!

Фирма «Посредник» уклонилась от своего первоначального пути в издательстве. Она теперь сама покупает книги у Сытина и на подбирающийся товар поднимает цены с 5 коп. на 50 коп. (за картины). Это поставляет меня в затруднение, и я не могу понять: кому я жертвую моим авторским гонораром!.. Выходит, что пожертвования эти идут в пользу разживающегося купца, который, без сравнения, меня сытее и богаче, а у меня есть кого покормить и одеть… Отсюда выходит, что это становится не то какою-то наивностью и глупостью, не то просто эксплуатациею добрых чувств человека, отрывающего у себя свой заработок, долею которого надо бы делиться с теми, у которых нет никакой иной поддержки. Дело, поставленное в такое неясное и двусмысленное положение, не внушает мне более ни сочувствия, ни доверия к прямоте и ясности целей, преследуемых его сокрывшимися и стушевавшимися руководжями, и я считаю себя вынужденным от него отстать и более не буду давать моего согла-

сия на издание моих сочинений бесплатно. Я сам издам, что захочу, и найду возможность предложить распространителям дешевле, чем Сытин, и притом еще получу заработок от этого издания. Заметьте, что 80 экз. «Данилы» и «Азы» на веленевой бумаге проданы в магазине «Н<ового вр<емени>» в один день по 25 коп., и их можно бы продать 2000 по этой цене и дать по 1 коп. народу на простой бумаге. Все это остается у Сытина… Это штука довольно неуместная!

Так как я через Вас сошелся с издательством «Посредника», деятельность которого мне теперь стала непонятна и несочувственна, то я сообщаю Вам, что я не желаю, чтобы Сытин издавал мои книжки.

Искренно преданный Вам

Н. Лесков.

В. М. Лаврову

12 июля 1889 г., Петербург.

«А на Москве не спешливы и грамати ссылаться не охочи…»

Здравствуйте! На Вашу записочку я ответил давно — в тот же день, когда ее получил. От Вас же ответа нет, по обычаю. Это неудобно. Зачем Вы меня спрашивали о том: есть ли у меня что-нибудь готовое? Нужно Вам что-нибудь или не нужно? Что бы, кажется, взять да и сказать прямо… Так я ничего не понимаю. Оторвавшись от большой работы, написал рассказ листа в два, вроде «Азы» и по тем же источникам, под заглавием «Аскалонский злодей». Пошлю его Вам на сих днях, а Вас попрошу прислать мне (если можно) рублей 500 денег. Потом скажите мне просто по-приятельски, будете Вы что-нибудь писать по поводу выхода собрания моих сочинений или не будете? Это дело самое простое и нимало не щекотливое. Если будете, то прислать Вам экземпляр, или Вы это сочтете за стеснение критической свободы рецензента?.. По характеру моему мне все это представляется простым и нимало не щекотливым, но не знаю, как это у Вас?

Пожалуйста, напишите словечко. О Бибикове говорить уже нечего. Я не знаю, что он написал, но знаю, что написанное он уже устроил. Это малец очень со смыслом.

Надежда Ив<ановна> Мердер читала мне два этюда из юношеских ее воспоминаний: «Madame Thomas» и «Maman». Оба очень и очень хороши. Я советовал ей послать их Вам, что она, должно быть, и исполнит.

Пожалуйста, отвечайте и денег пошлите.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Где теперь Виктор Александрович?

В. М. Лаврову

20 июля 1889 г., Петербург.

Благодарю Вас, Вукол Михайлович, за скорый и притом теплый и приятный простотою своею ответ. По характеру своему, который мне изменять уже поздно, я только и почитаю себя в натуральном положении, когда ко мне относятся прямо и просто и тем мне открывают возможность таких же отношений. Это было возможно, и ничего неудобного в этом нет и теперь. Очень Вам благодарен. Экземпляр «собрания» пришлю Вам и Виктору Александровичу, и это мне доставит удовольствие. Когда В. А. приедет сюда, он и получит книги с надписью. Черкните: когда он приедет?

Как бы нам не разминуться. Я никуда не выезжал во все лето, но покушаюсь хоть немножко проветриться. А с Гольцевым и нужно и желательно видеться и говорить лицом к лицу. За обещанную статью в августе очень благодарен. Это очень важно в деле оповещения читателей и привлечения их к участию в подписке.

До сих пор дело идет очень нехудо (по-русски). У меня идет третья сотня подписчиков, а время глухое, и объявлений нигде еще не делано, кроме

как в одном «Нов<ом> вр<емени>». С августа буду брать страницы у Вас, в «Р<усской> м<ысли>» и в «Историч<еском> в<естнике>», где публика грамотнее и меня более знает. Журналы хранят упорное молчание, из газет была статья только в одном «Нов<ом> в<ремени>», и та несправедливая, хотя и ласковая.

От Вас и от Гольцева жду справедливости и ничего кроме ее не желаю.

Роман еще в брульоне, но его уже можно считать готовым. «Аскалонский злодей» переписан, но я его опять еще раз измарал, все добиваясь простоты и соответственного старинному сказанию эпического стиля с ним очень заморил себя, и он написан каденцированною прозою — почти стихотворно, — что идет легенде и дает ей особый колорит. Я надеюсь все домарать через неделю и тотчас же пошлю рукопись Вам без новой переписки. Лучше пришлите мне корректуру. По мнению слышавших, «Злодей» будто лучше «Зенона», который, кстати сказать, кажется пройдет здесь под иным, разумеется, заглавием. Словом, Вы можете быть уверены, что «Аскалонский злодей» не запоздает, если хотите для августовской книжки. Через неделю он будет у Вас непременно. В нем должно быть листа 3 или 3 1/2. Деньги

нужны, и чем скорее пришлете мне 500 руб., тем это будет милее. Счеты наши, помнится, были таковы, что при возвращении «Зенона» я остался в долгу у Вас рублей на 200 с чем-то. (Велите справиться.) «Спиридоны» должны, кажется, покрыть этот долг, хотя я не знаю, как Вы найдете справедливым за них заплатить мне. Думаю, что сделаете безобидно, и ничего не указываю.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Июльская книжка мною еще не получена. Если Вам все равно, — пришлите деньги поскорее. Кланяюсь Гольцеву и Ремезову.

В. М. Лаврову

6 августа 1883 г., Петербург.

Писание Ваше о «Злодее Аскалонском» мы сего числа получили, и то, что «Злодей» Вам и Виктору Александровичу понравился, — смирению нашему в радость. «Теснить» Вас набором не намерен, но надо сделать нечто иное к удовлетворению моему желанию еще поработать над рукописью, — что и Вам будет в пользу. Если теперь ставите «по пятибалльной системе — 4», и после того, как я еще почерчу рукопись, может быть прибавите плюс, и это будет лучше. А потому, — если нельзя набрать, то отдайте *переписать* экземпляр рукописи, и непременно *на графленой бумаге* и с *широким полем*. Затем мой черновой экземпляр оставьте у себя, а переписанный пришлите мне. Пусть он у меня побудет до тех пор, когда Вам понадобится давать набор. Я еще побьюсь, чтобы достичь большей простоты и образности в языке, и, может быть, достигну 4 1/2 балла. Вам же это сделать нимало не трудно, и для издания полезно. — Я ведь послал Вам рукопись, во 2-й раз переписанную, *только* потому, что не хотел брать денег, не дав Вам на них обес-

печения. Иначе я бы еще раз ее дал переписать и еще бы раз ее помарал. Таков уж мой копоткий прием работать, и иначе я не могу работать. Прошу Вас усердно — пришлите мне или набор, или же список, — и это будет в пользу делу, а не для прихоти моей. Пожалуйста, не оставьте этой просьбы втуне и не считайте ее маловажною. «Аскалонский злодей» мил мне, и мне хочется над ним еще поработать доколе возможно.

За статью очень благодарю и очень ею интересуюсь.

Мир и благоволение да будет над нами.

Преданный Вам

смиренный ересиарх *Николай.*

А. К. Шеллеру

16 августа 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Александр Константинович!

Репин был у меня и я у него, и мы переговорили. Как же это кончить? За чем дело стало? Я хочу уехать проветриться. Надо все кончить, чтобы дело не стояло, а шло.

Прилагаю Вам листок с переменою заглавия. Пожалуйста, прикажите его подклеить к экземпляру повести. Объявлять ее надо под *этим* заглавием: «Гора». Репин это знает.

Преданный Вам

Н. Лесков.

В. А. Гольцеву

5 сентября 1889 г., Петербург.

Простите меня, достолюбезный друг, что я, против своего обыкновения, замедлил ответом на письмо Ваше. Я хотел бы благодарить всех Вас за Ваше доброе ко мне отношение, но подоспела досада, которая не дает мне духа, чтобы говорить о чем бы то ни было весело и пространно: благодетельное учреждение арестовало VI том собрания моих сочинений, состоящий из вещей, которые все были в печати. Это том в 51 лист. Вы можете представить состояние моего духа и за это простить мне мое молчание. Я очень Вам благодарен и буду ждать личного с Вами свидания. Уезжать теперь некогда и не до разъездов. Какое терпение надо нашему бедному человеку!

Искренно Вас любящий

Н. Лесков.

Пожалуйста, скажите мой поклон Вуколу Михайловичу и Ремезову. — В статье (его) очень много дельного, а еще более мне милого и утешительного.

В. А. Гольцеву

5 октября 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Виктор Александрович!

Вчера получил от Вас письмо, которое Вы написали мне, «переговорив с своими коллегами», результатом чего вышла прибавка в расчете за «Аскалонского злодея». По правде сказать, Вы поступили и справедливо и дружески. «Аскалонский злодей» теперь перед Вами, и Вы можете убедиться, чего мне стоит вещь даже после того, когда она принята от меня редакцией, так что я мог бы о ней уже и не беспокоиться. Очень ценю Ваше дружеское участие и очень благодарен Лаврову. Прошу Вас сказать ему об этом и поблагодарить от меня. «Злодей», по моему мнению, лучше «Зенона», хотя они оба сильны в своем роде. Кстати прибавлю, что «Зенон» под иным заглавием пропущен к печати предварительной цензурой, весь и без всяких сокращений. Вот что делается в нашем благоустроенном государстве!.. В VI томе «толстопузые», говорят, все измарали, — даже «Захудалый род», печатавшийся у Каткова в «Русск<ом> вестнике».

Ваш *Н. Лесков*.

А. С. Суворину

9 октября 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

По обстоятельствам, касающимся издания, с которым надо предпринять что-либо решительное, я чувствую надобность с Вами видеться и говорить. Но я так болен, что Бертенсон безусловно запрещает мне всходить на лестницы и чем бы то ни было волноваться (у меня грудная жаба). При всем этом дело столь серьезно, что я хочу быть у Вас, несмотря на воспрещение врача, и прошу Вас назначить мне день и час, когда Вы можете уделить мне 10–20 мин. времени для делового переговора, без посторонних или при Алексее Петровиче.

Прошу Вас оказать снисхождение моему болезненному состоянию и устроить это свидание в эти же дни, когда я чувствую себя немножко полегче.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

В. А. Гольцеву

12 октября 1889 г., Петербург.

Любезный друг, кум и благодетель!

Посылаю Вам стихотворение Фофанова, которое висело у меня, прикрепленное на стенке над рабочим столом. Оно написано не одному Салтыкову, а вообще «отошедшим», и появилось в печати после смерти Андрея Алекс<андровича> Краевского. Мне оно очень нравится…

О происшествии с «Зеноном» я сказал Суворину, который возмутился этим и хотел говорить с «важным приставом».

О VI томе все еще нет официального ответа. VII готов. Здоровье плохо, но духом бодрюсь, а Вы же о господе превозмогайте, и мир божий да живет в сердцах Ваших. Смирения же нашего не испытуйте.

Старец ересиарх *Николай*.

А. С. Суворину

13 октября 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

Больше всего оживляет меня Ваше участие. Его я не забуду и за него благодарю. А что выйдет, — к тому отношусь спокойно и ничего хорошего не жду. Эти люди и злы, и подлы, и без вкуса. Я не схожусь с Вами во взгляде на них и очень боюсь, что я их понимаю верно. Но будем делать, что можно. Останавливаться нельзя, а, напротив, надо поспешать — дать в этом году еще два другие тома, VII и VIII. Седьмой уже готов, а VIII Неупокоев видит возможность выпустить к декабрю, но ему нужно для этого Ваше приказание. Прошу Вас об этом, ибо это нужно, так как условлено с подписчиками, что на 1890 год останутся только три тома (в нынешних обстоятельствах это будут IX, X и VI). Иначе мы явимся не устоявшими в своем обещании, а это дурно влияет на публику. Будьте милостивы: повелите, чтобы VIII том немедленно начинали.

И еще: в виду заходивших толков о пропуске «Зенона», вырезанного в ноябре 1888 года из «Русской мысли», позвольте напечатать в газете

прилагаемое известьице, которое имеет целью закрепить или фиксировать ходящие толки в их настоящем характере. Не откажите мне в этом. Маленькая реклама «Живописному обозрению», мне кажется, для «Нов<ого> вр<емени>» ничего не значит.

Преданный Вам

Н. Лесков.

В. М. Лаврову

14 октября 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Вукол Михайлович!

Усердно прошу Вас переменить эпиграф у «Аскалонского злодея». Вместо тяжелых и малопонятных немецких строф прошу Вас поставить две выписочки по-русски из Лукреция и из Ломброзо. Пожалуйста, не упустите сделать это и обратите внимание на корректуру.

Листок с новыми эпиграфами здесь прилагается.

Преданный Вам

Н. Лесков.

А. С. Суворину

20 октября 1889 г., Петербург.

А. Д. Неупокоев был у меня вчера вечером и передал мне, чту Вы написали на мбрже обложки VII тома. Я ему ответил, что это хорошо и что пусть так и будет. Вообще я на все согласен, как Вы хотите. Я не думаю, чтобы вышло много хорошего, но разделяю Ваше мнение, что после известного Вам разговора — лучше помолчать. Того же самого буду держаться и я. — О заметке в «Петербургском листке» я узнал только вчера, и то благодаря Гайдебурову, который прислал мне эту вырезку. Я так болен, что мне все это сделалось как чужое. Я очень благодарю Вас за обещание защищать меня от обиды. Это мне очень полезно и делает честь Вашему сердцу. Просить за себя очень тяжело и иногда вовсе непосильно, но заступиться за другого — иное дело. От этого человек с справедливостью в душе не станет удаляться. — На большое письмо Ваше я мог бы ответить Вам многое и, может быть, показал бы, что Вы не во всем правы, но думаю — для чего это делать? Что Вам многое не нравится в том, что я написал, — нет ничего странного. Я писал 30 лет и, вероятно,

написал много дурного. Люди, гораздо более меня одаренные, и те недовольны собою, и я собою очень недоволен. Много дурного. Но напоминать мне об этом часто, и в то время, когда печатается издание и претерпевает препятствия, а я болен болезнью, которая, вероятно, не пройдет, — это мне кажется напрасно, жестоко и некстати… По-моему, это все равно что позвать человека к своему хлебу-соли и попрекать его или сказать: «Сядь ты где-нибудь так, чтобы я тебя не видел: я ведь едва сношу твое присутствие». Раздражение, которое Вы обнаруживаете, очень подобно этому, и я решительно не могу придумать ничего для того, чтобы дело шло иначе. Знаю одно, что я тут ни в чем не виноват. Укор Ваш за мое слово о «небоязни» признаю справедливым: я сказал сгоряча и не обдумавшись: я боюсь иметь боязнь. Писавши Вам, я позволил себе сказать так о равнодушии к утратам и разорению. Рисоваться мне этим не для чего. Я всегда работаю усердно, и много у меня отнимают: я стараюсь переносить это по возможности спокойно. Иначе было бы еще хуже, чем есть. Я много видел злого и привык к этому. Я думаю, что это довольно просто. Что есть «бог» во всю его величину — это нам непонятно, «ибо длиннее земли мера его», но что он есть про

мою нужду — это мне ясно и понятно. Все это я как-то упомянул по порыву душевному, но, конечно, без всякого желания сказать Вам что-либо досаждающее. Я всегда стараюсь избегать этого со всеми людьми. Для чего же Вы сердитесь? Мы одинаково пожили на веку и мнений друг друга изменять не можем. Разве за это можно уязвлять человека?.. Что такое Добродеев и при чем он? Разве я не знаю, чту он и чту Суворин? Я только тогда и увидал Д-ва, когда Шеллер привез его ко мне заплатить мне деньги. Ранее я его и не знал и думаю, что значение таких людей в журналистике столь скромно, что о них говорить и не говорить — это все равно. Если бы Вы сами не сказали мне (у меня), что «об этом стоило бы заявить», — я не послал бы Вам и заметки. Послал потому, что Вы говорили. Вы передумали, — и то хорошо, и я даже рад, что Вы передумали и что заметка не напечатана. В чем же тут досада, обида, раздражение? Как Вы можете это включать в «мелочи своей архиерейской жизни»?! Я считаю эти вещи за простые предположения сделать так или иначе и повторяю, что Вы сделали хорошо. — Затем ничего больше не скажу, кроме того, что мне очень тяжело видеть раздражение во всех Ваших ко мне отношениях и что постоянство Ваше в

этом настроении меня не обижает, но огорчает: я не хочу давать Вам лишнего повода смущать покой Вашей больной и самоистязующей души. Я все 30 лет дорожил миром и приязнью с Вами и никогда не искал от этого никакой корысти. Вы это знаете. Я ничего себе не выкраивал. Я помню две минуты в нашей жизни, когда мы пошли друг к другу… Вероятно, мы тогда не думали, что мы дурные, жестокие люди. Поэтому только я и не верю, когда мне говорят, что Вы меня «совсем не знаете». А поверить бы следовало и можно.

Ваш *Н. Лесков*.

С. Н. Терпигореву

21 октября 1889 г., Петербург.

Во всех хитростех благоискусному и любвеобильному брату нашему, исподинготу же Сергию, чищебнику же тамбовскому и Козловскому и всея Русии пустобреху

Радоватися!

И шлем есьми твоему незлобию и братолюбию от своего недостоинства низкий поклон и благодарение, еже не возгнушался еси худости нашея и безумия же нашего не отринул еси. А быть к тому делу немощны, занеже нам на больших людях трудно, многих ради недостоинств наших. И тое нашу вину просим обычным твоим братолюбием покрыть и поносити нас токмо в меру своего усердия. Знатно бо нам стало, что к твоему утробию будут важные сочинители и скорописцы, с ними же нашему смирению во едину стать сести и беседовати вровнях за дерзновенное почитаем и того ради усердное шлем моление, — о великий в хитростех брате, прелукавая глава, отче Сергие, — имей ны яко же отреченны.

Смиренный ересиарх *Николай.*

А. С. Суворину

7 декабря 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

Вчера был у меня по делу издания метранпаж Демьянов и сказывал, будто Вы желали поговорить со мною о VI томе — «не сделать ли его X». Так ли это или нет? Я теперь могу прийти к Вам, но не хочу беспокоить Вас без надобности. — VI том делать X очень трудно и, по-моему, не нужно. В этом я не вижу никакой выгоды ни для нас, ни для подписчиков. Можем ждать их «волокиты» до выпуска IX тома. Тогда только наступит пора безотложного решения с распределением материала на X том. В крайности я все-таки не буду совать вещей очень слабых, а напишу лучше для X тома статью «О себе самом» — по существу, мои литературные воспоминания, которые могут быть интересны и могут вызвать толки. Такую статью меня вызывает написать «Deutsche Rundschau»,[33] которую заинтересовали некоторые сообщенные ей переводы. Мне все равно надо се написать. С нее и сделают перевод. А пока,

---

[33] Примечания: 33

«Немецкое обозрение» (*нем.*).

мне кажется, нам надо позаботиться только о том, чтобы подписчики наши получили в этом (<1>889) году три тома, то есть V, VII и VIII, который теперь печатается (не допечатано 9 лист.). Окажите мне доброжелательство, — прикажите, чтобы VIII том непременно был выпущен до нового года. — Тогда мы будем исправлены в своих обязательствах и выжидание будет для нас удобно и, может быть, небезвыгодно.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Если Вы действительно желаете переговорить со мною, то черкните, когда зайти к Вам; а то придешь не вовремя. — Вы сердитый, а я больной, и ничего у нас хорошего не выходит. А поговорить и мне надо.

В. М. Лаврову

7 декабря 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Вукол Михайлович!

Получил от Вас депешу о стихотворении Велички и писемце с вырезкою из «Русск<их> вед<омос>тей». О депеше говорить нечего: «на вкус товарищей нет». Нынче все очень спешат и не отделывают работ и тем себе много вредят. Я это им всегда говорю, но моим речам мало верят и вовсе их не слушаются. — В «Русских ведомостях» кто-то уж слишком добр и ко мне снисходителен. «Аск<алонского> злодея» надо было еще потомить в горшке, и он бы упрел лучше. Теперь изо всего моего прологового запаса остается одна легенда — всех лучшая, это «Оскорбленная Нэтэта» (по Прологу и по Иосифу Флавию). Сюжет живой, пестрый, страстный и нежный. Не знаю, как выйдет в деле. Есть жрецы Изиды, римляне, и боги (переодетые волокиты), и муж, и костер, и «оскорбленная Нэтэта» — словом, целая опера или балет, но это все еще «в голове», хотя я, однако, мог бы, кажется, написать ее к февралю 1890 года. — Об этой работе я говорил бы с Вами увереннее и охотнее, но Вы приступаете ко мне

с требованиями романа, и приступаете «круто и узловато»... Тут иной разговор и не в одно слово. Роман написан, как Вы видели, только *начерно*. Положим, что и в таком положении романы печатают. Печатают их даже когда они еще только *пишутся*... Примеров таких много. И я так печатал «Некуда» в «Библиотеке для чтения» и «На ножах» в «Русск<ом> в<естни>ке» у Каткова, но для этого требуется большое доверие со стороны редакции как к силам, так и к аккуратности автора. Имеете ли Вы ко мне такое доверие? Это надо знать, а знавши, надо подумавши принять такую обязанность. Могут случиться перерывы, но это ничего — беда небольшая. Я успею отделывать и переписывать, но все это будет уже некоторая спешность — чего я не люблю. Я еще очень слаб после тяжелой моей болезни. Роман я перечитал и хотел бы удержать его у себя еще с год. Это я и решился вчера написать Вам, думая лучше так разрубить нить, чем ее тянуть. Письмо Ваше изменило мое решение: я стал думать, что поступлю не дружески и не товарищески. Теперь я признаю за лучшее пройти пером первую, переписанную набело часть и пошлю ее Вам с тем уговором, чтобы между нами не было никакого стеснения: понравится — печатайте, — я буду

готовить далее, а не понравится — возвратите, и я об этом нимало не потужу, и тени гримасы с моей стороны не будет. Я его с удовольствием буду отделывать на свободе. Сюжет чисто любовный и чем далее, тем интереснее, но он *прихотлив* и довольно необыкновенен, хотя это все с настоящих людей и событий. Если начнете печатать, — далее верьте мне, как верили Катков и Боборыкин. Другого исхода нет. — Кажется, я Вам пишу ясно, открыто и дружески. Прошу Вас посоветоваться с «братиею» и отвечать мне так же просто, ясно, и чтобы все между нами шло дружно и хорошо. Я буду ждать ответа скорого.

Ваш *Н. Лесков*.

В. М. Лаврову

***Ночь*на 8 декабря 1889 г., Петербург.**

Я претерпеваю несносное давление с романом. Его просит и Цертелев. Мучение! — Пошлю все-таки Вам, но давайте ответ скоро — в три дня. Мне не миновать его отдать теперь. По-видимому, я справлюсь, хотя с трудом. Рискую один я, а не редакция. Он читаться будет, хотя меня, может быть, не будет удовлетворять. Пошлю первую ч<асть> 14 декабря. Ее можно разделить надвое — на 14 глав, но лучше печатать целую. — Ц. предлагает мне 300 руб. за лист. «Родина» тоже. Вы что скажете? Пожалуйста, пишите скорее и откровенно. Меня все это мучает. Я не могу нахваливать романа и не могу просить Вас мне верить, но поступаю по-товарищески. До 14-го есть время переписаться.

Ваш *Н. Л.*

А. С. Суворину

9 декабря 1889 г., Петербург.

Очень рад, Алексей Сергеевич, что мы смотрим на вопрос о VI т<оме> одинаково. Как бы дело ни пошло, — мы, во всяком случае, от выжидания ничего не потеряем. К Вам я зайду на сих днях. Жалею, что Вы вечерами сердиты и надо говорить с Вами утром, когда нет возможности говорить. И зачем это Вы выбрали по вечерам сердиться? Вечер — это самое благобеседное время, а Вы его дарите гневу… Не во гнев милости Вашей молвить, — в наши годы надо «сдабриваться»: в этом возрасте «ласка души красит лицо человека». Я всегда сожалею, когда слышу о вашей сердитости. Что это такое, чтоб люди нас боялись, как беды какой? Как это себе устроить и для чего? А ведь Вы не можете же не чувствовать, что люди Вас боятся и оберегаются… «Конкуренции» в совпадении сюжета Вашего рассказа с «Аскал<онским> злодеем» не боюсь, во-первых, потому, что мой рассказ вышел и я деньги получил, во-вторых, потому, что я нимало не ревнив к своим работам, в-третьих, потому, что наши дарования очень разнородны и мы можем писать сряду и не по-

вторим друг друга, а еще, наконец, — мне Ваши дарования нравятся более, чем мои, и я люблю читать Ваши писания. Хорошо было недавно о женщинах, но еще лучше Буренин о Пыпине. Вот как надо писать, чтобы учить публику верному пониманию, но зачем это так редко и зачем в конце про жидов посажено ни к селу ни к городу?.. Зачем Вы не приняли Черткова и отчего не хотите напечатать перевод Л. Н. Т. «Суратская кофейня»? Ведь это и любопытно, и умно, и цензурно.

Пожалуйста, не рассердитесь, что я говорю с Вами о сердитости. Мне кажется, с нею очень беспокойно. С С. Н. Шубинским мы сердечно помирились, и я этому рад, потому что я люблю в нем многое хорошее, чего нет в очень многих. — В 1890 году мне и Вам одновременно истекает 30 лет писательства… Длинный срок! Как бы Вас почествовать? Я должен умереть в 1889 году или в 1892. Есть такое показание. В 1889 было близко у этого, но, верно, отсрочено до 1892.

«Аск<алонский> злодей» окончен игрушечным образом. Я это знаю и знаю то, как бы надо было это разрешить в связи с житейской правдой: но Ключевский очень одобряет мой домысел и находит, что это «сделано в духе того времени». Это очень трудная и копотливая работа: я рад, что

Вы ее теперь сами испытываете. Возьмите-ка вот за нее по пятиалтыннику за строчку, когда тут что ни слово, то чтение да розыски. Тут сколько с вас ни возьми, — все «себе дороже стоит». — Пишешь это, будто как Паганини иногда играл: «для кого-то одного в партере». Я очень жду, чту Вы напишете: это не шутка, — это трудно. А я в романе (который, собственно, скорее ряд картин, а не роман) сбился на тему «Татьяны Репиной».

Л. Н. отдал «Крейцерову сонату» не в «Русское богатство» и не в «Неделю», а в сборник, предпринимаемый в пользу бедствующего семейства покойного Сергея Андреевича Юрьева. Перепечатывать имеют право все… Ну, а если до истечения 10 лет право собственности перейдет к наследникам, и они «взочнут иск»?..

Н. Лесков.

А. С. Суворину

***Ночь* на 10 декабря 1889 г., Петербург.**

Простите, что не сейчас Вам ответил. Письмо принесли при людях, и весь день всё люди. Черткова зовут Владимир Григорьевич (СПб., Выборгская стор., Ломанов переулок, дом Пашкова). — Человек он искренний, тихий, но очень сильного и твердого характера, — немножко фанатик. Личность очень достойная.

О «Кофейне» я, верно, напутал. Ч — ков говорил мне, что он «завозил» Вам этот перевод (из Б. Сент-Пьера), с тем чтобы Вы напечатали его в фельетоне, и спрашивал: как я думаю, напечатаете Вы или нет, «хоть без имени Толстого»? Я понял так, что перевод им оставлен у Вас, а теперь вижу, что, вероятно, Ч — ков держит его у себя до личного с Вами свидания. Эта вещица — рассуждение о понимании божественной, творческой сущности. Оно очень любопытно и живо и, по-моему, — совершенно цензурно. — Покоя в Вашем положении быть не может, — это правда, но пишете Вы все-таки очень хорошо — сильно, образно и горячо. Рассказ лучше кончить «грехом». Это статочнее, но я ведь держался

жанра и потому написал ближе к той развязке, какую дал Пролог. Писать эти истории очень трудно, но занимательно. Очень рад был бы, если бы Вы позвали меня прослушать рассказ, когда он будет написан. Я иногда бываю не бесполезным слушателем.

Преданный Вам

Н. Лесков.

P. S. Слыхали ли Вы, будто в Ак<адемии> худож<еств> открыто гнездо «юферастии»?.. Какова мерзость!.. А по компании судя, — дело подозрительное.

В. М. Лаврову

***Ночь*на 15 декабря 1889 г., Петербург.**

Простите меня, отцы и братия: еще обману Вас на одни сутки. Сижу за рукописью не покладая рук, а работа вырастает, и ее оборвать невозможно. Готовясь печатать недосмотренное в рукописи, надо все стараться установить на место в первой части, чтобы не искать нитей после. У меня останутся недоправленными две последние главы, но самые для меня мучительные. О нездоровии своем я уже не говорю. Работа и забота о романе меня поглощает и заставляет забыть о себе. Роман начинает меня удовлетворять. Твердо уповаю, что 16-го, в субботу, я Вам первую часть вышлю. Рукопись измарана ужасно, но четко и толково. Читать, может быть, трудно, но в наборе затруднений не должно быть. Объем всего романа представляется мне около 10–12 листов. Название его «Чертовы куклы». Частей будет три или четыре, — наверно еще не распределил. В первой части должно быть листа 3 1/2 или 4. Она самая большая. Разделять его нельзя без ущерба для интереса повествования. Живые лица и имена их маскированы. Положения указаны только

соответственные действительности. Место действия вовсе не названо. Приемы вроде комедии Аристофана «На облаках» или еще ближе — вроде нашего «Пансальвина» или Хемницерова «Кровавого прута», но колорит и типы верные действительности (история Брюллова). Того, кто называется «герцогом», я иногда называю «высочеством», иногда — «светлостью». Теперь мне трудно все это выследить и привести к однообразию. Прошу Вас ставить везде «светлость». Перерыв в феврале необходим. Иначе я не успею в сроки. К июню роман может окончиться. У Вас еще есть роман Виницкой, в котором, говорят, много достоинств, — стало быть, Вам обходиться есть с чем. Перерыв дела не испортит, если роман интересен. Я делаю всё, что может делать человек Вам искренне и доброжелательно преданный.

Н. Лесков.

Корректура будет мне *необходима*. Задержки за нею, по обыкновению, не будет. Так как рукопись должна прийти в Москву в воскресенье, то я ее адресую Вам на квартиру, в Шереметевский переулок. — Всем кланяюсь. Виктора Александровича благодарю за присланную книжку.

А. С. Суворину

25 декабря 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

Я глубоко тронут, потрясен и взволнован припискою, которую Вы сделали под Вашим сегодняшним рассказом. Волнение мешает мне говорить и о самом рассказе и о том, что я чувствую к Вам в эти минуты. Рассказ прелестен и по отношению к «Злодею» стоит как пушка к мортире: «Пушка стреляет сама по себе, а мортира — сама по себе». Я Вам говорил, что Ваши дарования богаче моих, и особенно у Вас есть преизбыток гибкости, которая дает очень милый тон Вашим рассказам. В ней, то есть в этой гибкости, которою с Вами схожа Яковлева (Ланская), заключалась прелесть и привлекательность Ваших фельетонов былого времени. У меня ее нет или очень мало. Я, может быть, слишком торопился «определиться», а Вы легче меня сердцем и характером и сохраняете до сих пор некоторую неопределенность, а через нее и гибкость и живость. Я люблю Ваш талант и очень рад, что говорил об этом прежде этого случая, когда я чувствую себя растроганным Вашим

заступничеством и слова мои могли бы показаться льстивыми. Но я уверен, что Вы знаете, что я не льстец и не искатель. Я благодарю Вас за утешение в ином смысле — не в литературном. Литературное значит меньше, чем жизненное… Я скорбел: как теперь свидеться и заговорить! — а лишить себя этой возможности после 30 лет мне казалось ужасно!.. И именно как раз, как нарочно это в 30-й год… Это было мучительно. Ночь под р<ождество> Христово я читал до двух час<ов> письма Л. Н — ча «к разным лицам», и в том числе несколько раз перечитал письмо его к В<иктору> П<етровичу> по поводу затевавшегося протеста из-за Надсона, протеста, от подписания которого первый отказался я, и как раз по тем же соображениям, как и Толстой. Я же первый отказался и от «Сборников» на памятник Н — ну, и опять мы совершенно совпали в мотивах отказа с Л. Н-чем. Я читал и то, которое послано, и то, которое не было послано и известно только в черняке, и слезы много раз подступали у меня к горлу, и я любил В. П-ча и хотел бы просить и молить его о том же, о чем молил его Толстой… Я не говорю о несправедливости в суждениях, — она, может быть, искрения, но я сожалею о старании «сделать человеку больно». Это, по-моему, ужасно,

и когда это поймешь, то нет сил это переносить. Особенно ужасно «разъединить людей», который уже видят «край жизни и плаванье злое кончают». Я не думал, что в эти же минуты что-нибудь подобное ощущаете и Вы… И подумайте теперь, как я сильно осчастливен Вами, и поверьте моей сердечной Вам благодарности.

Ваш *Н. Лесков*.

О значении Прологов надо бы потверже сказать. Пролога не священная и даже не церковная книга, а отреченная, так сказать «отставная». Притом там не все говорится о подвижниках, а часто подвижники говорят о «прилогах», то есть о случаях им известных, по-нашему — рассказывают друг другу анекдоты… Разве это все свято и составляет «табу»? И разве я передаю Пролог? Вы правильно сказали: мы берем одни «темы». И разве христианке было логично идти по желанию мужа на чужое ложе? Нет, — а язычнице это было логично, и она могла об этом рассуждать, а не прямо отбросить это по Павлу («Муж не властен в теле жены»). Вот почему я оставил ее язычницею, с целомудренной натурою. Но все дело не в том, а зачем было усилие вредить мне, — «делать больно», — может быть, подложить дров в огонь костра, приготовленного для VI тома, что мне

наносит тяжкий вред?.. Я не питаю к В. П. ни малейшей злобы и досады и сожалею о том, если я чем-нибудь мог вызвать в нем такое сильное раздражение. Во всяком случае, умышленно — я ничего такою не сделал, да, кажется, и неумышленно не сделал.

«Данило» разрешен для народных книжек!.. Вот и уразумейте цензуру. И «Фигура» тоже. Этого я уж совсем не понимаю. Посылаю их Вам.

А. С. Суворину

31 декабря 1889 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

По радушному зову Вашему полагал у Вас встретить Новый год, но внезапно последовал наезд родственников из Киева, и все дело смешалось: чтобы не огорчить их надо встречать год «в родственном кружке». Простите мне, что не могу быть у Вас, не припишите это ничему иному, кроме причины мною объясняемой, и примите мой заочный привет, с желанием вам всего доброго и успокоительного, ибо, по-моему, нет уже ничего дороже покоя, дарующего возможность «единобеседования с самим собою». У Вас же, — Вы говорите, и это очевидно, — в этом только и недостаток.

О том, что пишете, — что «воздерживаешься от бранных слов, да вдруг и разбранишься», — это правда. «Мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет». Ну, а все-таки год-то он прожил трезво, а то бы и года не жил. Себя совсем переделать, может быть, и нельзя, но несомненно, что намерения производят решимость, а от решимости усилия, а от усилия привычка, и

так образуется то, что называют «поведением». Припомните-ка каков был Л. Н — ч, и сравните — каков он нынче!.. все это сделано усилиями над собою и не без промахов и «возвратов на своя блевотины». Об этом нечто известно многим, да и сам он в одном письме пишет: «Только думаешь, что понравился, как глядишь, и готов, — опять не „понравился“», — то… каков бы он был с этим страстным и гневливым лицом?.. А он себя переделал и, конечно, стал всем милее и самому себе приятнее. Неужели это такая малость, что из-за нее не стоит и пытаться себя сдерживать? Я с этим не согласен и хоть часто бываю «в яме», но хочу по возможности из нее выбиваться. Л. Н. как-то говорил, что «никогда не надо оправдываться и возражать». Как я теперь понимаю — это самая очевидная правда, и в нашем положении она нам многих истин дороже, потому что для нас это первая ступень, с которой надо начинать вылезать из «ямы». И это кажется не так трудно. Гете же писал, что он может молчать, «хоть бы его укоряли в воровстве серебряных ложек», а теперь взгляд на обязанности человека и на его достоинство еще благоприятнее молчанию, чем во время Гете. Я поступил дурно — составил заметку, без которой очень мог бы обходиться, — это подлило

масла в плошку, и началось горение… человеку стало неприятно: «чего это он не вертится!.. Дайкась, мол, я его…» Да с приговоркою: «не ходи вдоль лавки, не гляди в окно!..» и получилась во всяком разе неприятная и никому ни на что не нужная история, а виноват в ней всех больше я. Я на подал причины, но подал повод. Теперь мне это ясно, и я на себя очень недоволен. Желаю себе на Новый год, чтобы никогда подобного не повторять. — Что о былинах пишете — это правильно, но чту об этом говорить — только муть разводить. Л. Н. поступал с Прологами и с легендой Афанасьева «Родила баба двойню» так же, как и мы. В афанасьевской легенде нет почти ничего того, что написано в сказке «Чем люди живы»: ни сапожника, ни дратвы, ни барина с крепким лбом. Но, повторяю, — лучше обо всем этом замолчать и не спорить. — Подписка у нас на Собрание очень недурна. Почали новую книжку билетов. Можно полагать, что имеем подписчиков около 600. По первоначальной смете это было близко к тому, чтобы издание окупилось. Уповаю, что оно окупится, и благодарю Вас за оказанное вами доверие. — портрет мой вышел никуда не годный, — похож более всего на «Аскалонского злодея», и его приложить невозможно. Вчера

послал заказ Брокгаузу и думаю, что это будет вернее и даже дешевле. Ваш портрет очень хорош. Я ожидаю себе обещанный Вами экземпляр.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Письма 1890 года

С. П. Шубинскому

16 января 1890 г., Петербург.

Достоуважаемый Сергей Николаевич!

Простите, что я замедлил отвечать Вам о Трубачеве. Дать экземпляр не штука — особенно человеку, которого Вы рекомендуете, но у меня уже разобрали довольно этих экземпляров, и никто не напечатал статей, кроме «Киевлянина». Взяли экземпляры Михневич, Арс. Введенский и Бибиков, — последний прямо с целью составить и предложить Вам мой «исторически-литературный портрет», как это делают нынче французы. Не сделали все эти господа ничего, а экземпляр стоит 20 рублей… Я хотел узнать от них: нет ли у них чего-либо уже готового. Арс. Введенский сказал, что он будет рад поместить у Вас статью в лист. Что Вы на это скажете? Если же он Вам удобен менее, чем Трубачев, то, пожалуйста, возьмите у Зандрока билет Трубачеву.

Преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

<Январь 1890 г.>

От А. И. Введенского ответа нет. Согласны ли Вы будете доверить очерк Петру Васильевичу Быкову, основательности которого надо отдать все преимущества, особенно в историческом отношении, так как он составил всю мою библиографию? Лучше его никто не знает истории моих работ, и я рад бы был видеть очерк, написанный Быковым. Он на это согласен. Пригласите его к себе (адрес: Угол Коломенской и Кузнечного, 1/15, кв. 17).

Н. Лесков.

В. М. Лаврову

13 марта 1890 г., Петербург.

Достоуважаемый Вукол Михайлович.

Так сильно я виноват перед Вами, что не знаю, как и оправдываться и каяться. На первое Ваше письмо я ежедневно собирался Вам отвечать и не отвечал, потому что болезнь и досаждения по поводу VI тома моих сочинений совсем меня расстроили до того, что я не был в состоянии ничего определить. Я весь изнервничался. Теперь вчера дело решено без всякого решения: никакой развязки не будет, и том останется под арестом без объяснений… Значит, 3 тыс. руб. пропало, и делай что хочешь. Вот под какими порядками приходится жить и еще работать самую нежную и нервную работу. Отсюда можете себе представить мое душевное состояние и в нем найдете извинение моей отупелости и неподвижности, вообще не свойственной и даже глубоко противной моему характеру. Наглая мерзость значительной подлости меня не побеждает, но исполняет равнодушием ко всему окружающему — к себе самому и к любимому делу. В таком состоянии мне было тяжело написать Вам даже

несколько строк, и теперь тяжело, но, однако, я себя преодолеваю и пишу.

«Рассказ кстати»: по поводу «Крейцеровой сонаты» я начал и половину написал, но тут подошли неприятности, и работа выпала из рук. Завтра же примусь за нее снова, и о том, как пойдет дело, через неделю Вам напишу. Напишу и новые соображения о «Ч<ертовых> куклах», которые здесь очень нравятся и всех интересуют. Кажется, их можно будет продолжать.

Н. Лесков.

Всем кланяюсь.

А. С. Суворину

13 апреля 1890 г., Петербург.

Я прочитал Ваш сегодняшний фельетон. Он мне очень нравится, за исключением одного небольшого места в первом столбце. Почему это Вам «тоже не по душе» работа по евангелиям? Я думаю — это просто так сказано… Или, может быть, это не «не по душе», а не по вкусу… Ваша душа очень много лучше, чем Вы о ней думаете, — это по ней, ее надо жалеть и уважать за то, что Вы ей подваливаете под ноги и что она «яко добр жернов вся претирает». Толстой делает именно то, что теперь назрело: без веры жить нельзя, а верить в пошлости тоже нельзя. Очеловечить евангельское учение — это задача самая благородная и вполне своевременная. «Не по душе» она только «торгующим благодатию», но Вам это говорить не пристало. Так мне это чувствуется. Я за Вашу душу, которая напрасно Вами оклеветана. «Душа по природе христианка» (Тертулиан).

Приходил благоприятель, нюхающийся с монахами, и сообщил, что старший из духовных цензоров был на днях у Лампадоносцева, и тот не утерпел и спросил его в разговоре:

«Не являлся ли к Вам Л<еско>в?»

Монах испугался и стал уверять, что он со мною «не знаком».

«Я спрашиваю: не приходил ли он просить о… своих сочинениях?»

«Нет, — отвечал монах, — да мы и ничего не можем сделать, потому что всё запретили по определению».

«Ну, конечно», — отвечал Пбц. (Победоносцев) — и тем кончился разговор, который вполне достоверен и достаточен для того, чтобы показать тон, данный тем, к кому я должен бы «явиться» и просить невесть о чем и выслушивать все, что вздумает сказать подлый и пошлый человек, стоящий на высоте бесправия.

Печатаем том X. — Выпустим его в мае и затем станем подпечатывать том VI (с 16-го листа). Когда подпечатка будет готова (примерно к августу), тогда попросим запечатанный том распечатать; к 10-ти начальным листам присоединим то, что вновь подпечатаем, а отрезок (25 листов), — чтобы опять запечатали и отдали на хранение, как это делается, — на неопределенное время. Пусть пройдет 5– 10 лет, и «Мелочи арх<иерейской> жизни» все-таки будут стоить по 1 руб. за экземпляр (2 500 руб.). Поэтому их стоит сберечь.

Где?

Обыкновенно вырезки оставляют в той же типографии, где печаталось. Это так делается, но П. П. Коломнин этого не хочет; а я не хочу на него ни роптать, ни жаловаться и могу представить лицо, которое возьмет листы к себе и под свою расписку… Это не трудно, но трудно поверить, что Вы (Ваша душа) позволите, чтобы к числу моих обид прибавилась еще одна, исходящая от Вашего имени, — чтобы меня гоняли с этими листами по городу и заставляли просить Вольфа превосходить Вас в снисходительности и деликатности к товарищу… Я не хочу и не могу этому поверить до тех пор, пока услышу это от Вас самих. — Я Вас прошу, любезный друг и товарищ Алексей Сергеевич, повелеть Н. Ф. Зандроку, чтобы отрезки VI тома были приняты на хранение в кладовую, пока время изменит обстоятельства. Стыдно мне просить об этом другого человека!

Преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

2 мая 1890 г., Петербург.

Достоуважаемый Сергей Николаевич!

Я прочел статью Арсения Иван<овича> Введенского в майской книжке «Исторического> в<естника>» и глубоко благодарен за нее и автору и Вам. Статья эта вполне справедлива, умна, благородна и благожелательна, а притом она строга и требовательна и не льстива — что мне особенно дорого и приятно. Это первая статья, которую я прочел о себе, чувствуя в критике настоящую честность, искренность и ясное понимание. Я очень счастлив, что дожил до удовольствия прочесть о себе мнение человека искреннего и понимающего дело. Что он ставит мне в укор, то все правильно заслуживает замечания и укоризны, и он обидел бы меня, если бы отнесся ко мне снисходительнее. Словом: я очень рад, что Вы остановились на этой статье Введенского, и прошу Вас принять от меня глубокую за нее благодарность.

Ваш *Н. Лесков.*

П. И. Вешбергу

11 мая 1890 г., Петербург.

Достоуважаемый Петр Исаевич!

На почтенное письмо Ваше, в котором Вы спрашиваете моего мнения о том, чту бы Вам взять в «Славянский сборник» из моих сочинений, откровенно и чистосердечно говоря, я думаю, что лучше бы всего совсем ничего не брать, так как я не только не партизан славянофильского настроения, но даже просто не люблю его. Но мешать Вашему намерению цитировать не могу и не усиливаюсь к этому. Скажу одно, что «Соборяне» уже трепаны и перетрепаны, и я не стал бы еще раз их трепать. Притом же Туберозов едва ли был в «природе», — он не более как «плод моего воображения». Я бы на Вашем месте и для Ваших целей взял бы или «Пигмея», или «Однодума», или «Боброва» (из «Кадетского монастыря»). Все эти очерки есть в I томе Собрания и отдельно в «Трех праведниках». Вы их всегда легко достанете на просмотр.

Достопримечательности моей жизни заключаются в том, что я родился 4 февраля 1831 года, Орловской губернии и уезда в селе Горохове;

происхожу из дворян Орловской же губернии; воспитывался в Орловской губернской гимназии; служил в гражданской службе очень мало и увлечен в литературу Громекою в 1860 году. В литературе был постоянно руган. Впрочем, подробности обо мне собирал П. В. Быков для статьи, которая, кажется, должна появиться в следующем № «Иллюстрации». Я к этому ничего прибавить не могу. Быков знает об этом больше чем я сам помню.

Преданный Вам

Н. Лесков.

А. С. Суворину

11 мая 1890 г., Петербург.

В сегодняшнем фельетоне Вы едва ли были справедливы. Разве Лейкин не выразил жизни рыночного быта и мастеровщины? Разве Атава не выразил дворянского рассеяния и «оскудения»? Мельников не воспроизвел быта раскола и старовериа, и я, хотя слабо, не передавал духовенства, богомолов и нигилистов?.. Пусть мы это делали хуже, чем Григорович, но, однако же, все-таки делали, — и многим казалось, что мы делали это с хорошим знанием описываемой среды. Вы или увлеклись и ошиблись, или же не хотели быть беспристрастным. Лейкин, Атава и Мельников всегда останутся хорошими знатоками и описателями занимавшей их группы русских людей.

Ваш *Н. Лесков.*

С. Н. Шубинскому

2 июня 1800 г., Нарва.

Получил июньскую книжку «Историч<еского> вестника» и прочел отзыв Трубачева о «Горе». Покорно Вас благодарю за внимание и за ласку. Трубачев очень добр ко мне, но он не сказал мне лести и не оскорбил истины:

«Гора» требовала труда чрезвычайно большого. Это можно делать только «по любви к искусству» и по уверенности, что делаешь что-то на пользу людям, усиливаясь подавить в них инстинкты грубости и ободрить дух их к перенесению испытаний и незаслуженных обид. «Гора» столько раз переписана, что я и счет тому позабыл, и потому это верно, что стиль местами достигает «музыки». Я это знал, и это правда, и Трубачеву делает честь, что же заметил эту «музыкальность языка». Лести тут нет: я добивался «музыкальности», которая идет этому сюжету как речитатив. (То же есть в «Памфалоне», только никто этого не заметил; а меж тем там можно скандировать и читать с каденцией целые страницы. Мне самому стыдно было на это указывать, а старшие этого не раскутали… А Трубачев это уловил… Это ему делает

честь перед старшими.) Очень буду рад, если Тр. попомнит урок, полученный им от Скоробрешки, и освободится от льстивости и искательности. Он умеет читать, — это уже кое-что обещает.

Прочел еще Сатина… Хорошо! Особенно низ 590 стр. Велят «отступать», то есть перестать драться, убивать и отнимать чужое, а он прется и лезет… Этот он-то и служит идеалом юноше и его руководствует… «Вот оно! Вот формула: так и должно быть: человек в бою принадлежит богу». — Чем не философ и не христианин! Положил бы на землю книгу, в которой сказано, что «бога нет в боях», а «бог в мирных почивает», а на эту книгу положил бы головами автора и рядом с ним редактора, да обоих бы и отодрал «во славу бога браней».

Как Вам не стыдно поощрять в молодых людях такие идеи!

И это называется «бог сжалился надо мною — я прозрел»!.. Полез к морде…

Эх, Сергей Николаевич, ей-право стыдно! Бог сжалился и научил драться… Эх, как гадко!.. Неужли Вам не противно?

Дай бог Вам «прозреть».

Любящий Вас

Н. Лесков.

В. М. Лаврову

9 августа 1890 г., Усть-Нарва.

Достоуважаемый Вукол Михайлович!

Я получил здесь, на летнем своем пребывании, Ваше письмо, адресованное в Петербург. Все лето я старался быть в покое, чтобы поправить сколько возможно свое здоровье, и, кажется, немножко поздоровел, но писанием не занимался. Теперь собираюсь 15 августа назад в Петербург (Фурштадтская, 50, кв. 4) и там, вероятно, примусь за какую-нибудь работу. Готового у меня есть только небольшая сказка «О царе Доброхоте и о простоволосой девке». Она величиною в 1 1/2 листа. Тотчас по приезде я ее отдам переписать и пришлю Вам до конца августа; а может быть, и сам лично привезу для того, чтобы поговорить о «Куклах» — как с ними быть, или о другом, что мне хочется сделать. Думаю, что вернее всего я приеду сам. Напишите мне теперь (в П-бург). Застану ли я Вас в Москве во второй половине августа и нужна ли Вам сказка?

Кланяюсь Виктору Александровичу и Митрофану Ниловичу.

Искренно Вас любящий

Н. Лесков.

Д. Н. Цертелеву

20 сентября 1890 г., Петербург.

Достоуважаемый Дмитрий Николаевич!

Мне очень совестно перед Вами за мою неисправность, а она все еще продолжается: я не могу в обещанный срок справиться с «Оскорбленной Нэтэтою». Это очень сложная и трудная вещь, для которой надо много читать и набирать мозаикою. Я болен и устал от работ этого прихотливого рода. О «Нэтэте» могу сказать только, что я ее постараюсь доделать и никому, кроме Вас, не предложу; но я не могу надеяться исполнить это в нынешнем году. Притом же меня оторвало от Прологовых тем нечто текущее и живое: меня интересуют заботы германского императора, которым я глубоко сочувствую, не стесняясь тем, что не ожидаю от них большой пользы в ближайшем будущем; но тем не менее это заботы великого значения, и его «почин дороже денег». Однако же он все-таки теперь ничего не сделает, и, кажется, можно видеть, почему именно он ничего не сделает?

В одной старой книге есть к этому прибаутка, взятая в сборник Л. Н. Толстым. Из этой темы и

затей императора я смазал «Сказку о большом Доброхоте и о простоволосой девке».

Она цензурна, а объем ее около полутора листа. Намек ее сильно маскирован, так что ничего *личного* нет. Она готова и переписана. Не хотите ли Вы ее получить в этом году вместо «Нэтэты», которой я скоро исполнить не могу, да и Вам, в журнальном смысле, «Доброхот» сослужит более службы, чем изнасилованная римлянка III века.

Готовый к услугам

Н. Лесков.

А. И. Фаресову

20 сентября 1880 г., Петербург, *вечером*.

Достоуважаемый Анатолий Иванович!

Получил Вашу записочку и очень Вас благодарю за внимание и за память, но Вы знаете, какое у меня ненадежное здоровье… Я постараюсь быть, но обещаться не смею. Притом же я в разговорах не попадаю нынче в тон господствующих течений, и надо все спорить или делать вид согласия с тем, о чем не хотел бы и слышать, Это требует здоровых нерв, а не моих — сильно подержанных. В субботу были у меня Ясинский и Бибиков. Первый, — продли бог ему веку, — был ко мне снисходителен, но второй не скрывал своих преимуществ в знаниях и литературном понимании и так меня припугнул, что я смирился и умолк, чтобы избегнуть согласия и не подвергаться еще более суровому обращению в собственном доме и при сторонних лицах… Вот ведь к чему ведут в наши дни «общения»… И в своем-то домашнем угле неспокойно, а на люди уж и глаза казать боязно. Ей-право, я не шучу. Что уж тут толковать, когда «иные люди в мир пришли» и идет «их царствие». Мне все кажется, что не о чем уже и

толковать нам — староверам. Всё мы знаем — «на чем висит хвост», и лучше нам сидеть тихо по своим углам и молчать в согласии с тем, что мы почитали за истину; и другой истины не знаем, да, пожалуй, и не хотим.

Как я завидую Шеллеру, что он, при своей верности добрым идеям, может безнаказанно всех этих господ видеть и слышать! — Какое это благополучие! Вчера опять был дебат о Шеллере. Опять злился. А потом о Л. Н. Толстом, что он «едва ли честный человек, а скорее *рекламист*». Тпфу ты, пропасти на них нет! Ну, «камо пойду от лица их и камо бежу?» Не сердитесь, друг любезный, если я не приду: я болен, и мне дорога неприкосновенность всего того, чем я жил и что теперь хотят втоптать в грязь. Заходите лучше ко мне, без счета визитами: мне у себя все-таки смелее. У меня на дому меня, кроме Виктора Ивановича, никто открыто не презирает. — Поклон мой Вашей супруге.

Ваш *Н. Лесков.*

А. К. Шеллеру

26 сентября 1890 г., Петербург.

Уважаемый друг Александр Константинович!

Из готовых и несколько сомнительных вещей у меня есть одна, наименее сомнительная, тщательно сделанная «Сказка о большом Доброхоте». Я ее уже много «присмирял», и присмирил до того, что более уже нельзя. Теперь, мне кажется, она может пройти. Ее я Вам и позволяю себе предложить, с тем условием, чтобы Сергей Емельянович распорядился ее набрать, прислал бы мне корректуру и, по выправке мною корректуры, сделал бы *для меня* два оттиска, а затем особый оттиск послал бы к цензору: но ни в каком случае не посылал бы ему рукопись, десять раз переписанную и опять сильно поправленную. Я полагаю, что Вы и Сергей Емельянович признаете это мое желание справедливым и удобоисполнимым. Обо всем остальном, вероятно, успеем поговорить после того, когда нам станет известно, что сделает цензор.

Искренно Вас уважающий и любящий

Н. Лесков.

P. S. За рукописью можете прислать, когда Вам

угодно, — но только лучше, чтобы она была у меня под рукою до тех пор, пока С. Е. найдет благовременным ее набирать. Пока она у меня, я все-таки от времени до времени к ней возвращаюсь. Она написана довольно трудною манерою и требует ухода в стилистическом отношении.

Д. Н. Цертелеву

12 октября 1890 г., Петербург.

Достоуважаемый Дмитрий Николаевич!

Я получил Ваше письмо о «некоторых словах» и о цензорах, к которым питал и питаю глубокое и искреннее презрение, и говорить о них избегаю. Московские издания, однако, часто приводят меня в соприкосновения, которые мне всегда крайне неприятны. «Слов» нецензурных в сказке моей нет, но, может быть, есть *мысли*, которые не понравятся той или другой цензурной бестии, — этого я не знаю, но на изменение *мыслей* согласиться не могу. Письмо Ваше, к сожалению, очень лаконично и неясно показывает дело. На вопрос в такой форме я отвечать Вам не могу. Потрудитесь приказать сделать набор и пришлите мне *два* экземпляра — один чистый, *сделанный полностью с рукописи,* а другой с обозначением тех изменений или выпусков, которые Вы пожелаете сделать по требованиям цензурных чиновников. Тогда я буду ясно понимать, о чем идет дело, и тотчас же ясно Вам отвечу, и между нами не будет места ни для каких недоразумений. Без этого же я не могу дать Вам ответа и усердно

прошу Вас *прислать мне набор; сделанный полностию с рукописи.* О том, что неотразимо, — я, разумеется, спорить не стану.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

Д. Н. Цертелеву

23 октября 1880 г., Петербург.

Достоуважаемый Дмитрий Николаевич!

Я писал Вам, что не получил второго оттиска сказки. На другой день оттиск этот был получен, и я прошу извинить меня, что побеспокоил Вас неосновательно.

Сегодня отправил Вам заказною бандеролью выправленную корректуру. Она довольно помарана, и Вы мне это не вмените в вину… Я никак не могу воздержать себя от поправок и переделок, пока к тому есть какая-нибудь возможность, а типографский набор почему-то всегда обладает свойством обнаруживать в произведении такие недостатки, которых не замечаешь в рукописи, хотя бы и много раз переписанной. Сказка наша теперь, мне кажется, выиграла в своих литературных качествах, и оттиск, который у меня остался, теперь мне уже не удовлетворяет, и я усердно прошу Вас приказать прислать мне один оттиск сказки по исправлении присланной мною сегодня корректуры. Это уже не для поправок, а для меня самого. Пожалуйста, исполните эту мою просьбу.

Теперь о «Нэтэте», которую мне затерзал Маркс. Ему очень нравится название и фабула, удобная для иллюстрации, и он настойчиво просит снестись с Вами и предложить Вам другую работу вместо «Оскорбленной Нэтэты», а эту дать ему. Я не могу этого сделать без Вашего согласия, так как «Нэтэта» Вам обещана, но Маркс думает, что он может это уладить сношением с Вами через В. П. Клюшникова. Я не знаю, что в этом направлении сделано или еще будет сделано, но, с своей стороны, считаю данное Вам слово для себя обязательным и об этом на всякий случай Вам сообщаю. При этом «Нэтэты» все еще пока нет, а у меня есть вещь готовая и тоже не лишенная художеств<енного> букета, но современная и немножко «направленная» (антиханжеская). Для журнала, по-моему, это лучше небольшого, чисто художествен<ного> очерка. «Злоба дня» всегда найдет более отклика в сердцах читателей, которым ладон и кадило очень начадило. Однако то, о чем я пишу, может быть и не совсем под стать Вашему журналу, а может быть, я и ошибаюсь. Только не подумайте, пожалуйста, что я способен «позволить сманить себя». Если Вы не хотите отступиться от «Нэтэты», то я об этом и говорить не буду.

Ваш покорный слуга
Н. Лесков.

P. S. Моя *готовая* повесть называется «Полунощники» и имеет около 8 листов, — разделять ее нельзя, то есть неудобно.

А. С. Суворину

31 октября 1890 г., Петербург.

Простите мне, старый друг, неосмысленную фразу в спешно написанной к Вам записочке. Конечно, не думаю же я, что, кроме разговора об издании, мне с Вами и говорить не о чем! Это вышло от поспешности и от радости, что насчет издания уже не может быть тягостных для меня переговоров… Я этим досыта намучился и настрадался. Теперь я спокоен и рад, потому что дело себя оправдало и я снова никому не должен. А потому и простите мою обмолвку.

Благодарю Вас за желание меня видеть и зайду к Вам на сих днях. Я Вас видел в магазине, но видел, как Илья видел Егову, — «задняя» Ваша, когда Вы уходили к Зандроку; а мешать Вашему разговору с Н. Ф. — не хотел. Ходите хорошо — бодро, не только шибче меня, но даже бойчее Авсеенки, который должен служить всем нам на зависть, ибо до сих пор еще «бегается»… Молодчина! Здоровье мое не восстановилось, но немножко поправилось, а главное — я *привык к болезни*, которая возвышает меня в своем роде до сходства с Грозным. Смеялись над Ал. Толстым, что

он заставлял Годунова убить Грозного на сцене взглядом, а со мною это возможно в действительности. Я живу — читаю и даже пишу, но малейшее потрясение — депеша, незнакомое письмо, недовольный взгляд — тотчас же вызывают в аорте мучительнейшие боли, от которых надо лежать и стонать… Так и живу и пишу кое-что, всегда под сомнением: можно это или не можно? Скоро буду женить сына… Он у меня малый хороший, хоть и подурачился. Берет девушку добрую, скромную, хорошо воспитанную и с собственным куском хлеба про черный день. — Рановато немножко — ему 24, а ей 18, — но ждать не хотят, ну и бог с ними: пусть женятся!

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Орлову вчера же написал, чтобы он сам изъяснил Вам все, что касается Паскаля. Это короче и лучше; а то еще чего-нибудь напутаешь.

А. С. Суворину

2 ноября 1890 г., Петербург.

В статье о сожигании трупов (сегодня) несколько раз употреблено слово «поднос» — в смысле совсем не соответственном, тогда как в русском языке есть для этого снаряда два очень точные и ясно определяющие слова: 1) сковорода и 2) противень (то есть сопротивляющийся огню). Последнее было бы особенно уместно и ясно. У него (то есть у снаряда) и вид-то кухонного противня, а не подноса.

В. А. Гольцеву

23 ноября 1890 г., Петербург.

«Поумнел» положительно очень хорошая вещь. Побольше бы такой беллетристики. Честь и хвала Боборыкину: умно, положительно чрезвычайно интересно и весьма полезно. Недостаточки если, и есть, то их надо искать и придираться. Я очень утешен этим литературным явлением. «Тартарен» этот мне не нравится. Это что-то на дыбе тянутое и мученое. Козлов молодцом со своим переводом. В рецензиях есть хорошие «хватки», как, например, об Агриппине.

На днях имел письмо от Льва Николаевича и отвечал ему, что приеду, кажется, вместе с Вами, а потом писал Марье Львовне о том же и добавил, что графиня Софья Андреевна, вероятно, получит от Г<ольце>ва письмо с вопросом: удобно ли будет, если мы с ним вместе приедем дня на три? Писал же я так, потому что Вы так говорили, а теперь прошу Вас поддержать мою линию и в самом деле графине написать, а об ответе ее мне сообщить. Я намереваюсь распределить время так, чтобы в Москве не останавливаться, так как это напрасная трата «кошеля и часу». Хотелось

бы заехать за Вами, а для этого надо, чтобы точно условиться, что нравам московским, кажется, очень противно.

Н. Н. Ге очень сожалел, что ему не пришлось с Вами повидаться, а я жалею, что мне не довелось с Вами проститься.

Жму Вашу руку и кланяюсь супруге Вашей.

Н. Лесков.

Д. Н. Цертелеву

30 ноября 1890 г., Петербург.

Усердно благодарю Вас, достоуважаемый Дмитрий Николаевич, за внимание к моим просьбам. Конечно, лучше сделать так, как Вы пишете. Пришлите мне дефектов и более ничего не пробуйте. Только пришлите дефектов *побольше*.

Встречена сказка публикою очень живо. Точно как я будто до сих пор ничего не писал. Очень любопытны толкования, — что именно следует разуметь в этой сказке. Толкования самые разнообразные: «вкус бо ее отвечает желанию вкушающего». Провели Вы ее очень хорошо, поместив под «белое крыло ангела». Пока этим видением любуешься, — измигул Разлюляй и проскакивает в подворотню.

«Полуношники» еще под сомнением у их автора. Я еще съезжу на сих днях к Толстому, — ему почитаю, а потом надумаюсь, как быть. Я боюсь, что они Вам не к кадрили.

Ваш слуга

Н. Лесков.

А. С. Суворину

5 декабря 1890 г., Петербург.

Я потому не писал Вам, Алексей Сергеевич, что знаю, как горячо и страстно Вы относитесь к делу, которое в данном случае, — казалось мне, — требует только выдержки и настойчивости с тем лицом, виновность которого очевидна. Я не хотел Вас беспокоить до тех пор, пока окажется, что без Вас уже нечего делать. Этим я Вас не отстранял и нимало не обидел. Впрочем, прошу извинения.

Что я ничего не утрачу в моем имуществе «при Вас», — я в этом не сомневаюсь; но когда дело идет о Неупокоеве, то, — уж извините меня, — я желаю и буду говорить тем тоном, которым пристойно говорить с ним и о нем, доколе он таков, каков он есть… У кого только нет VI тома? (кроме меня). Что мне судить о чьей-либо прикосновенности или неприкосновенности, когда я знаю людей, покупавших VI том у букинистов, и последнее доказательство этому я имел еще вчера. Я несомненно знаю, что VI том брали, дарили, продавали и продают и что это делал не я и не с моего согласия. Вот непререкаемый и доказанный факт, который меня обижает и против которого я давно

бы должен был что-нибудь делать, но я терпел и думал, что они по крайней мере помнят счет и не расстроят комплекта; но они так увлеклись, что и перед этим не остановились, — вероятно надеясь, что «относительно обязанностей типографии *не может быть никакого сомнения*»... Об этом спорить нечего: факты налицо. Еще на днях VI том был предложен моему родственнику, печатающему свое сочинение в типографии Скороходова...

Может быть, Вы могли бы снести все это в полном спокойствии и в этом случае превзошли бы меня в благородстве и кротости, но я уж терпел, терпел нахальства этого типографского «хама», да, наконец, и не выдержал — написал Коломнину, чтобы он напомнил ему о необходимости собрать комплект. Чем же можно заставить такую личность опомниться? Я думаю, одним указанием на опасность, которой он сам подвергается.

Более я ничего не сделал, и никакого моего «поведения» нет, и я воздержусь от ответа на все, чту в Вашем письме есть резкого, дерзкого и несправедливого. Мое «поведение» я стараюсь уберегать от всякой обиды людям, и в отношении к Вам оно, во всяком случае, совершенно чисто и

безупречно. Вы во мне сомневаетесь, а я в Вас нет, и в Петре Петровиче — нет; а в том, кто сделал себя явно сомнительным, — я сомневаюсь.

Ваш слуга

Н. Лесков.

А. С. Суворину

14 декабря 1890 (*св. Филимон*),
Петербург.

От всего сердца благодарю Вас за критику. Я люблю Ваши мнения. В отзыве Вашем есть нечто сродное с отзывом Толстого. Только тот снисходительнее. Сказки скучно писать современным языком. Я начал шутя обезьянить язык XVII века и потом, как Толстой говорит, «опьянил себя удачею» и выдержал всю сказку в цельном тоне. Почему Вы не знаете «измигул» и «сутемень» — это меня удивляет! А Горбунов, Пыляев и Максимов небось знают… Вы это прикидываетесь незнайкою. А сказка — просто «штучка», которая художественна, смешна, но без замысла и вызывает улыбку и маленькое раздумье. А опытный писатель, как Вы и Толстой, вероятно почувствовали: «Тут поработано!» Мне просто хотелось дать хорошенькую штучку. Государство меня совсем не занимает.

Преданный Вам
Н. Лесков.

Письма 1891 года

Л. Н. Толстому

4 января 1891 г., Петербург.

Досточтимый Лев Николаевич!

Получил я Ваши ободряющие строчки по поводу посланного Вам рождественского № «П<етер>б<ург>ской газеты». Не ждал от Вас *такой* похвалы, а ждал, что похвалите за то, что отстранил в этот день приглашения литературных «чистоплюев» и пошел в «серый» листок, который читает 300 тысяч лакеев, дворников, поваров, солдат и лавочников, шпионов и гулящих девок. Как-никак, а это читали бойко и по складам и в дворницких, и в трактирах, и по дрянным местам, а может быть кому-нибудь что-нибудь доброе и запало в ум. А меня «чистоплюи» укоряли, — «для чего в такое место иду» (будто роняю себя); а я знал, что Вы бы мне этого не сказали, а одобрили бы меня, и я мысленно все с Вами советовался: вопрошал Вас: так ли поступаю, как надобно? И все мне слышалось: «двистительно» так и надобно. Я и дал слово Худекову дать ему рассказ и хотел писать «О девичьих детях» (по поводу варшавских и здешних детоубийств и «Власти тьмы»), а тут вдруг подвернулась этакая

история с Мих<аилом> Ив<ановичем> Пыляевым. Я и написал все, что у нас вышло, без прибавочки и без убавочки. Тут с начала до конца все не выдумано. И на рассказ многие до сей поры сердятся, и Мих. Ив. смущают спорами, так что он даже заперся и не выходит со двора и болен сделался. Я ему Ваше письмо отнес и оставил для утешения; а одна купчиха ему еще ранее прислала музыкальную «щикатулку» — «чтобы не грустил». Он и не грустит о пропаже, а надоели и мне и ему со спорами: «К чему это касающе и сообразное». Тут и подоспело от Вас подкрепление, за которое Вас и благодарю.

Под Нов<ый> год повреждал свое здоровье у Суворина шампанским вином и слышал от Алексея С<ергееви>ча о присланном ему от Ч<ерт>кова рассказе, сост<авленном> Вами по Мопассану. Ч — в пишет, чтобы «не изменять ни одного слова», а С<увори>н видит крайнюю необходимость изменить одно слово — именно слово «девка», имеющее у нас очень резкое значение. Я думаю, что эту уступку надо сделать, и советовал С<увори>ну писать об этом прямо Вам, так как этак дело будет короче и есть возможность скорее сговориться. Положение Ваше в людях такое, как надо быть. «Ускоки» набегают и шпыняют

воздух в Вашем направлении. Зато Вы помогаете и «карьерам». Так, например, гнилозубый Аполлон, как 1 № цензуры иностранной, дал «брату Якову» поручение составить доклад о Ваших сочинениях на англ<ийском> языке. «Бр<ат> Яков» трудился и гнусил: «Каково это мне: я должен его запрещать». И, разумеется, запретил. Тогда «Аполлон» сказал ему, что это ему «в воспитание», и затем, чтобы утешить его, — привел к нему Лампадоносца и Терция… И возвеселился Иаков, и теперь уже не смущается, и «стих» против Вас сочинил, и Никанора стихом же оплакал… И говорят, будто ему теперь «другой ход дадут». Страхов стал лепетать какой-то вздор. Влдм. Соловьев держит себя молодцом, и с ним приятно спорить и соглашаться. Меня все занимало, как теперь у нас, о чем ни заговори — обо всем хотят судить «с разных точек зрения», — и потому все выходит поганое чисто и чистое погано. А Вл. Сол<овьев> подметил у всех «три измерения»: нигилистическое, православное и практическое. Александр Энгельгардт по одному из этих измерений оставил деревню, и живет здесь, и сидит у Головина (Орловского) и у Лампадоносца, и поступает на службу инспектором сельск<ого> хозяйства с большим жалованьем; а ходатай

за него Лампадонос, у которого жена доводится Энг<ельгар>дту племянницей. И Менделеев «тамо же приложися», — и примеры эти не останутся беспоследственны… Вспоминаешь Салтыкова: «Все там будем!!.» Видеть Вас очень жажду и не откажу себе в этом: приеду один и с работою на 3–4 дня (если не стесню собой). Мне теперь хочется побыть с Вами вдвоем, а не в компании.

Любящий Вас

Н. Лесков.

Чистокровный нигилист А. Михайлов (Шеллер) ругает в «Живоп<исном> обозрении» Н. Н. Ге и напечатал картину, как «от<ец> Иоанн» исцеляет больную… А заметьте, что этот их «отец Иоанн» называется «Иван Ильич».

Усердно прошу сказать мой поклон графине Софье Андреевне, Татьяне Львовне и Марье Львовне. Я часто вспоминаю, как мне у Вас было хорошо.

Повесть моя еще у меня, и я не спешу, — боюсь. Не переменить ли заглавия? Не назвать ли ее: «Увертюра»? К чему? К опере «Пуганая ворона», что ли?

Л. Н. Толстому

6 января 1891 г., Петербург.

Цензура не пропускает рассказа «Дурачок», которого корректуру я послал Вам вчера. Пожалуйста, не посылайте этого оттиска Черткову, а оставьте его у себя.

Хотел бы знать о нем Ваше мнение.

Н. Лесков.

Цензор (Пеликан) сказал Тюфяевой, изд<ательнице> «Игрушечки», будто им не велено пропускать *ничего*, что пишете Вы и я, и обо всем «докладывать». Врет небось.

Л. Н. Толстому

8 января 1891 г., Петербург.

Не надокучил ли я Вам, Лев Николаевич, своими письмами? Все равно — простите. Чувствую тягость от досаждений, мешающих делать то, что почитаю за полезное, и томлюсь желанием повидаться с Вами, а этого сделать немедленно нельзя. От досаждений болею, а от болезни делаюсь излишне впечатлительным. Рассказ Ч<ерт>кову пошлите. Я согласился на дурацкие помарки цензора, и рассказ выйдет искалеченный, но все-таки выйдет. Пусть Ч<ерт>ков пробует искать с ним удачи, где знает. «Христос в гостях у мужика» запретили. Конечно, то же будет и с «Фигурой». Вероятно, то, что цензор сказал Тюфяевой, — правда: «Ничего не будут пропускать»... Сегодняшняя статья в «Нов<ом> вр<емени>» подбавит к этому охоты и форсу... Повесть свою буду держать в столе. Ее, по нынешним временам, верно, никто и печатать не станет. Там везде сквозит кронштадтский «Иван Ильич». Он один и творит чудеса. На сих днях он исцелял мою знакомую, молодую даму Жукову, и живущего надо мною попа: оба умерли, и он их не хоронил.

На днях моряки с ним открыли читальню, из которой, по его требованию, исключены Ваши сочинения. На что он был нужен гг. морякам? «Кое им общение?» «Свиньем прут» все в одно болото. Об Энгельгардте сказывают что-то мудреное, будто он «всех перехитрить хочет»… Не наше дело знать про хитрецов. Видел в «Посреднике» книжечку «Новый английский милорд Георг» в обложке, напоминающей настоящего «английского милорда» лубочного… А содержание доброе, хотя и неискусное. Это тоже «хитрость», но она мне понравилась… Иван Ив<анович> Горбунов уже прельстился этим и пишет «Еруслана», а мне захотелось написать «Бову-королевича», и с подделкою в старом, сказочном тоне… Что Вы на это скажете: делать или нет? Посмотрите, чем «Родина» начала венец нового лета божией благости. Кланяюсь Вашим домашним.

Любящий Вас и благодарный Вам

Лесков.

Л. Н. Толстому

12 января 1891 г., Петербург.

Досточтимый Лев Николаевич.

Был у Суворина и дал ему прочесть Ваше письмо, в месте, касающемся рассказа. Суворин был очень рад тому, что этим путем получилась развязка, которой напрасно ожидали от Ч<ерт>кова. Теперь рассказ пойдет на следующей неделе. Изменения будут только в том, что придется выпустить слово «похоть» и заменить слово «девка», имеющее специальное значение, — словом «женщина». Что же касается заглавия, то мы его обдумывали втроем и остановились на предложенном мною названии *по имени*, то есть «Франсуаза». Это — самое удобное, простое, краткое, скромное и «приличное». Кроме того, по этому имени легко будет и вспоминать произведение. Ваше имя нигде упомянуто не будет. Думаю, что все это сделано как следует. Заглавия вроде «Сестра» или «Ошибка», по-моему, были бы хуже, чем «Франсуаза».

Здоровье мое худо, а веселость, или, лучше сказать, желание шутить, нападает с досады. Смотришь, смотришь на всю окружающую бла-

гоглупость, да и сам задурачишься. Написал в самом архаическом «штыле» — «Сказание о протяженносложенном братце Иакове, — како изыде на ловитвы своя и усрете некоего льва, рыкающа при поляне, и осети его, и множицею брався с ним, и растерза его, и обрете нескудно злата, на нем же и опочи в мире со ужики свои», Там же есть «эпизода» о Вышнеградском, «како плакася, иже рекут его вора быти», и поэты возводят его на Геликон и низводят на землю освященного и с новым именем — «Всевышнеградский». Смотрю, как «Иван Ильич» ходит к нам в больницу исцелять и всегда бормочет только над одною больною, а разом о всех почему-то не молится. Предложил этот вопрос «сестрам милосердия», и они смутились… Область же его все расширяется «милостью божиею» — так, в день его юбилея, когда он (по отчетам хроникеров) съел подряд три обеда и «встал с удивительною бодростью», — председатель общества трезвости, именитый законоучитель П<етер>бурга протоиерей Михайловский, ошибся мерою вина и, приняв на нутро более, чем можно главе трезвенных, — не встал вовсе, а был изнесен на руках своих духовных детей, а Иван Ильич его от этого не исцелил, а теперь сам избран на его место, так как он не

пьет иного вина, кроме мадеры братьев Змеевых в Кашине. Кроме же этих событий, современная жизнь у нас не являет ничего достойного внимания. Поездку к Вам опять должен отложить, так как получил известие из Киева, что 20 генв<аря> ко мне будут оттуда брат с племянницей. Вероятно, поеду тогда, когда они поедут назад через Москву, и я с ними до Тулы.

Преданный Вам

Н. Лесков.

В Конст<антиновском> воен<ном> уч<илище> дежурный офицер донес на юнкера, что тот «имел книгу „Мелочи архиерейской жизни“». Юнкера посадили под арест.

Л. Н. Толстому

20 января 1891 г., Петербург.

Очень благодарен Вам, Лев Николаевич, за Ваши письма. Они не писаны с тем, чтобы меня поддерживать и ободрять, а производят то и другое. Вы не ошибаетесь, — жить тут очень тяжело, и что день, то становится еще тяжелее. «Зверство» и «дикость» растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно бездеятельны до ничтожества. И при этом еще какой-то шеренговый марш в царство теней — отходят все люди лучших умов и понятий. Вчера умер Елисеев, а сегодня лежит при смерти Шелгунов… Точно магик хочет дать представление и убирает то, что к этому представлению не годно; а годное сохраняется… «Родину» я Вам послал для «хари», которая там была намалевана с подлейшими причитаниями. С Су<вори>ным говорил по Вашему поручению без всякого над собою насилия. Мы *лично* всегда хороши с ним, а о прочем он не осведомляется или спросит: «Не сердитесь, голубчик?» — «Не сержусь, голубчик». Так «голубчиками» и разлетимся. Он очень способный и незлой человек, но «мужик денежный» и сам

топит в себе проблески разумения о смысле жизни. Вас он очень любит; но ведь он же не может соглашаться с Вами и оставаться самим собою. Искренность, при которой человек не идет к лучшему, но сознает его достоинство и уважает лучшее, а себя порицает и «живет, не оставаясь на своей стороне», — кажется им глупостью. Надо спорить и «рвать лытки» Т<олсто>му. Женщины чаще сознают правду и говорят: «Я так не делаю и не могу, но это — дурно, — надо бы так, как Т<олстой> говорит». Я считаю это за хороший шаг. «Кто не против нас, тот уже за нас»... В «Нов<ом> вр<емени>» много военных инженеров, и они иногда «обладают» над господином «вертограда словесного». А он думает, что они это «износят из сфер». Так и идет шат во все стороны. Притом Ч<ерт>ков пишет одному из этих «южиков» удивительные письма об одной из заповедей, и те его состояния не понимают и к нему не снисходят, а только суесловят и стараются придать всему характер какого-то уродства. Я говорил об этом Ч<ерт>к<ов>у, и Ге тоже; но он нас обоих за что-то взял в немилость, а Ваня Г<ор>б<уно>в здесь и собирается на днях ехать и заедет к Вам. Смотрите — здоров ли Ч<ертков>? Или, лучше сказать: не больнее ли он, чем это кажется? Его поступки в

дороге со мною и с Ге, а потом здесь с другими, и переписка теперешняя о «суррогате» заставляют быть к нему крайне внимательным. Он производит впечатление подстреленной птицы, которой не знаешь чем помочь. «Поша» пишет письма бодрые, и Ругин тоже. Про Анну Конст<антиновну> говорят, будто ей лучше, но ни воли, ни инициативы никаких нет. «Посредник» в великом запущении, и для чего это низведено в такое состояние, — об этом нельзя перестать жалеть. 20 №№ «Пете<рбургской> газеты» вышлю Вам завтра (сегодня воскресенье — контора закрыта). «Дурачок» я знаю что плох. Повесть мою вчера взял у меня Влад. Соловьев, который непременно хочет меня «сосватать с „Вестн<иком> Европы“», и того же будто желает и Стасюлевич. Я, с своей стороны, ничего против этого не имею и отдаюсь Соловьеву. Повесть *эта*, однако, по-моему, едва ли *тепер*ь где-нибудь пригодна. Впрочем, любопытно — что из этого выйдет? Соловьев сам бодр, по обык<новению> несколько горделив, но очень интересен. Вчера он привез мне свою книгу «История и будущность теократии», т. 1-й, печ<атанный> в Загребе со множеством ужасных, а в иных случаях довольно остроумных опечаток. У него всего только 4 экз<емпляра>,

но он, вероятно, снабдит Вас экземпляром. Я еще только разрезал и понюхал листы книги, но она меня уже страшно заинтересовала. Какая масса знаний в этом человеке! Очень любопытная книга. А кстати, — он едет на сих днях в Москву. Он же не читал Вашей «Критики догматич<еского> богословия» Макария, и я не мог ее дать ему, так как ее все читают. Притом гектографированный экземпляр из рук вон плох. Не снабдите ли Вы С<оловье>ва лучшим экземпляром, а у него, быть может, возьмете его загребскую книгу. Поехать к Вам очень хочу, да все помеха: брат приедет 25-го да пробудет здесь дней 8—10… Очень это суетливо! Получили ли мою заметочку под заглавием «Обуянная соль»? В лит<ературных> кружках ее прочли со вниманием, и инженеры «Нов. вр.» притишились. Хотел бы знать: не осуждаете ли за то, что отвечал? Много у меня досад и мало здоровья, а тут еще нанесло иметь дело с плутоватым купцом. Все «искушение».

Преданный Вам

Н. Лесков.

В. Г. Черткову

21 января 1891 г., Петербург.

Очень рад, Владимир Григорьевич, что Вас что-то в моих писаниях порадовало. Желаю, чтобы это получило возможность выйти в «широкую публику». Личные наши отношения, к сожалению, должны оставаться в том положении-, в которое благоразумие заставило заключить их в виду Вашей противообщественной склонности к подозрительности. Я не имею к Вам никакой неприязни, но возможность прежнего, задушевного общения у меня отнята, и это не самое худшее, что могло выйти при моем и Вашем характере. Худшее было бы то, что Вы скрывали бы свои подозрения, а я бы долго их не заметил и потом бы имел большое зло на себя за то, что смущал Вас. А теперь хорошо. Я даже не могу Вам посоветовать исправить в себе эту подозрительность, чтобы не подумать, что Вы подумаете, что я думаю заставить Вас думать, как не надо думать… Вон какая механика!

Н. Лесков.

З. П. Ахочинской

17 февраля 1891 г., Петербург.

Вчера я послал Вам старого хересу, какой мог найти. Во всяком разе, ему более 35-ти лет. Он лучше и полезнее той мадеры, которая Вам неприятна.

Посылаю рябчика и «Сочинения Пушкина», все в одном томе. Рябчика кушайте, а книгу положите себе прочесть от доски до доски. Это и приятно, и полезно, и *необходимо*, так как женщине, желающей занять художественное амплуа, *нельзя* щеголять всестороннею беспечностию насчет литературы — особенно *родной*, и в лице ее самого главного и действительно великого представителя и поэта с мировою известностию. Вам нечего читать в журналах, где бездна чепухи и дребедени, а Вам надо *давно* познакомиться хоть с тем, *что есть крупного*; а у Вас, к величайшему стыду и горю Вашему, нет даже этой начитанности, и через это Ваши художественные способности не имеют крыл, — в них нет полета, нет фантазии, а только леностное поползновение, с которым никогда и ничего нельзя достигнуть, и даже в общественном обиходе всегда предстоит

неизбежная ретирада перед всякой более любознательной девушкой, уделявшей свое внимание литературе — ибо в литературе есть *царство мысли*. Не отставайте ото всех, так как Вы и без того уже так довольно отстали от многих, что уже и не замечаете своего умственного вращения вне курса… Подумайте о себе: выздоровление есть великая пора для душевных переломов. Человек в эти минуты способен зорко видеть себя и может давать настроение в своем духе и целях. Для многих это было спасительно. Габриель Макс (Max) уловил это в своей «Reconwalescentine» (Выздоравливающая). Вы, выздоравливая, о первом спросили — о корсете… «Когда можно надеть корсет?»… Это ужасно; этого нельзя забыть, и в этом выразилась, как в фокусе, вся Ваша натура… Какой ужас!.. И возле Вас нет никого, кто бы мог Вам это указать и поворотить взгляд Ваш в себя в саму!.. Чту такое художница без образованного ума, без облагороженного идеала, без ясной фантазии и без вкуса, развитого чтением истинно художественных произведений?.. Это не художница, а «мастеричка». С этим не стоит и возиться, и в Ваших руках все это теперь продумать наедине сама с собою и *сделать в себе перелом*, а дело друзей Вам на это указать и Вам

напомнить о днях, которые Вы губили и губите в среде ничтожной и для образования художницы бесполезной и вредной. «Полюби тишину, слух душевный вперяя в высокие думы…» «Будь глух ко всему, что ничтожно..» Вспомните Моцарта, Бетховена, Мицкевича и Лебрень или Макса и… прокатитесь к Норденштрему, Ласточкину и Касаткину и к tutti-frutti…[34] Как тут уберечь в душе «огонь творения»; а что в искусстве можно без него сделать?!. Допросите себя: с кем Вы и где Вы и куда по этой покатости катит Вас Ваше безволье? — Сделайте же над собою первую победу: прочтите всего Пушкина, потом Шекспира, а потом Викт<ора> Гюго. Это Вам необходимо даже для Вашего престижа при людях, имеющих образование.

Н. Лесков.

Опять — четвертую работу со мною я должен был уступить *не Вам*, а другой художнице… Ну, не досада ли видеть, как Вы «подвизаетесь»!..

На меня можете сердиться сколько хотите, — я желаю Вам добра.

---

[34] Примечания: 34
Всем прочим (*итал.*).

В. А. Гольцеву

18 марта 1891 г., Петербург.

Достоуважаемый Виктор Александрович!

Удовлетворяя своему желанию, я познакомился с Потапенко, а исполняя Ваше поручение, делал пробу привлечь его к сотрудничеству в «Рус<ской> мысли». Вот Вам мой отчет: Потапенко произвел на меня как раз такое приятное впечатление, какого я хотел, чтобы симпатии мои к нему не были нарушены: он умен, у него во всем чувствуется художественная простота и чувство меры, хороший вкус и благородство, чуждое искательства. Я думаю, что он может принять равнодушно хвалу и клевету и будет идти независимым путем. Словом — он мне понравился более всех, кого я видел привходящими в литературный кружок за последние 25 лет. По поводу его появления в Петербурге можно радоваться, без боязни за то, что радость эта будет обманута и унижена. Возраст его лет около 30; темперамент горячий и впечатлительный, но не слабонервный. Работает он много и недостатка в работе не ощущает, а, напротив, имеет на нее очень большой спрос. Поэтому приглашение его

написать «что-нибудь» для «Р<усской> м<ысли>» — для него ничего особенно лестного не представляет. Платят ему здесь по 150 руб. лист и, вероятно, заплатят и дороже; а работать в том же городе, где живешь, конечно, удобнее, чем посылать работу вдаль. Но мне кажется, что Вы могли бы привлечь Потапенко с большою для себя пользою и с очень малым риском, если бы нашли возможным такую комбинацию, какую сделал Катков со мною, когда я писал «Соборян». У Потапенко есть желание написать роман, а я ему указал на то, как делали со мною, то есть давали мне аванс в течение трех месяцев и я сдавал редакции три печатных листа рукописи и так продолжал до конца романа; а окончательный расчет произвели по напечатании. Он нашел, что это для него было бы, может быть, удобно теперь, перед весною, чтобы летом заняться большою работою, и на этом разговор наш кончился. Обсудите это в самом темп-мажоре, и если найдете для себя подходящим, — напишите мне или прямо самому Потапенко. Зовут его Игнатий Николаевич, а адрес его: Фонтанка, № 24, кв. 45.

Кстати: о рассказах Потапенио не делают отзывов «Нов<ое> вр<емя>» и «Р<усская> м<ысль>», и это его не смущает и не огорчает… Я был этим

очень утешен. Это порука за то, что художник любит свое дело больше похвал, и это редкость при нынешнем попрошайничестве, которое стало уже просто гадко и подло.

Преданный Вам

Ник. Лесков.

Б. М. Бубнову

27 марта 1891 г., Петербург.

Любезный друг Боря!

В переводе твоем находят хорошее, но указывают и довольно многие недостатки, заключающиеся по преимуществу в изобилии деепричастий и прозаических оборотов; но что самое главное — это наличность множества переводов «Парижины», известных в печати. Представляется даже удивительным: почему ты взялся за перевод именно этого — всех более переведенного произведения! Не можешь ли ты мне этого объяснить. Может быть, ты хотел добиться чего-нибудь такого, что тебя не удовлетворяло в переводе Михаловского и др. Или это так… просто — «случайный выбор»?

Потом ответь ясно на вопросы:

1) Желаешь ли, чтобы перевод твой был напечатан там, где удастся его поместить?

2) Согласен ли на поправки в стихах? (что совершенно необходимо).

3) Доволен ли будешь всяким гонораром, какой дадут?

Н. Лесков.

Б. М. Бубнову

3 апреля 1891 г., Петербург.

Любезный друг Боря!

Получив твое письмо с уполномочиями на помещение твоего перевода «Парижины», я отдал рукопись редактору «Иллюстрации» Александрову, прося его напечатать перевод твой в книжке их приложений, которые называются «Труд». Книжки эти выходят раз в месяц, и в этом журнале была напечатана моя, вероятно известная тебе, «Фигура». Александров обещал дать мне ответ скоро, и я его тебе сообщу немедленно.

Перевод Михаловского напечатан в издании Гербеля. Переводы Козлова знатоками считаются за отменно хорошие и образцовые. Я же в этом деле не судья. А что касается до выбора пьес для перевода, то самое лучшее (по моему мнению) — переводить то, что тебе понятно по духу поэзии и дается по форме стиха. Аверкиев перевел этой зимой «Гамлета», имеющего несколько переводов, но как аверкиевский перевод оказался всех совершеннее, то о нем говорят и его хвалят, но никто не спешит приобрести его для напечатания. То же самое, вероятно, выпало бы на долю

перевода и всякой другой пьесы, имевшей уже переводы в печати, но кто любит дело, того это не должно останавливать. Я только не знаю: для чего всё переводить *стихи*? Почему не переводить хорошую прозу? От стихов теперь везде тесно делается, и они составляют для журналов «бремя». Я поговорю с издательницей журнала «Иностр<анная> лит<ература>», — нет ли у нее чего-либо ей желательного для перевода из поэтов, и тебе напишу.

Будь здоров.

Твой *Н. Лесков.*

Б. М. Бубнову

12 апреля 1891 г., Петербург.

Редактор «Иллюстрации» обещал мне ответ «на сих днях», но еще не прислал его. Я опять ему напомню и тебе напишу. Надеюсь, что дело уладится. Указываю тебе на следующее: в последней книжке «Недели» есть хорошая (сведущая) критическая заметка о новой книге Балабиной — переводы в прозе стихотворных легенд Оссиана, изданных *Макферсоном*. Они очень характерны, и переводы их трудны, и их мало. Обрати внимание на эту книжку и выбери что-нибудь у Оссиана и пришли. Большие вещи помещать трудно, пока имя переводчика неизвестно. Я всегда буду рад сделать тебе услугу.

Н. Лесков.

Макферсон по-английски есть у Уаткинса (Адмиралтейская площадь), а прозаические переводы Балабиной есть и в Киеве.

В. А. Гольцеву

4 мая 1891 г., Петербург.

Достоуважаемый друг!

Поездка наша вместе не состоялась, потому что я был болен и расстроен до того, что не мог и писать. Вы мне это, пожалуйста, простите. Это отнюдь не значит, что я Вас мало люблю или мало дорожу сношениями с Вами; а это значит, что моя душа была невозможно отягощена впечатлениями, с которыми я не в силах был справиться и о которых нечего рассказывать. Как Вы съездили и где проведете лето? — хотел бы знать. Но главное дело. Мне не хочется ничего посылать в «Р<усскую> м<ысль>», так как, по моему мнению, там худо понимают достоинство литературных произведений, а мне нет никакой нужды и никакой радости испытывать на себе их ответы и упражнения. Вы меня просили дать еще раз что-нибудь «Рус<ской> мысли», и я не хочу обойти Вашей просьбы. За это время я написал небольшую повесть, в 5–6 листов, которую уже и продал здесь (и она у Вас не прошла бы), и еще «Воспоминания», тоже листа на 4. Воспоминания эти называются: «Нашествия варваров»; постро-

ены они по рассказам Жомини и представляют Ашинова, М-ву дочь, болгар и наших патриотов и борьбу с ними дипломатии. Эпизод веселый и смешной. Написано это так, как умею я и как пишу, — ни лучше всего, ни хуже. Покупателя на это имею здесь в лице Шубинского и выгоды отдавать работу Вам никакой не имею, а, напротив, имею неприятность вспоминать старые неприятности и возможность ожидать новых в том же или в подобном роде, но я не хочу огорчить Вас и оставить втуне Ваше желание удержать связь мою с журналом, где Вы трудитесь. Поэтому я должен избрать такой путь, который был бы Вам удобен и для меня не унизителен и безопасен. Рукопись для предварительного прочтения и оценки я послать в «Рус<скую> м<ысль>» не могу, так как это не одобряется моими опытами из прошлого, и мне противно подумать об этом; но я сообщаю Вам, что вещь есть и что я готов уступить ее «Р<усской> м<ысли>», если редакция имеет ко мне столько же доверия, как и к другим, у кого принимает вещи недописанные или вовсе еще не написанные.

Мои воспоминания интересны, — и это все, что я сам могу о них сказать, и они готовы. Если хотите их получить, — потрудитесь сговориться

об этом с триумвиратом и ответьте мне не позже 10 мая, с присылкою мне авансом 500 рублей. Тогда я в тот же день вышлю Вам совершенно готовую рукопись в Ваше распоряжение. Иначе я поступить не могу, так как не хочу рисковать там, где мне было оказано четыре раза самое нелепое отношение. И Вы, — если захотите быть справедливым, — сами, вероятно, найдете, что в этом условии нет ничего грубого и обидного для редакции, которая во всяком разе должна дать мне «сатисфакцию». Словом, иначе я не могу идти на реставрацию моих отношений с журналом, меня оскорбившим. То, что я даю, — то такое, какое оно есть, и поправлять его некому, а надо его брать и печатать, как воспоминания Михайловского или работу Потапенко. Другого средства со мною сделаться нет, и обиды в этом для «Русск<ой> мысли» нет. Я предлагаю Вам все, что могу и как позволяет мне чувство моего доверия к тщательности моих работ.

Искренно Вас любящий

Н. Лесков.

Шубинскому я вычитал за Вас всю горькую правду при Фаресове и думаю, что Вы имели хорошего адвоката.

В. А. Гольцеву

10 мая 1891 г., Петербург.

Любезный друг

Виктор Александрович!

Вчера после обеда получил Ваше письмо и сегодня посылаю Вам рукопись. Более всего желаю, чтобы она не причинила Вам хлопот и забот. Потом благодарю Вас за сердечное и внятливое отношение к моему письму, которое при меньшей внятливости могло бы, пожалуй, показаться своенравной выходкой, — чего во мне нет. Вы отлично поняли, почему я так сделал, и прекрасно поступили, чтобы сгладить отношения. Вы, конечно, не ошибетесь, что это не внушит мне ничего несоответственного по отношению к редакции, но упрочивает мою приязнь к Вам. Затем читайте и разбирайте. Здесь описана правда, смешанная с вымыслом и затушеванная, чтобы иметь право быть печатаемою. Указываю для Вас некоторые имена: «Цибелла» — Новикова, «княгиня» — Радзивилл, «баронесса» — Икскуль, «Корабант» — Комаров, «Ределя» — сами знаете кто. События верны действительности. Деньги еще не получал. Варвару Леонидовну видел

позавчера, а Варвару Андреевну — вчера. Они здоровы, но грустны… Неужто бедняга В. А. так несчастна, как говорят! Что за страшная и ничем, по-видимому, не заслуженная участь! Или уж они обе из рук вон непрактичны. Соловьева видаю довольно часто, но и он отражает что-то грустное. Уехать на лето намереваюсь 25–29 мая. Летом адрес мой будет: «Нарва, Шмецк, № 4». В выборе времени печатания «Варваров» редакция, конечно, свободна поступить по своему усмотрению, но предупреждаю Вас, что в августе должна появиться моя повесть в «Вестн<ике> Европы», где она перейдет и на сентябрь. Так надо иметь в виду, чтобы не сходились в одно время две вещи одного автора в двух журналах. Для меня, конечно, это ничего, но для редакций это невыгодно. Стасюлевичу я тоже сообщил эти соображения. (Вижу Вашу улыбку: как я попал к Стасюлевичу! Ни я туда не ходил, ни он ко мне не приходил, а сторонний человек взял себе рукопись «почитать» и деньги привез.) На выпуски и сокращения в «Варварах» согласен, но надеюсь на Вас, что будете на сей счет скупы и нескороспешны. Если захотите разбить вещь надвое, то разделение надо сделать на обороте 30 стр. рукописи, на X главе. Данилевского, я думаю, можно оставить,

или оставить одну букву Д., или как хотите. Кланяюсь Вашей супруге и Вуколу Михайловичу. Вчера здесь держался упорный слух, что Вы будто оставили участие в редактировании «Р<усской> м<ысли>». На чем это основано? К осени хочу отделать и прислать Вам и третью часть «Чертовых кукол». Вторая неудобна, а третья удобна и интересна. Поговорите же об этом в триумвирате и напишите мне. Я думаю, что это будет встречено с сочувствием. Их помнят и о них говорят. Напишите, как Вам это покажется. Так, может быть, и проведем все вразнобивку.

Ваш *Н. Лесков.*

На всякий случай посылаю Вам мое письмо к Влад<имиру> С<ергеевичу> Соловьеву. Оно мне очень нужно, и я прошу Вас переслать ему это письмо поскорее.

«Идолов» прочитал. Это очень умно, правдиво и очень ловко написано. Я со всеми положениями и взглядами автора согласен.

Прочтите в «Вестн<ике> Евр<опы>» на 202 стр. (март) стихотворение Жемчужникова «О глупом бесе». Это страшно!

Ваш *Н. Лесков.*

Б. М. Бубнову

14 мая 1891 г., Петербург.

Любезный друг Боря!

Вчера получил твое письмо от 10 мая. Очень рад, что ты окончил помещение «Паризины» с Александровым и что ты доволен этим помещением. В самом деле, оно недурно для начала. Фофанов недавно только стал получать по 35 и наконец по 50 коп., а Величко за последние стихи в «Вестнике Европы» получил по 75 коп. А то они всё тянули по 15 коп., и «Новое время» и сейчас не дает им более как по 15 коп. — «нам-де стихи не нужны». Потом дальше увидим (если увидим), как тебе помогать. Понятия твои о поэзии достойны сочувствия и похвалы. Они совершенно верны, и их тебе «открыла не кровь и плоть». Я был не только обрадован, но растроган твоим хорошим рассуждением. У Бёрне есть такая глава: «для какого возраста человек *готовится*?..» Ничего нет глупее, как думать, что высший расцвет жизни будто в поре «парования», и притом какого? — не парования по согласию в мыслях и стремлениях к достижению высших целей бытия, — а по облюбованию бедр и «сосковой

линии»… В этом смысле романы и поэмы носили фальшь в самом замысле, и это чувствовали Шопенгауэр, и Кант, и Даколей, и сам Гете. В этом и есть что-то глубоко противное и отвратительное для чувствительного духа и ума сколько-нибудь глубокого и проницательного Мне было 29 лет, когда мы жили с Бенни и он мне на ночь переводил подстрочно Лонгфелло, без которого он не кончал дня. Это истинный *поэт*, без «стальной щетины», — он «возносит дух» над низменностями обычных барахтаний. И я с тех пор знаю, что есть настоящая поэзия! Еще она есть у нежного Шелли. Сравни с ними восточного Гафиза, у которого «любовь (разнополовая страсть) — выше всего», и ты почувствуешь разницу между «небом и землею». Но, однако, любовь есть величайшая и всемогущественная сила, и ее игнорировать нельзя: «она творит святых и героев».

Освобождая места, занятые в старину «силой» и «страстью любовною», — их надо заместить «милосердием» и «*любовью*» в высшем смысле этого слова, — «любовь по мысли» — по сознанию превосходства ясности ума и благородства чувств, — за чем можно и должно «подниматься (возноситься) и идти с этим в неумирающую жизнь добротолюбия». Байрон в переделке Алек-

сея Толстого и говорит о «таком сердце» — о такой, *возвышающей* женщине и о ее творческой, благодетельной любви. «О, если бы такое сердце я нашел! Я с ним одно бы целое составил звено той бесконечной цепи, которая восходит к божеству». Но «они» (женщины, которых он знал) — его не «сближали с людьми, а *разъединяли*», и он их «потому возненавидел». У самого Байрона это сухо, зло и неясно, а Толстой прозрел эту неясность. И «такое сердце» (женщины, возносящей дух мужчины выше и объединяющей его с божеством) всегда должно быть и будет предметом думы поэта. Любовь, основ<анная> на этом, — велика и священна, а все меры «по сосковой линии» уже стали уделом одной чувств<енной> низменности, до которой нет дела поэту. Когда ты думаешь так, как пишешь мне, — тогда «с тобою бог, и ты был человек». Пусть тебя не смущает то, *что* есть, а ты служи тому, что *должно прийти*. «Готовь путь — равняй стези надходящему спасению» с непоколебимой верою, что оно идет (или «грядет») и придет. Это и есть *вера* и «работа с верою». Я об этом был вызван написать. Прилагаю тебе вырезку. Гр. Лев Н. выписал 100 экземпляров этого № и все его раздавал. Ты, верно, не читал этой заметки, а она была вызвана гоготом «практиков»

«Нового времени». Не надо смущаться тем, что «жизнь шлепает в своих туфлях». Пусть и «шлепает». Помни Гете: «Не всегда необходимо, чтобы истинное (сейчас) воплощалось: достаточно, чтобы оно *духовно витало* перед нами и *вызывало согласие*, — чтобы оно как звук колокола *гудело в воздухе*». Переводи Лонгфелло и присылай мне почаще. Как переведешь — так и пришли. Это меня всегда будет живить и очень радовать; а я буду твои стихи пристроивать. Обнимаю и целую тебя.

Твой старый друг

Н. Лесков.

Не забудь мой адрес: Нарва, Шмецк, № 4.

Б. М. Бубнову

22 мая 1891 г., Петербург.

В майской книжке «Недели» (1891 г.) окончена превосходная повесть Потапенко под заглавием «Генеральская дочь». Она замечательна и достойна внимания во всех отношениях, и между прочим — в том, что тут есть настоящий поэтический тип и глубокое, поэтическое положение. В этом направлении было бы желательно видеть что-либо в стихотворной форме. Обрати внимание.

Н. Лесков.

Б. М. Бубнову

16 июня 1891 г., Усть-Нарова.

Любезный друг Боря!

Появилось историческое воспоминание о Гоголе, которое кажется мне лживым с начала и до конца и во всех подробностях. Между прочим, там писано, что Гоголь, в последнюю свою побывку в Киеве, «купил жилет у *Гросса*», и из-за этого жилета пошла некая будто глупая история, выставляющая профессоров Киевского университета в очень пошлом виде, — что совсем не отвечает характеру профессоров неволинской поры. А главное, что и покупка жилета «у *Гросса*» (по-моему) — не могла происходить, так как Гоголь умер в Москве *ранее*, чем в Киеве появился Гросс. Я это очень хорошо помню, потому что в Киеве ранее процветал Червяковский, а потом Мирецкий и Вонсович, а Гросс появился всех их позже, — должно быть, в 50-х годах, и даже в конце 50-х годов. Приблизительно я это знаю наверно, но мне хотелось бы себя проверить и притом быть *точным* в указании промаха лживого писателя. А потому прошу тебя: спроси дядю Михаила Степановича или еще кого-нибудь из

«пребывающих» старожилов: когда именно просиял в Киеве портной Гросс, и напиши мне это как можно поскорее.

Что же ты не присылаешь мне стихов, чтобы я мог их читать себе и другим в холодке на берегу моря!

Искренно тебя любящий

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

20 июня 1891 г., Усть-Нарова, Шмецк.

Добрый друг наш, Лев Николаевич.

Я теперь живу на Устье-Наровы, в тишине и одиночестве, и о том, что происходит на «широком свете», узнаю только по газетам. Из них я узнал, что к Вам ездил Суворин и что теперь во многих местах обозначается большой неурожай хлеба, угрожающий голодом. Тамбовское письмо Шелеметьевой взбудоражило дух мой до смятенья и слез, и я позволю себе беспокоить Вас просьбою написать мне, как Вы находите — нужно ли нам в это горе встревать и что именно пристойно нам делать? Может быть, я бы на что-нибудь и пригодился, но я изверился во все «благие начинания» общественной благотворительности и не знаю: не повредишь ли тем, что сунешься в дело, из которого как раз и выйдет безделье? А ничего не делать — тоже трудно. Пожалуйста, окажите мне что-нибудь на потребу.

Ивана Ильича бы, что ли, послали на «закатанные поля» помолебствовать или еще «покататься», как это делают в Орловской губернии. А кстати — для уяснения характера деятельности

Ивана Ильича прилагаю Вам копию с хранящегося у меня подлинного письма некой г-жи Боголеповой к фельетонисту «Нов<ого> вр<емени>» г-ну Терпигореву (Атаве). Посылаемая копия с боголеповского письма достойна того, чтобы ее приобщить к известному письму Х<ил>кова. Выясняется и деятель и его «антураж».

Суворин хорошо сделал, что сказал о «Мимочке». Это заставило многих с нею познакомиться и, может быть, над нею позадуматься. «Житель» еще лучше написал о «толстовцах». Это, мне кажется, — *самое умное*, что появлялось в газетах (русских) по поводу Ваших идей, усвояемых людьми, которые Вас любят и находят удобство иметь Вас перед своими глазами. «Атава» же, должно быть, «возревновал» и написал глупость, полагая, что Вы оплакиваете участь Мимочкиного супруга. Пародии на эту тему, конечно, возможны очень разнообразные и, может быть, очень смешные, и «Мимочка» издали еще предречена в одной из библейских книг, приписываемых Соломону: «…и речет: *ничто же сотворих*».

Очень рад был бы я, если бы Вы мне ответили о голоде и о том, что по Вашему мнению полезно предпринять. Если это возможно — пожалуйста, напишите.

Искренно Вас любящий и почитающий
Н. Лесков.

У меня есть листки с набросками, сделанными рукою русского учителя Ваших младших детей. Листки эти оставил мне Н. Н. Ге, и они у меня не утратились и не завалились, а я их сохраняю и очень ими дорожу, но не нахожу до сих пор удобного случая, чтобы воспользоваться ими для пользы дела. В таком виде, как это написано, — печатать нельзя по цензурным условиям и потому, что тон местами не отвечает предмету и от этого утрачивает значение мыслей прекрасных, честных, острых и сильных и сопоставлений блестящих. Переделать это и пустить на кон ни с того ни с сего — будет бесцельно… Надо подождать a propos чего-нибудь живого и подходящего. Я это и имею в виду, и «Житель» чуть не дал мне такого повода. Пожалуйста, скажите об этом автору заметок, которые мне принесли много удовольствия и радости и которыми я сам очень желаю воспользоваться, но только думаю, что это надо сделать вовремя и кстати.

Прочитал теперь Гелленбаха, который мне попался под руку перед выездом из Петербурга. Вы, кажется, о нем что-то и где-то писали? Нельзя ли указать: где именно? Пять лет тому назад он

мне ничего не открывал, а теперь я извлек из него много отрады и утешения. Особенно это о врожденной интеллигентности… И все это точно как будто и знал и об этом думал и говорил, а между тем не знал и не говорил… Происходит не «узнаванне», а только «припоминание» того, что знал, да позабыл в муках рождения своего «в этой форме бытия».

Поклон мой всему Вашему семейству. Видеться с Вами желаю и надеюсь. Здоровье же мое не дозволяет предпринимать поездок: судороги в сердце делаются внезапно, и тогда одного шага нельзя ступить. Душевное состояние хорошо, и беспокойств все становится меньше. С Вами совещаюсь всякий день и поминаю Николая Николаевича, Ругина и Пошу, и мне не скучно и не сиротливо, как бывало ранее, всю жизнь.

Адрес мой; Усть-Нарова, Шмецк, 4.

Шмецк — это приморское селение между Гунгербургом и Меррекюлем. Очень тихо, воздух чистый, и сосновый лес на берегу.

Л. Н. Толстому

12 июля 1891 г., Усть-Нарова, Шмецк.

Добрый друг наш Лев Николаевич!

Письмо Ваше о разноклёвах получил и усердно Вас благодарю, что Вы мне ответили. Суждения Ваши все мне по сердцу и по мыслям, а все-таки мучительно жаль тех, кого зобастые оклюют и оставят дохнуть. Однако я, разумеется, послушаюсь Вас и в затеваемый «сборник» не пойду. Так я хотел сделать и ранее, а теперь еще более в этом утвердился. Писать такое, как Вы говорите, в нашем положении очень трудно. Я бы хотел дать очерк о Цвингли — сравнив его с Лютером. Там есть на чем показать: что следует разуметь в *преломлении* хлеба. Мистику-то прочь бы, а «преломи и даждь» — вот в чем и дело. Однако враги того, кто говорил эту простую премудрость, делают честное слово невозможным.

Здоровье мое коварно. Называют мою болезнь Angina pectoris, а на самом деле это то, что «кол в груди становится», и тогда ни двинуться и ни шевельнуться. На «тело» я смотрю так же, как и Вы, но когда бывает больно, то чувствую, что это очень больно. Распряжки и вывода из оглобель

не трепещу, и мысль об изменении прояснения со мною почти неразлучна. Духа стараюсь не угашать и считаю это всего выше и священнее. В том, что делаю дурного, — не нахожусь на своей стороне и почитаю себя виноватым. С некоторою полнотою освободился только от зависти, от обидчивости и от опасений за будущее, что очень долго меня мучило. Вы мне сделали много неоценимого добра, и мне полезно все, что я о Вас слышу, даже когда Вас порицают и на Вас сочиняют злое. Я сейчас воображаю, как Вы все это «благоприемлете», и думаю: «Хорошо это: его, друга нашего, это не может трогать, а мы его через это только больше любим и сами поучаемся, как сносить зло». Теперь я уже не скучаю и о том, что не вижу Пошу и Ругина, разлука с которыми ранее меня очень огорчила. Тоже и не курю табаку, но «червонное вино» (как говорил дьякон Ахилка) пью умеренно «стомаха ради и многих недуг своих». Владим<ир> Соловьев говорит, что Вы ему это разрешили. Писать Вам часто желаю, но стыжусь отнимать у Вас время на чтение, а Вы, по доброте своей, еще мне отвечаете, — и я не могу скрыть, что это мне очень дорого и мило. Жду к себе Влад. Соловьева; живу в одиночестве с девочкой-сироткой, которую кое-как воспиты-

ваю. Ей теперь уже 11 лет, и она отменно хорошо читает рыбакам «Суратскую кофейню». Есть тут и «тип» — солдат Ефим, из рязанцев, который, по собств<енным> его словам, «пришел сюда к чухнам для обрусительного образования». Не работает ничего. Служил в гвардии и, «стоя на часах, продал *в беспамятстве* неизвестному сапоги». Был два года «на испытании в умственности и выпущен по безумию». Лицемерен, нагл и подл. Объявляет себя колдуном, который может «знать след лошади». Жил у моего хозяина, кузнеца, в сарайчике, и вдруг две лошадки хозяина ночью сбежали. Потом одна пришла, а другой нет. Ужасный плач был, и все сбились с ног, ходячи по лесам. Обруситель требовал 3 руб. «за показание следа». Чухны не верили ему, говорили: «покажи, а тогда дадим». Он не показывал. У нас же живут (или жили) рыбаки из-под Дерпта — староверы, дед 92 лет, отец 56 и два внука, молодые парни: староверы, беспоповцы. Очень хорошие люди. Пошел один парень шестки вырубать и видит в лесном болоте тучу комаров и слепней, которые над чем-то вьются… Оказалось, что из болота торчит голова лошади, а сама лошадь вся в болоте утонула. Староверы настлали досок и вытащили лошадь. И все враз

стали говорить, что это Ефим солдат нарочно спустил лошадей со двора и *загнал* их в болото, чтобы потом след указывать. За это его согнали со двора, то есть выгнали из сарайчика. Он ушел и сказал: «Ну, подожди же вы! Вы же меня будете знать!» И что же Вы думаете: поднялась буря, и из четырех рыбаков трое утонули — два парня и отец, а 92-летний дед один остался жив!.. Ну, разумеется, его кое-как снарядили домой, а солдат Ефим и говорит мне: «Поняли, что я над ними сделал?.. Это я их опрокинул…» Чухны, не знаю, поверили или не поверили, но не стали его к себе пускать, а он «объявил измену» и «определился в церковь» — стоять у двери и смотреть, чтобы с<укины> с<ыны> чухонцы «собаку в церковь не впустили». Вот «обруситель», которого лучше и не сочинишь, а он есть в натуре. Не описать ли его? Как думаете? Зла ведь от этого не будет, кажется.

Искренно Вас любящий и Вам благодарный
Н. Лесков.

Есть здесь приезжие из Москвы, с которыми есть кухарка, служившая некогда у известного «владыкина сына» протопопа «Гаврилки» — пьяницы, взяточника и картежника. У нее есть сын, «шульер в карты», и он «в шульерство вник

от владычнего сына и от протопопа Абросима, который теперь архиереем стал», а сына ее «за шульерство свели на высыл».

О протопопе же говорит: «Сколь он добр был: приедет пьяный и навзрыд плачет и все деньги дарит, — все дарит, а проспится и назад вдвойне спрашивает. Даст двадцать рублей, а говорит: я тебе триста дал».

Л. Н. Толстому

15 августа 1891 г., Шмецк.

Сейчас уезжаю из Шмецка на житье в Петербург (Фурштадтская, 50). Здоровье не поправилось и, очевидно, не может быть поправлено, но духовное мое состояние очень хорошо: я знаю, что я ничего не знаю и ни в каком деле не стою на своей стороне, но вижу нечто лучшее и полезное. Все лето читал Ваши писания, и они отлично пользовали мое сознание и дух мой. Был рад, получа от Вани Горбунова письмо, в котором он, между прочим, писал, что Вы обо мне вспоминали и говорили с ним. Мне очень радостно и полезно знать, что Вы считаете меня гожим для лучших дел, чем исключительная забота о личном счастье. Благодарю Вас за все добро, Вами мне уясненное и открытое, — Вы мне подарили покой и уверенность в том, что «избавитель наш жив и силен восстановить нас из худости здешнего бытия».

Прилагаю описание чудес Ивана Ильича в Ярославле. Может быть, Вы не слыхали про это. «О господи!»

Преданный Вам и благодарный

Лесков.

А. К. Шеллеру

31 августа 1891 г., Петербург.

Достоуважаемый Александр Константинович!

Окажите мне дружбу: пробегите препровождаемый при сем запас стихотворных опытов и, если можно, отберите из них, что удобно для помещения в «Живописном обозрении». Поэт этот юный человек и мой родственник, и потому я за него и ходатайствую перед Вами «по родству». Сделайте милость, дайте ему хлебнуть отравы типографских чернил! Он, конечно, малый хороший и очень любящий литературу. Может быть, из него со временем что-нибудь и выйдет. О гонораре, разумеется, нечего уславливаться: что дадите, то и ладно. Остальное, что останется от Вашего выбора, пожалуйста, пришлите мне. А я к Вам не кажу глаз потому, что все очень болен и не могу нигде показаться.

Глубоко Вас уважающий

Лесков.

А. К. Шеллеру

3 сентября 1891 г., Петербург.

Простите мне мое замедление в ответе на Ваше письмо, уважаемый Александр Константинович. Оправдание мое в том, что я не «прихварываю», а тяжко страдаю мучительною болезнию, не позволяющею мне даже ответить на письмо. Не редкие дни, а месяцы сплошь я только страдаю. За это и простите мне все, что может показаться какою-нибудь с моей стороны виною.

Обещание свое помню, но я не в силах ничего писать и ни о чем не могу думать по литературе. Если же мне хоть немножечко полегчает, — я сейчас же напишу для Вас небольшую вещичку, которая у меня помечена, когда я еще был здоровее. Вам первым и напишу.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Б. М. Бубнову

4 сентября 1891 г., Петербург.

Любезный друг Боря!

Александров не поставил твою «Паризину» в сентябрьскую книжку, как обещался. Это меня очень огорчило за тебя, тем более что ты был весьма скромен и терпелив. Я сам не могу выходить и еще более не могу вести каких бы то ни было разговоров и слушать вздорные объяснения, так как я знаю, что он сделал гадость. Но я выписал Величку и посылал к нему. Объяснения, конечно, вздорные — «недостаток места». А результат тот, что «Паризина» пойдет в октябре, и, может быть, не вся сразу, а в двух №№. Все это из-за «недостатка места». Ко мне сам Александров постыдился и глаз показать.

Остальные твои стихи я отдал Шеллеру (Михайлову) в «Живописное обозрение», где и должно появиться то, что он выберет. Он хороший знаток и ценитель поэзии и сам пишет стихи. Как что-либо будет напечатано — я тебе тотчас сообщу и пришлю №.

О поэзии твоей скажу тебе все то же: у тебя удивительно забитые темы, на которые очень

трудно писать что-нибудь способное трогать разумное чувство. Все это точно от личной тески и борьбы с какими-то мелкими дрязгами и докуками. Стоит ли об этом на весь мир плакаться? Еще Тредьяковский говорил:

Плюнь на скуку,
Морску суку,
Держись черни,
Но знай штуку.

Бери глубже, — поднимай свой дух и дух читателя, а не плачь, як козак, нещаслывый тым, що полюбив сиромаху.

Читал ли ты в августовской книжке «Русского обозрения» этюд из Шопенгауэра о «писательстве»? Прочти, если не читал. Посмотри в июльской книжке «Северного вестника» стихи Величко «из Омара Хаяма». Как он хорошо стал писать и как умно выбирает, что писать. Во втором отделе № IV и V просто превосходны.

Добросовестных и умных
Уважай и посещай —
И подальше без оглядки
От невежды убегай!
Если яд мудрец предложит, —

Не смущайся, смело пей!
Даст глупец противоядье, —
Вылей на землю скорей!

Какая прелесть! А № V еще лучше:

О, если я проник в храм твоего доверия, —
То слушай дам тебе спасительный совет
Любовию к тому, в чьей власти мрак и свет,
Молю не надевай одежды лицемерия,
Плаща ханжи не надевай! и т. д.

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

6 сентября 1891 г., Петербург.

Лев Николаевич!

Вероятно, Вы видели напечатанное в «Нов<ом> времени» извлечение из письма Вашего ко мне «о голоде». Я этого печатания не устраивал и им смущен. Дело вышло так: я прочитал Ваше письмо Ивану Ив<ановичу> Горбунову, а он попросил у меня с него копию и при этом сказал, что его вообще не надо скрывать, а надо сообщать людям, которые дорожат Вашими суждениями. Мы усмотрели и в самом письме Вашем как бы разрешение на это, выраженное в словах: «пишу это не для Вас, но для людей», и т. д. После этого я списал собственноручно копию с Вашего письма для Ив. И. Горбунова, но прежде чем успел его послать, был застигнут некиим Фаресовым (амнистированным лорисовцем), который очень дорожит всем, что от Вас к нам доходит. Я ему прочел о голоде, а он попросил у меня «списать» копию для себя. Я и дал, а через два дня увидел в «Нов<ом> времени» уже перепечатку из «Новостей»… Таков весь ход дела, и в нем моей вины столько, сколько я Вам объясняю. Вчера этот Фаресов был

у меня и рассказывал, что он «не утерпел» и ко мне будто заходил, чтобы «посоветоваться», да я был болен, и тогда он поступил без моего совета… Вот и все. Я же его не укорял, потому что это уже было бы бесполезно, да, может быть, как оно вышло, — так и хорошо я бы своего согласия на напечатание, конечно, не дал, а письмо меж тем может зародить в головах думающих людей полезные мысли. Однако, тем не менее, весь этот случай меня конфузит, и я считаю необходимым рассказать Вам, как дело было и в чем тут моя вина, в которой я и прошу у Вас себе извинения и прощения. Я знал этого деятеля за скорохвата, но человека очень честного и искреннего, и имел достаточные основания ознакомить его с Вашими мнениями о нынешнем «модном событии», как иные называют голод. Я уверен, что Вы найдете в себе столько доброты, чтобы простить мне этот случай, но я хотел бы, чтобы Вы поверили мне, что и легкомыслия-то с моей стороны не было, а так… Фаресов, усматривая в своей фамилии букву «ф», — вдруг пожелал скинуться «Фрейшицом» и сделал «волшебный выстрел». Прилагаю Вам при этом вырезку из № «Новостей», где появились выдержки из Вашего письма с послесловием «Фрейшица», написанным им (по его словам)

«в цензурных соображениях». По сущности, это совсем ничего собою не представляет. Еще раз прошу — простите меня, что все это случилось.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Б. М. Бубнову

<Середина сентября 1891 г.>

Посылаю тебе, любезный Боря, это письмо. Оно тебя должно успокоить за судьбу твоей «Парижины». И ты видишь тоже, что я твоих дел не оставляю в забвении. О других стихах, посланных в «Живописное обозрение», — пока еще ответа не могу дать. Я ведь все болею и ни к кому не хожу, а Шеллер (Михайлов), говорят, тоже захворал. Но то самое, что он мне не возвращает твоих стихов, — само по себе есть добрый знак: вероятно, он облюбовал из них хоть некоторые. Вообще сделаем, что возможно. А ты будь глубже в выборе тем… Посмотри-ка у этого Омара Хаяма — что за родник поэзии! А ты все словно хохол у садочку — одну свою вишенку отаптываешь!.. «Молю: не надевай одежды лицемерия, — плаща ханжи не надевай!» — «Жалкая страсть человека — подобна собаке цепной: крик ее — лай непристойный, докучный, без всякого толка… Дает она *мнимый покой*». — «*Зайца обманчивый сон!..*» Именно все это «заячий сон», с одним закрытым глазом и хлопающими ушами от страха утратить все, чем владеешь. Кажи нам, что есть крепкого

— за что можно удержаться, не делаясь жертвой случайностей и чужих прихотей, часто как раз рассчитанных на то, чтобы понизить в тебе «сына человеческого», которого ты обязан «вознести», и других к тому же склонить, и убедить, и «укрепить слабеющие руки». — В тебе есть теплая и добрая душа, но отчего у тебя так мал полет и размах крыльев? Ты думай более! Мне кажется, что ты все думаешь, что более важна прелесть стиха, а не сила и ясность животворящей мысли… Это ведь ошибка. Зови к жизни тех, кои уже столь давно умерли, что даже «смердят». Иначе на что все искусства и в числе их поэзия! Скука только от всего этого.

Н. Л.

Мне лучше быть с тобой в бордели, в кабаке

И промышленьями заветными делиться,

Чем без тебя, мой бог, идти в мечеть молиться!

А. К. Шеллеру

12 октября 1891 г., Петербург.

Достоуважаемый Александр Константинович!

Я поспал Вам несколько стишков моего родственника Б<убнова> и просил Вас, если можно, что-нибудь из них напечатать. Посмотрели ли Вы на эти «опыты» и как их нашли? Мне очень совестно утруждать Вас моими докуками, но нельзя миновать этого… Пожалуйста, не посердитесь на меня и что-нибудь мне ответьте.

Там, помнится, есть кое-что возможное для печати и не худшее того, что печатается. А впрочем, я не буду ни в малейшей претензии, если Вы мне возвратите эти опыты. Мне только нужно отвечать на вопросы поэта.

Искренно Вас уважающий

Н. Лесков.

Б. М. Бубнову

5 ноября 1891 г., Петербург.

Любезный друг Боря!

Я передам твои стихи в какую-нибудь редакцию, но не знаю, понравятся ли они, а мне они совсем не нравятся. Напечатать можно всё — бумага стерпит, и печатаются вещи очень слабые, но *зачем это* и какое в этом удовлетворение для писателя? Денег тут — грош, а славы и чести нисколько. Что это за доказательство того, «что часть меня большая от тлена убежит и будет жить?» Недоказанное верование ты подкрепляешь ничего не доказывающими мечтами своего воображения, как будешь сваливаться «серебром» с луны!.. Красотою это не поражает и нимало не убеждает в том, что существование нашего «умного» начала, вероятно, шло до того, как наши родители совокуплялись для нашего зачатия, и что потому можно верить, что оно продолжится и после того, когда тело наше, зачатое в яйце матери от семянных живчиков оплодотворившего ее самца, — уже не будет существовать. И на эту тему бездна написано стихов очень хороших. Зачем же еще все ту же самую материю тянуть,

и притом не с лучшего конца? Это вещи деликатные, рассуждая о которых легко сказать глупость или пустозвонство. Леопарди на это хорошо отвечал: «Я вечности не чувствую и с бессмертными не говорил». Вот и докажи ему вечность твоими мечтами о том, как ты станешь являться! По-моему, это не поэзия или по крайней мере — не здоровая поэзия. У тебя есть способность слагать стихи, но ты — мечтатель и даже — дитя. От этого надо себя избавить. — Очень рад, что имя, представляющее опасность для домашнего спокойствия, не произносится. Я действительно говорил с Колей два раза, что этого не надо касаться, но, может быть, он бы и сам это так сделал. Мы с ним друг друга, кажется, любим и, может быть, уважаем, но недалеко идем в согласовании наших взглядов; но, может быть, на этот раз я его немножко склонил к тому, что мне кажется более практичным, чем «киевский практицизм».

Андрей приедет ко мне в субботу, и я отдам ему твою записку. Он сходит и получит твои деньги, *если* они тебе еще не присланы. Перевод Андрея в Главное интендантство уже состоялся. Это очень приятно: убивать никого не нужно, и служба без карьеры и без отличий. Ему это очень нравится, а мне то нравится, что ему нравится. Незаметность

— превосходная вещь в жизни. Жаль только, что самое лучшее всю жизнь не видишь и узнаешь очень поздно, и потому-то драгоценно изречение: «Счастлив тот, кто умеет пользоваться чужим опытом» (не чужим *умом*, а — опытом).

Я тебе когда-то писал про девушку Морозову — племянницу Саввы Морозова, красавицу с 5–7 миллионами состояния. Я с нее кое-что зачертил в «Полунощниках» («Вестник Европы», ноябрь), но в ней неиссякаемый кладезь для восторгов поэта. Она на днях приезжала сюда просить, чтобы ей позволили раздать *миллион* голодным, но непосредственно — без попов и чиновников. Говорят, будто ей отказали. Она становится легендарною при жизни. Надо смотреть этих ангелов, которые сошли на землю и живут в нашей шкуре, а не тех, которые где-то в тумане фантазии.

Будь здоров.

Н. Л.

А. Н. Пешковой-Толиверовой

Вечером 21 ноября 1891 г.,
Петербург.

Александра Николаевна!

Если Вы захотите посетить меня или мы встретимся, — пожалуйста, не спрашивайте меня о моем здоровье и о «нашем Льве» и не говорите мне при мне, что я мало страдаю… Вы наносите мне этим ужасный вред и заставляете меня гореть на огненной сковороде по целым ночам. Как Вы не знаете несчастного состояния нервных больных, на которых все действует, — взгляд, а не только слова! Пренебрегите, пожалуйста, тем, какой у меня «вид»! Пусть его смотрит полиция. Иначе я буду от вас прятаться, как прячусь от многих других, не умеющих снисходить к тяжким моим терзаниям, о которых со мною или при мне вспоминать не следует.

Н. Лесков.

М. М. Стасюлевичу

11 декабря 1891 г., Петербург.

Милостивый государь
Михаил Матвеевич.

Я получил с почты заказное письмо от Вас со вложенным там конвертом от покойного Ивана Александровича Гончарова. Долгом считаю известить Вас об этом получении.

Я хотел бы приехать к Вам и поблагодарить Вас за напечатание моей работы и за доставленный мне гонорар, но тяжкая болезнь лишает меня этой возможности. Извините меня и примите заочно мою благодарность и мое сожаление, что я некоторым образом был причиною к грубостям, выраженным за меня вашему изданию. Утешаю себя только тем, что я тут ничем не виноват. А впрочем — и без вины виноватые порой прощенья просят. И я прошу его у Вас: простите!

Со всегдашним к Вам уважением слуга Ваш
Н. Лесков.

В. М. Лаврову

14 декабря 1891 г., Петербург.

Уважаемый Вукол Михайлович!

Я получил Ваше письмо, в котором Вы выражаете свои опасения по поводу имеющейся у Вас моей рукописи. Я этих опасений не разделяю, но и не позволю себе их оспаривать. «Все возможно в природе», и все веши, которых Вы опасались, так же преблагополучно прошли в других изданиях — не исключая даже «Ночи на острове Буяне», которая казалась у Вас кому-то «немысловною». Это Ваше дело разуметь как знаете. Но как рукописи нет надобности оставаться у Вас без цели, то я прошу Вас передать ее под расписку лица, которое будет за нею прислано от кн. Дм<итрия> Ник<олаевича> Цертелева. Я же постараюсь прислать Вам что-нибудь другое.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

Д. Н. Цертелеву

14 декабря 1891 г., Петербург.

Достоуважаемый Дмитрий Николаевич!

Я получил три дня тому назад письмо о присылке чего-нибудь вместо «Нэтэты», которая еще тоже не существует. А я болен и обещать ничего не могу, но у меня есть две работы, которые, кажется, могли бы у Вас пройти и сослужили бы Вам «надлежащую службу». 1) «Женские типы по Прологу», очень любопытные картинки *женских* нравов (счетом 36). Это около 4–5 листов. Рукопись давно готова и вполне отделана, но лежит «страха ради». В ней нет *ничего* нецензурного, но если ее направлять в духовную цензуру (как «Мелочи архиерейской жизни»), то все равно к ней придерутся по злобе и глупости и ее не дозволят. — 2) Есть в редакции «Русск<ой> мысли» мой очерк — очень веселый и не без шпилечки, но совершенно цензурный (как я понимаю). Получив Ваше письмо, я тотчас же запросил «Р. м.»: гож или не гож для них этот очерк. Запрос сделан с тем, чтобы дать Вам больший выбор. Сегодня я получил от Лаврова ответ, который при сем прилагаю Вам в подлиннике. Потрудитесь его

прочесть. На это я сегодня же написал Лаврову, что я прошу его выдать устрашающую его рукопись под расписку того лица, которое явится за нею от кн. Дм. Н. Цертелева. Письмо это посылается Лаврову одновременно с сим. Надеюсь, что это — самое удобное, что я мог для Вас сделать. Потрудитесь послать за моею рукописью и приступите к ее чтению без страха, памятуя, что «Р. м.» так же обоялась «Полуношников», «Горы» и «Часа воли божией». По-моему — моя работа, находящаяся в Москве, — совершенно цензурна, и написана она так, что никого не задевает. Впрочем — пошлите, возьмите, прочтите и сами с собой рассудите.

Более же у меня ничего нет, и я ничего не могу обещать по моей болезни.

Разумеется, я прошу Вас не замедлить ответом. У меня еще есть требования.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Д. Н. Цертелеву

14 декабря 1891 г., Петербург.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Через малое время по отправке Вам письма — получил с почты мою рукопись от Лаврова. Теперь буду ждать от Вас заказа: что делать, то есть посылать Вам эту страшноватую рукопись или нет. По-моему, она вполне цензурна, и печатать ее можно — особенно при некоторых полезных в деле связях. А впрочем — как себе хотите: другого у меня ничего нет, кроме обозрения Пролога («Женские типы по Прологу» — 36 женских характеристик. Тоже интересное). — Потрудитесь мне без задержки ответить.

Ваш *Н. Лесков.*

Д. Н. Цертелеву

18 декабря 1891 г., Петербург.

Достоуважаемый Дмитрий Николаевич!

Получил вчера второе Ваше письмо и думаю, что и Вы получили мое тоже второе, из которого должны были видать, какое qui pro quo вышло с рукописью. Получив ее, я, разумеется, захотел ее почитать и почеркать, и потом отдал переписать, с тем что, пока получу Ваш ответ, и рукопись будет готова в новом экземпляре. Это, однако, так не вышло: Вы, «ко удивлению общенашему» (с Вл. С. С<оловьевым>), ответили, а рукопись еще не готова… За мною маленькая неустойка! Но Вы не сомневайтесь — студент у меня аккуратнейший, и рукопись моя будет у Вас на праздниках, и, во всяком случае, до нового года. Вчера мы о ней рассуждали у меня (я, Влд. С. и Диллон), — и Влд. С. хотел, чтобы я передал рукопись ему, а он привезет ее Вам, но Диллон говорил, что лучше ее послать, так как Вл. С. может замедлить отъездом, а Вам нужно печатать. Подоспевшее к концу нашей беседы Ваше письмо решило дело: я *пошлю* Вам рукопись по почте. Рукопись эту я назвал иначе, как было: она называлась «Нашествие

варваров», а теперь будет называться «Заячий ремиз». Новое заглавие смирнее и *непонятнее*, а между тем оно звучно и заманчиво, что хорошо для обложки журнала. А переменить его было необходимо, потому что у тех, у кого была повесть с старым заглавием, есть обычай «советоваться» с теми, с кем отнюдь не надо советоваться. Стало быть, там заглавие уже замечено, и им опять махать перед глазом у них неловко — это увеличит трудности их положения, и Вашего тоже.

Относительно «Женских типов по Прологу» Влд. С. говорит, что мой запас «надо поделить», то есть одну работу отдать Вам, а другую — Стасюлевичу. Я готов сделать и так и этак, то есть обе Вам отдать или «поделить». По-моему, они обе цензурны и обе «читательны», но «Заячий ремиз» — веселее; а это не мешает «Р<усскому> обозрению», которое все идет «насупивши чело». Очень уж оно у Вас серьезно! По-моему, хорошо дать немножко передохнуть на неглупой шутке. А потому я «Ремиз» пошлю Вам, а «Женщин» Прологовых выдам головой Соловьеву. Пусть он их почитает и поступит с ними по своему благоусмотрению. Затем это все, мне кажется, теперь выяснено и улажено хорошо и с полным рачением к соблюдению Ваших интересов; а буде

что не так, то Вы, пожалуйста, поступите опять «ко удивлению общенашему» и мне напишите. Я постараюсь сделать, как Вам пригожее.

К этому еще нечто о себе. Что бы Вам хоть словцом обмолвиться о Собрании моих сочинений! Конечно, я ищу не похвал и мирволенья, но ищу внимания, которое мне дарят только мои недруги и противоумысленники. — Я ведь проработал 31 год… Неужели тут не о чем сказать слова?.. Талант ли у меня или не талант, но почему же он «больной»? Почему он не глупый, не неуклюжий, или, вернее всего, — не *непослушный*? Был ли бы он здоровее, если бы я их слушался?

Преданный Вам

Н. Лесков.

М. А. Протопопову

23 декабря 1891 г., Петербург.

Милостивый государь
Михаил Алексеевич!

Я прочел Вашу статью о моих сочинениях, и мне захотелось поблагодарить Вас за Ваш немалый труд — все это прочесть, и за Ваше доброе желание — быть справедливым. В последнем отношении Вы многого достигли, и если бы критики относились <так?> к авторам чаще — дело бы шло лучше, чем оно идет при злобных поношениях. «Ошибки всем людям свойственны», и суровости может быть достойно только одно лицемерие, коварство или вообще заведомое криводушие. Этого во мне не было никогда, и Вы ошиблись, если где-либо Вам это показалось. Я, конечно, не стану полемизировать с Вами, как потому, что я этого не люблю, так и потому, что я желаю водворения между мною и Вами отношений доброй приязни, а не пререканий; но критике Вашей (вообще мне *приятной*) — недостает *историчности*. Говоря об авторе, «хотя не законченном, но самозаключившемся», — Вы забыли его время и то, что он есть дитя своего

времени. Мне просто надо было снять с себя путы, опутывающие с детства дворянское дитя в России. Я бы, писавши о себе, назвал статью не «больной талант», а «трудный рост». Дворянские тенденции, церковная набожность, узкая национальность и государственность, слава страны и т. п. Во всем этом я вырос, и все это мне часто казалось противно, но… я не видел «где истина»! Потом соприкосновение с превосходными людьми освободительной поры, которые жаловались, что «им мешали Белоярцевы». Я верил, что без этой помехи было бы достижимо лучшее. В этом моя ошибка, но не злоба. Райнер *не* «маньяк», а мой идеал. Лиза — тоже. Она говорит (после его казни) — «с теми у меня есть хоть *общая ненависть*, а с вами (родными) — ничего!» «Некуда» искалечено, как ни одно другое произведение. Кроме обыкновенной цензуры (де Роберти), корректуры марали Турунов, потом Веселаго и, наконец, чиновник из III отделения; а Вольф при втором изд. так обошелся, что хотел восстановить вымарки, но вместо того потерял или, может быть, даже скрыл от меня мой единственный экземпляр, собранный из коррект<урных> полос. Катков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания «Захудалого рода»

сказал Воскобойникову: «Мы ошибаемся: этот человек *не наш!*» Мы разошлись (на взгляде на дворянство), и я не стал дописывать роман. Разошлись вежливо, но твердо и навсегда, и он тогда опять сказал: «Жалеть нечего, — *он совсем не наш*». Он был прав, но я не знал: чей я? «Хорошо прочитанное евангелие» мне это уяснило, и я тотчас же вернулся к свободным чувствам и влечениям моего детства… Я блуждал и воротился, и стал *сам собою* — тем, что я есмь. Многое мною написанное мне действительно неприятно, но лжи там, нет нигде, — я всегда и везде был прям и искренен… Я просто заблуждался — не понимал, иногда подчинялся влиянию, и вообще — «не прочел хорошо евангелия». Вот, по-моему, как и в чем меня надо судить! Но Вы обо мне все-таки судили *лучше* всех прочих, до сих пор писавших. Все поносившие меня без пощады брали так же мелко и односторонне, как и хвалители. В Вашей критике есть трезвая правда и польза для меня самого. Есть замечания очень верные и прекрасные. За все это и благодарю Вас. — Если бы я был здоров — я бы сам пришел к Вам, но я очень болен, и Вы меня не осудите.

Искренно Вам признательный
Н. Лесков.

Письма 1892 года

А. С. Суворину

4 января 1892 г., Петербург.

Усердно благодарю Вас, Алексей Сергеевич, на добром слове. За все хорошее и дурное — благодаренье богу. Все, верно, было нужно, и я ясно вижу, как многое, что я почитал за зло, послужило мне к добру — надоумило меня, уяснило понятия и поочистило сердце и характер. Я благодарю Вас, потому что как же принимать внимание в дар, не сказав благодарного слова? Во всем длинном прошлом поведение мое перед Вами без единого пятнышка. Это мне большая радость! Я любил с сочувствием говорить о Вас даже во всю пору моего злострадания, в костер для которого метнута и Ваша головня. Не знаю, чему я обязан, что это никогда и ни на минуту не подняло во мне ничего похожего на злобу. Ровным ко мне Вы не были и не могли быть, — у Вас такой характер; и Вы, вероятно, когда-то получили на мой счет предубеждения, в которых я, может быть, виноват, а Вы их потом не захотели проверить. Я недавно пробегал нашу переписку. Замечательно, что Вы всё сердитесь, а я все уступаю и стараюсь смягчить Вас. Такие случаи бросаются в

глаза, и мне было это радостью: я был «сын мира». Вы пишете про «вспышки» По отношению ко мне они, разумеется, не имеют значения, но они — большой вред человеку. От нас ведь непременно ложится где-то тень, и наше будущее будет сообразно этой тени. Вспышки можно одолеть. Пошли это Вам милосердный отец наш. — «Дебюты» мои меня не радуют и не печалят. Я пишу, потому что надо есть хлеб от своего труда. Если завтра я получу возможность заработать хлеб иначе, — я не стану писать. — «Вестника Европы» я не искал, и он меня тоже. И напечатать в нем что-то я не почитаю себе за честь. Я удивляюсь (искренно), что этакое пустое и незначительное обстоятельство могло вызвать столько шума и ожесточения! О В<икторе> П<етровиче> я уже не могу и говорить: я увидал что-то ужасное и скорее положил лист и не стал читать. (Я ведь очень тяжело болен) Меня ужаснул весь этот шум из-за пустяков. Было время (10 лет тому назад), когда Ан<атолий> Ф<едорович> Кони заботился сблизить меня с «В. Е.», но я этим не пользовался; потом, года четыре назад, об этом говорил Гончаров, но я опять ничего не делал; а теперь случилось так, что зашел ко мне Влад. Соловьев и спросил: «Нет ли чего нового прочесть». Я ему

дал рукопись, которая лежала у меня на столе. А он ее взял читать и потом (по его обыкновению), смеясь, сказал мне: «А я рукопись отдал С<тасюлеви>чу, и от Вас благодарит». Только всего и греха моего перед скромностью. Мне, конечно, было очень неприятно быть виновником такого беспокойства, но я решительно ничем не виноват. У меня очень много пороков, но я не честолюбив и не славолюбив, да и что тут за честь такая! Я, право, не вижу ничего себе особенно лестного и — ей-право — был более всего сконфужен оттого, что это представляли за что-то необыкновенное для меня… Я ничем тебя не мню высоко. Мне кажется, что я в литературе занимаю такое место, какое занимал когда-то актер Зубров в труппе. Я — некоторая пригодность, — и только.

Ваш *Н. Лесков.*

Я бы непременно пришел к Вам, да мне нельзя идти на лестницу.

А. К. Чертковой

4 января 1892 г., Петербург.

Уважаемая Анна Константинова.

Я получил Ваше письмо, прочел его и благодарю Вас за то, что Вы его написали и прислали. Замечания и дружеские укоризны, которые я нашел в этом письме, вполне мною заслужены и правильны, и я их принимаю и надеюсь, что они мне послужат на пользу. Вы ведь, конечно, знаете, что я Вас люблю и уважаю несколько особенно — имею к Вам какую-то, самому мне неясную, мистическую симпатию, и потому мне отрадно говорить с Вами и хочется быть с вами в согласии. И я хотел бы говорить в Вами обширно, а поговорю вкратце, потому что я очень болен, а предмет нашего разговора таков, что будет волновать меня. Поэтому если у Вас (по Вашему мнению) писано без последовательности, то у меня будет все без мотивов. — Я никакой вражды к Вл<адимиру> Гр<игорьевичу> никогда не чувствовал и теперь не чувствую. Я знаю, что мы «одного духа», и не сомневаюсь, что во всяком данном случае мы можем действовать сообразно одной цели и по одному образцу, и я люблю Вл. Г — ча и

знаю, чту в нем достойно любви и уважения. Сам я не только не лучше его, но я непременно хуже его (например, по запоздалости моего обращения и по сравнительной слабости моей борьбы с страстями), но я его считаю теперь за человека, склонного к подозрительности, и потому я непременно буду опасаться этой его черты; а при таком взаимном недоверии и остерегании себя друг от друга мы уже не можем пользовать один другого духовно, а непременно должны друг друга духовно портить. Можно повелевать своему разуму и даже своему сердцу, но повелевать своей памяти — невозможно! Она все будет хранить то, что в ней отпечатано. Я уверен, что мы с Вл. Г. можем без всякого уговора действовать заодно, но беседовать нам трудно, а вместе пойти или поехать — я с ним уже не считаю возможным, как для своей, так и для его же пользы. Я просто питаю страх к подозрительным людям и всегда уходил от них, чтобы не искушать их и не досаждать себе. По этой же форме отлились и отношения мои к Вашему мужу, которого, при всем этом, я нежно люблю и видел бы его с радостью, но… я всегда вспомню и вздумаю: «А не возбуждаю ли я опять в нем сомнений?!» — То же чувствует к нему и друг наш Н. Н. Ге, с которым В. Г. по-

вторил то же самое, что и со мной. Так вот Вы и скажите мне практически: что именно я должен сделать, чтобы получились бы такие отношения, какие Вы хотите восстановить между мною и В. Г — чем? Скажите просто, и в сердце моем есть столько любви к Вам и веры в Вашу искренность, что я пущусь на Ваше слово и сделаю то, что Вы скажете. Думаю, что этим я кладу мое сердце в Вашу руку. Помогите же моей памяти…

Что над Л. Н. «смеются», это ничего. И над нами смеются, и я знаю, когда этому надо радоваться, и радуюсь, но… «если я знаю, что через это претыкается брат мой, — лучше я этого не буду делать».

С братской любовью и уважением целую Вашу руку.

Н. Лесков.

Д. И. Цертелеву

23 января 1892 г., Петербург.

Достоуважаемый Дмитрий Николаевич!

Очень сожалею, что Вы меня вчера не застали. Однако это — совершенная случайность. Я почти не выхожу из дома, а в этот вечер мягкая погода выманила меня прокатиться. С утра *до 2-х часов* я никогда не выхожу из дома и с 6-ти вечера тоже бываю дома. Но вечерами я по большей части бываю слаб и ненадежен, а утром нервы мои спокойнее и я бодрее. На всякий случай я приготовлю Вам «Женские типы по Прологу», — это любопытно и не острее статей Ключевского «Жития святых как исторический материал», но я уж и разобрать их могу теперь: «что льзя и то, чего не можно».

Ваш *Н. Лесков.*

С. Н. Шубинскому

18 марта 1892 г., Петербург.

Фельетон о балах очень хорош, то есть — любопытен, обстоятелен и толковито написан, по обдуманному и ранее сочиненному в голове плану. В это ужаснейшее время разнузданного литературного neglige[35] и это уже заставляет радоваться или по крайней мере не создает повода к мучению для литературного вкуса, и за это Вам спасибо. А «дань своему веку» все-таки и Вами воздана!.. Где это Вы слыхали, что «рука» будто может «встряхивать болото»?.. Как может это переносить Ваше ухо и как такая нелепица может согласоваться в умопредставлении образованного человека? Рука Петра могла расшевелить застоявшееся болото и разворошить его, или освежить, или очистить, но… «встряхнуть болото». Вы только подумайте: как это так представить, что болото встряхивают!.. Как Вам это не стыдно так писать?!. Была грязная улица, но проехал генерал Ш<у>б<инский> и «встряхнул ее». Что за нелепость! Как это быть может?..

---

[35] Примечания: 35
Неглиже, небрежности (*франц.*).

Вы не во всем «за обществом»-то поспевайте, а держитесь кое в чем и лучшего, чем то, что оно теперь одобряет и ободряет. А впрочем, как Вам угодно.

Сегодня и завтра (в четверг) ухожу из дома в 2 ч. непременно.

Преданный Вам

Н. Лесков.

С. Н. Шубинскому

23 марта 1892 г., Петербург.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Писавши Вам о Вашем фельетоне с похвалою его обстоятельному изложению, я все-таки, кажется, погрешил против тона дружелюбия, которого был обязан держаться. Ненавистные недостатки характера всё приводят меня к резким словам, о которых я после сожалею и стараюсь себя за них исправлять сознанием своей виновности. А потому, если в письме моем было что-нибудь неуместное, то простите мне это и верьте, что это было сказано не с худым намерением, а с хорошим; а только сам я очень нехорош, и через это у меня часто и хорошее нехорошо выходит.

Пожалуйста простите!

Преданный Вам

Н. Лесков.

Б. М. Бубнову

21 мая 1892 г., Петербург.

Любезный друг Боря!

Письмо твое получил. Переводы из Оссиана пришли мне: я подумаю, как их устроить. Все равно — пришли. О значении Оссиана думают разно, но более глубоких взглядов люди чтут его поэзию *за самое ее свойство*, а не судят о ней только «исторически». Я люблю Оссиана и нахожу его поэзию прекрасною. Так же она нравится Влад. Соловьеву. Но есть — которым она не нравится. — Писать я тебе советую продолжать: у тебя есть стих и чувства очень хорошего сорта. Библию прочесть надо. Там есть дивные книги, но не все. Читал ли ты брошюру Генри Друмонда (перевод Долгова) «Самое великое в мире»? Советую прочитать и потом еще и еще раз прочитать. В литературе совсем не «всё отрицания». Ты напрасно так огорчаешься на литературу. Являются вещи превосходные и оживляющие.

Очень рад, что жажда света в духе твоем не утоляется, а горит. «Кто ищет — тот и найдет». Не дай бог тебе познать успокоение и довольство собою и окружающим, а пусть тебя томит и мучит «свя-

тое недовольство». Тогда будешь расти, а иначе «одебелеет и утучнится сердце твое, и будешь яко свиния в теплом кале», — от чего и да сохранит нас живой бог, «живущий в *движении* естества».

Любящий тебя

Н. Лесков.

Выезжаю завтра. — Адрес: Нарва, Шмецк, 4.

А. С. Суворину

11 октября 1892 г., Петербург.

Здесь все Ваши письма, которые я от Вас получал и сохранил, а теперь желаю возвратить их Вам при себе. Прошу Вас не объяснять этого ничем иным, как моим желанием, чтобы при какой-нибудь случайности письма эти не попали в руки людей посторонних.

Н. Л.

А. С. Суворину

12 октября 1892 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

Я послал Вам Ваши письма не в надежде получить за них от Вас благодарность. Мне ничего не нужно. Я болен ангиною, которая не шутит и не медлит. Я не хотел угнетать себя мыслью, что *без меня* станут делать из писанных ко мне писем такое употребление, какого я не хотел. Другие письма я мог бы сжечь и быть покоен, но с Вашими я не хотел этого сделать, потому что знаю, что есть толки, будто я вел записки и оставлю в них расплату с людьми, которые обходились со мною не с добром. А так как это *ложь*, то я послал Вам Ваши письма, чтобы Вы их уничтожили сами. Больше ничего. Благодарить меня Вам, конечно, не за что. О моих письмах тоже не заботьтесь: такое или иное отношение к ним для меня уже не имеет никакой разницы. Помню, что я всегда искал мира и берег его и другим не вредил. Словом — это не важно. Мне важно то, чтобы знали, что я на Вас ничего не собирал, не составлял и составлять не намеревался и не буду. Мне ничего не нужно от Вас, а Вам от меня, но между нами

все чисто. Вот и все.

Мяса не ешьте. Это дело в виду у всякого, кто захочет быть к себе внимательным. В Одессе одною умнейшею дамою написана чудесная книга для стола без убоины. Жаль, что все это так не скоро издается. Надо бы поднимать пищевые вопросы к предстоящей гигиенической выставке: Вы, бывало, хорошо чуяли, что своевременно… Подумайте-ка об этом не с рутинерами и с обжорами!.. Землю-то надо обратить в «рай» — в «сад, насажденный богом» (умом). Этика пищи — великий вопрос. Не должно быть голодных и обжор! Теперь 9/10 пищевых продуктов пропадает даром. Неужто это так и следует? — Курить надо бросить. Я давно не курю и вина не пью, но привычка курить *всех* других сильнее. Но все равно — надо бросить. Моя болезнь (ангина), конечно, неизлечима, но с тех пор, как я не ем мяса (теперь как раз год), — я страдаю меньше, и могу читать, и иногда могу писать. Другое мне *ничто* не помогало. К вегетарианству я перешел *по совету Бертенсона*; но, конечно, при собственном моем к этому влечении. Я всегда возмущался «бойнею» и думал, что это не должно быть так.

То, что я Вам писал о нищете Соловьева-Несмелова, лежавшего в окровавленных лохмотьях,

не было «шантаж». Если бы Вы тогда захотели узнать, что это было, — Вы бы не сделали одного очень прискорбного дела, о котором надо жалеть. Меня же Вы не обидели. Такой укоризной меня обидеть нельзя.

Да будет мир в сердце Вашем.

Н. Лесков.

А. С. Суворину

9 ноября 1892 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

Позвольте мне обратиться к Вам не как к редактору и издателю газеты, а как к товарищу по перу, который сам писал и рассказы по легендам. В «Русск<ом> обозрении», которое рвется превзойти «Гражданин», напечатана статья Георгиевского (не красноносого), в которой укоряют меня за «фальсификацию Пролога» по случаю рассказа «Пруденций». Это уже было раз сделано по другому поводу («Аскалонский злодей») в «Нов<ом> вр<емени>», и Вы потом разъяснили в мое оправдание, что тема Пролога не обязательна к точному ее воспроизведению. Тема как тема, а я могу из нее делать, что нахожу возможным. Иначе на что бы ее и переделывать, а надо бы брать ее просто и перепечатывать… И вышло бы просто и глупо, как сам Пролог. Но профессор университета этого не понимает!.. А что касается «Пруденция», то я с ним думал долго и советовался о нем с Гончаровым, и прилагаю Вам при этом подлинное письмо большого художника, из коего Вы увидите, что Гончаров тоже обдумывал

мою тему Пруденция и находил ее невозможною в том виде, как она в Прологе. И я ею пользовался только как темою, а развил ее как умел — свободно, и от части при содействии Гончарова. — И вот это вина, это преступление против православия!.. Прочтите, пожалуйста, письмо Гончарова и возвратите его мне.

«Сказанием» это озаглавил Чертков, а у меня она названа «повесть», и я, конечно, мог ей дать любую развязку, так как я источника не указывал. Да хоть бы и указывал, то ведь исторические повести могут же отступать от исторического учебника. — Что же это за придирки!.. И это профессора!

Ваш *Н. Лесков.*

Л. Н. Толстому

4 декабря 1892 г., Петербург.

Многочтимый Лев Николаевич!

Ан<атолий> Ф<е>д<о>рович> Кони вчера прислал мне письмо, в котором просит совета, что ему прочитать, дабы приготовить себя к рассмотрению «во множестве поступающих дел о штундистах». Я продумал всю ночь и не мог остановиться ни на одном произведении, которое бы дало-*обер-прокурору* основания судить о штундистах с сохранением к ним жалости и уважения, и из всего, что я знаю, мне наилучшим показалось старое магистерское исследование Ореста Новицкого «о духоборцах». Там именно есть *основания*, которые *одинаковы* у духоборцев, иконоборцев, молокан и штундистов. А разницы, между ними существующие, не делают различия в основах их веры, и потому все сектанты этого духа могут быть защищаемы на одной и той же почве. Книжка же Новицкого хороша тем, что она кратка, ясна и кодифицирована, а церковная злоба в ней умещена в местах очевидных и благопотребных. И потому я указал Кони на эту книжку по преимуществу.

Усердно прошу Вас дать мне короткий, но скорый ответ: не сделал ли я ошибки и не можете ли Вы мне указать, как я должен исправить то, в чем ошибся?

Пожалуйста, дайте ответ.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Письма 1893 года

Л. Н. Толстому

4 января 1893 г., Петербург.

Достоуважаемый Лев Николаевич!

Сегодня вошли ко мне Ваня Горбунов и Сытин и сказали, что Вы знаете о моем нездоровье и даже хотели приехать, чтобы навестить меня… Меня это ужасно взволновано и растрогало, и я сладко и радостно плакал. Я не хочу говорить Вам о моих к Вам чувствах. Вы человек проницательный, и не нужно Вам высказывать то, что в словесном выражении теряет свою сущность и усваивает нечто ненужное. Вы знаете, какое Вы мне сделали добро: я с ранних лет жизни имел влечение к вопросам веры и начал писать о религиозных людях, когда это почиталось за непристойное и невозможное («Соборяне», «Запечатленный ангел», «Однодум» и «Мелочи архиерейской жизни» и т. п.), но я все путался и довольствовался тем, что «разгребаю сор у святилища», но я не знал, с чем идти во святилище. На меня были напоры церковников и Редстока (Засецкой, Пашкова и Ал. П. Бобринского), но от этого мне становилось только хуже; я *сам* подходил к тому, что увидал у Вас, но сам с собою я все боялся, что это ошибка,

потому что хотя у меня светилось в сознании то же самое, что я узнал у Вас, но у меня все было в хаосе — смутно и неясно, и я на себя не полагался; а когда услыхал Ваши разъяснения, логичные и сильные, — я все понял, будто как «припомнив», и мне своего стало не надо, а я стал жить в свете, который увидал от Вас и который был мне приятнее, потому что он несравненно сильнее и ярче того, в каком я копался сам своими силами. С этих пор Вы для меня имеете значение, которое пройти не может, ибо я с ним надеюсь перейти в другое существование, и потому нет никого иного кроме Вас, кто бы был мне дорог и памятен, как Вы. Думаю, что Вы чувствуете, что я говорю правду. За одно ваше намерение посетить меня я Вам благодарен до слез, но мне лучше, и Вам не нужно обо мне думать. Приезд Ваш взволновал бы меня до чрезвычайности, и я истерзался бы, думая, как все это сойдет? За Вами бы бегали, о Вас бы писали, и получилась бы целая каша. Восхитительная радость моя видеть Вас была бы вся истерзана тревогою… Хорошо, что Вы не поехали. Напишите мне письмо такое, которое могло бы пользовать дух мой, подвергавшийся нападениям страха… Из ста ступеней до края я прошел наверно 86 и не имел определенного

желания возвращаться опять к первой и опять когда-нибудь начинать те же 86 наново; страха ухода уже не было, но был какой-то бесконечный, *суживающийся* коридор, в который надо было идти и… был страх и истома ужасные. Я читал главы из книги «О жизни», читал, чту есть об этом у Вас в других местах и у Сократа (в Федоне), и все-таки с натиском недуга суживающийся коридор приводил меня в состояние муки… Теперь меня согревает утешительная радость, которой дух мой верит: мне как будто сказано, что я уже был испытан и наказан страхом и что это уже отбыто мною и прошло, и после этого я буду избавлен от этого страха, и когда придет час, я отрешусь от тела скоро и просто. И эта уверенность меня радует. По болезненности моей я теперь все попадаю в этот круг мыслей и не могу из него выйти. Снизойдите к моему настроению и поговорите ко мне в этом духе, чтобы слово Ваше принесло мне разъяснение и утверждение о том, о чем я думаю. На дух мой болезнь имела благое влияние, — я увидал еще свою черноту и, к ужасу, заметил, как много я занимался опрятностью других людей, вместо того чтобы себя смотреть строже. И многое, что казалось важным до этой болезни, стало совсем не важно. Рад, что могу писать Вам, и всем

Вашим кланяюсь, а от Вас буду ждать утешения и посилья моему помявшемуся духу.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

10 января 1893 г. Петербург.
Воскресенье, вечер.

Горячо благодарю Вас, Лев Николаевич, за Ваше письмо. Оно принесло мне то, что было нужно: «у *нее* кроткие глаза», и Вы ее уже не пугаетесь и с нею освоились. Это имеет много успокоительного. Думать «о ней» я привык издавна, но с болезни моей овладел мною ужасный, гнетущий страх, — я, кажется, просто боялся *физических* ощущений от того, что «берут за горло». Когда меня мучит ангина, я все помню и хочу овладеть собою: припоминаю «тернием окровавленную главу», вспоминаю кончину Филиппа Ал<ексеевича> Терновского (удивительную по благодушному спокойствию) и думаю о Вас, но боль все превозмогает, и я теряюсь от страданий и трепещу, что они могут достигать еще высших степеней мучительства. Умереть есть дело неминучее, и мучителен не шекспировский страх «чего-то после смерти». Это не страшно, но страшат *муки* этого перехода. Терновский (который очень любил Вас) умирал, претерпев множество унижений, лишений и угроз от мстительности

Победоносцева, но все был весел и шутил. Умирая, он попросил карандаш и слабою рукою написал: «Одно печально в моей смерти, что Победоносцев может подумать, что он мог убить человека». Когда Лебединцев прочел, — умирающий ему еще улыбнулся и вскоре отошел. И сколько людей исполняют это с достоинством, а страх все это может обезобразить, испортить. Вот где причина и место страха. Если можете, скажите мне что-нибудь на это, вдобавок к тому, что у нее «кроткие глаза». Ваши слова мне все в помощь. Мне стыдно приставать к Вам, но я слаб и ищу опоры у человека, который меня сильнее, — не оставьте меня поддержать. Я, конечно, очень рад, что Вам не противно то, что я пишу. Когда я пишу, — я всегда имею Вас перед собою и таким образом как бы советуюсь с Вами. «Импровизаторов» я писал сравнительно здоровый, а «Пустоплясов» при 39° жара в крови. Как я их написал — и не понимаю! И все это наскоро, и кое-как, и в отвратительных условиях цензурности, при которой нельзя делать поправок в корректуре… Там есть вымарки очень бессмысленные, но вредящие ясности рассказа. А самый рассказ пришел в голову сразу (за неимением сюжета) после спора о Вас с Татищевым в книжной лавке. «Что бы сказа-

ли мужики, да что бы сказал он мужикам?» Я и сделал наскоро такой диалог в мужичьей среде на темы, с которыми лезут в разговорах о Вас. — Третьего дня была у меня Люб<овь> Як<овлевна> и говорила, что ей цензор сказал, что «он все узнал», а узнал он то, что его «подвели», потому что «пустоплясы — это дворяне, а на печи лежал и говорил Толстой»… Сытину теперь этого рассказа будто уже не позволят. Вот чем заняты!

«Сев<ерному> вестнику» желаю всякого успеха, но боюсь, что они с этим делом не справятся: задавит их «макулатура», которой они волокут большую груду и освободиться от нее не умеют. А потом их угнетает цензура, и они от нее тоже не избавятся. Письма Смирновой о Гоголе и о Пушкине будут иметь свое *литературное* значение для литературного круга, но читателя они не привлекут. Притом я боюсь, что оба писателя в рассказах Смирновой выйдут сентиментальными и не в большом интересе, а особенно Гоголь может выйти раскрашенным в те именно краски, которые надо бы с него по возможности *сводить*, а не наводить их гуще. Пока журнал под цензурою, ему, разумеется, будет хуже всех, которые издаются без цензуры, и потому работать в нем особенно трудно. Из Ваших 12-ти глав я читал 7.

По-моему, все это нужно, и все хорошо, и все «на пользу». Не оставьте меня добрым словом.

Любящий Вас

Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

11 января 1893 г., Петербург.

От всего сердца благодарю Вас, Лидия Ивановна, что Вы меня навестили. Это очень мило с Вашей стороны и глубоко меня тронуло и обрадовало как за себя, так и за Вас и за род человеческий, которому нужны люди с жизнеспособными сердцами. Потом мне досадно, что я совсем не мог говорить с Вами, и я боюсь, что Вы не скоро зайдете ко мне во второй раз. Пожалуйста, знайте, что я чувствую, сильное сродство с Вами и имею духовную потребность Вас знать и иметь с Вами умственное общение. Если Вам не тяжело, подарить мне иногда часок Вашего времени, — пожалуйста, навестите меня и знайте, что для меня с Вами приходит интерес к жизни и радость от встречи с разумением жизни. «Мимочкой» я, конечно, занят очень сильно и очень интересуюсь знать, какими сторонами Вы ее теперь поворачиваете к солнцу, но я не думал давать Вам советов… Я просто очень заинтересован. Читать до отделки своих работ никогда не следует, но просматривать отделанное с тем, в ком есть понимание дела, — очень хорошо. Любой художник

Вам скажет, что собственный глаз иногда (и даже часто) «засматривается» и не замечает, где есть что-то, требующее пополнения или облегчения. Иметь перед собою толкового слушателя — это не значит, подвергать себя опасности «перестать быть собою». Л. Н. читает свои вещи по рукописи, и Гоголь и Тургенев делали то же. «Мимочка» есть мастерское произведение, но ведь Ваве на Кавказе надо было положить какую-то черточку, которой не положено, вероятно, потому, что «глаз присмотрелся» и не замечал. Простолюдинов Вы описываете не так смело и бойко, как светских людей, но няньки в беседке все-таки превосходны, а армянин с Катею не получили от Вас всего, что им было нужно и что Вы могли им дать, вполне оставаясь «сама собою». — Вам нечего бояться: у Вас ясный ум, прекрасно настроенное чувство и большой талант.

Дружески Вам преданный
Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

13 января 1893 г., Петербург.

Благодарю Вас за Ваш ответ и за обещание навещать меня, но скорблю, что Вы, должно быть, горды… Однако я буду стараться не бояться этого, хотя вообще я боюсь людей гордых. Двойственность в человеке возможна, но глубочайшая «суть» его все-таки там, где его лучшие симпатии. «Где сокровище ваше, — там и сердце ваше».

О «Мимочке» я могу не говорить, но какое это лишение и зачем оно. Разве мы «кружева плетем», а не идеи на дьяволов. Ведь у нас есть общая идея, в преданности которой есть наше «сродство», и вот о способах служить этой-то самой идее и надо «не говорить»… Какой ужас. Мучительная, проклятая сторона, где ничто не объединяется, кроме элементов зла. Все желающее зла — сплачивается, все любящее свет — сторонится от общения в деле. Л. Н. много сделал, чтобы поставить это иначе, но я боюсь, что с ним это направление и пройдет…

Однако я в моей жизни так много перемучился за литературу и так много говорил о «Мимочке», что могу дать Вам обещание не говорить о ней

более. Я скажу напоследях только одно: я хотел этой вещи занять такое место, чтобы она не только «нравилась» (как кружева), а чтобы она «жгла сердца людей», и Вы должны ее довести до этого.

Простите.

Н. Лесков.

Вчера я писал Льву Н-чу и сообщил ему, что Вы меня навестили, и что я был этим очень счастлив, и что Вы пришли ко мне, так сказать, «во имя его», стало быть он как бы был среди нас. — Я ведь Вам не сказал, что он хотел приехать ко мне… Это меня очень взволновало, потому что имело множество таких сложностей, которых совсем не надо.

Когда я здоров, я ухожу гулять в 2 часа; до 2-х работаю, в 5 обедаю и потом во весь вечер остаюсь дома. Когда бы Вы ни зашли ко мне, я всегда буду этим очень обрадован.

Хотелось бы знать: могу ли я прийти к Вам, когда мне будет лучше? Я боюсь стеснить Вас своим визитом.

Л. И. Веселитской

20 января 1893 г., Петербург.

Письмо Ваше прекрасно и дало мне прекрасные впечатления, за которые и благодарю Вас. Подвижность Вашей живой души приносит большую радость за «сына человеческого». Белинский говорил о женщинах, едва ли представляя себе лучшие образцы женского ума. Впрочем, он знал Ж. Занд. Послал бы Вам «критику богословия» Л. Н-ча, но Вы, может быть, пишете, и отрывать Вас не надо. Я ее нашел, и она к Вашим услугам. Вчера был у меня сын Л. Н-ча (Лев Львович, только что приехавший из Москвы) и рассказывал, как принято было мое извещение о встрече с Вами. Льву Л-чу очень хочется с Вами свидеться перед отъездом. Он придет ко мне проститься завтра, то есть 21 янв<аря>, в четверг, во 2-м часу дня. Я ему сказал, что я извещу Вас о его желании с Вами встретиться, чтобы еще ближе ознакомить с Вами отца по собственным, личным впечатлениям. Мы оба думаем, что Вы не найдете в этом ничего неудобного и придете ко мне завтра, во 2-м часу, чтобы познакомиться с сыном любимого и уважаемого Вами «великого человека» и нашего

общего друга.

А «скучать» по Вас я склонен ежедневно.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Нельзя ли дать мне знать: придете Вы или нет? Это нужно для того, чтобы не было никого постороннего.

Из тех, кого встретила на Кавказе Вава, кто-то (может быть, гувернантка актрисы) должны были открыть ей, что «в делах и вещах нет величия» и что «единственное величие — в бескорыстной любви. Даже самоотвержение ничто по себе». Надо «не искать своего». В этом «иго Христа», — его «ярмо», хомут, в который надо вложить свою шею и тянуть свой воз обоими плечами. Величие подвигов есть взманка, которая может отводить от истинной любви. И Скобелев искал величия. В Ваве надо было показать «поворот вовнутрь себя» и пустить ее дальнейший полет в этом направлении, в котором бы она так и покатилась из глаз вон, как чистое светило, после которого оставалась бы несомненная уверенность, что она где-то горит и светит, в каком бы она там ни явилась положении.

Прекрасней облик этот не обстановочная фигура в роде нянек и армянина, а это «перелом лучей

света», и недоговоренность, незаконченность этого лица есть недостаток в произведении умном и прекрасном.

Я об этом всегда буду жалеть, если Вава нигде дальше не явится и не покажет: «куда ее влекли души неясные стремленья».

Я читал «Мимочку» четыре раза и, получив книжку от автора, прочитал еще в пятый раз. Повесть все так же свежа, жива и любопытна, и притом манера писания чрезвычайно искусна и приятна. «Мимочку» нельзя оставлять: ее надо подать во всех видах, в каких она встречается в жизни. Это своего рода Чичиков, в лице которого «ничтожество являет свою силу». Одно злое непонимание идеи может отклонять автора от неотступной разработки этого характерного и много объясняющего типа.

Я не нахожу в «Мимочке» никакого порока: по-моему, там все гармонично и прекрасно. Чтобы указать на какой-нибудь недостаток, надо придираться к мелочам и так называемым «запланным» фигурам (например, Кате не дано ничего характерного, хотя «сидит» она недурно). У Л. Н. горничная в «Плодах просвещения» совсем не естественная.

Убыло ли бы чего-нибудь «своего» в Гоголе,

если бы он снял «шубу» с Чичикова, в которой тот ездит под «дождем» и смотрит, как ныряет в воде голый помещик Петух.

М. М. Стасюлевичу

25 января 1893 г., Петербург.

Многоуважаемый Михаил Матвеевич!

Я так именно и думал, что Вы теперь мне пишете. Объяснение это очень важно и необходимо, но поставить его «предисловием» или снести «подстрочным примечанием» (как более нравилось Соловьеву) — это, мне кажется, все равно. Потрудитесь дать объяснению такое место, какое Вы найдете более соответственным в редакционных соображениях.

Катков (сколько я помню) не печатал продолжения этого исследования не по цензурным причинам, а по другим соображениям. Статья, вероятно, была принята кем-нибудь из его помощников (может быть, Щебальским, который был очень непоследователен). Начало напечатали, и кто-нибудь указал К<атко>ву, что «предмет не подходит». Он, вероятно, посмотрел корректуру дальнейших глав и велел все вынуть, «чтобы не нарушать отношений» с теми, кто ему в это время становился нужен. Я думаю, что это, было именно *так*, и в пользу этого есть убедительные наведения. В этих же бумагах бы-

ли материалы, по которым тот же автор сделал для «Р<усского> в<естни>ка» работы, но *совершенно в ином направлении*. А этот материал, где фокусы не укладывались в такую форму, был доставлен Асташеву, «как покровителю Сибири», собиравшему иногда «курьезы, касавшиеся ее управления».

Вы, пожалуйста, еще раз просмотрите это объяснение и поправьте все, что Вам покажется неудобным. А поставить его, мне кажется, лучше *под строку*. Впрочем, и это все на Ваше усмотрение.

Преданный Вам
Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

26 января 1893 г., Петербург.

Книги, которые Вы хотите читать, при сем Вам посылаю. «Критика», к сожалению, очень дурно гектографирована. Зато можете этот экземпляр держать долго. Это очень интересно.

Обхождение Ваше заприметил и помню. Вы его даже «потрогали за волосы», то есть спрашивали о его писательстве… Но в общем «все хорошо, что хорошо кончится». Вчера я получил письмо от Марьи Львовны, которая пишет, что они все Вами интересуются. Я им Вас немножечко живописал, как умел. Л. Н. еще в Москве, но скоро уедет с М. Л. в Ясную Поляну и в Бегичевку.

Печально подносить лекарство,
Сидеть и думать про себя,

слава богу, не нужно; но я не знал, что Вы только с этими целями сошли ко мне… Я думал об общении проще: общение с себе подобными людьми есть «благо человеку», и я высоко ценю все благо, как здоровый, так и больной.

Книги Толстого я всегда и всем даю охотно, так как я уважаю защищаемые в них идеи и нена-

вижу ложь, которую они назначены рассеивать. Брать у меня эти книги совсем не значит «одолжаться». Пожалуйста, берите!

Когда мне будет лучше, я надеюсь прийти к Вам, но забыл просить у Вас разрешения прийти в русском платье, так как я не могу надевать ни сюртука, ни фрака и последний давно подарил знакомому лакею. Боль сердца у меня не переносит никакого плотного прикосновения к груди.

Что такое Вы хотите сказать обо мне, — мне из Ваших слов неясно. Я тоже застенчив и неловок, но в старости стал это побеждать, так как это выражает большое самолюбие, не расходящееся, впрочем, и с большою добротою, которую я в Вас чувствую и ей верю.

Преданный Вам
Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

27 января 1893 г., Петербург.

Я очень Вам благодарен, что Вы пришли ко мне познакомиться и дарите мне Вашею милою приязнью. Впечатления, которые я от Вас получаю, превосходны, и я ничем не в состоянии заплатить Вам за это (вскочите и топните). Толстым я о Вас писал ранее «инцидента», потому что вся семья хотела знать о Вас: какая Вы такая есть на свете? И это не пустое любопытство, а интерес к человеку, который делает хорошо хорошее дело. Мы Вас «прочитали и в содержании одобрили» и полюбили Вашу «душу живую». А поступки интересуют уже для полноты впечатления. Описал же я Вас кратко, но старательно и с большим к Вам почтением и дружелюбием. Агафьи Тихоновны там нет, и «не по поступкам поступания» тоже, а написано хорошо, вот и все. И все довольны, и Вам нечего просить «не рассказывать»: Толстым-то и можно рассказывать, потому что там сами всё говорят и притом всё понимают и, следовательно, всё умеют и могут простить и не осудить. Это ведь удивительное по простоте семейство (конечно, в лице отца, двух дочерей

и сына «Левы»). Впрочем, я чту и саму графиню, которой «проходит меч в душу».

О «Соборянах» говорите правду: они «Вам ближе». Во всяком случае, теперь я бы не стал их писать, но я бы охотно написал: «Записки расстриги», и… может быть, еще напишу их… Клятвы разрешать; ножи благословлять; отъем через силу освящать; браки разводить; детей закрепощать; выдавать тайны; держать языческий обычай пожирания тела и крови; прощать обиды, сделанные другому; оказывать протекции у Создателя или проклинать и делать еще тысячи пошлостей и подлостей, фальсифицируя все заповеди и просьбы «повешенного на кресте праведника», — вот что я хотел бы показать людям, а не Варнавкины кости! Но это небось называется «толстовство», а то, нимало не сходное с учением Христа, есть «православие»… Я и не спорю, когда его называют этим именем, но оно не христианство!

Что, когда о нас дурно говорят, это заключает в себе нечто справедливое, — это я тоже так думаю, как и Вы, и тоже не сержусь. Но тот, кто говорит о нас дурно, — не располагает к себе наше сердце. Это уж непременно так. А я хочу, чтобы Вы считали меня тем, что я есть, — человеком, Вам

дружески преданным. Пожалуйста, зайдите!

Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

3 февраля 1893 г., Петербург.

Уважаемый друг!

Я хочу, чтобы Вы позволили мне называть Вас таким образом, потому что это отвечает тому, что Вы для меня есть: я Вас уважаю (без фразы), и питаю к Вам самое братское дружество, и с Вашей стороны чувствую дружелюбие.

Поручений уже нет, но надобность поговорить с Вами есть. Г<уреви>ч была позавчера у меня, и вот «томленье духа»… Как бы ей пособить? Подумайте! Я уж более не могу ничего дать скоро, а «яичко дорого к великому дню». Ах, зачем это всё люди на себя набирают!

Поразмыслив долго и много, я нахожу, что «М<имочка> вдова» для четвертого этюда, может быть, и хорошо. Надо знать груз, который покроет этот флаг; а это можете знать одна Вы. С общей же точки зрения надо к этому произведению предъявлять такое требование, чтобы эпопея «щипаной курицы» имела в конце заключительное значение в ясной формуле, вроде доконча́льной фразы в «Ревизоре»: «Чего смеетесь?.. над собой смеетесь!..» Вы это можете сделать и должны это

сделать, — иначе «М» будет «медь звенящая»; а этого быть не должно. Поэтому я бы думал, что, дощипав ее до хвоста, надо встать и все перо с нее стряхнуть на головы тех, кому она теперь «забавна»... Надо, чтобы они увидали, что они ее уважали, ибо те, которых они уважают, ведь тоже из «Мимочек». Тогда это будет «эпопея», а не «этюды», и

Имя твое пронесется в Элладе.

Это-то меня и поставило в удивление: неужели Вы отдадите ей льготу во вдовстве?! Она должна истерзать людей тем, что из нее же еще выйдет или вождь, образец, пример и «тон».

Я думаю, что Вы меня понимаете и теперь уже более не обижаетесь за то, что я люблю работу, которую Вы делаете, и хочу ей той полноты, в которой она может оказывать полезное влияние на общество.

Очень благодарю Вас, что поручаете меня Христу. Это хорошо, и от Вас мне это очень приятно.

До свидания.

Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

28 февраля 1893 г., Петербург.

Очень сожалею, что Вы меня не застали. Варя к Вам ходила и, не застав Вас дома, не оставила Вам оттиск Вашего рассказа и адрес старшей Дементьевой. Она в Петербурге, на Надеждинской, в доме № 36, кв. 17. — «Новенькая» очень мила. От такой вещи нечего больше и требовать. Все очень ласково, тепло и умно. Есть места очень веселые, которые будут помниться (например, «кто будет резать за столом»).

Пожалуйста, не забывайте дружески преданного Вам

Н. Лескова.

P. S. Расставшись с Вами, я долго продумал о том, что говорил Вам о себе по поводу моего одиночества, и нашел, что Вы правее меня: действительно, мне «только так кажется», что я мог бы быть счастлив в семье. На самом деле центр моих симпатий все ложился бы за чертами семейственности. Хуже это или лучше? Или хорошо все, что дано? Верно, так. Эпиктет понимал это, когда говорил: «Твое дело хорошо сыграть свою роль на сцене мира, а пиеса написана не тобою».

Зачем Вы не хотите почитать мне «Мимочку»? Какое у Вас ужасное самолюбие!

Л.

Л. И. Веселитской

3 марта 1893 г., Петербург.

Я очень дурно делал, что просил Вас о чтении, но я не знал о Вашей подозрительности и брал дело просто, по-мужски, как это делается. Я сожалею об этом и прошу меня простить. Много уж очень довелось мне раз просить у Вас снисхождения и извинения, но делать нечего. Пожалуйста, извините! Больше об этом никогда речей не будем вести.

Теперь здесь «старик Ге» — старый и умный друг Льва Николаевича, «единого духа» с ним. Он очень хочет с Вами видеться и побеседовать и просил меня попросить Вас с ним встретиться, когда Вам можно (до 2-х часов дня). Он пишет здесь картину. Я обещал ему передать его просьбу Вам, но за исполнение ее не ручался. Он хороший и очень умный старик, стоящий любви и уважения, но поступайте, как Вы хотите.

Преданный Вам
Н. Лесков.

Б. М. Бубнову

17 марта 1893 г., Петербург.

Не лучше ли бы было тебе, Боря, вместо перевода поэтов (в стихах) обратиться к переводу английских прозаических писателей, и именно к величайшему из них — Томасу Карлейлю? Он ведь у нас переведен очень мало — кажется, всего три сочинения: «Характеристики», «Герои» и «История французской революции»; а он весь велик, интересен и любим. Ты бы подумал об этом! Это ведь тоже и очень поэтический писатель-мудрец. И ты бы такими переводами принес пользу себе и людям, ищущим уяснения неотразимых вопросов в истории, философии и обыденной этике жизни. Я бы тебе это очень советовал вместо корпения над стихами. Стихи можно производить между делом, а главное дело в литературе все-таки должно быть — содействие выяснению идей в сознании большинства людей. Это есть долг человека мыслящего, и в этом же кроется его удовлетворение; а также тут есть и заработок.

Преданный тебе

Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

29 марта 1893 г., Петербург.

Я давно не имел прямой вести из дома Т<олст>ых, а потому и не знаю: где кто из них теперь. Возможно, что Л. Н., а с ним и одна из дочерей, или даже обе они, — уже в Ясной П<оля>яе. Городское празднование ужасно. Впрочем, оба адреса (летний и зимний) действительны при всяком распределении семейства. Вся разница может заключаться только в одном дне промедления. Я бы, однако, теперь еще предпочел адресовать в Москву.

«Студент» очень хорош. По этому очерку умный редактор уже должен бы понять даровитость молодой писательницы. Гашет и М. Леви сейчас бы сделали опыт закрепостить себе такое дарование. Наши «кулаки» не додумались даже и до этого; а умеют только «мозжить».

В художественном отношении не нахожу ни одного замечания; а в корректурном два: 1) Малороссийская фонетика не позволяет говорить и писать «изогнувся». Там говорят и пишут «изогнувься».

Ганьзя рибко,

Ганьзя птычка,

Ганьзя цяця молодыця!

2) На 233 стр. карандашом поправлено «при этом». Выходит: «это уже удалось, и при этом»... Не много ли «этих»?

Благодарю Вас, что подарили Варе свою фотографию: мы рады Вам и всему, что может Вас напоминать.

Н. Л.

Л. И. Веселитской

1 июня 1893 г., Меррекюль.

Уважаемая Лидия Ивановна!

У меня есть к Вам просьба, к которой я прошу у Вас «снисхождения по человечеству» и вразумительного слова. Не знаю, замечено Вами или нет, что в числе различных придирок ко мне со стороны критика Б<урени>на было не раз выражено, что я усиливаюсь как бы равняться с Л. Н. Т.? Так как Вы читаете «Новое время», то я думаю, что Вы этого не могли не видеть. Ко всякой клевете в печати я давно приучен, но эта клевета была мне все-таки чувствительна, так как мне не хотелось играть пошлой роли в отношении Л. Н., но я понимал, что из уст Б-на это не опасно: он только и делает, что выискивает, чем бы человека обидеть, приписав ему что-либо пошлое и мало ему свойственное. Желание вспирать себя до несравнимой высоты он мог во мне сочинить без всякого повода с моей стороны. Потому это меня и не беспокоило. Спокойствие еще более было укреплено во мне тем, что никто из общих знакомых не замечал мне, что я стремлюсь в знаменитости и выравниваю себя по линии к

Толстому. И я все думал, что никто не может видеть во мне того, чего во мне нет и чего я никогда не потерпел бы в себе. К утверждению меня в этом еще более послужили неловкие, но искренние слова «Нов<ого> вр<емени>», что я «следую за Т-м». Это и правда: я сказал и говорю, что «я давно искал того, чего он ищет, но я этого не находил, потому что свет мой слаб. Зато, когда я увидал, что он нашел искомое, которое меня удовлетворило, — я почувствовал, что уже не нуждаюсь в своем ничтожном свете, а иду за ним и своего ничего я не ищу и не показываюсь на вид, а вижу все при свете его огромного светоча». Никто и никогда не слыхал от меня иного, и бог, имени которого я не назову напрасно, видит, что я не ищу никакой известности или так называемой «славы», которая мне и не дорога, и не мила, и не нужна. Если было что-нибудь в этом недостойном роде, то это было очень давно, и я с терзанием вспоминаю, как это ужасно и стыдно, и я думал, что теперь во мне этого уже нет… Я даже был в этом уверен, но, вероятно, я ошибаюсь, и во мне, вероятно, остается то самое, что я ненавижу, и чего я так избегаю, и чем ужасно огорчен и смущен. Открыли мне это Вы: раз Вы мне сказали: «Я боялась и вас, но вы… извините меня: вы все-таки

не Т-ой...» Это меня ужасно смутило: я подумал себе: что это? зачем мне говорят, что я «все-таки не Т.»? — И я не мог ничего отвечать Вам, и Вы видели мое смущение и прибавили, что я «тоже» что-то значу, «но не то, что Т...» Я был поражен этими словами и долго думал: что могло их вызвать у умной и сердечной женщины, которая пришла навестить меня, больного? Это уже не критик Б-н, для которого не нужно ничего, кроме внутренней, самодовлеющей злобы... Без сомнения, должно же быть видно во мне что-то такое, что дает указания на мое высокое мнение о себе и о желании равняться с Т-м? Это меня мучило дни и ночи, и самым желательным объяснением я себе мог придумать, что, может быть, у Вас есть привычка сказать человеку что-нибудь колющее и досаждающее... Мне стало думаться, что это возможно, и я успокоился за себя и думал спросить Вас когда-нибудь, — когда это будет удобно, чтобы Вам не показалось за обиду; а меж тем Вы предупредили меня, и в последнее наше свидание Вы опять мне сказали, чтобы я не думал о себе много... Это уже совершенно меня смутило: что же это может значить? Без сомнения, во мне есть что-то чрезвычайно противное и кидающееся в глаза своею претенциозностью! И отчего же мне

никто этого не указал по-дружески, так, чтобы я мог это в себе исправить; а сам я этого не вижу и все так и буду носиться с этою мерзостью!.. Иначе, конечно, Вы не нашли бы никакой нужды напоминать мне о моей неважности, а сделали это только по доброте или потому, чтобы наказать мое самолюбие для моей же пользы. Но так это мне все-таки непонятно, потому что я не вижу (хочу, но не нахожу), в чем проступает наружу моя мучительная и противная ошибка! Прошу Вас об этом горячо, искренно и усердно: это мне нужно «паче поста и молитв», ибо я не хочу раздражать и смущать людей и затмевать последний свет в собственных глазах моих. Поступите со мною «по человечеству», как христианка: скажите мне, в чем грех мой, которым я вызывал у Вас слово.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Умоляю Вас не забывать, что состояние души моей мучительно. Иначе бы я не стал писать к Вам этого письма.

Л. И. Веселитской

8 июня 1893 г., Меррекюль.

Уважаемая Лидия Ивановна!

Надо начинать с того, чтобы «хвалиться своими чувствами», и я надеюсь иметь на этот раз перед Вами все преимущества, ибо мне несравненно легче любить и уважать Вас, чем Вам питать те же чувства ко мне. И я хорошо и полно пользуюсь выгодами моего положения: я уважаю в Вас то, что мне кажется прекрасным, и люблю Вас так, как мог бы любить «ангела» — существо, которое много меня чище, выше и открытее богу. Чувство это мне мило, дорого и полезно, ибо я знаю, что Вы любите добро и зло не может с Вами уживаться. Во мне же любить нечего, а уважать и того менее: я человек грубый, плотяной и глубоко падший, но неспокойно пребывающий на дне своей ямы. Лучшего во мне ничего нет, а за это уважать нельзя. Когда Вы меня крестили и я с благодарностью и уважением поцеловал Вашу руку, как руку матери, сестры, христианки или ангела, я принял от Вас благословение, как дитя, а надлежало бы, чтобы прежде Вы приняли на себя бремя моих грехов — выслушали бы мою

исповедь, и тогда бы подняли свою руку, чтобы благословить меня… Л. Н. иногда так исповедуется с теми, к кому позовет дух, и это прекрасно; но я думаю, что если бы я мог сказать Вам, как я гадко жил, то Вы, быть может, не перекрестили бы меня, а осудили бы на епитимию, которой я не в состоянии еще исполнить, и тогда мне было бы еще тяжелее. Так Вы, пожалуйста, никогда не говорите, что Вы меня «уважаете», а вместо того не кидайте мне камня, когда я прошу у Вас хлеба… Я Вас прошу указать мне мой скрытый порок, вызывающий у людей известное проявление справедливого негодования, а Вы мне пишете, чтобы я не обижался и что я когда-то сам говорил о Т-м «с восхищением»… Ну что это за пустяки! Я нимало и ни за что на Вас не обижался, а Т. есть для меня моя святыня на земле — «священник бога живого, облекающийся правдою». Неужто Вам опять показалось, что я могу его ревновать и желать сам при нем что-нибудь значить! Он просветил меня, и я ему обязан более, чем покоем земной жизни, а благодеяние его удивительного ума открыло мне путь в жизнь без конца — путь, в котором я путался и непременно бы запутался; а Вы думаете, что меня можно обидеть, сказав мне: «А вы, однако, не Т.!» Я не только «однако не Т.», но

я совсем не близок к нему, но его разумение мне понятно, и я, перечитав горы книг известного рода, нашел толк и смысл только в этом разумении и в нем успокоился и свой фонаришко бросил… Он теперь мне уже не годится: я вижу яркий маяк и знаю, чего держаться, а если не управлю, то это уже не от недостатка света, а от немощей глаз и рук моих. Недостатки, любя человека, надо ему их указывать любовно, и Вы мне раз указали одну мою ошибку, и я сейчас же ее почувствовал и решил ее оставить, и мне это было отрадно и полезно; другую Вы даже не высказали (портрет монаха), но я сам при Вас ощутил, что это дурно, и застыдился Вас и опять себя исправил. Так действует любовь, и я не боюсь говорить Вам, что Вас я люблю и уважаю очень, «как ангела», а Ваше самолюбие считаю чертовским, и оно мне «преогорчевает». Это гниль на хорошем плоде. Что же Вы не хотите сказать: чем я раздражал Вашу этику и эстетику и за что Вы давали мне «ассаже»? Не сказал же я Вам: «а вы, однако, не Сталь», или «вы еще не Жорж Санд»… Я Вам этого не сказал, потому что в Вас нет никакой фанфаронады, а во мне она, без сомнения, есть! И Вы ее видите и правильно гнушаетесь ею, но указать на нее мне не хотите… Такова Ваша любовь ко

мне, мой жестокий ангел! Проясните лицо свое и обличите меня, чтобы я не таскал на себе «своего эфиопа». — Место, где я живу, — прекрасное, и моя маленькая дача — превосходна. Тишина невозмутимая, и «лес — в небо дыра». Если бы Вы приехали одна или с Л<ю>б<овью> Як<овлевной> Г<уреви>ч, — я помещу Вас удобно и буду Вам очень рад. В конце июня или в начале июля ко мне хочет приехать Меньшиков, но если бы Вы и съехались, — это меня нимало бы не затруднило, так как в двух шагах от меня есть комнаты в «салоне», на самом берегу моря. От Татьяны Львовны и я получил письмо, в котором между прочим писано о прекрасном впечатлении, какое Вы произвели на Л. Н-ча. На письмах мне довольно писать: «Меррекюль — Лескову». (Не скажите: «А вы, однако, не Гумбольдт». Но ведь тому писали «в Европу», а мне только в Меррекюль…) «Сев<ерного> вестн<ика>» я здесь не получаю. У них, кажется, не очень рачительно насчет порядка.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

9 июня 1893 г., Меррекюль.

Сейчас (10 час. утра) получил Ваше второе письмо (от 7 июня). Как Вам не стыдно говорить о том, будто Вы меня обидели! Разве я Вам это писал? Я хотел узнать: почему и за что люди совсем не сходного нрава преследуют меня тем, что я, «однако, не Т — ой»? Что же нибудь такое есть, за что ко мне с этим емлятся! Вот я это и хотел бы знать, и Вы это знаете, но не хотите мне сказать, по чувству какого-то ложного ко мне сострадания и снисхождения, и я через это все остаюсь во тьме и «таскаю на себе своего эфиопа»; и мне это тяжело, досадно и… противно. А Вы продолжаете давать мне «камень вместо хлеба» и извиняетесь да говорите о «прощении» с моей стороны!.. Или я ошибаюсь в Вашей доброте и искренности (чего я не думаю), или же верно то, что «у самых умных людей в голове что-нибудь в беспорядке». Вы очень умны, и потому общение с Вами очень полезно и приятно (я чрезвычайно люблю сильные женские умы, составляющие немалую редкость), но по самолюбию своему, полагающему свою печать на Ваше мышление,

Вы беспрестанно склоняетесь думать, что все имеют такую же «содранную кожу» и что их сейчас надо поскорее смазать самаритянским елеем и сдать на тракте гостиннику. А это совсем не так: я дорожу встречею с Вами в вечности нашего бытия и хочу от Вас пользы душе моей, так как все духовное существо Ваше мне симпатично и дух мой чувствует Ваше превосходство и желает послушать Вашей дружбы. Вы говорите мне о том, что во мне дурно, и помогите мне исправиться, а не поливайте на меня бальзамом своего снисхождения, за которым я могу подразумевать, что Вы мне не верите и не относитесь ко мне с должной серьезностью, как к брату, которому уже осталось мало времени для того, чтобы выправлять свои кривизны. Церковная вера часто дает возможность такому равнодушию ютиться в сердце прекрасных людей рядом с любовью к богу. Это одна из ужасностей этого культа. Но на этом мы не приходим к соглашению и «для того оставим сие философам». В итоге остается то, что я на Вас не обижался и не обижаюсь, а Вы не хотите сказать мне: за что мне следует напоминать, что я, «однако, не Т-ой»? Язву-то свою осиную в меня впустили, а серьезно помочь не хочется, и выходит «дама», а не «сестра Лида»

(в старом христианском романе). Жалею, что Вы еще так практически робки и бессильны, но ничего не могу говорить о «прощении» Бог все простит, а также и поп может все простить и за небольшую плату: ему ведь это недорого стоит и чужой души не жалко. Затем об этом кончено! — «Шурочку» я прочел два раза и, себе не поверив, дал прочесть толковому человеку. По-моему, это — первоучина, и притом ничем не выдающаяся и не дающая даже намека на талантливость автора. Особенно поражает несоразмерность в архитектонике и неясность (тусклость) идеи. Собираются танцевать и разбираются на пары почти на протяжении половины повествования — что неинтересно и даже скучно, а потом поцеловались и будто расплевались. Прижал он ее, что ли, слишком сильно или, может быть, обслюнявил… Вздор какой-то! Я, конечно, понимаю, чту понравилось тут в Ясной Поляне: вот-де как искра чувственности отшибает! Но только это ведь неправда: в том-то и беда, что она не отшибает, а зажигает! А этот именно как будто «усами под нос навонял», и вышло что-то в пошловатом роде: «и хочется, и колется». Извините, что говорю так прямо, как это мне чувствуется. Меньшикову очерк тоже не нравится. Запаха

таланта я тут не чувствую, но она (Л<ю>б<овь> Як<овлевна>) умна и образованна и, наверно, может иметь успех в литературе, но только едва ли в художественном роде… Впрочем, не нацеловавшись и не наколовшись, трудно говорить об этом со знанием. «Нельзя, не видя океана, себе представить океан». В «Шурочке» есть сходство с теми рассказами молодого Льва, которые «Неделя» не печатает и думает, что делает тем ему дружескую услугу. Рубят они дерево не по себе. Эта «безделка», портившая своим недостатком все достоинства дочерей ц<аря> Никиты, есть величайшая бездна в мире. Черт бы иначе с ней не выступил на состязание с величайшими мужами мысли, если бы это так легко поддавалось, как думают наши милые, но неопытные мечтатели!.. К этому и искушенный ума приложить не в силах. Гайдебуров подергал носом туда и сюда и разобрал, что таких рацей разводить нельзя; а (помните) Н. Н. Ге («Безешник») находил, что «это прекрасно». Эти люди начинают обнаруживать сильное сходство с старинными ортодоксальными нигилистами, у которых для оценки повести требовалось «общий вывод и направление». У молодого Льва это по крайней мере выдержано, а в «Шурочке» — нет: только и кажется, что усами

покололась, и целоваться охота прошла… Станем надеяться, что ловкий парень когда-нибудь это дело ей поправит! — Посмотрите, пожалуйста, в июньской (№ 6, <1>893 г.) кн<ижке> «Недели» очерк Дмитрия Болконского «Конец». Это этюд очень реальный и сильный, хотя в середине есть что-то, отдающее «первоучиной», но этого редко у кого не бывает (и у Вас было). Кто это: Дмитрий Болконский? Ведь это, без сомнения, псевдоним и, кажется, нам с Вами человек знакомый!.. Пожалуйста, прочтите и мне напишите свое мнение. А лучше бы сделали, когда бы взяли плед и подушку да приехали бы в Меррекюль без дальних сборов. Я хорошо Вас помещу и вполне корректно и буду Вам так рад, как будто Вы приехали по дружбе ко мне, а не потому, что у нас тут в самом деле очень хорошо. Пожалуйста, приезжайте! Энгели недавно переменили дачу и теперь живут от меня в двух шагах. Приезжайте, ядовитая дама!

Искренно Вас любящий и уважающий

Н. Лесков.

Варя и Елена Вас ожидают. Вы вот всё убегаете соединения мыслей вкупе, а я ищу единомыслия, но, во всем подлегая величию ума Л. Н., я не могу принять их взгляда на отношение полов, как несогласное с требованием природы и задачею

человечества — совершенствоваться в целой цепи поколений, обязанных явиться по благословению: «множьтесь». Х<ристо>с не высказался о браке, но в его время брак был многоженный. Можно ли держать союз с тем, с кем ум и дух в полном разладе и дисгармонии? Природа этим возмущается, и она права, а они все, сколько бы их ни было, — неправы.

Л. И. Веселитской

13 июня 1893 г., Меррекюль.

Не знаю, серьезно или нет Вы сомневались в том, хорошо ли Вы сделали, что побывали в Ясной Поляне. Посылаю Вам полученное мною письмо Л<ьва> Л<ьвовича>, где есть упоминание о том — какое впечатление получил от Вас Л. Н-ч. Может быть, Вам это будет интересно и даже приятно, а во всяком случае — успокоительно, и Вы поймете мое желание сделать это для Вас известным. Письмо Л. Л. мне возвратите при свидании. — Роман Баранцевича начинает меня интересовать, так как там есть усилие изобразить «толстовца», и для модели взят Пав<ел> Ив<анович> Бирюков; но делается это довольно неискусно и без достаточных знаний (напр., стр. 64, толстовец говорит даже о «силе и гордости будущей России…»). И у попов, и у патриотов, и у этих пересмешников все «гордость» в числе необходимых условий жизни христианского общества!.. В статье Волынского напрасно задет Протопопов (не к делу) и на 120 стр. сказано, будто «полуневежественная Обломовка не дала ни одного борца за теоретическую истину». А раскол?! А сожженный попами Кури-

цин и его товарищ? А Косой и Матвей Башкин и вообще «религиозные вольнодумцы»? Неужели это не «борцы за теоретическую истину»? Льву Льв — у я написал о том, что мне кажутся неудачными его опыты разрешать вопросы «взаимного мужей к женам соизволения».

Пред<анный> Вам

Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

27 июня 1893 г., Меррекюль.

Однако я вчера нехорошо написал Вам, Лидия Ивановна, в ответ на вопрос Ваш о Л<ю>б<ови> Як<овлев>не. В простоте моего «сократического метода» была своего рода коварность, недостойная не только Вашей чистоты, но и моего недостоинства. Полагаться на Ваш разум мне очень легко и выгодно, а Вам пришлось бы при этом себя неволить и «совокуплять суетная и ложная». В ночи я все об этом думал, и мне стало стыдно, и я спешу поправить мою вину перед Вами (ибо надеюсь, что перед Лб. Як. мы еще не провинились). Теперь я думаю так, что нам совсем не надо ничего соображать и совокуплять, а надо сказать ей все прямо, как есть, и пусть она соображает — как ей угодно поступить, имея в виду, что помещение в Меррек<юле> ей может быть устроено так же, как и Вам, и что я и, вероятно, Вы, конечно, будем счастливы (я — непременно) ее видеть; а она и Менышик<ов> — оба очень умные люди и, конечно, знают, как встретиться. Лично они друг против друга ведь ничего же не имеют. А читать большое сочинение Толстого

раньше всех в России, и в такой компании, как мы собираемся это сделать, — есть (по-моему) слишком большое удовольствие, от которого больно отказаться, и грубо было бы лишить этого такого милого человека, как Лб. Як-на, из-за единого подозрения, что, может быть, ей будет неприятно встретить М-ва или М-в будет стеснен при ней… А может быть, это совсем и не так! Я думаю теперь, что нам (с Вами) не следует останавливаться перед такими сложными соображениями, а с нашей стороны лучше верить в большие достоинства лиц, о которых мы думаем, и говорить с ними, не унижая себя глаголемою «неполной истиной». Оставим это церковным пастырям и учителям. От себя я усердно прошу Вас сказать Лб. Як-не полную правду, — что есть у нас в соображениях, и добавить к тому, что я буду счастлив, если она приедет, и что свободы здесь найдется всем вволю. Мы сейчас осматривали с Варей №№ в салоне: сейчас все занято, но 5-го очистится один № с окнами на море, цена 1 руб. 50 коп. в сутки, и № окно в лес, двойной — 3 руб., и есть лишняя комната на даче у моего соседа (удобная). Мужчин же я помещу у себя обоих или по крайней мере одного. Прошу Вас только о двух вещах: не приезжать сюрпризом (без извещения)

и брать с собою пледы и подушку. Затем будем радоваться о господе, как умеем: уложим себе «чин сокольничья пути», и Вы станете нам читать с Модестычем, а мы будем слушать то, что наш Лев почитает сам за «самое славное» свое сочинение, и будем при сем во имя его соблюдать умеренность в пище и питии, пребывая в любви друг ко другу о духе святе. Неужели это ничего не говорит сердцу и воображению боголюбезной сестры нашей Лиды! (которая, однако, сродни и Киту Китычу, ибо пока ее обидишь, — она сама всякого сумеет обидеть). По-моему, Лб. Як-ну даже надо стараться привезть. Я ее и люблю и очень много сожалею, потому что она ведет дело денежное, а этого нет поганее на свете. Я хоть и не дорос до Вашего величия, чтобы сказать «мне деньги не нужны», но я всю жизнь считал заботы о деньгах «проклятием» и допускал их только в самом необходимом (как мне казалось) количестве. «Совокуплять» же их для «предприятий», и еще рискованных, как журнал, — это положение адское! Увлекайте ее с собою, чтобы она очунела. Она умная, образованная и порядочная девушка во всех смыслах. Таких не много на свете, а у нас меньше, чем где-либо; а на плечах у нее лежит дело ужасной тяжести, и притом… «око ее не

свободно»… Это грозит нехорошим. Вчера было письмо от Модестыча, который отличился перед нею: пришел, застал ее одну и сказал ей, что она — «Мария на развалинах». (Каков!) А она его поправила и сказала: «Здесь идет созидание, а не развалины»… Я очень радуюсь, что Вы для них что-то сделали, и Вы со временем почувствуете, что это сделано хорошо. Я не думаю, чтобы Вы, я или даже сам Л. Н. могли упрочить дело этого издания, в положении которого есть роковые вещи; но мы должны делами оказать дружескую помощь этой милой особе. Пусть мы не будем укорять себя, что «мы могли сделать, да не делали». Пусть не от нас будет в ее деле что-либо нежеланное.

До свидания, дорогой и уважаемый друг, — не толстовка, не Титания и не что-либо иное, «еще можно есть изрещи на языке человеческом».

«Никто вас, Кита Китыч, не обидит, — вы сами кого угодно обидите».

Н. Лесков.

P. S. Сейчас еще получил письмо от М-ва и буду ему отвечать в том же духе, как пишу Вам по отношению к Лб. Як-не.

Не горячиться и не сердиться, когда говорят о Т. пошлые люди, я тоже не умею. Это, может быть,

и нехорошо, но я туг бессилен. Это, я надеюсь, бог простит.

А. И. Фаресову

28 июня 1893 г., Меррекюль.

Достоуважаемый Анатолий Иванович!

Позавчера получил Ваше открытое письмо, в котором Вы извещаете меня о своем добром намерении навестить меня в Меррекюле до 5 июля и спрашиваете: будет ли это благовременно? Прежде всего дружеское спасибо Вам за доброе желание приехать; а затем — просьба: пожалуйста, приезжайте, но срок приезда измените. Причиною к этой последней просьбе служит то, что недели за две до этого условлено, что «в первых числах июля» ко мне приедут два гостя; а когда именно «первые числа» начнутся, — я этого с точностию не знаю и сказать о том не умею. Во всяком разе, я буду ждать Вас к себе и — просить Вас приехать тогда, когда мои ранее условленные гости погостят и отбудут. Тогда я Вам не упустительно напишу с моею покорной просьбою — не пренебречь, коею хатою и хлебом-солью. — Пожалуйста, напишите мне: когда выходят в свет письма Энгельгардта? Я почему-то думаю, что о нем как будто должен написать что-то поправившийся Глеб Ив<ано-

вич> Успенский, — и это было бы прекрасно. За диссертацию о Герберте автору присуждена премия митрополита Макария, как за «лучшее историческое сочинение». Ввиду запрещения высокопробных трудов Терновского и Голубинского это имеет очень большое, характеристическое значение, определить величину которого было бы достойным делом исторического журнала. Предтеченский и Городецкий, однако, отошли от дел сего мира, и за отшествие их поскорбел Петр Васильевич Быков. Сколько, в самом деле, русская земля теряет «полезных деятелей» такого сорта, что их во все времена все путные люди могли бы и не понять и не оценить!.. О господи! Доколе, о господи, будет идти это наглое и ничем не вынужденное литературное бесстыдство! Прав Л. Н. — «лучше быть ругаемым».

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

1 июля 1893 г., Меррекюль.

Высокочтимый Лев Николаевич!

Мы на днях приготовляемся читать Ваше последнее литературное произведение. Для того Хирьяков привезет ко мне в Меррекюль экземпляр рукописи, а 10 июля приедут сюда Веселитская и Меньшиков. Хотела быть тоже и Гуревич, да вряд ли будет, так как ей, кажется, неприятен Меньшиков, а его угораздило еще подогнать как раз к этому времени статью о Волынском в июльской книге «Недели». Будем, верно, читать Ваше рассуждение вчетвером, но никто из нас четырех не знает, представляет ли наш экземпляр последнюю, окончательную редакцию или после были сделаны Вами существенные изменения. Экземпляр же, которым владеет Хирьяков, привезен в Пб. еще по зиме этого года; а Лидия Ивановна говорит, что она после своей побывки у Вас в *мае* свезла окончание к Попову в Москву. Это меня приводит в смущение, и я думаю, что мы, пожалуй, будем читать Ваше сочинение в несовершенном его виде… Позвольте мне просить Вас или Татьяну Львовну написать нам (то есть

мне: Меррекюль, 94), можно ли экземпляр, описанный зимою (примерно в феврале <18>93 г.), принимать за удовлетворительный, или сочинение подвергалось существенным изменениям до самого того времени, как Веселитская повезла его в Москву? Если же перемены сделаны не повсеместно, а только в заключительной главе, то и это знать будет полезно. А если Вы или Татьяна Львовна дадите ответ на эти мои строки сразу по получении моего письма, то этот ответ должен прийти в Меррекюль своевременно, то есть к самому нашему сбору, и поможет нам уяснить наши недоразумения. И Вы нам, пожалуйста, в этом не откажите! А мы, которые будем представлять самую первую группу русской публики, занятую чтением Вашего труда, будем замечать: какое это на нас произведет впечатление, и «аще обретем кая неудобовразумительная словеса», о тех Вам напишем и «худости ума своего не утаим».

Вам почтительно преданный и благодарный
Николай Лесков.

Адрес мой: просто — Меррекюль.

Л. И. Веселитской

2 июля 1893 г., Меррекюль.

Из Петербурга или из Гатчины в Меррекюль можно ехать утром (в 9 час.) и в обеденную пору (кажется в 4 часа). Выехав в 9 утра, приезжают в Нарву в 2 часа, переезжают на извозчике город до пристани (цена 30 коп.) и садятся на пароход «Нарва», который идет к Устью или в Гунгербург. Отходит в 3 часа. (1-й кл. — 30 коп.; а 2 — 20 коп.). Город Нарва очень характерен, а берега р. Наровы очень красивы. То и другое стоит видеть. В Гунгербурге встают (4 часа дня), берут извозчика, «карафашку», и едут в Меррекюль. (7 верст, по Гунгербургу 2 версты, по Шмецку 3 1/2 и 1/2 лесом. — Цена по таксе одноконному экипажу — 1 руб. Пароконный не нужен.) Приедете к нам около 5 час. веч. Извозчику в Меррекюле велите подвезти себя «к даче Бормана в лесу, рядом с сапожником». Тут найдете несколько своих покорных слуг, которые сделают вам одолжение, — все будут знать, куда Вас проводить. Такой маршрут я считал бы для Вас за наилучший; но если гор. Нарва и берега Наровы Вас нимало не интересуют, то берите билет не до Нарвы, а до

станции Корф (первая за Нарвою), и там на Корфе возьмете карафашку, которая прямо привезет Вас в Меррекюль (7 верст, цена 1 руб.), — это скорее, но не увидите Наровы, — что, впрочем, легко восполнить на обратном пути, когда следует и посмотреть пороги (2–3 версты от города, цена 75 коп.). — Выезжать из Петербурга или из Гатчины днем (около 4 час.) мне случилось только раз и не понравилось, потому что всюду приезжаешь как-то «не вовремя». Самое лучшее — ехать утром. Комната для Вас будет нанята 8-го числа с утра там, где случится, не дороже 1 руб. в сутки. Но где именно это будет — сейчас сказать невозможно. Как подъедете к нам, так Варя или Елена Вас и проводят. Труда это не может делать никому и никакого. Я сам не беру денег взаймы и ни у кого не прошу протекций, но этакой щекотливости, как у Вас, — не понимаю! Стоит ли о чем говорить, — что приглядят для меня комнату! Экое, подумаешь, одолжение! Так сразу и потеряете свою свободу!.. Ну, характерец! Кстати: не помните ли, у французов есть какая-то очень хорошая пословица, что если употреблять очень много «politesse»,[36] то может выйти… «qui

[36] Примечания: 36
«Вежливости» *(франц.)*

manque de politesse».[37] Не рассердитесь опять! О господи. А немножко уже опять что-то есть: на какой-то зубчик что-то заскочило. Ну да все равно делать нечего. Никто как бог! Июльские книжки журналов вчера прочел: в «В<естнике> Евр<опы>» есть Винницкая, и это не без наблюдательности и не без таланта, но как-то, что называется у живописцев, «совсем не сделано». Коробчевский — неискусно и бледно, мертво. Хороша статья Максима Ковалевского о Токвиле. Энгельгардт — «невкусно подан». Евграф Ковалевский — неважно. Обозрения прекрасны, особенно «Из общественной хроники». — В «Сев<ерном> вестн<ике>» нынешний кусок Смирновой очень любопытен и приятен, ибо Пушкин тут ни разу не поставлен ниже положения, которое он должен был занимать. Некоторые суждения его тут опережали его время (например, о библии и так называемых «священных историях», но знакомство его с св. писанием было таково, что он считал книгу Иова за «еврейскую» книгу!.. стр. 279). — Беллетристика «С. В.» очень плоха, а редакции нет и в намеке. В обозрениях «Провинциальная

---

[37] Примечания: 37
«Невежливо» *(франц.)*

печать» есть разговоры pro domo sua,[38] по поводу какого-то Маиашвили. (Это такая фамилия у писателя, который что-то сказал о Флексере!) А в статье г-жи Венгеровой «Новая утопия» никак не уловишь ни головы, ни хвоста, а зато в самом начале, на 249 странице, в четырех первых строках употреблено четыре раза одно слово: «Морис один… и вместе один… рассказывает одна в одной из улиц…» Это пехотные поручики даже так не пишут. Что же у них делают редакторы?! Бедная наша добрая знакомая! Неужто она думает, что это можно так вести журнал? О, как бы я был рад, если бы я ошибся, что все люди, собравшиеся у кормила этого судна, править не умеют! До свидания. Комнату Вам постараюсь нанять как можно похуже и буду думать, что Вы мне навсегда обязаны благодарностью и, конечно, с некоторою утратою самостоятельности.

А я пребываю к Вам благосклонный смиренный ересиарх *Николай*.

Кн<ижка> «Недели» еще не пришла. Что это там такое!

---

[38] Примечания: 38
Для себя *(лат.)*.

А. И. Фаресову

2 июля 1893 г., Меррекюль.

Уважаемый Анатолий Иванович!

Я получил Ваше письмо и спешу ответить, что гости мои, по-видимому, будут у меня числа до 13-го. Я не замедлю своевременно написать Вам об этом. Помещение мое меня удовлетворяет, а здоровье позволяет молчать о нем. Г-жу Г<уреви>ч и Ф<лексе>ра я не могу не считать умными и образованными людьми, потому что я их знаю, и знаю, что они умны и имеют познания. Таких, как они, нельзя называть ни глупыми, ни невеждами; но не соглашаться с ними можно, и иногда это очень хорошо. Умные и образованные люди тоже не всегда свободны от заблуждений и ошибок, но если эти ошибки не умышленны и делаются не для корысти, то на них можно и должно указывать, но за них нельзя людей презирать и ненавидеть. То же и о Герберте, *если* он теперь не вошел во вкус и не стал соображать, где раки зимуют. Гл. Успенский, как я думаю, хорошо знал Энгельгардта; но оказывается, что он еще болен. Вашу статью я уже прочитал и готов сказать Вам о ней свое мнение. Она любопытна, но Вы как

будто неловко отсортовали материал, и оттого статья напоминает блюдо, которое, как говорят, «невкусно подано». У Вас события, упоминаемые в письмах и рассказываемые в личных Ваших воспоминаниях, катаются и перекатываются из одного угла в другой, сбивают хронологию, и в конце концов читатель получает анекдоты, а не нравоописательный очерк, чту читателю нужно. Не выходит портрета, нет «характера лица и времени». — Я очень сожалею, что Вы не заставили себя подготовиться к этой работе, пробежав что-нибудь образцовее в этом роде, например характеристики Карлейля (Борнс, Нокс и т. п.). «Видеть» человека очень важно, но иногда случается, что иным это и мешает: может казаться, что как знакомый человек виден Вам, так и другие его видят. И начинаются анекдоты. И оттого *домашние* люди часто не могут рассказать о своем семьянине, а чужой, который не пригляделся к нему, — расскажет. В этой же книге есть статья Ковалевского (Максима) о Токвиле, где тоже воспоминания смешаны с письмами, но посмотрите, как письма-то *врезаны* в события! Все они на своем месте и в полном хронологическом соответствии, и читатель ведется последовательно, а не скачет туда и сюда. И как

он воспользовался словами своего покойника для того, *чтобы уяснить живущим их время и их положение!* Начиная с 127 по 135 стр., он, представляя Токвиля, мимоходом *вырисовал* целую картину времени и массу отдельных лиц, не исключая даже Николая Павловича (134). Вы всем этим как будто пренебрегли, и это очень жалко; а лицо и материал письменный давали возможность Вам сделать статью отменного интереса. — Аренсбург не равняйте с Териоками или Меррекюлем. Тамошние грязи считают не хуже сакских, и воздух там удивительно хорош.

Александре Адамовне мой низкий поклон. До свидания.

Н. Лесков.

А. И. Фаресову

7 июля 1893 г., Меррекюль

Вам обижаться и не в чем, любезный Анатолий Иванович! Очерки этого рода — очень трудно делать. Если бы Вы мне ранее прочитали Вашу работу, я, быть может, указал бы Вам *ошибку в приеме* и то, что знаю в этом роде за образцовое (Тэн, Карлейль, из наших Грановский: «Четыре характеристики»), но ведь и так цель достигнута: внимание общества привлечено. По моему мнению, надо было писать воспоминания и только подкреплять их местами из писем (как сделано у М. Ковалевского) или же написать воспоминания с подстрочными ссылками на письма; а письма напечатать ниже, отдельно. Теперь часто так делают, и это, мне кажется, не худо; а когда хронология путается и заднее колесо забегает за переднее, — это нехорошо. Впрочем, редакция «В<естника> Е<вропы>» ценила материал и своевременность его появления, и потому тут «не всякое лыко в строку», а лишь бы в свое время лапоть был. Вам досадовать на себя нет причины. Повторяю Вам: написать очерк характерного лица — дело очень трудное и «мастеровитое».

Этого «тяп» да «ляп» не сделаешь; а вы делали дело наскоро и сделали его добросовестно. Чтобы по поводу Энг<ельгардта> нельзя было дать картины «его времени», с этим я не согласен, и много примеров могут доказать Вам противное; а Вы именно и позабыли, что есть превосходный способ «доказательств от противного»... «Это тебе, сударь, вина!» Изменять в дальнейшем ничего нельзя, потому что тогда обнаружится еще более беспорядок плана во всем сочинении. Оставьте как есть и будьте покойны, что польза в этом труде есть, а недостатки его заметят немногие.

Что касается г-жи Гуревич, — мне всегда хочется говорить о ней с уважением: она умная, очень много и вполне основательно училась и предана не пустякам, а благородному делу, с которым трудно оборачиваться. Если она и не удержит своего издания, — все-таки она достойна почтения. Девушек с таким настроением не много на свете. Ф<лексе>р возбудил против себя многих, и в июльской книжке «Недели» есть горячая и умная статья о нем Меньшикова («Критический декаданс»), которая должна быть очень горька и Ф-ру и издательнице журнала. Стало быть, они за свои ошибки получают и уязвления и урон. Но все-таки их ошибки хотя и имеют вредные

стороны, но они *бескорыстны* и не вызывают того негодования, какое рвется из сердца при виде подличания, растворяемого в радости, что это поощряется врагами литературы и нравится пошлым людям в обществе. Это надо различать.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

28 июля 1893 г., Меррекюль.

Высокочтимый Лев Николаевич!

Сердечно благодарю Вас за присланное Вами мне письмецо. Строки Ваши мне всегда очень дороги и многополезны, но я стыжусь их у Вас вымогать, потому что Вы «должны всем», а не одному кому-либо. Но когда Вы пишете ко мне, — Вы делаете меня радостным. Новое сочинение Ваше мы читали в большой и интересной компании, но с «инцидентами» постороннего свойства, которые мешали если не серьезности, то пристальности чтения. Основательно я его читал до 8-й главы давно — еще до болезни, которую перенес прошлою зимою; а потом теперь сам про себя прочел рано по утрам, когда мои гости спали, и, наконец, с усиленным вниманием читали его в третий раз, когда гости схлынули к у меня остался один Хирьяков, да явился обретенный Лидиею Ив<ановной> молодой поп Григорий Спнридоныч, отрекомендованный ею с той лестной стороны, что он есть «сын (ее) Спиридона Ивановича, до брака с Мимочкой». Я рассудил так, как судит брат наш «Николавра», Чернигов-

ский и Нежинский, то есть что «ежели сочинение написано и назначено для чтения, то его надо не скрывать под спудом, а ставить на. свещнике и читать людям». И в согласии с сим добрым братом нашим я решился преступить запрету нашего «благочинного из Россоши» и принял сына Спиридона Ивановича к чтению. Поп оказался отличным чтецом и прекрасно прочитал все ваше сочинение вслух в три дня, вперемежку с Хирьяковым, а я уже только слушал и думал о том, что слушаю. Замечаний важных или даже интересных по оригинальности я не слыхал ни от кого. Самое веское, что доводилось слышать в этом роде, исходило от очень умного Меньшикова, которого Вы знаете и, — как я слыхал от Льва Львовича, — которого Вы признаете за человека, одаренного большими критическими способностями (что так и есть); но Меньшиков взял Ваш адрес и хотел писать Вам. Стало быть, мне передавать Вам его мнения не нужно. О первом же его впечатлении лучше всего можно судить по его письму ко мне, которое я послал Татьяне Львовне. Замечания попа (академиста, молодого, очень неглупого и не утратившего стыд) — очень почтительны, но мало интересны. Все они напоминают недавний спор наших ученых медиков,

при котором эти никак не могли отличать *полезности* одного оперативного инструмента от его «портативности». Самое справедливое в этих замечаниях есть «повторяемость» и «усиления»; но, по-моему, это «неважно». Хотя жаль, что это есть в самом деле, так как по этим местам, конечно, и начнется гусевское обстреливание из Казани. Меня это не заботит: я знаю и говорю, что «Л. Н. наш — туляк, и он торгует с запросцем, — чтобы было из чего бедным уступить и чтобы за уступкою тоже еще хозяину сходно было». В написанном читаем «прификс» для тех, «иже хощут быти совершенны»; а в практическом применении ко всем возможна и уступка, для отстающих по слабости, — и уступка есть, притом выраженная с такою ясностию, что никакому слабосилию не огорчительно. Так я понимаю и так говорю и нахожу, что это сочинение Ваше мудро и прекрасно сделано. Надо жить так, как у Вас сказано, а всякий понеси из этого сколько можешь. А если писать иначе, по-ихнему, то трактат пойдет уже не о «полезности», а о портативности и о лриспособительности. Это вовсе другое. Я же могу Вам сообщить от себя только одно *фактическое* замечание о так называем<ых> «духоборцах», о которых доносил Муравьев, что они не хотят

брать в руки оружия. Покойный генер<ал> Ростислав Фадеев рассказывал мне, что эти люди сами себе будто нашли занятие и были «профосами» и по их примеру и другие тоже просились «дерьмо закапывать». И я видел раз у редактора «Историч<еского> вестника» копию с какой-то бумаги, где этот факт подтверждался, и я им воспользовался и ввел его в рассказе «Дурачок» (XI том, который я просил типографию послать Вам). Более я не могу ничего сказать Вам по поводу Вашего сочинения, которое, по моему мнению, должно принести людям большую пользу если только у них есть уши, чтобы ими слушать, а не хлопать. Все то, что Вы думаете и выражаете в этом сочинении, — мне сродно по вере и по разумению, и я рад, что Вы это сочинение написали и что оно теперь пошло в люди. Сын Спиридона Ив<ановича> ездил на сих днях в Петербург и по возвращении был у меня (еще при Хирьякове) и сказывал, что он уже говорил в П<етербурге> с некиим «синодалом» о том, что прочитал, и что «на него нападали: зачем он это читал!» Но будто бы Янышев тоже сказал, что они «только полицией умеют ограждаться и что сие ненадежно». Лидия Ив<ановна> уехала, не дочитав рукописи далее 9-й главы, так как тут подъехала Л. Як.

Г<уревич>, в большом раздражении на Меньшикова за статью, и сестре нашей Лиде надо было ее успокаивать и меня, больного, защищать, а потом увозить Л. Я. в Петербург и там ее еще допокаивать. А затем Лид<ия> Ив<ановна> хотела предпринять пешее (босиком) паломничество в Колпино, «к божией матери»; а меня просила дать ей список с Вашей рукописи, который я себе сделаю. Я ей отвечал, что копию ей дам, но не понимаю, зачем она мучает себя, читая это сочинение; зачем хромать на оба колена: или Т<олстого> надо осудить и проклясть вместе с клянущими его, или «инфаму». Она мне вчера прислала превосходное письмо — кроткое, но писанное, очевидно, в каком-то борении. О паломничестве босиком в Колпино не упоминает ни словом, но пишет: «не отговаривайте меня читать *это* сочинение: *мне нельзя этого бояться*, и уж, конечно, не из литературного любопытства я хочу прочесть это. Я надеюсь, что Вы мне дадите Ваш экземпляр. Поручаю Вас Христу, который во всяком случае дал человечеству все, что возможно было дать ему, и *дает ему еще своих толкователей*. А все мы все-таки страшно далеки от него, и подойти к нему можно только любовью и чистотой сердца. И того и другого я только и

прошу у бога — для себя. А для Вас, например, прошу и того и другого». Тут и все: и милая доброта, и приязнь, и шпилечка по моему адресу. А главное, здесь чувствуется какое-то «дыхание бурно» в собственной ее удивительной, чистой, смелой и роскошной душе. Как я рад, что Вы и все Ваши семейные ее полюбили. Простите, что я Вам наболтал много слов с малым толком.

Преданный Вам

Н. Лесков.

К писаниям я охоту не теряю, но все болею; а писать хотелось бы *смешное*, чтобы представить современную пошлость и самодовольство. О том, о чем Вы пишете, и писать не могу и не должен.

М. О. Меньшикову

3 августа 1893 г., Меррекюль.

Достоуважаемый Михаил Осипович!

Сегодня я получил Ваше письмо, помеченное 1-м ч<ислом> августа. Сердечно Вас благодарю за добрые слова и за желание писать о моем XI томе. Мне было бы интересно слышать Ваше публичное суждение о моих работах, но Вы свое дело сделали, а остальное не о г Вас зависит. Станем подражать совершенному, иже «и намерения целует». Искренно Вас благодарю за то, что дали себе труд читать и писать, и за то, что перенесли в этом деле незаслуженное досаждение. — После того, что Вы мне говорили о главных течениях в семье Вашего принципала, я верю, что Вам нелегко и ему с Вами не совсем ловко, хотя думаю, что и разлучаться с Вами он не желает, да и Вам, при всей выгодности Ваших нынешних курсов на литературной бирже, надо его еще подержаться. Кроме одного «В<естника> Е<вропы>», все еще менее надежны, а и там «молодцы» берегут не хозяина и не дело, а самих себя. В «Р<усской> мысли» Вас ценят, но далеко они, и очень неискренни, а в «Ист<орическом>

в<естнике>» замечают только Ваш «успех», но не имеют ни убеждений подходящих, ни вкуса, и притом там все проедено интрижливостью, как в «Нов<ом> врем<ени>», где поэтому и невозможно работать. Ввиду того, как Вы шли прошлою зимою, и я думаю, что в скором времени Вы получите в литературе спокойное и удобное для себя положение, которого Вы заслуживаете преимущественно по силе Ваших дарований и по прекрасному настроению Ваших чувств. Поверьте, что я ошибаюсь, но не часто и не в том, о чем я много думал, как о Ваших литературных силах. Вы должны быть бодры и смотреть вперед без боязни; а что до всего остального, то «сильному не нужно счастье: в борьбе таится наслаждение неистощимое» (Тургенев. «Помещик»). Борьба с «чиновником», может быть, скоро пойдет на убыль, но зато предстоит огромная борьба с общею пошлостью, которую развел чиновник до своего издыхания. Тут Ваше и дело, и дай Вам бог для этого поработать и в свое время сложить за этой работой свою умную голову.

Льву Николаевичу я тоже писал и, вероятно, в том же роде, как и Вы, — а кстати я ему писал и то, что Вы имеете намерение ему писать (он ведь Вас очень отличает и любит). После Вашего отъезда

я получил от него большое письмо, в котором он, между прочим, просит сообщить ему «замечания». Я и ответил, что из всего, что слышал, стоило бы сообщить мнения Ваши, но Вы сами ему будете писать, а я от общего содержания нахожусь в восхищении и радуюсь, что Л. Н. написал такое сочинение, и жду от этого большой пользы для тех, кто «хощет совершен быти», а что замечания «не хотящих быть совершенными» держатся около шероховатости да непортативности снаряда. А это не оценка: снаряд все-таки приноровлен для отличной цели, а в приспособительности его могут быть допущены свои приемы. По-моему, например, из этого можно бы сделать мастерской конспект и отменные иллюстрации. Ответа я еще не имею ни от Л. Н., ни от Татьяны Львовны. Вероятно, они еще застряли в Рязанской губернии, а мы им писали в Ясн<ую> Поляну. Из всех замечаний я ему сообщил одно фактическое о духовных христианах, которые испросили себе занятие «профосами» (или «прохвостами»), чтобы «пакость закапывать». Я указал, что уже и пользовался этим в рассказе «Дурачок», который я озаглавил «Прохвост», но цензура не снесла этого названия (рассказ вышел в детском издании). — «Продукт природы» есть a propos,

которые я очень люблю писать и которых можно бы много давать и всегда кстати, да негде было этого делать во всю мою жизнь. К сожалению, это писано слишком наскоро и до того, как я узнал о «неклюдовской скамейке». Там, где драли переселенцев, секут (или секли) на кресте. Из досок была сколочена буква Т, с кольцами на концах, и с этой Т растягивали человека… Пензенский исправник говорил: «Восписуемте распятого же за ны». Забыл тоже оказать о «вшивом спорте», как «пускают вошь на выгонки» с другою вошью. Столько уж этого вошеводства, что зуд делается от воспоминаний. Мне «Шурочка» кажется слишком искусственною. Распаленная чувственность, конечно, противна, но «девственные» натуры тоже не таковы. Надо бы брать св. Цецилию, или Дж. Элиот, или, еще лучше, есть у нас в деревнях такие дьяконские дочери, «вековуши», которые места младшим сестрам уступили, а сами позабыли: есть у них какой-нибудь пол, или они бесполые существа, рожденные «для пользы семейственной». У этих бывает девственная любовь (см. «Захудалый род»).

М. О. Меньшикову

28 августа 1893 г., Петербург.

Очень рад был я получить от Вас весточку, уважаемый Михаил Осипович! Простите, что не сразу ответил, потому что все еще дома не в порядке и писать не на чем. A propos можно писать, но будут ли их печатать? Они ведь все с заковыками, и притом такими, которых нельзя сглаживать, потому что всякое ослабление обращает их в карикатуру… Однако я попробую. Вот я на днях послал маленькую заметочку о Тургеневе в «Орловский вестник». Если она будет замечена и возбудит какой-нибудь говор, — я скажу «апропо де бот» о «Культе мертвых». Тургенев-то ведь терпеть не мог «поповского воя и хныканья», а мы только этою «противностью» и знаменуем и выражаем свои к нему чувства… Нам пора отделаться и отделываться от этого мерзкого лицемерия, пошлости и притворства. Кто-то, однако, захочет напечатать, что у Лит<ературного>) фонда нет ни вкуса, ни находчивости, ни инициативы, как литераторы могут почтить память своего великого собрата. Я бы хотел загнать сюда под ноготь спицу, и повострее… «Неделя»

это разве напечатает? То же и во множестве других случаев. Отчего Вы молчите о Тургеневе? Отчего не провести сравнения между огромными силами Л. Толстого и «благоустроенным» умом и талантом Тургенева? Это было бы очень благопотребно… О Вас я и скучаю, и соболезную. Я помню свою молодую пору, когда мне было что говорить, но никогда не было к тому удобства. Теперь Вам все-таки лучше. Тяготение к сельской жизни мне кажется почтенным, но я думаю, что в литературе Вы нужнее; да и Вам самим не стерпеть устранения от нее. Циник Писемский говорил: «Это все равно, что гульба девке: выдай ее замуж, а она все на панель в сумерки спешит». Литература ужасно втягивает в себя человека с литературною жилкою; а она в Вас очень сильно бьется. О том, что Л. Н. отвечал Вам, я слышал. Он Вас очень высоко ставит, и в самом деле способности у Вас редкие, и Вам не надо удаляться от литературных занятий.

Искренно Вас любящий

Н. Лесков.

М. О Меньшикову

5 сентября 1893 г., Петербург.

«Пределы критики» — превосходны. Это, по обыкновению, очень умно и справедливо, но особенно тепло и благородно, и даже трогательно (например, 223 стр.). Очень радуюсь Вашим работам.

Читали ли «Мимочка отправилась»? Где Вы живете теперь? Отчего не откликнетесь?

Павлу Александровичу скажите, что на сих днях я ему пришлю первый «рассказ кстати» — опять из меррекюльских этюдов (про своих и чужих). Будет он называться: «У свиного корыта». Если не понравиться, — пусть возвратит, но пока не знает, каков он, — пусть побережет для него место на 1 лист.

О Б<урени>не я думал, что он умнее и что он не позволит высвистывать себя как индейского петуха, выкрикивающего на посвист; а он, оказывается совсем дураслив делается… вот тоже опучительность, до чего может доводить самомнение! Он не только изнахальничался и опошлел, но уже и не способен различать, что с ним делают. Эта нынешняя игра их имеет за-

бавную и характерную «задницу» (по-сербски). Ясниц тут, что «медиум» на спиритическом сеансе, а «дух-вещатель» это, конечно, Ноздрев, живущий в благородной душе Атавы… Тот заводит Ясница; Яс<ниц> свистит под его дудку, а знаменитый критик не видит, что из него делают шута, и на каждый посвист лопочет во весь голос, то краснея, то синея и «наливая соплю». Но впереди поражение ждет Ясница, ибо Б-н кончит тем, что изругает его по всем правилам своего искусства, и тогда мы увидим Ноздрева, которому все равно, кто бы кого ни обработал

Н. Лесков.

А. И. Фаресову

16 сентября 1893 г., Петербург.

Достоуважаемый Анатолий Иванович!

Я получил Ваше взволнованное письмо, в котором Вы мне пишете, что писатель, которого я нахожу очень умным и хорошим знатоком своего дела, — Вам не нравиться и в ваших глазах не имеет ровно никаких достоинств. Припоминаю, что я и ранее как будто слыхал уже о нем от Вас нечто подобное, и укоряю себя в том, что по рассеянности сделал Вам новое указание на этого человека. Сердиться за ваше мнение не имею ни основания, ни причины. «Мнения свободны», и «так устроен свет, что где хоть два есть человека — есть два и взгляда на предмет». Почитать писателя малозначащим или многозначащим свободен каждый, но при столь резких несогласицах невозможно трактовать о данном лице или о данном сочинении… Это очевидно, и мы об этом писателе более говорить не будем, точно так же, как не говорим о «Палате № 6», которую я почитаю за прекрасное произведение, а Вы — за очень плохое. Никогда не должно спорить о том, что представляется двум людям совершенно

несхожим.

Желаю Вам поправляться. Александре Адамовне прошу передать мой поклон. Я тоже немножечко простудился и чувствую душевное угнетение и безмолвствую.

Н. Лесков.

А. И. Фаресову

17 сентября 1893 г., Петербург.

Ничего не могу сделать для перемены своих убеждений насчет литературного значения Меньшикова: признаю его за человека очень умного, с большим знанием литературы и с выдающимися способностями к разносторонней критике и анализу. Таково же, как мне известно, и мнение Л. Н. Толстого, но если бы Л. Н. имел и не такое, а иное мнение, даже совсем противоположное и ближе подходящее к Вашему, — это бы на меня не оказало влияния. Мне надо не быть самим собою, чтобы отложиться от моего собственного разумения; а этого сделать нельзя, и я должен оставаться при своем понимании, за которое Вы, конечно, вправе меня осудить. Но *рассуждать* об этом мы не можем, так как мы *разно видим*, и потому нам не на чем сговориться. Так это пусть и останется.

Про Золя я охотно слушаю, когда говорят о его таланте и его манере писания, но говорить о его *уме* и критическом чувстве — мне кажется делом напрасным.

А вообще можно и должно держаться такого

правила, что умных и даровитых людей надо беречь, а не швыряться ими как попало; а у нас не так. О нас Пушкин сказал:

Здесь человека берегут

Как на турецкой перестрелке.

Оттого их так и много! Меня, однако, литература больше терзает, чем занимает. Мне по ней всегда видно, что мы народ дикий и ни с чем не можем обращаться бережно: «гнем — не парим, сломим — не тужим».

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

М. О. Меньшикову

18 сентября 1893 г., Петербург.

Уважаемый Михаил Осипович!

Посылаю записочку. Желаю, чтобы ее напечатали в газете. «Рассказ кстати» пишу, но он разрастается и меня мучит. Он будет листа в 2 с хвостиком, а Павел Александрович, кажется, таких хвостатых не любит… Будет он мяться, и захочется ему хвост «урезать», а сего ненадобе… А ко мне кучатся за работкою, и эта работка всем пригодна. А писана она a propos статей «Недели» о «Китайской стене». Называется же «Загон» и представляет картины того, что было «в затоне» при замкнутой китайской стене.

Пришли бы Вы, по дружбе, ко мне проведать меня да посоветовать мне: как быть с этою статьею? Не лучше ли ее отдать в «В<естник> Е<вропы>» или «Р<усокую> м<ысль>», а для «Недели», может быть, напишется что-нибудь по «миниатюрнее».

Искренно Вас любящий

Н. Лесков.

М. О. Меньшикову

11 октября 1893 г., Петербург.

Уважаемый Михаил Осипович!

Я Вам отдал рукопись, как человеку знающему толк в литературе, а получил письмо от В. Гайдебурова, которого литературности я не знаю. По болезни моей мне неудобно вступать в разговоры на письмах с человеком, который пишет к авторам, не удостоив даже дочитать данную ему рукопись. Посылаю Вам его глупое и неучтивое письмо, а рукопись мою прошу Вас возвратить Петру Алексеевичу Богословскому, который доставит Вам эту записку. Не позабудьте также и листочек, который я вчера послал Вам с посыльным.

Искренно Вам преданный и Вас уважающий
Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

***Ночь*на 16 октября 1803 г.,**
Петербург.

Сегодня вернулась от Вас Л<идия> Ив<ановна> В<еселитская> и пришла меня навестить и долго и много о Вас рассказывала. По ее словам, она очень довольна своею поездкою, хотя опять с Вами не переговорила… Вот задача или незадача! Стасов от нас близехонько, и она к нему пойдет за синологом, а «кобеля потрясучего» кличут Виктором Петровичем. Живет он где-то в Поварском переулке, но № дома не знаю, и сам у него никогда не бывал. Ему можно писать в редакцию их издания (М. Итальянская, 18), но, впроч<ем>, Л<идия> Ив<ановна> послала в адресный стол за справкою и, вероятно, через два дня будет иметь возможность сообщить Вам его точный адрес. «О сем доволи». «Океан глупости», говорят, вывел Вас из терпения, и Вы хотите противопоставить этому отрезвление в немецком издании. Правда ли это? «Океан глупости» противен чрезвычайно, но благоразумно ли ставить свою ладонь против обезумевшего быка? Я ничего опасного не чувствовал в «Царстве божием» и теперь уверен, что

сочинение это не может вызвать никаких нежелательных последствий; но писать протест и помещать его в немецком издании — это значит сделать вызов, и не одному лицу, а всей орде… Я не отрицаю пользы и славы такого поступка, но я думаю, что тут есть опасность, которой, может быть, следует пренебречь, но которую непременно надо считать вероятною и даже почти неизбежною. Поступок такого свойства вполне Вас достоин, но… Вы, говорят, недавно читали Герцена, так у него есть сравнение, в котором есть полное сходство с тем, что будет: «Вы явитесь в положении человека, который старается войти в здание в то время, как все оттуда выходят». Мы стары, и нам дорожить собою много не стоит, но надо все-таки знать, чего можно ожидать? А ожидать, по-моему, следует того, что всякое мстивство Вам может быть произведено не только в согласии с «обществом», но, так сказать, как бы в удовлетворение его желаний… К тому, что в «Царстве б<ожием>» прежние читатели Ваши были подготовлены и освоены сочинениями, которые выходили ранее; но удар, направляемый в нынешнюю мету, произведет совсем новое и сильное впечатление. Вы без сравнения умнее меня и дальнозорче, но я все-таки хочу Вас просить

«семь раз померить» то, что Вы хотите «отрезать». Но в принципе я Вам совершенно сочувствую. Если можно Вам об этом говорить со мною, то не пренебрегайте моим желанном знать: в каком фасоне это будет написано и в какое немецкое издание будет направлено? И почему именно в *немецкое*, а не в *английское*? Немецкое приводит целую ассоциацию идей, которые совсем неудобны у нас теперь, а за английскими изданиями держится репутация такая, что там находит себе место всякое благородное слово, которое нельзя у себя высказать.

Преданный Вам
Н. Лесков.

М. О. Меньшикову

20 октября 1893 г., Петербург.

Я знаю, что делаю редакции затруднения вставками, и очень этим конфужусь, но фельетонный очерк должен отражать как можно полнее веяния минуты, и потому все, что в этом смысле картинно и характерно, то надо подать на блюде… Ведь это же и для редакции важно! Если только возможно, я прошу не оставить последнюю вставочку, а всунуть ее. Это все взято «с натуры», и все это бродит в обществе и дает живой колорит очерку «кстати». Пожалуйста, поставьте! Если затем необходима компенсация в виде лишения меня возможности просмотреть последнюю корректуру, то я уж лучше лишу себя этого, но вставочку прошу вклеить.

Николай Лесков.

А. И. Фаресову

26 октября 1893 г., Петербург.

Ап<остол> Павел сказал одному мужу: «Многие книги в неистовство тя прелагают». И, видно, что было древле, то есть и днесь. Вы очень сердитесь, так, что становится и «за человека страшно». Ни Гольцев, ни Протопопов не дураки и не неучи, а люди умные, образованные и с определенными взглядами известного политического направления. Они все вопросы рассматривают с точки зрения *этого* направления, у которого есть очень много сторонников высокой пробы умственной и нравственной. Во всяком разе, это направление, которое *можно понимать* и обсуживать. Каблиц же поступал со всеми вопросами как крыловская «Мартышка» с очками: «То их понюхает, то их полижет, то их на хвост нанижет». Он все *вертел*, а *ничего* не объяснил и не доказал, и говорить о нем всерьез как о выразителе чего бы то ни было, кроме ломанья, — я не почитаю ни за возможное, ни за достойное затраты времени. По-моему, это такой был мыслитель, что изъяснять его нет никакой надобности и никакой пользы. «Книги его прелагали в неистовство». Да поможет бог

всякому человеку избежать этого. У нас и без того много неистовых. Он кончил достойным себя образом: шулера мысли признали в нем свои родственные черты и позвали его к себе «на совет нечестивых», и… он пошел… Комическое положение!

Я надеюсь, что мы об этом мыслителе говорить больше не будем. Для меня это навсегда «Мартышка и очки», и притом мартышка довольно противная. Поздравьте и меня с глупостью.

Н. Лесков.

А. И. Фаресову

28 октября 1893 г., Петербург.

Мне трудновато, Анатолий Иванович, вести переписку о таких вопросах, как «массовый подъем» или «герои и героическое», <которые> имеют преимущества ясности и положительности. Об этом написаны горы, и в числе судивших об этом лиц есть Карлейль, Спенсер, Милль, Морлей и другие, при которых нельзя же упоминать о Каблице или выставлять в многозначащем, роде свое мнение. Его *иметь* можно, но с ним надо быть очень скромным. Вопрос этот из тех, которые человек великого ума называл «проклятыми». Массу надо поднимать, но она не поднимается массою… Что делать с этим «проклятием»? Я этого не знаю, и не сержусь на это, и не хвалю тех, кто «съел бы» людей иного мнения; а Вы мне это приводите… Для чего, спрошу? Мне это и не нужно, и неважно, и неинтересно. Свинья все ест, а человек должен быть разборчив в том, для чего он открывает уста. Я желаю понимать Карлейля в его теории «героизма» и совсем лишним почитаю всякое знакомство с литературною жвачкою маленького и почти совсем ничтожного

человека в области мысли, о котором я не знаю, для чего Вы писали. Когда же Вы выставляете наперед новое и его мнения в убийственном по своей трудности вопросе, — я не нахожу ничего более пристойного, как привести слова Феста Павлу: «Книги в неистовство тебя приводят». И как иначе! Что я должен думать о том, что Вы уже который раз попрекаете Гольцева тем, что он «*экс-профессор*»!.. Разве Вы не знаете, почему он «*экс*»? Разве его выгнали за дурное дело?.. Разве честные и умные люди могут приводить такие попреки? Стыдно Вам это, Анатолий Иванович!

Н. Лесков.

А. И. Фаресову

29 октября 1893 г., Петербург.

Все это так бы можно пустить, но Вы не раз, а *каждый* раз на слове и на письме стегаете этого честно пострадавшего человека тем, что он «*экс* — профессор». Это очень нехорошо и не делает Вам чести. Но еще хуже то: зачем Вы тогда негодуете на отношения Ф<лексера> к Чернышевскому и Белинскому? Значит, Вы понимаете, чту именно тут есть неуместного, но для себя Вы этим не стесняетесь. И за что? За то, что люди берут дело с другой стороны, чем юродивый К<абли>ц, *и утверждают выводы, сделанные Белинским и Чернышевским!* Вами просто овладевает «неистовство», и это самое лучшее, что можно сказать в Вашу защиту. Вы высказываете на людей *подозрения* — чт они думают, когда пишут… Кто же Вам дал такое право разъяснять чужие *думы*? И в чем Вы могли увидать черные замыслы в статьях Гольцева и Протопопова, где сказана одна фактическая правда, и как раз сходная с тем, что писали Бел., и Черн., и Карлейль, и все великое множество умных людей, которые знают историю и видят, что «масса инертна», а

успехи делаются немногими, способными идти вослед «героев» (Одън, Кромвель, Лютер, Магомет, Христос, Будда). О чем Вы спорите-то? Это ведь не то, что хорошо или нет участвовать в издании экс-шпиона? А если хотите знать мое мнение, то не посердитесь за него: я Вам скажу, что Вы не столько обнаруживаете *любовь к истине*, сколько *любовь к шуму*. Это вредно для истины и не поведет Вас к успеху в литературе. Совет Вам возможен один: меньше кидайтесь по верхам журналистики, где мало обстоятельности, а обратитесь к самостоятельным исследованиям. Почитайте хоть Гиббона. Иначе всё будете «шуметь» и не принесете делу пользы.

Н. Лесков.

А. И. Фаресову

30 октября 1893 г., Петербург.

Совершенно справедливо, Анатолий Иванович, что полемику о достоинстве суждений Каблица надо бросить. Еще бы лучше было ее не начинать, потому что человек этот *как мыслитель* — только смешон и жалок. Вы процитировали много имен, и все они говорят и то и другое; а хоть бы они говорили ни то и ни другое, то всегда останется ясным, что «не все желудки способны варить одну и ту же пищу», и отсюда у Сократа, у Оригана и у Августина получили свои права учения «исотерическое» и «экзотерическое», то есть более полное и менее полное (для людей менее понимающих). Писемский шутя предлагал таких умников, как Каблиц, «посадить в пивную, чтобы там сказал: како верует?» Пустым делом мы с Вами занимаемся. А Гольцев и Протопопов не невежи, а люди, которые в литературе не говорят ничего к помрачению совести и понятий. Я кончил.

Н. Л.

Л. Н. Толстому

1 ноября 1893 г., Петербург.

Высокочтимый Лев Николаевич!

Вчера мне случилось видеть «заведующего общежитием студентов» (зятя Бем), и он рассказал мне, как шли «беспорядки» из-за разномыслия в посылке депеш в Париж («заведующий» этот — такой, какой к этому месту сроден и нужен). Было так: хотели послать депешу очень немногие, а *против* посылки были все поляки, все немцы и «меткие народцы», то есть эсты, литвины, хохлы и евреи. Русские же партизаны делились по факультетам: юристы и филологи подписали в количестве 96-ти человек, а остальные *не* подписались. А естественники и математики *все не* подписались. Немцы отвечали прямо, что сии «не хотят» посылать депеши; поляки вначале давали уклончивые ответы, но потом тоже стали прямо говорить, что «не хотят», мелкое рассеяние уклонялось от ответов и от подписей. Окна действительно били, и междуусобная потасовка была начеку. Тогда и были приняты «меры», о которых рассказчик не сообщил, и затем депеша «от студентов» составлена и послана ректором

Никитиным. Ответа на нее нет, и это «заведующий» объясняет тем, что в Париже не только знали о разномыслии студентов, но и еще того более: будто бы студенты через Берлин или другой заграничный город телеграфировали в Париж, что они этим празднествам не сочувствуют.

Сообщаю это Вам для Ваших соображений и еще раз повторяю, что «заведующий общежитием», зять Бемов (Барсов), — человек, который удостоен своего поста по своим заслугам, но рассказ его я принимаю за верное и сам на него полагаюсь

На торжестве Григоровича не был. Описания, вероятно, читаете. Письмо Ваше, говорят, было встречено с очень благородною серьезностью и напутствовано живым, как бы демонстративным рукоплесканием. Кони переселился ко мне в соседство и хочет «стучаться вечером», чему я, конечно, рад. Лидию Ив<ановну> видел вчера Она пишет нечто для Гуревич. Я написал нечто для «Недели», и это уже набрано, но как-то пугает всех, и потому не знаю: выйдет это или нет. Называется это «Загон». По существу это есть *обозрение*. Списано все с натуры. Если выйдет это, то, пожалуйста, прочитайте и скажите мне безвредно это или вредно. Мне не нужно похвал, а нужно проверять себя по суду того, кому верю.

Не в том дело, мастеровито ли это, а в том: есть ли сие на потребу дня сего? Мне ведь тоже говорят и так и иначе; а я один, слаб и умом шаток. Обозреньице это читают в корректуре люди разные и кое-что мне возражают, что будто этого не надо бы; а другие говорят «надо»; и в числе этих редакция «Недели», а я сам уверен так, что это представить стоило, и вреда я ничему доброму не делаю. Посмотрите, пожалуйста, и Вы.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

2 ноября 1893 г., Петербург.

Высокочтимый Лев Николаевич!

В «Вестнике Европы» за ноябрь м<есяц> <18>93 года, в XV статье, начин<ая> стр. 393-й, под рубрикою «Иностранное обозрение» напечатаны очень дельные характеристики «океана глупости» и выражены мелкие замечания и соображения о «русских журналистах в Париже». Все это, конечно, суховато и в докторальном тоне, но справедливо и хорошо. Считаю не излишним на всякий случай указать Вам на это, так как Вы, кажется, «В<естни>ка Европы» не получаете. Во всяком случае, хорошо, что хоть откуда-нибудь послышался человеческий голос, а не одно повсеместное скотское блеяние наших «делегатов».

За день до юбилея Гр<игорови>ча сюда приезжал из Москвы Гольцев и был у меня прямо с поезда и планировал посетить того и другого и возгласить здравицу «кавалеру»; но я его более уже не увидал, так как ночью прилетели к нему ангелы и умчали душу его обратно в Москву, и так все, что он придумал сказать дорогому имениннику, осталось в нем… Сегодня он пишет мне

уже из Москвы, что и там был визит его семейству и у его семейных спрашивали: «всегда ли он ночует дома и *часто ли не ночует*?» Гольцев очень обижен.

Суворин возвратился вчера утром (на другой день после производства Гр<игорови>ча в кавалеры). Я его не видел. Гайдебуров еще не показывает глаз. Может быть, ему будет немножко стыдно, так как я его уговаривал не следовать примеру пошлости и не ехать в Париж, и то же ему говорил Меньшиков, но он не послушал нас и Меньшикову сказал на словах, а мне даже *написал*, что «только посмотрит, а делегатом не пойдет и никаких доказательств делать не будет»… Есть таксе его письмо, но и я и М<еньшиков> этому, конечно, не верили, и «Гайдебуров Павел себе чести сбавил». Сегодня в «Новостях» классический Модестов изъясняет серьезное значение образовавшегося «союза народов» и выводит рост русского общества… Очень пошло, но любопытно для объема профессорского понимания. Я теперь не беспокоюсь более о том, что написал для «Недели». Пусть посмотрят на этот «рост». Пока еще нет известий, выберется моя статья на свет или не выберется.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

14 декабря 1893 г., Петербург.

Высокочтимый Лев Николаевич!

Покорно Вас благодарю за Ваши строки о моем «Загоне». Я очень люблю эту форму рассказа о том, что «было», приводимое «кстати» (a propos), и не верю, что это вредно и будто бы непристойно, так как трогает людей, которые еще живы. Мною ведь не руководят ни вражда, ни дружба, а я отмечаю такие явления, по которым видно время и веяние жизненных направлений массы. Но мне самому очень важно знать, что и Вы этого не порицаете. Я иду сам, куда меня ведет мой «фонарь», но очень люблю от Вас утверждать себя и тогда становлюсь еще решительнее и спокойнее. К сожалению, моих «a propos» *негде* печатать. Г<айде>б<уров> не только их боится, но еще и страх накликает, и я продолжать эту работу не могу. Тем, что Вы пишете по поводу флотских визитов, я заинтересован до крайности. Правда, что это как будто поздновато будет, но ничего: дельное слово свое возьмет.

Зима стоит мягкая и влажная, и это мне на пользу: я не испытываю таких мучений, каким

подвергался в прошлом году. Поехать в М<оскву>, чтобы повидаться с Вами, очень желаю и надеюсь; а удобное время к тому только на святках, потому что я один ехать не могу (может сделаться припадок сердечной судороги), а сиротка моя свободна только на святках. А она знает мою болезнь и не теряется, а умеет делать, что надо.

Теперь в Москве должен быть наш очень умный Меньшиков, и Вы с ним, конечно, уже беседуете. Статьи его все очень хороши, а «Работа совести» — превосходна. Я Вам писал о ней. Посылал я Вам тоже кое-какие вестишки как материал, быть может годный для занимающей Вас работы. Надеюсь, Вы получили все мои письма.

О Х<ил>кове я все знаю, и это отравляет мне весь покой. Хуже всего это — как к этому относятся люди нынешнего общества, совсем потерявшего смысл и совесть. Говорят об этом очень мало и всегда — вяло и тупо и с таким постановом вопроса: «Это-де как смотреть — *с какой точки зрения*». И всегда, разумеется, устанавливаются на такой точке, с которой родители «сами виноваты». Для меня это так несносно, что я со многими перестал говорить, чтобы себе и им крови не портить. И главное тут еще то, что мать Х<илко>ва начала это «с благословения Пержа-

на», а Пержан что ни спакостит, то все «свято» Вот он когда сквитовался с Х<илко>вым за сцену в Сумах!.. Теперь, впрочем, все «mesdames» успокоены, что «по крайней мере деток очистят, а то они в чесотке». Не могу про это говорить более и удивляюсь нечеловеческому самообладанию дам и поэтов. Еще слышно, взяли детей у Паниной, которая тоже в церкви не венчана, и дети ее не обмокнуты. Я ее не знаю, но говорят, будто она женщина бойкая, пылкая и мстивая. Спаси ее бог от большой напасти. И вот, вообразите же, никто из «противленцев» не возвысит голос и *с своей точки зрения* не оценит, как это *опасно* — отрывать детей от сердца матери. Тупость мешает это представить себе, а одно слово, что «отец И<оанн> благословил», — все примиряет. «Так и надо». Я кипячусь и ссорюсь, и иначе не могу, и даже, кажется, не хочу иначе. У всех так и поперла поповская отрыжка. И даже те, от кого этого не ждал бы, — все на одну стать сделались. Невыносимо грустно, мучительно и противно и в лад слова сказать не с кем, — вот как живу. Удушливый гнев и негодование по крайней мере поддерживают дух и не дают места унылости.

Читаю всего более «Письма Сенеки к Люцилию». Не хожу *ни к кому*, потому что везде один

тон. — Одновременно с Вашим письмом вчера получил письмо из Москвы от «редакции Иога-исона», у котор<ой> есть редактор, неизвестный мне Вас. Евг. Миляев, и ему вздумалось издать «сборник»… Он нацеплял «имян» и меня туда же тянет, но Вашим именем не хвастается… Верно, Вы смужествовали, и я последую Вашему примеру. Остепенять надо этих затейников, которые лезут, сами не зная куда и зачем.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Л. Н. Толстому

15 декабря 1893 г., Петербург.

Высокочтимый Лев Николаевич!

В последнем письме моем к Вам я сказал в одном месте, что Вы теперь, верно, уже беседуете с Мих. Осип. Меньшиковым. Это я написал потому, что М<еньшиков> совсем собрался ехать в Москву, и я уже пожелал ему счастливого пути и радостной встречи с Вами; а он вчера пришел ко мне неожиданно и объявил, что сборы его рассыпались и он не поедет за редакционною работою, которой теперь очень много. Я Вам это и пишу, чтобы объяснить соответствующее место в моем прошлом письме и не явиться перед Вами легкомысленником. — Вчера получил известие от великосветской дамы (кн. М. Н. Щербатовой), что рассказы старой Х<илко>вой о заразной нечисти на детях Дм<итрия> Ал<ександровича> не подтвердились: чесотки нет; а цели для отобрания их две: 1) окрестить и 2) усыновить и укрепить за ними наследство. Обе эти цели встречают почти всеобщее одобрение, — особенно вторая, то есть закрепление наследства. Говорят тоже, что будто «потом детей возвратят», но я думаю,

что это «потом» будет очень не скоро Вообще мероприятие это принято с ужасною тупостью ума и чувств. Есть даже «благословляющие» и уверенные, что «этим путем будет спасен и *отец*, который возвратится к богу» И это не у одних православных, а и у пашковцев Ругин (Ив Дм), перешедший к пашковцам (он «уверовал в спасение»), вчера принес мне известие, что у них тоже радуются, что Дм<итрий> Ал<ександрович> «придет», и уже молились «за него и *за Вас*», — чтобы и Вас б<ог> «привел» Слушаешь будто что-то из сумасшедшего дома. Было «пророчество» и на Марью Львовну — что она тоже «придет» и «будет спасена», и т. д. — Сентиментальное место у Жуковского о смертной казни я нашел это в 6-м томе 6-го издания (1869 г), начиная с стр. 611. — Приспосабливаюсь этим воспользоваться. — Происшествием с Х<илко>выми удручен до изнеможения сил и не могу, да и не хочу, приходить в иное состояние, ибо *это* почитаю теперь за самое пристойное. Какие рассуждения при такой скорби. Если все будет идти так, то лучше ни с кем не видаться, чем прилагать мученье к мучению — У Сенеки встречаю много прекрасных мест о «неделании», и все это изложено в восхитительной ясности. Вспоминаю Вас за этим чтением.

Об ответах на мои письма никогда не прошу Вас, но если получаю Ваши строки, то бываю ими утешен и обрадован, а нередко и укреплен, — в чем постоянно и сильно нуждаюсь

Преданный Вам

Н. Лесков.

Л. И. Веселитской

21 декабря 1893 г., Петербург

Уважаемая Лидия Ивановна!

Посылаю Вам «Стальную блоху». Если мы с Вами и раззнакомились, то это не мешает, чтобы у Вас была моя книжка, за которую притом я денег не платил и продавать ее не понесу. Примите ее, пожалуйста, по старой памяти и дайте Вашей, маме — почитать больному генералу, который, вероятно, найдет тут что-нибудь знакомее и, может быть, улыбнется. В наши с ним годы и это чего-нибудь стоит. — В отношении нашей с Вами разлуки ничего не скажу, как то, что «все искреннее лучше всего неискреннего». И хорошим людям порою бывает друг с другом «тесно», и это так надо и оставить, пока покажется (если покажется) кому-нибудь по ком-нибудь «скучно». Я уже говорю всем, кто меня о Вас спрашивает, что я Вами презрен и покинут и вполне того стою, но умышленного рачения о сем не прилагал.

Желаю Вам всего полезного и доброго

Н. Лесков.

Письма 1894 года

М. О. Меньшикову

12 февраля 1894 г., Петербург.

Уважаемый друг!

Статья Ваша о моем XI томе вышла в тот день, когда у меня собирался консилиум и когда я был особенно взволнован. Я ее прочитал и не сразу мог ее оценить. Сразу я увидал только, что Вы человек смелый и искренний и ставите меня значительно выше, чем я в самом деле стою. Я был очень обрадован Вашею смелостию и искренностию, которые, к сожалению, встречаются очень редко. Потом я увидал, что эта милая мне по своей доброжелательности статья написана в самом деле как бы не Вашею рукою и даже в чуждом Вам тоне и манере… И мне стало и больно и смешно: раз во всю мою рабочую жизнь (за 35 лет) один только истинно умный, честный и мужественный человек захотел и решился говорить обо мне без «картавки», и тут надо было, чтобы у него «рука развелась»!..

«Это замечательно!» — как говорят в «Первой мухе», но это и хорошо. Это почему-нибудь так надобно. Статья останется мне воспоминанием Вашей отваги и доброй ко мне приязни; она мне

очень лестна, и в ней есть превосходные места о темпераментах; но она написана М<еньшико>вым больным или усталым, и в ней есть даже одна несправедливость против меня, и притом очень меня уязвляющая: выводя низкие типы нигилистов, я дал, однако, в «Некуда» Лизу, Райнера и Помаду, каких не написал ни один апологет нигилизма. Это нехотя замечали мои клеветники; а Вы этих лиц вовсе не отметили. И я, больной, все думаю, что это так было и надо. И мне все хочется обнять Вас и благодарить за Ваши добрые чувства и за отважную попытку поддержать меня, а на письме изложить все это трудно. Репину при трех попытках не удалось написать моего портрета, а Вам не задался литературный очерк обо мне. Значит, так и надо. Я хотел бы, чтобы Вы только верили, что я высоко ценю Вашу дружбу, люблю Вас и очень Вам благодарен за то, что Вы говорили обо мне с такою искренностью, какой я не позабуду.

Искренно Вам преданный

Н. Лесков.

С. Н. Терпигореву

22 февраля 1894 г., Петербург.

Любезный друг Сергей Николаевич!

Очень тебе благодарен за внимание и за приглашение к обеду, но быть не могу. Вот уже пять лет, как я нигде, кроме дома, ничего вкушать не могу. И это не потому, что так меня научила известная тебе Фермуфия, а потому, что я очень болен и не могу есть ничего, приготовленного для людей здоровых. Притом же и все сказанное тебе о моей поправке неверно и даже прямо ложно: я поправился настолько, что по совету Чудновского выезжаю среди дня *на полчаса* прокатиться, и от этого мне лучше; но затем, после этой прогулки, я возвращаюсь и лежу в молчании и тишине. Про такую поправку и говорить бы, думается, не для чего.

Читаю твои фельетоны и не то чтобы защищал их (ибо они не нуждаются ни в чьей защите), но часто их изъясняю и отстаиваю (ибо это бывает нужно). Пишешь ты однообразно, но верно и хорошо, и знаток быта это должен понимать; но ужасно видеть: для чего ты всегда гадишь роль «резонера», в которой выводишь себя!.. Зачем это

он у тебя все ехидствует и ухмыляется и никак не может взять ни при одном случае тон иной, более достойный и соответствующий положению вещей и идей? «И истину царям *с улыбкой* говорить» уже стало пошло; а у тебя твой резонер уж и с исправником зубы точит!.. Что же это за манера? И выходят *все* очень хороши, кроме… тебя самого, от которого отдает чем-то семинарским я пошловатым. Неужто ты думаешь, что при каком-нибудь уважении к себе неглупый человек станет хихикать с таким исправником, а не поставит его просто на пристойное от себя расстояние, как ставят иногда и твоего сенатора и Баранова! Это тебе стыдно так писать и через это давать ложное освещение всей картинке, которая во всем остальном прекрасна. «Истины» пора говорить без улыбок, и это можно, а еще более — *это должно*. Писатель не должен подавать пример отсталости в отношениях.

Очень хорош твой бр<ат> Симолин! И хорошо общество, где такой экземпляр возможен. — Желаю тебе всех благ.

Н. Лесков.

А. К. Чертковой

2 марта 1891 г., Петербург.

Вчера неожиданно получил от Вас, Анна Константиновна, прекрасное, доброе письмо и был им очень тронут и благодарю Вас за него. Все, что Вы написали, сродно и близко моему пониманию, и мне совершенно легко отвечать Вам на это. Без сомнения, я вполне уважаю и люблю Вас и Владимира Григорьевича, в котором есть много такого, что следует и любить и уважать, на я боюсь, что при сближении его со мною в нем опять пробудится его беспокойство, и «выйдет последняя вещь горше первыя» (так как и я теперь предубежден против него и могу впадать в подозрительность там, где для нее, может быть, нет и места). Но никакой неприязни к Вл. Гр. я не питаю, а, напротив, люблю его и находил бы удовольствие с ним видеться и беседовать. Если он будет в П<етер>б<урге> и застанет меня здесь, — я усердно прошу его навестить меня, и, я надеюсь, мы с ним встретимся братски. Болен я был долго и очень тяжело, и теперь, конечно, не пользуюсь здоровьем, которое, без сомненья, непоправимо. Дух же мой порой бывает бодр, а

иногда унывает и раздражается. Стараюсь содержать его в лучшем порядке, но далеко не всегда этого достигаю. Болея сами, Вы, вероятно, знаете, как это колеблется. Больной я почти постоянно был одинок и привык почитать это не за самое худшее. Люди приносили много суеты, до которой мне становится все меньше и меньше дела. В размышлениях своих о душе человеческой и о боге я укрепился в том же направлении, как и верил, и Лев Николаевич Толстой стал мне еще более близким единоверцем. Думаю и верю, что «весь я не умру», но какая-то духовная постать уйдет из тела и будет продолжать «вечную жизнь», но в каком роде это будет, — об этом понятия себе составить нельзя здесь, и дальше это бог весть когда уяснится. Мне очень понравилась фантазия Короленки «Тени», присоединенная в конце к книжечке о Сократе. Я тоже так думаю, что определительного познания о боге мы получить не можем при здешних условиях жизни, да и вдалеке еще это не скоро откроется, и на это нечего досадовать, так как в этом, конечно, есть воля бога. Зимою я был смущаем не раз доходившими до меня вестями о том, что будто Л. Н. допускает сильные изменения в своих верованиях; и я огорчался и сожалел, что это породит смущение

в других. Нечто такое и сталося, но потом я увидел, что это могло произойти от «ревности не по разуму», которую являют иногда то те, то другие. Позже это на меня навеяло усталость и раздражение, которых я испугался и почел за лучшее очень много сократить свою сообщительность и найти покой в тишине «благого молчания». И я уклоняюсь от «ревнующих», и это мне дает покой; а к Л. Н. в сердце своем я питаю еще сугубую любовь и вполне с ним единомыслен в предметах веры, для чего и получаю себе в его словах уяснения и поддержку. Чувствую однако, что лучшее, поэтическое время духовной жизни прошло и теперь настала иная пора, когда надо делать, а не говорить. Сюда по зиме приезжал Паша, и говорил он столько, что мне показалось, будто он говорил много и что это говорение стало уже не ко времени, и оно не полезно, а вредно; и мне это очень не понравилось, и я это ему, разумеется, сказал. Я бы лучше хотел, чтобы дело зрело в тиши, как семя, а не было уронено и доведено до смешного, и мне кажется, я понимаю положение и что я хочу полезного. Повестей Льва II и г-жи Гуревич я тоже не одобряю, несмотря на всю их строгую нравственность. Это само по себе болезнь.

Благодарю Вас за доброе письмо и кланяюсь

Владимиру Григорьевичу.
Ваш *Н. Лесков.*

М. О. Меньшикову

10 марта 1894 г., Петербург.

Уважаемый друг Михаил Осипович!

Очень Вам благодарен за то, что обещаете позаботиться о моем «глаголемом» Петруше. Я его знаю с детства его и смело рекомендую его в Ваше благорасположение. Он парень с толком, с характером и с очень теплой и нежной душою. Страстная любовь его к литературе очень велика, и он всегда стремился к этим занятиям. Для секретарства в редакции он человек очень пригодный и, по-моему, — золотой (скор, точен, неутомим и толков).

За книгу Гильти премного Вам благодарен. Она действительно превосходна, и я начал читать ее уже во второй раз, и с огромным удовольствием и с согласием. А «Инхиридион», или «Руководство» Эпиктета, который (то есть Инхиридион, или Энхиридион) известен мне по переводу Григорья Полетики (напеч. в 1767 г.), у Гильти переведен весь, и этот перевод, конечно, во всех отношениях лучше старого перевода Полетики.

Если (может статься) Вы найдете достойным воспроизвесть перепечатанный сегодня

«Нов<ым> временем» анекдот о Тургеневе, то не сочтете ли за полезное указать со ссылкою на меня, что это было в приемной у Дмитрия Андр<еевича> Толстого и штуку эту проделал дежуривший у него синодальный чиновник Петров, который вслед за тем проворовался и умер. Но важно то, что ему ничего не «попало», как переврал интервьюер, а что Дм. Толстой всегда смотрел «распределение приема» и, стало быть, видел, что тот своей хамской лапой поставил Тургеневу № после всех столоначальников (или делопроизводителей)… Это все вполне верно, и происходило это в бытность Толстого об<ер>-пр<окурором> синода и министром народн<ого> просвещения.

Не позабудьте пособить Петру Ильичу! Он, кажется, надул себя, бедняга!

Я возвышаюсь до чрезвычайности! Был у меня Третьяков и просил меня, чтобы я дал списать с себя портрет, для чего из Москвы прибыл и художник, Валентин Алекс<андрович> Серов, сын знаменитого композитора Александра Н<иколаевича> Серова. Сделаны два сеанса, и портрет, кажется, будет превосходный. Не найдете ли любопытным заглянуть? Проработает он еще с неделю и затем увезет портрет с собою в Москву.

Ваш *Н. Лесков*.

В. А. Гольцеву

11 марта 1894 г., Петербург.

Уважаемый друг!

Письмо Ваше так меня тронуло, что я сейчас же хотел на него отвечать, но в это мгновение пришел некто, прилипчивый как банный лист, и я письмо Ваше спрятал к сердцу, где и проносил целую неделю. Простите! За слова приязни и участия сердечно Вас благодарю. Болен был очень, так что я сомневался в возможности «отсрочки», но она последовала; «яблонь вновь окопана», и садовник, вероятно, еще ожидает плодоношения… Теперь пока ползаю, как выходящая из окоченения муха, и кое-что делаю для «Русской мысли». Я это помню и «стараюсь». Прошу Вас об услуге: нельзя ли мне получить от Кушнарева (конечно, за деньги, только не за анафемские) экземпляр «Декамерона» без выпусков, сделанных ради русского пуризма? Или об этом надо просить Веселовгкого? В таком разе где его адрес и как его звать? Но нельзя ли Кушнареву быть ко мне милостивее и уладить дело попроще.

Преданный Вам

Н. Лесков.

М. О. Меньшикову

27 марта 1894 г., Петербург.

Усердно Вас благодарю, Михаил Осипович, что обороняете меня от озорства Шубинского. Сказанное сегодня очень хорошо и вполне довлеет злобе его Больше ничего и не нужно. А для Вас скажу, что это за человек этот Шубинский (известнейший сплетник и интриган): он три года неотступно приставал ко мне, чтобы я дал ему что-нибудь, и делал это и при Суворине, и при Коломнине, и при Ефремове, а когда я ему ничего не хотел даже пообещать, — он взял и выкинул вот эту штуку, которую я, однако, не почитаю для себя за вред, но почитаю за неприятность, потому что семинарист, руководимый этим генералом интендантского ведомства, могут написать что-нибудь в духе, противном тому, что я почитаю за благо и в чем хочу быть соединен симпатиями тех людей, которых я люблю и уважаю

Очень Вам благодарен за дружескую услугу

Ваш *Н. Лесков.*

М. О. Меньшикову

8 апреля 1894 г., Петербург.

Уважаемый Михаил Осипович!

Посылаю Вам «писемце» очень милой дамы, которая пишет мне про Вас. Прочитайте. Это любопытно и приятно.

Прочитал я Вашу статью о старых и молодых писателях.

Совершенно верно, что к молодым предъявляются требования несправедливые.

Я это однажды уже высказал (за Чехова и Короленко), и именно в этом же самом духе и направлении. Не знаю только: кто же это из старых писателей их унижает? Мне кажется, что это делает только один из критиков, которому я и отвечал и тем его обозлил. И Григорович и Боборыкин очень хвалят Чехова! Вообще молодым их положение досталось легко и без боя (если не считать г. Буренина, который не одних «молодых» унижает).

На кого и на что именно Вы указываете в стороне «стариков», мне, к сожалению, неясно, и мне досадно будет, если и другие старики не окажутся проницательнее меня.

Жаль и то, что Вы оставили совсем необозначенным: в каком бы настроении надо было писать, чтобы выходило «то, что нужно»! Что до меня, то я давно себе это решил и покоен: я смерял мои силы и окинул глазом работу, и увидал как раз то, что видел Каульбах: «Вижу, что в храме торгуют и что торговля мешает быть в храме тому, что должно быть там». И понял я, что прежде всего надо выгнать торгующих в храме и вымести за ними их мусор, и тогда, когда горница будет подменена и постлана, — придет в нее тот, кому довлеет чистота, и нет ему общения с продающими и покупающими. И я взял метлу и все выметаю мусор и гоню к выходу торговцев, и почитаю это за мое дело, которое я имею и могу делать, тогда как другого, большего, я не умею делать и если бы взялся за него, то сделал бы его худо и не принес бы даже и той пользы, которую, может быть, принес, поталкивая торговцев и выбрасывая их помёты за церковный порог. О деятельности своей я думал так и так ее и веду, и ничего более крупного и полезного я делать не умею и не могу, а по тону — и не обязан и не должен. Вы в этой статье не ясны и едва ли вполне справедливы.

Преданный Вам

Н Лесков.

В. А. Гольцеву

10 мая 1894 г., Петербург.
С 15 числа — Меррекюль

Уважаемый Виктор Александрович!

Благодарю Вас от души за содействие к получению бесцензурного «Декамерона», благодарю и Ивана Николаевича Кушнарева за подарок этот. Очень ему признателен. Посылаю сегодня в редакцию давно обещанную рукопись. Называется она «Зимний день». Содержание ее живое и более списанное с натуры. Как я чувствовал «Некуда», — так будто предощущал и «сологубовское сосьете». Счетом это будет теперь уже восьмая вещь из всех мною Вам предложенных и напечатанных потом в других изданиях (8-я потому, что в страстную субботу «Пет<ербургская> газ<ета>» напечатала «Сошествие во ад», оттиск которого Вам посылаю). Посмотрите эту брошюрку: там любопытно, как наслояется легенда о воскресении. По-видимому, все это шло путем шантажа с архиереем. Это меня и интересовало и теперь многим кажется очень замечательным. Что такое у Вас видели «невозможного» в этом этюде, — решительно не понимаю. Был у меня

<1 сл. нрзб.> М. А. Протопопов и имел со мною разговор о деле постороннем, но касалась речь и его разлада с «Русской мыслью». Как это сугубо жалко! Неужто тут ничего нельзя поправить! Он, положим, шероховат и не покладист; против этого и слов нет, но и у Вас тоже хороши редакционные приемы… «Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке»… А тоже не много, кажется, кем неглижировать осталось! Мне очень жаль, что Прот. нет у Вас более. Нельзя ли как-нибудь попосредничать к реставрации его в журнале? Я бы очень об этом постарался. Справьтесь о получении рукописи «Зимний день».

Н. Лесков.

М. О. Меньшикову

18 мая 1894 г., Петербург.

Усердно благодарю Вас за присланный пакет из Венгрии. Кому-то нужен мой портрет и подпись. — Нахожу себя в долгу перед Вами ответом на одно письмо, но не отвечал на него потому, что не могу отвечать. Оказывается, что у меня была ошибка: я думал, что мы гораздо солидарнее, чем это выяснилось, а спорить напрасно. «Благое молчание ни в чем не вредно». А потому и покроем все оное «благим молчанием».

Отчего Вас, а не Гайдебурова звали в комитет? Они не имеют права, да и не имели и привычки призывать лиц, не имеющих официального редакторского значения. Это бывало при «Незабвенном», но давно вывелось и казалось уже невозможным. Неужто опять реставрируют! И кто же, и с кем!.. Зачем Вы позволили им осуществить это вожделение? Я этим, признаться, смущен. Что Вам-то за дело выслушивать их «внушения», да еще «строжайшие»? Мне думается, что Вам совсем не надо было ходить к ним.

Я остаюсь в городе до 23-го, а потом уезжаю в Меррекюль. На всякий случай, адрес мой просто

Меррекюль и ничего более. От Л. Н — ча имел письмо вчера. Там все благополучно.

Искренно Вам преданный

Н. Лесков.

В. М. Лаврову

26 мая 1894 г., Меррекюль.

Многоуважаемый Вукол Михайлович!

Сегодня я получил Ваше письмо, в котором Вы пишете, что пришлете мне сюда, в Меррекюль, Ваши переводы с польского языка. Я очень благодарю Вас за этот приятный подарок, так как я не все эти переводы читал, а очень хочу их прочесть; а в городе на это никак не устроишься. Усердно Вас благодарю за это. Что же касается наших отношений, то они никогда не мешали мне быть вполне расположенным к Вам и к Вашему изданию, которому я желаю доброго успеха, и очень рад, если могу ему пособлять в этом.

Теперь, кстати, просил бы Вас о двух вещах:

1) Чтобы контора сообщила мне сюда: как стоят мои счеты с журналом?

и 2) Чтобы Виктор Александрович дал мне помощь — отыскать адрес московского художника Валентина Александровича Серова, который постом этого года написал мой портрет для П. М. Третьякова. Я выехал из Пб — га, не снявши с себя удовлетворительной фотографии, а имею необходимую надобность послать портрет «Вен-

герской иллюстрации», которая просит об этом. Я прошу Серова прислать мне фотографию с того портрета, который он написал. Можно ли этого достичь или нет? Пожалуйста, помогите мне все как можете, чтобы я не выходил перед чужими людьми манерником и кривлякою, которому будто хочется, чтобы его просили, а он будет ломаться. Если Серова нет в Москве, то нельзя ли мне сообщить адрес Третьякова.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

В. А. Гольцеву

4 июня 1894 г., Меррекюль.

Сегодня получил от Вас, уважаемый Виктор Александрович, письмо «со шпилечкой» (как говорил лихой памяти м<итрополит> Филарет). Решил последовать тому мудрецу, который «на свой счет ничего неприятного не принимал». С какой стати, взаправду, подумал я, будто это я «сплетничаю»! Я мир люблю и люблю попробовать водворить мир, если это возможно. Я знаю по опыту, что множество неладов возникают именно от недоразумений, которые не могут устранить стороны заинтересованные, а человек посторонний может принести пользу. И он тогда называется не «сплетник», а миротворец, и он «блажен» даже тогда, если на него сердятся и обижаются. А Вам могу сказать с Луцием: «Мой милый, не суди так строго!» М. А. П<ротопоп>ов, которого я видел раз в жизни, парень неуживчивый и угловатый; а вы, братцы мои, — русские мыслители, — с своим <…> «стилем» в деловых письмах и всякого-то человека не успокоите, а приведете в «три волнения». Я его, впрочем, не оправдываю, но жалею, что его не будет в жур-

нале, потому что он все-таки пишет занятно и довольно умно, а порою и очень умно. Но если он Вам не к масти, то, разумеется, говорить о нем нечего. А я так думаю, что у него очень велик «павлин в голове», а Ваши старцы сели за ставцы и не хотят подумать, что у человека бывает «головное воображение» и оно потом проходит. Вы вот Каткова не любите, и это хорошо: а зачем Вы не замечаете, сколько у вас на хозяйстве есть катковского духа! Так он отбил от себя Тургенева, Писемского, Марка Вовчка и проч. Все это было по недоразумениям старцев, которых нельзя было достать из-за ставцов. И этим иногда можно достичь того, что совсем не в пользу изданию. — Корректуру в половине июля прошу прислать, и непременно в двух экземплярах. Я ведь ужасный копун и все должен себя выправлять да разглаживать. Я написал для барышни в «Зимнем дне» сценку, которая мне нравится, и я ее должен вставить. Это из того, что говорил Н. Н. Ге, и это образно и важно для «духа времени». Другая рукопись теперь уже совсем готова, но пусть она полежит у меня до корректур «Зимнего дня». Тогда они придут к Вам вместе. Усердно благодарю Вукола Михайловича за его книжки, которые я получил и читаю.

Посылаю Вам свою карточку, отпечатанную в Петербурге с негатива, сделанного Бем здесь в Меррекюле. А «сплетником»-то все-таки не считайте, а сочтите «миротворцем», и не судите строго, и катковского приема в сношениях «огробайтеся». Пр — ва надо жалеть, и нельзя не жалеть! Видите, чай, куда его «головной-павлин»-то затащил! Если бы надо было выщипнуть перо-другое и у своего павлина, лишь бы не допустить человека до такого якшательства, я бы, кажется, не почел это для себя ни за какое унижение.

Ваш *Н. Лесков.*

В. М. Лаврову

28 июня 1894 г., Меррекюль.

Многоуважаемый Вукол Михайлович!

Сегодня я получил письмо от Третьякова, что он пришлет мой портрет работы Серова Вам в редакцию, а Вы поручите фотографу, что с него снять, а потом отошлите опять портрет Третьякову или куда он укажет. Сделайте милость, примите это под свою благопопечительную опеку и сделайте так, как Вас просил: то есть пошлите один хороший оттиск в Буда-Пест, в редакцию «Венгерской иллюстрации», а две дюжины кабинетных сделайте для меня и пришлите их мне в Меррекюль. Если портрет будет доставлен Вам в раме, то, может быть, следовало бы сделать и фотографии с рамою и с обозначением («С масл. портр. художн. Серова, 1894 г.»). Пожалуйста, обдумайте это с фотографом и исполните дружески и хозяйственно.

Работа для Вас сделана, и переписана, и опять перемарана. Пришлю ее вместе с возвращением корректур «Зимнего дня», которых ожидаю в половине июля в Меррекюль. Переписчица здесь очень плохая и к тому же еще немка, а притом еще и чернила ужасные и иных нет. Рассказ с со-

держанием, но вполне смирный, так что можно эту отчаянную рукопись набирать, а читать и в наборе. Она совсем смирная.

Кланяюсь Вам, Гольцеву и Ремезову.

Ваш *Лесков.*

(22° в тени!!!) Не люблю этого!

В. М. Лаврову

20 августа 1894 г., Петербург.

Корректуры во второй раз получил вечером вчера, 19 августа; просидел за ними ночь и сегодня, 20-го, их возвращаю. Поправки сделал очень небольшие и соображаясь с условиями верстки, но поправки эти необходимы, и я всепочтительнейше и всеусерднейше прошу приказать, чтобы они были тщательно внесены, и затем уж пусть бог нас простит, а люди читают. Не сердитесь на меня за корректуры… Что мне с собой делать, когда я весь свой век такой копун был с работою! Но Ваше издательское дело от того ведь не проигрывает, что работу делают поаккуратнее; а в картинках щекотливого свойства всякая светотень значит много. Пожалуйста, исправьте все по этой, сегодня возвращаемой, корректуре. Новый этюд пришлю на сих днях. Надо опять переписать.

Ваш *Н. Лесков.*

Л. Н. Толстому

21 августа 1894 г., Петербург.

Высокоуважаемый Лев Николаевич!

Перед самым отъездом из Меррекюля, где дышать очень легко, и переездом в Петербург, где дышать трудно, я получил Ваше дорогое письмо с ответом на мои недоразумения о том: писать или нет о друге нашем Н. Н. Ге. А до тех пор Стасов мне еще раз написал об этом самом, да потом побудил к тому общую нашу приятельницу Елиз<авету> Меркур<иевну> Бем. Я все отпирался, потому что не понимаю, зачем нужно такое сотрудничество?! Другое дело «сообщить письма», но зачем же нужно, чтобы мы писали, а Вл<адимир> Вас<ильевич> наши писания вписывал в свое сочинение? Право, куда ни толкнись, повсюду находишь какую-то беспорядочность, суету и сутолоку… Я должен повидаться со Стасовым и добиться от него толку: что такое он затевает? Сначала речь шла о «сборнике» (еще мало их!); а во втором письме он уже говорит о «статье», которую он напишет для какого-то журнала и в эту статью вкрапит то, что сообщали ему лица, которых он запросил о Ге… Это мне совсем не представляется

ни удобным, ни справедливым. Я не противоречу Вам и думаю, что о Н<иколае> Н<иколаевиче> все мы можем написать, «не повторяя друг друга», но, кажется, гораздо лучше, чтобы мы сделали это «выведенные на свободе», каждый за свой собственный страх… На что же нам писать «под редакциею» хотя бы даже и Влад. Вас. Стасова? По-моему, это совсем лишнее стеснение и повод к несогласиям и спорам. Этого мнения я не вижу возможности изменить, хотя после письма Вашего и готов попробовать сочинить нашему другу «похвальное слово» за его преимущества в деле служения «свободному» и *освобождающему* искусству. Но тут-то я и должен буду впадать в тот тон, который мил Стасову не будет, тем более что за последнюю гостинку Ге в Петербурге он со мною много говорил о стасовском национализме и порицал его за его крайности, «сбивавшие людей с толку». Из Вашего письма я, однако, не вижу, что Вы дадите свою работу о Ге как составной элемент для статьи Вл. Вас., и я полагаю даже, что Вы этого не сделаете, и что делать этого не надо, и что Вл. Вас. что-нибудь путает и представляет себе обещания в ином смысле, нежели они ему выражены. Но если я ошибаюсь, а не Стасов и Вы пойдете только *как вкладчик* в стасовскую

статью, тогда я ему напишу письмо, в котором изложу только то, что найду сообразным этой стеснительной и неприятной форме сборной характерности одного характера. Пока же это не разъяснится, я буду думать, что ошибается С<тасо>в и что и Вы и я можем подать свой голос прямо от себя. Мне было бы очень полезно это узнать, и, если это Вас не затруднит, я усердно прошу об этом. — Здоровье мое, без сомнения, непоправимо (ангина не излечивается), но сравнительно сносно. По кр<айней> мере так было в сосновом лесу, на скалах и над морем. Я пользуюсь облегчением с жадностью и много читаю и немало пишу, только все «вдоль», без отделок, и теперь, может быть, стану обрабатывать. В Меррекюле нестерпимо тянуло под солнце, в лес и на Удргасскую скалу, переименованную у нас в скалу «пренепорочной Лидии», так как она тут и жила как русалка и чуть ли не слетела раз отсюда в море и пришла вся мокрая по шею. Она прожила в Меррекюле 18 дней и пела в церкви 7-й № «херувимскую» и «многая лета». Одновременно был там и Меншиков и херувимскую с многолетием слушал. Л Ив. Все та же, как и была, а М-в как будто «предагается» — все томится по «положительным верованиям», а этого рода

томления и тоска, по моему наблюдению, ведут на тот путь, которым пошел Алехин и Ругин и сойдут еще многие, без различия их умственных средств. Я иногда их «отпрукиваю» и по совету Нила Сорского, сдергиваю с облак за ноги, дабы могли зрети землю и иметь суждение с разумом расствореннoе, но слово мое не искусно и не сильно, а порывы желающих найти «приют веры» очень сильны, и никакое «растворение в разуме» им не мешает производить смущение в умах.

Имя Ваше беспрестанно на устах у людей, особенно у людей того сорта, из которого состоит приморский дачник, но это не для того, чтобы искать света и уяснять себе свое положение в «земной эпизоде», а прямо для спора и для кривляний. Со мной были Ваши сочинения, которые я наиболее читаю: «Евангелие», «О жизни» и «Царство б<ожие>», но я их в нынешнее лето уже прямо не давал никому, потому что читают не для пользы, а для глупых разговоров, ничего не выясняющих, кроме глубокой погруженности людей во мрак самодовольной пошлости. «Катехизис» был бы очень потребен, но без сомнения, вы не преувеличиваете трудности такого сочинения… Конечно, оно очень трудно, но зато оно и *очень нужно*… Вам бы надо собрать все силы, чтобы

попробовать это сделать. Думаю, что Вы сами видите, что без этого как будто недостает того камня, который может стать в своде замком. Но если бы Вам это и не так казалось, то Вы тут не авторитет, ибо «со стороны дело виднее…» А «со стороны» смотря, и видно что это *нужно;* и именно *это*, а не что-нибудь другое. По крайней мере я это вижу с ясностью, которой яснее не может быть самая очевидная вещь. Ничто (кроме пересказа евангелия) не потребно столько, как катехизическое изложение, во что христианин *может* верить, «содержа веру с разумом растворенною». Разум может молить бога, чтобы Вам было дозволено и внушено это сделать. Читали ли Вы «Лурд»? Противная манера письма и много легкомыслия в суждениях, но вещь (по-моему) все-таки очень полезная. А главное критик (мало-мальски смышленый) имеет большое раздолье высказать по поводу этого сочинения очень полезные суждения (например, «Командор»). Все-таки земля является «станциею» и «эпизодом» в жизни духа, «облеченного в кожаную ризу». И что тут канючить о продлении мучительного пребывания, когда конец его есть очевидное избавление от мук в страдающем теле. И Меньшиков мог бы об этом писать. Но он и сам едва ли не ищет чуда.

Преданный Вам *Н. Лесков.*

Л. Н. Толстому

28 августа 1894 г., Петербург.

Покорно Вас благодарю, Лев Николаевич, за то, что Вы мне разрешили мои недоумения насчет того, как я могу писать о Ге. Я, признаться, и не думал, чтобы Вы намечали как-нибудь иначе, и особенно так, как представляет это себе Вл<адимир> великий. В том все и горе, что как дойдет дело до воспоминаний о человеке, жизнь и деятельность которого представляют собою интерес и поучение, наперебой этому является суетность воспоминателей, и дело на этом очень много теряет. Вы и Ваши дочери отдали бывшие у Вас письма Ге… Я никак не решился бы сказать, хорошо Вы это сделали или нет; но сам я так не поступил бы. Я знаю все хорошие стороны Стасова и очень его уважаю, но думаю, что он все-таки всего более то, что сказал о нем Щербина, то есть «служебный якобинец», и таких теплых нежных тонов, какие были в Ге, он не может усвоить и не в состоянии их воспроизвесть. Он, без сомнения, захочет «раззолотить главу» Н<иколая> Н<иколаевича>, но накладет всю эту позолоту на своей амальгаме. Я сожалею, что за это взялся именно

Вл<адимир> Вас<ильевич>, и утешаюсь только тем, что другие проворные люди сделали бы это еще хуже. Из таких один (Фаресов), писавший в «Вестнике Евр<опы>» об Энгельгардте, совсем уже изготовился строчить о Ге и отравлять мне вечерние часы рассказом о добытых им «материалах» (то есть письмах от Костычева), после чего я должен ему что-то советовать. А что же можно советовать людям, которые собираются писать о человеке, водившемся верою, не только не содержа в себе никакой веры, но даже почитая это за излишнее и смешное. Вот это и будут таковы первые два «воспоминания» о Ге — людей, с которыми у него не было общего в самом главном. Фаресов не понимает в этом ничего, но он уже побывал в ред<акции> «В<естника> Евр<опы>», и Пыпин сказал ему, что их это интересует. Стало быть, воспоминания явятся Ф-ва в «В<естнике> Евр<опы>», а Стасова в «Сев<ерном> в<естни>ке». По крайней мере так мне говорил вчера Флексер, который был у меня еще раз вчера вечером опять с этим же Фаресовым и говорил, что Стас<ов> ждет моего *вклада* … Что за напасть, право! А я самого Ст<асова> еще не видал и боюсь, что, заговорив с ним, стану горячиться, а это мне беда. Но, во всяком случае, я «вклада» делать не

могу, потому что я с В<ладимиром> В<асильевичем> во множестве вещей не согласен, особенно после того, как он егозил с Аданшиным альбомом и втравил в это достопочтенную Надежду Васильевну. Потом в хохлатчине поднимаются «враги» Ге, которые знают за ним что-то такое, что желают «обличить»… Мне это передала жена Хирьякова, на сих днях возвратившаяся из Чернигова. Неловкие воспоминания могут все это раззудить и вызвать дрянные речи, которых бы не надо. И потому, думается, пусть уж делается то, что заделано (Стасов и Фаресов) и чего остановить нельзя; а мне и Вам торопиться не для чего, а очень благоразумно повременить, так как очень может быть, что нам еще доведется сказать слово кстати по поводу чьих-либо неверных суждений. Так по крайней мере мне кажется лучше.

В вашем маленьком письмеце стоят слова, что Вы «очень цените мои мнения». Мое к Вам почтительное и любовное отношение не позволяет мне видеть ни в одном Вашем слове чего-нибудь похожего на так называемую «любезность», и потому я и эти слова Ваши принимаю всерьез, а мне от них конфузно… Какую цену могут иметь мои мнения перед Вашим умом? Разве цену толкового читателя. Если это так, то это верно: понятливость во

мне есть, а люблю я то самое, что и Вы любите, и верю с Вами в одно и то же, и это само так пришло и так продолжается. Но я всегда от Вас беру огня и засвечиваю свою лучинку и вижу, что идет у нас ровно, и я всегда в философеме моей религии (если так можно выразиться) спокоен, но *смотрю на Вас* и всегда напряженно интересуюсь: как у Вас идет работа мысли. Меньшиков это отлично подметил, понял и истолковал, сказав обо мне, что я «совпал с Толстым». Мои мнения все почти *сродные* с Вашими, но они менее сильны и менее ясны; я нуждаюсь в Вас *для моего утверждения*. Но как толковый читатель, и притом вполне согласный и сильно Вам сочувствующий, я, конечно, могу себе позволить сказать Вам, чту думаю и чту чувствую. И вот потому и теперь я говорю: завязать узел катехизисом есть мысль превосходная и дело очень важное. Кроме Вас и Филарета, этого никто сделать не в состоянии. Филарет свое сделал, а теперь сделайте Вы. Я понимаю, что это дело ужасной трудности и даже для Вас, и несмотря на то, что Ваши средства мне кажутся исполинскими, я все-таки не уверен, что это непременно выйдет хорошо в *лучшем виде*, но почти уверен, что оно все-таки выйдет хорошо и будет очень полезно. Вот потому мне и не жаль,

что Вы трудитесь над этим очень трудным, но и очень важным делом. Помогай Вам бог: это очень нужно, и Вы не должны отменять себя с этой работы, так как ее, кроме Вас, некому сделать. — Измена, и ослабление, и шат идет по всей линии. Удивительно! «Положим маску снять, — зачем снимать рубашку?» Прибыл Ругин от Поши… Чту говорит, так именно уши вянут. В чем они «разочаровались» и кто их очаровывал? Какие всё пустые слова и пустые заботы! Думается, что этого совсем могло бы не быть. То, что Вы вычитали и изъяснили, никакого зачарования не имело, а ставило в свете вопросы до сих пор затененные, и отчего, если это у десяти человек не отбило смысла и разумной веры, — отчего остальным понадобилась такая чехарда?.. Но дело великое сделано: людям дано в умы верное направление. Это Ваша бессмертная заслуга. Надо бы, пожалуй, сократить споры… Мне кажется, они совсем не полезны. Искренно стремящимся к вере все ясно, и как они верят, так и жить могут. Меня споры умаяли до устали.

Преданный Вам

Н. Лесков.

1) Не прошло ли у Вас незамеченным, что у ап. Павла есть указание на *обязанность* родителей

«собирать имения детям»? Это во 2-м посл, к Коринф., гл. 12, ст. 14.

2) Известно ли Вам, что на старом языке у нас «наследство» называлось «*задница*»? Это встречается два раза в примечаниях к «Истории» Карамзина (506): «*тяжати о задницю*». По изъяснению Петрова, «Опыт словаря древних речений» (1831 г.), это значит: «иметь спор о наследстве».

Л. Н. Толстому

12 сентября 1894 г., Петербург.

Усердно благодарю Вас, Лев Николаевич, за большое удовольствие и пользу, которые я получил на сих днях от Ваших трудов. На днях я прочитал «Патриотизм и христианство», критическую статью о Мопассане и перевод превосходного письма Мазини. Впечатление от всего этого полное, радостное и полезное. О патриотизме и христианстве я думал точно то же, но в изъяснении «безнравственности» патриотизма Вы дали мне новые определения и доказательства, которых я не мог себе выбрать и составить. В первой половине статья читается тяжеловато: чувствуются длинноты, и видно, где они заключаются: это выписки из газет, которые очень долги и не всегда оправдываются необходимостью. Если читает чтец не особенно «мастеровицкий», то слушатели просто начинают «нудиться» на этих обширных выписках, и это потом вредит всему впечатлению превосходной второй половины. Я прочел «про себя» два раза да присутствовал три раза при чтении вслух, и всё выходили одни и те же результаты: выписки очень длинны, и

их бы очень полезно было сократить, оставив только важнейшие места., Так это кажется мне и другим, а как Вы когда-то писали, что хотите знать о впечатлениях, то я Вам и пишу это. Критическая статья о Мопассане чрезвычайно хороша. Этот могучий человек мне всегда представлялся птицею с огромными и сильными крыльями, но с вытрепанным хвостом, в котором все правъльные перья изломаны: он размахнет широко, а где сесть, не соразмерит. Все сказанное Вами о нем очень верно, и статья написана так, как бы и надо писать критики, не только для того, чтобы дать людям верное понятие об авторе, но чтобы и самому автору подать помощь к исправлению своей деятельности. Мопассану, впрочем, это не принесло бы пользы, потому что, как ни вертите, он все-таки смаковал разврат и, конечно, был убежден, что «с бабой думать нечего». *Я не чувствую* в нем нравственности… Письмо Мазини — это один восторг и упоение. Очень хорошо сделали Вы, что обрели его и подали в русском переводе. Из «Патриотизма» «Новым временем» было взято нечто удобное им на потребу (как Вы было расплакались от умиления), а оттуда бы надо было взять бесценное по силе место о том, что делают люди, потому что «*это не важно*».

А, какое это «пронзительное» и великое указание! То не важно и се не важно, а меж тем все это делают, и выходит целая картина с своей атмосферою, и затем, если кто этого же уже не хочет делать, то это *уже важно!* Все забывают, что «общественное мнение» представляет собою каждый из нас. Я хотел бы сделать вытяжку из этого места, но не знаю, где с нею приткнуться… И последняя… «Р<усская> жизнь» сменила людей «нового общ<ественного> мнения», которые, впр<очем>, уходя, разжаловались по-старому. А в «Неделе» за сентябрь месяц на 246 стр. 2-го отдела уже прямо читаем, что «Россия это непочатый угол всякого добра» и «русскому беллетристу предстоит будущность», если он «отрешится от стремления обличать *бессильное ничтожество*», а станет давать «положительные идеалы».

Скатертью дорожка!

Хочется думать однако, что это делается искренно и без особенно дурных побуждений, ибо это делается без сомнения *во вред себе*, так как читатель, приученный к тихонькому протесту, вероятно не удовольствуется этим новым курсом.

Если пробудем здесь до зимы, то хочу Вас видеть для моей пользы душевной и обольщаюсь

надеждою съездить к Вам в Москву
Ваш *Н. Лесков.*

Л. Н. Толстому

19 сентября 1894 г., Петербург.

Мне очень стыдно за глупые слова, которые я написал Вам о Мопассане. По поводу Вашей статьи о нем я принялся за него наново и перечитал все, с хронологическою последовательностью по времени писания, Вы совершенно правы: он рос, и кругозор его расширялся, и то, что он дал, есть дорогое достояние. Моя погудка о несоответствии силы крыльев с рулевою силою хвоста этой могучей и дальнозоркой птицы никуда не годится. Но так как я до сих пор читал Мопассана урывками и не знал времени появления тех и других произведений его пера, то думаю, что и для такого мнения, какое я имел, есть основание; а как такого рода мнения неверны, то надо радоваться, что Вы, Лев Николаевич, написали Вашу критическую статью об этом достойном любви писателе. Благодарю Вас, что Вы дали мне возможность проверить свои понятия и исправить их.

Очень интересуюсь тем политическим сочинением, которое выпустила о Вас г-жа Манассеина. У меня был Стасов и молол, что Вы ему об этом писали, но он книги не видал; я болен и не могу

ее разыскивать, да и не знаю ее заглавия; писал Люб<ови> Як<овлевне> Гуревич, чтобы она нашла, но она не спешлива; вчера просил Лидию Ив<ановну>, но и эта ничего не знает. А я был, есть и, кажется, буду всегда нетерпячий и не могу успокоиться, пока пойму дело. Я эту даму видел раз в жизни у поэта В. Величко, и она мне показалась какою-то ужасною… Крайняя материалистка, которая все требовала: «Дайте мне твердую положительную веру с устойчивым основанием». Потом она перешла к своей дружбе с Лампадоносцем и окончила тем, что при его благодати получила развод с старым мужем и вышла за нового, молодого и очень глупого. И вот теперь она, значит, поднесла ему еще свое последнее «мерси». Я очень хочу прочесть эту книжечку и, может, мог бы кое-что ответить. Если у Вас эта брошюра без надобности, то нельзя ли сообщить ее мне; а я ее возвращу Вам. Иначе, я боюсь что долго ее не достанешь.

Литературная затея Стасова, по-моему, нехороша: это будет какой-то ворох чего попало, без всякой определенной и ясной цели. Особенно жалка возня с письмами и с датами: «В котором году вы виделись?», «Где об этом говорили?», «Молился ли он богу?» и т. п. Не знаю, каковы были

письма Николая Николаевича к Вам и девицам Татьяне Львовне и Марии Львовне, но письма его ко мне были маловажны для биографии. Это были шутливые отписки, иногда совсем шалости, даже с шутовскими подписями: я его «благословлял» как «священноересиарх», а он как «Николаврa». Что тут вписывать в статью!.. Нет, это *не надо*. Потом Владимиру Васильевичу хочется, чтобы я написал, чту Николай Николаевич говаривал «о художниках», и между прочим о Репине. А он о них говорил много (особенно когда сидел у меня во время писания Серовым с меня портрета), но зачем же все это выволочь на общее позорище и для обиды многих? Вл<адимир> Вас<ильевич> просит, чтобы «и о нем, что говорилось, — и то написать»; но уж это совсем было бы из «волшебного цирюльника». Я ничего этого делать не стану, а постараюсь дать указание: чем Ге был полезен как художник и в чем ему следует подражать. А это, думается, только и надо. — Лидия Ив<ановна> вчера говорила, что она что-то переписывала из Вашего катехизического труда и что это было очень хорошо. (Значит: ясно и понятно для разума и благоприятно для религиозного чувства.) Не могу ли я выпросить у Вас хоть что-нибудь из этого труда для того, чтобы получить

о нем хоть частное понятие? Меня ничто так не интересовало, как это Ваше сочинение, и притом я болен и тороплюсь ознакомиться со всем, что манит дух мой к свету. Если можно будет, то не пришлет ли мне что-нибудь из этого для прочтения Татьяна Львовна? Я прочту и сейчас же возвращу. Уехали ли Хилковы за границу? Вчера был у меня Петр Ге. В то же время случилась m-me Бем, и говорили скоро и беспорядочно.

Н. Л.

Ваше упоминание о разговоре с художником (в статье о Мопассане) очень замечено в их среде и произвело впечатление, как «зерно, падшее на камень». Я раз, после известия о кончине Ге, говорил в этом роде с 73-летним Шишкиным, и он говорил утром: «Вы мне ночь испортили: я до утра не спал», и опять делает то же самое, даже без *надобности*, так как «его часть — сосна». Теперь их подкрепил еще Менделеев, и они, приведя это имя, считают, что все кончено и нечего стыдиться.

<Приписка к приложенному письму Л. Я. Гуревич к Лескову.>

Из настоящего письма увидите, что книжки Манассеиной нам присылать уже не надо, так как Гуревич ее нашла, но если есть какая-нибудь

возможность дать мне ознакомиться с катехизисом, то об этом очень прошу.

Ваш *Н. Лесков.*

В. А. Гольцеву

14 октября 1894 г., Петербург.

Увидел вчера меня Григорович и побег прочь борзо, а подошел Суворин и стал сказывать страхи, которые ему про нас тот лгун говорил, похваляючись своим заступлением. И мне это показалося дивно! Неужто не мне, а ему надо было написать: что такое содеялось?! Выписал я сегодня к себе Модеста Ив<ановича> Писарева и рассказал ему, чту надо бы сказать чиновникам, не в извинение (ибо извиняться не в чем), а в пояснение. Это ведь смеху достойно! «Новый курс», разумеется, «таможенная война» и вступление в состав правит<ельства> лиц иного пошиба, а не событие нынешней поры. Это только и надо было указать. Никакой «бестактности» не было, а если бы она была, то уже не Г<ригорови>ч бы от нее защитил. Его репутация известна. Зачем же вы это все-таки делали? Теперь же, пожалуйста, напишите, и так просто, чтобы я мог понять своим простым умом:

1) Успокоены ли вы за «Зимний день»?

2) Когда вы пускаете в набор мой второй рассказ, у Вас находящийся?

Этот совершенно невинен, как беззубое дитя, но все-таки мне необходимо исправлять его в корректуре, и я очень боюсь, как бы он не вышел в свет без моего просмотра в печати. Пожалуйста, имейте в виду, что это совершенно невозможно, а корректуры я не задержу более одного дня.

Я рассчитываю, что этот рассказ пойдет, вероятно, в одной из последних книжек 1894 года, и тогда для начала 1895 года у меня есть рассказ, позабористее «Фефёл», но тоже вполне спокойный. Называется он «Дикая фантазия». Объем листа 2–3. Он уже переписывается, но я о нем еще никому не говорил и первым пишу вам; а вы мне ответьте: надо вам или не надо? Но, пожалуйста, ответьте просто и ясно, и еще скоро.

Любящий Вас

Н. Лесков.

И. В. Лучицкому

20 октября 1894 г., Петербург.

Уважаемый Иван Васильевич!

Простите и Вы меня, что промедлил ответом на Ваше письмо от 24 сентября: я болен и хотел сказать Вам что-нибудь определенное. Кажется, я буду в состоянии написать для сборника киевских студентов маленькую историйку о том, «как я украл девушку». Это будет идти к роду нынешних целомудренных рассказов, но с содержанием более жизненным и с сюжетом, взятым с натуры. Объемом это будет, вероятно, около печатного листа. Желание написать это для студенческого сборника я имею большое, но все-таки прошу помнить, что я очень болен, что болезнь мне часто подкидывает сюрпризы. Однако я сделать работу хочу и буду об этом стараться. Утвердительнее этого я уже ничего прибавить не могу. А так как я Вам пишу заглавие того, что думаю сделать, то Вы по этому заглавию можете судить, что рассказ будет тихий и чисто *бытовой*, а потому не представляющий никаких опасностей в цензурном отношении. Напишу же его, вероятно, как обыкновенно пишу, и редактировать его нечего,

а потому попросите, пожалуйста, Н. И. Кареева прислать ко мне за рукописью на святках.

Очень рад, что мы с Вами познакомились хоть на письмах. Если будете в Петербурге, — удостойте навестить меня. Нас ведь не велика область, чтобы нам не интересоваться друг другом. О Сикорском слыхал, но не читал его. Впрочем, «им имя легион». У Вас же их особенно много. Студентам усердно прошу передать мое сердечное сочувствие.

Ваш *Николай Лесков.*

В. А. Гольцеву

16 ноября 1894 г., Петербург.

Уважаемый Виктор Александрович!

Рукопись «Фефёл» сегодня Вам возвращаю. Она опять сильно исправлена, но все-таки находится в таком удовлетворительном состоянии, что набирать с нее вполне удобно. Я очень рад, что она у меня побывала и я мог ее свободно переделывать. Это очень важно, когда автор отходит от сделанной работы и потом читает ее уже как читатель… Тогда только видишь многое, чего никак не замечаешь, пока пишешь. Главное, вытравить длинноты и манерность и добиться трудно дающейся простоты. Теперь я удовлетворен и покоен. Корректуру лучше прислать на один день, но если спешите, то и не надо. Вещь это совсем смирная. Повесть «С болваном» еще раз прочту по чистовой рукописи и пришлю Вам к половине декабря. Если хотите, можете начинать с нее новый год. В ней листов 6–7. По черновой рукописи трудно сказать в точности о размере. По архитектуре она удобно делится и пополам и натрое. Сообщите мне: как Вам удобнее, — я так ее и размечу. Вам это сделать труднее. В повести есть «деликатная

материя», но все, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Колорит малороссийский и сумасшедший. В общем, это легче «Зимнего дня», который не дает отдыха и покоя. Если бы не совпавшие обстоятельства, он бы надоел. Литература молчит. «Игра с болваном» не так дружно «жарит и переворачивает», как говорят о «3. дне»; в разговорах литературных хвалят «3 день». И прошёл он все-таки молодцом: вы, братцы, показали, наконец, мужество! Дай бог его Вам еще более.

Ваш *Н. Лесков.*

В. М. Лаврову

20 ноября 1894 г., Петербург.

Уважаемый Вукол Михайлович!

Три дня тому назад я послал Вам рукопись «Фефёл» в таком виде, как надо набирать, и писал Виктору Александровичу, что корректуру, пожалуй, можно мне и не присылать; но теперь прошу мне отдать это слово назад… Я такой копун и пачкун, что не в силах самого себя не поправлять, и прошу Вас немедленно приказать, чтобы корректуру «Фефёл» тоже прислали мне непременно. Усердно Вас об этом прошу и без этого быть не могу! Отвечаю Вам за то, что я не продержу у себя корректур более чем один день. Можете на меня положиться. А пока прилагаю лист, на котором написана вставка. Пожалуйста, пошлите ее в типографию, чтобы ее набрали и тиснули на отдельной полосе и прислали мне, — я ее вставлю на то место, где ей надо быть.

Преданный Вам

Н. Лесков.

И. В. Лучицкому

24 ноября 1894 г., Петербург.

Уважаемый Иван Васильевич!

Благодарю Вас за добрые строки, которые Вы мне написали. Я в Киеве давно не был, да и не тянет меня туда, несмотря на то, что город этот мне очень нравится по красоте и по воспоминаниям юности; но с давних пор в нем преобладает такое настроение, с которым я стараюсь не сходиться. Спешу Вам написать, что в намерениях моих произошла перемена, и я, кажется, дам для сборника не то, что задумал, а другое. Вместо маленького рассказа, который, конечно, прошел бы незаметно и не принес бы пользы сборнику, я дам Вам бытовую заметку «кстати» по поводу речи сенатора Кони о браках. Это теперь «кстати», и потому, может быть, вызовет к себе внимание и сочувствие. Этим я теперь и занялся и Вас об этом уведомляю и прошу Вас принять то, что я в силах дать при моем нездоровье. Я уверен, что это сослужит свою службу лучше, чем рассказ среднего значения. Заглавие: «Конические сечения в браке» (по поводу речи сенатора Кони).

Анат<олий> Федор<ович> Кони знает, что я

буду писать Вам.

Ваш *Николай Лесков*.

С. Н. Шубинскому

15 декабря 1894 г., Петербург.

Как Вы намерены адресовать свое поздравление Марксу и в какой день его пошлете? Пожалуйста, черкните мне об этом, а то я недоумеваю.

А еще важнее — как поздравить Михаила Марковича Шершевского? Это мне очень хочется сделать неупустительно. Обозначьте мне, пожалуйста, его адрес и его день.

Преданный Вам

Лесков.

16 <декабря>. Возвещенное Вами «литературное» обещание над Григоровичем уже исполнено. Бедный болтун! Прихвачен и Лев Толстой, но этого жалеть нечего: его не проберешь. Космат. «И местечка, где они, даже не почешет».

Я еще перелистовал «Ниву» и все искал там добрых семян для засеменения молодых душ и не нашел их: все старая, затхлая ложь, давно доказавшая свою бессильность и вызывающая себе одно противодействие в материализме. Как бы интересно было прочесть сколько-нибудь умную и сносную критику изданий этого типа, которые топят семейное чтение в потоках старых

помой, давно доказавших свою непригодность к лицемерию. Не могу себе уяснить, что тут можно почтить поздравлением?! Разве то, что, может быть, можно бы издавать и хуже этого… но, может быть, и нельзя. Впрочем, по «Игрушечке» судя, — можно.

Жена и дочь Мих<аила> Марков<ича> нашлись очень хорошо! Это делает им честь. А то всё одни пошлости.

С. Н. Шубинскому

17 декабря 1894 г., Петербург.

Очень благодарю Вас за ответ. Я. конечно, пошлю депешу и поздравлю с «благополучным успехом предприятия». Я только не мог себе уяснить: в который из трех дней надо это послать? По правде сказать, это и теперь мне неясно. — Что касается общих суждений, то, конечно, жизнь всякого человека «бедственна», и когда он прожил много лет, не сделавши много бед другим, то его есть с чем поздравить; но это очень пустое дело, которым стыдно занимать людей. Похвалять же из «вежливости» в литературе нельзя: хвалы достойно только то, что ведет к лучшему, способствуя очищению совести и уяснению понятий, способствующих освобождению общества от привычек, созданных невежеством и самолюбием. Такие издания были, есть и их будет еще более, ибо «разум не спит» и у «науки нрав не робкий, — не заткнуть ее теченья никакой цензурной пробкой». — Вы должны бы помнить, кажется, «Рассвет» Кремпина… Вспомните-ка и посравните его с «Нивою» или «Игрушечкою» и всем сему подобным дерьмом, которое Вы, одна-

ко, хотите почему-то ставить выше совершенно равной им «Родины». Это нехорошо.

О Мих<аиле> Марковиче я давно слышал от Фаресова, который составлял адрес для его приветствия женщинами-врачами. Но, помнится, это готовилось на 18-е число; а теперь пишут о 20-м. Он талантливый человек, — стало быть, он «рука божия», посланная в мир исполнить что-то хорошее и серьезное. Такого надо поддерживать, чтобы он шел бодрее и чувствовал, что на него смотрят: то ли он делает, что нужно Отцу нашему? Это никакого сравнения не имеет с «благополучным изданием» листов, от которых получен доход себе. Говорить рядом стыдно! А главное, — это «жена и дочь»!.. Я весь взволнован благородным и в высшей степени грациозным их поступком!.. Никто еще так умно и красиво не нашелся, как эти две женщины, — и его надо поздравить не столько с юбилеем, сколько с такою женою и дочерью. — Я уже очень давно примечал эту необыкновенную девочку в Шмецке и все думал: «Эта что-то разведет в уме!» Вот она и разводит: где себя ни покажет, — все у нее отмечено умом и прямым, здоровым, смелым чувством, которому противно плестись рутинной стежкой. Она меня сильно обрадовала, как я давно, давно

не был рад.

Никол. Лесков.

А. Н. Пешковой-Толиверовой

<1894 г>

Вы меня уже и не удивляете. Соловьев-Н<е>см<елов> пошел разъяснить Вам, что *теперь* не время говорить о Льве Толстом, но Вы таки свое прете!.. О чем же Вы меня просите? О том ли, чтобы я написал, чем Т. велик как человек-мудрец, очистивший сор, заполонивший христианство? Я это хотел бы написать, но этого *теперь нельзя*, и я не стану делать унизительных и глупых опытов. А чтобы говорить банальщину о его таланте, — это детям не нужно и это не только Толстому, но даже и мне непристойно. Затем еще можно бы сказать о его житье в старое его время (если это стоит), но для этого надо подождать «Дневник Берса» в «Царь-колоколе». Что же теперь-то можно написать? Разве нарочитую глупость, и ее-то я должен подписать!.. «Благодарю, — не ожидал!» Но я этого не сделаю: Кстати, я вчера получил оттуда письмо: Л. Н. писал письмо в «Правительственный вестник», *и там ему отказали поместить его строки!..* И вот в это-то время Вы как забрали что в голову, с тем и лезете! «Тешь мою плешь: сери в голову». Извините, — хороша

пословица.

Н. Л.

Письма 1895 года

А. С. Суворину

2 января 1895 г., Петербург.

Многоуважаемый Алексей Сергеевич!

Я опять получаю от Вас газету, которой давно не нахожу возможным ничем быть полезным. Знаю, что экземпляр этот Вас не обременит, и ценю Ваше внимание и благодарю Вас.

А к сему и маленькая просьба: ко мне опять приступают по поводу исполняющегося на днях 35-летия… С этим заходили и еще к кому-то, и очень может быть, что зайдут к Вам.

Я всеусерднейше прошу Вас знать, что я ничего не хочу и ни за что ни на чей зов не пойду, а у себя мне людей принимать негде и угощать нечем. Вы окажете мне одолжение, если поможете тому, чтобы меня оставили в покое и, пожалуй, даже в пренебрежении, к которому я, слава богу, хорошо привык и не желаю его обменивать на другие отношения моих коллег, ибо те отношения будут мне новы и, может быть, менее искренны. Старику лучше, то есть спокойнее, придержаться уже старого и хорошо знакомого. Я уверен, что Вы не усомнитесь в искренности и в твердости моего отказа и скажете это, если к Вам отнесутся

с какою-нибудь затеею в этом роде.

Преданный Вам

Николай Лесков.

С. Н. Шубинскому

3 января 1895 г., Петербург.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Очень может быть, что к Вам обратятся с какими-нибудь предложениями по поводу исполнения 35 лет моих занятий литературою. Сделайте милость, имейте в виду, что я не только не ищу этого (о чем, кажется, стыдно и говорить), но я не хочу никого собою беспокоить, и не пойду ни в какой трактир, и у себя не могу делать трактира. А потому эта праздная затея никакого осуществления не получит и ею не стоит беспокоить никого, а также и меня.

Преданный Вам

Н. Лесков.

М. М. Стасюлевичу

8 января 1895 г., Петербург.

Извините меня, глубокоуважаемый Михаил Матвеевич, что я не сразу чиню исполнение по Вашему письму. Рукопись была готова, а я все не слажу с заглавием, которое мне кажется то резким, то как будто малопонятным. Однако пусть побудет то, которое я теперь поставил: то есть «Заячий ремиз», то есть юродство, в которое садятся «зайцы, им же бе камень прибежище». Писана эта штука манерою капризною, вроде повествований Гофмана или Стерна с отступлением и рикошетами. Сцена перенесена в Малороссию для того, что там особенно много было шутовства с «ловитвою потрясователей, або тыих, що трон шатають», и с малороссийским юмором дело как будто идет глаже и невиннее. Может быть, лучше всего назвать именем героя или «болвана», то есть «Оноприй Перегуд из Перегудова: его жизнь, опыты и приключения». Если вещь Вам нравится, то о заглавии сговоримся.

Мне надо напечатать XII том. Нельзя ли, чтобы меня навестил кто-нибудь из типографского начальства? Я ведь *не не хочу, а не могу* сам поехать

и взойти на лестницу!

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

М. М. Стасюлевичу

8 февраля 1895 г., Петербург.

Многоуважаемый Михаил Матвеевич!

Есть поговорка: «пьян или не пьян, а если говорят, что пьян, то лучше спать ложись». Так и я сделаю: «веселую повесть» я не почитаю за такую опасную, но *положу ее спать*... Это мне уже за привычку: «Соборяне» спали в столе три года. «Обозрение Пролога» — пять лет. Пусть поспит и эта. Я Вам верю, что поводы опасаться есть, и, конечно, я нимало на Вас не претендую и очень чувствую, как Вы хотели мне «позолотить пилюлю». Подождем. Возможно, что погода помягчеет.

Искренно Вам преданный

Н. Лесков.